

Д.Н. МАМИН СИБИРЯК

Д.Н.
МАМИН
СИБИРЯК

3

Annotation

Мамин-Сибиряк – подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности – мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк – один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

В третий том Собрания сочинений Д. Мамина-Сибиряка вошли: роман «Горное гнездо» и цикл «Уральские рассказы».

<https://ruslit.traumlibrary.net>

- [Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк](#)
 - [Горное гнездо*](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)

- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)
- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [XXIX](#)
- [XXX](#)
- [XXXI](#)
- [Уральские рассказы*](#)
 - [«В худых душах...»*](#)
 - [Башка*](#)
 - [Отрава*](#)
 - [Гроза*](#)
 - [На шихане*](#)
 - [Лётные\[46\]*](#)
- [Комментарии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Собрание сочинений в десяти томах
Том 3. Горное гнездо

Горное гнездо*

*Вот придет барин –
Барин нас рассудит...*

Некрасов

– Афанасья, пошли сейчас рассылку за Родионом Антонычем... Да слышишь: скорее!!.

В подтверждение своих слов Раиса Павловна притопнула ногой и сдвинула вылезшие белые брови. Она была в утреннем дезабилье и нервно держала правую руку, в которой качался исписанный листик почтовой бумаги. Письмо застало Раису Павловну еще в постели; она любила понежиться часов до двенадцати. Но этот лоскуток исписанной бумаги заставил ее вскочить в неуказанное время с такой же быстротой, с какой электрическая искра подбрасывает спящую кошку. Первой мыслью, когда она пробежала письмо, было послать за Родионом Антонычем.

Горничная вышла, осторожно затворив за собой дверь. В большие окна врывались пыльными полосами лучи горячего майского солнца; под письменным столом мирно похрапывала бурая легавая собака. В соседней комнате пробило девять часов. Нет, это было невыносимо!.. Раиса Павловна дернула за сонетку.

– Ну? – крикливо спросила она появившуюся Афанасью своим сиповатым, неприятным голосом.

– Сейчас будут-с.

– Видно, в курятнике своем сидит?

– Точно так-с. У них курица вторых цыплят выводит...

Раиса Павловна сердито плюнула и торопливо зашагала по кабинету. Горничная нерешительно продолжала оставаться в дверях.

– Ты чего тут торчишь чучелом гороховым? – сердито оборвала ее взволнованная барыня.

– Когда прикажете подавать одеваться?

– Ах, да... Некогда мне... Принеси пока оренбургский платок.

Горничная исчезла, как тень. Раиса Павловна опустилась в кресло и задумалась. Она была очень некрасива в настоящую минуту: желтое, сморщенное лицо, с мешками под глазами, неприятно выкаченные серые глаза, взбитые клочьями остатки белокурых волос на голове и брюзгая полнота, которая портила ей шею, плечи и талию. Около рта и вокруг глаз залегли тонкие морщины, которые

появляются у женщин под пятьдесят лет. «Ведьма... Нет, хуже: старая баба», – думала иногда Раиса Павловна, когда смотрелась в зеркало. А между тем она когда-то была очень и очень красива, по крайней мере, мужчины находили ее такой, чему она имела самые неопровержимые доказательства. Но красивые формы и линии заплыли жиром, кожа пожелтела, глаза выцвели и поблекли; всеразрушающая рука времени беспощадно коснулась всего, оставив под этой разрушавшейся оболочкой женщину, которая, как разорившийся богач, на каждом шагу должна была испытывать коварство и черную неблагодарность самых лучших своих друзей. Может быть, это последнее обстоятельство и придало желтоватому лицу Раисы Павловны вызывающее и озлобленное выражение.

– Оставь! – капризно проговорила Раиса Павловна, когда горничная, накинув ей на голые плечи платок, мимоходом поправила сбившуюся юбку, – Да сейчас же послать за Родионом Антонычем второго рассылку. Слышишь?

Прошло мучительных десять минут, а Родион Антоныч все не приходил. Раиса Павловна лежала в своем кресле с полузакрытыми глазами, в сотый раз перебирая несколько фраз, которые лезли ей в голову: «Генерал Блинов честный человек... С ним едет одна *особа*, которая пользуется безграничным влиянием на генерала; она, *кажется*, настроена против вас, а в особенности против Сахарова. Осторожность и осторожность...»

Кабинет, где теперь сидела Раиса Павловна, представлял собой высокую угловую комнату, выходящую тремя окнами на главную площадь Кукарского завода, а двумя в тенистый сад, из-за разорванной линии которого блестела полоса заводского пруда, а за ним придавленными линиями поднимались контуры грудившихся гор. Посередине комнаты стоял громадный письменный стол, заваленный книгами, планами и тысячью дорогих безделушек, беспорядочной кучей занимавших центр стола. Под ногами лежала попорченная молью медвежья шкура. Расписанный потолок и бархатные синие обои придавали комнате отпечаток роскоши, хотя и с казенной ноткой, сквозившей во всей обстановке. От этой казенной нотки Раиса Павловна, несмотря на все свои старания, никак не могла избавиться и наконец помирилась с ней. В простенках висело несколько картин хорошей работы; на внутренней стене, над широким оттоманом,

помещались олени рога с развешанным на них оружием. Воздух был пропитан дымом хороших сигар, окурки которых валялись по окнам и на столе. Словом, это был кабинет главного управляющего Кукарских заводов, а все главные управляющие, поверенные и доверенные не любят стеснять себя обстановкой. В ожидании Родиона Антоныча Раиса Павловна в третий раз пробежала полученное письмо. Оно было из Петербурга, от Прохора Сазоныча Загнеткина, главного бухгалтера при петербургской конторе заводовладельца Лаптева. Прохор Сазоныч редко писал, но зато каждое его письмо всегда было интересно той деловой обстоятельностью, какой отличаются только люди очень практические. Даже в этом мелком и убористом почерке, каким писал Прохор Сазоныч, чувствовалась твердая рука настоящего дельца, каким он и был в действительности. Занимая довольно видный пост в конторе и пользуясь своим столичным положением, где вовремя и под рукой всегда и все можно было разведать и разузнать, Загнеткин служил Раисе Павловне самым исправным корреспондентом, извещая ее о малейших изменениях и колебаниях в служебной атмосфере. Правда, писал он неровно, с отступлениями и забеганиями вперед, постоянно боролся – и не в свою пользу – с орфографией, как большинство самоучек, но эти маленькие недостатки в «штиле» выкупались другими неогренимыми достоинствами. Загнеткин для Раисы Павловны был тем же, чем для садовника служит в оранжерее термометр. Закулисная сторона всякой частной службы, в особенности заводской, представляет собой самую ожесточенную борьбу за существование, где каждый вершок вверх делается по чужим спинам. Схематически изобразить то, что, например, творилось в иерархии Кукарских заводов, можно так: представьте свое совершенно коническую гору, на вершине которой стоит сам заводоладелец Лаптев; снизу со всех сторон бегут, лезут и ползут сотни людей, толкая и обгоняя друг друга. Чем выше, тем давка сильнее; на вершине горы, около самого заводоладельца, может поместиться всего несколько человек, и попавшим сюда счастливым всего труднее сохранить равновесие и не скатиться под гору.

Раиса Павловна, как жена главного управляющего Кукарских заводов, пережила и переживает все случайности своего высокого положения и поэтому умеет ценить всякую сильную руку, которая помогает ей сохранить за собой выдающуюся позицию. Такой рукой и

был Прохор Сазоныч Загнеткин. Как женщина, Раиса Павловна относилась ко всему, что происходило вокруг нее и с ней самой, с большой страстностью, и в ее глазах вся путаница творящихся в заводском мире событий окрашивалась слишком ярко. Такая яркая окраска считается при научных исследованиях громадным недостатком, но на практике она приносит несомненную пользу. Может быть, этой своей особенностью Раиса Павловна отчасти и была обязана тем, что, несмотря на все перевороты и пертурбации, она твердо и неизменно в течение нескольких лет сохраняла власть в своих руках. И теперь, перечитывая письмо Загнеткина, она сильно волновалась, как старый боевой конь, почуявший пороховой дым. Вот что ей писал Прохор Сазоныч:

«Я уже писал вам, что Евгений Константиныч (заводовладелец) очень сблизился с генералом Блиновым, и не только сблизился, но даже совсем подпал под его влияние. Блинов служил профессором, юрист, человек не глупый и вместе глупый. Сами увидите, что за птица. Теперь занят проектом финансовых реформ, которые должны быть произведены на заводах. Что это за проект – пока неизвестно, но Блинову удалось убедить Евгения Константиныча отправиться нынче же на Урал, а это что-нибудь значит, и вы можете судить по этому, насколько сильно влияние генерала. Нужно сказать вам, что сам по себе Блинов, пожалуй, и не так страшен, как может показаться, но он находится под влиянием одной особы, которая, кажется, предубеждена против вас и особенно против Сахарова. Предупредите его, и пусть примет соответствующие меры к приезду Евгения Константиныча. От себя пока сказать ничего не могу об этой особе, которая теперь вертит Блиновым, но есть кой-какие обстоятельства, которые оказывают, что эта особа уже имеет сношения с Тетюевым. Значит, можно так рассуждать, что вся поездка Евгения Константиныча есть дело тетюевских рук, а может быть, заодно с ним орудуют Вершинин и Майзель, на которых никогда нельзя надеяться: продадут... Еще скажу я вам, Раиса Павловна, что вы все-таки не опасайтесь: господь милостив! А вы спросите меня о Прейне, как он? – скажу одно, что по-прежнему, как флюгер, вертится по ветру. Но все-таки, если на кого и можно, и следует надеяться, так это на Прейна: с ним Евгений Константиныч никогда не расстанется, а генерал Блинов сегодня здесь, а завтра и след простыл. Знаю, что вам

интересно бы узнать, что эта за особа, которая вертит генералом, — разузнавал и пока узнал только то, что она живет с генералом в гражданском виде, очень некрасива и немолода. Постараюсь разузнать все подробнее и тогда опишу.

Главное, нужно подготовиться к приему Евгения Константиныча, которого вы хорошо знаете, и также знаете и то, что нужно вам делать. Майзель и Вершинин не ударят лицом в грязь, а вам только остальное. Много вам будет хлопот, Раиса Павловна, но страшен сон, да милостив бог... С своей стороны буду стараться извещать вас о всем, что здесь будет делаться. Может, Евгений Константиныч и раздумает ехать на заводы, как не мог собраться съездить туда в течение двадцати лет раньше этого. А еще скажу вам, что в зимний сезон Евгений Константиныч очень были заинтересованы одной балериной и, несмотря на все старания Прейна, до сих пор ничего не могли от нее добиться, хотя это им стоило больших тысяч».

За Родионом Антонычем был послан третий рассылка. Раиса Павловна начинала терять терпение, и у ней по лицу выступили багровые пятна. В момент, когда она совсем была готова вспылить неудержимым барским гневом, дверь в кабинет неслышно растворилась, и в нее осторожно пролез сам Родион Антоныч. Он сначала высунул в отворенную половинку дверей свою седую, обритую голову с щурившимися серыми глазками, осторожно огляделся кругом и потом уже с подавленным кряхтением ввалился всей своей упитанной тушей в кабинет.

— Вы... что же это вы делаете со мной?! — с крикливыми нотками сдержанного гнева заговорила Раиса Павловна.

— Я? — удивился Родион Антоныч, поправляя на себе летнее коломьянковое пальто.

— Да, вы... Я посылала за вами целых три раза, а вы сидите в своем курятнике и ничего на свете знать не хотите. Это бессовестно наконец!!.

— Виноват, Раиса Павловна. Ведь еще десятый час на дворе.

— Вот полюбуйтесь! — сунула под нос Родиону Антонычу рассерженная Раиса Павловна смятое письмо. — Вы только и знаете, что свой десятый час...

— От Прохора Сазоныча-с... — в раздумье проговорил Родион Антоныч, вооружая свой мясистый нос черепаховыми очками и

сначала рассматривая письмо издали.

– Да читайте... тьфу!.. Точно старая баба с печи слезает...

Родион Антоныч вздохнул, далеко отодвинул письмо от глаз и медленно принялся читать его, строчка за строчкой. По его оплывшему, жирному лицу трудно было угадать впечатление, какое производило на него это чтение. Он несколько раз принимался протирать очки и снова перечитывал сомнительные места. Прочитав все до конца, Родион Антоныч еще раз осмотрел письмо со всех сторон, осторожно сложил его и задумался.

– Ну?..

– Нужно будет с Платоном Васильичем посоветоваться...

– Да вы сегодня, кажется, совсем с ума спятили: *я буду советовать с Платоном Васильичем...* Ха-ха!.. Для этого я вас и звала сюда!.. Если хотите знать, так Платон Васильич не увидит этого письма, как своих ушей. Неужели вы не нашли ничего глупее мне посоветовать? Что такое Платон Васильич? – дурак и больше ничего... Да говорите же наконец или убирайтесь, откуда пришли! Меня больше всего сводит с ума эта особа, которая едет с генералом Блиновым. Заметили, что слово *особа* подчеркнуто?

– Точно так-с.

– Вот меня это и бесит... Прохор Сазоныч не будет даром подчеркивать слова.

– Нет, не будет... Ох, не будет! – каким-то плаксивым голосом заговорил Родион Антоныч. – И обо мне есть: «настроены против Сахарова в особенности»... Ничего не разберу!..

– Если бы Лаптев ехал только с генералом Блиновым да с Прейном – это все были бы пустяки, а тут замешалась особа. Кто она? Что ей за дело до нас?

Родион Антоныч сделал кислую гримасу и только поднял кверху свои покатые, жирные плечи.

В кабинете водворилось тяжелое молчание. В саду весело заливалась безыменная птичка; набегавший ветерок гнул пушистые верхушки сиреней и акаций, врвался в окно пахучей струей и летел дальше, поднимая на пруду легкую рябь. Солнечные лучи прихотливыми узорами играли на стенах, скользя яркими искрами по золотому багету и разливаясь мягкими световыми тонами на массивных узорах обоев. С тонким жужжанием влетела в комнату

какая-то зеленая мушка, покружилась над письменным столом и поползла по руке Раисы Павловны. Та вздрогнула и очнулась от своего раздумья.

– Ну?

– Это Тетюев да Майзель механику подводят, – проговорил Родион Антоныч.

– И опять глупо: этакую новость сообщил! Кто же этого не знает... ну, скажите, кто этого не знает? И Вершинину, и Майзелю, и Тетюеву, и всем давно хочется столкнуть нас с места; даже я за вас не могу поручиться в этом случае, но это – все пустяки и не в том дело. Вы мне скажите: кто эта особа, которая едет с Блиновым?

– Не знаю.

– Так узнайте! Ах, господи! господи! Непременно узнайте, и сегодня же!.. От этого все зависит: мы должны подготовиться. Странно, что Прохор Сазоныч не постарался разузнать о ней... Вероятно, какая-нибудь столичная выжига.

– Вот что, Раиса Павловна, – заговорил Родион Антоныч, снимая очки, – ведь Блинов-то учился, кажется, с Прозоровым...

– Ну?..

– Так вот от Прозорова и можно будет узнать.

– Ах, действительно... Как это мне не пришло в голову? Действительно, чего лучше! Так, так... Вы сейчас же, Родион Антоныч, сходите к Прозорову и стороной все разузнайте от него. Ведь Прозоров болтун, и от него все на свете можно узнать... Отлично!..

– Нет уж, к Прозорову будет лучше вам самим сходить, Раиса Павловна... – с кислой гримасой заговорил Родион Антоныч.

– Это почему?

– Да так... Вы ведь знаете, что Прозоров меня ненавидит...

– Ну, это вздор... Он и меня ненавидит, как ненавидит весь свет.

– Все-таки вам удобнее, Раиса Павловна. Вы бываете у Прозорова, а я...

– Ну, черт с вами, убирайтесь в свой курятник! – сердито оборвала Раиса Павловна, дергая сонетку. – Афанасья! Одеваться... да живее!.. Вы зайдите часика через два, Родион Антоныч!

«Ох, дрянь дело», – думал Родион Антоныч, вылезая из кабинета.

Его оплывшее лицо, блестевшее жирным загаром, теперь сморщилось в унылую улыбку, как у доктора, у которого только что умер самый надежный пациент.

II

Через полчаса Раиса Павловна спускалась с открытой веранды в густой и тенистый господский сад, который зеленой узорчатой прорезью драпировал берег пруда. На ней теперь было надето платье из голубого альпага, отделанное дорогими кружевами; красиво собранные рюши были схвачены под горлом бирюзовой брошью. В волосах, собранных в утреннюю прическу, удачно скрывалась чужая коса, которую носила Раиса Павловна очень давно. И в костюме, и в прическе, и в манере себя держать – везде сквозила какая-то фальшивая нота, которая придавала Раисе Павловне непривлекательный вид отжившей куртизанки. Впрочем, она это знала сама, но не стеснялась своей наружностью и даже точно нарочно щеголяла эксцентричностью костюма и своими полумужскими манерами. То, что губит в общественном мнении других женщин, для Раисы Павловны не существовало. На остроумном языке Прозорова эта особенность Раисы Павловны объяснялась тем, что «подозрение да не коснется жены Цезаря». Ведь Раиса Павловна была именно такой женой Цезаря в маленьком заводском мирке, где вся и все преклонялось пред ее авторитетом, чтобы вдоволь позлословить на ее счет за глаза. Как умная женщина, Раиса Павловна все это отлично понимала и точно наслаждалась развертывавшейся пред ней картиной человеческой подлости. Ей нравилось, что те люди, которые топтали ее в грязь, в то же время заискивали и унижались перед ней, льстили и подличали наперерыв. Это было даже пикантно и приятно щекотало расшатавшиеся нервы жены Цезаря. Чтобы пройти к Прозорову, который в качестве главного инспектора заводских школ занимал один из бесчисленных флигелей господского дома, нужно было миновать ряд широких аллей, перекрещивавшихся у центральной площадки сада, где по воскресеньям играла музыка. Сад был устроен на широкую барскую ногу. Оранжереи, теплички, клумбы цветов, аллеи и узкие дорожки красиво пестрили зеленую полосу берега. В воздухе пахучей струей разливался аромат только что распустившихся левкоев и резеды. Сирень, как невеста, стояла вся залитая напухшими, налившимися

почками, готовыми развернуться с часу на час. Подстриженные щеткой акации образовали живые зеленые стены, в которых там и сям уютно прятались маленькие зеленые ниши с крошечными садовыми диванчиками и чугунными круглыми столиками. Эти ниши походили на зеленые гнездышки, куда так и тянуло отдохнуть. Вообще садовник хорошо знал свое дело и на пять тысяч, которые ему ежегодно ассигновало кукарское заводоуправление специально на поддержку сада, оранжерей и теплиц, делал все, что мог сделать хороший садовник: зимой у него отлично цвели камелии, ранней весной тюльпаны и гиацинты; огурцы и свежая земляника подавались в феврале, летом сад превращался в душистый цветник. Только несколько отдельных куп из темных елей и пихт да до десятка старых кедров красноречиво свидетельствовали о том севере, где цвели эти выхолощенные сирени, акации, тополи и тысячи красивых цветов, покрывавших клумбы и грядки яркой цветистой мозаикой. Растения были слабостью Раисы Павловны, и она каждый день по несколько часов проводила в саду или лежала на своей веранде, откуда открывался широкий вид на весь сад, на заводский пруд, на деревянную раму окружавших его построек и на далекие окрестности.

Вид на Кукарский завод и на стеснившие его со всех сторон горы из господского сада, а особенно с веранды господского дома, был замечательно хорош, как одна из лучших уральских панорам. Центр картины, точно налитое до краев полное блюдо, занимал большой заводский пруд овальной формы. Направо широкой плотиной связаны были две возвышенности; на ближайшей красовалось своей греческой колоннадой кукарское главное заводоуправление с господским домом, а на противоположной качался мохнатыми вершинами редкий сосновый гребень. Издали эти две возвышенности походили на ворота, в которые выливалась горная река Кукарка, чтобы дальше сделать колена под крутой лесистой горой, оканчивавшейся утесистым пиком с воздушной часовенкой на самом верху. Между этими возвышенностями и по берегу пруда крепкие заводские домики выровнялись в правильные широкие улицы; между ними яркими заплатами зеленели железные крыши богатых мужиков и белели каменные дома местного купечества. Пять больших церквей красовались на самых видных местах.

Сейчас под плотиной, где сердито бурлила бойкая Кукарка, с глухим вздрагиванием погромыхивали громадные фабрики. На первом плане дымились три доменных печи; из решетчатых железных коробок вечно тянулся черным хвостом густой дым, прорезанный снопами ярких искр и косматыми языками вырывавшегося огня. Рядом стояла черной пастью водяная лесопильня, куда, как живые, ползли со свистом и хрипеньем ряды бревен. Дальше поднимались десятки всевозможных труб и правильными рядами горбились крыши отдельных корпусов, точно броня чудовища, которое железными лапами рвало землю, оглашая воздух на далекое расстояние металлическим лязгом, подавленным визгом вертевшегося железа и сдержанным ворчанием. Рядом с этим царством огня и железа картина широкого пруда с облепившими его домиками и зеленевшего по горам леса невольно манила к себе глаз своим простором, свежестью красок и далекой воздушной перспективой.

Флигелек Прозорова стоял в северном углу сада, куда совсем не хватало солнце. Раиса Павловна вошла в открытую дверь полусгнившей, покосившейся террасы. В первой комнате никого не было, как и в следующей за ней. Эти маленькие комнатки с выцветшими обоями и сборной мебелью показались ей сегодня особенно жалкими и мизерными: на полу оставались следы грязных ног, окна были покрыты пылью, везде царил страшный беспорядок. Откуда-то тянуло затхлой сыростью, точно из погреба. Раиса Павловна поморщилась и презрительно съежила плечи.

«Это какая-то конюшня...» – брезгливо подумала она, заглядывая в следующую узкую полутемную комнату.

Она в нерешительности остановилась в дверях, когда из глубины до ее слуха долетел речитатив Мефистофеля:

Красотка-то немножко устарела...

– Это вы, Виталий Кузьмич, на мой счет упражняетесь? – весело спросила Раиса Павловна, переступая порог.

Старчески-фальшивый голос смолк, и в ответ послышался тихий, с детскими нотками смех.

– Царица Раиса! какими судьбами!.. – заговорил небольшого роста худощавый господин, поднимаясь с прорванного клеенчатого дивана.

– Здравствуйте, великий человек... на малые дела! – развязно отозвалась Раиса Павловна, протягивая руку чудаку-хозяину. – Вы тут что-то такое пели сейчас?

– Да, да... – торопливо заговорил Прозоров, поправляя сбившийся на шее галстук. – Действительно, пел... Узрел сии голубые одежды, сию накладную косу, сие раскрашенное лицо – и запел!

– Если все остроумие заключается у вас сегодня в местоимении *сей*, то это немного скучно, Виталий Кузьмич.

– Что делать, что делать, голубушка! постарел, поглупел, выдохся... Ничто не вечно под луной!

– Где у вас тут присесть можно? – спрашивала Раиса Павловна, напрасно отыскивая глазами стул.

– А вот, пожалуйста на диван! Располагайтесь. Однако какими это судьбами занесло вас, царица Раиса, в мою берлогу?

– По старой памяти, Виталий Кузьмич... Когда-то ивы писывали стишки для женщины в голубых одеждах.

– О, помню, помню, царица Раиса! Дайте ручку поцеловать... Да, да... Когда-то, давно-давно, Виталий Прозоров не только декламировал вам чужие стихи, но и сам парил для вас. Ха-ха... Получается даже каламбур: парил и парил. Так-с... Вся жизнь состоит из таких каламбуров! Тогда, помните эту весеннюю лунную ночь... мы катались по озеру вдвоем... Как теперь вижу все: пахло сиренями, где-то заливался соловей! вы были молоды, полны сил, и судеб повинуюсь закону...

Ты помнишь чудное мгновенье;
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

Прозоров припал своей седевшей головой к руке Раисы Павловны, и она почувствовала, как на руку закапали крупные слезы... Ей сделалось жутко от двойного чувства: она презирала этого несчастного человека, отравившего ей жизнь, и вместе с тем в ней смутно проснулось какое-то теплое чувство к нему, вернее сказать, не к нему лично, а к тем воспоминаниям, какие были связаны с этой

кудрявой и все еще красивой головой. Раиса Павловна не отнимала руки и смотрела на Прозорова большими остановившимися глазами. Это узкое лицо с козлиной бородкой и большими, темными, горячими глазами все еще было красиво какой-то беспокойной, нервной красотой, хотя кудрявые темные волосы уже давно блестели сединой, точно серебристой плесенью. Такой же плесенью был покрыт и живой, остроумный мозг Прозорова, разлагавшийся от собственной работы.

– А теперь, – заговорил Прозоров, прерывая тяжелую паузу, – я смотрю на развалины моей Трои, которая напоминает мне о моем собственном разрушении, Да, да... Но я еще нахожу капельку поэзии:

Тихо запер я двери,
И один, без гостей,
Пью за здоровье Мери,
Милой Мери моей...

«Кабинет» Прозорова, занимавший узкую проходную комнату, что-то вроде коридора, был насквозь пропитан дымом дешевых сигар и запахом водки. Ободранный письменный стол, придвинутый к внутренней стене, был завален книгами, которые лежали здесь в самом поэтическом беспорядке. Тут же валялись листы исписанной бумаги и пустая бутылка из-под водки. В углу комнаты помещался шкаф с книгами, в другом – пустая этажерка и сломанное кресло с вышитой цветными шелками спинкой. Измятый, небрежный костюм хозяина соответствовал обстановке кабинета: летнее пальто из парусины съезжилось от стирки и некрасиво суживало и без того его узкие плечи; такие же брюки, смятая сорочка и нечищенные, порыжевшие сапоги дополняли костюм. Раиса Павловна готова была пожалеть этого жалкого старика, который уже заметил это мимолетное движение, и по его худощавому лицу скользнула презрительно-нахальная улыбка, которая Раисе Павловне была особенно хорошо знакома.

– А я зашла к вам за Лушей... – деловым тоном заговорила Раиса Павловна, испытывая маленькое смущение.

– Знаю, знаю... – торопливо отозвался Прозоров, взбивая на голове волосы привычным жестом. – Знаю, что за делом, только не знаю, за каким...

– Я же сказала вам.

– Ах, да... Верую, господи, помоги моему неверию. За Лушей... Так.

– А ведь она у вас совсем большая. Необходимо о ней позаботиться...

– Совершенно верно!

Что за комиссия, создатель,

Быть взрослой дочери отцом!

– Особенно таким отцом, каким судьба так несправедливо наградила бедную Лушу.

– Да, но я только отрицательным образом несправедлив к моей дочери, тогда как вы своим влиянием прививаете самое положительное зло.

– Именно?

– Именно, набиваете ей голову тряпками и разной бабьей философией. Я, по крайней мере, не вмешиваюсь в ее жизнь и предоставляю ее самой себе: природа – лучший учитель, который никогда не ошибается...

– И я так же рассуждала бы, если бы не любила вашей Луши.

– Вы? Любили? Перестаньте, царица Раиса, играть в прятки; мы оба, кажется, немного устарели для таких пустяков... Мы слишком эгоисты, чтобы любить кого-нибудь, кроме себя, или, вернее сказать, если мы и любили, так любили и в других самих же себя. Так? А вы, кроме того, еще умеете ненавидеть и мстить... Впрочем, я если уважаю вас, так уважаю именно за это милое качество.

– Благодарю. Откровенность за откровенность; бросьте этот старый хлам и лучше расскажите мне, что за человек генерал Блинов, с которым вы учились.

– Блинов... генерал Блинов... Да, Мирон Блинов.

Прозоров остановился и, взглянув на Раису Павловну с своей ехидной улыбкой, проговорил:

– Так вот зачем вы пожаловали ко мне!

– Что же из этого?

– А для чего вам понадобился Блинов? Опять какая-нибудь мудреная комбинация в области политики...

– Если спрашиваю, значит мне это нужно знать, а для чего нужно – дело мое. Поняли? Бабье любопытство одолело.

– Я так спросил... Так вам, значит, нужно выправить через меня справку о Мироне Геннадьевиче? Извольте... Во-первых, это очень честный человек – первая беда для вас; во-вторых, он очень умный человек – вторая беда, и, в-третьих, он, к вашему счастью, сам считает себя умным человеком. Из таких умных и честных людей можно веревки вить, хотя сноровка нужна. Впрочем, Блинов застрахован от вашей бабьей политики... Ха-ха!..

– Я не нахожу ничего смешного в том, что Мирон Геннадьевич находится под сильным влиянием одной особы, которая...

– ...Которая безобразна, как гороховое чучело, – подхватил Прозоров удачно подобрешенную реплику, – стара, как попова собака, и умна, как дьявол.

– А вы не знаете, кто эта особа сама по себе?

– Н-нет... Кажется, из девиц легкого чтения или из кухарок, но вообще не высокого полета. Ха-ха!.. Представьте же себе такую комбинацию: Блинов – профессор университета, стяжал себе известное имя, яко политико-эконом и светлая финансовая голова, затем, как я уже сказал вам, хороший человек во всех отношениях – и вдруг этот самый генерал Блинов, со всей своей ученостью, честностью и превосходительством, сидит под башмаком какого-то уроды. Я еще понимаю такую ошибку, потому что когда-то сам имел несчастье увлечься такой женщиной, как вы. Ведь и вы меня любили когда-то, царица Раиса...

– Я? Никогда!..

– Немножко?

– А вы видели эту особу, которая держит генерала под башмаком? – перебила Раиса Павловна этот откровенный вопрос.

– Издали. Про нее можно сказать словами балаганных остряков, что издали она безобразна, а чем ближе, тем хуже. Послушайте, однако, для чего вы меня исповедуете обо всем этом?

– А вы до сих пор не можете догадаться, что это секрет, – с улыбкой ответила Раиса Павловна, – а секретов вам, как известно, доверять нельзя.

– Да, да... Все разболтаю: язык мой – враг мой, – согласился Прозоров с полукомическим вздохом.

Раиса Павловна просидела в каморке Прозорова еще с полчаса, стараясь выведать у своего болтливового собеседника еще что-нибудь о таинственной особе. Прозоров в таких случаях не заставлял себя просить и принялся рассказывать такие подробности, которые даже не позаботился сколько-нибудь прикрасить для вероятности.

– Ну, вы, кажется, уж того... – заметила Раиса Павловна, поднимаясь с места.

– Убей меня бог, если вру!

Чтобы придать своим рассказам оттенок действительности, Прозоров углубился в воспоминания собственной юности, когда он еще студентом занимал вместе с Блиновым крошечную каморку в 17-й линии Васильевского острова. Славное было время, хотя Блинов был один из самых тупых студентов. Решительно не подавал никаких надежд, зубрил напропалую, вообще являлся дюжинной натурой и самой жалкой посредственностью. После их дороги разошлись, а теперь Блинов – видный ученый и превосходительная особа, тогда как Прозоров заживо тонет в водке.

– Кто же вам велит пить? – строго проговорила Раиса Павловна, стараясь не глядеть на своего собеседника.

– Кто меня заставляет? – спросил Прозоров, запуская обе руки в свои седые кудри.

– Да, вас...

– Эх, царица Раиса... Зачем вы меня спрашиваете? – застонал Прозоров. – Вы ведь очень хорошо знаете всю эту историю: душа болит у Виталия Кузьмича, вот он и пьет. Думал когда-то гору своротить, а запнулся о соломинку... Знаете, у меня на днях блеснула очень хорошая теория, которую можно назвать *теорией жертв*. Да, да... Всякое движение вперед и во всякой сфере требует своих жертв. Это железный закон!.. Возьмите промышленность, науку, искусство – везде казовые концы, которыми мы любуемся, выкупаются целым рядом жертв. Каждая машина, каждое усовершенствование или изобретение в области техники, каждое новое открытие требует тысяч человеческих жертв, именно в лице тех тружеников, которые остаются благодаря этим благодеяниям цивилизации без куска хлеба, которых режет и дробит какое-нибудь глупейшее колесо, которые приносят в

жертву своих детей с восьми лет... То же самое творится и в области искусства и науки, где каждая новая истина, всякое художественное произведение, редкие жемчужины истинной поэзии – все это выросло и созрело благодаря существованию тысяч неудачников и непризнанных гениев. И заметьте, эти жертвы не случайность, даже не несчастье, а только простой логический вывод из математически верного закона. Вот я и сопричислил себя к лику этих неудачников и непризнанных гениев: имя нам легион... Единственное утешение, которое осталось нам на долю, когда рядом генералы Блиновы процветают и блаженствуют, – есть мысль, что если бы не было нас, не было бы и действительно замечательных людей. Да-с...

Прозоров остановился перед своей слушательницей в трагической позе, какие «выкидывают» плохие провинциальные актеры. Раиса Павловна молчала, не поднимая глаз. Последние слова Прозорова отозвались в ее сердце болезненным чувством: в них было, может быть, слишком много правды, естественным продолжением которой служила вся беспорядочная обстановка Прозоровского жилья.

– И заметьте, – импровизировал Прозоров, начиная бегать из угла в угол, – как нас всех, таких межеумков, заедает рефлексия: мы не сделаем шагу, чтобы не оглянуться и не посмотреть на себя... И везде это проклятое я! И понятное дело! Настоящего, определенного занятия у нас нет, – вот мы и копаемся в собственной душонке да вытаскиваем оттуда разный хлам. Главное, я сознаю, что такое положение самое распоследнее дело, потому что создается скромным желанием оправить себя в глазах современников. Ха-ха!.. И сколько нас, таких артистов? Есть даже такие счастливцы, что ухитряются целую жизнь пользоваться репутацией умных людей. Благодарю бога, что я не принадлежу к их числу, по крайней мере... Выеденное яйцо – вернее, болтун – и дело с концом.

– О чем же у вас душа болит?

– Ах, да... Душа-то?.. А болит она, царица Раиса, о том, что я мог выполнить и не выполнил. Самое тяжелое чувство... И так во всем: в общественной деятельности, в своей профессии, особенно в личных делах. Идешь туда – и, глядишь, пришел совсем в другое место; хочешь принести человеку пользу – получается вред, любишь человека – платят ненавистью, хочешь исправиться – только глубже опускаешься... Да. А там, в глубине души, сосет этаким дьявольский

червяк: ведь ты умнее других, ведь ты бы мог быть и тем-то, и тем-то, ведь и счастье себе своими руками загубил. Вот тут и приходит мат, хоть петлю на шею!

– Я вас за что люблю? – неожиданно прервал Прозоров ход своих мыслей. – Люблю за то именно, чего мне недостает, хотя сам я этого, пожалуй, и не желал бы иметь. Ведь вы всегда меня давили и теперь давите, даже давите вот своим настоящим милостивым присутствием...

– Я ухожу.

– Еще одно слово! – остановил Прозоров свою гостью. – Моя песенка спета, и обо мне нечего говорить, но я хочу просить вас об одном... Исполните?

– Не знаю, какая просьба.

– Исполнить ее вам ничего не стоит...

– Обещать, не зная что, по меньшей мере глупо.

Прозоров неожиданно опустился перед Раисой Павловной на колени и, схватив ее за руку, задышавшимся шепотом проговорил:

– Оставьте Лушу в покое... Слышите: оставьте! Я встретился с вами в несчастную минуту и дорого заплатил за это удовольствие...

– И я, кажется, не дешево!

– Но моя девочка не виновата ни душой, ни телом в наших ошибках...

– Перестаньте ломать комедию, Виталий Кузьмич, – строго заговорила Раиса Павловна, направляясь к выходу. – Достаточно того, что я люблю Лушу гораздо больше вашего и позабочусь о ней...

– Неужели вам мало ваших приживалок, которыми вы занимаете своих гостей?! – со злостью закричал Прозоров, сжимая кулаки. – Зачем вы втягиваете мою девочку в эту помойную яму? О, господи, господи! Вам мало видеть, как ползают и пресмыкаются у ваших ног десятки подлых людей, мало их унижения и добровольного позора, вы хотите развратить еще и Лушу! Но я этого не позволю... Этого не будет!

– Вы забываете только одно маленькое обстоятельство, Виталий Кузьмич, – сухо заметила Раиса Павловна, останавливаясь в дверях, – забываете, что Луша совсем большая девушка и может иметь свое мнение, свои собственные желания.

Прозоров остановился, что-то подумал, махнул рукой и каким-то упавшим голосом спросил:

– Скажите, по крайней мере, Для чего вы меня исповедовали о генерале Блинове?

Раиса Павловна только пожала плечами и презрительно улыбнулась. Она вздохнула свободнее, когда очутилась на открытом воздухе.

– Дурак!.. – энергично проговорила она, шагая по черемуховой аллее к центральной площадке.

III

Возвращаясь по саду домой, Раиса Павловна перебирала в уме только что слышанную болтовню Прозорова. Что такое генерал Блинов – она почти поняла, или, по крайней мере, отлично представляла себе этого человека; но относительно особы она мало вынесла из своего визита к Прозорову. Эта особа так и оставалась искомым неизвестным. Прозоров рисовал слишком густыми красками и, наверно, любую половину приврал. Раису Павловну смущало больше всего противоречие, которое вытекало из характеристики Прозорова: если эта таинственная особа стара и безобразна, то где же секрет ее влияния на Блинова, тем более что она не была даже его женой? Что-нибудь да не так, особенно если принять во внимание, что генерал, по всем отзывам, человек умный и честный... Конечно, бывают иногда случаи.

Занятая своими мыслями, Раиса Павловна не заметила, как столкнулась носом к носу с молоденькой девушкой, которая шла навстречу с мохнатым полотенцем в руках.

– Ах, как ты меня испугала, Луша!

– Куда это вы ходили, Раиса Павловна? – весело спрашивала девушка, целуя Раису Павловну звонким поцелуем.

– К вам ходила... С папенькой твоим беседовали чуть не целый час. Даже голова заболела от его болтовни... Ты что это, купалась?

– Да...

Девушка показала свои густые мокрые волосы, завернутые толстым узлом и прикрытые сверху пестрым бумажным платком, который был сильно надвинут на глаза, как носят заводские бабы. Под навесом платка беззаботно смеялись бойкие карие глаза, опущенные длинными ресницами; красивый с горбиком нос как-то особенно смешно морщился, когда Луша начинала смеяться. Это молодое лицо, теперь все залитое румянцем, было хорошо даже своими недостатками: маленьким лбом, неправильным овалом щек, чем-то бесхарактерным, что лежало в очерке рта. Раиса Павловна любила это лицо и теперь с особенным удовольствием осматривала девушку с ног до головы: положительно, Луша унаследовала от отца его нервную

красоту. С материнской улыбкой она осматривала теперь новенькое платье Луши. Это была дорогая обновка из чечунчи, и девушка в первый раз надела ее, чтобы идти купаться. Нет, в этой девчонке есть именно то качество, которое сразу выделяет женщину из тысячи других бесцветных кукол.

– Луша, я скажу тебе очень интересную новость... – заговорила Раиса Павловна, обнимая девушку за талию и увлекая ее за собой. – К нам едет Евгений Константиныч...

– Лаптев?

– Да. Только это пока секрет. Понимаешь?

– Понимаю, понимаю...

– С ним, конечно, едет Прейн, потом толпа молодежи... Превесело проведем все лето. Самый отличный случай для твоих первых триумфов!.. Да, мы им всем вскружим голову... У нас одни бюст чего стоит, плечи, шея... Да?.. Милочка, женщине так мало дано от бога на этом свете, что она своим малым должна распорядиться с величайшей осторожностью. Притом женщине ничего не прощают, особенно не прощают старости... Ведь так... а?..

При последних словах Раиса Павловна накинулась на девушку с такими ласками, от которых та принуждена была защищаться.

– Ах, какая ты недотрога!.. – с улыбкой проговорила Раиса Павловна. – Не нужно быть слишком застенчивой. Все хорошо в меру: и застенчивость, и дерзость, и даже глупость... Ну, сознайся, ты рада, что приедет к нам Лаптев? Да?.. Ведь в семнадцать лет жить хочется, а в каком-нибудь Кукарском заводе что могла ты до сих пор видеть, – ровно ничего! Мне, старой бабе, и то иногда тошнехонько делается, хоть сейчас же камень на шею да в воду.

– А Лаптев долго пробудет у нас?

– Пока ничего не знаю, но с месяц, никак не более. Как раз пробудет, одним словом, столько, что ты успеешь повеселиться до упаду, и, кто знает... Да, да!.. Говорю совершенно серьезно...

Луша тихо засмеялась теми же детскими нотками, как смеялся отец; ровные белые зубы и ямочки на щеках придавали смеху Луши какую-то наивную прелесть, хотя карие глаза оставались серьезными и в них светилось что-то жесткое и недоверчивое.

– Вы меня уж не за Прейна ли прочите? – проговорила Луша, делая гримасу.

– Нет. Прейн никогда не женится. Но это ему не мешает быть еще красивым мужчиной, конечно, красивым для своих лет. Когда-то он был замечательно хорош, но теперь...

– Мне он кажется просто отвратительным.

– Да? А между тем от него еще недавно женщины сходили с ума... Впрочем, ты еще была совсем крошкой, когда Прейн был здесь в последний раз.

– Все-таки я отлично его помню: зубы гнилые и смотрит так... совсем особенно. Я всегда боялась, когда он начинал смеяться.

– Дурочка!.. Что же мы здесь шатаемся с тобой, пойдем ко мне кофе пить.

– Я схожу переодеться сначала.

– Вздор! Можешь у меня переодеться. Афанасья уберет тебе волосы.

Они пошли от пруда по направлению к главному зданию господского дома. Солнце было уже высоко и подобрало ночную росу с травы и цветов. Только кой-где, под прикрытием кустов, оставались еще темно-зеленые полосы мокрой зелени, точно сейчас покрытой лаком. Из этих тенистых уголков так и обдавало свежестью, которая быстро исчезала под наплывом сгущавшегося летнего зноя. Легкое грозовое облачко, точно вскинутый кверху ворох темных кружев, круто поднималось над далекими горами, оставляя за собой длинную тень, скользившую по земле широким шлейфом.

С веранды дамы прошли прямо в уборную Раисы Павловны, великолепную голубую комнату с атласными обоями, штофными драпировками и ореховой мебелью в стиле которого-то Людовика. Мраморный умывальник, низкая резная кровать с балдахином над изголовьем, несколько столиков самой вычурной работы, в углах шифоньерки – вообще обстановка уборной придавала ей вид и спальни и будуара. Тысячи безделушек валялись кругом без всякой цели и порядка, единственно потому только, что их так бросили или забыли: японские коробки и лакированные ящички, несколько китайских фарфоровых ваз, пустые бонбоньерки, те специально дамские безделушки, которыми Париж наводняет все магазины, футляры всевозможной величины, формы и назначения, флаконы с духами, целый арсенал принадлежностей косметики и т. д. Приготовленное Афанасьей платье ждало Раису Павловну на широком

атласном диванчике; различные принадлежности дамского костюма перемешались в беспорядочную цветочную кучу, из-под которой выставлялись рукава платья с болтавшимися манжетами, точно под этой кучей лежал раздавленный человек с бессильно опустившимися руками. Раиса Павловна любила щеголять в пестрых костюмах, особенно летом.

– Афанасья, приberi голову Луше, – лениво проговорила Раиса Павловна, усталым движением опускаясь на кушетку. – А я подожду...

Афанасья, худая и длинная особа, с костлявыми руками и узким злым лицом, молча принялась за дело. Девушка с удовольствием поместилась к дамскому уборному столику, овальное зеркало которого совсем пряталось под кружевным пологом, схваченным наверху короной из голубых и белых лент. Раиса Павловна несколько минут следила за работой Афанасьи и нахмурилась. Верная служанка, видимо, была недовольна своей работой и сердито приводила в порядок рассыпавшуюся по плечам Луши волну русых волос; гребень ходил у ней в руках неровно и заставил девушку несколько раз сморщиться от боли.

– Оставь... – проговорила Раиса Павловна, когда Афанасья принялась заплетать тяжелую косу. – Можешь идти.

Афанасья что-то проворчала себе под нос и вышла из комнаты.

– Настоящая змея! – с улыбкой проговорила Раиса Павловна, вставая с кушетки. – Я сама устрою тебе все... Сиди смирно и не верти головой. Какие у тебя славные волосы, Луша! – любовалась она, перебирая в руках тяжелые пряди еще не просохших волос. – Настоящий шелк... У затылка не нужно плести косу очень туго, а то будет болеть голова. Вот так будет лучше...

С ловкостью камеристки Раиса Павловна сделала пробор на голове, заплела косу и, отойдя в сторону, несколько времени безмолвно любовалась сидевшей неподвижно Лушей. Когда та хотела встать, она остановила ее:

– погоди, у меня есть одна штучка, которая к тебе очень пойдет.

Вытащив из шифоньерки какой-то длинный футляр. Раиса Павловна торопливо достала из него несколько ниток красных кораллов с золотой застежкой и надела их на Лушу.

– Вот теперь хорошо! – довольным голосом заметила она. – Красные кораллы идут ко всякой коже...

Луша покраснела от удовольствия; у нее, кроме бус из дутого стекла, ничего не было, а тут были настоящие кораллы. Это движение не ускользнуло от зоркого взгляда Раисы Павловны, и она поспешила им воспользоваться. На сцену появились браслеты, серьги, броши, колье. Все это примеривалось перед зеркалом и ценилось по достоинству. Девушке особенно понравилась брошь из восточного изумруда густого кровавого цвета; дорогой камень блестел, как сгусток свежезапекшейся крови.

– Не правда ли, хорошо? – спрашивала Раиса Павловна и потом вдруг расхохоталась.

Девушка смутилась и начала торопливо срывать с себя чужие сокровища, но Раиса Павловна удержала ее за руку.

– Знаешь, над чем я хохочу? – шептала она, вздрагивая от смеха. – Если бы твой папа увидел теперь нас, он просто приколотил бы и тебя и меня... Ведь он ненавидит все, что нравится женщинам. Ха-ха... Он хотел сделать из тебя мальчика – да? Но природа перехитрила его. Разве мы виноваты, если эти безделушки делают нас не красивее, а заметнее. Женщина – пассивное существо; ей, особенно в известном возрасте, поневоле приходится прибегать к искусству... Но это к тебе не относится: ты слишком хороша сама по себе, чтобы портить себя разным дорогим хламом. Какая-нибудь лента, несколько живых цветов – вот все, что для тебя теперь необходимо. Так?.. Только не следует забывать, что всякая красота, особенно типичная, редкая красота, держится недолго и ее приходится поддерживать. Вот об этом всякой женщине следует подумать заблаговременно. Женщина всегда останется женщиной, что бы там ни говорили... Будь ты умна, как все семь греческих мудрецов, но ни один мужчина не посмотрит на тебя, как на женщину, если ты не будешь красива. Заметь, что даже самой красивой девушке не всегда будет семнадцать лет... Время – наш самый страшный враг, и мы всегда должны это помнить, *ma petite*^[1].

Этот разговор был прерван появлением Афанасьи с кофе. За ней вошел в комнату высокий господин в круглых очках. Он осмотрелся в комнате и нерешительно проговорил:

– Раиса Павловна, вы слышали новость?

– Какую?

– Евгений Константиныч едет к нам...

– Неужели?

– Да, да... Все говорят об этом. Получено какое-то письмо. Я нарочно зашел к тебе узнать, что это такое?..

– Можешь успокоиться: Лаптев действительно едет сюда. Я сегодня получила письмо об этом.

– Здравствуйте, Платон Васильич... – заговорила Луша.

– Ах, да... Виноват, я совсем не заметил тебя, – рассеянно проговорил Платон Васильич. – Я что-то хуже и хуже вижу с каждым днем... А ты выросла. Да... Совсем уж взрослая барышня, невеста. А что папа? Я его что-то давно не вижу у нас?

– Виталий Кузьмич сердится на тебя, – ответила Раиса Павловна.

Платон Васильевич постоял несколько минут на своем месте, рассеянным движением погладил свою лысину и вопросительно повернул сильно выгнутые стекла своих очков в сторону жены. На его широком добродушном лице с окладистой седой бородой промелькнула неопределенная улыбка. Эта улыбка рассердила Раису Павловну. «Этот идиот невыносим», – с щемящей злобой подумала она, нервно бросая в угол какой-то подвернувшийся под руку несчастный футляр. Ее теперь бесила и серая летняя пара мужа, и его блестящие очки, и нерешительные движения, и эта широкая лысина, придававшая ему вид новорожденного.

– Ну? – сердито бросила она свой обычный вопрос.

– Я – ничего... Я сейчас иду в завод, – заговорил Платон Васильевич, ретируясь к двери.

– Ну и отправляйся в свой завод, а мы здесь будем одеваться. Кофе я пришлю к тебе в кабинет.

Когда Платон Васильевич удалился, Раиса Павловна тяжело вздохнула, точно с ее жирных плеч скатилось тяжелое бремя. Луша не заметила хорошенько этой семейной сцены и сидела по-прежнему перед зеркалом, вокруг которого в самом художественном беспорядке валялись броши, браслеты, кольца, серьги и колье. Живой огонь брильянтов, цветные искры рубинов и сапфиров, радужный, жирный блеск жемчуга, молочная теплота большого опала – все это притягивало теперь ее взгляд с магической силой, и она продолжала смотреть на разбросанные сокровища, как очарованная. Воображение рисовало ей, что эти брильянты искрятся у ней на шее и разливают по

всему телу приятную теплоту, а на груди влажным огнем горит восточный изумруд. В карих глазах Луши вспыхнул жадный огонек, заставивший Раису Павловну улыбнуться. Кажется, еще одно мгновение, и Луша, как сорока, инстинктивно схватила бы первую блестящую безделушку. Девушка очнулась только тогда, когда Раиса Павловна поцеловала ее в зарумянившуюся щечку.

– А... что?.. – бормотала она, точно просыпаясь от своего забытья.

– Ничего... Я залюбовалась тобой. Хочешь, я подарю тебе эту коралловую нитку?

Действительность отрезвила Лушу. Инстинктивным движением она сорвала с шеи чужие кораллы и торопливо бросила их на зеркало. Молодое лицо было залито краской стыда и досады: она не имела ничего, но милостыни не принимала еще ни от кого. Да и что могла значить какая-нибудь коралловая нитка? Это душевное движение понравилось Раисе Павловне, и она с забившимся сердцем подумала: «Нет, положительно, эта девчонка пойдет далеко... Настоящий тигренок!»

IV

Известие о приезде Лаптева молнией облетело не только Кукарский, но и все остальные заводы.

Интересно было проследить, как распространилось это известие по всему заводскому округу. Родион Антоныч не сказал никому о содержании своего разговора с Раисой Павловной, но в заводоуправлении видели, как его долгушка не в урочный час прокатилась к господскому дому. Это – раз. Когда служащие навели необходимые справки, оказалось, что за Родионом Антонычем рассылка из господского дома бегала целых три раза. Вот вам – два. А это уж что-нибудь значило! После таких экстренных советов Раисы Павловны с своим секретарем всегда следовали какие-нибудь важные события. Когда служащие вкривь и вкось обсуждали все случившееся, в заводскую библиотеку, которая помещалась в здании заводоуправления, прибежал Прозоров и торопливо сообщил, что на заводы едет Лаптев. Он сам не слышал об этом, но дошел до такого заключения путем чисто логических выкладок и, как мы видим, не ошибся. В библиотеке в это время сидели молодой заводский доктор Кормилицын и старик Майзель, второй заводский управитель.

– Что же тут особенного: едет – так едет! – жидким тенорком заметил доктор, поправляя свою нечесаную гриву.

– А па-азвольте узнать, Виталий Кузьмич, от кого вы это узнали? – спрашивал Майзель, отчеканивая каждое слово.

– Все будешь знать, скоро состаришься, – уклончиво ответил Прозоров, ероша свои седые кудри. – Сказал, что едет, и будет с вас.

Майзель презрительно сжал свои губы и подозрительно чмокнул углом рта. Его гладко остриженная голова, с закрученными седыми усами, и военная выправка выдавали старого военного, который постоянно выпячивал грудь и молодецкато встряхивал плечами. Красный короткий затылок и точно обрубленное лицо, с тупым и нахальным взглядом, выдавали в Майзеле кровного «русского немца», которыми кишмя кишит наше любезное отечество. В манере Майзеля держать себя с другими, особенно в резкой чеканке слов, так и резал глаз старый фронтовик, который привык к слепому подчинению

живой человеческой массы, как сам умел сгибаться в кольцо перед сильными мира сего. К этому остается добавить только то, что Майзель никак не мог забыть тех жирных генеральских эполет, которые уже готовы были повиснуть на его широких плечах, но по одной маленькой случайности не только не повисли, но заставили Майзеля выйти в отставку и поступить на частную службу. Рядом с Майзелем, вылощенным и вычищенным, как на смотр, доктор Кормилицын представлял своей длинной, нескладной и тощей фигурой жалкую противоположность. В нем как-то все было не к месту, точно платье с чужого плеча: тонкие ноги с широчайшими ступнями, длинные руки с узкой, бессильной костью, впалая чахоточная грудь, расштанная походка, зеленовато-серое лицо с длинным носом и узкими карими глазами, наконец вялые движения, где все выходило углом. Прозоров бойко и насмешливо посмотрел на своих слушателей и проговорил, обращаясь к Майзелю:

– Итак, драгоценнейший Николай Карлыч, дни наши сочтены, и воздастся коемуждо поделом его...

– Что вы хотите этим сказать?..

– Ха-ха... Ничего, ничего! Я пошутил...

– И очень глупо!..

– Нет, кроме шуток: с Лаптевым едет генерал Блинов, и нам всем достанется на орехи.

Последняя фраза целиком долетела до ушей входившего в библиотеку бухгалтера из Заозерного завода. Сгорбленный лысый старичок тускло посмотрел на беседовавших, неловко поклонился им и забился в самый дальний угол, где из-за раскрытой газеты торчало его любопытное старческое ухо, ловившее интересный беглый разговор.

Этого было достаточно, чтобы через полчаса все заводские служащие узнали интересную новость. Майзель торопливо уехал домой, чтобы из первых рук сообщить все слышанное своей Амалии Карловне, у которой – скажем в скобках – он нес очень тяжелую фронттовую службу. Тем, кто не был в этот день на службе, интересное известие обязательно развез доктор Кормилицын, причем своими бессвязными ответами любопытную половину человеческого рода привел в полное отчаяние. Через два часа новинка уже катилась по дороге в Заозерный завод и по пути была передана ехавшему

навстречу кассиру из Куржака и Мельковскому заводскому надзирателю. Словом, полученное утром Раисой Павловной известие начало циркулировать по всем заводам с изумительной быстротой, поднимая на всех ступеньках заводской иерархии страшнейший переполох. Как это часто случается, последним узнал эту интересную новость главный управляющий Кукарских заводов Платон Васильич Горемыкин. Он с механиком дожидался отливки катальных валов, когда старик дозорный, сняв шапку, почтительно осведомился, не будет ли каких особенных приказаний по случаю приезда Лаптева.

– Что-нибудь да не так, – усомнился Горемыкин.

– Нет, они едут-с... – настаивал дозорный. – Вся фабрика в голос говорит.

– Вы разве ничего не слыхали, Платон Васильич? – с удивлением спрашивал механик.

– Нет.

– Странно... Все решительно говорят о приезде Евгения Константиныча на заводы.

– Гм... Нужно будет спросить у Раисы Павловны, – решил Горемыкин. – Она знает, вероятно.

Главный виновник поднявшегося переполоха, Прозоров, был очень доволен той ролью, которая ему выпала в этом деле. Пущенным наудачу слухом он удовлетворил свое собственное озлобленное чувство против человеческой глупости: пусть-де их побеснуются и поломают свои пустые головы. С другой стороны, этому философу доставляло громадное наслаждение наблюдать базар житейской суеты в его самых живых движениях, когда наверх всплывали самые горячие интересы и злобы. Подавленная тревога Майзеля, детское равнодушие доктора, суета мелкой служительской сошки – все это доставляло богатый запас пищи для озлобленного ума Прозорова и служило материалом для его ядовитых сарказмов. Побродив по заводоуправлению, где в четырех отделениях работало до сотни служащих, Прозоров отправился к председателю земской управы Тетюеву, который по случаю летних вакаций жил в Кукарском заводе, где у него был свой дом.

– Слышали новость, Авдей Никитич? – крикливо спрашивал Прозоров еще из передней небольшого вертлявого господина в синих очках, который ждал его в дверях гостиной.

– Да, слышал... Только это нас не касается, Виталий Кузьмич, – отвечал председатель, протягивая свою короткую руку. – Для земства это совершенно безразлично.

– Ой ли?

– Конечно, безразлично... Хотя бы три дня шел дождь Лаптевыми, скажу словами Лютера, до земства это не касается... Земство должно держать высоко знамя своей независимости, оно стоит выше всего этого.

Прозоров засмеялся.

– Вы чему смеетесь?

– Да так... Скажу вам на ушко, что всю эту штуку я придумал – и только! Ха-ха!.. Пусть их поворочают мозгами...

– В таком случае, я могу вас уверить, что Лаптев действительно едет сюда. Я это знаю из самых наидостовернейших источников...

– Вот те и раз! Значит, иногда можно соврать истинную правду.

– Вы, конечно, знаете, какую борьбу ведет земство с заводоуправлением вот уже который год, – торопливо заговорил Тетюев. – Приезд Лаптева в этом случае имеет для нас только то значение, что мы окончательно выясним наши взаимные отношения. Чтобы нанести противнику окончательное поражение, прежде всего необходимо понять его планы. Мы так и сделаем. Я поклялся сломить заводоуправление в его нынешнем составе и добьюсь своей цели.

– Война алой и белой розы?

– Да, около того. Я поклялся провести свою идею до конца, и не буду я, если когда-нибудь изменю этой идее.

– Враг силен, Авдей Никитич...

– Чтобы я когда-нибудь перешел на сторону Лаптева?! Нет, Виталий Кузьмич, наплюйте мне в лицо, если заметите хоть тень чего-нибудь подобного.

Плотная, приземистая фигура Тетюева, казалось, дышала той энергией, которая слышалась в его словах. Его широкое лицо с крупными чертами и окладистой русой бородкой носило на себе интеллигентный характер, так же как и простой домашний костюм, приспособленный для кабинетной работы. Вообще Тетюев представлял собой интересный тип земского деятеля, этого homo novus^[2] захолустной провинциальной жизни. Отец и дед Тетюева служили управителями в Кукарском заводе и прославились в темные

времена крепостного права особенной жестокостью относительно рабочих, под их железной рукой стонали и гнулись в бараний рог не одни рабочие, а весь штат заводских служащих, набранных из тех же крепостных. Авдей Никитич только чуть помнил это славное время процветания своей фамилии, а самому ему уже пришлось пробивать дорогу собственным лбом и не по заводской части. Полученное им университетское образование, вместе с наследством после отца, дало ему полную возможность не только фигурировать с приличным шиком в качестве председателя Ельниковской земской управы, но еще погибать углы такой крупной силе, как кукарское заводоуправление. В последнем случае одною из побудительных причин, поддававшей Авдею Никитичу неиссякаемый прилив энергии, служило самое простое обстоятельство: он не мог никак примазаться к заводам, куда его неудержимо тянуло в силу семейных традиций, и теперь в качестве земского деятеля солил заводоуправлению в его настоящем составе.

– А я вот «Лоэнгрин» здесь штудирую... – объяснял Тетюев, усаживая гостя на диван. – Чертовски трудная эта вагнеровская музыка.

– Ага!

– Знаете, такие оригинальные музыкальные фразы попадают, что бьешься-бьешься над ними...

– Ага! Ага, ворона!

– Да вот я вам лучше сыграю, сами увидите!

Тетюев подбежал к щегольскому роялю и бойко заиграл какую-то сцену из второго акта «Лоэнгрин». Поместившись на диване, Прозоров старался вслушаться в шумные аккорды музыки будущего; музыкальная тема была слишком растянута и расплывалась в неясных деталях. Старик предпочитал музыку прошедшего, где все было ясно и просто: хоры так хоры, мелодия так мелодия, а то извольте-ка выдержать всю пьесу до конца. Играл Тетюев порядочно и страстно любил музыку, которой отдавал все свое свободное время. В нем была артистическая жилка, которая теперь сближала этих антиподов. В сущности, Прозоров не понимал Тетюева: и умный он был человек, этот Авдей Никитич, и образование приличное получил, и хорошие слова умел говорить, и благородной энергией постоянно задыхался, а все-таки, если его разобрать, так черт его знает, что это был за

человек... Собственно, Прозорова отталкивала та мужицкая закваска, какая порой сказывалась в Тетюеве: неискренность, хитрость, неуловимое себе на уме, которое вырабатывалось под давлением крепостного режима целым рядом поколений. Прозорову хотелось верить в Тетюева, но эту веру постоянно подмывала какая-то холодная и фальшивая нотка. Обстановка большого председательского дома отличалась пестрой смесью старой крепостной роскоши с требованиями нового времени. Почерневшие кресла из красного дерева с тонкими ножками и выгнутыми спинками простояли в этом доме целых полвека и теперь старчески-неприятно смотрели на новую венскую мебель, на пестрые бархатные ковры и на щегольской рояль. Старик Тетюев был крепкий человек и не допустил бы к себе в дом ничего легковесного: каждая вещь должна была отслужить минимум сто лет, чтобы добиться отставки. Но старика Тетюева не стало, и в его дом вместе с новыми легковесными людьми ворвался целый поток разной дребедени. Звуки вагнеровской оперы дополняли картину, наполняя стены, выстроенные крепостным трудом, мелодиями музыки будущего. Прозоров слушал «Лоэнгрин» и незаметно позабылся, погрузившись в воспоминания своего тревожного прошлого, где вставало столько дорогих сердцу лиц и событий.

– Ну-с, как вы находите? – спрашивал хозяин, поднимаясь из-за рояля.

– А... что?

Тетюев немного обиделся. Невнимание к его игре задело его за живое, как артиста.

– Вот что, – прибавил он. – Соловья музыкой будущего не кормят... Так? Адмиральский час на дворе, и пора закусить.

От закуски Прозоров не отказался, тем более что Тетюев любил сам хорошо закусить и выпить, с теми специально барскими приемами, какие усваиваются на официальных обедах и парадных завтраках. За бутылкой рейнвейна Прозоров разболтался, и Тетюев много и долго говорил о процветании Ельниковского земства, о народном образовании, а особенно о том, что Кукарские заводы в стройном земском концерте являются страшным диссонансом, который необходимо перевести в гармонические комбинации. Развивая свою мысль, он доказывал, как дважды два четыре, что

заводы должны быть обложены вчетверо больше, чем теперь, что должны быть обеспечены на счет заводовладельца все искалеченные на заводской работе, изработавшиеся и сироты, что он притянет заводовладельца по поводу профессионального образования и т. д. Прозоров, слушая все это внимательно, пил и не возражал, улыбаясь блаженной улыбкой довольного пьяницы. В заключение Тетюев не без ловкости принялся расспрашивать Прозорова о генерале Блинове, причем Прозоров не заставлял просить себя лишней раз и охотно повторил то же самое, что утром уже рассказывал Раисе Павловне.

– Так, так... – мягким грудным баритоном поддакивал Тетюев, рассматривая охмелевшего Прозорова через очки. – А я, знаете, несколько иначе думал об этом генерале Блинове...

– Да что вам дался этот генерал Блинов? – закончил Прозоров уже пьяным языком. – Блинов... хе-хе!.. это великий человек на малые дела... Да!.. Это... Да ну, черт с ним совсем! А все-таки какое странное совпадение обстоятельств: а женщина в голубых одеждах приходила утру глубоку... Да!.. Чер-рт побери... Знает кошка, чье мясо съела. А мне плевать.

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз, –

декламировал старик, склоняясь на подушку дивана.

– Отдохните здесь, Виталий Кузьмич.

– И то добре... «Звезды сияют во мраке их глаз»... Недурно сказано... Чисто восточная форма сравнения, а в этом анафемском «сияют» – настоящая музыка! Хе-хе!.. Когда-то и у царицы Раисы сияли звезды, а теперь! фюить...

И погибнет священная Троя,
И град копьеносца Приама священный...

Отдыхать у Тетюева Прозоров, однако, не остался, а побрел домой, «под свою смоковницу», как он объяснил своим заплетавшимся языком.

– Блинов едет... Великий человек едет!.. Ха-ха... – думал вслух Прозоров, нетвердой походкой приближаясь к своему жилищу. – Светило науки, финансист... Х-ха!.. Лукреция?

– Опять нализался?.. – сердито встретила отца Луша, помогая ему добраться до своего кабинета.

– М-мы завтракали, Лукреция... Авдей Никитич – хороший челаэк... Он... он задаст перцеазра с горошком царице Раисе. Х-ха... А Майзель – дурак... солдафон!..

Пошатываясь на месте, Прозоров изобразил дочери надутую фигуру русского немца. В следующий момент он представил вытянутую и сутуловатую «натуру» доктора и засмеялся своим детским смехом.

– А что, Лукреция, Яшка Кормилицын все еще ухаживает за тобой? Ах, бисов сын! Ну, да ничего, дело житейское, а он парень хороший – как раз под дамское седло годится. А все-таки враг горами качает:

Мой совет: до о-обрученья
Две-ерь не отворя-ай!
Две-ерь не от-воо-ря-аай... –

хрипло пропел Прозоров арию Мефистофеля.

– Ты слышал, папа, что сюда едет Лаптев? – перебила Луша пьяную болтовню старика.

– Слышал... Его тащит сюда на буксире генерал Блинов... Царица Раиса нарочно прибежала ко мне утром выведать кое-что о Блинове. Уж я ей врал-врал... Потом Тетюев тоже стороной выпытывал, и тому врал сторицей. Вот, Лукреция, поучайся житейской философии: когда-то Блинов... Ну, да что об этом говорить: плевать!.. Наше время другое было: идеалисты были, эстетики... На хороших словах

помешались... Вам это даже слушать скучно, а мы обливались кровью над разными красивыми благоглупостями. Посвящали себя служению истине, добру и красоте, а вместо того вышло – распивочно и навывнос... Ха-а!.. Лукреция:

На щеках, как в жаркое лето,
Румянец, пылая, горит...
А сердце морозом одето,
И зимний там холод стоит.

– Будет, папа, ложись и выспись сначала. Твои стихи давно и всем надоели...

– Нет, постой, это Гейне стихи. Шалишь... Ты слушай:

Верь, милая! время настанет,
Время придет,
И солнце в сердечко заглянет,
И щечки морозом зальет!..

Гейне... О! это была такая шельма, Лукреция... это... это... ну, в ваше архиреальное время никто не напишет таких стихов! – болтал старик, обращаясь в пространство.

Девушка прошла в свою комнату, которая выходила в сад, села к окну и заплакала. Болтовня пьяного отца переполнила чашу. Разговоры Раисы Павловны привели Лушу в самое возбужденное состояние, и она ушла из господского дома в каком-то тумане, унося в душе жгучую жажду иной жизни, о какой могла только мечтать. Действительность слишком мало отвечала этим мечтам; напротив, она шла вразрез с теми идеальными постройками, какие сложились в голове семнадцатилетней девушки. Жажда богатства, наслаждений, веселья – вот что теперь сладко кружило голову Луши, а тут полугнилой флигель, нищенская обстановка, позорная бедность в каждом углу, полусумасшедший пьяница-отец и какой-то идиот-поклонник, в лице доктора Кормилицына. Тут было от чего заплакать... Луша теперь ненавидела даже воздух, которым дышала: он, казалось ей, тоже был насыщен той бедностью, какая обошла

флигелек Прозорова со всех сторон, пряталась в каждой складке более чем скромных платьев Луши, вместе с пылью покрывала полинялые цветы ее летней соломенной шляпы, выглядывала в отверстия проносившихся прюнелевых ботинок и сквозила в каждую щель, в каждое отверстие.

Стоило ли жить так, как она жила? – думала девушка. Это какое-то прозябание, хуже – медленное разложение, как гниет где-нибудь в сыром углу плесень. И в то же время Раиса Павловна наслаждается всеми благами жизни, царствует в полном смысле этого слова. Кораллы, которые Раиса Павловна утром предлагала Луше, еще раз подняли в ней всю желчь; молодая гордость заколотила у нее в душе. Разве она нищая, чтобы принимать подарки от Раисы Павловны? Разве ей нужны эти безделушки? Нет, она задыхалась под наплывом не таких желаний: уж если роскошь – так настоящая роскошь, а не эти лохмотья роскоши, которые хуже ее бедности. В Луше теперь с страшной силой заговорил тот разлагающий элемент, который шаг за шагом незаметно привила к ней Раиса Павловна.

«А тут еще Яшка Кормилицын... – со злостью думала девушка, начиная торопливо ходить по комнате из угла в угол. – Вот это было бы мило: madame Кормилицына, Гликерия Витальевна Кормилицына... Прелестно! Муж, который не умеет ни встать, ни сесть... Нужно быть идиоткой, чтобы слушать этого долговолосого дурня...»

Подойдя к зеркалу, Луша невольно рассмеялась своей патетической реплике. На нее из зеркала с сдвинутыми бровями гневно смотрело такое красивое, свежее лицо, от недавних слез сделавшееся еще краше, как трава после весеннего дождя. Луша улыбнулась себе в зеркало и капризно топнула ногой в дырявой ботинке: такая редкая типичная красота требовала слишком изящной и дорогой оправы.

Чтобы понять странные мысли Луши, мы должны обратиться к самому Прозорову.

Это был замечательный человек в том отношении, что принадлежал к совершенно особенному типу, который, вероятно, встречается только на Руси: Прозорова заело красное словцо... С блестящими способностями, с счастливой наружностью в молодые годы, с университетским образованием, он кончил тем, что доживал

свои дни в страшной глуши, на копеечном жалованье. Из богатой, но разорившейся помещичьей семьи по происхождению, Прозоров унаследовал привычки и замашки широкой русской натуры. Еще ребенком он поражал учителей своим светлым, бойким умом; в университете около него группировался целый кружок молодежи; первые житейские дебюты обещали ему блестящую будущность. «Прозоров далеко пойдет» – было общим мнением учителей и товарищей. Внимание женщин сопровождало каждый шаг молодого счастливец, который был так умен, находчив, остер и с таким редким талантом читал лучших поэтов. Прозоров готовился к университетской кафедре, где ему пророчили судьбу второго Грановского. Только один старичок профессор, к которому молодой магистрант иногда обращался за разными советами по поводу своей магистерской диссертации, в минуту откровенности прямо высказал Прозорову: «Эх, Виталий Кузьмич, Виталий Кузьмич... Хороший вы человек, и мне вас жаль!» – «Что так?» – «Да так... Ничего из вас не выйдет, Виталий Кузьмич». Этот профессор принадлежал к университетским замухрышкам, которые всю жизнь тянут самую неблагоприятную лямку: работают за десятерых, не пользуются благами жизни и кончают тем, что оставляют после себя несколько томов исследования о каком-нибудь греческом придыхании и голодную семью. Товарищи-профессора относятся к таким замухрышкам с сдержанным чувством ученого презрения, студенты свысока, – и вдруг именно такой замухрышка делает Виталию Прозорову, будущему Грановскому, такое обидное предсказание. В первый момент вся кровь бросилась в голову Прозорову, но он сдержал себя и с принужденной улыбкой спросил: «На каком же основании вы заживо меня хороните, N. N.?» – «Да как вам сказать... Одним словом, вы принадлежите к людям, про которых говорят, что в них бочка меду, да ложка дегтя».

Вся дальнейшая карьера Прозорова служила точно оправданием этого глупого пророчества. Началось с того, что Прозоров для первого раза «разошелся» с университетским начальством из-за самого ничтожного повода: он за глаза сострил над профессором, под руководством которого работал. Профессор смолчал, но вступились товарищи и провалили магистерскую диссертацию будущего Грановского по всем правилам искусства. От такой неожиданности Прозоров сначала опешил, а потом решил идти напролом, то есть

взять магистра с бою, по рецепту Тамерлана, который учился своим военным успехам у «мравия», сорок раз втаскивавшего зерно в гору и сорок раз свалившегося с ним, но все-таки втащившего его в сорок первый. Но, как на грех, в это время ему подвернулась одна девушка из хорошего семейства, которая отнеслась с большим сочувствием к его ученому горю. В отношениях с женщинами Прозоров держал себя очень свободно, а тут его точно враг попутал: в одно прекрасное утро он женился на сочувствовавшей ему девушке, точно для того только, чтобы через несколько дней сделать очень неприятное открытие, – именно, что он сделал величайшую и бесповоротную глупость... Он даже не любил своей жены, как припомнил после, а просто женился на ней от неожиданного огорчения.

К счастью Прозорова, жена ему попала умная и с твердым характером. Она очень много поддерживала мужа, но все-таки не могла его дотянуть до профессорской кафедры. Как все бесхарактерные люди, Прозоров во всех своих неудачах стал обвинять жену, которая мешала ему работать и постепенно низвела его с его ученой высоты до собственного среднего уровня. В течение десяти лет Прозорову привелось переменить больше десятка служебных мест. Сначала он обыкновенно легко осваивался с своим новым положением и новыми товарищами, а потом неожиданно возникало какое-нибудь препятствие, и Прозоров, в счастливом случае, когда его не выгоняли со службы, сам убирался подобру-поздорову. Таким образом, Прозоров успел послужить учителем в трех мужских гимназиях и в двух женских, потом был чиновником министерства финансов, из министерства финансов попал в один из женских институтов и т. д. И везде Прозоров был прежде всего сам виноват, то есть непременно что-нибудь сболтнет лишнее, посмеется над начальством, устроит каверзу. В конце концов он решил, что служить на коронной службе не стоит и, не долго думая, перешел на частную. Тут уж ему пришлось совсем плохо, тем более что никакой подходящей профессии он не мог себе подыскать и бестолково толкался между крупными промышленниками. В это тяжелое время он получил свою дурную привычку утешаться в холостой компании, где сначала пили шампанское, а потом спускались до сивухи.

Жена Прозорова скоро разглядела своего мужа и мирилась с своей мудреной долей только ради детей. Мужа она уважала как пассивно-

честного человека, но в его уме разочаровалась окончательно. Так они жили год за годом с скрытым недовольством друг против друга, связанные привычкой и детьми. Вероятно, они так дотянули бы до естественной развязки, какая необходимо наступает для всякого, но, к несчастью их обоих, выпал новый случай, который перевернул все вверх дном.

В один из самых тяжелых моментов своего мудреного существования, когда Прозоров целых полгода оставался без всяких средств и чуть не сморил семьи голодом, ему предложили урок в очень фешенебельном аристократическом семействе, – именно: предложили преподавать русскую словесность скучавшей малокровной барышне, типичной представительнице вырождавшейся аристократической семьи. Здесь Прозоров развернулся и по обыкновению показал товар лицом: его приличные манеры, остроты, находчивость и декламация открыли ему место своего человека и почти друга дома. Аристократическая обстановка богатого барского дома совсем опьянила увлекающуюся натуру Прозорова, тем более что для сравнения с ней вставало собственное полунищенское существование. Сделавшись почти своим человеком в доме, где он был совсем на особых правах, Прозоров позабыл, что он семейный человек и не в шутку увлекся одной барышней, которая жила у его патронов воспитанницей. Это и была Раиса Павловна, или, как ее там называли, Раечка. Стихи и самая непринужденная французская болтовня настолько сблизили молодых людей, что белокурая Раечка первая открыла чувства, какие питала к Прозорову, и не остановилась перед их реальным осуществлением даже тогда, когда узнала, что Прозоров не свободный человек. Умная, пылкая, с пикантным оттенком гривуазности^[3], она очертя голову отдалась Прозорову и быстро забрала его в свои бархатные руки. Эти интимные отношения, конечно, открылись; Раечку кое-как пристроили за инженера Горемыкина, а Прозорову пришлось вернуться к своим пенатам.

Как это нередко случается, жена Прозорова узнала последняя о разыгравшемся романе. Эта женщина слишком много перенесла в жизни, чтобы простить мужу ничем не заслуженное оскорбление, и разошлась с ним. Прозоров и здесь сыграл самую жалкую, бесхарактерную роль: валялся в ногах, плакал, рвал на себе волосы, вымаливая прощение, и, вероятно, добился бы обидного для всякого

другого мужчины снисхождения, если бы Раиса Павловна забыла его. Но эта женщина хорошо помнила свою первую любовь и не выпускала Прозорова из вида. Явившись к Прозоровой, она сама объяснила ей все и устроила окончательный разрыв между супругами. Расставшись с мужем, жена Прозорова несколько лет перебивалась в столице уроками и кончила свою незадавшуюся жизнь скоротечной чахоткой. Прозоров страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и неистовствовал, клялся для успокоения ее памяти исправиться, но не мог никак освободиться от влияния Раисы Павловны, которая не выпускала его из своих рук. Это были самые странные отношения, какие только можно себе представить: Раиса Павловна ненавидела Прозорова и всюду тащила его за собой, заставляя опускаться все ниже и ниже. Неудачный декламатор очутился в положении самого тяжелого рабства, которое он не в силах был разорвать и которое он всюду таскал за собой, как каторжник таскает прикованное к ноге ядро. Когда Горемыкины поехали на Урал, Прозорову было приказано ехать туда же, где для него специально было создано место инспектора заводских школ. Раиса Павловна не умела прощать и заживо похоронила свою первую любовь в гнилом флигельке кукарского господского дома.

У Прозорова после жены осталась маленькая дочь, Луша, которая вместе с отцом переживала все невзгоды его цыганского существования. Это был восприимчивый, впечатлительный ребенок, к своему несчастью унаследовавший от отца его счастливую наружность и известную дозу того дегтя, каким был испорчен отцовский мед. Прозоров, несмотря на все свои недостатки, отлично понимал сложный характер подраставшей девочки и решился переломить природу воспитанием. Свою педагогическую деятельность он начал с того, что переделал девочку мальчиком, точно в женском костюме таились все напасти и злобы, какими была отравлена жизнь Прозорова. Затем, с четырех лет он принялся проделывать на Луше все входившие в моду педагогические новинки: читать Луша училась по звуковому методу, играла по Фребелю, развивала свои умственные и нравственные силы по Песталоцци и т. д. Недостаток Прозоровского воспитания заключался в том, что он не мог выдержать характера в своих занятиях: то надсаживался и лез из кожи, то забывал о дочери на целый месяц. Девочка, пока была

маленькой, мирилась с своим мужским костюмом, но с Фребелем и Песталоцци повела самую упорную, партизанскую войну, какую умеют вести только дети. А когда она подросла, Прозоров, к своему ужасу, убедился в той печальной истине, что его Лукреция увлеклась бантиками и ленточками гораздо больше тех девочек, которые всегда ходили в женских платьях.

Интересно проследить взаимные отношения между Лушей и Раисой Павловной. В первый момент, когда Раиса Павловна увидела маленькую девочку-сиротку, она почувствовала к ней почти органическую ненависть. Ребенок искал матери и с детской наивностью несколько раз ласкался к единственной женщине, которая напоминала ему мать. Но Раиса Павловна грубо и почти цинически отталкивала от себя эти доверчиво тянувшиеся к ней детские руки: она ненавидела эту девочку, которая для нее являлась всегда живым укором. Луша, как многие другие заброшенные дети, росла и развивалась наперекор всяким невздам своего детского существования и к десяти годам совсем выровнялась, превратившись в красивого и цветущего ребенка. Самая красота подраставшей Луши бесила Раису Павловну, и она с удовольствием по целым часам дразнила и мучила беззащитную девочку, которая слишком рано для своего возраста привыкла скрывать все свои душевные движения.

– Какая ты, Лукерка, упрямая, – удивлялась иногда Раиса Павловна. – Настоящая дикарка!

Девочка отмалчивалась в счастливом случае или убегала от своей учительницы со слезами на глазах. Именно эти слезы и нужны были Раисе Павловне: они точно успокаивали в ней того беса, который мучил ее. Каждая ленточка, каждый бантик, каждое грязное пятно, не говоря уже о мужском костюме Луши, – все это доставляло Раисе Павловне обильный материал для самых тонких насмешек и сарказмов. Прозоров часто бывал свидетелем этой травли и относился к ней с своей обычной пассивностью.

Луше было двенадцать лет, когда в ее жизни произошел крупный поворот: раньше она бежала от преследований Раисы Павловны, теперь должна была бежать от ее ласк. Это случилось как-то вдруг. Раз летом, когда Раиса Павловна делала свой обычный предобеденный моцион по саду, она случайно забрела в самый глухой конец сада, куда редко заходила. На повороте одной аллеи она услышала чей-то шепот

и сдержанный смех. Это, конечно, ее заинтересовало, а в следующий момент Раиса Павловна уже подкрадывалась к тому таинственному зеленому уголку, где ожидала вспугнуть влюбленную парочку. Действительно, разговаривали два голоса: один – детский, другой – женский. Раздвинув осторожно последний куст смородины, Раиса Павловна увидела такую картину: в самом углу сада, у каменной небеленой стены, прямо на земле сидела Луша в своем запачканном ситцевом платье и стоптанных башмаках; перед ней на разложенных в ряд кирпичях сидело несколько скверных кукол. Девочка разговаривала за всех разом, подавала реплики и впересыпку вставляла свои собственные замечания. Она ухитрилась даже сохранять интонацию всех действующих лиц. На сцене фигурировало четверо: папа, мама, Раиса Павловна и сама Луша.

– Я не люблю папу, потому что он боится Раисы Павловны, – говорила кукла Луша. – Когда я вырасту большая, я откушу вам нос, Раиса Павловна! У меня будут хорошие платья, много, много лент и такой же браслет, как у Раисы Павловны. Какая она злая... папа зовет ее старой крымзой... Ххи-ххи-и!.. Ну, старая крымза, сиди смирно, пока я тебе не откусила нос. И коса у тебя фальшивая, и зубы фальшивые, и глаза подведены. Ах! как я тебя не люблю! А когда вырасту большая, поеду к маме... Мама ведь добрая, не такая, как папа. Мамочка, я приеду к тебе в гости... Ты обрадуешься мне... да?.. Не будешь смеяться надо мной, как Раиса Павловна? Славная ты моя, голубушка... Мы тогда прогоним Раису Павловну и будем жить вместе. Я выйду замуж за офицера с черными усами.

Вся эта детская беззаботная болтовня, как в фокусе, сосредоточивалась в одном магическом слове: мама... От него уже лучами расходились во все стороны детские грезы, воспоминания, радости и огорчения. В этом лепете звучало столько любви, чистой и бескорыстной, какая может жить только в чистом детском сердце, еще не омраченном ни одним дурным желанием больших людей. Так блестит алмазной яркой искрой капля ночной росы где-нибудь в густой траве, пока не сольется с другими такими же каплями и не попадет в ближайший мутный ручеек...

Раиса Павловна не помнила, сколько прошло времени, пока она слушала маленькую глупую девочку. От этого детского лепета у ней точно что оборвалось и растаяло в груди. Домой она вернулась

бледная и взволнованная, с красными глазами. Целую ночь затем ей снился тот зеленый уголок, в котором притаился целый детский мир с своей великой любовью. «Злая... ведьма...» – стояли у ней в ушах роковые слова, и во сне она чувствовала, как все лицо у ней горело огнем и в глазах накалились слезы. Она хотела обнять эту маленькую девочку, но та ловко скрывалась и убегала. Этот сон повторился, и Раиса Павловна не могла избавиться от него наяву. Что-то такое новое, хорошее, еще не испытанное проснулось у ней в груди, не в душе, а именно – в груди, где теперь вставала с страшной силой жгучая потребность не того, что зовут любовью, а более сильное и могучее чувство... Оно подавляло ее своей необъятностью, все остальное казалось таким жалким и ничтожным. Под наплывом этих ощущений Раиса Павловна сделала первый шаг к сближению с Лушей и сразу получила молчаливый, но глухой отпор. Луша с светлым инстинктом детства отстаивала неприкосновенность своего крошечного мирка, может быть слишком рано выкроившегося из пестрой смеси самых разнообразных впечатлений. Эта маленькая девочка каким-то чутьем разгадала истинные отношения своего отца к Раисе Павловне и почувствовала к ней непреодолимое отвращение, хотя в то же время, по странному психологическому процессу, в присутствии этой женщины каждый раз испытывала какое-то болезненное влечение к ней.

Если бы маленькая девочка с первого раза сдалась на ласки Раисы Павловны, тогда, по всей вероятности, это увлечение так же скоро прошло бы, как оно родилось. Но упорство Луши и ее недоверчивость только сильнее разжигали Раису Павловну: она, перед которой ползали и заискивали сотни людей, она бессильна перед какой-нибудь девчонкой... Самолюбивая до крайности, она готова была возненавидеть свою фаворитку, если бы это было в ее воле: Раиса Павловна, не обманывая себя, со страхом видела, как она в Луше жаждет долюбить то, что потеряла когда-то в ее отце, как переживает с ней свою вторую весну. Это чувство являлось результатом очень сложной душевной комбинации, составные нити которой проходили через целую жизнь.

Вот молодость Раисы Павловны, молодость в чужом богатом доме, где она испытала все прелести существования из милости. А между тем она была молода, хороша собой, умна, энергична. Случай с

Прозоровым выкинул бы ее прямо на улицу, если бы не подвернулся Горемыкин, за которого она вышла замуж. Мужа она никогда не любила, а смотрела на него только как на мужа, то есть как на печальную необходимость, без которой, к сожалению, обойтись было нельзя. Платон Васильич был честный и хороший человек, но он слишком был занят своей специальностью, которой посвящал почти все свое свободное время. По всей вероятности, ему, как многим другим труженикам, никогда не привелось бы играть никакой выдающейся роли. Таких «черноделов» много во всяких специальностях. Но Раиса Павловна не могла помириться с такой скромной долей и собственными силами потащила мужа в гору. Это была трудная работа, сопровождавшаяся неудачами и разочарованиями на каждом шагу. Стараясь при помощи разных протекций и специально женских интриг составить карьеру мужу, Раиса Павловна случайно познакомилась с Прейном, который сразу увлекся белокурой красавицей, обладавшей тем счастливым «колоритным темпераментом», какой так ценится всеми пресыщенными людьми. О любви тут, конечно, не могло быть речи, но Раиса Павловна была молода, полна сил и переживала опасный душевный момент, когда настоящее было неизвестно, а будущее темно. Что происходило и произошло ли что-нибудь серьезное между ними – сказать трудно, но это знакомство совпало как раз с эмансипацией, и Горемыкин получил место главного управляющего Кукарских заводов. Много прошло времени с тех пор. Раиса Павловна успела утратить одно за другим все свои женские достоинства, оставшись при одном колоритном темпераменте и беспокойном, озлобленном уме, который вечно чего-то искал и не находил удовлетворения. Полнота окончательно погубила и то последнее, что сохраняется красивыми женщинами от счастливой молодой поры. Но Прейн, несмотря на самые очевидные доказательства этих геологических переворотов, продолжал сохранять прежние дружеские отношения к Раисе Павловне, хотя успел за этот длинный период времени подарить своими симпатиями десятки других красивых женщин.

– Все эти мужчины, все до одного – подлецы! – таков был общий знаменатель, к которому пришла Раиса Павловна.

В Луше, таким образом, для Раисы Павловны сосредоточивались и подавленная жажда неудовлетворенного чувства и чисто материнские отношения, каких она совсем не испытала, потому что не имела детей. Когда прямая атака не удалась, Раиса Павловна пошла к своей цели обходным движением: она принялась исподволь воспитывать эту девочку, платившую ей самой черной неблагодарностью за все хлопоты. Капля за каплей она прививала девочке свой мизантропический взгляд на жизнь и людей, стараясь этим путем застраховать ее от всяких опасностей; в каждом деле она старалась показать прежде всего его черную сторону, а в людях – их недостатки и пороки. Такая политика, конечно, принесла самые быстрые плоды: Луша бессознательно копировала во всем свою воспитательницу и удивляла отца своими резкими выходками и недевической пронизательностью. Только в одном ученица и воспитательница расходились диаметрально: это было непреодолимое тяготение Луши к богатству. Но и этот недостаток в глазах Раисы Павловны вполне выкупался тем, что девушка была далеко от сорочьей жадности обыкновенных людишек. Ее трудно было купить теми блестящими безделушками, за которые продаются женщины. Сама Раиса Павловна любила не богатство, а власть.

VI

Все время, пока Родион Антоныч возвращался в своей зеленой тележке из господского дома домой, он вздыхал, делал кислые гримасы и морщился. Он был так удручен волновавшими его мыслями, что даже не замечал попадавшихся навстречу знакомых служащих и снимавших шляпы рабочих. В таком прескверном настроении Родион Антоныч миновал главную заводскую площадь, на которую выходило своим фасадом «Главное кукарское заводоуправление», спустился под гору, где весело бурлила бойкая река Кукарка, и затем, обогнув красную кирпичную стену заводских фабрик, повернул к пруду, в широкую зеленую улицу.

«Уж Прохор Сазоныч недаром помянул про меня в письме к Раисе Павловне, – с горечью думал Родион Антоныч, когда тележка мягко подкатилась к большому двухэтажному каменному дому, упиравшемуся тенистым садом прямо в пруд. – Ох, недаром... „Она настроена в особенности против Сахарова“, – повторил про себя Родион Антоныч слова письма. – Вот не было печали, а тут на, расхлебывай... И чего ей понадобилось от меня? Ох-хо-хо!.. Да и какая там особа... Шлюха какая-нибудь примазалась к этому генералу Блинову и теперь всем и вертит. Ох-хо-хо!.. Горе душам нашим...»

Старичок дворник торопливо распахнул перед зеленой тележкой крепкие ворота, и она мирно подкатилась к раскрашенному деревянному подъезду, откуда как угорелый выскочил великолепный белый сеттер с желтыми подпалинами. Собака с радостным визгом металась около хозяина и успела выбить у него изо рта сигару, пока он грузно вылезал из своей тележки.

– Ох, не до тебя, Зарез... отстань! – стонал Родион Антоныч, хозяйским всевидящим оком оглядывая усыпанный желтым песочком и чисто подметенный широкий двор, конюшни, где торчала лошадиная голова, и ряд хозяйственных пристроек.

– Архипушка, ты бы замесил жеребеночку мешанинки, – проговорил он, обращаясь к дворнику. – Да тележку-то смазать надо, а то заднее левое колесо все поскрипывает... Ох, ничего вы не

смотрите, погляжу я, все скажи да все укажи!.. Курочкам-то, курочкам-то задали ли корму даве, как я уехал?

– Обыкновенно, Родион Антоныч, все как следует, – каким-то убитым голосом ответил Архипушка, жмурясь и моргая. – Курочки любят овес-от...

– Любят, любят... И ты вот тоже любишь его, Архипушка. Любишь ведь? Половину курочкам, а половину себе... Ох, за всеми за вами глаз да глаз нужен!

Архипушка только переминался на одном месте и почесывал в затылке, пока Родион Антоныч не прикрикнул на него:

– Ну, чего ты статуем-то торчишь передо мною? Вон и кучер, глядя на тебя, тоже вытаращил глаза. Откладывайте лошадку да к столбу и привяжите. Пусть выстоится!

После этого нравоучения Родион Антоныч поднялся к себе наверх, в кабинет, бережно снял камлотовую крылатку, повесил ее в угол на гвоздик и посмотрел кругом взглядом человека, который что-то потерял и даже не может припомнить хорошенько, что именно. «Ах, да... едет Лаптев на заводы», – мелькнуло в голове Родиона Антоновича, когда он принялся раскуривать потухшую сигару. Эта мысль завертелась опять в его голове, как жестяное колесо в вентиляторе. Собственно Лаптева Родион Антоныч, несколько не боялся и даже был рад его видеть, а вот эта особа, которая едет с генералом Блиновым... О, чтоб пусто было всем этим бабам!.. Родион Антоныч с тоской посмотрел на расписной потолок своего кабинета, на расписанные трафаретом стены, на шелковые оконные драпировки, на картину заводского пруда и облепивших его домиков, которая точно была нарочно вставлена в раму окна, и у него еще тяжелее засосало под ложечкой. На стене, у которой стояла удобная кушетка, было развешано несколько хороших охотничьих ружей: пара бельгийских двустволок, шведский штуцер, тульская дробовка и даже «американка», то есть американский штуцер Пибоди и Мартини. Этот арсенал был красиво гарнирован различной охотничьей сбруей – ягдташами, патронницами, пороховницами, кожаными мешками с дробью, сумками и сумочками – вообще всякой охотничьей дрянью, назначение которой известно только записным охотникам.

«А я еще обещал на неделе ехать с Ильей Сергеичем за дупелями, – думал Родион Антоныч, взглянув на свои ружья, – вот

тебе и дупеля... Ох-хо-хо!..»

По обстановке кабинета трудно было определить профессию его хозяина. О его секретарской деятельности говорил только стеклянный шкаф, плотно набитый какими-то канцелярскими делами, да несколько томиков разных законов, сложенных на письменном столе в пирамиду. Стеклянная старинная чернильница с гусиными перьями – Родион Антоныч не признавал стальных – говорила о той патриархальности, когда добрые люди всякой писаной бумаги, если только она не относилась к чему-нибудь божественному, боялись, как огня, и боялись не без основания, потому что из таких чернильниц много вылилось всяких зол и напастей. Чернильница Родиона Антоныча тоже могла бы много-много рассказать о своей деятельности. Сначала она стояла в заводской конторе, куда попал Родион Антоныч крепостным писцом на три с половиной жалованья; потом Родион Антоныч присвоил ее себе и перенес на край завода, в бедную каморку, сырую и вонючую. Дальше эта чернильница видела целый ряд метаморфоз, пока не попала окончательно в расписной кабинет, где все дышало настоящим тугим довольством, как умеют жить только крепкие русские люди. В крепостное время из этой чернильницы выходило много головомоек управителям и служащим, но тогда она не имела самостоятельного значения, а только служила орудием неистовавшего старика Тетюева. Настоящее дело для нее наступило с эпохой освобождения, когда на месте Тетюева водворилась Раиса Павловна, и Родион Антоныч обязан был представлять массу докладных записок, отдельных мнений, проектов, соображений и планов.

Вот из этой же чернильницы велись подкопы под Тетюева-сына, когда он, в пику кукарскому заводу-управителю, занял пост председателя земской управы, чтобы донимать заводы разными новыми статьями земских налогов. Да, эта чернильница много испортила крови Авдею Никитичу, а теперь Авдей Никитич всем животы подвел: выписал какого-то генерала Блинова да еще и с «особой»... «И ведь прямо, бестия этакая, на меня указал, – раздумывал Родион Антоныч. – А то откуда этой шлюхе знать о каком-то Сахарове... Конечно, это Авдей Никитич всю механику подвел. Его работа...»

«И ведь как все вдруг случилось: трах – и всему конец. Уж, кажется, Раиса ли Павловна не крепко сидит на своем месте, и вот нашлась же и на нее гроза». Сахаров крепко задумался. Целую жизнь он прожил в качестве маленького человека за чужой спиной и вдруг почувствовал, как стена, на которую он упирался столько лет, начинает пошатываться и того гляди рухнет да еще и его задавит. А чем он виноват? Он маленький человек и целую жизнь только и знал, что творил волю пославшего. Конечно, крепко солил Тетюеву и не раз ему подставлял ножку, но ведь это он делал не для собственного удовольствия, а потому, что так хотела Раиса Павловна. Ведь Тетюев...

– Зарежет вас с Раисой Павловной этот Тетюев! – шептал какой-то предательский голос.

Как для всех слишком практических людей, для Сахарова его настоящее неопределенное положение было хуже всего: уж лучше бы знать, что все пропало, чем эта проклятая неизвестность. Ну, Тетюев так Тетюев... Чем он хуже Раисы Павловны? Нужно же и ему пожить, не век мыкаться председателем управы. И Тетюев не пропадет, и Раиса Павловна тоже, а вот он, Родион Антоныч, чем виноват, что им стало тесно жить на белом свете! Припоминая свои подходы под Тетюева, Родион Антоныч теперь от чистого сердца скорбел о том, что не принял заблаговременно во внимание переменчивости человеческого счастья... И как было не подумать: вчера Раиса Павловна, сегодня Раиса Павловна, все это хорошо! – вдруг послезавтра Авдей Никитич Тетюев. «Ох, не ладно! – застонал про себя Родион Антоныч. – Сморит он, если крылья отрастут. В батюшку, видно, пошел, хоть и не с того конца. А кто бы мог подумать? И Раиса Павловна тоже говорила: „Тетюев – болтун, Тетюев – недоносок...“ Ох, Раиса Павловна, Раиса Павловна!»

Целый день Родиона Антоныча был испорчен: везде и все было неладно, все не так, как раньше. Кофе был пережарен, сливки пригорели; за обедом говядину подали пересушенную, даже сигара, и та сегодня как-то немного воняла, хотя Родион Антоныч постоянно курил сигары по шести рублей сотня.

– Да что ты на всех сегодня кидаешься, точно угорел! – заметила наконец Родиону Антонычу жена, когда он своему любимцу Зарезу дал здорового пинка.

– Я-то не угорел... гм... – опомнился Родион Антоныч, начиная гладить напрасно обиженную собаку. – Вот как бы мы все не угорели, матушка. Тетюев-то...

– Что Тетюев?

– Ах, отстань. Не твоего бабьего ума дело...

Мысль о Тетюеве и генерале Блинове просто давила Родиона Антоныча, и он напрасно бегал от нее по своему расписанному дому. Везде было хорошо, уютно, светло, но от этого Родиону Антонычу делалось еще тяжелее, точно пред ним живьем вставала та темнота, из которой возникало настоящее великолепие и довольство. Да и было от чего застонать: место под дом Родиону Антонычу подарил один подрядчик, которому он устроил деловое свидание с Раисой Павловной. Давно приглядывался к этому местечку Родион Антоныч – ах, хорошее было местечко: с садом у самого пруда! – а тут сам бог и нанес подрядчика; камень и кирпич поставил при случае другой подрядчик, когда пристраивали флигель к господскому дому. И подрядчик не в накладе остался, да и Родион Антоныч даром получил материал; железо на крышу, скобки да гвоздики были припасены еще заранее, когда Родион Антоныч был еще только магазинером, – из остатков и разной заводской «ветхости»; лес на службы и всякое прочее обзаведение привезли сами лесообъездчики тоже ни за грош, потому что Родион Антоныч, несмотря на свою официальную слепоту, постоянно ездил с Майзелем за дупелями. Дом клали из даровых кирпичей, штукатурили, крыли крышей, красили, украшали – все это делалось при случае разными нужными людьми, которые сами после приходили благодарить Родиона Антоныча и величали его в глаза и за глаза благодетелем. А разве кого Родион Антоныч притеснил, обидел? Все сами делали... Еще Родион Антоныч не успел подумать, а нужный человек уж говорит: «Родной Антоныч, вам бы крышку-то малахитцом покрасить... Оно бы в лучшем виде, потому как там течь и всякое прочее!» Глядишь, крыша и выкрашена даром, да еще нужный же человек и благодарит, что ему позволили испытать такое удовольствие. Все делалось как-то само собой – каждый гвоздь сам собой лез в стену, песочек, плитка, известочка и прочая строительная благодать тоже сама собой тащилась с разных сторон к дому, – и вдруг все это начнет расползаться в разные стороны – тоже само собой. Родион Антоныч живо видел все каверзы и проделки, при

которых созидал свое настоящее; он считал их давно похороненными и забытыми, и вдруг какая-нибудь пройдоха примется раскапывать всю подноготную! При одной мысли о такой возможности Родиона Антоныча прошибал холодный пот, хотя в душе он считал себя бессребреником, что выводилось, впрочем, сравнительно: другие-то разве так рвали, да сходило с рук! Хотя бывали примеры и другого рода. Недалеко ходить, взять хоть того же старика Тетюева: уж у него-то был не дом – чаша полная, – а что осталось? – так, пустяки разные: стены да мебелишка сборная. Разве Авдей Никитич поправит... Ох, этот Авдей Никитич! Из каждой щели теперь смотрел на Родиона Антоныча этот страшный призрак, заставляя его вздрагивать.

– Что же, я ограбил кого? украл? – спрашивал он самого себя и нигде не находил обвиняющих ответов. – Если бы украсть – разве я стал бы руки марать о такие пустяки?.. Уж украсть так украсть, а то... Ах ты, господи, господи!.. Потом да кровью все наживал, а теперь вот под грозу попал.

Что ни делал Родион Антоныч, он никак не мог успокоиться. Даже в курятнике, куда он зашел по привычке, все было не по-старому: все эти кохинхинки, куропаточные, «галанки», бойцовые сегодня точно сговорились вывести его из терпения. Драка, беспорядок, отчаянное кудахтанье. В этом птичьей гаме Родиону Антонычу все слышались роковые звуки: «Тетюев – Тетюев – Тетюев – Тетюев... Блинов – Блинов – Блинов – Блинов»... Точно в самое ухо забрался какой-то безголовый дьячок и долбит поминанье за поминаньем, как в родительскую субботу. Великолепный брахмапутровый петух, гордость и сладость Родиона Антоныча, выглядел сегодня совсем плохо и только глупо моргал глазами, точно его оглушили. «Уж не окормил ли его кто-нибудь солью?» – подумал Родион Антоныч, но сейчас же спохватился и, махнув рукой, фатально проговорил:

– Все к одному пошло...

Даже ночью, когда Родион Антоныч лежал на одной постели со своей женой, он едва забылся тревожным тяжелым сном, как сейчас же увидел самый глупейший сон, какой только может присниться человеку. Именно, видит Родион Антоныч, что он не Родион Антоныч, а просто... дупель. Как есть, настоящий дупель: нос вытянулся, ноги голенастые, все тело обросло перышками пестренькими. Видит

Родион Антоныч, что ходит он по болоту и копает носом вязкую тепловатую тину, и так ему хорошо: в воздухе парит, над ним густая осока колышется, всякая болотная мошка гудит-гудит... И вдруг, его собственный Зарез шаст в это самое болото и давай нюхать. Да ведь как взялся-то, разбойник! картину с него пиши! Вот ближе, ближе... На след напал, вот уж слышно, как он обнюхивает кочки и бултыхает лапами по воде. Дупель припал за кочку и даже закрыл глаза от страху... Ближе, ближе... Собака остановилась над ним и сделала молодецкую стойку! Родион Антоныч хочет взлететь, но никак не может подняться, открывает со страху глаза и вскрикивает: вместо Зареца над ним стоит та особа, о которой писал Загнеткин, а в сторонке покатывается со смеху Тетюев.

Родион Антоныч несколько раз просыпался в холодном поту, судорожно крестил свое толстое, заплывшее лицо, охал и долго ворочался с боку на бок.

VII

Округ Кукарских заводов занимал собой территорию в пятьсот тысяч десятин, что равнялось целому германскому княжеству или даже маленькому европейскому королевству. На этом громадном пространстве было разбросано семь заводов: Логовой, Исток, Заозерный, Мельковский, Баламутский, Куржак и Кукарский. Центр заводской тяжести распределялся по заводам, конечно, не одинаково. Главным заводом в административном отношении считался Кукарский, раз – потому, что это был самый старый и самый большой завод, во-вторых, потому, что он занимал центральное положение относительно других заводов. За ним, вторым по важности, следовал Баламутский завод. Он занимал лесной, богатый топливом район и поэтому с каждым годом все шире и шире развивал свои операции. Остальные заводы служили дополнениями этих двух, переделывая черновое железо с Баламутского завода в сортовое. Заозерный существовал только благодаря богатому запасу воды, которая служила неистощимой двигающей силой, а Куржак вырос около богатого железного рудника.

Кукарский завод являлся, таким образом, во главе всех других заводов, их душой и административным сердцем, от которого радиусами разбегались по другим заводам все предписания, ордера, рапорты и рапортчики. Служить на Кукарском заводе, на виду у начальства, считалось завидной честью, о которой мелкая служительская сошка с других заводов иногда напрасно мечтала целую жизнь. Насколько громадное значение имел Кукарский завод, достаточно сказать только то, что во всех заводах, вместе с селами, деревнями и «половинками», считалось до пятидесяти тысяч рабочего населения. В крепостное время из Кукарского завода особенно много налетало напастей по окрестностям: главный управляющий тогда пользовался неограниченной властью и гнул в бараний рог десятки тысяч безответных людей. Кукарского завода боялись и сами приказчики мелких заводов, потому что это был крепостной, подневольный парод. Случалось нередко так, что приказчики попадали «в гору», то есть в железный рудник, что тогда считалось

равносильным каторге. Какой-нибудь Тетюев пользовался княжескими почестями, а насколько сильна была эта выдержка на всех уральских заводах, доказывает одно то, что и теперь при встрече с каждым, одетым «по-городски», старики рабочие почтительно ломают шапки. Только людям «оборотистым», каким был, например, Родион Антоныч, Кукарский завод был настоящей обетованной землей, где можно было добиться всего.

Сын какого-то лесообъездчика, Родион Антоныч первоначальное свое бытие получил в кукарской заводской конторе в качестве крепостного писца, которому выдавалось жалованья три с полтиной на ассигнации в месяц, то есть на наш счет – всего один рубль. Счастье для Сахарова заключалось в том, что он служил в Кукарском заводе и поймал случай попасть на глаза к самому старику Тетюеву. В свое время Тетюев был гроза и все заводы держал в ежовых рукавицах. Под его железной лапой задохлось много даровитых и умных людей, которые не умели подслуживаться и подличать. А для покладистого Родиона Антоныча такой человек был истинным кладом. Точкой сближения послужило пустое обстоятельство, которое, впрочем, в доброе старое время многих вывело в люди: это обстоятельство – красивый почерк. Нынче уже мало так пишут, что зависит, может быть, оттого, что стальным пером нельзя достичь такого каллиграфического искусства, как гусиным, а может быть, и оттого, что нынче меньше стали ценить один красивый почерк. Одним словом, как-никак, а Сахарова заметили – этого уже было достаточно, чтобы сразу выделиться из приниженной, обезличенной массы крепостных заводских служащих, и Сахаров быстро пошел в гору, то есть из писцов попал прямо в поденные записчики работ, – пост в заводской иерархии довольно видный, особенно для молодого человека.

Но здесь же Сахаров и получил первый жестокий урок за свое излишнее усердие: чтобы выслужиться, он принялся нажимать на рабочих и довел их до того, что в одну темную осеннюю ночь его так поучили, что он пролежал в больнице целый месяц.

– Эх, братец, ты не тово... – весело заметил старик Тетюев, когда выздоровевший Сахаров пришел к нему за приказаниями. – Не везде нужно с маху брать, а ты потихоньку да исподволь тяни...

– Я, Никита Ефремыч, всегда буду исподволь и потихоньку...

– Ну, вот так-то лучше: все люди – все человеки. Мало ли я что вижу, а другой раз и смолчу. Так-то...

Этот урок глупоко запал в душу Родиона Антоныча, так что он к концу крепостного права, по рецепту Тетюева, добился совершенно самостоятельного поста при отправке металлов по реке Межевой. Это было тепленькое местечко, где рвали крупные куши, но Сахаров не зарывался, а тянул свою линию год за годом, помаленьку обгоняя всех своих товарищей и сверстников.

– Хочешь, я тебя приказчиком сделаю в Мельковском заводе? – говорил ему в веселую минуту старик Тетюев. – Главное – ты хоть и воруюешь, да потихоньку. Не так, как другие; назначишь его приказчиком, а он и давай надуваться, как мыльный пузырь. Дуется-дуется, плядишь, и лопнул...

Сахаров отказался от такой чести, раз – потому, что караванное дело по части безгрешных доходов было выгоднее, а второе – потому, что не хотел хоронить себя где-нибудь в Мельковском заводе.

– Ну, тебе лучше знать... – согласился нравный старик, благодумствовавший после горячей бани. – Ты и так не пропадешь.

– Я по письменной части больше, Никита Ефремыч...

– Вот и вышел дурак: хочешь околеть с голоду с своей письменной частью! Убирайся с глаз долой!..

Когда Родион Антоныч считал себя совсем на линии, освобождение крестьян чуть не размыло его благополучия вплоть до самого основания.

Погром пошел сверху донизу. Крепостные порядки кончились, и на их место пошли новые. Даровой крепостной труд нужно было заменить трудом наемным, оставляя цифру владельческих доходов нетронутой. Старик Тетюев был совсем негоден для выполнения такой сложной задачи и прочил передать свое место сыну Авдею. Но случилось не так: сам Тетюев неожиданно получил чистую отставку, хотя и с приличным пенсионом, а на его место, по протекции всесильного Прейна, был назначен Горемыкин. Рассказывали интересный анекдот о том, как выжили Тетюева с места. Отказать заслуженному старику прямо не решались, нужно было подыскать предлог. Специально за этим на заводы выехал Прейн и прожил целое лето, напрасно выжидая, что старый Тетюев догадается и сам подаст в отставку. Может быть, Прей так и уехал бы в Петербург с пустыми

руками, а Тетюев остался бы опять царствовать на заводах, но нашелся маленький служащий, который научил, что нужно было сделать. Именно, Прейн назначил внезапную ревизию заводоуправления и послал за Тетюевым как раз в тот момент, когда старик только что сел обедать – самое священное время тетюевского дня. Тетюева взорвало, он наотрез отказался идти в контору и тут же, не выходя из-за стола, подал в отставку. Гордый старик не перенес такого удара и прожил в отставке всего несколько месяцев: его хватил кондрашка. За Тетюевым полетели с своих мест все другие приказчики, за исключением двух-трех, которые удержались на своих местах каким-то чудом. Родион Антоныч тоже потерял свое место и некоторое время находился совсем не у дел. Реформы, как все реформы, начались с сокращений и урезок: сократили количество служащих, урезали всем жалованье, прибавили работы и т. д. Впрочем, сам Горемыкин в этом случае не был виноват ни душой, ни телом: всем делом верховодила Раиса Павловна, предоставившая мужу специально заводскую часть. Вместо старых крепостных приказчиков везде были понасажены управителями люди, получившие специальное образование, потому что Горемыкин хотел пополнить все ущербы, понесенные отменой крепостного права, расширением заводской производительности. Как специалист-техник и честный человек, он был незаменим. Но в практическом отношении ему недоставало многих качеств. Так, он не умел выбирать людей и часто попадал под влияние очень сомнительных личностей.

– Что же, это очень естественно, что я в каждом прежде всего стараюсь видеть честного человека, – оправдывался иногда Горемыкин.

– Очень убедительно для всех, кто привык, чтобы его везде водили за нос, – замечала Раиса Павловна с своей стороны.

Чтобы пробить себе дорогу при новом порядке вещей, Сахаров поступил сначала в счетное отделение, которое славилось тем, что здесь служащие, заваленные письменной работой, гибли, как мухи. Конечно, Сахаров мечтал не о такой письменной части и очень скоро попал на настоящую дорогу. Нужно было составлять уставную грамоту, которая для заводов являлась вопросом самой капитальной важности. В это смутное время еще не выяснилось хорошенько, где будут самые больные места совершавшегося акта. Неразрывные до тех

пор интересы заводовладельца и мастеровых теперь раскалывались на две неровных половины, причем нужно было вперед угадать, как и где встретятся взаимные интересы, что необходимо обеспечить за собой и чем, ничего не теряя, поступиться в пользу мастеровых. Для решения массы возникших недоразумений и вопросов были устроены еженедельные съезды новых управителей, которые и выработали после усиленных хлопот проект уставной грамоты. Вот этот-то проект и дал случай Родиону Антонычу после разгрома крепостного права не только вынырнуть из неизвестности, но встать на такую высоту, с которой его уже трудно было столкнуть. Прочитавши проект уставной грамоты, выработанный управительскими съездами, он по поводу его составил собственную докладную записку, в которой очень подробно и основательно разобрал все недостатки выработанного проекта. К докладной записке был приложен собственный проект Родиона Антоныча. Вся эта «история» при помощи хорошего человека была партикулярным путем передана в руки самой Раисы Павловны. Когда эта умная женщина, достаточно умудренная в изворотах и петлях внутренней политики, прочла докладную записку Родиона Антоныча, то пришла положительно в восторженное состояние, хотя такие душевные движения совсем были не в ее натуре.

– Это Мазарини... Нет, Ришелье!.. – воскликнула она несколько раз, перечитывая записку Родиона Антоныча. – Так все предусмотреть и предугадать, – нет, это положительно Ришелье... И какая дьявольски тонкая работа, какая проницательность!..

Первым делом Раисы Павловны было, конечно, сейчас же увидеть заводского Ришелье, о котором, как о большинстве мелких служащих, она до сих пор ничего не знала. Непрезентабельный вид Родиона Антоныча и особенно его рабья манера держать себя несколько поохладили восторги Раисы Павловны. Ее аристократическую выдержку сильно шокировали стоны и вздохи вновь явленного Ришелье, который морщился и стонал, как раздавленный. Жирная физиономия и заискивающе-покорные взгляды Родиона Антоныча тоже были не в его пользу, но Раиса Павловна была, как многие умные женщины, немного упряма и не желала разочароваться в своей находке. Она взяла Ришелье таким, каким он явился к ней на выручку в критический момент. В этом случае она поддалась чисто женской слабости, хотя сама же смеялась над ней в других людях.

– Как это вы до сих пор пропадали в неизвестности с такой головой? – откровенно удивлялась Раиса Павловна прямо в глаза Родиону Антонычу.

– Темное время было, сударыня-с...

– Зачем вы говорите: «сударыня-с»... Зовите меня по имени.

– Буду стараться, Раиса Павловна-с.

Это «с» немного покорило Раису Павловну, но с такой маленькой частичкой можно было и помириться.

– При Никите Ефремыче трудно было, суд... Раиса Павловна, особенно, ежели кто был расположен к письменной части. Они самую эту письменную часть, можно сказать, совсем ни во что ставили...

– Да... Но теперь другое время... Извините, все забываю: как вас зовут?

– Родион Антонов.

– Ах, да, Родион Антоныч... Что я хотела сказать? Да, да... Теперь другое время, и вы пригодитесь заводам. У вас есть эта, как вам сказать, ну, общая идея там, что ли... Дело не в названии. Вы взглянули на дело широко, а это-то нам и дорого: и практика и теория смотрят на вещи слишком узко, а у вас счастливая голова...

Умиленный этими похвалами, Родион Антоныч даже пощупал свою «счастливую» голову, которая до сих пор шла за самую обыкновенную.

– А так как вы питаете такое пристрастие к письменной части, то вам и книги в руки: мужу необходим домашний секретарь – вот вам на первый раз самое подходящее место. А вперед увидим...

Составленный Родионом Антонычем проект уставной грамоты действительно был chef-d'oeuvre^[4] в своем роде. Он обеспечил за Кукарскими заводами такие преимущества, которые головой выдавали десятки тысяч заводского населения в руки заводовладельца. Даже сомнительные статьи, которые, кажется, трудно было обойти, были так неясно отредактированы и опутаны такими хитросплетенными условиями, что можно было только удивляться великой творческой силе приказного крючкотворства. Во-первых, по этой уставной грамоте совсем не было указано сельских работников, которым землевладелец обязан был выделить крестьянский надел, так что в мастерские попали все крестьяне тех деревень, какие находились в округе Кукарских заводов. Затем, все мастерские, по новой грамоте,

пользовались выгоном, покосами, росчистями и лесом «на прежних основаниях», пока заводовладелец не изменит их по собственному усмотрению и пока мастеровые работают на его заводах. В виде особенной милости заводовладельца мастеровые получили от него *в дар* свои дома и усадьбы. Оговорено было даже то, что содержание церквей, школ и больниц остается на том же усмотрении заводовладельца, который волен все это в одно прекрасное утро «прекратить», то есть лишить материального обеспечения. Но центр тяжести всей уставной грамоты заключался в том, что уставная грамота касалась только мастеровых и давала им известные условные гарантии только на том условии, если они будут работать на заводах. Все остальное население, которое не принимало непосредственного участия в заводской работе, совсем не шло в счет. Так что в результате на стороне заводовладельца оставались все выгоды, даже был оговорен оброк за пользование покосами и выгонами с тех мастеровых, которые почему-либо не находятся на заводской работе. Помещикам, наградившим своих бывших крепостных кошачьими даровыми наделами, во сне никогда не снилось ничего подобного, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что Лаптев был даже не заводовладелец в юридическом смысле, а только «пользовался» своими полумиллионами десятин богатейшей в свете земли на посессионном праве. Благодаря проекту Родиона Антоныча кукарское заводууправление брало не только со всех посторонних, но даже со своих собственных мастеровых за пользование *казенной* землей в свою выгоду очень почтительный оброк – пятьдесят копеек и дороже за каждую десятину. Спорный юридический вопрос о правах посессионных владельцев *на недра земли*, в случае нахождения в них минеральных сокровищ, тоже был выговорен уставной грамотой в пользу заводовладельца, так что мастеровые не могли быть уверены, что у них не отберут для заводских целей даже те усадебные клочки, которые им принадлежат по закону, но которые, по проекту уставной грамоты Родиона Антоныча, великодушно были подарены им заводовладельцем. Словом, в юридическом отношении проект Родиона Антоныча составлял выдающееся явление.

Раиса Павловна со своей стороны осыпала всевозможными милостями своего любимца, который сделался ее всегдашним советником и самым верным рабом. Она всегда гордилась им как

своим произведением; ее самолюбию льстила мысль, что именно она создала этот самородок и вывела его на свет из тьмы неизвестности. В этом случае Раиса Павловна обольщала себя аналогией с другими великими людьми, прославившимися умением угадывать талантливых исполнителей своих планов.

Родион Антоныч, конечно, быстро освоился в своей новой обстановке и быстро забрал в свои руки все кругом. Погром, произведенный 19 февраля, оставил в его душе неизгладимый горький след, который заставлял его постоянно морщиться и стонать. Он так сросся душой и телом с крепостными порядками, что не мог помириться ни с чем новым, даже ради той сторицы, какую теперь получил. Его постоянно сосал какой-то червь, который не давал покоя. Неисправимый крепостник в душе, Родион Антоныч давил и гнул все новые порядки и всех новых людей, насколько хватало сил. Это был своего рода крепостной фанатизм, и в этом отношении у Родиона Антоныча была родственная черта с замашками великих французских кардиналов, хотя, конечно, это были величины несоизмеримые. Достаточно сказать, что ни одного дела по заводам не миновало рук Родиона Антоныча, и все обращались к нему, как к сказочному волшебнику. Его влияние отражалось на всех сферах заводской жизни и деятельности.

Но интереснее всего было то, как расправлялся Родион Антоныч с теми, кто ему не поддавался. Первым таким делом было то, что несколько обществ, в том числе и Кукарское, не захотели принять составленной им уставной грамоты, несмотря ни на какие увещания, внушения и даже угрозы. Глупые мужики уперлись и стояли на своем. Отыскались неизвестные законники, которые сумели растолковать им, какой паутиной опутывала их уставная грамота. Мировой посредник, становые, исправник выбивались из сил, стараясь привести стороны к соглашению: мужичье стояло на своем. Тогда взялся за эту распрю Родион Антоныч и покончил ее в несколько дней: подыскал несколько подходящих старичков, усовестил их, наобещал золотые горы, и те подмахнули за все общество. Этого было достаточно на первый раз, а там пусть дело гуляет по судам да палатам. Как упрямые мужики ни артачились, как ни хлопотали, дело оставалось в том положении, в какое его поставил Родион Антоныч, а сельские общества только

несли убытки от своих хлопот да терпели всяческое утеснение на заводской работе.

– Еще бабушка-то надвое сказала, – говорил Родион Антоныч жалившимся общественникам. – Вы бы мирком да ладком лучше старались...

В этом случае он хотел показать заводскому населению, обрадовавшемуся «воле», что крепостное право для него еще не миновало. Ему доставляло громадное наслаждение давить этих свободных мастеровых на всех пунктах, особенно там, где специально заводские интересы соприкасались с интересами населения.

Другим подвигом, прославившим имя Родиона Антоныча, была его упорная борьба с Ельниковским земством, другими словами – с Авдеем Никитичем Тетюевым. Но здесь Родиону Антонычу пришлось некоторым образом идти даже против самого себя, потому что перед самой фамилией Тетюевых, по старой привычке, он чувствовал благоговейный ужас и даже полагал некоторое время, что Авдей Никитич в качестве нового человека непременно займет батюшкино местечко. Но вышло не так, – одолела Раиса Павловна, и ему пришлось идти против заветного имени. Но в этом случае Родион Антоныч утешал себя тем, что начал поход против Тетюева не по собственной инициативе, а только творил волю пославшего. Борьба между земством, с одной стороны, и заводоуправлением, с другой, велась не на живот, а на смерть. Оно и понятно... Как! когда заводы на Урале в течение двух веков пользовались неизменным покровительством государства, которое поддерживало их постоянными субсидиями, гарантиями и высокими тарифами; когда заводчикам задаром были отданы миллионы десятин на Урале с лесами, водами и всякими минеральными сокровищами, только насаждай отечественную горную промышленность; когда на Урале во имя тех же интересов горных заводов не могли существовать никакие огнедействующие заведения, и уральское железо должно совершать прогулку во внутреннюю Россию, чтобы оттуда вернуться опять на Урал в виде павловских железных и стальных изделий, и хромистый железняк, чтобы превратиться в краску, отправлялся в Англию, – когда все это творилось, конечно, притязания какого-то паршивого земства, которое ни с того ни с сего принялось обкладывать заводы налогами, эти притязания просто были смешны. Но Тетюев не дремал, и в

первый же год существования земства Кукарские заводы были обложены пятьюдесятью тысячами налога.

– Родион Антоныч, я ничего не пожалею, чтобы сломить Тетюева! – заявила Раиса Павловна. – Это бессовестно: пятьдесят тысяч... Раньше заводы не несли никаких налогов и пользовались даровым трудом крепостных, а теперь и то и другое.

– Можно будет постараться, Раиса Павловна. Только мы будем подводить свою линию под Авдоя Никитича исподволь да потихоньку... Дело-то вернее будет!..

– Как хотите, так и делайте... Если хлопоты будут стоить столько же, сколько теперь приходится налогов, то заводам лучше же платить за хлопоты, чем этому земству! Вы понимаете меня?

Политика Родиона Антоныча приводилась в действие, и результаты не замедлили себя показать: сначала были изъяты из обложения земскими налогами золотые промысла, потом железный рудник, фабрики и т. д. Ходатайства, докладные записки и прошения дождем сыпались в Петербург, где разные нужные человечки умели вовремя их представить куда следует. Каша заварилась вкрутую, и политика Родиона Антоныча много испортила крови Тетюеву. Например, гора Куржак, целиком состоявшая из магнитного железняка и по приблизительным вычислениям заключающая в себе до тридцати миллиардов богатейшей в свете железной руды, приносила земству всего-навсего два рубля семнадцать копеек дохода, как любая усадьба какого-нибудь мастерового. Тетюев рвал на себе волосы, когда заходила речь о Куржаке, но поделаться с последовательной политикой Родиона Антоныча ничего не мог. Когда все законные способы ограничения земской дерзости были исчерпаны, Родион Антоныч вкупе с Раисой Павловной решились нанести этому ненавистному учреждению самый роковой удар его же собственным оружием: неисповедимыми путями в Ельниковское земское собрание большинство гласных были избраны заводские приспешники и клевреты управителя, поверенные, разная мелкая служащая сошка и, наконец, сам Родион Антоныч, который сразу организовал большинство голосов в свою пользу. Сам губернатор был на стороне Родиона Антоныча и назначал председателями земских собраний тех лиц, на которых указывало кукарское заводоуправление. Таким образом, с каждым годом, по мере того как возрастала земская сумма

налогов, Кукарские заводы платили меньше и меньше, слагая свою долю на крестьянское население. Тетюев был совсем прижат к стене, и, казалось, ему ничего не оставалось, как только покориться и перейти на сторону заводов, но он воспользовался политикой своих противников и перешел из осадного положения в наступающее. Поездка Лаптева в сопровождении генерала Блинова служила самым блестящим ответом с его стороны Родиону Антонычу и Раисе Павловне за всю их политику против него. Стороны теперь встали окончательно лицом к лицу, чтобы нанести друг другу последний и самый решительный удар.

Усложняющим обстоятельством в этой крупной игре являлись интриги и происки Майзеля с другими управителями, которые, как это свойственно человеческой природе, желали сами занять место повыше. Но Родион Антоныч относился к этим случайным людям с достойным презрением. Что они такое были сами по себе? Мыльные пузыри, не больше. Всплывет, покружится, поиграет и рассыплется радужной пылью... Этим людям везде скатертью дорога; где больше дадут – там они и покорные слуги. Это уж совсем не то, что Раиса Павловна, Авдей Никитич или сам Родион Антоныч. Для них троих заводы составляли все, они к ним приросли, вне их ничего не желали знать. Тот же Авдей Никитич, легко сказать, тянет второе трехлетие председателем управы и глазом не моргнет. Все крепкий, хватистый народ, хотя и не без недостатков. Родион Антоныч, например, когда строил свой дом, то прежде чем перейти в него, съездил за триста верст за двумя черными тараканами, без которых, как известно, богатство в доме не будет держаться. Он же лечился хрусталем, когда у него болели глаза. Доктор Кормилицын пришел в ужас, когда узнал рецепт этого хрустального лечения. Именно: Родион Антоныч взял толстый хрустальный стакан, истолок его в порошок и это толченое стекло выпил преблагополучным образом. Раиса Павловна верила в сны и разные другие приметы, а Тетюев занимался спиритизмом.

VIII

Мы уже видели, как Родион Антоныч принял известие о приезде Лаптева на заводы. Он был трус по натуре и, как всякий трус, после первого припадка отчаяния деятельно принялся отыскивать путь к спасению. Прежде всего в нем поколебалась вера в Раису Павловну, которая не сегодня-завтра слетит с своей высоты. Раиса Павловна с свойственной ей проницательностью давно изучила заячью душу своего Ришелье и сейчас же угадала истинный ход его мыслей. Это обстоятельство ее не особенно огорчило, потому что она бывала и не в таких переделках и выходила суха из воды. Как все великие психологи-практики, она умела больше всего воспользоваться дурными сторонами и слабостями других людей в свою пользу. Так и теперь она решилась воспользоваться страхом Родиона Антоныча перед Тетюевым.

В господском доме шел ужаснейший переполох по случаю приезда барина, который не бывал на заводах с раннего детства. Для его приема готовили главный корпус господского дома, где на скорую руку переклеивали обои, обивали мебель, ложили полы, подкрашивали и замазывали каждую щель. Прейн был не особенно прихотливый человек и довольствовался всего двумя комнатами, которые сообщались с половиной Раисы Павловны и с кабинетом самого владельца. Для такого важного гостя, как сам заводовладелец, нужно было устроить княжеский прием. Не хватило тысячи самых необходимых вещей, которых в Кукарском заводе и в уездном городишке Ельникове не достанешь ни за какую цену, а выписывать из столицы было некогда.

– Как же мы будем? – спрашивал Родион Антоныч.

– А Прейн? – отвечала удивленная Раиса Павловна. – Ах, как вы просты, чтобы не сказать больше... Неужели вы думаете, что Прейн привезет Лаптева в пустые комнаты? Будьте уверены, что все предусмотрено и устроено, а нам нужно позаботиться только о том, что будет зависеть от нас. Во-первых, скажите Майзелю относительно охоты... Это главное. Думаете, Лаптев будет заниматься здесь нашими делами? Ха-ха... Да он умрет со скуки на третьи сутки.

– А Блинов?

– Ну, это еще бабушка надвое сказала: страшен сон, да милостив бог. Тетюев, кажется, слишком много надеется на этого генерала Блинова, а вот посмотрите... Ну, да сами увидите, что будет.

– Увидим, все увидим, – уныло соглашался Родион Антоныч, терявший последние признаки своей бодрости при одном имени барина.

– Да вы не трусьте; посмотрите на меня, ведь я же не трушу, хотя могла бы трусить больше вашего, потому что, во-первых, главным образом все направлено против меня, а во-вторых, в худом случае я потеряю больше вашего.

Родион Антоныч щупал свою голову, вздыхал и даже тряс ушами, как понюхавшая дыму собака.

– Я давно хочу вам сказать, Раиса Павловна, одну вещь... – нерешительно заговорил Сахаров. – Нельзя ли будет войти в какое-нибудь соглашение-с...

– С Тетюевым? Никогда!.. Слышите, никогда!.. Да и поздно немного... Мы ему слишком много насолили, чтобы теперь входить в соглашения. Да и я не желаю ничего подобного: пусть будет что будет.

Стороны взаимно наблюдали друг друга, и Родиона Антоныча повергло в немалое смущение то обстоятельство, что Раиса Павловна, даже ввиду таких критических обстоятельств, решительно ничего не делает, а проводит все время с Лушей, которую баловала и за которой ухаживала с необыкновенным приливом нежности. К довершению всех бед черные тараканы поползли из дома Родиона Антоныча, точно эта тварь предчувствовала надвигающуюся грозу.

Действительно, Раиса Павловна, кажется, совсем не желала видеть, что делается кругом, как торопливо белили заводские здания, поправляли заборы, исправляли улицы, отовсюду убирали щепы и мусор. Особенное внимание было обращено на фабрики, где внутренний двор теперь был усыпан песком и каждая машина, при помощи песку и разных порошков, чистилась и охорашивалась, точно невеста под венец. Облупившаяся штукатурка, отставшие доски, проржавевшее железо – все одинаково подвергалось поправкам. Заводский надзиратель, плотинный, уставщики – все лезли из кожи, чтобы привести фабрику в настоящий форменный вид. Доменные печи были выкрашены заново розовой краской, механический корпус

– бледно-сиреневой, катальная фабрика – желтой и т. д. Пробоины в крышах и стенах заделывались, выбитые стекла вставлялись, покосившиеся двери навешивались прямо, даже пудлинговые, отражательные, сварочные и многие иные печи не избегали общей участи и были густо намазаны каким-то черным блестящим составом.

Платон Васильевич почти не выходил из фабрики, ставилось громадное маховое колесо для сортовой катальни. Раньше в Кукарском заводе готовили только болванку, которая переделывалась в мелкое сортовое железо уже на других заводах. Мельковский славился своим листокатальным производством, Заозерный – полосовым и проволокой, Баламутский – рельсами и т. д. Горемыкин задался целью расширить производительность заводов в качественном отношении, чтобы не тратить напрасно денег на перевозку металлов с завода на завод. Другая стальная болванка, из каких делают рельсы, прогуливалась из Кукарского завода в Баламутский и обратно раз до шести, что напрасно только увеличивало стоимость готовых рельсов и набивало карманы разных подрядчиков, уделявших, конечно, малую толику кое-кому из влиятельных служащих. Разные безгрешные доходы процветали в полной силе, и к ним все так привыкли, что общим правилом было то, чтобы всяк сверчок знал свой шесток и чтобы сору из избы не выносил. Горемыкин, несмотря на свои физические немощи и плохое зрение, всегда сам наблюдал за производившимися работами, а теперь в особенности, потому что дело было спешное. Он ходил домой только есть, а все остальное время проводил на фабрике. В этом царстве огня и железа Горемыкин чувствовал себя больше дома, чем в своей квартире в господском доме. Для него было наслаждением по целым часам наблюдать торопливую фабричную работу, которая кипела кругом. Это была настоящая работа гномов, где покрытые сажей человеческие фигуры вырывались из темноты при неровно вспыхивавшем пламени в горнах печей, как привидения, и сейчас же исчезали в темноте, которая после каждой волны света казалась чернее предыдущей, пока глаз не осваивался с нею. Старик на время забывал о своих недостатках: при ослепительном блеске добела раскаленного железа он отчетливо различал подробности совершавшейся работы и лица всех рабочих; при грохоте вертевшихся колес и стучавших чугуновых валов говорить можно было, только напрягая все свои голосовые средства, и

Горемыкин слышал каждое слово. Когда он выходил из фабрики на свежий воздух, предметы опять сливались в его глазах, принимая туманные, расплывавшиеся очертания – обыкновенный дневной свет был слаб для его глаз. Точно так же и ухо не могло уловить обыкновенного разговора, и он делал какое-то сосредоточенно-глутое лицо, стараясь не выдавать своей глухоты. Вообще Горемыкин жил полной, осмысленной жизнью только на фабрике, где чувствовал себя, как и все другие люди, но за стенами этой фабрики он сейчас же превращался в слепого и глухого старика, который сам тяготился своим существованием. За минуту одушевленное лицо, точно омытое волной свежих впечатлений, быстро теряло свой жизненный колорит и получало вопросительно-недоумевающее выражение.

Кроме своего заводского дела, во всех других отношениях Горемыкин был чистейшим ребенком. Его душа слишком крепко срослась с этими колесами, валами, эксцентриками и шестернями, которые совершали работу нашего железного века; из-за них он не замечал живых людей, вернее, эти живые люди являлись в его глазах только печальной необходимостью, без которой, к сожалению, самые лучшие машины не могут обойтись. Старик мечтал о том, как шаг за шагом, вместе с расширением производства, живая человеческая сила мало-помалу заменяется мертвой машинной работой и тем самым устраняются тысячи тех жгучих вопросов, какие создаются развивающейся крупной промышленностью. С этой именно точки зрения он и смотрел на все те общественные и экономические вопросы, которые создавались жизнью специально заводского населения. В них он видел только механическое препятствие, вроде того, какое происходит от трения колеса о собственную ось. В будущем, вместе с развитием промышленности и усовершенствованием техники, они падут до своего естественного минимума. Это была слишком своеобразная логика, но Горемыкин вполне довольствовался ею и смотрел на работу Родиона Антоныча глазами постороннего человека: его дело – на фабрике; больше этого он ничего не хотел знать. Машины, машины и машины, – чем больше машин, тем меньше живых рабочих, которые только тормозят величественное движение промышленности. Горемыкин проводил у семейного очага очень немного времени, но и оно не было свободно от заводских забот; он точно уносил в своей голове частицу этого

двигавшегося, вертевшегося, пилившего и визжавшего железа, которое разрасталось в громадное грохотавшее чудовище нового времени. Перед этим чудовищем все отступало на задний план, действительность представлялась в самом миниатюрном масштабе, а действующие лица походили на пигмеев. Железный братец Антей каждым своим движением давил кого-нибудь из пигмеев и даже не был виноват, потому что пигмеи сами лезли ему под ноги на каждом шагу.

– Я уверен, – говорил Горемыкин жене, – что Евгению Константинычу стоит только взглянуть на наши заводы, и все Тетюевы будут бессильны.

– Ты думаешь? Ха-ха... Да Евгений Константиныч и не заглянет к вам на фабрики. Очень ему нужно плотать заводскую пыль...

– А вот увидишь.

Раисе Павловне ничего не оставалось, как только презрительно пожать своими полными плечами и еще раз пожалеть о том обстоятельстве, что роковая судьба связала ее жизнь с жизнью этого идиота. Что такое этот Платон Васильич, если его разобрать? Сумасброд, ничтожность. Своим настоящим выдающимся положением он обязан ей – и только ей одной. Она создала его точно так же, как создала Родиона Антоныча и как теперь создавала Лушу. И ей же приходится испить всю чашу предстоящих испытаний исключительно из-за мужа... Ну как она покажет его Евгению Константинычу, с его глухотой и слепыми глазами? Предстоявший позор вперед заливал краской ее обрюзгшие, полные щеки. Мерзавец Тетюев хорошо рассчитал удар: если он ничего и не выиграет, то чего будет стоить Раисе Павловне эта новая победа над Тетюевым. У ней просто начинала кружиться голова от одолевавших ее планов, и она невольно припоминала ту лису, которая с своей тысячью думушек попала к старухе на воротник.

Первые неприятности уже дали себя почувствовать Раисе Павловне.

В господском доме были заведены Раисой Павловной официальные завтраки по воскресеньям. На этих завтраках фигурировал прежде всего заводской beau monde^[5], который Раиса Павловна держала в ежовых рукавицах, а затем разный заезжий праздношатающийся люд – горные инженеры, техники, приезжавшие

на сессию члены судебного ведомства, светила юридического мира, занесенные неблагоприятной фортуной артисты, случайные корреспонденты и т. д. Здесь Раиса Павловна являлась настоящей царицей: недаром Тетюев называл господский дом «малым двором», в отличие от «большого двора», группировавшегося около самого Лаптева. Люди солидные расточали любезности ее увядшим прелестям, люди средних лет удивлялись уму и великосветским непринужденным манерам, молодежь – ее ласковому приему, отдававшему веселой пикантной ноткой. Вообще все приезжие оставались необыкновенно довольны этими завтраками и следовавшими за ними обедами, слава о которых попадала даже в столичную прессу, благодаря услужливости разных литературных прощелыг. Раиса Павловна умела принять и важное сановное лицо, проезжавшее куда-нибудь в Сибирь, и какого-нибудь члена археологического общества, отыскивавшего по Уралу следы пещерного человека, и всплывшего на поверхность миллионера, обнюхивавшего подходящее местечко на Урале, и какое-нибудь сильное чиновное лицо, выкинутое на поверхность безличного чиновного моря одной из тех таинственных пертурбаций, какие время от времени потрясают мирный сон разных казенных сфер, – никто, одним словом, не миновал ловких рук Раисы Павловны, и всякий уезжал из господского дома с неизменной мыслью в голове, что эта Раиса Павловна удивительно умная женщина. Старичок сановник, сладко закрывая глаза, несколько раз рассказывал себе пикантный анекдот, которым его угостила Раиса Павловна; археолог бережно завертывал в бумагу каменный топор, который Раиса Павловна пожертвовала ему из своей коллекции; миллионер испытывал зуд во всем теле от комплиментов Раисы Павловны; сильное чиновное лицо долго нюхало воздух, насквозь прокуренный Раисой Павловной самым великосветским фимиамом. Когда никого не было из чужих, воскресные завтраки принимали более интимный характер, и Раиса Павловна держала себя, как мать большой семьи. Весь зависевший от главного управляющего люд съезжался на эти завтраки с благоговейным трепетом: здесь постоянно разыгрывались те бескровные драмы, какими полна жизнь, и кипели вечные интриги. Раиса Павловна любила развлекаться этой бурей в стакане воды, где

все подкапывались друг под друга, злословили и даже нередко доходили в азарте до рукопашной.

Чтобы дополнить картину этих семейных завтраков, нам остается сказать два слова о *demoiselles de compagnie*^[6], которые вечно ютились под гостеприимной кровлей кукарского господского дома. Раиса Павловна, как многие другие женщины, совсем не создана была для семейной жизни, но она все-таки была женщина и в качестве таковой питала непреодолимую слабость окружать себя какими-нибудь компаньонками, недостатка в которых никогда не было. Эти компаньонки, набранные со всех четырех сторон, в глухие сезоны развлекали свою патронессу взаимными ссорами, сплетнями и болтовней, во время приездов служили танцевальным материалом и составляли *partie de plaisir*^[7] для молодых людей и молодившихся старичков; но главная их служба заключалась в том, чтобы своим присутствием оживлять воскресные завтраки, занимать гостей. В настоящее время штат этих приживалок состоял всего из трех экземпляров: институтка Эмма, лимфатическая полная особа немецкого происхождения, какая-то безымянная дворяночка Аннинька, веселое и беспечное создание, и истерическая, некрасивая девица Прасковья Семеновна. Штат этих приживалок очень часто обновлялся. Раньше жила француженка *m-lle Louise*^[8], до нее – красавица Лукина. Судьба этих приживалок была самая странная: они исчезали неизвестно куда, как и появлялись. Никто не замечал таких исчезновений, а сама Раиса Павловна не любила об этом рассказывать. Злые языки говорили, что такие обновления состава приживалок совпадали с приездами Прейна, который, как все старые холостяки, очень любил женское общество.

Из настоящего состава приживалок всего интереснее была судьба Прасковьи Семеновны. Она принадлежала к числу «заграничных», какие еще встречаются кое-где на заводах. Происхождение этого названия относится к первой четверти настоящего столетия, когда уральскими заводчиками овладела мания посылать молодых людей из своих крепостных за границу для получения специального образования по горной части. Из Кукарских заводов было послано двенадцать человек, выбранных из самых способных школьников при заводских училищах. Эти школьники прожили за границей лет десять, получая большое содержание. Они совсем освоились на новой почве и

почти все переженились на иностранках. Вдруг их всех требуют в Россию, на заводы. Молодые парочки едут на Урал, где и узнают сначала, что они крепостные Лаптева, следовательно, попали в крепостные и их жены, все эти немки и француженки, а затем они из-под европейских порядков перешли прямо в железные лапы Никиты Тетюева, который возненавидел их за все: за европейский костюм, за приличные манеры, а больше всего за полученное ими европейское образование. Положение «заграничных» в Кукарских заводах было самое трагическое, тем более что переход от европейских свободных порядков к родному крепостному режиму ничем не был сплажен. Тетюев с своей стороны особенно налег на молодых людей, чтобы сразу выбить из них всю европейскую и ученую дурь. Загнанные и забитые, «заграничные» были рассованы по самым ничтожным должностям, на копеечное жалованье, без всякого выхода впереди. Чтобы усугубить кару, Тетюев устроил так, что механики получили места писарей, чертежники – машинистов, минералогии – в лесном отделении, металлургии – при заводских конюшнях. Понятное дело, что такая политика вызвала протесты со стороны «заграничных», и Тетюев рассчитывался с протестантами по-своему: одних разжаловал в простых рабочих, других, после наказания розгами, записывал в куренную работу, где приходилось рубить дрова и жечь уголья, и т. д. Самым любимым наказанием, которое особенно часто практиковал крутой старик, служила «гора», то есть опальных отправляли в медный рудник, в шахты, где они, совсем голые, на глубине восьмидесяти сажень, должны были копать медную руду. Эту каторжную работу не могли выносить самые привычные и сильные рабочие, а заграничные в своих европейских обносках были просто жалки, и их спускали в гору на верную смерть. Но Тетюев был неумолим. Вся эта чудовищная история закончилась тем, что из двенадцати заграничных в три года четверо кончили чахоткой, трое спились, а остальные посходили с ума. Положение заграничных женщин было еще ужаснее, тем более что некоторые из них каким-то чудом вынесли свою каторжную судьбу и остались живы с детьми на руках. Участь этих женщин, даже не умевших говорить по-русски, не привлекла к себе участия заводских палачей, и они мало-помалу дошли до последней степени унижения, до какого в состоянии только пасть голодная, несчастная женщина, принужденная еще воспитывать

голодных детей. В чужом краю, среди общих насмешек и презрения, эти женщины являлись каким-то ужасным призраком крепостного насилия. Но и в самые черные дни своего существования они не могли расстаться с своим европейским костюмом, с теми модами, какие существовали в дни их юности... Трагедия переходила в комедию. Эта страшная кара перешла и на детей заграничных, которые явились на свет с тяжелыми хроническими болезнями и медленно вымирали от разных нервных страданий, запоя и чахотки. Прасковья Семеновна, дочь кассельской немки, с раннего детства осталась круглой сиротой и была счастлива, по крайней мере тем, что не видала позора матери. Она с пяти лет страдала истерическими припадками и в качестве блаженненькой проживала по богатым купеческим домам. В разгар своей борьбы с Тетюевым Раиса Павловна обратила на нее свое внимание, взяла ее к себе в дом и принялась воспитывать. Это доброе дело нехорошо было только тем, что оно делалось с специальной целью насолить Тетюеву: пусть он, проповедник гуманных начал и земского обновления, полюбуется, в лице Прасковьи Семеновны, тятенькиными поступками... Прасковья Семеновна с годами приобретала разные смешные странности, которые вели ее к тихому помешательству; в господском доме она служила общим посмешищем и проводила все свое время в том, что по целым дням смотрела в окно, точно поджидая возвращения дорогих, давно погибших людей.

Итак, в господском доме совершался семейный завтрак. Посторонних никого не случилось, а сидел все свой народ: Прозоров, доктор Кормилицын, жена Майзеля, разбитная немка aus Riga^[2], Амалия Карловна, управитель Баламутского завода Демид Львович Вершинин, Мельковского – отставной артиллерийский офицер Сарматов, Куржака – чахоточный хохол Буйко, Заозерного – вечно общипывавшийся и охорашивавшийся полячок Дымцевич. В общей трапезе принимали участие старичок механик Шубин и молодой человек, служивший по лесной части, Иван Иваныч Половинкин или просто m-r Половинкин. Эта компания в своем составе представляла очень пеструю картину. Сарматов славился как отчаянный враль и самый бессовестный интриган; Буйко – своей бесцветностью; Дымцевич – глупостью. Самым видным лицом являлся Вершинин, всегда спокойный и неизменно остроумный, незаменимый собеседник за столом и величайший в свете артист устраивать официальные и

полуофициальные обеды. На этом последнем поприще Вершинин был в своем роде единственный человек: никто лучше его не мог поддержать беглого, остроумного разговора в самом смешанном обществе; у него всегда наготове имелся свеженький анекдот, ядовитая шуточка, остроумный каламбур. Сказать спич, отделать тут же за столом своего ближнего на все корки, посмеяться между строк над кем-нибудь – на все это Вершинин был великий мастер, так что сама Раиса Павловна считала его очень умным человеком и сильно побаивалась его острого языка. В трудных случаях, когда нужно было принять какую-нибудь важную особу, вроде губернатора или даже министра, Вершинин являлся для Раисы Павловны кладом, хотя она не верила ему ни в одном слове. Среди этой заводской аристократии и козырных тузов m-г Половинкин являлся в роли *parvenu*^[10], которому Раиса Павловна очень покровительствовала, задавшись целью женить его на Анниньке. Такие двусмысленные личности встречаются в каждом обществе, и им достается самая жалкая роль. Злые языки в m-г Половинкине видели просто фаворита Раисы Павловны, которой нравилось его румяное лицо с глупыми черными глазами, но мы такую догадку оставим на их совести, потому что на завтраках в господском доме всегда фигурировал какой-нибудь молодой человек в роли *parvenu*. Покровительствовать молодым людям, подающим надежды, было слабостью Раисы Павловны, которая вообще любила устраивать чужое счастье. Механик Шубин замечателен был тем, что про него решительно ничего нельзя было сказать – ни худого, ни доброго, а так, черт его разберет, что за человек. Такие люди иногда встречаются: живут, служат, работают, женятся, умирают, от их присутствия остается такое же смутное впечатление, как от пробежавшей мимо собаки.

Приживалки, конечно, были все налицо. Прасковья Семеновна смотрела в окно, Аннинька шепталась и хихикала с m-г Половинкиным, который глупо и самодовольно улыбался, покручивая выхоленные усики. M-lle Эмма стойчески выдерживала атаку с двух сторон: слева сидел около нее слегка подвыпивший Прозоров, который под столом напрасно старался прижать своей тощей ногой жирное колено m-lle Эммы, справа – Сарматов, который сегодня врал с особенным усердием. В течение десяти минут он успел рассказать, прищуривая один косой глаз, что на последней охоте одним

выстрелом положил на месте щуку, зайца и утку, потом, что когда был в Петербурге, то открыл совершенно случайно еще не известную астрономам планету, но не мог воспользоваться своим открытием, которое у него украл и опубликовал какой-то пройдоха, американский ученый, и, наконец, что когда он служил в артиллерии, то на одном смотре, на Марсовом поле, через него переехало восьмифунтовое орудие, и он остался цел и невредим.

– Ах, виноват, – поправился Сарматов, придавая своей щетинистой, изборожденной морщинами роже серьезное выражение, – у меня тогда оторвало пуговицу у мундира, и я чуть не попал за это на гауптвахту. Уверяю вас... Такой странный случай: так прямо через меня и переехали. Представьте себе, четверка лошадей, двенадцать человек прислуги, наконец орудие с лафетом.

– Я слышал, что одним колесом вам придавило голову? – спокойно заметил Вершинин, улыбаясь в свою подстриженную густую бороду. – А планету вы уже открыли после этого случая... Я даже уверен, что между этим случаем и открытой вами планетой существовала органическая связь.

– Отстаньте, пожалуйста, Демид Львович! Вы все шутите... А я вам расскажу другой случай: у меня была невеста – необыкновенное создание! Представьте себе, совершенно прозрачная женщина... И как случайно я узнал об этом! Нужно сказать, что я с детства страдал лунатизмом и мог видеть с закрытыми глазами. Однажды...

Такие разговоры повторялись слишком часто, чтобы обращать на них внимание. М-лле Эмма слушала весь этот вздор с своей обычной апатией, не обращая внимания на Прозорова, который после неудачной атаки под столом принялся ей отчитывать самые страстные строфы из Гейне и даже Саади. Раиса Павловна, конечно, все это видела, но не придавала таким глупостям никакого значения, потому что сама в веселую минуту иногда давала подколеника какому-нибудь кавалеру-новичку, в виде особенной ласки называла дам свиньями и употребляла по-французски и даже по-русски такие словечки, от которых краснела даже м-лле Эмма. Но теперь ей было не до того: ее беспокоило поведение Вершинина и м-ме Майзель, которые несколько раз обменялись многозначительными взглядами, когда разговор зашел на тему об ожидаемом приезде Лаптева на заводы. Очевидно, это был открытый заговор против нее, и где же? – в

ее собственном доме... Это было уже слишком! Сарматов и Дымцевич тоже как будто переглядываются между собой... О! без сомнения, все они переметнулись на сторону Тетюева, и каждый дурак ждет, что именно его сделают главным управляющим. В Раисе Павловне забунтовала каждая жилка от непреодолимого желания отделать на все корки это собрание Иуд, а всех прежде – Амалию Карловну.

– М-г Половинкин, – обратилась m-me Майзель к parvenu, – будьте настолько добры, сходите за моей рабочей корзинкой. Я ее оставила дома...

М-г Половинкин съезжился, не зная, как выпутаться из своего неловкого положения; от господского дома до квартиры Майзеля было битых полторы версты. Если не пойти – старик Майзель, под начальством которого он служил, сживет со свету, если идти – Раиса Павловна рассердится. Последнее он хорошо заметил по лицу своей патронши.

– Ваша лошадь, кажется, у подъезда, Амалия Карловна... – пробормотал наконец m-г Половинкин. – Я с удовольствием, если позволите... оно скорее...

– Ах, нет... – с кислой улыбкой протестовала Амалия Карловна. – Лошадь устала, а вам пройтись немного, право, очень полезно... Уверяю вас!.. Ведь это всего в двух шагах – рукой подать.

– Я полагаю, Амалия Карловна, – отчетливо и тихо заговорила Раиса Павловна, переставляя чашку с недопитым кофе, – полагаю, что monsieur Половинкину лучше знать, что ему полезно и что нет. А затем, вместе с своей рабочей корзинкой, вы, кажется, забыли, что у monsieur Половинкина, как у всех присутствующих здесь, есть имя и отчество...

– Виновата, – жеманно ответила m-me Майзель, прищуривая свои ястребиные глаза, – если не ошибаюсь – Семен Семеныч...

– Нет, Иван Иваныч...

– Еще раз виновата, Иван Иваныч... – с расстановкой заговорила взбешенная Амалия Карловна, раскланиваясь с m-г Половинкиным. – Я уж лучше попрошу mademoiselle Эмму сходить за моей корзинкой. Ведь это недалеко: всего в двух шагах.

– Вам, Амалия Карловна, лучше всего обратиться к кому-нибудь из прислуги с вашей просьбой или к Демиду Львовичу... – отрезала m-lle Эмма, обладавшая большой находчивостью.

Эта глупая сцена сама по себе, конечно, не имела никакого значения, но в данном случае она служила вызовом, который Амалия Карловна бросила прямо в лицо Раисе Павловне. Приживалки притихли, ожидая бури; Вершинин с улыбкой гладил жирного мопса Нерона, который слезившимися, вылупленными глазами глупо смотрел ему в рот. Прозоров улыбался растерянной, пьяной улыбкой. Кормилицын препарировал ножку цыпленка, остальные напрасно старались изобразить из себя слушающую публику, которая была занята рассказом Сарматова, как он, однажды в Бессарабии давал настоящий концерт на фарфоровой гитаре. Буря пронеслась, и все понемногу успокоились, даже м-г Половинкин, который теперь с самым развязным видом старался рассмешить Анниньку. Сама Амалия Карловна как ни в чем не бывало продолжала доедать порцию холодного рябчика и аппетитно вытирала толстые губы салфеткой. С острым носом, с узкими черными глазками и с резкими, точно что-то хватавшими движениями, она всегда походила на птицу; это сходство увеличивалось еще пестрым барежевым платьем и кружевной наколкой на голове. Теперь Амалия Карловна, набивая рот рябчиком, рассказывала о необыкновенно красивой шляпке, которую м-те Тетюева на днях получила из Петербурга. Упомянуть фамилию Тетюевых в присутствии Раисы Павловны было вообще дерзостью, но Амалия Карловна с самой ехидной искренностью, на какую только способны великосветские дамы, еще прибавила, обращаясь к Раисе Павловне:

– А вы ничего не ждете себе из Петербурга? Я хочу сказать, не выписали ли вы себе какую-нибудь новинку... на голову?

– Амалия Карловна, вы слишком много себе позволяете!.. – вскипела наконец Раиса Павловна, бросая на тарелку вилку.

– Я?.. Я, кажется, ничего не сказала такого... – чистосердечно удивилась Амалия Карловна, обводя присутствующих удивленным взглядом.

– Нет, вы отлично понимаете, что хотели сказать. Я только могу удивляться вашей дерзости: явиться в мой дом... и...

– После этого моя нога никогда не будет в вашем доме!.. – величественно произнесла Амалия Карловна, торопливо проглатывая последний кусок рябчика.

– Мы не много от этого потеряем...

– Вы меня оскорбляете, Раиса Павловна!.. Николай Карлыч вызовет Платона Васильича на дуэль, если вы же извинитесь сейчас же...

– Дуэль? Ха-ха... Зачем дуэль, идите лучше и поцелуйтесь с вашим Тетюевым!..

Амалия Карловна ждала поддержки со стороны присутствовавших единомышленников, но те предпочитали соблюдать полнейший нейтралитет, как это и приличествует посторонним людям. Этого было достаточно, чтобы Амалия Карловна с быстротой пушечного ядра вылетела в переднюю, откуда доносились только ее отчаянные вопли: «Я знаю все... все!.. Вас всех отсюда метлой выгонят... всех!..»

– Нерон, кусь!.. – усыкнула вдогонку m-lle Эмма, и собака с громким лаем понеслась в переднюю.

Лицо Раисы Павловны горело огнем, глаза метали молнии, и в уютной столовой с дубовой мебелью и суровыми драпировками долго царило самое принужденное молчание. Доктор ковырял какую-то копченую рыбешку, Вершинин с расстановкой смаковал чайный ликер из крошечной рюмочки на тонкой высокой ножке, Дымцевич покручивал усики, толкая локтем Буйко. Прозоров и Сарматов разговаривали вполголоса, Аннинька кормила хлебными шариками вернувшегося из погони Нерона. После приживалок Нерон пользовался у Раисы Павловны особенными привилегиями. Он мог делать решительно все, что ему вздумается, и Раиса Павловна от души хохотала над его остроумными собачьими проказами, когда он, например, с ловкостью записного эквилибриста бросался к лакею, разносившему кушанье, и выхватывал с блюда лучший кусок или во время завтрака взбирался на обеденный стол и начинал обнюхивать тарелки и чашки завтракавших. Собачья фантазия была неистощима, и Нерон по какому-то инстинкту особенно надоедал тем, кого Раиса Павловна почему-либо недолюбливала. Все, кто хотел угодить Раисе Павловне, прежде всего был должен заслужить расположение Нерона. В этих видах Родион Антоныч, m-г Половинкин и другие приспешники всегда носили в кармане что-нибудь съестное, и даже сам Вершинин гладил и ласкал злую и ожиревшую собачонку.

– А я на вашем месте просто дала бы ей в шею... – лениво заметила m-lle Эмма, нарушая общее молчание.

Все засмеялись. Раиса Павловна тоже улыбнулась. Эта m-lle Эмма молчит-молчит, а потом и скажет всегда что-нибудь такое смешное. Высказав свое мнение, девушка с забавной серьезностью вытянула губы и посмотрела вызывающе на Вершинина. Положительно, эта немочка была интересна, если бы окончательно не «потеряла фигуру» благодаря своей увеличивавшейся полноте. Раиса Павловна с ужасом смотрела на ее расплывавшийся бюст, точно под корсетом у m-lle Эммы была налита вода. Да и одеться к лицу она никогда не умела: немка – так немка и есть, все на ней кошелем. То ли дело Аннинька – и лицом хуже m-lle Эммы, а фигурка у нее точно на заказ выточена, стройная да гибкая.

– Нет, в самом деле, Раиса Павловна, я на вашем месте лихо смазала бы эту Амальку, – повторила m-lle Эмма, поощренная общим смехом.

– Ах, душечка, меня, вероятно, самое скоро в шею смажут в собственном доме, – ответила Раиса Павловна. – Если бы Амалька вцепилась мне в физиономию, я уверена, что ни один из присутствующих здесь не вступился бы за меня... Взять хоть Демида Львовича для примера.

– Я сначала подождал бы, Раиса Павловна, на чьей стороне останется победа, – грудным тенором ответил Вершинин, прищуривая глаза. – А потом уж пристал бы, конечно, не к побежденной стороне...

IX

От Загнеткина было получено уже несколько писем. Он подробно описывал все, что успевал разузнать о предстоящей поездке Лаптева на заводы. Каждое письмо Раиса Павловна подвергала самому тщательному анализу и все-таки оставалась в конце концов неудовлетворенной: в затеянной Тетюевым игре ей оставалось много неясного. Что такое этот генерал Блинов – прежде всего? Получалось самое смутное, расплывавшееся в подробностях представление: если он «ученый профессор» по преимуществу, то каким образом примазался к нему Тетюев с своими интригами? Если, затем, генералом так вертит эта таинственная особа, то что же смотрит Прейн? Если наконец генерал задался неременной целью произвести на заводах необходимые финансовые реформы, то отчего до сих пор ни в заводууправлении, ни Платону Васильевичу не было решительно ничего известно? Получалась кружившая голову путаница, в которой невозможно было разобраться. Ясно было только то, что сама Раиса Павловна самым глупым образом попала между двумя сходящимися стенами: с одной стороны был Тетюев, завербовавший себе сильную партию Майзеля, Вершинина и др., с другой – генерал Блинов. Стоило только им сойтись вместе, и Раиса Павловна неизбежно будет похоронена под развалинами недавнего своего величия. Главное, теперь решительно ничего нельзя было предпринять для рассеяния сгущавшейся мглы, а нужно было ждать, ждать и ждать... Из тумана выступали пока совсем неопределенные фигуры генерала Блинова с его особой и какой-то балерины Братковской, из-за которой Лаптев откладывает свою поездку на Урал день за днем. Сам хитроумный и на все оборотистый Родион Антоныч решительно ничем не мог помочь Раисе Павловне и только нагонял на нее тоску своими бесконечными охами и вздохами.

– Уж вы лучше бы мне на глаза не показывались! – откровенно высказывалась ему Раиса Павловна.

Приживалки, которых Прозоров называл «галками», бесцельно слонялись по всему дому, как осенние мухи по стеклу, или меланхолично гуляли по саду. Делать им было решительно нечего, и

единственным развлечением являлся только m-г Половинкин, который держал себя с «галками» настоящим денди.

– Душечка, ты постарайся меньше кушать, – уговаривала Раиса Павловна m-лле Эмму, – а то ведь ты начинаешь совсем походить на индюшку... У тебя даже из-под пазух жир так и лезет складками!

Мадмуазель делала сердитое лицо и ничего не отвечала.

– Необходимо принять меры, голубчик, – продолжала Раиса Павловна. – Наконец посоветуйся с доктором: есть такие средства, от которых такие толстушки делаются интересными девицами. Что же делать, если природа иногда несправедлива к нам...

Когда не было Раисы Павловны, девушки осторожно шушукались между собой, критикуя каждый шаг своей патронши.

– Я решительно не понимаю, – говорила m-лле Эмма, – чего она находит интересного в этой вертушке Лукерье? Прейн и не взглянет на нее. Очень ему нужно смотреть на всякую дрянь!

– У Луши носик хорошенький, с горбиком.

– Только и есть, что один носик, Аннинька. Ну, да Прейну сойдет... для счета.

– Ты уж не ревнуешь ли ее к нему?

– Я?.. Очень мне нужно. Этот Прейн такой отвратительный, если бы ты знала. Он так умеет надоесть...

– Однако когда-то ты им была, кажется, очень заинтересована.

– Не больше, чем ты своим Иван Ивановичем... Вот погоди, и ты не уйдешь от Прейна, Аннинька. Ему была бы только юбка... Я была тогда глупа, когда он ухаживал за мной, и не умела забрать его в руки. Если он начнет проделывать с тобой такую же историю, я тебя научу, что нужно делать. Следовало бы его проучить... А все это наша Раиса Павловна! Я была еще совсем девчонкой, когда Прейн приехал сюда в первый раз. Ну, конечно, принялся ходить за мной, а Раиса Павловна сейчас с своими шуточками да анекдотами – проходу не дает. А потом... Помнишь из «Belle Hélène»^[11]:

...но ведь бывают столкновенья,
когда мы нехотя грешим!..

– Что же, он скоро тебя бросил? – допытывалась Аннинька.

– Да, у него все это скоро делается: через неделю, кажется... Мерзавец вообще, каких мало. А теперь Раиса Павловна будет ловить Прейна на Лукерью, только она не продаст ее дешево. Будь уверена. Недаром она так ухаживает за этой девчонкой...

– А знаешь, что я думаю, – говорила Аннинька. – Не думает ли Раиса Павловна прельстить Лушей самого Лаптева.

– Ну, уж ты очень далеко хватила: Лаптева!.. Дай бог Прейна облюбовать с грехом пополам, а Лаптев уже занят, и, кажется, занят серьезно. Слыхали про Братковскую? Говорят, красавица: высокого роста, с большими голубыми глазами, с золотистыми волосами... А сложена как богиня. Первая красавица в Петербурге. А тут какая-нибудь чумичка – Луша... фи!..

– Я не понимаю только одного, ведь Луша выходит за Яшу Кормилицына, давно всем известно, и сама же Раиса Павловна об этом так хлопотала.

– Тогда хлопотала, а теперь оставит Яшеньку с носом и только, – засмеялась m-lle Эмма. – Не дорого дано... Да я на месте Луши ни за что не пошла бы за эту деревянную лестницу... Очень приятно!.. А ты слышала, какой подарок сделал доктор Луше, когда она изъявила желание выйти за него замуж?

– Нет.

– Это потеха: какую-то глисту в спирте... Честное слово! Мне Вершинин под секретом рассказывал, и она его с этой глистой в три шеи.

– Значит, у них все дело разохлось?

– А черт их разберет... Разве нашу Раису Павловну узнаешь, что она думает. Комар носу не подточит.

– Однако она сильно изменилась в последнее время, – задумчиво говорила Аннинька, – лицо осунулось, под глазами синие круги... Я вчера прихожу и рассказываю ей, что мы с тобой видели Амальку, как она ехала по улице в коляске вместе с Тетюевой, так Раиса Павловна даже побелела вся. А ведь скверная штука выйдет, если Тетюев действительно смажет нашу Раису Павловну. Куда мы тогда с тобой денемся, Эмма?

– Вздор!.. Наша Раиса всех в один узел завяжет – вот увидите, – уверенно отвечала m-lle Эмма, делая энергичный жест рукой. – Да если бы и смазали ее, невелика беда: не пропадем. Махнем в столицу,

и прямо объявление в газетах: «Молодая особа и т. д.» Вот и вся недолга. По крайней мере, можно пожить в свое удовольствие.

Эти рассудительные барышни очень обстоятельно обсудили все, что должно произойти по случаю приезда Лаптева. Конечно, будет несколько балов, потом равные поездки в горы, пикники и просто parties de plaisir^[12].

Майзель будет устраивать охоты с интересными превращениями, Вершинин – обеды, Сарматов – спектакли, и т. д. Интересно будет посмотреть, как Раиса Павловна будет мириться с Амалькой. Впрочем, это не первый случай между ними. Гораздо серьезнее будет встреча Раисы Павловны с той особой, которая едет с генералом Блиновым. Вот будет потеха, когда эти старые бабы встретятся и зафукают, как старые кошки!

Прасковья Семеновна в этих разговорах почти не принимала никакого участия, хотя в последнее время она чувствовала себя особенно хорошо: всеобщая суматоха и перестройка совпадали с ее душевным настроением, и она ходила из комнаты в комнату с самым довольным лицом. Девушка совершенно разумно рассуждала с рабочими, которые не выходили из господского дома. Она внимательно следила за каждым шагом вперед: где выкрасили, где переклеили новые обои, где покрыли лаком – все это, вместо взятое, служило самым верным доказательством приближающихся событий. Когда работы были кончены, Прасковья Семеновна заняла наблюдательную позицию в том окне, из которого виднелась трактовая дорога. Именно по этой дороге Лаптев и должен был приехать, и Прасковья Семеновна терпеливо ждала его по целым дням. Однажды она вбежала в комнату Анниньки и проговорила задыхающимся голосом:

– Едут!..

– Кто?

– Все едут.

Аннинька и m-lle Эмма бросились к окнам и должны были убедиться в справедливости этого известия.

Действительно, через площадь, мимо здания заводууправления, быстро катился громадный дорожный дормез, запряженный четверней. За ним, заливаясь почтовыми колокольчиками, летели пять

троек, поднимая за собой тучу пыли. Миновав заводоуправление, экипажи с грохотом въехали на мощный двор господского дома.

– Это Евгений Константиныч! – вскрикнула Аннинька, бросаясь предупредить Раису Павловну.

– Вздор, Аннинька! – решила рассудительная немка. – Лаптев так никогда не поедет. Это, вероятно, прислуга.

Любопытные барышни прильнули к окну и имели удовольствие наблюдать, как из дормеза, у которого фордэк был поднят и закрыт наглухо, показался высокий молодой человек в ботфортах и в соломенной шляпе. Он осторожно запер за собой дверь экипажа и остановился у подъезда, поджидая, пока из других экипажей выскакивали какие-то странные субъекты в охотничьих и шведских куртках, в макинтошах и просто в блузах.

– Музыканты... – шептала Аннинька, прижимаясь плечом к своей флегматической подруге, которая все время не сводила глаз с запертого дормеза.

– Что бы там такое было? – подумала вслух m-lle Эмма, не обращая ни к кому. – Уж не та ли особа, которая едет с Блиновым.

– Какой красивый!.. восторг!.. – восхищалась откровенная Аннинька, любуясь молодым человеком из дормеза, около которого теперь собрались все остальные.

На подъезд растерянно выскочил без фуражки швейцар Григорий и, вытянувшись по-солдатски, не сводил глаз с молодого человека в соломенной шляпе. Слышался смешанный говор с польским акцентом. Давно небритый седой старик, с крючковатым польским носом, пообещал кому-то тысячу «дьяблов». К галдевшей кучке, запыхавшись, подбегал трусцой Родион Антоныч, вытирая на ходу батистовым платком свое жирное красное лицо.

– Где нам остановиться? – обратился к нему молодой человек в ботфортах. – Я – домашний секретарь генерала Блинова, а это – венский оркестр.

– Отлично, отлично... – торопливо отвечал Родион Антоныч. – Для генерала Блинова приготовлено особенное помещение... Вы с ним остановитесь?

– О, это все равно... – с улыбкой проговорил молодой человек, глядя на кисло сморщившуюся физиономию Родиона Антоныча

своими ясными, голубыми, славянскими глазами. – Мне крошечную комнатку – и только.

– Найдется и комнатка... все найдется. А относительно оркестра... Позвольте... Да пожалуйста, сначала вас нужно поместить, а потом и господам музыкантам место найдем. Извините, не знаю вашего имени и отчества...

– Гуго Альбертович Могула-Братковский, к вашим услугам... А позвольте узнать...

– Меня, Гугу...

– Гуго...

– Да, да... меня, Гуго Альбертович, зовут просто Родионом Антонычем. Тоже домашний секретарь при главном управляющих всеми Кукарскими заводами, Платоне Васильевиче Горемыкине.

– Очень приятно, – баритоном протянул красавец поляк, заглядывая между прочих в окна, где виднелись лица Анниньки и m-Це Эммы.

– Так уж я сначала вам отведу квартиру, Гуго Альбертович... Эй, кучер, за мной!..

Поляк взъерошил свою красивую русую бородку, передернул широкими плечами и красиво зашагал по двору за торопливо семенившим Родионом Антонычем. Дормез покатился за ними, давя хрустевший под колесами речной хрящ, которым был усыпан весь двор, и остановился в следующем, где в сиренях и акациях кокетливо прятался только что выбеленный флигелек в три окна.

– Вот здесь... – проговорил Родион Антоныч с подавленным вздохом. – Григорий, ты вынесешь вещи, – обратился он к следовавшему в почтительном отдалении швейцару. – Или лучше я сам вытащу чемоданы...

– Нет, уж позвольте мне самому, – с утонченной вежливостью отказался Братковский. – У меня там очень капризные пассажиры сидят.

Молодой человек подошел к экипажу, отворил дверцу и на тонкой стальной цепочке вывел оттуда двух порядочных обезьян, из которых одна сейчас же оскалила свои большие белые зубы на онемевшего от изумления Родиона Антоныча.

– Это... это что же такое, Гуго Альбертович? – проговорил он, машинальным движением снимая перед обезьянами свою

соломенную шляпу.

– Обезьяны Нины Леонтьевны...

– Гм... – промычал Родион Антоныч.

«У Раисы Павловны Нерон, а у Нины Леонтьевны обезьяны... Так-с. Ох, уж эти дамы, дамы!.. А имя, должно быть, заграничное! Нина... Должно быть, какая-нибудь черкешенка, черт ее возьми совсем. Злющие каналы, говорят, эти черкешенки!»

– Я теперь обойдусь без вашей помощи, Родион Антоныч, – предупредил Братковский, когда свел обезьян в комнату.

– Отлично, отлично... Я вам пошлю человека: платье вычистить с дороги, сапожки.

– Пожалуй, пошлите, – лениво согласился молодой человек, исчезая в дормезе, откуда выглядывали углы чемоданов и каких-то поставцев.

– Сейчас же...

Родион Антоныч раскланялся с дормезом, в котором сидел Братковский, и уныло побрел к господам музыкантам, размышляя дорогой, куда он денет эту бесшабашную ораву. Пожалуй, еще стянут что-нибудь... Все это выдумки Прейна: нагнал орду дармоедов, а теперь изволь с ними возиться, когда работы без того по горло.

Появление гостей подняло весь господский дом на ноги. Горничные шныряли из комнаты в комнату с рассказом об обезьянах, как мыши, побывавшие в муке. Родион Антоныч, конечно, рассказал все Раисе Павловне с неизменными охами и вздохами, причем догадкам и предположениям не было конца. Первой догадалась, что сделать, Аннинька: она торопливо надела шляпу и отправилась в сад, в ту аллею, которая проходила как раз под окнами занятого Братковским флигелька. Эта стратегика удалась ей – в окне сидел таинственный секретарь и курил сигару. Заметив проходившую девушку, он вежливо поклонился ей.

– Красавец... – рассказывала Аннинька, рдея румянцем. – Как сложен: кровь с молоком! А какие глаза, Эммочка, – чудо! голубые, большие... Просто расцеловала бы разбойника!..

Раиса Павловна тоже успела из-за гардины разглядеть таинственного молодого человека, которого сейчас и определила, поместив его в разряд крупных молодых людей. Это был не какой-нибудь выродок, как большинство нынешней молодежи, а настоящий

молодой человек, сильный, здоровый, непременно веселый. Такие субъекты попадаются только в среде кавалеристов и обыкновенно сводят с ума вдовушек с богатырской комплекцией. Когда в дни своей молодости Раиса Павловна жила в аристократическом семействе, где познакомилась с Прозоровым, там часто бывали именно такие молодые люди. Все это был крайне развязный и остроумный народ, обращавшийся с женщинами с той особенной милой простотой, которая приобретается ранним знакомством с закулисной жизнью маленьких театров, загородных гуляний и цирков. От этих откровенных молодых людей всегда пахло лошадьми и конюшней, а в их преждевременной напускной серьезности слишком рано сказывались бессонные ночи и дорогие кутежи в обществе продажных красавиц. По человеческой логике казалось бы, что такие слишком опытные молодые люди не должны бы были пользоваться особенными симпатиями тепличных институтских созданий, но выходит как раз наоборот: именно на стороне этой золотой молодежи и сосредоточивались все симпатии восторженной и невинной юности, для которой запретный плод имел неотразимо притягательную силу. Раиса Павловна все это испытала на себе самой, и у нее невольно екнуло в груди ее сорокалетнее сердце при виде этого поляка-красавца, в котором все выдавало его кровное аристократическое происхождение,

– Да ведь это брат той балерины Братковской, о которой писал нам Загнеткин! – первая опомнилась Раиса Павловна. – Конечно, брат...

Родион Антоныч в ужасе развел руками и даже растворил рот: как это он сам не мог догадаться, когда молодой человек отрекомендовался ему! Вот тебе и началось: сестрица вертит Лаптевым, братец – секретарем у генерала Блинова, – нечего сказать, хорошенькая парочка. Значит, что захочет Нина Леонтьевна, ей стоит только передать Братковскому, тот – своей сестре, а эта все и перевернет в барине вверх дном. Тонко придумано... Ай да Тетюев! Вот где зацепил ловко!.. И где же с таким человеком тягаться, когда он, Родион Антоныч, даже забыл спросить Братковского, когда приедет генерал Блинов? Пробовал он навести справки через господ музыкантов, но те про генерала ничего не знали и только на четырех языках просили водки.

– Ужо, я как-нибудь заверну к нему, Раиса Павловна, – предлагал Родион Антоныч. – А там под рукой и расспрошу о генерале, может и о сестричке что скажет...

– Нет, пожалуйста, этого не делайте: не деликатно надоедать незнакомому человеку, который, может быть, совсем и не желает видеть нас с вами.

Раиса Павловна говорила это, конечно, неспроста: она ждала визита от Братковского. Действительно, он заявился к ней на другой же день и оказался именно тем, чем она представляла его себе. Это был милый человек во всех отношениях и сразу очаровал дамское общество, точно он был знаком сто лет.

«Вишь, какая приворотная гривенка, – думал про себя Родион Антоныч, наблюдая все время интересного молодого человека. – Небойсь о генерале да о своей сестричке ни гу-гу... Мастер, видно, бобы разводить с бабами. Ох-хо-хо, прости, господи, наши прегрешения».

М-г Половинкин совсем потерялся в обществе блестящего молодого человека и только жалко хлопал глазами, когда тот заставлял Анниньку хохотать до слез. В своей черной паре и белом галстуке Братковский был необыкновенно хорош: все на нем точно было вылито и могучие формы обрисовывало особенно эффектно. Когда он смеялся, Анниньке очень хотелось вlepить ему самую отчаянную институтскую безешку. Эта беззаботная девушка в присутствии Братковского испытывала необыкновенно приятное волнение, обдававшее ее щекотавшим теплом, а когда он на прощание особенно внимательно пожал ей руку, она вся вспыхнула горячим молодым румянцем и опустила глаза.

– Что это с тобой, Аннинька? – спрашивала m-lle Эмма, когда они ложились вечером спать. – Ты какая-то странная сегодня, точно угорелая бродишь...

– Ах, не то, не то совсем, Эммочка... милая!.. – вскрикнула Аннинька, начиная целовать подругу самыми отчаянными поцелуями: на глазах у ней были слезы. – Я так... мне хорошо.

М-lle Эмма сразу поняла, что творилось с Аннинькой, и только покачала головой. Разве для такой «галки», как Аннинька, первая любовь могла принести что-нибудь, кроме несчастья? Да еще любовь к какому-то лупоглазому прощельге, который, может быть, уж женат.

М-ше Эмма была очень рассудительная особа и всего больше на свете дорожила собственным покоем. И к чему, подумаешь, эти дурацкие восторги: увидала красивого парня и распустила слюни.

– Глупости, Аннинька... вздор! – сердито проговорила м-ше Эмма, снимая с своих круглых ног чулки.

Бедная «галка» ничего не отвечала; уткнувшись головой в подушку, она тихо рыдала. М-ше Эмма даже плюнула при виде таких телячьих нежностей и пообещала Анниньке немецкого черта.

Братковский бывал в господском доме и по-прежнему был хорош, но о генерале Блинове, о Нине Леонтьевне и своей сестре, видимо, избегал говорить. Сарматов и Прозоров были в восторге от тех анекдотов, которые Братковский рассказывал для одних мужчин; Дымцевич в качестве компатриота ходил во флигель к Братковскому запросто и познакомился с обеими обезьянами Нины Леонтьевны. Один Вершинин заметно косился на молодого человека, потому что вообще не выносил соперников по части застольных анекдотов.

– А когда же ваш патрон приедет? – по сту раз на день спрашивали домашнего секретаря генерала Блинова.

– Ничего неизвестно, господа... Решительно – ничего! – уклончиво отвечал осторожный молодой человек.

Родион Антоныч в сообществе с Сарматовым надеялся спить крепкого полячка, авось пьяный развяжет язык, но Братковскийпил крайне умеренно и совсем не думал пьянеть.

Пока «малый двор» исключительно был занят секретарем генерала Блинова, ежедневно прибывали новые гости: подкатил целый обоз с кухней и поварами, потом приехало несколько подвод специально с гардеробом, затем конюшня и экипажи, наконец привалила охота. Вся эта орда большей частью была «устроена» на нижнем дворе, где в тетюевские времена помещалась господская дворня. Егеря в голубых кунтушах, целый штаб из камердинеров, наездники, кучера, музыканты – все это смешалось в невообразимо пеструю кучу, точно на нижнем дворе остановился для нескольких представлений какой-нибудь громадный странствующий цирк.

– Ведь все они до последнего есть каждый день хотят!.. – восклицал Родион Антоныч, ломая в отчаянии руки. – А тут еще нужно кормить двадцать пять лошадей и целую свору собак... Извольте радоваться. Ох-хо-хо!..

Прошел май, а барин все не ехал.

В господском доме стояла страшная и томительная скука, какая овладевает человеком перед грозой. Даже самые трусливые, в том числе Родион Антоныч, настолько были утомлены этим тянущим душу чувством, что, кажется, уже ничего не боялись и желали только одного, чтобы все это поскорее разрешилось в ту или другую сторону. Братковский держался по-прежнему и чувствовал себя как рыба в воде; музыканты, егеря, кухня и наездники пьянствовали напропалую, не обращая никакого внимания на кислые гримасы Родиона Антоныча, оплакивавшего каждую бутылку водки.

Когда все таким образом привыкли к своему положению и даже начали говорить, что все равно – двух смертей не бывать, а одной не миновать, из Петербурга от Прохора Сазоныча прилетела наконец давно ожидаемая телеграмма, гласившая: «Сегодня Лаптев выезжает с Прейном и Блиновым. Заводных приготовьте пятнадцать троек».

– Ну, началось! – простонал Родион Антоныч, чувствуя, как у него подгибаются колени со страху.

– Пятнадцать троек! – думала вслух Раиса Павловна, перечитывая телеграмму. – Это целая орда сюда валит. От Петербурга до Москвы сутки, от Москвы до Нижнего сутки, от Нижнего до Казани – двое, от Казани по Волге, потом по Каме и по Белой – трое суток... Итого, неделя ровно. Да от Белой до Кукарского завода двести тридцать верст – тоже сутки. Через восемь дней, следовательно, все будут здесь. Слышите, Родион Антоныч?

– Ох, слышу, все слышу...

– У вас все будет готово?

– Все, все... Не знаю, как на других заводах, а у нас все...

– Да нам до других заводов дела нет; там свои управители есть, и пусть отдуваются. Да Лаптев едва ли и поедет от нас... Нам придется за всех здесь муку принимать.

– Точно так-с. Майзель уж собрал лесообъездчиков со всех сторон и мундиры им заказал... Около Куржака медвежью берлогу отыскали,

матерая медведица с двумя медвежатами ходит. Под Заозерным оленей сказывают.

– Значит, отлично на первый раз. А как театр?

– Это уж Сарматов орудует...

– Главное: костюмы... понимаете? У Наташи Шестеркиной плечи хорошие, ну, ее декольтируем, а Кануниикову в русском сарафане покажем. Я за этим сама наблюдаю.

– Вот я хотел вам сказать, Раиса Павловна, насчет Лукерьи Витальевны... Барышня совсем заневестилась и по всем статьям вышла. Вот бы показать на сцене-то.

– Молода еще она для сцены, сробеет... – уклончиво ответила Раиса Павловна, что-то обдумывая про себя.

– И даже нисколько не сробеют... Я их как-то видел: так и наливаются, вроде как малина! Ей-богу!

– Ну, это уж мое дело. Пусть ее наливается, а для сцены она не годится: совсем еще девчонка девчонкой... Плечи узенькие, тут (Раиса Павловна сделала выразительный жест рукой) ничего нет.

– Ватки бы подложить да пажиком бы и показать. Хе-хе. Они точно что из себя субтильные, а может, это и нужно будет. Господская душа – потемки, сударыня. Ах, все я вам забываю доложить, – понизив тон, продолжал Родион Антоныч, – родитель-то Гликерии Витальевны...

– Запил?

– Даже весьма. Точно назло: все стараются, всякий по своей части из кожи лезут, а он мертвую закладывает. Приступа даже нет... А вдруг Евгений Константиныч захотят заводские школы осмотреть? «Где инспектор?» А у них даже костюма подходящего нет...

– Костюм нужно сшить, да приставьте к нему садовника Абрама, чтобы день и ночь караулил. Да еще не забудьте сказать доктору, чтобы прописал чего-нибудь: хлорала или нашатырного спирта.

– Слушаю-с.

Родион Антоныч хотел уходить, но вернулся и конфиденциально сообщил:

– А Вершинин-то, Раиса Павловна, с Тетюевым да с Майзелем хотят контру устроить Платону Васильичу... И Сарматов с Дымцевичем туда же.

– Подлецы! Ах, да все они на одну колодку выкроены. Тетюева видели? Доволен?..

– Издальки видел... Веселый такой едет на новой лошади. Серая, в яблоках...

– Ну, и пусть его повеселится, а вы тоже не печальтесь.

– Я, Раиса Павловна, не печалюсь: двух смертей не бывать...

– То-то и есть. Гусей по осени считают, и хорошо только то, что хорошо кончается... Так?

Восемь дней, оставшиеся до приезда Лаптева, промелькнули незаметно в общей, теперь уже бесцельной суматохе, какая овладевает людьми в таких исключительных случаях. Наконец наступил и роковой восьмой день. С раннего утра весь завод был на ногах. По улицам бродили праздные кучки любопытных, а на площади, перед зданием заводууправления и особенно около господского дома, народ стоял стена стеной, несмотря на отчаянные усилия станového и нескольких полицейских водворить порядок в этом галдевшем живом море. Мастеровые в новых зипунах и армяках, старики с палками, бабы в пестрых платках, босоногие ребятишки – все слилось в одну массу, которая приготовилась простоять здесь до самого вечера, чтобы хотя одним глазком взглянуть на барина. Загорелые, обожженные в огненной работе лица заводских рабочих выглядели сегодня празднично, с тем довольным выражением, с каким смотрит отдыхающий человек. Бабы трещали, как сороки, пощелкивая кедровые орехи; ребятишки совались меж ног, толкали всех и, как воробьи, рассыпались в мгновение ока при первом грозном слове какого-нибудь сердитого старика, с благоговением глядевшего в окна барского дома. Общее настроение толпы было самое торжественное. Ведь барин являлся чем-то вроде стихийной силы, которая слепо осыпает своими милостями и невзгодами; барин служил олицетворением возможного на земле могущества. Мужичья фантазия терялась в перечислении всех необходимых атрибутов такого барина, каким был Лаптев. Он все может сделать, что захочет; казне нет счету, земле – конца-краю, и т. д.

Для человека нового эта пятитысячная толпа представлялась такой же однообразной массой, как трава в лесу, но опытный взгляд сразу определял видовые группы, на какие она распадалась естественным образом.

Основание составляли собственно фабричные рабочие, которых легко было отличить от других по запеченным, неестественно красным лицам, вытянутым, сутуловатым фигурам и той заводской саже, которой вся кожа пропитывается, кажется, навеки. Тут были простые поденщики, черноделы и рабочая аристократия. Все эти люди, изо дня в день тянувшие каторжную заводскую работу, которую бойкий заводский человек недаром окрестил огненной, теперь слились в одно общее желание взглянуть на барина, для которого они жарились у горнов, ворочали клещами раскаленные двенадцатипудовые крицы, вымогались над такой работой, от которой пестрядевые рубахи, после двух смен, вставали от потовой соли коробом. Фабрика рядом поколений выработала совершенно особенный тип заводского фабричного, который в состоянии вынести нечеловеческий труд. Эти жилистые, могучие руки, эти красные затылки, согнутые спины и крепкая, уверенная поступь были точно созданы для заводской работы. Каждая фигура была сколочена из одних костей и мускулов и дышала чисто заводской силой. На первый раз могло поразить то, что самые здоровые субъекты отличались худобой, но это и есть признак мускульной, ничем не сокрушимой силы. Как рядовой солдатик-пехотинец, так и заводский мастеровой страдают жировым перерождением только в исключительных случаях. Красные рубахи, накинутые на плечи чекмени и лихо надвинутые на одно ухо войлочные шляпы придавали фабричным рабочим вид записных щеголей, которые умеют поставить последнюю копейку ребром.

Полным контрастом с заводскими мастеровыми являлись желтые рудниковые рабочие, которые «робили в горе». Изнуренные лица, вялые движения и общий убитый вид сразу выделял их из общей массы, точно они сейчас только были откопаны откуда-то из-под земли и не успели еще отмыть прильнувшей к телу и платью желтой вязкой глины. Работа «в горе», на глубине восьмидесяти сажен, по всей справедливости может назваться каторжной, чем она и была в крепостное время, превратившись после эмансипации в «вольный крестьянский труд». Конечно, «в гору» толкала этих желтых, выцветших людей самая горькая нужда, потому что там платили дороже, чем на других работах. Стоило только раз попасть рабочему в медный рудник, чтобы на веки вечные обресть следующие поколения

на эту же работу. Это объясняется очень просто: молодых, здоровых рабочих толкает «в гору» возможность больших заработков, но самый сильный человек «израбливается» под землей в десять – двенадцать лет, так что поступает на содержание к своим детям в тридцать пять лет. Таким образом, детям рудниковых рабочих приходится слишком рано содержать не только самих себя и свои семьи, но и семью отца, а такой заработок может дать только одна «гора». Получается роковой круг, из которого вырваться могут только счастливицы: рудниковый рабочий органически связан со своей «горой», как устрица со своей раковиной. Вообще трудно сказать, что труднее – работать «в горе» или в огненной работе, но и те и другие рабочие являются настоящими гномами нашего «века огня и железа».

Между этими основными группами толкались черномазые углежогои, приехавшие поглядеть барина из дальних лесных деревень, «транспортные», прозванные за свою отчаянность «соловьями», и всякий другой рабочий люд, не имевший определенной специальности или менявший ее с каждым годом. Сюда же прибрели самые древние старики, вытянувшиеся еще на крепостном праве. Достаточно было взглянуть на эти согнутые в дугу спины, подгибавшиеся колени и дрожавшие корявые руки, чтобы сразу узнать бывших огненных и рудниковых рабочих. Они чинно держались в стороне от молодых рабочих, большинство было с длинными черемуховыми палками. Около них вертелись босоногие ребятишки, особенно те, которые еще не успели отведать заводской работы. И слабые детские руки тоже принимали участие в гигантской заводской работе, с десяти лет помогая семьям своим гривенником поденщины.

– Одиаче долго-таки барин не едет! – говорил какой-то седой старик, поглядывая в окна господского дома. – Пора бы! с которого времени дожидаем...

– Уехали, слышь, встречать на Половинку: Платон Васильич с управителями, Родивон Антоныч, Николай Карлыч... На пяти тройках угнали, а лесообъездчики – на верхних. Так запалили, что страсть...

Когда вдали, по Студеной улице, по которой должен был проехать барин, показывалась какая-нибудь черная точка, толпа глухо начинала волноваться и везде слышались возгласы: «Барин едет!.. Барин едет... Вот он!..» Бывалые старики, которые еще помнили, как наезжал старый барин, только посмеивались в седые бороды и приговаривали:

– Он и есть, барин! Как есть, дураки! Разве барин так тебе и поехал! Перво-наперво пригонят загонщики, потом в колокола ударят по церквам, а уж потом и барин, с фалетуром, на пятерке. А то: барин! Только вот Тетюева не стало, некому принять барина по-настоящему. Нынче уж что! только будто название, что главный управляющий!

– Ноне народ вольный, дедушка, – заметил кто-то из толпы мастеровых. – Это допрежь того боялись барина пуще огня, а ноне что нам барин: поглядим – и вся тут. Управитель да надзиратель нашему брату куда хуже барина!

– Сравнял... Эх, вы-ы!.. Мало вас драли, вот и брешете. Кабы жив был старик Тетюев, да...

– Это ты верно говоришь, дедушка, – вступился какой-то прасол. – Все барином кормимся, все у него за спиной сидим, как тараканы за печкой. Стоит ему сказать единое слово – и кончено: все по миру пойдем... Уж это верно! Вот взять хошь нас! живем своей торговой частью, барин для нас тьфу, кажется, а разобрать, так... одно слово: барин!.. И пословица такая говорится: из барина пух – из мужика дух.

– Уж это что говорить, знамо дело, что все барином дышим! – согласился за всех кто-то в толпе.

Во двор господского дома пускались только избранные: депутации от всех волостей, заслуженные мастеровые в дареных господских кафтанах, обшитых позументом, служащие, рыженький священник с причтом и т. д. В передней с раннего утра топталась степенная группа стариков. Это были коноводы той партии общественников, которые тягались с Родионом Антонычем из-за уставной грамоты. Теперь они пришли в господский дом с новой надеждой, что с приездом барина наконец уладится и их дело. В уверенном выражении этих серьезных лиц сказывалась непоколебимая вера в правоту своего дела и твердое желание послужить миру до последнего. Ведь барин сейчас приедет, все увидит, все разберет и все устроит.

– Что, старички? жалобу принесли барину? – спрашивала Раиса Павловна, проходя по передней.

– А уж что бог даст, Раиса Павловна. Мы ведь из вашей господской воли не выходим, только нам наше бы добыть.

– Напрасно вы с своими пустяками Евгения Константиныча хотите беспокоить, старички!

– Уж это как господь ему на душу положит.

В приемных комнатах господского дома в выжидательном молчании сидели старшие служащие. В громадной зале был сервирован стол для обеда, а на хорах гудела разноязычная толпа приезжих музыкантов, приготовившихся встретить гостей торжественным тушем.

Среди общего молчания раздавались только шаги Анниньки и m-lle Эммы: девицы, обнявшись, уныло бродили из комнаты в комнату, нервно оправляя на своих парадных шелковых платьях бантики и ленточки. Раиса Павловна сама устраивала им костюмы и, как всегда, осталась очень недовольна m-lle Эммой. Аннинька была хороша – и своей стройной фигуркой, и интересной бледностью, и лихорадочно горевшими глазами, и чайной розой, небрежно заколотой в темных, гладко зачесанных волосах.

На фабрике часы пробили двенадцать, час, два, а барин все не ехал. Толпы все прибывали, заполнив морем голов всю площадь перед зданием заводоуправления и вытянувшись в длинный шевелившийся хвост мимо господского дома вдоль всей Студеной улицы. Чтобы как-нибудь не прозевать барина, большинство поступило даже обедом. В господском доме выжидательное настроение давно уже отразилось в усталом выражении всех глаз, в побледневших лицах и в том особенном нервном состоянии, от которого у всех пересохло во рту. Раиса Павловна не знала, как ей убить мучительно тянувшееся время. Она нервно переходила из одной комнаты в другую, осматривала в сотый раз, все ли готово, и с тупым выражением лица останавливалась у окна, стараясь не глядеть в дальний конец Студеной улицы.

– Этот Платон Васильич больше, чем идиот, – говорила она Анниньке. – Ну что ему стоило послать из Половинки какого-нибудь лесообъездчика?.. Наконец Родион Антоныч чего смотрит! Это можно с ума сойти!

– Раиса Павловна! – перебила эту горячую реплику появившаяся в дверях m-lle Эмма, – там... пришел Виталий Кузьмич...

– Ох, боже мой! Этого только еще не доставало! и, конечно, пьян?

– Да... сильно пошатывается.

– Что ему нужно? Скажи кому-нибудь, чтобы его прибрали подальше от глаз...

В этот момент толпа на улице глухо загудела, точно по живой человеческой ниве гулкой волной прокатилась волна. «Едет!.. Едет!..» – поднялось в воздухе, и Студеная улица зашевелилась от начала до конца, пропуская двух верховых, скакавших к господскому дому на взмыленных лошадях во весь опор. Это и были давно ожидаемые всеми загонщики, молодые крестьянские парни в красных кумачных рубахах.

– Сейчас выезжает с Половинки... – кричали они, спешиваясь у крыльца господского дома.

Не успели загонщики «отлепортовать» по порядку слушавшему их служащему, как дальний конец Студеной улицы точно дрогнул, и в

воздухе рассеянной звуковой волной поднялось тысячеголосое «ура». Но это был еще не барин, а только вихрем катилась кибитка Родиона Антоныча, который, без шляпы, потный и покрытый пылью, отчаянно махал обеими руками, выкрикивая охрипшим голосом:

– Тише!.. Ах, б-божже мой!.. Чертоломы вы этакии! чего напрасно плотку дерете?! Чему обрадовались?

– Ну? – спрашивала Раиса Павловна, выбегая навстречу к Сахарову.

– Ох, беда! Сорок лошадей загнали на восьми станциях... Семнадцать троек бежит... Видел *самого* и к ручке приложился! – высыпал Родион Антоныч привезенные новости.

– Да что вы так долго там, на Половинке, сидели?

– Чай пили...

– Отчего же вы меня не известили? Мы тут голову совсем потеряли, а они там чай распивают.

– Не мы, а *сам* чай пил.

– Так бы и послали сказать. А *ту* видели?

Родион Антоныч только махнул рукой и побежал в переднюю, где сейчас же накинулся на депутацию с хлебом-солью:

– В церковь ступайте... все в церковь!.. Да чтобы звонили, во вся звонили, как только покажется пыль на дороге.

Точно в ответ на эти слова на пяти заводских церквях загудели все колокола, и Родион Антоныч торопливо начал креститься. Через минуту он уже подымался на паперть главной церкви, которая стояла посреди базарной площади. Там уже ждало духовенство во всем облачении, и народ набожно снял шапки. Выстроив депутацию с хлебом-солью у паперти, Родион Антоныч, заслонив рукой глаза от солнца, впился в дальний конец Студеной улицы, по которой теперь, заливаясь колокольчиками, вихрем мчалась исправничья тройка с двумя казаками назади. За ней во весь карьер летел открытый дорожный дормез, заложенный пятеркой. В воздухе катилась целая буря отчаянных звуков, нараставших и увеличивавшихся с каждым шагом вперед, как катившийся под гору снежный ком. Когда дормез подъезжал к церкви, вся Студеная улица и площадь представляли собой настоящее море, которое кипело и бурлило каждым своим атомом. Гул колоколов и дружный крик тысяч людей слились в один протяжный стон. Общее внимание было приковано к катившемуся

дормезу, в котором сидели трое в белых летних костюмах. Один из них время от времени снимал какую-то пеструю шапочку без козырька и раскланивался на обе стороны.

– Вот он, барин-от... Уррра-а-а-а!.. – неистово орал какой-то мастеровой, в порыве энтузиазма хватаясь за колесо остановившегося экипажа.

– Голубчик ты наш! родименький! – подвывали в толпе бабы, вытягиваясь на носочки.

Дормез остановился перед церковью, и к нему торопливо подбежал молодеватый становой с несколькими казаками, в пылу усердия делая под козырек. С заднего сиденья нерешительно поднялся полный, среднего роста молодой человек, в пестром шотландском костюме. На вид ему было лет тридцать; большие серые глаза, с полузакрытыми веками, смотрели усталым, неподвижным взглядом. Его правильное лицо с орлиным носом и белокурыми кудрявыми волосами много теряло от какой-то обрюзгшей полноты.

– И к чему вся эта дурацкая церемония, генерал? – лениво по-французски протянул молодой человек, оглядываясь с подножки экипажа на седого старика с строгим лицом.

– Нельзя, Евгений Константиныч, такой обычай! – по-французски ответил старик, поднимаясь с места.

Шотландский костюм барина сначала немного смутил восторженную публику, но потом все решили, что, вероятно, так нужно, потому барин – значит, закон ему не писан. Баб ужасно заинтересовала клетчатая пестрая юбочка, а мужиков – отсутствие штанов. Пестрый плед, пестрая шапочка, с длинными лентами на затылке, и чулки на ногах тоже были, конечно, подвергнуты самой строгой критике и тоже получили свое объяснение: барин. Только голые колени барина немного смутили самых смелых, потому что решительно не находилось для них никакого подходящего извиняющего мотива. Зато генерал своей внушительной высокой фигурой и сердитыми седыми усами произвел на окружающих самое хорошее впечатление: настоящий генерал, хотя и штатский. Его длинное лицо, с резкими, точно обрубленными линиями, отдавало солдатской выправкой; только небольшие темные глаза смотрели добрым и открытым взглядом. Дорожный простой костюм старика и

мягкая пуховая шляпа представляли рядом с пестротой шотландского костюма приятный контраст.

– Что же мне теперь делать? – с капризными нотками в голосе спрашивал Лаптев, когда генерал вышел из экипажа.

– Ничего больше, как только подняться на колокольню и оттуда раскланяться с народом, – отозвался из экипажа сухонький подвижной господин неопределенных лет.

– Ах, мне не до шуток, Прейн! – усталым голосом проговорил Лаптев.

Сухощавое лицо Прейна с щурившимися бесцветными глазами и тонкими морщинами около породистого горбатого носа улыбнулось беспечной и вместе уверенной улыбкой. Небольшого роста, с сильной грудью и тоненькими ножками, Прейн походил на жокея в отставке или наездника из цирка. Слишком нервная натура сказывалась в каждом движении, особенно в игре личных мускулов и улыбающемся, пристальном взгляде. И одет Прейн был как жокей: коротенькая синяя куртка, лакированные сапоги, белые штаны, шляпа-котелок на голове. Его маленькая, тощая фигурка рядом с массивной, представительной фигурой генерала казалась особенно жалкой. Этот подвижный, юркий человек обладал неистощимым запасом какого-то бесшабашного веселья и так же весело и беззаботно острил, когда отправлялся на дуэль, как и сидя за стаканом вина.

Когда Лаптев, в сопровождении Блинова и Прейна, поднимался на церковную паперть, к церкви успели подъехать три следующих экипажа, из которых торопливо повыскакивали Горемыкин, Майзель, Вершинин и двое еще не известных лиц. Они рысцой вбежали на паперть, где теперь Лаптев, сняв свою шотландскую шапочку, прикладывался к кресту. Сахаров первым успел просунуть свою коротко остриженную голову и торопливо приложился к барской ручке, подавая пример стоявшим с хлебом-солью депутатам, мастеровым в дареных синих кафтанах и старым служащим еще крепостной выправки. Осанистый старик священник с окладистой седой бородой достал из-под ризы бумажку и хотел по ней прочесть приветственное пастырское слово, но голос у него дрогнул на первых строках, и он только бессвязно пробормотал какой-то текст из Священного писания.

– Пожалуйста, увезите меня отсюда скорее! – взмолился Лаптев, когда на него со всех сторон посыпались рабы поцелуи; кто-то в пылу энтузиазма целовал даже его голое колено. – Это какие-то сумасшедшие!

Выбраться из толпы, которая была слишком наэлектризована этой торжественной минутой, было не так-то легко, и только при помощи казаков и личном усердии станового и исправника Лаптева наконец освободили от сыпавшихся на него со всех сторон знаков участия. Пришлось пробираться до экипажа через живую стену.

– Евгений Константиныч, куда же это вы? – кричал по-французски Блинов, стараясь пробиться через толпу, которая отделяла его от Лаптева. – Сейчас будет молебн, Евгений Константиныч...

– Оставьте его! – ответил Прейн из экипажа, в который он залез через облучок. – После отслужим... Валяйте, генерал, по моему примеру, через облучок: все дороги ведут в Рим.

У коляски Лаптева ожидало новое испытание. По мановению руки Родиона Антоныча десятка два катальных и доменных рабочих живо отпрягли лошадей и потащили тяжелый дорожный экипаж на себе. Толпа неистово ревела, сотни рук тянулись к экипажу, мелькали вспотевшие красные лица, раскрытые рты и осовевшие от умиления глаза.

– Что же это такое наконец? – уже сердито обратился Лаптев к Прейну.

Прейн только пожал плечами и сквозь зубы проговорил:

– Пусть их везут, если им это доставляет удовольствие.

– Да я этого не хочу!.. Я лучше пойду пешком.

– Сейчас доедем, Евгений Константиныч, – успокаивал генерал. – Вон, кажется, и господский дом, если не ошибаюсь...

– Да, да... – подтверждал Прейн, – всего несколько шагов...

– Мне остается только поблагодарить вас, генерал, за этот даровой спектакль, – с иронией заметил Лаптев.

– Что делать! нужно потерпеть, Евгений Константиныч! Имейте терпение.

– Стоит для этого тащиться из Петербурга в такую даль.

Когда торжественная процессия приблизилась к господскому дому, окна которого и балкон были драпированы коврами и красным сукном, навстречу показалась депутация с хлебом-солью от всех

заводов. Старик, с пожелтевшей от старости бородой, поднес большой каравай на серебряном блюде.

– Примите блюдо и поблагодарите, – шепнул Блинов смутившемуся заводовладельцу.

– Благодарю, господа... Я... очень доволен, хотя, право, это совсем лишнее, – развязно заговорил Лаптев, принимая блюдо от старика.

Чтобы предупредить давешнюю сцену народного энтузиазма, проход от экипажа до подъезда был оцеплен стеной из казаков и лесообъездчиков, так что вся компания благополучно добралась до залы, где была встречена служащими и громким тушем. Лаптев рассеянно поклонился служащим, которые встретили его также хлебом-солью и речью, и спросил, обратившись к Прейну:

– Вы заметили второе окно направо?

– О да... премилое личико! Вероятно, какая-нибудь интересная провинциалочка. Вам не мешает переодеться после дороги...

Прейн провел Лаптева в его уборную, где уже ждал англичанин-камердинер, м-г Чарльз. Лаптев точно обрадовался и даже осведомился, благополучно ли м-г Чарльз сделал последнюю станцию, причем детски-капризным голосом начал жаловаться на страшную усталость и на те церемонии, какими его сейчас только угостили. М-г Чарльз выслушал своего повелителя с почтительным достоинством, как и следует слуге высшей школы. Его упитанная, выхоленная фигура, красивое бесстрастное лицо, безукоризненные манеры, костюм, прическа, произношение, ногти на руках – все было проникнуто одним сплошным достоинством, которому не было границ. Когда м-г Чарльз гулял для моциона пред обедом, его можно было принять за министра в отставке. Недаром один остряк сказал про Лаптева, что он уважает в свете только одного человека – м-г Чарльза. Этот отзыв был близок к истине.

– Не угодно ли вам выбрать костюм для завтрака? – проговорил м-г Чарльз, предлагая вниманию своего повелителя две дюжины панталон, таковое же количество жилетов, визиток, галстуков и сорочек.

Лаптев ежедневно переодевался минимум четыре раза и теперь переменял свой шотландский костюм на светло-серую летнюю пару из какой-то мудреной индийской материи. М-г Чарльз, конечно, не

надел бы такого костюма для парадного завтрака, но величественно и с достоинством промолчал.

Пока совершался торжественный проезд Лаптева от церкви до господского дома, в этом последнем нервное напряжение достигло до последней степени. Раиса Павловна чувствовала, как у ней похолодели пальцы, а в висках стучала кровь. В своем шелковом кофейном платье, с высоко взбитыми волосами на голове, она походила на театральную королеву, которая готовится из-за кулис выйти на сцену с заученным монологом на губах. Аннинька, m-lle Эмма и Прасковья Семеновна выглядывали на улицу из-за оконных драпировок, а Раиса Павловна стояла у окна вместе с Лушей, одетой в свое единственное нарядное платье из чечунчи. «Галки» с лихорадочным нетерпением переживали все перипетии развертывавшейся пред их глазами комедии. Аннинька во всей этой суматохе видела только одного человека, и этот человек был, конечно, Гуго Братковский; m-lle Эмма волновалась по другой причине – она с сердитым лицом ждала того человека, которого ненавидела и презирала. Прасковья Семеновна смотрела вдоль Студеной улицы со слезами на глазах, точно сегодняшней день должен был окончательно разрешить ее долголетние ожидания. Теперь уж ждала не одна она, а все ждали – и Раиса Павловна, и m-lle Эмма, и Аннинька. Раиса Павловна внимательно наблюдала Лушу и любовалась ею. Разве эта девушка нуждалась в бархате, кружевах и остальной мишуре, когда природа наделила ее с такой несправедливой щедростью? В порыве чувства Раиса Павловна тихонько поцеловала Лушу в шею и сама покраснела за свою институтскую нежность, чувствуя, что Луше совсем не правятся проявления чувства в такой форме.

Волна оглушительных криков, когда поезд с барином двинулся от церкви, захлестнула и во второй этаж господского дома, где все встрепенулось, точно по Студеной улице ползло тысячеголовое чудовище. Луша смотрела на двигавшуюся по улице процессию с потемневшими глазами; на нее напало какое-то оцепенелое состояние, так что она не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Вот и дормез, который катился по улице точно сам собой... Мелькнула шапочка Лаптева, его волнистые белокурые волосы; Прейн весело

раскланялся с Раисой Павловной и, прищурившись, пристально взглянул на Лушу. Луше показалось, что и Лаптев тоже смотрит на нее, и она инстинктивно отскочила от окна в глубину комнаты.

– Приехал! приехал! – восторженно шептала Прасковья Семеновна, не утирая слез, катившихся у нее по щекам.

Пока Лаптев принимал хлеб-соль, к господскому дому подъезжала одна тройка за другой. Из экипажей выходил всевозможный человеческий сброд, ютившийся вокруг Лаптева: два собственных секретаря Евгения Константиныча, молодые люди, очень смахивавшие на сеттеров; корреспондент Перекрестов, попавший в свиту Лаптева в качестве представителя русской прессы, какой-то прогоревший сановник Летучий, фигурировавший в роли застольного забавника и складочного места скабрёзных анекдотов, и т. д. Большинство составляло какие-то темные, потертые личности в отличных дорожных костюмах; кто они и что – вероятно, не открыть никаким химическим анализом, никаким самым тщательным микроскопическим исследованием. Эти господа смотрели свысока на всех, презрительно пожимали плечами и лениво перебрасывались шаблонными французскими фразами. Раиса Павловна достаточно насмотрелась на своем веку на эту человеческую мякину, которой обрастает всякое известное имя, особенно богатое, русское, барское имя, и поэтому пропускала этих бесцветных людей без внимания; она что-то отыскивала глазами и наконец, толкнув Лушу под руку, прошептала:

– Вот *она*, Луша...

– Кто?

– Да та каналья, которая едет с генералом в качестве его... ну, его метрессы.

Раиса Павловна в бинокль пристально рассматривала толстую, безобразную, небольшого роста даму, которая сидела в дорожной коляске генерала.

– Это какой-то орангутанг! – пропищала Аннинька, сдержанно хихикая. – Эммочка, голубчик! посмотри... Настоящая обезьяна в мешке!

– Жеваная котлетка... – коротко проговорила m-lle Эмма, лорнируя незнакомку. – Точно сейчас вынутый из банки со спиртом урод!

– Удивляюсь! – медленно протянула Раиса Павловна, поднимая вверх свои жирные плечи.

«Галки» тоже подняли свои плечи и удивились неприхотливому вкусу генерала Блинова. Суд был короток, и едва ли какой другой человеческий суд вынес бы такой строгий вердикт, как суд этих женщин.

Коляска генерала проследовала к генеральскому флигельку, где Нину Леонтьевну встретил пан Братковский, улыбающийся и державший почтительно свою соломенную шляпу в руках.

– Настоящая чугунная болванка! – проговорила m-lle Эмма, когда Нина Леонтьевна вкатилась своей почти квадратной тушей в недра генеральского флигелька.

– Удивляюсь! – еще раз протянула Раиса Павловна и улыбнулась уничтожающей улыбкой, какая убивает репутацию человека, как удар гильотинного ножа.

– Видели? – сдержанным шепотом спрашивал Родион Антоныч, точно вынырнувший около Раисы Павловны из-под земли.

– Да, да... поздравляю с находкой!.. Это какое-то гороховое чучело... монстр! Удивляюсь!!.. А что Евгений Константиныч?

– Изволят одеваться, Раиса Павловна. Просто чистая беда... Отец Аристарх давеча хотел сказать приветственное слово и со страху только бородкой трясет... Ей-богу!.. А народ что делает! Видели, как лесообъездчики катили дормез-то! Как быки, так и прут!

– Что вы тут толчетесь? – оборвала его болтовню Раиса Павловна. – Посмотрите, все ли готово в столовой.

– Смотрел, все смотрел. Готово все-с. Только Евгений Константиныч выйдут из уборной, сейчас я вам прибегу сказать.

– Хорошо, хорошо... Mademoiselle Эмма, у вас пуговка у лифа расстегнулась. Аннинька, поправьте галстучек... А ты куда, Луша?

– Я домой, Раиса Павловна.

Раиса Павловна торопливо поцеловала свою фаворитку и отпустила ее восвояси. Луша, пошатываясь, вышла из комнаты, прошла через веранду и в каком-то тумане побрела к своему нищенскому углу. Глаза у ней горели, грудь тяжело поднималась, в горле стояли слезы. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой жалкой и ничтожной, как в этот момент, и от бессильной злобы в клочки рвала какую-то несчастную оборку на своем платье. А

июньское солнце светило таким благодатным светом, обливая дрожавшим и переливавшимся золотом деревья, траву, цветы и ряды волн, плескавшихся о каменистый берег. Ничего этого не видела Луша, придавленная и уничтоженная своей нищетой.

Раиса Павловна тревожно поглядывала на часы, считая минуты, когда ей нужно будет идти в столовую в качестве хозяйки и вывести за собой «галок», как необходимый элемент, в видах оживления предстоящей трапезы. Прасковья Семеновна в счет не шла.

– Раиса Павловна! – прошептала Аннинька, показывая глазами на то окно, из которого можно было видеть генеральский флигелек.

Изумленным глазам Раисы Павловны представилась такая картина: Гуго Братковский вел Нину Леонтьевну под руку прямо к парадному крыльцу. «Это еще что за комедия?» – тревожно подумала Раиса Павловна, едва успев заметить, что «чугунная болванка» была одета с восточной пестротой.

– Прошли в господский дом... – как эхо повторила Аннинька мысли своей патронши. – Вероятно, это чучело ошиблось подъездом.

Когда через пять минут в комнату вбежал встревоженный и бледный Родион Антоныч, дело разъяснилось вполне, с самой беспощадной ясностью для всех действующих лиц.

– Раиса Павловна! Раиса Павловна! – задыхаясь, шептал верный слуга. – *Она... та*, которая приехала с генералом, теперь в столовой и... и... всем распоряжается. Да, своими глазами видел!

– Не может быть, вы ошиблись? – заметила Раиса Павловна, выпрямляясь во весь рост.

– Нет, Раиса Павловна... Я слышал, как *она* сказала генералу, что желает быть здесь полной хозяйкой и никому не позволит угощать Евгения Константиныча обедом. Генерал ее начал было усовещивать, что настоящая хозяйка здесь вы, а она так посмотрела на генерала, что тот только махнул рукой.

В голове у Раисы Павловны от этих слов все пошло кругом; она бессильно опустилась на ближайшее кресло и только проговорила одно слово: «Воды!» Удар был нанесен так верно и так неожиданно, что на несколько мгновений эта решительная и энергичная женщина совсем потерялась. Когда после нескольких плотков воды она немного пришла в себя, то едва могла сказать Родиону Антонычу:

– Передайте Прейну и Платону Васильичу, что я извиняюсь пред Евгением Константинычем, что не могу сегодня, по болезни, занять за столом свое место хозяйки дома...

«Галки» окружили Раису Павловну, как умирающую. Аннинька натирала ей виски одеколоном, m-lle Эмма в одной руке держала стакан с водой, а другой тыкала ей прямо в нос каким-то флаконом. У Родиона Антоныча захолонуло на душе от этой сцены; схватившись за голову, он выбежал из комнаты и рысцой отправился отыскивать Прейна и Платона Васильевича, чтобы в точности передать им последний завет Раисы Павловны, которая теперь в его глазах являлась чем-то вроде разбитой фарфоровой чашки.

В столовой, где был сервирован обед, Родион Антоныч увидел Нину Леонтьевну, окруженную обществом милых бесцветных людей, ходивших за ней хвостом. Тут же толклись корреспондент Перекрестов и прогоревший сановник Летучий, ходившие по столовой под ручку и уже давно нюхавшие воздух.

– Когда я был в Сингапуре, нас капитан угостил однажды китайской рыбой... – повествовал Перекрестов, жидкий и вихлястый молодой человек, с изношенной, нахальной физиономией, мочальной бороденкой и гнусавым, как у кастрата, голосом.

Летучий был не лучше, хотя и в другом роде. Это был седой приличный субъект, с слезившимися голыми глазами старого развратника и плотоядной улыбкой на сморщенных, точно выжатых губах; везде, где только можно, у него блестело массивное золото без пробы и фальшивая бриллиантовая булавка в галстук. Говорил он хриповатым баском и постоянно потирал свои большие руки, затянутые в безукоризненно-свежие лайковые перчатки. Когда-то Летучий был сановником, попечениям которого был вверен целый край, по колесо фортуны повернулось, и он очутился в приживалках у Лаптева, которого утешал своими анекдотами «из детской жизни». Перекрестов, рядом с этим вымирающим типом помпадурства, являлся настоящим homo novus; в качестве представителя русской прессы он не только из конца в конец обрыскал свое отечество, но исколесил Европу и даже сделал несколько кругосветных путешествий. Его гений не знал меры и границ: в Америке на всемирной выставке он защищал интересы русской промышленности, в последнюю испанскую войну ездил к Дон-Карлосу с какими-то

дипломатическими представлениями, в Англии «поднимал русский рубль», в Черногории являлся борцом за славянское дело, в Китае защищал русские интересы и т. д. Единственным плодом от этой кипучей деятельности остались только захватывающие воспоминания о том, что и как он, Перекрестов, ел в Яффе, в Сан-Франциско, в Шанхае, в Кадиксе, в Бостоне, в Каире, Биаррице, Ментоне, на острове Уайте и т. д. На Урал Перекрестов явился почти делегатом от горнопромышленных и биржевых тузов, чтобы «нащупать почву» и в течение двух недель «изучить русское горное дело», о котором он будет реферировать в разных ученых обществах, печатать трескучие фельетоны и входить с докладными записками в каждую официальную щель и в каждую промышленную дыру.

Среди этого сомнительного общества сомнительных людей Нина Леонтьевна являлась настоящим перлом. Небольшого роста, с расплывшимся бюстом, с короткими жирными руками и мясистым круглым лицом, она была безобразна, как ведьма, но в этом лице сохранились два голубых крошечных глаза, смотревших насквозь умным, веселым взглядом, и характерная саркастическая улыбка, открывавшая два ряда фальшивых зубов. В каком-то невозможном голубом платье, с огненными и оранжевыми бантами, она походила на аляповатую детскую игрушку, которой только для проформы проковыряли иголкой глаза и рот, а руки и все остальное набили наклея.

– Послушай, Нина, сейчас Прейн передал мне, что Раиса Павловна хочет сказать себя больной, – говорил нерешительно генерал, покручивая усы. – Это выйдет очень неловко... Горемыкина – хозяйка в этом доме, и не пригласить ее просто неделикатно.

– Ты ошибаешься, – с тонкой улыбкой ответила Нина Леонтьевна, – предоставь это, пожалуйста, мне... Необходимо сразу показать ей, где ее настоящее место. К чему разводить эти никому не нужные нежности? Я такая же хозяйка здесь, и ты можешь выбирать между мной и ей...

– Ты забываешь, Нина, как к этому отнесется Прейн.

– О, это не ваша забота, Мирон Геннадич... Не лучше ли вам позаботиться о том, что Евгению Константиновичу пора показаться к народу, который просто неистовствует на улице.

Действительно, под окнами господского дома время от времени точно закипала волна буруна, и в воздухе дыбом поднимался тысячеголосый крик. Генерал только пожал плечами и направился в уборную. Теперь в приемных комнатах оставалась только приехавшая с Лаптевым челядь да избранники в лице заводских управителей. Вершинин, Майзель, Буйко, Дымцевич, Сарматов, доктор Кормилицын, Платон Васильевич и еще несколько человек заслуженных стариков сбились в одну плотную кучу и терпеливо выжидали, когда наконец покажется Евгений Константиныч. «Малый двор» чувствовал себя не совсем хорошо пред лицом «большого двора», хотя Прейн успел со всеми поздороваться и всякому сказать бойкое приветливое слово. Генерал пока познакомился только с Платоном Васильичем и Майзелем, он не обладал счастливым даром скоро сходитьсь с людьми.

Отыскав Платона Васильевича и отведя его в сторону, он вполголоса расспрашивал о Прозорове и время от времени сосредоточенно покачивал своей большой головой, остриженной под гребенку. Горемыкин был во фраке и постоянно поправлял свой белый галстук, который все сбивался у него на сторону.

– Жаль, очень жаль... – говорил генерал, посматривая на двери уборной. – А какой был талантливый человек! Вы думаете, что его уже невозможно спасти?

– Трудно, ваше превосходительство...

– Так, так... Необходимо будет увезти его отсюда, – вслух думал генерал. – У него, кажется, была дочь, если не ошибаюсь?

– Да, теперь совсем взрослая девушка... и очень красивая. Виталий Кузьмич вообще ведет странный образ жизни и едва ли удержится на каком-нибудь другом месте.

Родион Антоныч, не теряя из виду управительского кружка, зорко следил за всеми, особенно за Братковским, который все время сидел в комнате, где была Нина Леонтьевна, и только иногда показывался в зале, чтобы быть на виду у генерала на всякий случай. «Тонкая бестия эта шляхта, – думал про себя Родион Аптопыч, утирая вспотевшее лицо платком и со страхом поглядывая на сердитого генерала. – Ох, всех подтянет, всех... Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!..» Когда генерал поворачивался в сторону Родиона Антоныча, он слегка наклонился вперед и начинал улыбаться блудливой, жалкой

улыбкой. Но главное внимание Родиона Антоныча было занято улицей, где гудела десятитысячная толпа и время от времени нестройными вспышками поднималось «ура»; он постоянно подбегал к окошку и зорко вглядывался в море голов, отыскивая кого-то глазами. Швейцару и лесобъездчикам строго-настрого было заказано не пускать близко к подъезду всяких «сомнительных» мужиков, которые могли принести за пазухой какую-нибудь «бумагу к барину», но все-таки осторожность не была лишней. Рабье сердце Родиона Антоныча было теперь преисполнено блаженным трепетом: барин был в двух шагах – он сейчас выйдет. У верного слуги даже щипало в горле от неиспытанного счастья лицезреть барина, который в течение двадцати лет являлся каким-то полумифическим существом.

Ожидание продолжалось уже целый час, а барин все не показывался. Прейн несколько раз наведывался в его комнату и успел уже переодеться два раза. Генералу тоже надоело ждать, и он тоже отправился в уборную, где и застал такую картину. Чарльз, вытянутый и важный, почтительно стоял у дверей, а сам Лаптев заставлял великолепного бланжевого пойнтера Брунгильду подавать поноску. Умная собака, стоившая несколько тысяч, сходилась за брошенным платком раз десять, а затем, видимо, смутилась и, помахивая тонким хвостом, вопросительным умным взглядом смотрела на m-r Чарльза.

– Господи, что же это такое? – взмолился генерал, останавливаясь перед Лаптевым. – Евгений Константиныч! вас ждут целый час тысячи людей, а вы возитесь здесь с собакой! Это... это... Одним словом, я решительно не понимаю вас.

– Посмотрите, генерал, какая упрямая эта Брунгильда, – весело ответил Лаптев, – а я еще упрямее и непременно заставлю ее сделать по-своему. Вы сами увидите... Brunehaut, apportez!..^[13]

XIII

Когда Родион Антоныч сообщил о болезни Раисы Павловны, Прейн только поднял высоко брови и равнодушно проговорил:

– Ага!

– Она извиняется, что не может выйти к обеду, – продолжал Родион Антоныч, склоняя голову на один бок.

– Ага!

– Раиса Павловна просила передать свои извинения Евгению Константинычу.

– Ага!

У бедного Ришелье защемило на душе от этого «ага», которое черт его знает что значило.

За обедом о Раисе Павловне тоже не было сказано ни одного слова, хотя за столом сидели битых два часа, вплоть до самого вечера. Это был своего рода первый застольный турнир между малым и большим двором, на котором противники могли помериться силами. «Большой двор», конечно, подавлял «малый» своими исключительными преимуществами, хотя все по возможности старались держать себя на равной ноге. Евгений Константиныч говорил мало и преимущественно обращался к Нине Леонтьевне, которая, видимо, пользовалась его особенным вниманием. Кроме других лакеев, за столом прислуживал и m-г Чарльз, который подавал кушанье только своему патрону, Прейну, генералу, Нине Леонтьевне и Платону Васильевичу. Последний все время сидел как на иголках: у бедного ходили круги в глазах при одной мысли о том, что его ждет вечером у семейного очага. Нина Леонтьевна в качестве хозяйки старалась поддержать самый непринужденный разговор, что ей было не особенно трудно сделать при трогательных усилиях всех действующих лиц. Перекрестов рассказывал о всевозможной еде, какую он испробовал во всевозможных широтах и долготах, при самом разнообразном барометрическом давлении и всевозможных отклонениях магнитной стрелки. Сарматов, конечно, воспользовался таким удобным случаем и довольно развязно присоединил к этому повествованию свой скромный голос.

– Когда я служил с артиллерийским парком на Кавказе, – рассказывал он, стараясь закрыть свою лысину протянутым из-за уха локоном, – вот где было раздолье... Представьте себе: фазаны! Настоящие золотые фазаны, все равно как у нас курицы. Только там их едят не так, как у нас. Вообще записной охотник не дотронется до свежей дичи, а мы убитых фазанов оставляли на целую неделю на воздухе, а потом уж готовили... Получался необыкновенный букет!

– Ага! – протянул Прейн.

– Не много ли будет: неделя? – заметил Вершинин. – Температура на Кавказе высокая, и в неделю из ваших фазанов останутся одни перья.

– Ах, Демид Львович... В этом-то и шик! Мясо совсем черное делается и такой букет... Точно так же с кабанями. Убьешь кабана, не тащить же его с собой: вырежешь язык, а остальное бросишь. Зато какой язык... Мне случалось в день убивать по дюжине кабанов. Меня даже там прозвали «грозой кабанов». Спросите у кого угодно из старых кавказцев. Раз на охоте с графом Воронцовым я одним выстрелом положил двух матерых кабанов, которыми целую роту солдат кормили две недели.

Бесстрастное неподвижное лицо Лаптева обратилось к рассказчику, и на нем мелькнула едва заметная улыбка. Наклонившись к Прейну, он тихо спросил:

– Это кто?

– Штабс-капитан Сарматов, управитель Мельковского завода.

Этого было достаточно, чтобы до десятка лиц с скрытой завистью посмотрели на Сарматова, который был замечен Евгением Константинычем. Это была целая карьера для «грозы кабанов». Летучий и Перекрестов переглянулись и блудливо заерзали на своих местах; неожиданный успех Сарматова задел их за живое. Бесцветные люди навели свои лорнеты и пенсне на «грозу кабанов». Прейн еще раз сказал свое «ага». Нина Леонтьевна потихоньку наблюдала представителей «малого двора» и особенно осталась довольна Вершининым и Майзелем, которые держали себя с достоинством и отвечали очень находчиво. Вершинин настолько освоился с «большим двором», что раза два очень ядовито оборвал завравшегося Перекрестова, которого невзлюбил с первого раза, как соперника по застольному краснобайству. Между строк скоро выработалось то

молчаливое соглашение, при помощи которого определяются взаимные отношения людей, видевших друг друга в первый раз. Генерал пытался было поднять серьезный разговор на тему о причинах общего упадка заводского дела в России, и Платон Васильевич наострил уже уши, чтобы не пропустить ни одного слова, но эта тема осталась гласом вопиющего в пустыне и незаметно перешла к более игривым сюжетам, находившимся в специальном заведовании Летучего. Нина Леонтьевна нимало не смутилась таким оборотом разговора и громко смеялась над остроумными анекдотами прогоревшего помпадура. Один м-р Чарльз оставался в этой компании невозмутимо спокойным и неподвижным, точно замороженный. Он смотрел на обедающих свысока, как сфинкс, которого никто не может разгадать. По всей вероятности, если бы м-р Чарльз имел право и возможность, он всей собравшейся здесь компании молча и замороженно показал бы на дверь.

После обеда, когда вся компания сидела за стаканами вина, разговор принял настолько непринужденный характер, что даже Нина Леонтьевна сочла за лучшее удалиться восвояси. Лаптев пил много, но не пьянел, а только поправлял свои волнистые белокурые волосы. Когда Сарматов соврал какой-то очень пикантный и невозможный анекдот из бессарабской жизни, Лаптев опять спросил у Прейна, что это за человек.

– Ага! Это штабс-капитан Сарматов, или «гроза кабанов»! – ответил Прейн, щуря свои бесцветные глаза.

Бесцветные молодые люди смеялись, когда смеялся Лаптев, смотрели в ту сторону, куда он смотрел, пили, когда он пил и вообще служили громадным зеркалом, в котором отражалось малейшее движение их патрона.

Из-за обеда вся компания поднялась вместе с сумерками, когда в открытые окна со стороны сада потянуло свежей пахучей струей. Господский дом, здание заводоуправления, фабрика и сад были роскошно иллюминированы, а на пруду, на громадном плоту из бревен, затрещал и захолопал фейерверк. Для гудевшего на улице народа на балконе господского дома играла музыка, и ночной воздух при каждом хлопке взвивавшихся кверху огненными дугами ракет потрясался взрывами народного восторга. Появлялись пьяные и особенно усердно орали барину хриплую пьяную «уру». Евгений

Константиныч выходил на балкон, и каждый раз его встречали оглушительными залпами самых восторженных криков. Генерал задумчиво смотрел на волнувавшуюся тысячеголовую толпу, которая в его глазах являлась собранием тех пудо-футов, которые служили материалом для его экономических выкладок и соображений.

Все это трескучее торжество отзывалось на половине Раисы Павловны похоронными звуками. Сама она, одетая в белый пеньюар с бесчисленными прошивками, лежала на кушетке с таким истомленным видом, точно только сейчас перенесла самую жестокую операцию и еще не успела хорошенько проснуться после хлороформирования. «Галки» сидели тут же и тревожно прислушивались к доносившимся с улицы крикам, звукам музыки и треску ракет.

Платон Васильич несколько раз пробовал было просунуть голову в растворенные половинки дверей, но каждый раз уходил обратно: его точно отбрасывало электрическим током, когда Раиса Павловна поднимала на него глаза. Эта немая сцена была красноречивее слов, и Платон Васильич уснул в своем кабинете, чтобы утром вести Евгения Константиныча по фабрикам, на медный рудник и по всем другим заводским мытарствам.

Летняя короткая ночь любовно укутала мягким сумраком далекие горы, лес, пруд и ряды заводских домиков. По голубому северному небу, точно затканному искрившимся серебром, медленно ползла громадная разветвленная туча, как будто из-за горизонта протягивалась гигантская рука, гасившая звезды и вот-вот готовая схватить самую землю. Домики Кукарского завода на этой руке сделались бы не больше тех пылинок, которые остаются у нас на пальцах от крыльев моли, а вместе с ними погибли бы и обитатели этих жалких лачуг, удрученные непосильной ношей своих подлостей, интриг, глупости и чисто животного эгоизма.

Посмотрите, как крестится и шепчет торопливо молитву на сон грядущий Родион Антоныч; в голове кукарского Ришелье работает тысяча валов, колес и шестерен, перемалывая перепутавшиеся впечатления тревожного дня. У Родиона Антоныча тяжело на душе, а в ушах все еще отдается «ага» Прейна. Первый блин вышел комом, и старик напрасно ощупывает свою голову, точно подыскивая какое-то забытое утешение или ту крошечную надежду, за которую мог бы

ухватиться придавленный неудачей мозг. Он теперь переживает в сотый раз нанесенное оскорбление Раисе Павловне и не видит выхода. Стоит ему сомкнуть глаза, как встает целый ряд обидных картин: вот торжествует Майзель с своей птицей – Амалькой, вот улыбается в бороду Вершинин, вот ликует Тетюев...

В генеральском флигельке наступившая ночь не принесла с собой покоя, потому что Нина Леонтьевна недовольна поведением генерала, который, если бы не она, наверно позволил бы Раисе Павловне разыгрывать совсем неподходящую ей роль. В своей ночной кофточке «чугунная болванка» убийственно походит на затасканную замшевую куклу, но генерал боится этой куклы и боится сказать, о чем он теперь думает. А думает он о своем погибающем друге Прозорове, которого любил по студенческим воспоминаниям.

– Посмотрим, как вы будете держать себя дальше... – грозно шипит «чугунная болванка». – С своей стороны могу сказать только то, что при первой вашей уступке *этой* женщине я сейчас же уезжаю в Петербург.

Генерал уверяет, что никаких уступок не последует с его стороны и что он должен честно выполнить взятую на себя задачу.

В убогом флигельке Прозорова мигает слабый свет, который смотрится в густой тени тополей и черемух яркой точкой. Сам Прозоров лежит на прорванном диване с папироской в зубах. Около него на стуле недопитая бутылка с водкой, пепельница с окурками, рюмка с обломанным доньшком и огрызки соленого огурца.

– Набоб приехал... Ха-ха! – смеется он своим нехорошим смехом, откидывая волосы. – Народный восторг и общее виляние хвостов. О почтеннейшие подлецы с Мироном Блиновым во главе! Неужели еще не выросла та осина, на которой всех вас следует перевешать... Комедия из комедий и всероссийское позорище. Доколе, о господи, ты будешь терпеть сих подлецов?.. А царица Раиса здорово струхнула, даже до седьмого пота. Ха-ха!

Луша слышит эту болтовню, и ей делается страшно в своей комнате, где она напрасно старается углубиться в чтение романа, который ей принес на днях Яшка Кормилицын. Ей душно и тяжело. Эти стены ее давят. Хочется воли, простора, воздуха, чтобы хоть раз вздохнуть полной грудью, вздохнуть и... а там будет что будет! Она унесла в своей головке частичку той суеты, свидетельницей которой

была давеча. У ней еще стоят в ушах крики тысячной толпы, волны музыки, и она все еще видит этот разноцветный дождь, который рассыпался над ней во время фейерверка. Она видит обрюзглого молодого человека, который смотрел на нее давеча из коляски, видит его волнистые белокурые волосы и переживает тяжелое, томительное чувство странной зависти за свое существование. Отчего она не была на этом обеде, где весело играла музыка, слышался смех и лилось дорогое вино? Воображение рисовало ей заманчивую картину: как она является царицей таких обедов, как все удивляются ее красоте и как все преклоняется перед ней, даже этот белокурый молодой человек с усталыми глазами. Сегодня подушка ей кажется особенно тяжелой, а роман Яшки Кормилицына скучнее его самого. Воздуха! воздуха!

А в спальне Лаптева происходит в это время такая сцена. Евгений Константинович сидит с папиросой в зубах и задумчиво смотрит в пространство.

– Альфред! ты видел этого молодого человека?.. – говорит он, обращаясь к Прейну, который маленькими шажками бойко бегал по кабинету.

– Секретаря генерала... Братковского? Да. Он обедал с нами.

– Я и говорю об этом. Такие же глаза, такие же волосы и такая же цветущая сильная фигура... Он очень походит на свою сестру. Как ты находишь, Альфред?

– Ага... – неопределенно мычит Прейн, вскидывая глаза на своего друга-повелителя. – Кажется... Гортензия Братковская... красавица?

– А что она теперь делает, по-твоему?

– Вероятно, где-нибудь на водах. Она собиралась ехать... Да, очень красивая и еще более упрямая девчонка. Знаете, что она имела в виду?

– ?

– Она мечтала быть madame Лаптевой.

Лаптев издает неопределенный носовой звук и улыбается. Прейн смотрит на него, прищулив глаза, и тоже улыбается. Его худощавое лицо принадлежало к типу тех редких лиц, которые отлично запоминаются, но которые трудно определить, потому что они постоянно меняются. Бесцветные глаза под стать лицу. Маленькая эспаньолка, точно приклеенная под тонкой нижней губой, имеет претензию на моложавость. Лицо кажется зеленоватым,

изможденным, но крепкий красный затылок свидетельствует о большом запасе физической силы.

– Что мы будем здесь делать? – спрашивал Лаптев лениво.

– А генерал?

– Да-а...

– Потом необходимо съездить на другие заводы, побываем в горах, устроим охоту... Будет любительский спектакль и бал. Кстати, завтра будем осматривать завод, то есть собственно фабрику и рудник.

– А без этого нельзя обойтись, Альфред?

– Нет.

– А «гроза кабанов» будет завтра? Он смешно врет...

Лаптев лениво смеется, и если бы бесцветные «почти молодые люди» видели эту улыбку, они мучительно бы перевернулись в своих постелях, а Перекрестов написал бы целый фельетон на тему о значении случайных фаворитов в развитии русского горного дела.

Через полчаса, при помощи m-г Чарльза, Евгений Константинович отходит ко сну, напрасно стараясь решить, что теперь делает Гортензия Братковская. Ночь покрывает и этого магната-заводчика, для которого существует пятьдесят тысяч населения, полмиллиона десятин богатейшей в свете земли, целый заводский округ, покровительственная система, генерал Блинов, во сне грезящий политико-экономическими теориями, корреспондент Перекрестов, имеющий изучить в две недели русское горное дело, и десяток тех цепких рук, которые готовы вырвать живым мясом из магната Лаптева свою долю. Да, хорошо спится людям с спокойной совестью и полным желудком, которых не тревожат тяжелые грезы и которые просыпаются с мыслью о новых удовольствиях и развлечениях!

На другой день по приезде Лаптева, по составленному генералом маршруту, должен был последовать генеральный осмотр всего заводского действия.

Евгений Константиныч проснулся довольно поздно, когда на фабрике отдали свисток к послеобеденным работам. В приемных комнатах господского дома уже толклись с десяти часов утра все главные действующие лица. Платон Васильич с пяти часов утра не выходил с фабрики, где ждал «великого пришествия языков», как выразился Сарматов. Прейн сидел в спальне Раисы Павловны, которая, на правах больной, приняла его, не вставая с постели.

– Мне остается только поблагодарить вас за внимание... – говорила Раиса Павловна, запуская своему другу шпильку.

– Что же мне было делать, когда эта свинья сама залезла за стол! – оправдывался Прейн. – Не тащить же было ее за хвост... Вы, вероятно, слышали, каким влиянием теперь пользуется генерал на Евгения Константиныча.

– Но ведь тут маленькая разница: генерал или его метресса...

Прейн только поднял брови и развел руками.

– Что она такое, если разобрать... – продолжала Раиса Павловна волнуясь. – Даже если мы закроем глаза на ее отношения к генералу, что она такое сама по себе?

– Это черт, а не женщина – вот она что такое! – проговорил Прейн. – Представьте себе, она *нравится* Евгению Константинычу. Понятно, нравится не как женщина, а как остроумный и ядовитый человек.

– Я это знала раньше вас и могла только удивляться, как вы могли допустить подобную вещь...

– Как Пилат, я могу умыть руки в этом деле с чистой совестью.

Раиса Павловна горько усмехнулась и с презрением посмотрела на Пилата.

– А в сущности, все это пустяки, моя дорогая, – заговорил торопливо Прейн, посматривая на часы. – Могу вас уверить, что вся эта история кончится ничем. Увлечение генералом соскочит с Евгения

Константиныча так же скоро, как наскочило, а вместе с ним улетит и эта свинушка...

Надеждам и обещаниям Прейна Раиса Павловна давно знала настоящую цену и поэтому не обратила на его последние слова никакого внимания. Она была уверена, что если слетит с своего места по милости Тетюева, то и тогда Прейн только умоет руки во всей этой истории.

– Вы напейтесь кофе у меня, – предлагала Раиса Павловна, дергая сонетку.

– Мне, собственно, некогда... – завертелся Прейн, вынимая часы. – Евгений Константиныч проснулся и сейчас отправляется осматривать фабрики.

– Ничего, пусть подождет. У меня есть кое-что передать вам...

Пока Прейн пил чашку кофе с поджаренными сухариками, Раиса Павловна рассказала ему о происках Тетюева и компании, причем сделала предположение, что и поездка Лаптева на заводы, по всей вероятности, дело тетюевских рук. Прейн слушал ее внимательно, как доктор слушает рассказ пациента, и, прихлебывая из чашки кофе, после каждой паузы повторял свое неизменное «ага». Когда этот длинный рассказ был кончен, Прейн на минуту задумался и, повертев пальцем около лба, проговорил:

– Это для меня новость, хотя, собственно говоря, я и подозревал кое-что. Если это устроил Тетюев, то он замечательно ловкий человек, и чтобы разбить его, мы воспользуемся им же самим... Ха-ха!.. Это будет отлично... У меня есть свой план. Вот увидите.

– А я не могу узнать ваш план?

– Отчего же, с большим удовольствием! План самый простой: я постараюсь дать полный ход всем замыслам Тетюева, буду ему помогать во всем – вот и только.

Раиса Павловна онемела от изумления, а Прейн засмеялся своим неопределенным смехом.

– Я решительно ничего не понимаю... – проговорила она, стараясь угадать, не шутит ли Прейн. – Вы говорите серьезно?

– О, совершенно серьезно. Это будет замечательная комедия...

– Комедия, в которой душой останусь я одна?

– Да нет же, говорят вам... Право, это отличный план. Теперь для меня все ясно, как день, и вы можете быть спокойны. Надеюсь, что я

немножко знаю Евгения Константиныча, и если обещаю вам, то сдержу свое слово... Вот вам моя рука.

– Честное слово?

– Самое честное слово!.. Честное слово старого друга... Однако мне пора идти, меня ждут.

Поцеловав руку Раисы Павловны, Прейн быстро направился к двери, но вернулся с дороги и с улыбкой проговорил:

– А как насчет живности, моя дорогая? Ведь это одни из самых капитальных вопросов, а то мы можем соскучиться...

– Какие вы глупости говорите, Прейн! – улыбнулась Раиса Павловна уже с сознанием своей силы. – Mademoiselle Эмма, которую вы, кажется, немного знаете, потом Аннинька!.. и будет! У меня не воспитательный дом.

– Это какая Аннинька? Не та ли самая, которая стояла с вами в окне, когда мы въезжали на ослах?

Раиса Павловна ничего не ответила, а только загадочно улыбнулась неисправимому старому грешнику.

В это время прибежал лакей, разыскивавший Прейна по всему дому, и интересный разговор остался недоконченным. Евгений Константиныч кушали свой утренний кофе и уже два раза спрашивали Альфреда Осипыча. Прейн нашел своего повелителя в столовой, где он за стаканом кофе слушал беседу генерала на тему о причинах упадка русского горного дела.

– Насколько я успел познакомиться с горнозаводской промышленностью в Швеции... – перебивал несколько раз Перекрестов, седлая свой нос пенсне, но генерал не обращал на него внимания.

Летучий сидел уже с осовелыми, слипавшимися глазами и смотрел кругом с философским спокойствием, потому что его роль была за обеденным столом, а не за кофе. «Почти молодые» приличные люди сделали серьезные лица и упорно смотрели прямо в рот генералу и, по-видимому, вполне разделяли его взгляды на причины упадка русского горного дела.

– Где это ты пропадаешь? – спросил лениво Лаптев, когда Прейн занял свое место за столом.

– Делал маленький моцион по саду, – соврал Прейн, не моргнув глазом. – Мы сейчас отправляемся в завод, генерал?

– Да, – коротко отвечал генерал.

Вершинин и Майзель сидели с самыми благочестивыми лицами, как те праведники, для которых разгневанный бог мог пощадить целый город грешников. Они тоже намерены были сопровождать своего повелителя по тернистому пути. Сарматов вполголоса рассказывал Летучему какой-то, вероятно, очень скромный анекдот, потому что сановник морщил свой тонкий орлиный нос и улыбался плотоядной улыбкой, открывавшей гнилые зубы.

До фабрики от господского дома было рукой подать, и Прейн предложил идти пешком, тем более что день был великолепный, хотя немного и жаркий. Когда вся компания вышла к подъезду, к ней присоединился Родион Антоныч, стерегший здесь свою позицию, чтобы кто не угостил барина проклятой «бумагой». Но ходоки от сельского общества были прогнаны казаками, и вся компания благополучно проследовала до ворот фабрики, где уже ждал Платон Васильич, взволнованный и бледный, с крупными каплями пота на лице. Фабричные корпуса и всевозможные печи выглядели сегодня по-праздничному, как и попадавшиеся рабочие и мелкие служащие. Все было на своем месте и при своем деле. Уставщики и надзиратели вытягивались в струнку, рабочие встречали барина без шапок. Даже вычищенные и смазанные машины, кажется, были готовы приветливо улыбнуться, если бы в них было устроено подходящее для такой цели колесо или вал.

– Вот мы и посмотрим все у вас, Платон Васильич, – тараторил Прейн, забегая вперед и весело здороваясь с рабочими. – Тут у меня много старых знакомых... Кум Елизарыч, Вавило да Гаврило, Спиридон...

Кум Елизарыч, осанистый, седой, плотный, с окладистой бородой старик, скоро был представлен вниманию Евгения Константиныча, который сказал ему несколько милостивых слов и спросил, сколько ему лет.

– Семьдесят, Евгений Константиныч! – ответил бодрый старик, перекладывая свое правило из руки в руку.

– А сколько лет служишь в заводе, кум Елизарыч? – допрашивал Прейн, похлопывая старика по плечу.

– Лет с шестьдесят наберется, Альфред Осипыч.

Кум Елизарыч был отчаянный плут и обирал рабочих на каждом шагу, но, глядя на это старческое, открытое и убеленное благообразной сединой лицо, можно было умилиться. У Родиона Антоныча с кумом Елизарычем были вечные дела, и они не оставались в накладе от взаимных услуг. Вавило и Гаврило были знаменитые катальные мастера, бросавшие двенадцатипудовую рельсовую болванку на катальной машине с вала на вал, как игрушку; Спиридон, первый силач, работал у обжимочного молота. Рабочие любили Прейна, который умел обращаться с ними. В свои побывки на заводы он часто приглашал лучших мастеров к себе и пил с ними чай, не отказывался крестить у них ребят и задавал широкие праздники, на которых сам пил водку и любил слушать мужицкие песни. Конечно, это было немного, но этого немногого было совершенно достаточно, чтобы Прейна, никогда не сделавшего никакого добра рабочим, все любили, а молчаливого и бесцветного Платона Васильича, по-своему хорошо относившегося к рабочим и делавшего для них все, что от него зависело, не только не уважали, но готовы были ему устроить всякую пакость.

– Ведите нас в катальную фабрику, – предложил Прейн затруднившимся, с чего начать, Платону Васильичу; он заметил уже, что Евгений Константиныч морщится и бредет по заводу только из приличия.

Собственно завод занимал широкую квадратную площадь, ограниченную с одной стороны плотиной, а с трех остальных – длинными зданиями фабричной конторы, механической, амбарами и высокой каменной стеной. По самой середине пробегала пенившаяся Кукарка. На площади там и сям валялись кучки песку, свежего доменного шлака, громадные горновые камни и полузросшие свежей зеленой травкой сломанные чугунные шестерни и катальные валы, походившие издали на крепостные пушки. В дальнем углу виднелось несколько дровосушных печей, около которых, среди беспорядочно наваленных дровяных куч, пестрела голосистая толпа поденщиц-дровосусек; эта чумазая и покрытая сажей толпа с жадным любопытством провожала глазами барина, который прошел прямо в катальную. Визг и звонкий девичий смех как-то не вязался с этой суровой обстановкой дымивших доменных печей и подавленного грохота катальных машин, являясь каким-то диссонансом в этом

царстве огня и железа. На дороге попало несколько рабочих, очевидно только что кончивших свою смену. Расстегнутые вороты пестрядевых рубах, сожженные, покрытые потом лица, бессильно опущенные с напряжившимися жилами руки, усталая походка – все говорило о том, что они сейчас только вышли из огненной работы. У входа в катальную их встретил рабочий с зажженным пучком березовой лучины. На первый раз трудно было что-нибудь разглядеть в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, обжимочный молот в одном углу, темные стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями, в которые весело плядело летнее голубое небо и косыми пыльными полосами врывались солнечные лучи. В глубине корпуса около низких печей, испускавших сквозь маленькие окошечки ослепительный свет, каким светит только добела накалившее железо, быстро двигались и мелькали фигуры рабочих; на всех были надеты кожаные передники – «защитки», на головах войлочные шляпы, а на ногах мягкие пеньковые пряденики. Со стороны водяного ларя тянула холодная струя сквозного воздуха; где-то глухо капала вода и с подавленным визгом вертелось колесо, заставляя вздрагивать даже чугунные плиты, которыми была вымощена вся фабрика.

– Сейчас будут прокатывать рельс, – проговорил Платон Васильич, когда по фабрике пронесся пронзительный свист.

Старик уставщик, сняв шапку, ждал у катальной машины.

– Пустите машину! – приказал Горемыкин.

Где-то глухо загудела вода, и за стеной грузно повернулось водяное колесо. Вся фабрика вздрогнула, и стальные валы катальной машины завертелись с неприятным лязгом и взвизгиванием. Сначала еще можно было различить их движения, а потом все слилось в одну мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, которое невольно заставляло думать, что вот-вот, еще несколько поворотов водяного колеса – и вся эта масса вертящегося чугуна, железа и стали разлетится вдребезги. В глубине корпуса показался яркий свет, который разом залил всю фабрику. Лаптев закрыл даже глаза в первую минуту. Двое рабочих, нагнувшись, бойко катили высокую железную тележку, на которой лежала рельсовая болванка, имевшая форму длинного вяземского пряника. Вавило и Гаврило встали по обе

стороны машины, тележка подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое отверстие, обсыпав всех белыми и синими искрами. Лаптев не успел мигнуть, как вяземский пряник мягким движением, как восковой, вылез из-под вала длинной красной полосой, гнувшейся под собственной тяжестью; Гаврило, как игрушку, подхватил эту полосу своими клещами, и она покорно поползла через валы обратно. Не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах невыносимо жгло и палило лицо. Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины. Оба высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами, они смахивали на ученых медведей. В этом царстве огня и железа Вавило и Гаврило казались какими-то железными людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхождения к человеческой слабости.

Перекрестов вытащил из бокового кармана записную книжечку и что-то царапал в ней, по временам вскидывая глазами на Вавилу и Гаврилу.

– Этакие медведи! – восхищался кто-то.

После катальной посмотрели на Спиридона, который у обжимочного молота побрасывал сырую крицу, сыпавшую дождем горевших искр, как бабы катают хлебы. Тоже настоящий медведь, и длинные руки походили на железные клещи, так что трудно было разобрать, где в Спиридоне кончался человек и начиналось железо.

– Молодец! – похвалил Прейн своего фаворита.

– Теперь пойдемте смотреть новый маховик, – предложил Горемыкин, когда совсем готовый рельс был сброшен с машины на пол.

Маховик помещался в новом деревянном корпусе. Молодой машинист в запачканной блузе, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки масло в медную подушку маховика, который еще продолжал двигаться, поднимая ветер. Уставщик распорядился пустить воду, чтобы показать во всей красоте работу этого чудовища в тысячу пудов. Эффект вышел действительно поразительный, и Горемыкин смотрел на это чугунное детище глазами счастливого отца. Лаптев не мог разделять этого чувства и наблюдал вертевшееся колесо своими усталыми глазами с полнейшим равнодушием.

После рельсовой фабрики были осмотрены кирпичные горны и молоты, пудлинговые печи, печи Мартена, или Мартына, как их окрестили рабочие; затем следовал целый ряд еще новых печей: берегающая топливо регенеративная печь Сименса, сварочные, литейные, отражательные, калильные и т. д. Осмотрены были водяные турбины, которые приводили в движение воздуходувные меха, пять паровых машин, механический корпус, где работали вертикальные и горизонтальные токарные станки, строившийся паровой молот и даже склады чугуна в штаках и припасах, железо во всевозможных видах: широкополосное, брусковое, шинное, листовое и т. д. Но Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно проходил мимо кипевшей на его глазах работы, создавшей ему миллионы. Только под доменной печью, где нарочно для него был сделан выпуск, он долго и внимательно следил за выплывавшей из отверстия печи огненной массой расплавленного чугуна, которая красными ручейками расходилась по чугунным и вырытым в песке формам, время от времени, когда на пути попадалось сырое место или какая-нибудь щепочка, вскидывая кверху сноп ослепительно ярких искр.

– Да, красиво... – проговорил он точно про себя, тыкая горячий шлак тросточкой. – Теперь, кажется, все? – обратился он к Платону Васильевичу, и когда тот ответил утвердительно, он точно обрадовался и даже пожал руку своему главному управляющему.

– Нет, еще не все, – отозвался Прейн. – Мы сейчас едем на Медный рудник и спустимся в шахту.

Генерал был того же мнения, но Лаптев протестовал против такого решения и повернул к выходу, а за ним повернули и все остальные соглядатаи и приспешники. Они все время лезли из кожи, чтобы выказать свое внимание к русскому горному делу: таращили глаза на машины, ощупывали руками колеса, лазили с опасностью жизни везде, где только может пролезть человек, и даже нюхали ворвань, которой были смазаны машины. Генерал ничего не понимал в заводском деле и рассматривал все кругом молча, с тем удивлением, с каким смотрит неграмотный человек на развернутую книгу.

– Домой! – проговорил Лаптев, торопливо направляясь к выходу.

– Ага! – ответил Прейн.

Сотни любопытных глаз следили все время, как барин осматривал фабрики, и можно было подумать, что все стены и щели имели глаза.

Барин приехал. Что это был за человек – едва ли кто на Кукарских заводах знал хорошенько, хотя барину было уже за тридцать лет. На своих заводах Лаптев всего был раз, десятилетним мальчиком, когда он приезжал в Россию из-за границы, где родился, получил воспитание и жил до последнего времени. Впрочем, вся восходящая линия Лаптевых вела точно такой же образ жизни, появляясь в России наездом. Исключение представляли только первые представители этой семьи, которые основывали заводы и жили в них безвыездно. Это была крепкая мужицкая семья настоящих «расейских» лапотников: первым в родословном древе заводовладельцев считался Гордей, по прозвищу Лапоть.

Просматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и собственных богатств. Хорошо сохранили основной промышленный тип, собственно, только два поколения – сам Гордей и его сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских принцев», которые удивляли всю Европу и, в частности, облюбованный ими Париж тысячными безобразиями и чисто русским самодурством. В Париже, Вене, Италии были понастроены Лаптевыми княжеские дворцы и виллы, где они и коротали свой век в самом разлюбезном обществе всевозможного отребья столиц и европейских подонков. Здесь они родились, получали воспитание и женились на аристократических вырождаках или знаменитостях сцены и *demi-monde'a*^[14], пускали семя и в крайнем случае возвращались на родину только умереть. Некоторые из представителей этой фамилии не только не бывали в России ни разу, но даже не умели говорить по-русски; единственным основанием фигурировать в качестве «русских принцев» были те крепостные рубли, которые текли с Урала на веселую далекую границу неиссякаемой широкой волной. Эти мужицкие вырождаки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных богатств. Были тут жуиры и прожигатели жизни rig

sang^[15], были меломаны, были чудаки по профессии, были меценатствующие «вельможи», антиквари, библиоманы и просто шалопаи. Единственная вещь, которую можно было бы поставить им в заслугу, если бы она зависела от их воли, было то, что все они догадывались скоро «раскланиваться с здешним миром», как говорят китайцы о смерти. За последние полтора года средняя цифра жизни этих магнатов не превышала сорока лет. Но и этого периода было совершенно достаточно, чтобы около каждого из Лаптевых выросла своя собственная баснословная легенда, где бессмысленная роскошь азиатского пошиба рука об руку шла с грандиозным российским самодурством, которое с легким сердцем перешагивало через сотни тысяч в миллионы рублей, добытые где-то там, на каком-то Урале, десятком тысяч крепостных рук... Едва ли в европейской хронике, богатой проходимцами и набобами всяких национальностей, найдется такой другой пример, как подвиги фамилии Лаптевых, которые заняли почетное место в скорбном листе европейских и всесветных безобразников.

Последний из Лаптевых – Евгений Константинович – был замечателен тем, что к нему никак нельзя было применить. Даже такие люди, как Прейн, у которого на руках вырос маленький «русский принц» – и тот не знал хорошенько, что это был за человек. Вероятно, в часы раздумья, если они только находили на него, Евгений Константинович сам удивлялся самому себе, так все в его жизни было перепутано, непонятно и непредвидимо. Когда еще он был бойким, красивым мальчиком, приспешники и приживальцы возлагали на него большие надежды, как на талантливого и способного ребенка; воспитание он, конечно, получил в Париже, под руководством разных светил педагогического мира, от которых, впрочем, не получил ничего, кроме органического отвращения ко всякому труду и в особенности к труду умственному. Юношей он прошел школу всех молодых набобов и в двадцать лет выглядел усталым, пресыщенным человеком, который собственным опытом убедился в «суете сует и всяческой суете» нашей общей юдоли плача. Но ведь каждый человек вносит с собой хоть какую-нибудь микроскопическую особенность, по которой его можно было бы отличить от других людей. Такой особенностью Евгения Константиновича служила уже упомянутая нами взбалмошность: никто

не мог поручиться за его завтрашний день. По природе он не был ни зол, ни глуп, но отчасти воспитание, отчасти обстановка, отчасти грехи предков сделали из него капризного ребенка с отшибленной волей. Единственное, что еще он любил и мог любить, – это была еда и, между прочим, женщины, как острая приправа к другим мудреным кушаньям.

Поездка и даже окончательное переселение в Россию у Евгения Константиныча случились как-то вдруг, почти само собой, когда его обругала какая-то бульварная парижская газетка. Дворцы и палаццо, рассованные по разным укромным уголкам Европы, пошли с молотка вместе с фамильными редкостями, из которых можно было бы составить великолепный музей для назидания благодарного потомства. В числе распроданных редкостей, попавших в руки барышников и ростовщиков, находились такие замысловатые вещицы, как сахарница в пятнадцать тысяч франков, охотничья лядунка в двадцать тысяч, экран к камину в сорок и т. д.

Поселившись в России, которая для Лаптева заключалась в Петербурге, он неожиданно для всех задумал поездку на Урал.

«Большой двор», группировавшийся около заводовладельца, во главе имел всеильного Прейна, который из всех других достоинств обладал ничем незаменимым качеством – никогда не быть скучным. Кто он такой был сам по себе – трудно сказать, если только Прейн сам знал свою родословную. Впрочем, он никогда не чувствовал особенного пристрастия к историческим и генеалогическим изысканиям, вполне удовлетворяясь настоящим. Достаточно сказать, что у Лаптевых он был с детства своим человеком и забрал великую силу, когда бразды правления перешли в собственные руки Евгения Константиныча, который боялся всяких занятий, как огня, и все передал Прейну, не спрашивая никаких отчетов. Таким образом и руках Прейна сосредоточивались за последние двадцать лет все нити и пружины сложного заводского хозяйства, хотя он тоже не любил себя обременять усиленными занятиями. В качестве главноуполномоченного от заводовладельца Прейн года через три приезжал на заводы, проводил здесь лето и уезжал за границу. Он пользовался хорошей репутацией у служащих и у рабочих, хотя ни те, ни другие не видели от него большой пользы. Секрет заключался в том, что Прейн умел всех хорошо и ласково принять и наобещать гору.

Заводские остряки по этому поводу говорили, что Прейна можно даже послать в лапochку за папиросами. Но вместе с тем податливый на обещания, Прейн с дьявольской ловкостью умел отвернуться от их исполнения, и поймать его в этом случае было крайне трудно. Каким был Прейн при крепостном праве, таким остался и после воли. Враги называли его глупым, друзья считали умным. Во всяком случае, положительного зла он не делал никому, хотя смотрел сквозь пальцы на многое, что мог заметить, но «не заметил он». Время на заводах Прейн обыкновенно проводил на охоте. Вообще люди, близко знавшие Прейна, могли про него сказать очень немного, как о человеке, который не любил скучать, мог наобещать сделать вас завтра бухарским эмиром, любил с чаем есть поджаренные в масле сухарики, всему на свете предпочитал дамское общество... и только. Ко всевозможным переменам и пертурбациям в составе большого и малого дворов Прейн относился почти индифферентно, и его жизнь катилась вольно и широко, как плохая сама по себе, по дружно разыгранная на сцене пьеса.

Само собой разумеется, что в жизни «большого двора» Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и держался по возможности всегда в стороне от всяких происков и интриг. После него в состав «большого двора» входили служащие главной петербургской конторы, как стоявшие ближе других к особе заводовладельца, этому источнику заводского света: управляющий конторой, заведующий счетной частью и т. д. Далее, в состав «большого двора» в качестве «случайных» попадали всевозможные люди, удовлетворявшие минутным прихотям Лаптева и умевшие угодить его капризам. Это был странный сброд, вроде сановника не у дел Летучего, корреспондента Перекрестова и т. д. Под эту же рубрику подходили разные женщины, умевшие на время удержаться на покато́й плоскости прихотливой барской натуры, как танцовщица Братковская и другие дамы и полудевицы этого разбора. Такие дельцы, как Раиса Павловна или Нина Леонтьевна, в силу своих физических особенностей уже не могли иметь прямого значения, а должны были довольствоваться тем, что выпадало на их долю из-за чужой спины.

Неожиданно для всех воссиявшая звезда генерала Блинова представляла собой в жизни большого и малого двора такое исключение, которое составляло неразрешимую задачу для

большинства. Подозревали, что генерал был *создан* совместными усилиями Тетюева и Нины Леонтьевны, жаждавшими вкусить от заводского пирога и спровадить Раису Павловну. Вообще вся интрига была задумана и приведена в исполнение с дьявольской ловкостью. Сам генерал, во всяком случае, не был виноват ни душой, ни телом в той роли, какую ему пришлось разыгрывать. Между тем все дело, как и многое другое на свете, объяснялось очень просто: Тетюев воспользовался теми недоразумениями, которые возникали между заводоуправлением и мастерами по поводу уставной грамоты, тиснул несколько горячих статей в газетах по этому поводу против заводов, и когда Лаптев должен был узнать наконец об этом деле, он ловко подсунил ему генерала Блинова как ученого экономиста и финансовую голову, который может все устроить. Лаптев схватился за брошенную ему приманку и сейчас же решил ехать на Урал с генералом сам. Истинные свои цели Тетюев, конечно, скрыл от доверчивого генерала с большим искусством, надеясь постепенно воспользоваться им. Генерал с своей стороны очень горячо и добросовестно отнесся к своей задаче и еще в Петербурге постарался изучить все дело, чтобы оправдать возложенные на него полномочия, хотя не мог понять очень многого, что надеялся пополнить уже на самом месте действия.

На третий день своего приезда в Кукарский завод генерал через своего секретаря пригласил к себе Прозорова, который и заявился к однокашнику в том виде, в каком был, то есть сильно навеселе.

– Давненько мы с тобой не видались, Виталий Кузьмич... – говорил генерал, обнимая Прозорова.

– Да... давненько, ваше превосходительство... – ядовито отвечал Прозоров, оглядывая сановитую, представительную фигуру бывшего однокашника.

– Ты остался такой же занозой, каким был раньше, – ответил генерал на эту колкость. – Я надеюсь, что мое превосходительство нисколько не касается именно тебя: мы старые друзья и можем обойтись без чинов...

– Прикажете называть Мироном Геннадьичем?

– Я вообще не люблю приказывать кому-нибудь, а тебе в особенности... Перестань разыгрывать комедию, душа моя. Этакая у тебя дьявольская привычка!..

– Полюбите нас черненькими, Мирон Геннадьич...

Генерал пожал плечами и зашагал по кабинету. Он любил Прозорова, но теперь перед ним была только тень прежнего товарища. Обоим было одинаково тяжело. Генерал хотел выйти из затруднительного положения старым дружеским тоном, Прозоров – дерзостями.

– А я так рад был видеть тебя, – заговорил генерал после длинной паузы. – Кроме того, я надеялся кое-что разузнать от тебя о том деле, по которому приехал сюда, то есть я не хочу во имя нашей дружбы сделать из тебя шпиона, а просто... ну, одним словом, будем вместе работать. Я взялся за дело и должен выполнить его добросовестно. Если хочешь, я продался Лаптеву, как рабочий, но не продавал ему своих убеждений.

В коротких словах генерал передал Прозорову значение своей миссии и те цели, которых желательно было достигнуть; причем он не скрыл, что его смущает и в чем он нуждается.

– Ты, кажется, уж давненько живешь на заводах и можешь в этом случае сослужить службу, не мне, конечно, а нашему общему делу, – продолжал свою мысль генерал. – Я не желаю мирволить ни владельцу, ни рабочим и представить только все дело в его настоящем виде. Там пусть делают, как знают. Из своей роли не выходить – это мое правило. Теория – одно, практика – другое.

Прозоров все время осматривал кабинет генерала, напрасно отыскивая в нем что-то, что ему было нужно, и наконец проговорил:

– Вот что, Мирон Геннадьич, прикажите-ка подать водочки... Тогда поговорим о разных разностях.

Генерал поморщился, но позвонил и велел лакею подать водки. Эта неделикатная выходка Прозорова задела его за живое, но он еще раз сдержал себя и заговорил размеренно-спокойным тоном, как говорил на кафедре:

– Я – поклонник Кэри и отчасти Мальтуса... Не будем говорить о тех абсурдах, которые стараются вывести из их систем, но возьмем только самую сущность. Нам приходится иметь дело именно с ними, когда вопрос зайдет, с одной стороны, о покровительственной системе, и второе – когда мы коснемся рабочего вопроса. Да... важно иметь определенную, строго выработанную систему, от этого зависит все. По моему мнению, даже известные ошибки, как необходимая

дань всякого практического применения теорий, могут иметь оправдание только в том единственном случае, если они явились как результат строго проведенной общей идеи.

После этого вступления генерал очень подробно развил основания своей собственной системы. «Кульминационный пункт, основная точка, операционный базис» этой системы заключался в виде капиталистического производства, которая должна строго преследоваться как во внутреннем строе, так и во внешней обстановке. Конечно, утопистам и мечтателям в принципе капитализма грезится призрак всепоглощающей привилегии, которая из трудящихся классов создает самый безвыходный пролетариат, но это несправедливо, если на дело взглянуть беспристрастно. Именно: один и тот же капитал, если он разделен между несколькими тысячами людей, почти не существует, как экономическая сила, тогда как, сосредоточенный в одних руках, он представляет громадную величину, которую следует только воспользоваться надлежащим образом. В данном случае именно по отношению к заводовладельцу было бы смешно остановиться на том выводе, что он воспользуется своей силой во вред своим рабочим. Наоборот, по коренному свойству человеческой природы можно предположить, что по мере увеличения силы заводовладельца будет возрастать благосостояние его рабочих, потому что именно здесь их интересы совпадают. Логика – самая простая: лучше заводам – лучше заводовладельцу и рабочим, тем более что с расширением производства будет прогрессировать запрос на рабочие руки. Кажется, ясно? Это – относительно, так сказать, внутренней политики; что же касается до внешних отношений, то здесь вопрос усложняется тем, что нужно говорить не об одном заводе, даже не о заводском округе, даже не об Урале, а вообще о всей нашей промышленной политике, которая постоянно колебалась и колеблется между полной свободой внешнего рынка и покровительственной системой в строгом смысле слова. Можно сказать вполне утвердительно, что эти колебания во взглядах правительства до сих пор самым пагубным образом отражались на всей русской промышленности, а на горной в особенности. Строго проведенная покровительственная система является в промышленной жизни страны тем же, чем служит школа для каждого человека в отдельности: пока человек не окреп и учится, ясное дело, что он еще

не может конкурировать со взрослыми людьми; но дайте ему возможность вырасти и выучиться, тогда он смело выступит конкурентом на всемирный рынок труда. Вот именно такой школы до сих пор и не доставало русской промышленности, и наша задача – ее создать. В этом случае нельзя не соглашаться с выводами Кэри, который отстаивает покровительственную систему.

– Да, а рабочим, по Мальтусу, будете рекомендовать нравственное воздержание? – спросил Прозоров прищурившись.

– До этого пока еще не дошло, но и это иметь в виду не мешает. Отчего мы можем воздерживаться от брака до того времени, пока не составим себе определенного общественного положения, а рабочий будет плодить детей с шестнадцати лет?

– По-моему, это проповедовать открытый разврат, хотя и теперь нравственность заводского населения стоит не особенно высоко. Я выпью еще, Мирон Геннадич?..

– Выпей. Только о Мальтусе я упомянул, Виталий Кузьмич, между прочим, собственно для выяснения своих взглядов – это еще вопрос далекого будущего, а теперь прежде всего необходимо самое существенное: развязаться с этой уставной грамотой, а потом освободить заводы от долгов. Ведь у нас все металлы заложены в государственный банк...

– Знаю, слышал... Только я хотел бы сказать тебе слова два о твоей системе.

Прожевывая ломтик балыка, Прозоров забежал по кабинету с своими обычными жестами. Генерал смотрел на него с тем оттенком снисхождения, с каким умеют смотреть добрые русские генералы.

– Ты уж меня извини за откровенность, Мирон, – предупредил Прозоров. – Я, конечно, пьяница и потерянный человек...

– Это, право, не относится к делу.

– Ну, хорошо, допустим, что не относится. А я тебе прямо скажу, что вся твоя система выеденного яйца ни стоит. Да... И замечательное дело: по душе ты не злой человек, а рассуждаешь, как людоед.

– Именно?

– Очень просто: ты продал душу черту, то есть капиталистам, а теперь утешаешься разными софизмами. Ведь и сам чувствуешь, что совсем не то говоришь...

– Нет, я этого не чувствую.

– Тем хуже для тебя! Если я погибаю, то погибаю только одной своей особой, от чего никому ни тепло, ни холодно, а ты хочешь затянуть мертвой петлей десятки тысяч людей во имя своих экономических фантазий. Иначе я не могу назвать твоей системы... Что это такое, вся эта ученая галиматья, если ее разобрать хорошенько? Самая некрасивая подтасовка научных выводов, чтобы угодить золотому тельцу.

Генерал поморщился, но продолжал слушать это немножко откровенное возражение. Упомянув о значении капитализма, как общественно-прогрессивного деятеля, поскольку он, при крупной организации промышленного производства, возвышает производительность труда, и далее, поскольку он расчищает почву для принципа коллективизма, Прозоров указал на то, что развитие нашего отечественного капитализма настойчиво обходит именно эту свою прямую задачу и, разрушив старые крепостные формы промышленности, теперь развивается только на счет технических улучшений, почти не увеличивая числа рабочих даже на самый ничтожный процент, не уменьшая рабочего дня и не возвышая заработной платы. Ясное дело, что когда все кругом дорожает и, кроме того, наш курс все надает, фабричному рабочему приходится выводить на фабрику свою жену и детей. Если продолжать в этом же направлении, впереди вырастут страшные промышленные кризисы, с одной стороны, а с другой – создастся русский пауперизм.

– Вот вам результаты прославленного наукой рационального разделения труда, – уже кричал Прозоров, страшно размахивая руками. – Вы забываете о рабочем и его будущности, а только думаете о том, чтобы при помощи всемирного рынка реализовать в пользу кучки крупных промышленников ту прибавочную стоимость, которая вам останется от труда сотен тысяч рабочих... Притом вы, во имя развития отечественной промышленности, стараетесь непременно занять привилегированное положение, что опять-таки всей своей тяжестью ложится все на того же рабочего: каждый нажитый вами этим путем рубль является дефицитом в народном хозяйстве, потому что рабочему он стоит десять рублей. Нет, батенька, все это гниль и чепуха...

Прозоров продолжал в том же роде; генерал слушал его внимательно, стараясь проверить самого себя.

– А впрочем, ну вас к черту совсем, со всей вашей ученой ерундой! – неожиданно закончил Прозоров, наливая себе рюмку водки.

– Расскажи что-нибудь о себе, Виталий Кузьмич! – проговорил генерал, опять рассматривая своего собеседника. – Ну, как ты живешь тут, что делаешь?..

– Что рассказывать: весь налицо... Хорош, нечего сказать. Ха-ха!.. Ну, да я не завидую твоему превосходительству, поверь мне. Так свиньей и останусь до конца дней...

– У тебя, кажется, дочь была?

– Да, была... И теперь она имеется в наличии. Так, пустельга... Впрочем, ведь на таких людей и существует постоянный спрос. Я пробовал учить ее, тоже воспитывал, да ничего не вышло. В папеньку одним концом пошла, видно...

С каждой новой рюмкой Прозоров хмелел все сильнее и сильнее, пока совсем не свалился на диван, где и заснул...

«Действительно, настоящая свинья...» – с горечью подумал генерал.

У Майзеля на другой день приезда Лаптева на заводы был маленький деловой вечер с закуской. Жил Майзель, как все немцы, очень плотно. На подъезде картинно лежали два датских дога; на звонок из передней, как испугнутый вальдшнеп, оторопело выбежал в серой официальной куртке дежурный лесообъездчик; на лестнице тянулся мягкий ковер; кабинет хозяина был убран на охотничий манер, с целым арсеналом оружия, с лосиными и оленьими рогами, с чучелами соколов и громадной медвежьей шкурой на полу. Везде мягкие ковры, бронза, мягкая дорогая мебель, шредеровский рояль в зале, горка с минералогической коллекцией, горка с серебром, горка с фарфором, несколько порядочных картин масляными красками и т. д. Воздух был всегда прокурен дымом дорогих сигар и вообще везде пахло тугим, чисто немецким довольством. Детей у Майзеля не было, поэтому царил во всем самый педантичный порядок, как в хорошем музее, где строго преследуют каждую пылинку. На половине Амалии Карловны немецкая чистота достигала своего апогея, так что сама хозяйка походила на кошку, которая целые дни моется лапкой. Даже Родион Антоныч в своей раскрашенной хоромине никогда не мог достигнуть до этого идеала теплого, уютного житья, потому что жена была у него русская, и по всему дому вечно валялись какие-то грязные тряпицы, а пыль сметалась ленивой прислугой по углам. Поэтому Родион Антоныч имел полное основание завидовать Майзелю и даже иногда жалел, зачем он, Родион Антоныч, не русский немец.

Сегодня у Майзеля был все свой народ: Вершинин, Дымцевич, Буйко, Сарматов и доктор Кормилицын. Ждали Тетюева, который обещал завернуть вечером.

– Это какой-то идиот... – резко отчеканивая слова, говорил сам Майзель, когда речь зашла о Прейне. – И для чего он тащит на Урал всякую сволочь, вроде Летучего и этого прощельги Перекрестова!

– Вы напрасно так думаете, Николай Карлыч, – мягко возразил Вершинин, разваливаясь в кресле. – Прейн очень хорошо изучил привычки Евгения Константиныча и, вероятно, не ошибется в расчетах.

– Да и расчетов никаких нет, Демид Львович, а просто одна сплошная глупость... За кого он нас принимает, что нам приходится брататься со всякой швалью?

– Нет, а мне какво достается! – перебил Сарматов, хлопая себя по лысине. – Извольте-ка составить любительский спектакль буквально из ничего... Раиса Павловна помешалась на плечах Наташи Шестеркиной, а много ли сделаешь из одних плеч, когда она вся точно деревянная – ступить по-человечески не умеет.

– А Канунникова?

– Канунникова... Не спорю, господа, у Канунниковой и бюст, и талия, и прочее в надлежащем виде, но ее погубят ноги! Представьте себе настоящие гусиные лапы... Я даже сомневаюсь, нет ли у ней перепонки между пальцами.

– Чем труднее задача, тем приятнее победа, – заметил Вершинин. – Вам, Сарматов, как человеку, знакомому с небесными светилами, нетрудно уже примениться к земным планетам, около которых приходится теперь вам вращаться наперекор законам небесной механики.

– Тем более неприлично унывать артиллеристу, через которого переехало целое орудие... – прибавил Майзель.

– Нет, вы, господа, слишком легко относитесь к такому важному предмету, – защищался Сарматов. – Тем более что нам приходится вращаться около планет. Вот спросите хоть у доктора, он отлично знает, что анатомия всему голова... Кажется, пустяки плечи какие-нибудь или гусиная нога, а на деле далеко не пустяки. Не так ли, доктор?

– Я вас не понимаю, Сарматов, – отозвался доктор.

– Не понимаете? Пустяки, батенька, нечего прикидываться... Если бы я был на месте Прозорова, я прописал бы вам такую анатомию с физиологией вместе, что небо в овчинку бы показалось. Кто Луше подарил маринованную глесту?

– Совсем не маринованную... Зачем вы врите, Сарматов? Гликерия Витальевна интересовалась тогда сравнительной анатомией – ну, я ей и преподнес великолепный экземпляр *taenia solnm*. Анатомические препараты никогда не сохраняются в уксусе, а только в спирте.

– Виноват, а я думал – в уксусе. Что же вам сказала тогда Гликерия Витальевна, когда вы разодолжили ее своей глестой?

– Ах, отстаньте, пожалуйста!.. Прогнала, и только...

Все засмеялись. Чудак-доктор тоже смеялся вместе с другими своим жиденским дребезжавшим смешком, точно в нем порвалась какая-то струна. «Идиот! – со злобой думал Майзель, закручивая ус. – Пожалуй, еще все разболтает...» Он пожалел, что пригласил сегодня доктора на общий совет.

– Отчего вы, Сарматов, не пригласили Лушу к себе в труппу? – спрашивал Вершинин. – Девочка ничего себе...

– Не приказано... Высшее начальство не согласно. Да и черт с ней совсем, собственно говоря. Раиса Павловна надула в уши девчонке, что она красавица, ну, натурально, та и уши развесила. Я лучше Анниньку заставлю в дивертисменте или в водевиле русские песни петь. Лихо отколет!..

– А mademoiselle Эмма будет у вас участвовать?

У Сарматова вертелось на кончике языка ядовитое словечко относительно m-lle Эммы, но он удержался из уважения к русско-немецкому происхождению хозяина.

– А Раиса Павловна что-нибудь устроит, – говорил кто-то. – Дайте срок, только бы ей увидаться с Прейном.

– Ну, это еще Андроны едут, – сомневался Майзель. – Для первого раза Нина Леонтьевна ее порядочно смазала... А та рассчитывала разыгрывать роль хозяйки! Ха-ха...

Вершинин засмеялся деланным смехом из уважения к хозяину, как и другие. Он, на месте Нины Леонтьевны, не сделал бы так, потому что еще кто знает, что впереди; для чего было бравировать с первого шага. В каждом деле Вершинин прежде всего помнил золотую пословицу, что своя рубашка к телу ближе, а здесь тем более: зверь был ранен, но он мог еще подняться на ноги. В жизни случаются превращения, каких не в состоянии предвидеть ни одна теория вероятностей. Старик Майзель, как рассерженный бороз, теперь готов был лезть на стену, потому что Раиса Павловна смазала его несравненную Амальхен; но это еще плохое доказательство для того, чтобы другим надевать петлю на шею. В сущности, собравшаяся сегодня компания, за исключением доктора и Сарматова, представляла собой сборище людей, глубоко ненавидевших друг друга;

все потихоньку тяготели к тому жирному куску, который мог сделаться свободным каждую минуту, в виде пятнадцати тысяч жалованья главного управляющего, не считая квартиры, готового содержания, безгрешных доходов и выдающегося почетного положения. Без сомнения, Горемыкин висел на волоске, и предоставлялось каждому решать мудреный вопрос, кто займет его место. Вершинин и Майзель получали официальных пять тысяч, остальные по три – это было очень немного в сравнении с пятнадцатью тысячами жалованья главного управляющего. Собственно, возможными кандидатами представлялись Вершинин и Майзель, а затем Тетюев. Но это не мешало и остальным думать про себя: чем он хуже других. Дымцевич, Буйко и даже Сарматов ничего не имели против пятнадцати тысяч. Вершинин славился как административная голова и как самый ловкий интриган; Тетюев – как юрист и делец, а Майзель – как крепкая солдатская рука в ежовой рукавице. Все эти особенности давали их владельцам некоторые надежды и вместе поднимали между ними ту черную кошку, из-за которой люди делаются тайными врагами не на живот, а на смерть. И вместе с тем они чувствовали себя бессильными поодиночке и должны были соединиться, чтобы добиться цели. Кто же из них будет тем счастливецом, на которого милостиво взглянет капризная фортуна?

Майзель поджидал Тетюева с особым нетерпением и начинал сердиться, что тот заставлял себя ждать. Но Тетюев, как назло, все не ехал, и Майзель, взорванный такой невнимательностью, решился без него приступить к делу.

– Господа, я надеюсь, что здесь собрался все свой народ и никто не вынесет сору из избы, – начал он, отчеканивая слова. – Я пригласил вас за тем, чтобы вместе обсудить, как нам поступить. Я уверен, что всем нам одинаково надоело плясать под дудку старой бабы. По крайней мере, для себя лично я считаю это позором. Против Платона Васильича, конечно, трудно что-нибудь сказать, как против человека, который заслуживает только нашего сожаления. Да и что можно требовать от калеки, который ничего не видит и не слышит?

– Да, он совсем глух и слеп, – провозгласил Сарматов.

– Господа, кто-то, кажется, подъехал? – заметил

Дымцевич, все время ощипывавшийся и охорашивавшийся, как курица перед дождем. – Это, наверно, Тетюев...

– Конечно, он...

В кабинет действительно вошел сам Тетюев, облеченный в темную синюю пару, серые перчатки и золотое пенсне. Он с деловой, сосредоточенной улыбкой пожал всем руки, извинился, что заставил себя ждать, и проговорил, сосредоточенно роняя слова, как доктор отсчитывает капли лекарства:

– Дела по горло, на части так и рвут. Едва успел вырваться из управы.

– Врешь, врешь и врешь! – перебил Сарматов. – Наверно, наигрывал на какой-нибудь дудке... Знаем твои дела!.. А мы без тебя тут чуть не составили целый заговор.

Майзель поморщился и сердито хрустнул пальцами; он еще раз пожалел, что пригласил на совещание доктора и Сарматова, хотя без них счет был бы не полон.

– Я догадываюсь, господа, о чем шла речь, – подхватил Тетюев брошенную реплику. – Да, нам необходимо соединиться во имя общей цели, хотя мое дело, собственно говоря, сторона.

– Ну, ну, Авдей Никитич, полноте притворяться, – заговорил Вершинин. – Кто заварил кашу, тому и красная ложка...

– Я, ей-богу, ничего... Я в первый раз слышу. Какая каша? Обо мне, право, много лишнего говорят.

– Однако будет, господа, толковать о пустяках, – остановил эти препирательства Майзель. – Приступимте к делу; Авдей Никитич, за вами первое слово. Вы уж высказали мысль о необходимости действовать вместе, и теперь остается только выработать самую форму нашего протеста, чтобы этим дать делу сразу надлежащий ход. Как вы полагаете, господа?

– Подадимте петицию на имя Евгения Константиныча, – предложил Сарматов. – Выскажемся в ней прямо: что так и так, уважая Платона Васильича и прочее, мы не можем больше оставаться под его руководством. Тут можно наплести и о преуспевании заводского дела, и о нравственном авторитете, и о наших благих намерениях. Я даже с своей стороны предложил бы формулировать эту петицию в виде ультиматума...

– Я первый на это никогда не соглашусь, – заявил Вершинин, – потому что это по меньшей мере глупо... С какой стати ради Платона Васильича я буду рисковать своим местом?

– Я тоже, – заговорил Майзель. – Мы – люди семейные... Как вы думаете, господа?

Дымцевич и Буйко были, конечно, согласны с ним, потому что хотя были бы не прочь получать пятнадцать тысяч годовых, но лишаться своих трех тысяч тоже не желали. Доктор протестовал против такого решения, потому что уж если начинать дело, так нужно вести открытую игру.

– Что же нам прятаться, если наше дело справедливо? – своим жиденьким тенорком вытягивал доктор. – Нас много, а Платон Васильич один.

– Хорошо вам толковать, Яков Яковлевич, – вступился Вершинин, – когда у вас ни кола ни двора. Отказали от места, поступил на другое – и вся недолга. На докторов теперь везде спрос, а нашему брату получить место – задача не маленькая.

– Но ведь это наконец не честно, – горячился доктор. – Из-за своих личных, можно сказать, семейных расчетов вилять хвостом перед заводовладельцем...

– Ничего вы не понимаете! – оборвал Майзель. – Вы, Яков Якович, штанов-то не умеете застегнуть хорошенько, а еще толкуете о честности...

Яша Кормилицын позеленел от злости и, кажется, даже готов был вцепиться в солдатскую физиономию Майзеля, но это неожиданное и неприятное недоразумение было сейчас же устранено вмешательством Тетюева, который несколькими фразами потушил занявшийся пожар.

– Он меня оскорбил! – тоненьким голоском жаловался Кормилицын, размахивая руками, как манекен.

– Ну что ж из этого? – удивлялся Тетюев. – Николай Карлыч почтенный и заслуженный старик, которому многое можно извинить, а вы – еще молодой человек... Да и мы собрались сюда, право, не за тем, чтобы быть свидетелями такой неприятной сцены.

– Завтра дуэль учиним, Яша! – кричал Сарматов доктору. – На тридцати шагах стрелять, постепенно подходя к барьеру, пока один из вас не покончит земное странствие...

После этого маленького эпизода приступили к обсуждению имеющей быть кампании. Выпито было две бутылки шартреза, лица у всех покраснелись голоса охрипли. Наконец порешили представить

Евгению Константинычу свои мотивы и соображения на словах, по той программе, которую разработает особая комиссия.

– А кто же возьмет на себя роль оратора, господа? – спрашивал Тетюев.

– Как кто? А вы-то на что? Да мы на вас, Авдей Никитич, надеемся, как на каменную стену...

– Помилуйте, господа, я-то тут при чем! – удивлялся Тетюев. – Я, конечно, сочувствую вам и готов помочь вам всеми силами, потому что настоящий цезаризм касается и меня как представителя земства. Я должен внести свою лепту в общее дело, но ведь теперь вы являетесь в качестве заводских служащих, как же я к вам пристану?

– Действительно, это не совсем удобно, – согласился Вершинин.

– Я могу представить проект от лица земства – это другое дело, – продолжал Тетюев. – Но в таком случае мне лучше явиться на аудиенцию к Евгению Константинычу одному.

Еще немножко поспорили и согласились с доводами Тетюева.

– Это еще будет лучше, – соображал Сарматов. – Мы откроем действие с двух сторон разом. А все-таки, господа, кто из нас будет оратором? Я подаю голос за доктора...

– И я тоже, – отозвался Вершинин.

– И я тоже... – зараз посыпались голоса.

– Право, уж не знаю, как быть... – сомневался Яша Кормилицын, вытягивая шею и поправляя свою гриву. – Оратор-то я плохой; пожалуй, еще и перевру что-нибудь.

– Ничего, мы вам напишем всю речь, а вы ее выучите наизусть, – успокаивал Тетюев.

– Пустяки! пропустить две рюмки коньяку перед тем, как идти к Евгению Константинычу, – и вся недолга.

– Что ж, я, пожалуй, согласен! – вяло уступил доктор.

– Вот и отлично, Яша! – говорил Сарматов, хлопая доктора по плечу. – Послужи миру, голубчик... А нам как-то неловко: пожалуй, Евгений Константиныч еще подумает про всякого, что он именно и желает занять место Платона Васильича. Ведь так, Яшенька?

После этого соглашения приступили к разработке программы будущих действий и Яшиной речи, в частности. Тетюев стоял за то, чтобы не торопиться, а дать время хорошенько выясниться обстоятельствам.

– А если мы будем тянуть, да и пропустим Евгения Константиныча, – сомневались Буйко и Дымцевич. – Что ему стоит сесть, да и уехать?

– Не упустим, – уверенно говорил Тетюев, потирая руки. – Извините, господа, мне сегодня некогда... Дело есть. В другой раз как-нибудь потолкуем...

Взглянув на свой полухронометр, Тетюев с прежней улыбкой начал прощаться. Заговорщики выпили после него еще бутылку какого-то вина и тоже начали прощаться.

– До завтра... – коротко говорил Майзель, протягивая руку друзьям. – Завтра надеюсь опять видеть вас у себя. Для друзей у меня всегда найдется бутылочка порядочного вина и горячий бифштекс.

Когда все убралось, Майзель медленно сделал налево кругом, как будто поворачивал целую роту, и тяжело, как матерой седой медведь, побрел на половину Амалии Карловны, которая встретила его в дверях спальни в одной кофточке, совсем готовая отойти ко сну.

– Ну, что? – испросила она, вытягивая свое птичье лицо.

– Ничего... дураки!

Майзель коротко засмеялся, награждая свою Амальхен русско-немецким «кюссхен»^[16].

– Кто дураки?

– Да все, Амальхен... И вдобавок еще настоящие русские свиньи! Представь себе, Вершинин и Тетюев мечтают занять место Горемыкина... Ха-ха-ха!..

Амальхен тоже засмеялась, презрительно сморщив свой длинный нос. В самом деле, не смешно ли рассчитывать на место главного управляющего всем этим свиньям, когда оно должно принадлежать именно Николаю Карлычу! Она с любовью посмотрела на статную, плечистую фигуру мужа и кстати припомнила, что еще в прошлом году он убил собственноручно медведя. У такого человека разве могли быть соперники?

– Свиньи все... – еще раз проговорил Майзель, облакаясь в расшитый шелками шлафрок. – Я им покажу всем, где раки зимуют, только бы...

Еще один кюссхен, и плотная чета предалась крепкому, счастливому сну.

XVII

У Тетюева действительно было серьезное дело. Прямо от Майзеля он отправился в господский дом, вернее, к господскому саду, где у калитки его уже поджидала горничная Нины Леонтьевны. Под предводительством этой особы Тетюев благополучно достиг до генеральского флигелька, в котором ему сегодня была назначена первая аудиенция.

– Пожалуйте сюда... – шепотом пригласила его горничная в полуосвещенную маленькую гостиную, окна которой были завешаны драпировками.

Оставшись в комнате один, Тетюев почувствовал невольное смущение. Его шокировало это обходное движение через господский сад и вообще вся таинственная обстановка, при которой приходилось вести дело. Но отступить было поздно. От нечего делать он принялся рассматривать тропические растения, которые топорщились из углов гостиной зелеными лапами. Воздух был пропитан запахом пудры и еще какими-то сильными духами, какие любят женщины зрелых лет. Но вот в соседней комнате зашуршало по полу шелковое тяжелое платье, и на пороге появилась квадратная, заплывшая жиром фигура Нины Леонтьевны. Она по обыкновению была расцвечена самыми пестрыми бантами, кольцами и перьями; на голове из кружев и лент образовалось что-то вроде радужного гребня. Первое впечатление, которое Нина Леонтьевна произвела на Тетюева, можно было сравнить только с тем, если бы в дверях показалась цветочная копна.

Дельцы окинули друг друга с ног до головы пронизательными взглядами, как люди, которые видятся в первый раз и немного не доверяют друг другу. Нина Леонтьевна держала в руках серебряную цепочку, на которой прыгала обезьяна Коко – ее любимец.

– Вы опоздали на полчаса... – хрипло проговорила наконец Нина Леонтьевна, взглянув на свои золотые часы, болтавшиеся у ней на груди на брильянтовом аграфу.

– Виноват, меня задержали... – смущенно пробормотал Тетюев, совсем не ожидавший такого приема. – Я сейчас от Майзеля.

– Знаю.

– Там было маленькое совещание по нашему делу.

– Знаю.

«Это черт, а не баба», – подумал Тетюев, опять рассматривая свою собеседницу.

– Генерал весь вечер пробудет у Евгения Константиновича, и мы с вами можем потолковать на досуге, – заговорила Нина Леонтьевна, раскуривая сигару. – Надеюсь, что мы не будем играть втемную... Не так ли? Я, по крайней мере, смотрю на дело прямо! Я сделаю для вас все, что обещала, а вы должны обеспечить меня некоторым авансом... Ну, пустяки какие-нибудь, тысяч двадцать пока.

Тетюев даже съезжился от такой цифры и только промычал в ответ какую-то бессвязную фразу. Он теперь уже окончательно убедился, что действительно имеет дело с чертом, и потому решил, что нечего церемониться с этой цветочной копной.

– Видите ли, Нина Леонтьевна, – заговорил Тетюев с деловой вкрадчивостью, – ведь дело еще совсем не верное, и кто знает, чем оно может кончиться.

– Та-ак... А для кого же я везла сюда Евгения Константиныча, по-вашему?

– Так как вы высказали сейчас желание говорить откровенно, то я вам отвечу вопросом: разве вы что-нибудь проиграли от такой поездки?

– Это уж мое деле, милостивый государь.

– Вот именно это-то и хорошо, что вы ехали для своего дела, другими словами – для себя, а мое положение совсем неопределенное и почти безнадежное: я хлопочу, работаю, а плодами моих трудов могут воспользоваться другие...

– Что вы хотите сказать этим?

– А то, что даже в счастливом случае, когда нам удастся столкнуть Горемыкиных, кандидатами на их место являются Вершинин и Майзель... Извините, но за такое удовольствие платить двадцать тысяч по меньшей мере глупо.

– Но ведь без меня вам не добиться аудиенции у Евгения Константиныча? И кроме того, его нужно очень и очень подготовить к такой аудиенции.

– Все это так, но все это может кончиться в результате нулем. Я полагал, Нина Леонтьевна, что найду в вас сотрудника по общему

делу, а вы ставите вопрос совершенно на другую почву.

– Благодарю за внимание... Но вы, как видите, ошиблись в своих расчетах, поэтому нам лучше расстаться сейчас же.

В первую минуту Тетюев онемел, но Нина Леонтьевна поднялась с вызывающим видом: значит, или двадцать тысяч, или уходи. На несколько мгновений Тетюев остановился, но потом сделал деловой поклон и молча направился к двери. Когда он надевал в передней свое пальто, Нина Леонтьевна окликнула его:

– Авдей Никитич, вернитесь!..

– Незачем, Нина Леонтьевна, – ответил Тетюев. – Я не могу дать вам и двадцати копеек... вперед.

– Ха-ха-ха! – залилась квадратная женщина. – Да вернитесь, говорят вам. Очень мне нужны ваши двадцать копеек... Я просто хотела испытать вас для первого раза. Поняли? Идите и поговоримте серьезно. Мне нужно было только убедиться, что вы в состоянии выдержать характер.

В уютной гостиной генеральского флигелька завязался настоящий деловой разговор. Нина Леонтьевна подробно и с обычным злым остроумием рассказала всю историю, как она подготовляла настоящую поездку Лаптева на Урал, чего это ей стоило и как в самый решительный момент, когда Лаптев должен был отправиться, вся эта сложная комбинация чуть не разлетелась вдребезги от самого пустого каприза балерины Братковской. Ей самой приходилось съездить к этой сумасшедшей, чтобы Лаптев не остался в Петербурге.

Потом Нина Леонтьевна очень картинно описала приезд Лаптева в Кукарский завод, сделанную ему торжественную встречу и те впечатления, какие вынес из нее главный виновник всего торжества. В коротких чертах были сделаны меткие характеристики всех действующих лиц «малого двора». Тетюеву оставалось только удивляться проницательности Нины Леонтьевны, которая по первому взгляду необыкновенно метко очертила Вершинина, Майзеля и всех остальных, причем пересыпала свою речь самой крупной солью.

– Откуда все это вы могли узнать? – удивлялся Тетюев.

– Мало ли я что знаю, Авдей Никитич... Знаю, например, о сегодняшнем вашем совещании, знаю о том, что Раиса Павловна приготовила для Лаптева лакомую приманку, и т. д. Все это слишком

по-детски, чтобы не сказать больше... То есть я говорю о планах Раисы Павловны.

Этот разговор с умной женщиной наполнил плутоватую душу Тетюева настоящим восторгом, так что он даже не допытывался, откуда Нина Леонтьевна могла все знать. Для него ясно было, что теперь он созерцает настоящего дельца, дельца высшей пробы, дельца из той заманчивой сферы, где счета идут на сотни тысяч и миллионы. Эта сфера всегда неудержимо тянула к себе Тетюева, и он в минуты откровенности с самим собою иногда думал, что именно создан для нее, а совсем уж не за тем, чтобы пропадать где-то в медвежьей глуши. Пред Ниной Леонтьевной он почувствовал себя таким маленьким и ничтожным, как новичок, которого только что привели в класс. В самом деле, что могло быть печальнее председателя уездной земской управы, получающего годовых две с половиной тысячи, когда другие рвали десятки и сотни тысяч? Вот хоть эта самая Нина Леонтьевна, безобразная и старая баба – и больше ничего, а ведь умела же поставить себя, да еще как поставить! Ему, Тетюеву, нужно трубить в своем земстве десять лет, чтобы получить столько, сколько получит Нина Леонтьевна, если подготовит всего одно дело. А между тем разве он, Тетюев, хуже других, если бы ему попал в руки хороший случай?

– А как вы думаете, Нина Леонтьевна, долго Евгений Константиныч пробудет у нас? – спрашивал Тетюев после наступившей тяжелой паузы.

– Это неизвестно, Авдей Никитич, никому неизвестно. Все будет зависеть от обстоятельств, как они сложатся... Во всяком случае я убеждена, что Евгений Константиныч не заживется здесь, и поэтому не следует даром терять времени...

В течение двух часов, которые пробыл Тетюев в генеральском флигельке, было переговорено подробно обо всем, начиная с обсуждения общего плана действий и кончая тем проектом о преобразованиях в заводском хозяйстве, который Тетюев должен будет представить самому Евгению Константинычу, когда Нина Леонтьевна подготовит ему аудиенцию.

Возвращаясь из генеральского флигелька опять по саду, Тетюев уносил в душе частичку того самого блаженного чувства, которое предвкусил в обществе Нины Леонтьевны, точно он поднимался

неведомой силой кверху, в область широких начинаний, проектов, планов и соображений. На половине Раисы Павловны в двух окнах виднелся слабый огонек. Взглянув на него, Тетгоев сладко улыбнулся про себя. В самом деле, как странно и нелепо устроен свет: даже если он, Тетюев, и не займет места Горемыкина, все-таки благодаря борьбе с Раисой Павловной он выдвинется наконец на настоящую дорогу. Это так нее верно, как верно то, что завтра будет день...

В спальне Раисы Павловны действительно горел огонь в мраморном камине, а сама Раиса Павловна лежала на кушетке против огня, наслаждаясь переливами и вздрагиваниями широких огненных языков, лизавших закопченные стенки камина. Около Раисы Павловны сидела в кресле Луша. На полу валялась разогнутая французская книга, которую они только что читали. Раиса Павловна задумчиво смотрела на огонь, испытывая закачивавшее чувство дремы, уносившее ее в далекий мир воспоминаний; Луша ничего не испытывала, кроме своей обыкновенной тоски.

– Луша, ты видела *их*? – спрашивала Раиса Павловна, просыпаясь от своего забытья.

– Кого *их*?

– Ну, Евгения Константиныча, Прейна и компанию?

– Да, мельком.

Раиса Павловна опять задумчиво смотрела на огонь и как-то мягко, точно в полупросонье, заговорила:

– Голубчик, *это* все не то... Да. Я считала *их* гораздо выше, чем они есть в действительности. Во всей этой компании, включая сюда и Евгения Константиныча с Прейном, есть только один порядочный человек в смысле типичности – это лакей Евгения Константиныча, *mister* Чарльз.

Луша не понимала, зачем Раиса Павловна говорит все это, но сделала внимательное лицо и приготовилась слушать.

– *Mister* Чарльз – цельная, выдержанная натура, – продолжала Раиса Павловна, полузакрывая глаза. – Это порядочный человек в полном смысле слова, хотя и лакей... Я уверена, что Евгений Константиныч только и уважает его одного, потому что *mister* Чарльз единственный *gentleman* во всей компании. Даже сам Евгений Константиныч не дорос до такого *gentleman*'а, хотя и корчит из себя ультрафешенебельного денди во вкусе *young Albion*^[17]. Это просто,

как и Прейн, то, что немцы и берлинцы называют Lebetann'ом, то есть человеком, живущим во всю ширь. У него недостает характера, выдержки... Вернее назвать его просто русским набобом, да и то с оговоркой. Вообще я думала о нем лучше.

– А другие? – спрашивала Луша, глядя на пробежавшее в камине пламя и синие струйки газа.

– Другие? Другие, выражаясь по-русски, просто сволочь... Извини, я сегодня выражаюсь немного резко. Но как иначе назвать этот невозможный сброд, прильнувший к Евгению Константинычу совершенно случайно. Ему просто лень прогнать всех этих прихлебателей... Вообще свита Евгения Константиныча представляет какой-то подвижной кабак из отборнейших тунеядцев. Видела Летучего? Да все они одного поля ягоды... И я удивляюсь только одному, чего смотрит Прейн! Тащит на Урал эту орду, и спрашивается – зачем?

Раиса Павловна после этого немного патетического вступления перешла к *jeunesse dorée*^[18] вообще и русской в частности. Такая молодежь в ее глазах являлась всегдашним идеалом, последним словом той жизни, для которой стоило существовать на свете порядочной женщине, в особенности женщине красивой и умной. Она с увлечением рассказывала о блестящей европейской клике, к которой русская *jeunesse dorée* присосалась только одним боком, никогда не достигая чистокровного дендизма. Из русской золотой молодежи Раиса Павловна отдавала предпочтение дипломатической и министерской фракциям, а всего выше ставила гвардейскую золотую молодежь. Получалась необыкновенно эффектная комбинация из дрессированных лошадей, модных кабаков, ужинов, устриц, пикников, *avec de ces dames*^[19], шампанского, векселей и самых высоких понятий о чести мундира и т. д.

– Да, это совершенно особенный мир, – захлебываясь, говорила Раиса Павловна. – Нигде не ценится женщина, как в этом мире, нигде она не ценится больше, как женщина. Женщине здесь поклоняются, ей приносят в жертву все, даже жизнь, она является царицей, связующей нитью, всеильным центром.

XVIII

С самого первого дня появления Лаптева в Кукарском заводе господский дом попал в настоящее осадное положение. Чего Родион Антоныч боялся, как огня, то и случилось: мужичье взбеленилось и не хотело отходить от господского дома, несмотря на самые трогательные увещания не беспокоить барина.

– Уж ты, Родивон Антоныч, оставь нас, пожалуйста, оставь! – упирались мужики. – Не к тебе пришли...

– А-ах, б-боже м-мой!.. – отмахивался Родион Антоныч руками и ногами. – Разве я держу вас... а? А вы то рассудите: устал барин с дороги или нет?

Ходоки переминались с ноги на ногу, пыхтели, переглядывались, чесали в затылках и кончали тем, что опять начинали старую песню:

– Уж ты, Родивон Антоныч, не препятствуй... Дельце у нас до барина есть.

Какими-то неведомыми путями по заводу облетела весть, что генерал будет разбирать дело крестьян насчет уставной грамоты и что генерал строгий, но справедливый. К этому было прибавлено много посторонних соображений и своих собственных фантазий, так что около слова «генерал» выросла настоящая легенда. Барин молод, не надеется на себя, а другие-то его обманывают, вот он и привез с собой генерала, чтобы все, значит, сделать на совесть, по-божескому, чтобы мужичков не изводить напрасно, и т. д. Ходоки особенно надеялись на генерала и, желая послужить миру, пробивались к барину во что бы то ни стало. У них были уже заготовлены на всякий случай две бумаги: одна барину, другая генералу. Родион Антоныч, конечно, все это знал и удвоил усилия, чтобы не пропускать мужиков. Расставлены были сотские и десятники, чтобы отгонять подозрительный парод от господского дома; даже приглашена была полиция на всякий случай, если бы мужичье вздумало бунтовать.

Из числа ходоков особенно выделялись два старика раскольника, которые добивались своей цели особенно настойчиво. Один, с косматой седой бородой и большим лысым лбом, походил на одного из тех патриархов, каких изображают деревенские богомазы; складки

широкого армяка живописно драпировали его высокую, сгорбленную, ширококостную фигуру. Другой, толстый и слащавый, с сладкой заговаривающей речью, принадлежал к типу мужицких «говорков», каких можно встретить на каждом сельском сходе; раскольничья выдержка и скрытность придавали ему вид настоящего коновода. Первого звали Ермилом Кожиным, второго просто Семенычем. Выдавался еще третий говорок, испитой, чахоточный мужик с широким горлом, по фамилии Вачегин. Люди этого типа составляют истинное несчастье на всех сельских сходах, где горланят и кричат за четверых. В сущности, Вачегин был глупый и несуразный мужик, но его общество выбрало впридачу Кожину и Семенычу на том основании, что Вачегин уж постоит на своем, благо господь пастью его наградил. Другие ходки были набраны больше для «числа», чтобы придать вес «бумаге», которая должна была быть подана барину. Большинство принадлежало к тем волостным «старичкам», которые особенно падки на даровое мирское винцо. Толку от них, конечно, было мало, но все-таки главным говоркам как-то было веселее выступить под этим прикрытием. Оно там, как-никак, а все-таки страшно идти к барину, и только кровные мирские интересы заставляли забывать страх.

Нужно сказать, что все время, как приехал барин, от господского дома не отходила густая толпа, запрудившая всю улицу. Одни уходили и сейчас же заменялись другими. К вечеру эта толпа увеличивалась и начинала походить на громадное шевелившееся животное. Вместе с темнотою увеличивалась и смелость. Поднимался крик и гвалт. Все желали непременно видеть барина и ни за что не хотели уходить от господского дома. Чтобы разогнать толпу, генерал уговаривал Евгения Константиныча выйти на балкон, но и эта крайняя мера не приносила результатов: когда барин показывался, подымалось тысячеголосое «ура», летели шапки в воздух, а народ все-таки не расходился по домам. Родион Антоныч с ужасом видел, как из моря голов поднимались чьи-то руки с колыхавшимися листами писаной бумаги, и сейчас же посылал казаков разыскивать буянов. Руки с бумагами на время исчезали. Только раз чуть-чуть не перехитрили Родиона Антоныча, именно, лист такой бумаги подняли на длинной палке к самому балкону, и, по всей вероятности, Лаптев принял бы это прошение, если бы лихой оренбургский казак вовремя не окрестил

нагайкой рук, которые держали шест с прошением. Опасность счастливо миновала, но виновный, как и в предыдущих случаях, не был отыскан.

Бунтовщики не удовлетвоались этим, а какими-то неисповедимыми путями, через десятки услужливых рук, добрались наконец до неприступного и величественного м-г Чарльза и на коленях умоляли его замолвить за них словечко барину. В пылу усердия они даже пообещали ему подарить «четвертной билет», но м-г Чарльз с величественным презрением отказался как от четвертного билета, так и от ходатайства перед барином.

– Я хорошо знаю свои обязанности и никогда не мешаюсь в дела Евгения Константиныча, – сухо ответил gentleman, полируя свои ногти каким-то розовым порошком. – Это мое правило...

Когда мужики начали кланяться этому замороженному холопу в ноги, м-г Чарльз величественно пожал плечами и с презрением улыбнулся над унижавшейся перед ним бесхарактерной «русской скотиной».

Эта игра кончилась наконец тем, что ходоки как-то пробрались во двор господского дома как раз в тот момент, когда Евгений Константиныч в сопровождении своей свиты отправлялся сделать предобеденный променад. Б суматохе, происходившей по такому исключительному случаю, Родион Антоныч прозевал своих врагов и спохватился уже тогда, когда они загородили дорогу барину. Картина получилась довольно трогательная: человек пятнадцать мужиков стояли без шапок на коленях, а говорки в это время подавали свою бумагу.

– Что вам нужно? – спросил Лаптев поморщившись.

Он надевал перчатки и уже занес было ногу на подножку экипажа. Эта маленькая остановка неприятно подействовала на его нервы.

– Мы к тебе, батюшка-барин! – голосили старички, кланяясь в землю. – Бот прими от нас бумагу, там все прописано.

– Насчет наделу, батюшка-барин, – прибавил голос одного из ходоков. – Обезживотили нас без тебя-то... На тебя вся надёжа!

– Хорошо, хорошо... Б чем дело? – проговорил лениво Лаптев, принимая измятую «бумагу».

Мельком взглянув на заголовок прошения, он опять поморщился и передал «бумагу» генералу.

– Это, кажется! по вашей части... – прибавил он.

– Да, мы рассмотрим после, – проговорил генерал, обращаясь к стоявшим на коленях просителям. – Встаньте... Приходите ко мне послезавтра, тогда разберем ваше прошение, а теперь, как сами видите, барину некогда.

«Бумага» от генерала перешла в руки его секретаря, у которого и исчезла в изящном портфеле. Экипаж быстро унес барина с его свитой, а старички остались на коленях.

– Ах, вы, ироды, ироды!.. – ругался Родион Антоныч, наступая на ходоков по-петушиному. – Не нашли другого времени... а? Уж я говорил-говорил вам, а вот теперь и пеняйте на себя. Лезут с бумагой к барину, когда тому некогда....

– Родивон Антоныч, уж ты, право... Ах, какой ты! Мы тебе добром говорили: пусти... а?

Толпа старичков уныло побрела с господского двора. Десяток корявых рук чесался в мужицком затылке, выскребая оттуда какие-то мудреные соображения. Кожин шагал, сосредоточенно опустив голову; он позабыл надеть шапку и бережно нес ее в той руке, которая еще так недавно держала бумагу. У Семеныча заскребло на душе, когда генерал передал бумагу какому-то стрикулисту, а тот ее спрятал. Дойдет или не дойдет бумага до барина? – вот роковой вопрос, который клином засел в крепкой мужицкой голове. А если бы дошла бумага, барин своими глазами увидел бы, что их дело совсем правое... Ведь Родивон Антоныч прижимку им сделал в уставной грамоте, а барину зачем прижимать! барин все разберет, потому ему – своя часть, нам – своя. Семеныч думал то же самое, что думал Кожин и что думали другие, с той разницей, что его начинало разбирать то чувство неуверенности, в каком он боялся сознаться самому себе. «А-ах, неладно маненько вышла наша бумага!» – думал Семеныч, дергая плечом.

– А ведь он тово... – проговорил наконец Семеныч, нарушая общее молчание.

– Чево: тово?

– Да наш Родивон-то Антоныч...

– Ну?..

– Просолим, пожалуй, нашу бумагу. Кабы неустойка не вышла...

– А генерал?

– Генерал, оно, конечно... Уж тут что говорить: генерал заправский. Да уж оно обнаковенно...

Кожин сердито посмотрел на Семеныча и даже плюнул. Это были два совершенно противоположные характера. Они мало в чем сходились между собой, но не могли обойтись один без другого, когда дело заходило о том, чтобы послужить миру. Кожин слишком был тяжел и по уму и по характеру, но это был железный человек, когда добивался своей цели; Семеныч был мягче, податливее и часто мучился «сумлениями» и любил обходные пути, когда не находил прямой дороги. В трудную минуту Семеныч умел разогнать тоску своим балагурством и шуточками, и теперь, после налетевшего сумления, он добродушно проговорил:

– А я, братцы, так полагаю, что мы подведем животы Родьке нашей бумагой... Недаром он бегаёт, как очумелый. Уж верно!.. Заганули ему такую загадку, что не скоро, брат, раскусишь. А бумагу генерал обещал разобрать послезавтра... Значит, все ему обскажем, как нас Родька облапошивал, и всякое прочее. Тоже и на них своя гроза есть. Вон, он какой генерал-от: строгой...

Родион Антоныч действительно почувствовал себя крайне плохо, когда роковая бумага наконец попала в руки генералу, который сейчас же назначил мужичью и время для объяснений. Это проклятое «послезавтра» теперь было точно приколочено к мудрой голове Родиона Антоныча двухвершковым гвоздем, и он со страхом думал: «Вот когда началось-то...» Теперь он чувствовал себя в положении человека, которого спускают в глубокий колодезь. Что-то будет, и удастся ли ему еще раз вынырнуть из медленно поглощавшей его бездны... Ох, недаром он видел себя во сне дупелем! Сон вышел в руку. В довершение всех бед Раиса Павловна приняла известие о поданной мужиками бумаге с самым обидным равнодушием, точно это дело нисколько ее не касалось. На поверку выходило так, что Родион Антонович должен был выпутываться за всех одной своей головой. И зачем было этой Раисе Павловне тягаться с Тетюевым, точно места для двоих не хватило бы! А теперь вот и расхлебывай кашу за всех, да еще не смей пикнуть ни о чем, что могло бы бросить тень на Раису Павловну. Родион Антоныч чувствовал себя тем клопом,

который с неуклюжей торопливостью бежит по стене от занесенного над его головой пальца – вот-вот раздавят, и поминай, как звали маленького человека, который целую жизнь старался для других.

– Что за беда, если вам придется объясниться с генералом! – говорила Раиса Павловна. – Ну, возьмем крайний случай, что он покричит на вас, даже если выгонит... Мне тоже не сладко достается!

– Я готов претерпеть за правду, Раиса Павловна.

– Тем лучше. Я могу уверить вас только в том, что наше дело еще не проиграно. Генерал, конечно, пользуется громадным авторитетом в глазах Евгения Константиныча, но и Альфред Осипыч...

– Ох, Альфред Осипыч... Альфред Осипыч! – стонал Родион Антоныч, хватаясь за голову.

– Главное, не забывайте, что наше дело совсем правое, мы отстаиваем заводские интересы, а Тетюев разводит фантазии.

Настало и роковое «послезавтра». Партия старичков с раннего утра расположилась на крыльце генеральского флигелька в ожидании, когда генерал проснется. Ермило Кожин был настроен особенно угрюмо, Семеныч испытывал некоторое сумление, а Полуехт Вачегин находился, как всегда, в неопределенном настроении духа. Другие старички вздыхали, чесали поясицы и торопливо вскакивали, когда из флигелька выходил кто-нибудь. Братковский прошел мимо них уже несколько раз, но генерал все еще спал. Июньское горячее солнце было уже высоко и начинало порядком допекать ходоков, но они не чувствовали жара в ожидании предстоявшего объяснения с генералом. Этим скоробленным, зачерствевшим на господской работе людям мерещились те покосы, выгоны и леса, которые у них оттягал Родька Сахаров и которые они должны получить, потому что барину стоит сказать слово... Вот ужо генерал все разберет!..

Наконец генерал проснулся. Лакей провел ходоков прямо в кабинет, где генерал сидел у письменного стола с трубкой в руках. Перед ним стоял стакан крепкого чая. Старички осторожно вошли в кабинет и выстроились у стены в смешанную кучу, как свидетели на допросе у следователя.

– Читал я ваше прошение, мужички, – заговорил генерал, пуская клубы дыма. – Да вы садитесь.

Генерал указал на кушетку и несколько венских стульев, но мужички отказались наотрез, «свои ноги есть, постоим, ваше

высокопревосходительство...» Ходокам нравилось солдатское лицо генерала, потому строгий генерал, справедливый, выходит. Громкий голос и уверенные манеры тоже говорили в его пользу.

– На тебя вся надежда... – заговорили ходоки, бухая в ноги.

– Встаньте, встаньте! Я не бог, чтобы мне кланяться в землю.

– На тебя вся надежда! – галдели мужики, подымаясь с полу.

– Я постараюсь сделать для вас все, что от меня зависит. Но я должен предупредить вас, что для меня одинаково дороги как ваши интересы, так и интересы заводовладельца...

– Уж это известно... на совесть...

Генерал заговорил об уставной грамоте и о тех недоразумениях, какие возникли по поводу ее между заводским населением и заводоуправлением. По мнению генерала, обе стороны по-своему были правы и не правы. Чтобы выяснить свою мысль, он начал объяснения с того, что такое заводы, заводовладелец и заводский рабочий. Заводы не походят на другие частные предприятия и ремесла, в которых большею частью связаны интересы очень ограниченного числа лиц. На заводах же переплелись в крепкий узел интересы тысяч людей, поэтому говорить о моем и твоём здесь нужно особенно осторожно. Если польза заводовладельца тесно связана с благосостоянием десятков тысяч, то его убытки еще теснее связаны с их судьбой, поэтому нужно быть справедливым одинаково к обеим заинтересованным сторонам. Что такое заводовладелец по существу? Это человек, который на свой страх ведет миллионное предприятие, которое не только должно давать работу десяткам тысяч рабочих и доход ему лично, но еще должно приносить пользу всему государству. Это раз. Что такое заводский рабочий? Человек, который трудом своих рук снискивает себе пропитание на заводской работе. Отсюда: от благосостояния заводов одинаково зависит и участь заводовладельца и участь рабочих. Заводское дело – живое дело, в котором рука руку моет, а заводы являются живым связующим звеном между фамилией заводовладельца и целым рядом поколений рабочих. Отсюда понятно, что заводы одинаково дороги всем, и в общей громадной работе не пропадает бесследно ни одна крупица труда.

– Я сам работаю теперь для заводов, – продолжал генерал, отхлебывая чай из стакана. – И я горжусь своей работой потому, что в виду имеется польза десятков тысяч рабочих. Но мне кажется, что

между рабочими и заводоуправлением по поводу уставной грамоты возникло просто недоразумение, стороны не выяснили своих взаимных отношений. Вы добиваетесь расширения своих земельных наделов, забывая, что главная задача заводского рабочего – работа на заводской фабрике, в руднике или курене. Так ли я говорю?.. Чтобы выяснить, что вы можете требовать, я сейчас определил вам понятия завода, заводовладельца и заводского рабочего.

От этих общих понятий и определений генерал перешел к частностям, то есть принялся разбирать пункт за пунктом все спорные вопросы уставной грамоты и те требования, какие были изложены в «бумаге». Пока речь генерала вертелась на общей почве, мужички кряхтели, вздыхали и потели, не понимая десятого слова из этой лекции, но когда он заговорил о кровных мужицких интересах, ходоки наострили уши и отлично поняли все, что им было нужно. Генерал пока ничего еще определенного не высказал, но, видимо, он был уже против некоторых требований, так как они шли вразрез с интересами заводов.

– Нет, это ты, ваше превосходительство, неправильно говоришь, – отрезал Ермило Кожин, когда генерал кончил. – Конечно, мы люди темные, не ученые, а ты – неправильно. И насчет покосу неправильно, потому мужику лошадь с коровою первое дело... А десятинки две ежели у мужика есть, так он от свободы и пашенку распашет – не все же на фабрике да по куреням болтаться. Тоже вот насчет выгону... Наша заводская лошадь зиму-то зимскую за двоих робит, а летом ей и отдохнуть надо.

– Да ведь это все оговорено в уставной грамоте?

– Оно оговорено... это точно, что оговорено, ваше высокопревосходительство, – заговорил Семеныч, давил Кожину передохнуть, – только нам тошнехонько от этой грамоты. Ведь ее писал Родивон Антоныч.

– Какой Родион Антоныч?

– Ну, секлетарь у Платона Васильича, выходит... Он все и наладил. Таковую сухоту напустил нам всем... Потому как он сам заводский и все знает; знает, где и мужика прижать... Разе мы от работы заводской отпираемся, – никогда!.. А ты нам дай угодые – мужик будет справный, вдвое сробит барину-то. А теперь, бают, все от конторы пойдет, по уставной-то грамоте: захочет контора – даст тебе

покос, не захочет – шабаш. Уж это не порядок, ваше высокопревосходительство... Когда мы господские-то были, так барину не рука была нас обижать, а теперь мы – отрезанный ломоть. Сами должны промышлять о своей голове.

Генералу хотелось узнать из первых рук, чего добиваются рабочие, чтобы оценить по достоинству их требования. Но пока он убедился только в том, что, несмотря на все усердие ходяков, понять их было очень трудно. Они путались, перебивали друг друга и совсем не могли связно и последовательно развивать отдельные мысли. Необходимо было сначала привыкнуть к мужицкой терминологии, а потом уже толковать с ними. Первое впечатление из двухчасовой беседы как-то двоилось: с одной стороны – мужики как будто были и правы, а с другой – как будто не правы. Очевидно было только то, что свои интересы они будут отстаивать из последнего, следовательно, необходимо дело вести крайне осторожно, чтобы не подавать повода к лишним надеждам и новым недоразумениям.

– Теперь я слышал от вас сам, что вы желаете, – говорил генерал, – читал ваше прошение. Мне нужно еще недели две, чтобы хорошенько разобрать ваше дело, а там опять побеседуем... Могу пока сказать только одно: что барин вас не обидит.

Мужички опять всей гурьбой повалились в ноги и заговорили:

– На тебя вся надежда, ваше высокоблагородие... Не оставь нас своей милостью, ослобони от прижимки.

– Хорошо, хорошо... Только я не люблю, когда в землю кланяются: я не бог.

– А ты, ваше высокоблагородие, не слушай Родивона-то Антоныча – от него вся прижимка вышла... Уж он нам такого сахару насыпал!

Генерал, чтобы успокоить мужичков, записал в памятную книжку фамилию секретаря Платона Васильича и еще раз пообещал разобрать дело по-божески, а потом представить его на усмотрение самому барину, который не обидит мужичков, и т. д.

Вечером этого же дня генерал послал за Родионом Антонычем, который и явился в генеральский флигель с замирающим сердцем. Генерал принял его сухо, даже строго. Наружность Родиона Антоныча произвела на него отталкивающее впечатление, хотя он старался

подавить в себе это невольное чувство, желая отнестись к секретарю Горемыкина вполне беспристрастно.

– Не желаете ли вы дать некоторые объяснения по составлению уставной грамоты, – приступил генерал прямо к делу. – Я уже говорил с мужиками.

«Началось», – подумал Родион Антоныч, делая кислую гримасу.

– Я должен вам объяснить, что недоразумения, вызванные уставной грамотой, вызвали и настоящую поездку Евгения Константиныча на заводы. Он требует, чтобы это дело было покончено раз навсегда и чтобы на его имени не было ни одного пятна. Я должен предупредить вас, что вообще все это дело об уставной грамоте мне крайне не нравится. Чтобы не быть голословным, я объясню, почему. Во-первых, оно всегда могло быть кончено путем взаимных уступок, миролюбиво; затем, поведение кукарского заводоуправления вызвало недоверие и враждебное к себе отношение рабочих; наконец вся эта история слишком дорого стоит как рабочим, так и заводладельцу. Надеюсь, что я выражаюсь достаточно ясно... А главное, чего я никак не могу себе объяснить, – кукарское заводоуправление точно поставило себе задачей постоянно раздражать рабочих и этим подготовляло те взаимные недоразумения, какие на официальном языке носят название бунтов. С своей стороны я глубоко убежден, что ни вы, ни кто другой из участников в редакции уставной грамоты не давал себе отчета в той громадной ответственности, какую вы так самоуверенно, – чтобы не сказать больше, – возлагали на себя... Вероятно, вы слышали, чем кончаются такие бунты? Несколько погубленных жизней, громадные материальные убытки для обеих сторон – и никому пользы... Это самый ложный и глубоко несправедливый путь, и я могу сказать вам от имени Евгения Константиныча, что он никогда и ничего подобного не желал, не желает и не может желать. В настоящем случае я буду действовать от его имени, со всеми полномочиями.

Такое грозное вступление не обещало ничего доброго, и Родион Антоныч совсем съежился, как человек, поставленный на барьер, прямо под дуло пистолета своего противника. Но вместе с тем у него мелькало сознание того, что он является козлом отпущения не за одни свои грехи. Последнее придавало ему силы и слабую надежду на возможность спасения.

– Ваше превосходительство! я, конечно, маленький человек... даже очень маленький, – заговорил дрогнувшим голосом Родион Антоныч? – и мог бы сложить с себя всякую ответственность по составлению уставной грамоты, так как она редактировалась вполне ответственными по своим полномочиям лицами, но я не хочу так делать, потому что, если что и делал, так всегда старался о пользе заводов... В этом вся моя вина, ваше высокопревосходительство. И я могу желать только одного: чтобы вы отнеслись вполне беспристрастно к делу. Вы желаете пользы заводам и должны убедиться, что рабочие ошибаются, предъявляя ни с чем несообразные требования.

Генерал внимательно слушал эту не совсем правильную речь и про себя удивился уму Родиона Антоныча, относительно которого он уже был предупрежден Ниной Леонтьевной, а также и относительно той роли, какую он играл у Раисы Павловны. Этот кукарский Ришелье начинал его интересовать, хотя генерал не мог преодолеть невольного предубеждения против него.

Игра втемную началась. Каждая сторона старалась сохранить за собой все выгодные стороны своей позиции, и генерал скоро почувствовал, что имеет дело с очень опытным и сильным противником, тем более что за ним стояла Раиса Павловна и отчасти Прейн. Из объяснений Родиона Антоныча он вынес на первый раз очень немного, потому что дело требовало рассмотрения массы документов, статистического материала и разных специальных сведений.

– Если позволите, я вам представлю по этому делу подробную докладную записку, ваше высокопревосходительство, – говорил Родион Антоныч.

– А это не затянет наших занятий? – спросил генерал, пытливо глядя на своего противника.

– Никак нет-с... – ответил Родион Антоныч, вынимая из бокового кармана своего сюртука довольно объемистую рукопись. – Я заранее приготовил ее, ваше превосходительство.

Перекинув несколько листов четко переписанной докладной записки, генерал сухо проговорил:

– Хорошо, мы еще увидимся с вами.

По исстари заведенному порядку заводовладелец давал официальный бал, на котором он обыкновенно знакомился со всем заводским обществом. Все приготовления к балу были кончены еще до приезда Лаптева; поэтому оставалось только назначить день, который и был выбран. Собственно, такие балы для слабой половины человеческого рода были единственным случаем, когда они имели возможность показать себя. Понятное дело, что главными действующими лицами здесь явились не жены и дочери мелких служащих, а представительницы заводского beau monde'a, более строгого и исключительного, чем всякий другой beau monde, что служит характеристической чертой провинциальных нравов вообще. В столичных центрах городская жизнь кипит ключом, разница общественного положения сплавивается, по крайней мере, в проявлениях чисто общественной жизни, а в провинции таких нивелирующих обстоятельств не полагается, и перегородки между общественными группами почти непроницаемы, что особенно чувствуется женщинами, живущими слишком замкнутой жизнью, подобно тому как размещаются в музеях и зверинцах животные разных классов и порядков.

Понятное дело, что такое выдающееся событие, как бал, подняло страшный переполох в женском заводском мирке, причем мы должны исключительно говорить только о представительницах beau monde'a, великодушно предоставивших всем другим женщинам изображать народ, – другими словами, только декорировать собой главных действующих лиц. Если представители мужского beau monde'a, по деловым своим сношениям, по необходимости, становятся в близкие отношения к рядовым заводским служащим, не отмеченным перстом провидения, и принимают их у себя дома, как своих людей, то этого нельзя сказать относительно женщин. Здесь малейшее преимущество, каждый лишний рубль в жалованье мужа создает непроходимые преграды. Если, например, Родион Антоныч и другие заслуженные дельцы являлись своими в управительском кружке и появлялись даже на завтраках Раисы Павловны, то жене Родиона Антоныча, как

существованию низшего порядка, нельзя было и думать о возможности разделять общественное положение мужа.

Бал вызвал на сцену, кроме уж известных нам дам и девиц, целую плеяду женских имен: m-me Вершинина, тонкая и чахоточная дама, пропитанная бонтонностью; m-me Сарматова с двумя дочерьми, очень бойкая особа из отряда полковых дам; m-me Буйко, ленивая и хитрая хохлушка, блиставшая необыкновенной полнотой плеч и черными глазами; m-me Дымцевич, из польских графинь, особа с гонором; m-me Кашина с дочерью, представлявшая собой исключение в этой типичной группе как завзятая раскольница, находившаяся в периоде перерождения на дворянскую ногу управительского мирка, и т. д. Весь этот рой женщин, существование которого было совсем незаметно в мирное время, теперь выступил во всеоружии своих женских желаний, надежд и домогательств. Они тоже имели право на самостоятельное существование и теперь заявляли это право в самой рельефной форме, то есть под видом новых платьев, дорогих кружев, бантов и тех дорогих безделушек, которые так красноречиво свидетельствуют о неизлечимом рабстве всех женщин вообще. Нужно ли говорить о том, какая борьба закипела на этом ограниченном поле сражения. M-me Дымцевич выписала себе специально платье для этого бала из Варшавы, m-me Буйко и m-me Тетюева ограничились Петербургом, m-me Вершинина – Москвою и т. д. Едва ли генералу Блинову были известны те сравнительные методы исследования, какие проявили кукарские дамы на изучение, распланировку и применение своих бальных костюмов. Никакой химик не достиг, вероятно, такой точности в своей работе, и величайшие математики позавидовали бы смелому полету воображения. Для философа оставался неразрешимым вопрос о том, для какой цели затрачивался такой громадный запас энергии, если в мировой системе не пропадает даром ни один атом материи, ни один штрих проявившейся тем или другим путем мировой силы... Зачем? куда? для чего? И все это с единственной целью покружиться несколько часов и унести с собой свои тряпицы, как уносит бабочка помятые крылья.

Между тем виновник этой суеты сует проводил время в обществе клеветников и приспешников самым загадочным образом, точно он серьезно подготовлялся к чему-нибудь решительному, набирая силы. Дело в том, что Прейн серьезно взялся за дело и повел его опытной

рукой. У генерала было несколько серьезных разговоров с Евгением Константинычем, причем подробно обсуждались разные дела, а главным образом вопрос об уставной грамоте. Прейн принимал иногда участие в этих беседах и осторожно выводил линию Тетюева, то есть в этом случае соглашался с генералом, который, конечно, как и многие другие ученые мужи, совсем не подозревал, в какую игру он играет.

– Меня это дело начинает занимать, – говорил Лаптев. – И, как мне кажется, настоящий состав заводууправления не вполне удовлетворяет необходимым требованиям... Как вы думаете, генерал?

– Я полагаю, что вам лучше всего будет выслушать мастеровых лично, – отвечал генерал, – это будет спокойнее и для них.

– И, кроме того, можно выслушать мнение других лиц, компетентных в этом деле, – прибавил Прейн. – По моему мнению, Евгений Константиныч, следует составить маленькую консультацию, с участием людей посторонних, близко знакомых с этим делом, но не заинтересованных в нем.

Лаптев с удивлением слушал Прейна, который, против своего обыкновения, сегодня говорил серьезно, что с ним случалось крайне редко, так что его повелитель имел полное право удивляться. Генерал тоже имел свои основания не понимать Прейна, хотя и знал его сравнительно еще очень недавно. Но, вероятно, всех больше удивился бы и даже пришел бы в священный ужас наш уважаемый Родион Антоныч, если бы имел удовольствие слышать настоящий разговор, когда Прейн выдавал Раису Павловну вместе с ее Ришелье прямо на растерзание «компетентных, но не заинтересованных в этом деле лиц».

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Лаптев Прейна, обращаясь с ним на «вы», что можно было объяснить только его безграничным удивлением.

– Я уже сказал, что, по моему мнению, не дурно бы составить маленькую консультацию из специалистов, – повторил Прейн. – А на помощь к ним можно будет пригласить в качестве нейтрального элемента председателя здешней земской управы господина Тетюева... Он, кстати, кажется, теперь живет на заводах.

– Что-то знакомая фамилия? – спрашивал Лаптев. – Я точно где-то ее слышал...

– О, конечно, слышали сотни раз! Отец настоящего Тетюева был вашим главным управляющим до Горемыкина.

– Да, да... Горемыкин мне нравится, – в раздумье проговорил Лаптев. – Конечно, он почти слеп и плохо слышит, но он, кажется, честный человек... Как вы полагаете, генерал?

– Относительно Платона Васильича или господина Тетюева?

– Относительно обоих.

– О господние Тетюеве ничего не могу вам сказать, кроме того, что могу положиться на рекомендацию Альфреда Осипыча, который более меня знаком с заводами. А что касается Платона Васильича, я не отрицаю, что это безусловно честный человек, но в таком громадном предприятии, как заводское дело, кроме честности, нужно много кое-чего другого, чего, как я начинаю думать, Платону Васильичу недостает... Я скажу прямо, Евгений Константиныч: Платон Васильич, как все добрые люди, позволяет себя водить за нос разным пройдохам и доморощенным дельцам и смотрит на дело из вторых рук. Так что мы отчасти обязаны ему затруднениями и хлопотами по составлению уставной грамоты.

– Я тоже согласен с мнением генерала, – присоединил свой голос Прейн. – Если бы заменить Платона Васильича кем-нибудь другим, заводы много выиграли бы от этого, и чем я окончательно начинаю убеждаться.

Преследуя свою цель, Прейн забежал вперед генерала и предупредил то, что тот хотел высказать только после известной подготовки.

Этот серьезный разговор как раз происходил перед самым балом, когда Евгений Константиныч, одетый, завитой и надушенный, был уже совсем готов показаться в приемных залах господского дома, где с подавленным шорохом гудела и переливалась цветочная живая человеческая масса. Перед самым выходом к гостям генерал конфиденциально сообщил Прейну, что Нине Леонтьевне что-то сегодня нездоровится.

– Ага! – проговорил Прейн, делая нетерпеливый жест плечами.

– Она едва ли покажется вечером и просила меня извиниться за нее.

Прейн улыбнулся про себя. Нина Леонтьевна больна, значит, Раиса Павловна будет на балу... «О женщины, женщины!..» Известие

о болезни Нины Леонтьевны не особенно огорчило Евгения Константиныча, который желал теперь познакомиться с провинциальными красавицами.

Появление Лаптева на балу, где собралось публики до двухсот человек, вызвало подавленную тишину, которая охватила все залы разом. Едва успел Евгений Константиныч сделать несколько шагов, как его засыпали рекомендациями. Мужья церемониальным шагом подводили своих жен, рекомендовали их, улыбались с смущенным достоинством и ретировались, уступая место другим парам, жаждавшим чести представиться самому «подателю светов». Таким образом продефилировали четы Майзелей, Вершининых, Дымцевич, Буйко и т. д. Евгений Константиныч с утонченной вежливостью подавал свою руку дамам и по-французски повторял стереотипные приветственные фразы, удивляясь их свежести, красоте, молодости и другим достоинствам. Сиреневое платье m-me Дымцевич, гранатное m-me Вершининой, небесно-голубое шелковое m-me Майзель, цвета свежескошенного сена m-me Буйко и какого-то необыкновенного канареечного цвета m-me Сарматовой произвели свой эффект, переливаясь в глазах Евгения Константиныча всеми цветами солнечного спектра. Девушки явились в самых бледных тонах, как слабое отражение своих маман, или совсем в белых платьях. Чадолюбивые мамы, конечно, постарались обнажить все, что допускали общественные приличия, но Евгений Константиныч на своем веку видел столько голых плеч и рук, что его трудно было удивить. Прейн улыбался, сыпал любезностями и все что-то отыскивал глазами в переливавшейся кругом толпе.

– Моя жена, Раиса Павловна... – послышался голос Платона Васильича, который должен был представиться первым, но, по своей рассеянности, попал в последние.

– Очень рад, очень рад... – бормотал Евгений Константиныч, любезно подавая руку Раисе Павловне, которая остроумно и непринужденно извинилась за свою болезнь.

Прейн критически оглядел Раису Павловну и остался его доволен. Вечером в своем платье «цвета медвежьего уха» она была тем, чем только может быть в счастливом случае женщина ее лет, то есть эффектна и прилична, даже чуть-чуть более. При вечернем освещении

она много выигрывала своей статной фигурой и смелым типичным лицом с взбитыми белокурыми волосами.

– Могу пригласить вас на вальс? – говорил Евгений Константиныч, обязанный открыть танцы.

Полилась с хор музыка, и пары полетели одна за другой, смешавшись в цветочный вихрь, где людей из-за волновавшейся разноцветной материи трудно было различить. Приличные «почти молодые люди» отличались особенным усердием, работая ногами с изумительным искусством. Прейн отыскал m-lle Эмму и кружился с ней, нашептывая что-то ей на ухо. Аннинька танцевала с Братковским, совсем распустившись у него на руках, «как подкошенный цветок». Она не танцевала, а летала по воздуху, окрыленная чувством, и смотрела на своего улыбавшегося уверенной улыбкой кавалера глазами, полными негой.

– Теперь я могу вас познакомить с нашими красавицами, – говорила Раиса Павловна, когда Евгений Константиныч выводил ее из кружившейся толпы.

Раиса Павловна подвела своего кавалера к Наташе Шестеркиной и m-lle Канунниковой. Потом той же участи подверглись Аннинька и m-lle Эмма. По лицу Евгения Константиныча Раиса Павловна сразу заметила, что ее придворные красавицы не произвели на него никакого впечатления, хотя открытые плечи Наташи Шестеркиной могли выдержать самую строгую критику.

– Ах, чуть не забыла! я представлю вам еще одну молоденькую барышню, – спохватилась Раиса Павловна, проталкиваясь с своим кавалером в следующую комнату, где на голубом шелковом диванчике сидела Луша в обществе Кормилицына.

– Вот. Гликерия Витальевна... – равнодушно проговорила Раиса Павловна, чувствуя, что у ней за плечами улыбается довольной улыбкой Прейн.

Луша поднялась с своего диванчика и неловко подала руку Евгению Константинычу, который неподвижно, с застывшей улыбкой на губах, смотрел на ее белое кисейное платье, на скромно открытые плечи, на несложившиеся руки с розовыми локтями, на маленькую розу, заколотую в темной волне русых волос. Девушка была хороша, она сознавала и чувствовала это и спокойно перенесла бесцеремонный, усталый взгляд. Ее молодое лицо было серьезно и

тихо освещалось уверенным взглядом ее прекрасных карих глаз. Прейн, прищурившись тоже смотрел на нее, как смотрели другие, и под этим перекрестным огнем удивленных взглядов она оставалась такой же спокойной и уверенной в себе, как в первый момент. Раиса Павловна задыхалась от волнения, чувствуя, как вся кровь хлынула ей в голову: этот момент был самым решительным, и она ненавидела теперь Прейна за его нахальную улыбку, за прищуренные глаза, за гнилые зубы.

Евгений Константиныч пригласил Лушу на первую кадриль и, поставив стул, поместился около голубого диванчика. Сотни любопытных глаз следили за этой маленькой сценой, и в сотне женских сердец закипала та зависть, которая не знает пощады. Мимо прошла m-me Майзель под руку с Летучим, потом величественно проплыла m-me Дымцевич в своем варшавском платье. Дамы окидывали Лушу полупрезрительным взглядом и отпускали относительно Раисы Павловны те специальные фразы, которые жалят, как укол отравленной стрелы.

– Ничего, вы хорошо ведете свои дела! – говорил Прейн, когда Раиса Павловна шла с ним под руку.

– Не понимаю.

– А я отлично понимаю! Чертовски красивая девочка, и я только могу удивляться, где вы могли отыскать такую.

– Еще раз не понимаю вас, – сухо ответила Раиса Павловна по-французски. – Чему вы улыбаетесь?

Прейн ничего не ответил, а только чмокнул губами. Раиса Павловна окончательно возненавидела этого человека, который совсем не хотел и не мог ее понять.

– А мы вас сегодня решили сменить, – с улыбкой заметил Прейн. – Только еще не решили, кого выбрать на место Платона Васильича. Генерал уважает его как честного человека, но что-то имеет против него...

– Это старая новость.

– Да? Я с своей стороны предложил пригласить Тетюева в качестве консультанта.

– Вы с ума сошли, Прейн?!.

– О, совсем напротив... Я иду прямо к цели. Ага! посмотрите, как Евгений Константиныч идет на вашу удочку!

В это время мимо них прошел Лаптев; он вел Лушу, отыскивая место для кадрили. Девушка шла сквозь строй косых и завистливых взглядов с гордой улыбкой на губах.

Раиса Павловна опять испытывала странное волнение и боялась взглянуть на свою любимицу; по восклицанию Прейна она еще раз убедилась в начинавшемся торжестве Луши.

– Что с вами? – удивился Прейн, взглянув на побледневшее лицо своей дамы.

– Так... пройдет. Вы не поймете меня...

– Тайна? – насмешливо спросил Прейн.

– Да... для вас.

Раиса Павловна издали все время старалась наблюдать за Лушей, пока шла первая кадрили. Танцевала Луша безукоризненно, с какой-то строгой грацией.

– На следующую кадрили я могу вас пригласить? – спрашивал Евгений Константиныч свою даму.

– Нет... Я танцую с доктором.

– А следующую за этой следующей?

– Хорошо.

Лаптев передал Лушу на руки Раисы Павловны, и они втроем болтали с полчаса на том же голубом диванчике, где Луша сидела с доктором. Лаптев заметно оживился, и на его дряблых щеках показался слабый румянец; он говорил комплименты, острил и постоянно обращался к Раисе Павловне, как к третейскому судье. Раиса Павловна пустила в ход все свои знания светской жизни, чтобы сделать незаметным то расстояние, которое разделяло Лушу от подержанного молодого магната. При ее помощи Луша могла показаться с своей лучшей стороны и отвечала на любезности своего кавалера с остроумной находчивостью.

– Знаете, Гликерия Витальевна, что я подумал, когда в первый раз увидел вас? – говорил Лаптев дружеским тоном. – Угадайте!

– Очень просто. Вы думали: какие эти провинциальные девицы скучные, не отличишь одну от другой.

– Ах, нет... Я подумал, что можно ли быть красивой так... так бессовестно!.. Ведь это несправедливо со стороны природы – наделить одну всеми дарами в ущерб остальным...

– Вы не обидитесь, Евгений Константиныч, если я скажу одну маленькую правду? – с лукавой улыбкой спросила Луша.

– Нет... Я никогда не мог бы рассердиться на вас.

– Зачем вы говорите со мной в таком тоне, как говорят пехотные офицеры, когда хотят рассмешить провинциальную барышню...

– О, вот вы какая злая!.. – засмеялся Лаптев.

Раиса Павловна незаметно удалилась, предоставив молодых людей самим себе. Теперь она была уверена за Лушу. А Луша в это время с оживлением рассказывала, с каким нетерпением все ждали приезда заводовладельца, и представила в самом комическом свете его въезд в господский дом.

– Вы не знаете, кто стоял тогда во втором этаже господского дома, второе окно слева? – спрашивал Лаптев. – О, я тогда же заметил вас... Ведь это были вы? Да?

Луша засмеялась и замолчала. Лаптев заложил ногу за ногу, начал жаловаться на одолевавшую его скуку, на глупые дела, с которыми к нему пристаёт генерал каждый день, и кончил уверением, что непременно уехал бы завтра же в Петербург, если бы не сегодняшняя встреча.

– Я опять начинаю говорить, как пехотный офицер, – смеялся Лаптев. – Но меня делает глупым неожиданное счастье.

– Слишком большое счастье вообще опасно; поэтому мне ничего не остается, как только оставить вас, Евгений Константиныч. Вон мой кавалер меня отыскивает.

– Доктор?

– Да.

– Вы позволите мне ему позавидовать? Он, кажется, пользуется особенными преимуществами...

– Да. Доктор – мой жених.

Лаптев с ленивой улыбкой посмотрел на подходившего Яшу Кормилицына и долго провожал Лушу глазами, пока она не скрылась в толпе, опираясь на руку своего кавалера.

– Каков бесенок? – спрашивал по-английски точно вынырнувший из-под земли Прейн.

– Странно, что она совсем не походит на других, – заметил Лаптев, зевая.

– Это воспитанница Раисы Павловны, – объяснил Прейн, засовывая руки в карманы.

– А вы не знаете, кто эта девушка?

– Гликерия Витальевна?

– Да. Дьявольски мудреное имя, нужно язык переломить пополам, чтобы выговорить его. Кто она такая?

– Дочь инспектора школ... Товарищ генерала по университету, по фамилии Прозоров.

– Ага!

Раиса Павловна не упускала Лаптева из вида все время, пока он разговаривал с Прейном. Она заметила, как m-те Дымцевич несколько раз прошла мимо них, волоча свой шелковый трен; потом то же самое проделали – m-те Майзель и m-те Вершинина. Ясное дело, что они добивались приглашения Евгения Константиновича и не получили его. «Этакие дурищи!» – со злостью думала Раиса Павловна, меряя своих врагов с ног до головы. Она торжествовала, упоенная успехом своей Луши, и не замечала, как Аннинька совсем прильнула к Братковскому, а m-ле Эмма слишком долго разговаривала в темном уголке с Перекрестовым.

Бал кипел. В комнатах подальше толпились мелкие служащие, наблюдавшие Лаптева только издали. Некоторые для смелости успели подвыпить, и женам стоило большого труда удержать их на месте, подальше от управителей. Мимо Раисы Павловны прошли Майзель и Вершинин и злобно посмотрели на нее, потом торопливо пробежал Родион Антоныч, походивший в своей черной паре на хомяка. Он издали раскланялся с Раисой Павловной и молча указал глазами на Лаптева, который отыскивал Лушу. Да, это была крупная победа, и Раиса Павловна не могла удержаться, чтобы не подумать: «А, господа, что, взяли!..»

– Царица Раиса... несравненная из несравненных! – послышался около нее разбитый голос Прозорова, заставивший ее вздрогнуть.

– А вы как сюда попали? – сухо спросила его Раиса Павловна, не подавая руки. – И уж, кажется, готов... Господи! как от вас водкой разит.

– Это только одна внешность, царица Раиса! – бормотал Прозоров заплетавшимся языком. – А душа у меня чище в миллион раз, чем...

Видели генерала Мирона? Ха-ха... Мы с ним того... побеседовали... Да-а!.. А где Луша?

– Она с доктором танцует.

– Ну, пусть ее срывает цветы удовольствия в свою долю... Яшка – славный парень... Царица Раиса! а мы с вами не пустимся в кадриль?

– Нет, благодарю вас... Наша кадриль давно протанцована. Ах, уйдите, пожалуйста! Сюда идет Евгений Константинович...

Родион Антоныч заметил осадное положение Раисы Павловны и поспешил к ней на выручку. Он подхватил Прозорова под руку и потащил его в буфет.

– Родька, ведь ты настоящий Иуда Искаротский! – бормотал Прозоров. – И, наверно, тридцать сребреников в кармане у тебя шевелятся... Ведь шевелятся? Постой, это с кем Лаптев идет... Ведь это моя Лукреция!.. Постой, Иуда, я ее уведу домой... Раиса Павловна сказала, что она танцует с Яшкой.

Родион Антоныч загородил дорогу порывавшемуся вперед Прозорову и, мягко обхватив его в свои объятия, увлек к буфету. Прозоров не сопротивлялся и только махнул рукой. В буфете теперь были налицо почти все заговорщики, за исключением доктора и Тетюева. Майзель, выпячивая грудь и внимательно рассматривая рюмку с каким-то мудреным ликером, несколько раз встряхивал своей коротко остриженной седой головой.

– Я говорил, что нужно действовать быстро и решительно, – говорил Майзелю подвыпивший Сарматов. – Вот теперь и пеняйте на себя, что тогда меня не послушались...

– Ничего вы не говорили, – обрезал его сердито Вершинин. – Это у вас воображение разыгралось. Действительно, нам следовало предупредить Раису Павловну, но она оказалась значительно нас всех умнее...

– Погодите еще, гусей по осени считают! – процедил Майзель.

– Если нас принять за гусей, то можно сосчитать и теперь, – говорил Сарматов. – Я говорил, не хотели меня слушать.

Появившийся Прозоров нарушил эту интимную беседу. На него покосились, а Сарматов, схватив за руку, начал поздравлять с «милостью».

– Что-то плохо понимаю... – бормотал озабоченный Прозоров, но потом спохватился и побледнел как полотно.

– Лукерья Витальевна протанцевала уже две кадрили с Евгением Константинычем, – пояснил Сарматов, подмигивая Вершинину, и многозначительно прибавил: – А знаете, чем дело пахнет, когда сразу протанцуют три кадрили?

Прозоров взглянул на Сарматова какими-то мутными осоловелыми глазами и даже открыл искривившийся рот, чтобы что-то ответить, но в это время благодетельная рука Родиона Антоныча увлекла его к столику, где уже стоял графин с водкой. Искушение было слишком сильно, и Прозоров, махнув рукой в сторону Сарматова, поместился за столом, рядом с Иудой.

– Ну, иудейская закваска, наливай! – ласково шептал Прозоров, улыбаясь блаженной улыбкой. – Вот у меня какой характер: знаю, что ты из подлецов подлец, а не могу тебе отказать...

– Ах, какие вы слова говорите! – с ужасом шептал Родион Антоныч, оглядываясь по сторонам на разговаривавшие кучки служащих.

– Слова... Да, слова говорю... – в раздумье говорил Прозоров, хлопая две рюмки водки. – Тебя царица Раиса приставила ко мне? Ну, не отпирайся... Она боится меня! Тебе, Иуда, никогда этого не понять...

– А я вам скажу одно, Виталий Кузьмич, – вкрадчиво шептал Сахаров, тоже вкушая единую от трудов праведных, – какая голова у вас, Виталий Кузьмич! Ах, какая голова!.. Если бы к этой голове да другой язык – цены бы вам не было...

– Так, змий-искуситель, так! язык мой – враг мой. Постой, что я тебе скажу... Ах, да... три кадрили...

Выпив рюмку, Прозоров впал в ожесточенное настроение, поправил лихорадочно свои волосы и опять направился было к разговаривавшим управителям.

– Виталий Кузьмич! Виталий Кузьмич!.. – шептал Сахаров, удерживая Прозорова за рукав. – Это дело нужно оставить... Ей-богу, так: оставить. Выпьемте лучше по рюмочке...

– Нет, я им покажу третью кадрили! – горячился Прозоров, пошатываясь на месте. – Эта артиллерийская лошадь добивается хлыста...

– Охота вам руки марать о таких людей, Виталий Кузьмич!

Эта выходка рассмешила Прозорова, и он несколько мгновений пытливо смотрел на своего дядьку.

– Я так полагаю, что умный человек прежде всего должен уважать себя, – продолжал Сахаров. – Особенно человек с высшим образованием... Я вам по совести говорю!

– А ведь у тебя ума палата, Родька! Право... Разбирая строго логически, это не ум, а хитрость, но если хитрость делается дьявольской, тогда ее можно назвать даже умом.

– Какой уж у нас ум, Виталий Кузьмич! Так, бродим в потемках – вот и весь наш ум. Если бы вот высшее образование, тогда другое дело...

Генерал Блинов присутствовал на бале, хотя и не принимал никакого участия в общем веселье, потому что был слишком занят своими собственными мыслями, которые были взбудоражены мужицкой бумагой. Он все время разговаривал с Платоном Васильичем, который среди этой кружившейся легкомысленной толпы чувствовал себя совсем чужим человеком. Поместившись в уголке, эти люди не от мира сего толковали о самых скучнейших материях для непосвященного: о пошлинах на привозной из-за границы чугуны, о конкуренции заграничных машинных фабрикантов, о той всеильной партии великих в заводском мире фирм с иностранными фамилиями, которые образовали государство в государстве и в силу привилегий, стоявших на стороне иностранных капиталов, давили железной рукой хромавшую на обе ноги русскую промышленность. Платон Васильич понимал все это дело, и генерал с удовольствием слушал, что он вполне разделяет его взгляды, хотя не мог помириться с Горемыкиным как с главным управляющим Кукарских заводов.

– Наша задача – выбить эти фирмы из их позиции, – глубокомысленно говорил генерал. – Мы устроим ряд специальных съездов в обеих столицах, где представители русской промышленности могут обсудить свои интересы и выработать программу совместного действия. Нужно будет произвести известное давление на министерства и повести отчаянную борьбу за свое существование.

К ним подсел Перекрестов и, вслушавшись в разговор, поспешил, конечно, выразить свое полное сочувствие этим планам и даже предложил свою посильную помощь, насколько он мог быть полезен в

качестве представителя русской прессы, задачи которой, и т. д. Генерал заговорил о наших технических выставках, которые служили яркой иллюстрацией того печального положения русских заводов, которое создалось под влиянием сильной иностранной конкуренции. Необходимы были крутые меры и энергический отпор со стороны сплоченной массы русских заводчиков, чтобы вырвать зло с корнем. Все эти машиностроительные заводы из иностранного чугуна, все фабрики иностранных фирм и их склады должны исчезнуть сами собой, вместе с теми субсидиями и гарантиями, какими в настоящую минуту они пользуются от русского правительства.

– Я далек от мысли осуждать промышленную политику правительства вообще, – говорил генерал, разглаживая усы. – Вообще я друг порядка и крепкой власти. Но вместе с тем интересы русской промышленности, загнанные иностранными капиталами в дальний угол, заставляют нас принять свои меры. Кэри говорит прямо...

Перекрестов соглашался, кивал головой и даже вытащил из кармана написанную корреспонденцию с Урала, в которой он вполне разделял взгляды генерала. Русская пресса слишком ценит интересы русского горного дела, чтобы не поднять своего голоса в их защиту. Генерал считал Перекрестова пустым малым вообще, но в этом случае вполне одобрял его, потому что, как хотите, а даже и русская пресса – сила. Он даже пообещал Перекрестову посвятить его в свои планы самым подробным образом, документально, как выразился генерал; Платон Васильич тоже обещал содействовать представителю русской прессы.

– Мы должны высоко держать знамя русских интересов! – патетически восклицал Перекрестов своим гнусавым голосом.

Можно было бы представить себе изумление этих двух простецов, если бы они знали, что Перекрестов – замаскированный агент тех иностранных фирм, в поход против которых собирался генерал Блинов вместе с своим излюбленным Кэри. Иностранное золото гоняло продажного корреспондента по всему свету, а теперь его миссия заключалась в том, чтобы проникнуть в планы генерала Блинова, поездка которого на Урал серьезно беспокоила немецких, французских и английских коммерсантов, снабжавших Россию железными изделиями. Теперь Перекрестов с удовольствием потирал руки, обдумывая трескучий фельетон в духе генерала, и в то же время

он продавал этого генерала своим патронам. Обыкновенно думают, что беспардонные люди, вроде Перекрестова, только смешны – не больше, но это одно из общих печальных заблуждений: из таких маленьких пакостей складывается иногда громадное зло. Кроме разведки по части планов генерала Блинова, Перекрестов еще имел специальное поручение объехать весь Урал, чтобы навести справки о проектируемой здесь сети железных дорог, чтобы вперед обеспечить сбыт вагонов, локомотивов и рельсов иностранного дела. Собранный этим путем материал потом пройдет через горнило передних, черных ходов и тех «узких врат», которыми входят в царство гешефтов князя икорольи русской промышленности.

Раиса Павловна, может быть, одна из всех несколько понимала предательскую натуру Перекрестова и подозрительно следила за ним все время. Ее женский инстинкт досказал то, чего не мог проникнуть генерал с своими широкими финансовыми планами и всей эрудицией. Она пыталась подслушать этот интимный разговор, но Перекрестов уже заметил ее и не поддавался в ловушку. Он хорошо знал, что значат некоторые дамы в деловых сферах, и поэтому побаивался Раисы Павловны, о которой собрал необходимые сведения еще в Петербурге.

А музыка лилась; «почти молодые люди» продолжали работать ногами с полным самоотвержением; чтобы оживить бал, Раиса Павловна в сопровождении Прейна переходила от группы к группе, поощряла молодых людей, шутила с своей обычной откровенностью с молодыми девушками; в одном месте она попала в самую веселую компанию, где все чувствовали себя необыкновенно весело, – это были две беззаботно болтавшие парочки: Аннинька с Братковским и Летучий с m-lle Эммой. Последний был сегодня особенно в ударе и выгружал неистощимый запас самых пикантных анекдотов, заставлявших «галок» хихикать, краснеть и даже закрываться. Это было «немного слишком», но Раиса Павловна смотрела сегодня на все сквозь пальцы, наблюдая только одну Лушу. Она гордилась своим созданием и вынашивала теперь в своей душе самый отчаянный и несбыточный план, который испугал бы даже Прейна, если бы он мог подслушать истинный ход мыслей своей дамы.

– Бал удался... – подчеркивая слова, говорил Прейн. – Вы не можете на него пожаловаться, Раиса Павловна.

– Увидим.

– Посмотрите, какой фурор производит ваша Прозорова... Если бы я был моложе на десять лет, я не поручился бы за себя.

Раиса Павловна начала расспрашивать его о Гортензии Братковской, но Прейн так неловко принялся лгать, что дальнейший разговор продолжать в том же тоне было совершенно излишне.

Бал кончился только к четверем часам утра, когда было уже совсем светло и во все окна радостно смотрело поднимавшееся июньское солнце. Измученная публика потянулась к выходу, унося в душе смутное впечатление недавней суеты. Свечи догорали в люстрах и канделябрах, на полу валялись смятые бумажки от конфет и апельсиновые корки, музыканты нагружались в буфете, братаясь с запоздалыми подкутившими субъектами, ни за что не хотевшими уходить домой. Из всей публики осталось только избранное общество, которое получило приглашение к ужину. Дамы были бледны и смотрели усталыми, покрасневшими глазами; смятые платья и разбившиеся прически дополняли картину. Женщины походили на толпу мух, побывавших в меду и запачкавших крылья. Легкомысленная молодость еще продолжала улыбаться, не отдавая себе отчета в происходившем кругом и жалея только о том, что балы не продолжаются вечно. Зато чадолюбивые мамы сейчас же подвели итоги всему: «галки» остались незамеченными, Канунникова и Шестеркина тоже, Луша вела себя непозволительно и бессовестно вешалась сама на шею Евгению Константинычу, который танцевал, кроме нее, только с m-me Дымцевич и m-me Сарматовой. Когда у Луши в руках появился букет из чайных роз, негодование дам перешло все границы, и они прямо поворачивались к ней спинами. Раиса Павловна торжествовала, переживая лихорадочное состояние. Она ходила теперь по залам под руку с Лушей, поправляла ей волосы и платье и потихоньку несколько раз поцеловала ее. Сама Луша выглядела усталой, щеки у нее побледнели, но прекрасные глаза смотрели мягким, удовлетворенным взглядом. Раиса Павловна крепко прижимала ее маленькую руку к себе, чувствуя, как из вчерашней девочки возрождается чарующая красавица.

Ужин прошел весело. Сарматов и Летучий наперерыв рассказывали самые смешные истории. Евгений Константиныч улыбался и сам рассказал два анекдота; он не спускал глаз с Луши,

которая несколько раз загоралась горячим румянцем под этим пристальным взглядом. М-г Чарльз прислуживал дамам с неизмеримым достоинством, как умеют служить только слуги хорошей английской школы. Перед дамами стояли на столе свежие букеты.

Раиса Павловна была сегодня хозяйкой и вела себя с тактом великосветской женщины; она умела поддержать разговор и несколько раз очень ядовито прошлась насчет «почти молодых людей».

– Ну, что, мой ангел? – спрашивала Раиса Павловна свою любимицу, когда ужин кончился. – Весело тебе было, моя крошка?

– Сначала было весело... – уклончиво ответила Луша, лениво потягиваясь.

Этот ответ заставил улыбнуться опытную Раису Павловну: «мой ангел» хотел быть счастливым один... Желание настолько законное, против которого трудно было что-нибудь возразить.

Через несколько дней после бала Евгений Константиныч сделал визит Раисе Павловне и Майзелю. Это было выдающееся событие, которое толковалось умудренными во внутренней политике людьми различно. Партия Тетюева была крайне недовольна сближением Евгения Константиныча с Раисой Павловной; от такого знакомства можно было ожидать всего, тем более что тут замешалась Луша. В действительности визит Лаптева к Раисе Павловне был самого невинного свойства, и она приняла его даже несколько холодно.

– А где эта... эта ваша родственница? – спрашивал Лаптев, когда по правилам вежливости ему оставалось только уйти.

– Какая родственница? – удивилась Раиса Павловна. – Аннинька?

– Нет, не то... Еще такое длинное имя.

– Mademoiselle Эмма?

– Ах, не то.

– Наташа Шестеркина? Канунникова?

– Нет.

Прейн улыбнулся про себя, но предоставил своего высокого покровителя в жертву своему коварному другу.

– Ах, да... – равнодушно припоминала Раиса Павловна. – Вы хотите сказать о Гликерии Виталиевне?

– Да, да. Именно про нее: Гликерия... Гликерия...

– Она немножко больна, Евгений Константиныч. Бал расстроил ее нервы... Ведь она еще совсем девочка, недавно ходила в коротеньких платьицах.

– Отец у ней, кажется, служит на заводах?

– Да. Он тоже не совсем здоров...

Этим разговор и кончился. После Лаптева на Раису Павловну посыпались визиты остальных приспешников: явились Перекрестов с Летучим, за ними сам генерал Блинов. Со всеми Раиса Павловна обошлась очень любезно, памятуя турецкую пословицу, что один враг сделает больше зла, чем сто друзей добра.

После Раисы Павловны и Майзеля Евгений Константиныч отправился в генеральский флигелек навестить больную Нину

Леонтьевну. Эта последняя приняла его очень радушно и засыпала остроумным разговором, причем успела очень ядовито пройтись относительно всего кукарского общества. Евгений Константиныч слушал ее с ленивой улыбкой и находил, что болезнь не отразилась на ее умственных способностях в дурную сторону, а даже напротив, как будто еще обострила этот злой мозг.

– Я убежден, – говорил Прейн, когда они возвращались из флигелька, – я убежден, что у этой бабы, как у змеи, непременно есть где-нибудь ядовитая железка. И если бы у ней не были вставные зубы, я голову готов прозакладывать, что она в состоянии кусаться, как змея.

– Но змея очень остроумная, – прибавил Евгений Константиныч, припоминая выходки остроумного урода.

– Да, да...

Сарматов лез из кожи, чтобы угостить набоба любительскими спектаклями и делал по две репетиции в день. С артистами он обращался, как с преступниками, но претензий на директора театра не полагалось, потому что народ был все подневольный, больше из мелких служащих, а женский персонал готов был перенести даже побои, чтобы только быть отмеченным из среды других женщин в глазах всесильного набоба. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной с ее наливными плечами; Сарматов обращался с ней, как с пожарной лошадью, так что это наивное создание даже плакало за кулисами.

– Пожалуйста, уберите коленки, Наталья Ефимовна! – кричал Сарматов на весь театр, представлявший собой большую казарму, в которой раньше держали пожарные машины. – Можно подумать, что у вас под юбками дрова, а не ноги...

Эта Наташа Шестеркина была очень симпатичная и миловидная девушка, хотя немножко и простоватая. Свежее лицо с завидным румянцем и ласковыми серыми глазами манило своей девичьей красотой; тяжелая русая коса и точно вылепленные из алебаstra плечи могли нагнать тоску на любого молодца, конечно, не из разряда «почти молодых людей», предпочитающих немного тронувшийся товар. Канунникова тоже была красивая девушка, только в другом роде. Такие типы встречаются в старых раскольничьих семьях. Высокая, с могучей грудью и серьезным лицом, она в русском

сарафана была замечательно эффектно, хотя густые соболиные брови и строго сложенные полные губы придавали ей немного сердитый вид. Какая сила выдвинула этих русских красавиц на грязные театральные подмостки, где над ними ломался какой-нибудь прощельга Сарматов? Имя этой силе – тщеславие... Раиса Павловна отлично умела пользоваться этой человеческой слабостью в своих целях и теперь с свойственным ей бессердечием подвергла двух юниц тяжелому испытанию.

После кровавой битвы с артистами и репертуаром Сарматов, наконец, поставил «Свадьбу Кречинского». В этой пьесе он сам играл Расплюева, и, нужно отдать ему справедливость, играл хорошо, а роль Кречинского обязательно взял на себя Перекрестов. Вместо водевиля шла «Русская свадьба». В день спектакля зала театра, конечно, была битком набита. Набоб заставил себя подождать, и скептики уже начинали уверять, что он уехал на охоту, но были опровергнуты появлением Евгения Константиныча во фраке и белом галстуке. Во время спектакля он внимательно осматривал зрителей, отыскивая кого-то глазами.

– Раисы Павловны, кажется, нет? – спросил он наконец Прейна.

– Нет... Она немного больна, – ответил Прейн, – Нина Леонтьевна здесь.

Лаптев не досидел до конца спектакля и, послав Наташе Шестеркиной за ее плечи букет, уехал домой.

На следующем спектакле, когда шла «Бедность не порок», Раиса Павловна присутствовала, а Нина Леонтьевна была больна. Даже Евгений Константиныч не мог не заметить такого странного совпадения и спросил Раису Павловну:

– Меня несколько удивляет ваше здоровье, Раиса Павловна. Не отражается ли его состояние на других особах?

– Что вы хотите этим сказать, Евгений Константиныч? – вспыхнула Раиса Павловна, не понимая вопроса.

– О, успокойтесь... Я не имел в виду тех особ, которые поправляются, а тех, которые постоянно больны.

– Труднобольные, вероятно, найдут себе помощь в докторских советах... Я тут решительно ни при чем.

Этот ответ заставил Прейна улыбнуться.

– Вы очень зло отвечаете, – проговорил Лаптев после короткой паузы. – Я всегда уважаю докторов, за исключением тех случаев, когда они выходят из пределов своей специальности. Впрочем, в данном случае докторские советы должны принести двойную пользу, и мне остается только пожалеть, что я совершенный профан в медицине.

Разговор шел по-французски, и любопытные уши m-me Майзель не могли уловить его, тем более что эта почтенная матрона на русско-немецкой подкладке говорила сама по-французски так же плохо, как неподкованная лошадь ходит по льду. Но имя доктора она успела поймать и отыскала главами Яшу Кормилицына, который сидел в шестом ряду; этот простец теперь растворялся в море блаженства, как соль растворяется в воде, потому что Луша, которая еще так недавно его гнала, особенно после несчастного эпизода с «маринованной листой», теперь относилась к нему с особенным вниманием. Доктор каждый день бывал в Прозоровском флигельке и проводил там по нескольку часов. Он натащил туда своих любимых книжек и читал Луше тонким тенориком. Луша обыкновенно слушала его очень внимательно и только раз прервала эти занятия вопросом:

– А вы не знаете английского языка, Яков Яковлич?

Яков Яковлич с грехом пополам читал английские книжки, но не владел секретом английского произношения. Он только мог удивляться, зачем Луше понадобился английский язык. На душе у доктора лежало камнем одно обстоятельство, которое являлось тучкой на его небе, – это проклятый заговор, в котором он участвовал. По всей вероятности, он откровенно исповедался бы во всем Луше, но его удерживало то, что тут была замешана Раиса Павловна, которая распоряжалась Лушей, как завоеванной провинцией. Несколько раз доктор думал совсем отказаться от взятой на себя роли, тем более что во всем этом деле ему было в чужом пиру похмелье; он даже раза два заходил к Майзелю с целью покончить все одним ударом, но, как все бесхарактерные люди, терялся и откладывал тяжелое объяснение до следующего дня. Заговорщики, по настоянию Майзеля, должны были спешить протестом, но любительские спектакли мешали выбрать подходящий момент. Крайний срок был назначен после второго спектакля, и теперь Яша Кормилицын, сидя в шестом ряду, испытывал неприятные мучения совести, особенно когда в антрактах встречался с Раисой Павловной. Он в сотый раз начинал рассуждать на тему, зачем

он согласился произнести протест перед Лаптевым, и в сотый раз находил, что поступил очень глупо.

На другой день после второго спектакля, рано утром, доктор получил записку от Майзеля с приглашением явиться к нему в дом; в post scriptum'e^[20] стояла знаменательная фраза: «по очень важному делу». Бедный Яша Кормилицын думал сказать больным или убежать куда-нибудь, но, как нарочно, не было под руками даже ни одного труднобольного. Скрепя сердце и натянув залежавшийся фрачишко, доктор отправился к Майзелю. Заговорщики были в сборе, кроме Тетюева.

– Господа, я, право, не знаю, сумею ли я... – начал было доктор, но его протест был заглушён взрывом общего негодования.

– По-ря-доч-ные л-люди так не ппо-сту-на-ют... – цедил Майзель, подступая к самому носу доктора. – Вы хо-ти-те продать нас или уже про-да-ли?..

– Я знаю причину, почему доктор изменяет нам, – заявил Сарматов, находившийся в самом игривом настроении духа. – Выражаясь фигурально, на его уста положила печать молчания маленькая ручка прекрасной юной волшебницы.

Это фигуральное выражение довело общее негодование до последних границ, и доктору ничего не оставалось, как только покрыть свой грех самым строгим исполнением долга.

В час дня, когда просыпался Евгений Константиныч, заговорщики уже были в приемных комнатах господского дома, во фраках, с вытянутыми лицами и меланхолически-задумчивым выражением в глазах. Особенно хорош был Майзель. Раздувая грудь, как турман, он в последний раз делал внушения доктору, который теперь должен действовать во имя заводов и пятидесятитысячного заводского населения. Вершинин и Сарматов принужденно улыбались, глядя на вялую, точно выжатую фигуру доктора, который глупо хлопал глазами. Дымцевич, как всегда, ошипывался, как воробей перед дождем, а Буйко глухо кашлял. Когда лакей заявил, что Евгений Константиныч встали и принимают, Яша Кормилицын сделал инстинктивное движение к выходным дверям, но его схватила железная рука Майзеля и втокнула в кабинет набоба. Общее изумление на мгновение всех заставило оцепенеть, когда в кабинете Евгения Константиныча, кроме самого хозяина и Прейна,

заговорщики увидели... Прозорова. Да, это был сам Виталий Кузьмич, успевший каким-то чудом протрезвиться и теперь весело рассказывавший набобу что-то, вероятно, очень остроумное, потому что Евгений Константиныч улыбался. Как попал Прозоров в кабинет набоба и вдобавок попал в такое время дня, когда к Евгению Константинычу имели доступ только самые близкие люди или люди по особенно важным делам, – все это являлось загадкой. В глубине кабинета стоял м-г Чарльз, неумолимый и недоступный, как сама судьба; из-под письменного стола выставилась атласная голова Brunehaut, которая слегка заворчала на заговорщиков и даже оскалила свои ослепительно-белые зубы.

Кабинет Евгения Константиныча был меблирован почти бедно: письменный стол черного дерева, такой же диван, два кресла, кушетка, шкаф с бумагами и несколько стульев стоили всего пятьдесят тысяч. Прибавьте к этому макартовскую голую красавицу на стене, великолепную шкуру белого медведя на полу и несколько безделушек на письменном столе – вот и все. Это была временная обстановка, потому что набоб жил, по выражению Прейна, на биваках. Для человека, имевшего пятьсот тысяч годового дохода, такой кабинет граничил с приличной бедностью.

– Чем обязан вашему посещению, господа? – спрашивал Лаптев, поднимаясь навстречу гостям.

Прейн, заложив руки в карманы, едва заметно улыбался, покуривая короткую венскую трубочку. Он знал о заговоре через Майзеля и сам назначил день, когда сделать нападение на набоба.

Доктор, подтолкнутый Майзелем, начал свою выученную заранее речь, стараясь не смотреть в сторону Прозорова. В маленьком вступлении он упомянул о тех хороших чувствах, которые послужили мотивом настоящего визита, а затем перешел к самой сущности дела, то есть к коллективному протесту против диктатуры Горемыкина, который губит заводское дело и т. д. Евгений Константиныч слушал эту длинную речь очень рассеянно и все время занимался рассматриванием тощей фигуры доктора, его серо-зеленого лица и длинных, точно перевязанных узлами рук. Прозоров несколько раз улыбнулся и взъерошил себе волосы, а когда доктор кончил, он подумал про себя: «Чистый ты дурак, Яшка!»

– Как мне понять ваше заявление? – спрашивал Евгений Константиныч, обращаясь к оратору. – Как наше личное мнение или как мнение большинства?

– Это наш общий протест, – разом заявили Майзель и Сарматов.

– Хорошо. Я на днях буду иметь объяснение с делегатами от заводских мастеровых, тогда приму во внимание и ваш протест. Пока могу сказать только то, что изложенные вами чувства и доводы совпадают с моими мыслями. Нужно сказать, что я недоволен настоящими заводскими порядками, и генерал тоже, кажется, разделяет это недовольство. Господа, что же это вы стоите? Садитесь...

Но господа наотрез отказались от такой чести и гурьбой пятились к двери.

– Ах, я чуть не забыл... – спохватился Лаптев, делая порывистое движение рукой. – Вот, по мысли Прейна, мы думаем составить маленькую консультацию, куда решились пригласить кого-нибудь из... из знающих дело по посторонним заводам. Так я говорю, Прейн?

– О, совершенно так... Пока выбор пал на Авдея Никитича Тетюева. Вы, господа, можете заявить сейчас же Евгению Константинычу, если что-нибудь имеете против этого выбора.

– Нет, мы ничего не имеем...

– Авдей Никитич совершенно постороннее лицо в этом деле, – процедил с своей стороны Майзель. – И мы доверяем ему, как незаинтересованному в нашем общем деле.

– А вы, доктор, ничего не имеете против Тетюева? – спросил Евгений Константиныч.

– Нет... мне все равно, – протянул тенориком доктор.

– Так как вы явились во главе депутации, – продолжал серьезно Евгений Константиныч, – то не могу ли я попросить вас остаться для некоторых переговоров?

Толпа заговорщиков переглянулась. Никто не ожидал такого оборота дела, но приходилось помириться с желанием набоба.

– Я также попросил бы остаться и господина Сарматова, – прибавил Евгений Константиныч. – А затем не смею вас больше задерживать, господа.

Заговорщики удалились, а доктор и Сарматов остались.

– Садитесь, господа, – пригласил Евгений Константиныч, с серьезным видом раскуривая сигару.

В кабинете наступила тяжелая пауза. Даже Прейн не знал, что за фантазия явилась в голове владыки и украдкой недоверчиво посмотрел на его бесстрастное лицо с полузакрытыми глазами.

– Доктор! мне нужно, собственно, поговорить с вами, – серьезно продолжал Лаптев. – Меня удивляет ваше поведение... Буду говорить прямо, без церемоний. Я понимаю, зачем приходили другие, но ведь вы, в качестве доктора, нисколько не заинтересованы в наших заводских делах. Затем, вы поднимаете руку... на кого же? Если Раиса Павловна узнает о вашем поведении, вас ожидает самая печальная участь. Кстати, и папаша Гликерии Витальевны налицо, и мы можем семейным образом обсудить ваш образ действий... Не правда ли, «гроза кабанов»?

– Со мной был точно такой же случай, Евгений Константиныч, – заговорил Сарматов, угадавший теперь, зачем набоб оставил их. – У меня была невеста, Евгений Константиныч... Совершенно прозрачное существо и притом лунатик. Раз я сделал донос на одного товарища, и она меня прогнала с глаз долой.

Все засмеялись, а вместе с другими засмеялся и доктор, немного опешивший в первую минуту.

– Прежде чем мы будем окончательно решать вашу участь, доктор, мы подкрепим свои иглы, – заговорил Лаптев, довольный своей выходкой. – Чарльз, мы здесь будем пить кофе.

Кофе был подан в кабинет, и Лаптев все время дурачился, как школьник; он даже скопировал генерала, а между прочим досталось и Нине Леонтьевне с Раисой Павловной. Мужчины теперь говорили о дамах с той непринужденностью, какой вознаграждают себя все мужчины за официальные любезности и вежливость с женщинами в обществе. Особенно отличился Прозоров, перещеголявший даже Сарматова своим ядовитым остроумием.

– Итак, мы кутим у вас на свадьбе, доктор? – говорил Лаптев, когда тема о женщинах вообще была исчерпана.

– Я, право, еще не знаю... – смущенно бормотал доктор.

– Ах, как он умеет притворяться! – удивлялся Прейн, хлопая доктора по плечу. – Гликерия Виталиевна гораздо откровеннее вас... Она сама говорила Евгению Константинычу, что вы помолвлены. Да?

– Ну, Яша, признавайся! – поощрял Прозоров.

Прозорова вытрезвил и притащил к Лаптеву не кто другой, как Прейн. Для чего он это делал – было известно ему одному. Прозоров держал себя джентльменом, точно он родился и вырос в обществе Прейна и Лаптева.

По вечерам в господском саду играл оркестр приезжих музыкантов и по аллеям гуляла пестрая толпа заводской публики. С наступлением сумерек зажигались фонари и шкалики. На таких гуляньях присутствовала вся свита Евгения Константиныча, а сам он показывался только в обществе Прейна, без которого редко куда-нибудь выходил. Само собой разумеется, что если гуляла Раиса Павловна, то Нина Леонтьевна делалась больна и наоборот. Провинциальная публика, как и всякая другая публика, падкая до всевозможных эффектов, напрасно ожидала встречи этих двух ненавидевших друг друга женщин.

Приезжий элемент незаметно вошел в состав собственно заводского общества, причем связующим звеном явились, конечно, женщины: они dokonчили то, что одним мужчинам никогда бы не придумать. Все общество распалось на свои естественные группы, подгруппы, виды и разновидности. Около m-me Майзель вертелся Перекрестов и Летучий, два секретаря Евгения Константиныча, которым решительно нечего было делать, ухаживали за Наташей Шестеркиной и Канунниковой, пан Братковский бродил с «галками», «почти молодые люди» – за дочерьми Сарматова, Прейн любил говорить с m-me Дымцевич и т. д. Сам набоб проводил свое время на гуляньях в обществе Раисы Павловны или Нины Леонтьевны, причем заметно скучал и часто грыз слоновый набалдашник своей палки. Когда устраивались танцы на маленькой садовой эстраде, он подолгу наблюдал танцующие пары, лениво отыскивая кого-то глазами. Все, особенно женщины, давно заметили, что набоб скучает, и по-своему объясняли истинные причины этой скуки.

Евгений Константиныч действительно скучал, и его больше не забавляли анекдоты Летучего и вранье Сарматова; звезда последнего так же быстро закатилась, как и поднялась. Теперь новинкой в обществе набоба являлся Прозоров, который, конечно, умел показать товар лицом и всех подавлял своим остроумием. Всего интереснее были те моменты, когда Прозоров встречался с Ниной Леонтьевной, этой неуязвимой женщиной в области красноречия. Происходили

самые забавные схватки из-за пальмы первенства, и скоро всем сделалось очевидной та печальная истина, что Нина Леонтьевна начинала быстро терять в глазах набоба присвоенное ей право на остроумие. Пьяница Прозоров оказался умнее и находчивее в словесных турнирах и стычках, что, конечно, не могло не огорчать Нины Леонтьевны, которая поэтому от души возненавидела своего счастливого противника. Даже приспешники и прихлебатели встали сейчас же на сторону Прозорова, поддерживая его своим смехом; все знали, что Прозоров потерянный человек, и поэтому его возвышение никому не было особенно опасно. Если могли ревновать к Сарматову, то за участь Прозорова были все совершенно спокойны; все его величие могло разрушиться, как карточный домик, от одной лишней рюмки водки. Даже Летучий и Перекрестов относились к Прозорову снисходительно, переваривая его неистоимое краснбайство. Злые языки, впрочем, сейчас же объяснили положение Прозорова самым нехорошим образом, прозрачно намекая на Лушу, которая после бала как в воду канула и нигде не показывалась. Нашлись люди, которые уверяли, что видели своими глазами, как Лаптев рано утром возвращался из Прозоровского флигелька.

– Послушайте, Прозоров, где же ваша дочь в самом деле? – спросил однажды Лаптев, когда они сидели после обеда с сигарами в зубах.

– Сидит дома...

– Ага! А доктор часто бывает у вас?

Прозоров засмеялся и только махнул рукой. Странное поведение Луши заинтересовало капризного набоба, за которым ухаживали первые красавицы всех наций. Как! эта упрямая девчонка смеет его игнорировать, когда он во время бала оказал ей такие ясные доказательства своего внимания. Задетое самолюбие досказало набобу остальное, хотя он старался не выдать себя даже перед Прейном. Это новое, почти незнакомое чувство заинтересовало пресыщенного молодого человека, и он сам удивлялся, что не может отвязаться от мысли о капризной, взбалмошной девчонке. Чтобы утешить самого себя, он старался раскритиковать ее в своем воображении, сравнивая ее достоинства по отдельным статьям с достоинствами целого легиона «этих дам» всех наций и даже с несравненной Гортензией Братковской. По необъяснимому психологическому процессу

результаты такой критики получались как раз обратные: набоб мог назвать сотни имен блестящих красавиц, которые затмевали сиянием своей красоты Прозорову, но все эти красавицы теряли в глазах набоба всякую цену, потому что всех их можно было купить, даже такую упрямую красавицу, как Братковская, которая своим упрямством просто поднимала себе цену – и только. В нежелании Луши показываться Лаптев видел пассивное сопротивление своим чувствам, которое нужно было сломить во что бы то ни стало. Иногда набоб старался себя утешить тем, что Луша слишком занята своим доктором и поэтому нигде не показывается, – это было плохое утешение, но все-таки на минуту давало почву мысли; затем иногда ему казалось, что Луша избегает его просто потому, что боится показаться при дневном свете – этом беспощадном враге многих красавиц, блестящих, как драгоценные камни, только при искусственном освещении. Но все эти логические построения разлетались прахом, когда перед глазами Лаптева, как сон, вставала стройная гордая девушка с типичным лицом и тем неуловимым шиком, какой вкладывает в своих избранников одна тароватая на выдумки природа. Собственно говоря, набоб даже не желал овладеть Лушей, как владел другими женщинами; он только хотел ее видеть, говорить с ней – и только. Все ему нравилось в ней: и застенчивая грация просыпавшейся женщины, и несложившаяся окончательно фигура с прорывавшимися детскими движениями, и полный внутреннего огня взгляд карих глаз, и душистая волна волос, и то свежее, полное чувство, которое он испытывал в ее присутствии.

В душе набоба являлась слабая надежда, что он встретит Лушу где-нибудь – в театре, на гулянье вечером или, наконец, у Раисы Павловны. Но время бежало, а Луша продолжала упорно выдерживать свой характер и не хотела показываться решительно нигде. Прейн и Раиса Павловна делали такой вид, что ничего не понимают и не видят. То, чего добивался Лаптев, случилось так неожиданно и просто, как он совсем не предполагал. Раз утром он возвращался по саду из купальни и на одном повороте лицом к лицу столкнулся с Лушей, которая, очевидно, бесцельно бродила по саду, как это иногда любила делать, когда в саду никого нельзя было встретить. Молодые люди остановились и посмотрели друг на друга одинаково смущенным и нерешительным взглядом. Луша была в простеньком ситцевом платье

и даже без шляпы; голова была подвязана пестрым бумажным платком, глубоко надвинутым на глаза.

– Здравствуйте! – нерешительно протягивая руку, проговорил набоб.

– Здравствуйте!

Девушка сделала движение, чтобы продолжать свою прогулку, но набоб загородил ей дорогу и как-то залпом проговорил:

– Послушайте, Гликерия Виталиевна, зачем вы прячетесь от меня?

– Я и не думала ни от кого прятаться, это вам показалось...

– Пусть будет так... Какая ж причина заставляла вас все время сидеть дома?

– Самая простая: не хотелось никуда выходить.

– Только?

Лаптев недоверчиво оглянулся, точно ожидая встретить, если не самого доктора налицо, то по крайней мере его тень.

– Да, только! – спокойно подтвердила Луша. – Кажется, достаточно; всякий человек имеет право на такое простое желание, как сидеть дома...

– Вы не искренни со мной...

Девушка улыбнулась. Они молча пошли по аллее, обратно к пруду. Набоб испытывал какое-то странное чувство смущения, хотя потихоньку и рассматривал свою даму. При ярком дневном свете она ничего не проиграла, а только казалась проще и свежее, как картина, только что вышедшая из мастерской художника.

– Что вам от меня нужно? – спросила Луша, когда они подошли уже к самому пруду.

– Ничего... мне просто хорошо в вашем присутствии – и только. В детстве бонна-итальянка часто рассказывала мне про одну маленькую фею, которая делала всех счастливыми одним своим присутствием, – вот вы именно такая волшебница, с той разницей, что вы не хотите делать людей счастливыми.

– Как красиво сказано! – смеялась Луша. – Только интересно знать, которым изданием выпущена ваша «маленькая фея»?

– Клянусь вам, Гликерия Витальевна, что это самое первое...

– Сегодня?

– С вами невозможно говорить серьезно, потому что вы непременно хотите видеть везде одну смешную сторону... Это несправедливо. А нынче даже воюющие стороны уважают взаимные права.

– Обыкновенная жизнь – самая жестокая война, Евгений Константиныч, потому что она не знает даже коротких перемирий, а побежденный не может рассчитывать на снисхождение великодушного победителя. Трудно требовать от такой войны уважения взаимных прав и, особенно, искренности.

– Что вы хотите сказать этим?

Луша быстрым взглядом окинула своего кавалера и проговорила с порывистым жестом:

– Вы давеча упрекнули меня в неискренности... Вы хотите знать, почему я все время никуда не показывалась, – извольте! Увеличивать своей особой сотни пресмыкающихся пред одним человеком, по моему мнению, совершенно лишнее. К чему вся эта комедия, когда можно остаться в стороне? До вашего приезда я, по свойственной всем людям слабости, завидовала тому, что дается богатством, но теперь я переменяла свой взгляд и вдвое счастливее в своем уголке.

– Следовательно, вы должны быть благодарны мне за этот урок?

– Нисколько!

Эта болтовня незаметно продолжалась в том же тоне, причем Луша оставалась одинаково сдержанной и остроумной, так что набоб еще раз должен был признать себя побежденным этой странной, капризной девчонкой.

– Надеюсь, что мы будем друзьями? – говорил Лаптев, когда девушка начала прощаться.

Луша с улыбающимся взглядом покачала своей красивой головкой.

– По крайней мере, вы не будете прятаться? – продолжал набоб, делая нетерпеливое движение. – Я раньше думал, что вы так поступали по чужой инструкции...

– Именно?

– А Раиса Павловна?

– Я уважаю Раису Павловну, но это не мешает мне иметь свои собственные взгляды.

– В этом я убедился... Итак, мы еще увидимся?

– Не знаю...

Эта нечаянная встреча подлила масла в огонь, который вспыхнул в уставшей душе набоба. Девушка начинала не в шутку его интересоваться, потому что совсем не походила на других женщин. Именно вот это новое и неизвестное и манило его к себе с неотразимой силой. Из Луши могла выработаться настоящая женщина – это верно: стоило только отшлифовать этот дорогой камень и вставить в надлежащую оправу.

Непосредственным следствием этой встречи было то, что в комнате Луши каждый день появлялся новый роскошный букет живых цветов, а затем та же невидимая рука приносила богатые бонбоньерки с конфетами. Только раз, когда Луша открыла одну из таких бонбоньерок и среди конфет нашла обсахаренную сапфировую брошь, она немедленно послала за Чарльзом и возвратила ему и бонбоньерку и запретный плод с приличной нотацией. Оставшись одна, она даже расплакалась и вышвырнула за окно последний букет. Эта арамейская любезность возмутила ее до глубины души, хотя она никому ни слова о ней не сказала. Разве она какая-нибудь «галка», чтобы делать ей такие глупые подарки? Если она позволяла дарить себе цветы и конфеты, то потому только, что они ничего не стоили. Не успело еще улечься впечатление этого неудачного эпизода, как в одно прекрасное утро во флигелек Прозорова набоб сделал визит, конечно в сопровождении Прейна. Виталий Кузьмич был дома и принял гостей с распростертыми объятиями, но Луша отнеслась к ним довольно сухо. Разговор вертелся на ожидаемых удовольствиях. Предполагалась поездка в горы и несколько охотничьих экскурсий.

– Вы любите ездить верхом? – спрашивал набоб хозяйку.

– Да, очень люблю.

Прейн дурачился, как школьник, копируя генерала и Майзеля; Прозоров иронизировал относительно кукарских дам, заставляя Лаптева громко смеяться.

– Что же вы нас не пригласите выпить чаю? – напрашивался Прейн с своей веселой бессовестностью.

Девушка на мгновение смутилась, вспомнив свою разрозненную посуду, но потом успокоилась. Был подан самовар, и Евгений Константинович нашел, что никогда не пил такого вкусного чаю. Он вообще старался держать себя с непринужденностью настоящего

денди, но пересаливал и смущался. Луша держала себя просто и сдержанно, как всегда, оставаясь загадкой для этих бонвиванов, которые привыкли обращаться с женщинами, как с лошадьми.

– А где наш общий друг? – спрашивал Прейн, выставя свои гнилые зубы.

– Какой друг? – удивилась Луша.

– А доктор? Это милый молодой человек, которого я полюбил от души...

– И я тоже, – прибавил Лаптев, делая серьезное лицо. – Мне остается только пожалеть, что в медицине я совсем профан.

Прозоров не упустил, конечно, случая и прошелся довольно ядовито насчет хорошего парня Яшки. Эта сцена не понравилась Луше, и она замолчала. Поболтав с полчаса, гости ушли; в Прозоровском флигельке наступила тяжелая и фальшивая пауза. Прозоров чувствовал, что кругом него творится что-то не так, как следует, но у него не хватило силы воли покончить разом эту глупую комедию, потому что ему нравилась занятая им роль *bel-esprit*^[21] и те победы, которые он одержал над Ниной Леонтьевной. Конечно, Лаптев ухаживает за Лушей и ухаживает слишком ясно, по ведь это избалованный дурак, а Луша умна; притом вся эта орда скоро уедет с заводов. На этих соображениях Прозоров совершенно успокаивался, предоставив Лушу самой себе.

В тот же день к Прозоровскому флигелю была приведена великолепная английская верховая лошадь под дамским седлом, но она подверглась той же участи, как и сапфировая брошь.

Знала ли Раиса Павловна, что проделывал набоб и отчасти Прейн? Луша бывала у ней по-прежнему и была уверена, что Раиса Павловна все знает, и поэтому не считала нужным распространяться на эту тему. По удвоенной нежности Раисы Павловны она чувствовала на себе то, что переживала эта странная женщина, и начала ее ненавидеть скрытой и злой ненавистью.

– А ты, право, напрасно *это*... – нерешительно проговорила Раиса Павловна после эпизода с лошадью.

– Что «это»?

Раиса Павловна только посмотрела на свою любимицу улыбающимся, торжествующим взглядом, и та поняла ее без слов.

– Впрочем, тебе лучше знать, – продолжала Раиса Павловна, как о вещи известной.

«Да, я знаю, что ты меня хочешь повыгоднее продать, – думала, в свою очередь, Луша, – только еще пока не знаешь, кому: Евгению Константинычу или Прейну...»

Раиса Павловна поняла мысли Луши по ее сдвинувшимся бровям и горько улыбнулась: Луша была несправедлива к ней. В последнее время между этими женщинами установилось то взаимное понимание между строк, которое может существовать только между женщинами: они могли читать друг у друга в душе по взгляду, по выражению лица, по малейшему жесту. Иногда это было тяжело, но в большинстве случаев избавляло от напрасных объяснений. В открытых нотах Раисы Павловны проходила темой одна фраза: «я тебя люблю, люблю, люблю...», а в партии Луши холодно отзывалось: «а я тебя ненавижу, ненавижу, ненавижу...» Когда стороны начинали увлекаться, ноты разыгрываемой мелодии сливались, и их смысл терялся; такие недоразумения распутывались в более спокойные минуты.

– Знаешь, Луша, что сказал Прейн третьего дня? – задумчиво говорила Раиса Павловна после длинной паузы. – Он намекнул, что Евгений Константиныч дал бы тебе солидную стипендию, если бы ты вздумала получить высшее образование где-нибудь в столице... Конечно, отец поехал бы с тобой, и даже доктору Прейн обещал свои рекомендации.

Луша только улыбнулась, и в ее глазах засветилась мысль: «Раиса Павловна, как вам не совестно повторять такие глупости, которым вы и сами не верите? Ведь это та же засахаренная брошь...» Раиса Павловна в ответ на это звонко поцеловала Лушу, что в переводе значило «Умница ты моя!»

На заводе шли деятельные приготовления к предстоявшей поездке набоба по всему округу, о чем было уже известно всем, а в особенности тем, кому о сем ведать надлежало. Управители оставили Кукарский завод и разъехались по своим гнездам: Сарматов – в Мельковский завод, Буйко – в Куржак, Дымцевич – в Заозерный и т. д. Главная остановка по маршруту предполагалась в Баламутском заводе, где царствовал Вершинин, а затем в Заозерном и Куржаке, где предполагалась охота.

В этот короткий промежуток времени Родион Антоныч успел уже два раза объехать все заводы; он лез из кожи, чтобы все и везде было форменно, в лучшем виде, главным образом, конечно, с внешней стороны. Главной целью этих поездок было кое-что подготовить генералу Блинову, который будет собирать сведения от заводских контор по разным статьям. Необходимо было предупредить генерала и напустить ему такого тумана, что сам черт ногу переломит. По пути Родион Антоныч собрал сведения относительно замыслов Вершинина в Майзеля: первый готовил ряд обедов и завтраков, а второй – охоту. Мимоходом Родион Антоныч завернул на прииски, где и делались приготовления к оленьей охоте, и даже забрался на Рассыпной Камень, самую высокую гору в округе Кукарских заводов, на вершине которой устраивалась главная стоянка. Рубили две избы и чистили дорогу на самую вершину горы.

– А... предтеча! – смеялся Вершинин, когда встретил Родиона Антоныча на своем заводе. – Как здоровье Раисы Павловны?

– Ничего, слава богу...

– А я слышал, что у ней сильный насморк.

Эти шуточки не особенно беспокоили Родиона Антоныча, потому что у Вершинина уж так была устроена голова; их смысл он понял только вечером, когда к нему прискакал особый нарочный с письмом от Раисы Павловны, которая извещала своего Ришелье об аудиенции заговорщиков у набоба. «Меня нисколько не удивляет их поведение, – писала она под первым впечатлением, – но представьте себе, что во главе депутации явился... кто бы вы думали? – Яшка Кормилицын!

Скажите мне, ради бога, что этому младенцу нужно? Пишу вам все, что узнала от Прейна, который присутствовал на аудиенции; не верьте тем слухам, которые распускают наши враги. Меня все оставили... Если вы находите наше дело проигранным, я не удерживаю вас; может быть, и вы хотите примкнуть к партии Тетюева, из принципа, что всякому своя рубашка к телу ближе. Но я повторяю вам одно, что именно теперь, когда всё и все против меня, я глубоко убеждена, что вся эта кутерьма окончится в нашу пользу». Дальше следовало подробное описание аудиенции заговорщиков и ряд деловых соображений, советов и наставлений, пересыпанных крупной солью.

Родион Антоныч слишком далеко зашел, чтобы теперь думать о своей рубашке и, махнув рукой, решил лечь костью за Раису Павловну: он еще веровал в нее, потому что за нее был всемогущий Прейн.

Положение управителей на отведенных им заводах больше всего походило на положение удельных князьков древней Руси: здесь кипела вечная война из-за выгодных столов, составлялись остроумные комбинации и делались целые походы, вроде того, который теперь устроен был против Раисы Павловны. В мирное время управитель-князьки были заняты мелкими междоусобиями, личными счетами и копеечными интригами; подкопаться под врага, подставить ножку при удобном случае своему приятелю, запустить шпильку, отплатить за старую обиду, – из этих мелочей составлялся почти безвыходный круг, в котором особенно деятельное участие принимали женщины. Главным воротилой в этом исключительном миреке был Вершинин; он задавал тон и твердой рукой вел свою линию; другие управители плясали уже по его дудке, а в случае проявления самостоятельности подвергались соответствующей каре. На парадных завтраках Раисы Павловны, в обществе, в специально заводских делах – нигде не было спасения, и недругу Вершинина ничего не оставалось, как только искать спасения в бегстве. Заслужить нерасположение Вершинина равнялось чуть не смертному приговору. Бывали, впрочем, моменты, когда против него составлялась партия из мелких управителей. Было даже раза два так, что Вершинин сам висел на волоске, но всю эту путаницу он всегда умел распутать с дьявольской хитростью и всегда выходил сух из воды. Настоящий состав управителей мирился с этим генеральством Вершинина, за исключением Майзеля; Сарматов,

Дымцевич, Буйко и другие были слишком мелки, чтобы открыто тягаться с Вершининым, и предпочитали скрывать свои настоящие чувства. Приезд Лаптева и борьба с Раисой Павловной слили воедино всех и на время заставили забыть личные дразги, счета и неприятности. Расчет был простой: если на место Горемыкина назначат Вершинина или Майзеля, тогда произойдет соответствующее повышение всех остальных; если будет Тетюев, тогда увеличат жалованье или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, никто не желал проигрывать, а рассчитывал на верный выигрыш. Несомненный успех первой аудиенции служил ручательством за успех всего дела; теперь оставалось только устроить счастливую поездку набоба по заводам – и дело в шляпе. В последнем случае задача несколько двоилась: нужно было показать плоды и успехи своих трудов и в то же время недостатки и упущения горемыкинской администрации. Это был очень скользкий путь, тем более что мелкие служащие были за Горемыкина. Словом, работы всем было по горло: все чистилось прибиралось и принимало праздничный вид. Управители бесились, ругались, топали ногами и были глубоко убеждены, что в этом именно и состоит настоящее заводское дело.

Маршрут, составленный Прейном, имел в длину около трехсот верст, захватывая все заводы. Из Кукарского завода сначала должны были проехать в Исток и Мельковский – в последнем рюмка водки и легкий завтрак; затем следовал Баламутский завод – обед и, может быть, ужин, смотря по обстоятельствам. Из Баламутского завода – в Заозерный, а из последнего, по озеру, на Рассыпной Камень – ночевка и кормежка. Последними в маршруте стояли заводы Лотовой и Куржак. Раиса Павловна просмотрела этот маршрут вместе с Прейном и вполне одобрила его, за исключением ужина в Баламутском заводе.

– Везите его прямо на охоту, – советовала Раиса Павловна.

– Да ведь другой дороги нет к Рассыпному Камню? Наконец нельзя же миновать наш главный завод... Если бы не генерал, тогда, конечно, мы прокатали бы Евгения Константныча проселком – и делу конец. Но генерал, вот где загвоздка. Да ничего не выйдет из этого, если и заночуем у Вершинина.

Для поездки по заводам был снаряжен громадный поезд из тридцати троек. Охота и кухня были отправлены вперед другим

обозом. Было известно, что поедет Нина Леонтьевна, значит – Раиса Павловна останется дома. Майзель с Перекрестовым уехали вперед, чтобы приготовить приличную встречу набобу в горах; впрочем, представитель русской прессы изменил Майзелю на третьей же станции: смущенный кулинарными приготовлениями Вершинина, он остался в Баламутском заводе. Участие в поездке Нины Леонтьевны решило капитальный вопрос о том, что в предполагаемой охоте могут принять участие и дамы; конечно, такой оборот взволновал прекрасную половину и прежде всего поднял вопрос о костюмах. Последнее особенно беспокоило дам. Охота не бал, приходилось самим «сочинять костюмы», следовательно, единственным основанием являлся только свой вкус; соперничество и желание блеснуть окончательно усложнили все дело. Модные журналы как-то упустили из виду возможность такого случая; самые смелые дамы, как m-me Сарматова, некоторое время колебались даже пред мужским костюмом, но когда узнали, что в таком костюме едет на охоту Прозорова, то восстали против нее с презрением. Луша действительно готовилась ехать в горы и теперь, под руководством Прейна, училась стрелять в цель из монтекристо. Эти уроки шли, кажется, успешно. Веселый учитель, с французской складкой в характере, нравился Луше, потому что никогда не надоедал и вовремя умел приходить и уходить. Между ними установились те дружеские отношения, которые незаметно сближают людей; Прейн вообще понимал хорошо женщин и без слов умел читать у них в душе, а Луше эта тонкость понимания особенно и нравилась в нем. Прибавьте к этому рыцарскую вежливость и умение всегда принести жертву женскому тщеславию. Шуточки и остроты Прейна смешили Лушу до слез, и она шутя называла его дедушкой. В ответ на это звание Прейн целовал у Луши руки и беззаботно говорил:

– Учитесь у дедушки великой философии жизни, которая заключается всего в одном слове: никогда не скучать.

– Хорошо вам так рассуждать, – смеялась Луша, – а зашить бы вас в нашу девичью кожу, тогда вы запели бы другую песню с своей великой философией... Мужчинам все возможно, все позволительно и все доступно, а женщина может только смотреть, как другие живут.

– Совершенно справедливо, хотя и не без исключений. Умная и красивая женщина всегда сумеет поставить себя выше общественных

условий... Но для этого она должна расстаться с некоторыми предрассудками...

– Вы смотрите на женщин хуже, чем на своих лошадей...

– О нет, вы ошибаетесь... Умная женщина может сделать из нас все – это страшная сила.

Лаптев по-прежнему ухаживал за Лушей, посылал букеты и говорил свои армейские комплименты; но этот избалованный набоб не умел попасть в тон, и Луша всегда скучала в его обществе. Эта неподвижная, апатичная натура, с чисто животными инстинктами, отталкивала ее, особенно по сравнению с Прейном, у которого ум вечно играл и искрился. Постепенно, шаг за шагом, этот великий мудрец незаметно успел овладеть Лушей, так что она во всем слушалась одного его слова, тем более что Прейн умел сделать эту маленькую диктатуру совершенно незаметной и всегда знал ту границу, дальше которой не следовало переходить. Чувство меры в нем было особенно развито, и он умел подладиться к невозможным обстоятельствам, от которых даже у самого терпеливого осла давно лопнуло бы терпение. Так Прейн добился того, что Луша перестала дичиться и даже начала брать под его руководством уроки стрельбы и верховой езды. Ездил Прейн, как жокей, и быстро посвятил Лушу во все тайны этого великого искусства. Это сближение, однако ж, беспокоило Раису Павловну, которая, собственно, и сама не могла дать отчета в своих чувствах: с одной стороны, она готовила Лушу не для Прейна, а с другой – в ней отзывалось старое чувство ревности, в чем она сама не хотела сознаться себе. Луша, с эгоизмом всех довольных людей, делала вид, что ничего не замечает.

– Тебе необходимо ехать в горы, – советовала Раиса Павловна, когда Луша раздумывала принять эту поездку. – Во-первых, повеселишься, во-вторых... ты поедешь вместе с отцом, следовательно, вполне будешь защищена от всяких глупых разговоров; а на наших заводских баб но обращай никакого внимания. Нам с ними не детей крестить.

– Мне все равно, Раиса Павловна, что будут говорить про меня.

– Есть одно обстоятельство... собственно пустяки, но я дала бы тебе, Луша, маленький совет.

– Именно?

– Будь осторожнее с Прейном...

Последние слова Раиса Павловна произнесла с опущенными глазами и легкой краской на лице: она боялась выдать себя, стыдилась, что в этом ребенке видит свою соперницу. Она любила Лушу, и ей тяжело было бы перенести слишком тесное сближение ее с Прейном, с которым, собственно, все счеты были давно кончены... но, увы! – любовь в сердце женщины никогда не умирает, особенно старая любовь.

Давно ожидаемая поездка наконец совершилась в светлый июньский день, когда четырехместная коляска Лаптева стрелой полетела по дороге в Истокский завод; в коляске с набобом сидел один Прейн, а в ногах у них лежала ласково взвизгивавшая Brunehaut. Генерал ехал в следующем экипаже, вместе с Ниной Леонтьевной; за ним летела тройка, имевшая счастье везти самого m-г Чарльза, который теперь ехал в сопровождении собственного лакея. За m-г Чарльзом ехали собственные секретари Евгения Константиныча, потом Братковский с Летучим, а прочие экипажи были заняты остальной свитой. Тройки летели с бешеной быстротой восемнадцати верст в час; на половине станции были выставлены заводные лошади; но это не помогало, и непривычные к такой гоньбе тройки задыхались от жара. На первом же полустанке оказалось четыре загнанных тройки; покрытые пеной, лошади тяжело вздрагивали, точно дышали всем телом, опускали головы и падали в конвульсиях.

Набоб лениво смотрел по сторонам, где мелькал тощий лес, вырубленный на заводские надобности; попадались болота, небольшие горки, прятанная в тальнике и лопушнике речка. Подорожная трава была теперь покрыта густым слоем пыли, которую оставляли за собой транспорты железа и чугуна. Дождя не было целую неделю, и зелень сильно «притомилась», как говорят мужики. Трава просила дождика. Даже березы и рябины стояли сонные в окружавшей их знойной истоме. Из хвойного леса несло тяжелым смолистым запахом, кружившим голову. Небо было чисто, и только на западе, над кривой линией гор, ярко блистала гряда пушистых облаков, точно свод небесный был обложен волнами белоснежного дорогого меха.

– Дело кончится тем, что я схвачу чахотку, – капризно говорил набоб, чихая от пыли.

– Что же, за отечество и умереть приятно, сказал какой-то мудрец...

Покуривая сигару, Преин все время думал о той тройке, которая специально была заказана для Прозорова; он уступил свою дорожную коляску, в которой должны были приехать Прозоров с дочерью и доктор.

Дорога вилась пыльной лентой по холмистой местности, огибая гряды лесистых горок, которые тянулись к востоку, где неправильной глыбой синел Рассыпной Камень. Через два часа езды выплянул своими крайними домиками Истокский завод; он залег на дне глубокой горной долины, где была запружена бойкая горная речонка. Несколько широких улиц вытянулись по берегам заводского пруда; на площади, заваленной дровами, белела церковь. Фабрика слабо дымилась у самой плотины. На небольших заводах летом работы приостанавливаются, потому что все население страдает, заготавливая сено; только такие громадные заводы, как Кукарский и Баламутский, работали насквозь целый год, потому что располагали десятками тысяч рабочих рук.

В Истоке только переменяли лошадей, и набоб даже не вышел из экипажа, хотя был встречен колокольным звоном и хлебом-солью. Густая толпа народа не успела мигнуть, как барин уже был на дороге в Мельковский завод, где готовилась ему торжественная встреча. Характер местности быстро изменялся, и дорога начала забирать в гору; широкие лесные просеки, глубокие лога с перекинутым через речку мостиком, покосы с сочной густой травой, пестревшей бледными цветочками, – все кругом было хорошо своеобразной красотой скромного северного пейзажа. Мельковский завод был похож на Исток, как две капли воды, только чуть-чуть побольше, да церковь была выкрашена желтой охрой. Тот же колокольный звон, те же толпы народа и та же хлеб-соль. В квартире Сарматова был сервирован легкий завтрак, на который ехавшая за набобом челядь накинулась с той жадностью, с какой бросается публика на железных дорогах к буфету.

– Ну, как вы себя чувствуете, Сарматов? – говорил Лаптев, торопливо прожевывая кусок холодной телятины.

– А ничего... Живем, пока мышцы головы не отъели.

– Как?

– Пока мышцы головы не отъели.

– Ага! Вы, конечно, с нами поедете на охоту? Жаль, что на Урале нет кабанов.

Когда генерал предложил осмотреть фабрику, набоб отрицательно покачал головой и заметил, что фабрику можно будет осмотреть на обратном пути.

В Баламутский завод приехали к самому обеду. До него от Кукарского завода считалось девяносто верст; дорога делала большой выгиб, направляясь к северу, где синел Рассыпной Камень. Встреча барина в Баламутском заводе очень походила на такую же встречу в Кукарском, только в меньших размерах. Пятитысячная толпа запрудила все улицы и провожала коляску барина несмолкаемым «ура». Рассыпав свои бревенчатые избы по каменистым уступам глубокой горной котловины, Баламутский завод был очень красив, особенно издали. Громадный узкий пруд был сдавлен в живописных крутых берегах; под плотиной курилось до десятка больших труб и две доменных печи; на берегу пруда тянулась заповедная кедровая роща, примыкавшая к большому господскому дому, походившему на дворец. Этот дом выстроил еще старик Тетюев, любивший Баламутский завод больше всех других. Две богатые церкви дополняли картину завода.

В жизни Евгения Константиновича растительные процессы занимали первое место, поэтому попятно то нетерпение, с которым вся свита ожидала обеда в Баламутском заводе. Чем-то угостит Вершинин набоба? Конечно, у Вершинина был отличный повар, которого он нарочно посылал учиться в петербургский английский клуб, но все-таки... Первые два блюда прошли почти незаметно, но когда подали уху из живых харюзов^[22], набоб просветлел; после двух тарелок этой ухи всем было ясно, что Вершинин одержал победу, и Перекрестов поспешил сказать спич в честь знаменитой рыбы северных рек. Этими двумя тарелками все разъяснилось: набоб был доволен, следовательно, и Вершинин мог быть спокоен за свое будущее. В случае какого-нибудь затруднения стоило только сказать: «Евгений Константиныч, это тот самый Вершинин, у которого вы ели уху из харюзов...» Набоб вообще не отличался особенно твердой памятью и скоро забывал даже самые остроумные анекдоты, но относительно еды обладал счастливой способностью никогда не забывать раз понравившегося кушанья. Это была, если позволено так выразиться, гастрономическая память, потому что сосредоточивалась главным образом не в голове, а в желудке.

– А как харюз называется по-вашему, но-ученому? – спрашивал Евгений Константиныч, вечером генерала.

– *Salmo thymalis*...

– Ага! Вершинин очень умный человек! как вы находите, генерал?

– Да... кажется.

Эта *salmo thymalis* испортила целую ночь старику Майзелю, который от души проклинал все горные речки, где водилась эта проклятая рыбешка. И нужно же было Вершинину подсунуть эту несчастную уху, когда ему, Майзелю, завтра придется угощать набоба охотничьим завтраком. Русский немец имел несчастье считать себя великим гастрономом и вынашивал целых две недели великолепный гастрономический план, от которого могла зависеть участь всей поездки набоба на Урал, и вдруг сунуло этого Вершинина с его ухой...

Извольте-ка теперь удивить набоба? Майзель тревожно проворочался целую ночь и чем свет уехал из Баламутского завода к Рассыпному Камню, чтобы там встретить набоба во главе привезенной из Петербурга охоты и целой роты собственных лесобъездчиков.

– Вы сделали отличный ход, Демид Львович, – поздравлял Перекрестов утром Вершинина. – Ведь две тарелки сряду... Да!.. Вот я два раза вокруг света объехал, ел, можно сказать, решительно все на свете, даже телячьи глаза в Пекине, а что осталось от всего? Решительно ничего... А вы своей ухой всех зарезали!

Прейн уехал из Баламутского завода вперед; он торопился в Заозерный завод, куда его вызывал через нарочного наш старый знакомец, Родион Антоныч. Заозерный завод в маршруте служил последней сухопутной станцией, дальше путь к Рассыпному Камню лежал по озеру – на заводском пароходе. Таким образом, Заозерный являлся сборным пунктом, где около набоба должно было сгруппироваться все общество. Посланная Сахаровым эстафета лаконически гласила: «Все здесь; ждем вас». На этого верного слугу было возложено довольно щекотливое поручение: конвоировать до Заозерного завода «галок» Раисы Павловны, потому что они среди остального дамского общества, без своей патронессы, являлись пятым колесом, несмотря на всесильное покровительство Прейна; другим не менее важным поручением было встретить и устроить Прозоровых, потому что ш-те Дымцевич, царившая в Заозерном на правах управительши, питала к Луше вместе с другими дамами органическое отвращение. Чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения между дамами, Прейн полетел сам на выручку.

Заозерный завод, раскидавший свои домики по берегу озера, был самым красивым в Кукарском округе. Ряды крепких изб облепили низкий берег в несколько рядов; крайние стояли совсем в лесу. Выдавшийся в середине озера крутой и лесистый мыс образовал широкий залив; в глубине озера зелеными пятнами выделялись три острова. Обступившие кругом лесистые горы образовали рельефную зеленую раму. Рассыпной Камень лежал массивной синевато-зеленой глыбой на противоположном берегу, как отдыхавший великан.

– Хорошо ли вам здесь? – спрашивал Прейн, пожимая руку Луше. – Как доехали? Благополучно? Ага... А вы, доктор?

Известие об ухе из харюзов опередило Прейна, и Родион Антоныч глядел с печальной задумчивостью, как наблудивший кот. Недаром Раиса Павловна так беспокоилась за Баламутский завод: оно все так и вышло, как по-писаному. Теперь через этих харюзов и Тетюев вылезет... Умудренный в изворотах, мелях и подводных камнях внутренней политики, Родион Антоныч, как никто другой, понимал всю важность совершившихся событий и немедленно послал эстафету Раисе Павловне с нарочным: «Вершинин угостил ухой из харюзов: Евгений Константиныч скушали две тарелки. Известите с сим же нарочным, что делать».

Луша была недовольна поездкой и капризничала; Прейну стоило большого труда успокоить ее.

– Очень мне интересно смотреть на этих надутых дам, – говорила она. – И к чему вы навезли сюда этих галок?

– Все будет хорошо, – тараторил Прейн, – чем больше дам, тем лучше. Кашу маслом не испортишь... Меня Раиса Павловна просила о «галках», не мог же я отказать ей!

В душе Прейн был очень доволен, что Луша начинала ревновать его к m-lle Эмме; старый грешник слишком хорошо знал все ходы и выходы женского сердца, чтобы ошибиться. Он не любил добычи, которая доставалась даром.

«Галки» тоже скучали и от нечего делать одолевали почтенного Родиона Антоныча самыми невозможными просьбами и птичьими капризами; этот мученик за идею напрасно делал кислые гримасы и вздыхал, как загнанная лошадь, – ничто не помогало. Храбрые девицы позволяли себе такие шуточки и остроты даже относительно самой наружности своего телохранителя, что Родион Антоныч принужден был отплеиваться с выражением благочестивого ужаса на лице.

– Ваша прямая обязанность, Родион Антоныч, сейчас же съездить за Братковским, – серьезно говорила m-lle Эмма, – а то посмотрите, на что похожа сделалась Анинька? Если ваша жена узнает...

– О господи, за что ты меня наказываешь? – стонал мученик-доброволец.

– Нет, в самом деле, я очень люблю всех домашних секретарей, – смеялась беззаботная Аннинька, – и дорогой чуть не поцеловала вас, Родион Антоныч, потому что вы ведь тоже секретарь...

– Федот, да не тот, – прибавила m-lle Эмма, хлопая Родиона Антоныча по плечу своей мягкой рукой.

С появлением Прейна шуткам над Родионом Антонычем не было конца, пока этот искуc не закончился появлением в Заозерном загонщиков, возвестивших о благополучном отбытии набоба из Баламутского завода.

Небольшой плоскодонный пароход, таскавший на буксире в обыкновенное время барки с дровами, был вычищен и перекрашен заново, а на носу и в корме были устроены даже каюты из полотняных драпировок. Обитые красным сукном скамьи и ковры дополняли картину. В носовой части были помещены музыканты, а в кормовой остальная публика. До Рассыпного Камня по озеру считалось всего верст девятнадцать, но пароход нагружался с раннего утра всевозможной «яствой и питвой», точно он готовился в кругосветную экспедицию.

Набоб из экипажа прямо перешел на пароход, а за ним хлынула толпа дам; все старались занять место получше, то есть поближе к набобу. Собравшиеся прежде всего, конечно, сделали самый строгий осмотр друг другу, как слетевшиеся пчелы. Присутствие «галок» и Луши заставило их целомудренно сбиться в отдельную кучку, а маменьки даже прикрывали своих дочерей носовыми платками, точно в самом воздухе носилась какая-то зараза. Нина Леонтьевна презрительно рассматривала «галок» в лорнет, не переставая улыбаться двусмысленной улыбкой; остальные дамы поддерживали ее взглядами и принужденным молчанием. От взглядов и улыбок Нина Леонтьевна, по всей вероятности, перешла бы к более активным проявлениям своего возмущенного чувства, но ее останавливало присутствие Прозорова, который все время наблюдал за ней улыбающимися глазами. Костюмы дам носили меланхолический характер серых тонов; только одна m-me Сарматова явилась в платье «цвета свежепросоленного огурца», как говорил Прозоров, что, по ее мнению, имело какое-то соотношение с предполагаемой охотой. Набоб лениво окинул эту толпу дам и едва заметно улыбнулся, заметив около Прозорова съезжившуюся Лушу, которая сегодня казалась совсем маленькой девочкой, точно вся она сжалась и ушла в себя. Она была одета в простенькое камлотовое платье с пелериной;

дамы подозрительно осматривали этот скромный костюм, стараясь под ним отыскать мужское платье, о котором они слышали.

Пароход отвалил. Тихими аккордами полился какой-то торжественный старинный марш. На берегу живой стеной стоял провожавший барина народ: кто-то крикнул вдогонку «ура», но оно замерло в шуме падавшей с пароходных колес воды. Неуклюжее судно точно задыхалось и с каким-то хрипеньем разгребало воду. Вода в озеро чуть-чуть рябила; небо было чисто. В воздухе чувствовался наливавшийся летний зной... Луша еще в первый раз едет на пароходе и поддается убаюкивающему чувству легкой качки; ей кажется, что она никогда больше не вернется назад, в свой гнилой угол, и вечно будет плыть вперед под колыхающиеся звуки музыки. Вперед, вперед! Новое, такое хорошее и доброе чувство подхватывает ее, и она забывает о той ненависти, которая сосредоточивается на ней. Ведь здесь все ей враги, за исключением, может быть, Прейна... Она желала бы теперь остаться совсем одна. Пусть шумит вода, пусть плывут мимо лесистые, затянутые синеватой пленкой берега, пусть с неба льются волны теплого света. Почему-то Луша думает о смерти. В самом деле, почему? Хорошо умереть молодой и красивой, в цвете сил, умереть, как засыпает ребенок на руках матери. Что бы тогда сказали о ней все эти дамы и мужчины? Луша ненавидит их всех одинаково, ненавидит той ненавистью, которая, как полированная поверхность блестящего металла, отражает падающий на нее луч. Вон Евгений Константиныч разговаривает о чем-то с Ниной Леонтьевной, вон Братковский улыбается через плечо счастливой Анниньке, вон два зорких глаза наблюдают ее – это глаза старого Прейна, который любит ее и которого она тоже начинает любить... нет, не любить, а ей весело с ним, он такой славный!

– Раз со мной какой случай был, – рассказывал Сарматов, обращаясь к кружку мужчин. – Mesdames!^[23] вы уж извините меня, если я немного...

– Ах, Сарматов, вы вечно приметесь рассказывать что-нибудь такое... – жеманно протестуют дамы, отсаживаясь подальше от рассказчика.

– Раз наш полк стоял в Саратовской губернии, – рассказывал Сарматов, складывая ногу на ногу, – дело было летнее, скучища смертная, хоть петлю на шею... Хорошо у меня ружьишко: дай,

думаю, хоть за утками схожу. Выбрал денек поведреннее и ранним утром махнул к первому озеру. Походил-походил около воды, убил пару уток, а достать из воды не умею... Как быть? Отыскал шалашик, где рыбаки жили, и нанял лодочку с двумя гребцами. Поехали. Ну-с, убил я этак штук пятнадцать – не помню хорошенько, захотелось отдохнуть. Привалили к берегу, развели огонек, пару уток в золу – все по порядку... Устал я, а тут как выпил и закусил, сон меня так и клонит. Мои гребцы видят, что я спать располагаюсь, и просят меня: «Ваше высокородие, позволь нам насчет уток, пока почивать будешь». Думаю, отчего не позволить – ступайте на все четыре стороны. «Мы, говорят, ваше высокородие, тут неподалече в камышах постреляем...» Хорошо. Ружье с ними, обыкновенно, мужицкое: ложа расщеплена, замок привязан веревкой, все в этом роде. Остался я около огонька и смотрю, что будет. Вот один и говорит: «Ты, Бряков, ступай на ту сторону в камыши и загоняй уток, а я буду ждать на этом берегу в камышах. Как я тебе крикну: „мырйай!“ – ты в воду, а стрелять буду я...» Мудрено что-то, думаю. Заинтересовало меня, как это Бряков мырять будет. Хорошо-с. Вот охотник с ружьем засел в кусты и ждет, а Бряков с другой стороны палочкой гонит целый выводок – уток там видимо-невидимо. Прямо на охотника так и гонит, тот сидит в камышах и молчит. Бряков вышел из камышей и по колени в воде бредет. Осталось всего этак шагов тридцать, слышу: «Мырйай!» Мой Бряков в воду, вниз головой... Только не рассчитал, бедняга, что место мелкое, да и ружье у приятеля с запалом: пшш... Выстрел... Бряков: ай, ай... Выскочил из воды, как ошпаренный, и по берегу напластывает ко мне, а сам ревет благим матом и обеими руками держится... как бы это повежливее выразиться?..

– Это то самое место, – объяснил Прозоров, – в которое, по словам Гейне, маршал Даву ударил ногой одного немца, чем и сделал его знаменитостью на всю остальную жизнь...

Мужская компания громко хохочет. За этим анекдотом посыпался ряд других. Тема оказалась бесконечной. А впереди уже выше и выше встает Рассыпной Камень, можно рассмотреть утесистую вершину-шихан и отдельные россыпи из камней, которые тянутся по бокам правильными полосами. На берегу устроена временная пристань, и ждут верховые лошади. Несколько экипажей для дам стоят в тени мелкого березняка, где курится огонек. Майзель издали машет серой

охотничьей шляпой. От пристани в гору тянется свежая просека, которая нарочно устроена для этого случая.

Мужская компания берет верховых лошадей, а дамы садятся в экипажи. Исключение представляет m-me Сарматова в своем зелено-желтом платье и Луша; для них приготовлены лошади под дамским седлом. Прейн помогает им сесть в седло; Лаптев издали, разговаривая с Майзелем, следит за Лушей, которая, туго натягивая поводья, заставляет свою лошадь танцевать. От волнения все лицо у ней залито ярким румянцем, а глаза блестят лихорадочным влажным взглядом. Вот шагом потянулись в гору экипажи с дамами, тяжело переваливаясь с кочки на кочку и оставляя на траве измятый светло-зеленый след; под ногами лошадей хлюпает и шипит вода. Место низкое, и кое-где лошади проваливаются.

– Посмотрите, как везут кислую капусту! – вполголоса шепчет Прейн Луше, указывая головой на экипажи с дамами.

– Я не знал, что вы такая наездница, – раздается за спиной Луши голос Лаптева.

Девушка краснеет от этой похвалы и мешает поводья. Длинная кавалькада вытягивается в гору. Озеро остается далеко внизу и точно отступает от берега. С каждым шагом вперед горизонт раздается шире и шире; из-за узорчатой прорези елового леса выступают гряды синих гор, которые тянутся к северу тяжелыми валами, точно складки обросшей зеленой щетиной кожи какого-то чудовища. Небо уходит вверх бездонным куполом; где-то далеко-далеко сверкает затерявшаяся в плубоком логу горная речонка. А там кучкой поломанных детских игрушек, рассыпанных без всякого плана и порядка, выделяется какая-то лесная деревенька.

Вершина Рассыпного Камня представляла собой слегка округленную плоскость тремя скалистыми гребнями. Самый высокий из них выходил к озеру; под ним гора крутым выгибом спускалась вниз, к воде. Около этого шихана и была выбрана охотничья стоянка, представлявшая самый живописный уголок по своей дикой красоте. Под скалами рос частый ельник. На маленькой площадке были поставлены две широкие избы. С площадки, кроме лесу и скал, ничего нельзя было рассмотреть; но стоило подняться на шихан, всего каких-нибудь десять сажен, и пред глазами открывалась широкая горная панорама, верст с сотню в поперечнике. Под ногами расстилалось

длинное озеро с зелеными островами и Заозерным заводом в дальнем конце; направо, верстах в двадцати, как шапка с свалившимся набок зеленым верхом, поднималась знаменитая гора Куржак, почти сплошь состоявшая из железной руды. У ее подножья пестрели заводские домики и едва дымилась фабрика. Баламутский завод был прикрыт широкой горой; на горизонте расплывшимся пятном чуть виднелся Кукарский завод. К северу расстилалась настоящая зеленая пустыня; на ней едва можно было разобрать несколько приисков, прятавшихся по глубоким логом. Лес покрывал все кругом сплошным зеленым ковром, который в некоторых местах точно был починен новыми квадратными заплатами более светлых тонов. Это были курени, где жгли уголь и заготавливали дрова. Картина леса вблизи совсем являлась не тем, чем казалась сверху: настоящего леса, годного для заводов, оставалось очень немного, потому что столетние лесные дебри сводились самым хищническим образом. Майзель умел хозяйничать так, что оставались нетронутыми только болота и поросли. Если бы вести правильно лесное хозяйство, то трехсот тысяч десятин, находившихся под лесом, достало бы заводам на веки вечные; но расчеты крупных подрядчиков не совпадали с требованиями лесного хозяйства: вырывались самые лучшие куски без всякого плана и порядка.

Общество, собравшееся на шихане, куда был подан завтрак и чай, менее всего интересовалось вопросами лесной техники и натянуто восхищалось далекой воздушной перспективой, игрой света и теней, зеленью леса, сливавшегося на горизонте с синевой голубого северного неба. Здесь дышалось так привольно и легко, в этой небогатой красками и линиями природе, полной своеобразной северной поэзии. Набоб мельком взглянул кругом и невольно сравнил этот родной вид с смелыми картинами заграничной природы. Его не расшевелили скромные красоты родины, которая теперь, летом, стояла перед ним, как бедная невеста, украсившая себя полинявшими цветочками и выцветшими лежалыми лентами. Не душе русского набоба понимать ту поэзию, которая веяла с этих придавленных низких гор, глухих хвойных лесов и бледного неба.

Рано утром, на другой день, назначена была охота на оленя. Зверь был высмотрен лесообъездчиками верстах в десяти от Рассыпного Камня, куда охотники должны были явиться верхами. Стоявшие жары загоняли оленей в лесную чащу, где они спасались от одолевавшего их овода. Обыкновенно охотник выслеживает зверя по сакме^[24] и ночлегам, а потом выжидает, когда он с наступлением жаркого часа вернется в облюбованное им прохладное местечко.

Мужчины переоделись в охотничьи костюмы: серые куртки с зелеными отворотами и длинные сапоги. Оставались с дамами только Прозоров, Платон Васильичи домашние секретари. За охотниками двинулась орава лесообъездчиков и егеря. Собаки оставались на месте ночлега. Майзель с молодецкой посадкой ехал рядом с набобом, объясняя правила охоты, привычки зверя и разные охотничьи секреты. Евгений Константиныч лениво позевывал, раскачиваясь в седле; он был немножко не в духе, потому что недоспал. Летнее утро было хорошо, как оно бывает хорошо только на Урале; волнистая даль была еще застлана туманом; на деревьях и на траве дрожали капли росы; прохваченный ночной свежестью, холодный воздух заставлял вздрагивать; кругом царило благодатное полудремотное состояние, которое овладевает перед пробуждением от сна. Только поднимавшееся солнце да голоса распевавших птиц нарушали картину общего торжественного покоя. Лесная узкая тропинка повела охотников под гору, минуя каменистые россыпи. Кое-где попадались кедры; сплошными массами лесные породы залегали только по низким местам, а на горе рос смешанный лес. Если смотреть на Рассыпной Камень снизу, так и кажется, что по откосам горы ели, пихты и сосны поднимаются отдельными ротами и батальонами, стараясь обогнать друг друга. От них сторонится лепечущая нарядная толпа берез, лип и осин, точно бесконечный девичий хоровод. Нехорошо только одно, что вся картина точно застыла, охваченная заколдованным сном в самый горячий момент. Каждым поколением делается только один шаг, которым растение навсегда привязывается к почве.

Набоб ехал молча, припоминая про себя подробности вчерашнего дня. Днем он не имел возможности поговорить с Лушей, за исключением двух-трех случайно брошенных фраз; девушка точно с намерением избегала его общества в под разными предложениями ловко увертывалась от него. Только вечером, когда под шиханом горели громадные костры и вся публика образовала около них живописные группы, он заметил на верху скалы неподвижную тонкую фигуру. Издали ее совсем трудно было отличить от беспорядочно нагроможденных камней, но инстинкт подсказал набобу, что этот неясный силуэт принадлежал не камню, а живому существу, которое тянуло его к себе с неудержимой силой. Удалившись незаметно от остальной компании, набоб осторожно начал взбираться на шихан с его неосвященной стороны, рискуя на каждом шагу сломать себе шею. Но эта опасность придавала ему силы, и он видел только этот профиль женской фигуры, теперь ясно вырезывавшийся для него на освещенном фоне костров. Конечно, это была она, Луша. Набоб чувствовал, как кровь приливала к его голове и стучала в висках тонкими молоточками, а в глазах все застилало кружившим голову туманом. Чтобы не испугать любительницу уединения, набобу нужно было подвигаться вперед крайне осторожно, чтобы не стукнул под ногой ни один камень, иначе это воздушное счастье улетит, как тень, как те летучие мыши, которые с быстротой молнии пропадают в ночной мгле. Переползая с камня на камень, набоб оборвал и исцарапал руки и больно ушиб левое колено, так что даже стиснул зубы от боли, но цель была близка, а время дорого. Он чувствовал, что не перенесет, если она сейчас встанет и начнет спускаться со скалы. Вот уже несколько шагов... Набоба охватывала мягкая ночная сырость; из расщелин скалы тянуло гнилым острым запахом лишайника и разноцветного горного мха; с противоположной стороны шихана обдавало едкой струей дыма, щекотавшей в носу и щипавшей глаза.

– Это вы, Прейн? – тихо спросила Луша, заметив выплывавшую из ночной мглы человеческую фигуру.

Этот вопрос успокоил набоба. Он боялся, что девушка ждала своего несчастного доктора.

– Нет, это я... – тихо ответил он сдержанным шепотом, чувствуя, как у него все пересохло во рту, а глаза палились кровью.

– Кто? – еще тише спросила Луша, инстинктивным движением собирая около ног свои юбки и напрасно вглядываясь в подползавшую фигуру.

– Я... Человек, которого вы не ждете, но который из-за удовольствия видеть вас десять раз мог сломать себе шею.

Луша не вскрикнула, не испугалась, но сделала движение подняться с места.

– Ради бога, не поднимайтесь! – умолял набоб. – Одно слово – и я уйду.

Набоб подполз так, что его нельзя было заметить со стороны огня, и, скорчившись, сел у ног Луши, как самый покорный раб. Это смирение тронуло сердце Луши, и она молча ожидала первого вопроса.

– Вы ждали Прейна?

– Нет.

– Почему вы подумали, что это он, а не кто-нибудь другой?

– Потому что... потому что считала его одного способным на такую дикую выходку. Ведь он ловок, как кошка.

– Зачем вы ушли сюда?

– Мне было скучно внизу, а здесь так хорошо. Я иногда люблю подурачиться, особенно ночью... Посмотрите, как хорошо кругом.

На горах лежала непроницаемая мгла, из которой смутно выплывали неясные силуэты самых высоких гор, да кое-где белел туман, точно все низменности были налиты белой, тихо шевелившейся массой, вроде мыльной пены. Набоб не находил в этой картине ничего красивого, если бы не это звездное глубокое небо, наклонившееся над землей с страстным шепотом. В лихорадочном блеске мириадами искрившихся звезд чувствовалось что-то неудовлетворенное, какая-то недосказанная тайна, которая одинаково тяготит несмываемым гнетом как над последним лишаем, жадно втягивающим в себя где-нибудь в расселине голого камня ночную сырость, так и над венцом творения, который вынашивает в своей груди неизмеримо больший мир, чем вся эта переливающаяся в фосфорическом мерцании бездна.

– Луша... Вы позволите мне так называть вас?

Молчание.

– Луша! Зачем вы так упорно продолжаете избегать меня? Что я вам сделал? Что мне нужно сделать, чтобы заслужить ваше... ваше доверие?

– Очень немного: уйти отсюда с такою же ловкостью, с какой вы явились. Что вам нужно от меня? Что общего может быть между нами?

Благодаря исключительным условиям этой сцены разговор происходил отрывистыми фразами; сторонам представлялось самим перекидывать между ними те умственные мостики, которые делали бы связь между отдельными мыслями вполне ясной.

– Вы – странная девушка.

– Это очень скучная тема, и чтобы не повторять одно и то же десять раз, скажу вам, что я такая же обыкновенная девушка, как и тысячи других, которым вы повторяли сейчас сказанную вами фразу.

– Но это не мешает мне чувствовать то, что я говорю, чувствовать с того момента, когда я в первый раз увидел вас. Я боюсь назвать то чувство, которое...

– Я понимаю это чувство: имя ему – жажда разнообразия...

Луша тихо засмеялась, скрестив пальцы.

– А если я имею такие доказательства, которые должны убедить вас?

Пауза. Где-то шарахнулась ночная птица и пропала с мягким трепетом крыльев в ночной мгле. Набоб невольно вздрогнул; он только теперь почувствовал, что из его исцарапанных рук сочится кровь.

– Вот вам доказательство, – проговорил он, протягивая руку вперед. – Пощупайте, она в крови, которую я проливаю из-за вас...

– Очень трогательно... Позвольте я оботру ее вам. Это все, что я могу сделать.

Девушка торопливо вытерла своим платком протянутую мясистую ладонь, которая могла ее поднять на воздух, как перышко. Она слышала, как тяжело дышал ее собеседник, и опять собрала около ног распутившиеся складки платья, точно защищаясь этим жестом от протянутой к ней сильной руки. В это мгновение она как-то сама собой очутилась в железных объятиях набоба, который задыхавшимся шепотом повторял ей:

– Ты будешь моя!.. ты будешь моя!

– Никогда!.. Пустите... Иначе мы вместе полетим вниз.

На верху скалы завязалась безмолвная борьба. Луша чувствовала, как к ней ближе и ближе тянулось потное, разгоряченное лицо; она напрягла последние силы, чтобы оторваться от места и всей тяжестью тела тянулась вниз, но в этот момент железные руки распались сами собой. Набоб, схватившись за голову, с прежним смирением занял свою старую позицию и глухо забормотал прерывавшимся шепотом:

– Я вас убью... Простите меня... но я не могу... я...

Он сорвал с шеи галстук и замолчал, вздрагивая всем телом.

– Уходите, уходите! – гневно шептала девушка, закрывая лицо своими топкими руками. – Я лучше умру сто раз, чем один раз отдамся вам. Уходите... Я сделаю то, о чем вас предупреждала.

Она угрожающе поднялась с места, но ее остановил отчаянный жест набоба, моливший о пощаде.

– Хочешь быть моей женой, Луша? – шептал потерявший голову набоб. – Я все тебе отдам... Вот все, что отсюда можно видеть днем. Это все будет твое... за одно твое ласковое слово.

Луша отрицательно покачала головой и засмеялась.

– Я не требую теперь вашего ответа... сейчас... Обдумайте, я умею ждать...

– Напрасный труд, Евгений Константиныч! Ради бога, уходите... Вас ищут там. Слышите голос Прейна?

– Не уйду, пока вы не дадите мне руки... Это будет доказательство, что вы меня простили... и подумайте о моем предложении.

Девушка торопливо протянула свою руку и почувствовала, с странным трепетом в душе, как к ее тонким розовым пальцам прильнуло горячее лицо набоба и его белокурые волосы обвили ее шелковой волной. Ее на мгновение охватило торжествующее чувство удовлетворенной гордости: набоб пресмыкался у ее ног точно так же, как пресмыкались пред ним сотни других, таких же жалких людей.

Когда Евгений Константиныч вернулся к пылавшим огням, он, к своему удивлению, увидел Лушу, которая, сидя на бухарском ковре, весело болтала о чем-то в обществе доктора, Прейна и Прозорова. Чтобы не выдать своего похождения, набоб натянул замшевые перчатки. Луша заметила этот маскарад и улыбнулась.

– Где это вы пропадали? – спрашивал Прейн, пытливо глядя на своего повелителя.

– Представьте себе, я чуть не заблудился... – весело ответил набоб, припоминая, как Луша вытирала его руки платком. – Еще четверть часа – и я, кажется, погиб бы в этой трущобе.

Посыпались вопросы и знаки участия; особенно взволновались дамы, которые в своей птичьей беззаботности и не подозревали, что гибель была так близка. Лаптев в тон общему настроению рассказал самую фантастическую историю своего путешествия в каких-то камнях, а потом в густом лесу. В заключение он взглянул на Лушу. Их глаза встретились. Набобу показалось, что он теперь понял эту странную девушку, точно между ним и ей исчезла какая-то завеса, разделявшая их до сих пор. Она смотрела на него с тем гордым чувством собственности, как смотрят любящие женщины. Он показал ей глазами на свои перчатки; она отвернулась, чтобы скрыть осветившую лицо улыбку.

Теперь, спускаясь с горы, набоб с удовольствием перебирал в своем уме подробности вчерашних походов. Он переживал ту полноту и приятную напряженность чувства, каких не дают продажные женщины. Прейн ехал за ним и сосредоточенно насвистывал какую-то браурную опереточную арию, что в переводе означало, что он о чем-то думает самым серьезным образом. От его зоркого взгляда не ускользнуло, что между Лушей и набобом произошло что-то очень важное: оба держали себя как-то неестественно, и Луша несколько раз задумчиво улыбнулась без всякой видимой причины. Старый грешник чувствовал себя непогрешимым в известного сорта делах. Рано утром, когда набоб еще спал, Прейн заметил следы крови на снятых перчатках; это обстоятельство навело его еще на большие сомнения.

План охоты на оленя заключался в том, чтобы егерям и лесообъездчикам сначала окружить зверя живой цепью, а потом выгнать его прямо на набоба. Круг из загонщиков растягивался верст на пять. Посланные вперед разведчики донесли Майзелю, что зверь встал от оводов в густую еловую заросль, которая тянулась сплошной гривой по одному из увалов Рассыпного Камня. За последнюю неделю был выслежен с математической точностью каждый шаг обреченного на гибель зверя. Это был великолепный десятирогий

«бык», то есть самец, отдохавший после весенних удовольствий любви. Можно было пожалеть только о том, что он за последнюю неделю, преследуемый оводом, заметно спал с тела.

Пока загонщики делали свое дело, устроен был легкий привал у безымянного горного ключика, сочившегося ледяной струей из крутого отвала горы. Чтобы прежде времени не встревожить зверя, было строго запрещено курить и разговаривать. Набоб, вытянувшись на траве во весь рост, безмолвно смотрел в голубое небо, где серебряными кружевами плыли туманные штрихи. В одном месте круглилось и надувалось белое грозное облачко. Смешанный лес из сосен и берез то начинал шуметь ласковым шепотом, то сдержанно стихал. Солнце подобрало росу, и теперь в сочной зеленой траве накоплялся дневной зной, копошились букашки и беззаботно кружились пестрые мотыльки; желтые, розовые и синеватые цветы пестрили живой ковер травы, точно рассыпанные самоцветные камни. Кусты жимолости и вереска выбирали самые солнечные места, где почва накаливалась от зноя. В числе охотников был и Родион Антоныч, тоже облекшийся в охотничью куртку и высокие сапоги; выбрав местечко на глазах набоба, он почтительно сидел на траве, не спуская глаз с своего владыки, как вымуштрованный охотничий пес.

– Готово... – шепотом проговорил Майзель, когда на опушке ближайшего леса показался приземистый бородатый лесообъездчик, первый плут и лучший охотник.

Все поднялись и осторожно пошли через лес пешком. Лошади были оставлены. Евгений Константинович нес в руках короткий английский штуцер, заряженный самим Майзелем. Когда охотники были расставлены по местам, мертвая тишина охватила все кругом. Набоб стоял под прикрытием развесистого куста рябины; перед ним легла глубокая поляна, по которой должен был пробежать вспугнутый зверь. Время тянулось с ужасной медленностью. Где-то сухо треснул под ногой сучок. Комары лезли набобу в нос, в рот, даже в уши; он сначала отмахивался от них рукой, а потом покорился своей участи и только в крайнем случае судорожно мотал головой, как привязанная к столбу лошадь. Майзель стоял от него шагах в пятидесяти и чутким, привычным ухом ловил малейший шорох. Сначала ничего нельзя было разобрать, но потом он убедился, что зверь поднят: олень почуял опасность и осторожным шагом, нюхая воздух и насторожив уши, шел

вдоль лесистой гривки. В одном месте «счакали» рога о дерево. Майзель, притаив дыхание, впился глазами в лесную чащу; зверь шел прямо на набоба и должен был пересечь лесную прогалину, которая была открыта для выстрела.

Красавец олень действительно шел по направлению к этой прогалине, делая легкие прыжки через поваленные стволы деревьев. Он чутко поводил ушами, откидывая рога на спину. Подозрительный шорох заставлял его вздрагивать; горячие большие глаза смотрели тревожно. Зверь почуял своего страшного врага – человека – и теперь старался выбраться из засады. Опасность грозила из каждого угла, олень чувствовал окруживших его людей с такой же отчетливостью, как мы можем только видеть. Вместе с тем он понимал, что единственное его спасение – это идти вдоль гривы. Но блеснувшая между деревьями прогалина заставила его остановиться на опушке, он почуял, что враг совсем близко, и хотел вернуться, но в это мгновение раздался сухой треск выстрела, и благородное животное, сделав отчаянный прыжок вперед, пало головой прямо в траву. Из-за рябины, где стоял набоб, взмыло кверху белое облачко дыма.

– Молодецкий выстрел! – кричал Майзель, первым подбегая к трепетавшему в агонии оленю. – Поздравляю, Евгений Константиныч... Могу сказать, что это выстрел! двести шагов... Да, молодецкий выстрел!

Около убитой жертвы сошлись все охотники, торопливо делая оценку выстрелу.

– Теперь на коня! – скомандовал Майзель. – Господа, мы будем поздравлять Евгения Константиныча на привале...

Лесообъездчики явились с лошадьми; оленя взялся доставить Родион Антоныч, не знавший, чем выразить ему свое удивление пред искусством набоба.

– Что же ты меня не поздравляешь, Альфред? – обратился набоб к Прейну, который рассеянно смотрел на пеструю толпу сбежавшихся егерей и лесообъездчиков.

– Ага... ничего! – ответил Прейн. – Счастливый выстрел...

Майзель торжествовал и гордо закручивал свой седой ус; самое горячее желание исполнилось: набоб был доволен. Обрато охотники поехали другой дорогой и у подножья Рассыпного Камня, на одном повороте лесной тропы, неожиданно увидели перед собой громадный

шатер, огни и все общество. Этот сюрприз был задуман тоже Майзелем, чтобы устроить чисто охотничий привал. Дамы напереерыв спешили поздравлять счастливого охотника и даже поднесли ему букет из полевых цветов. В общем взрыве радостного восторга не принимала участия только Луша.

– А вы, кажется, не разделяете общих чувств? – спрашивал ее набоб, улучив свободную минуту.

– Прикажете тоже поздравлять? Это очень забавно! убить оленя, которого лесообъездчики чуть не привязали за рога к дереву... Удивительный подвиг!..

– Я не видал вас со вчерашнего дня... – понизив голос, проговорил набоб.

– Не много от этого потеряли. Идите, пожалуйста, к дамам, а то они меня разорвут...

Привезенный олень явился апогеем торжества. Его освеживали, а мясо отдали поварам. Пир затевался на славу, а пока устроена была легкая закуска. Майзель с замиранием сердца ждал этого торжественного момента и тоном церемониймейстера провозгласил:

– Господа, прошу отведать хлеба-соли!

Набоб первым вошел в палатку, где на столе из свежерасколотых елей красовалась «маленькая» охотничья закуска, то есть целая батарея всевозможных бутылок и затем ряды тарелок, тарелочек и закрытых блюд с каким-то очень таинственным содержимым.

– Вот, могу вам рекомендовать, Евгений Константиныч, – с скромным достоинством проговорил Майзель, собственноручно подавая набобу лежавший на серебряном блюде предмет странной формы, что-то вроде передней половины разношенной калоши: – самое охотничье кушанье...

– Что это такое? – удивился набоб, осторожно пробуя вилкой темную губчатую массу.

– А вы попробуйте...

Отрезанный ломтик оказался необыкновенно тонкого вкуса. Удивленный этим сюрпризом, набоб съел второй ломтик и потом с отчаянием в голосе проговорил:

– Хоть убейте, не могу определить, что это за штука... А чертовски вкусная закуска! Прейн, попробуй!

– Это, Евгений Константиныч, позволю себе так выразиться, классическая охотничья закуска, – объяснил Майзель, даже покрасневший от щедрой похвалы, – маринованная верхняя губа сохатого...

– Благодарю и благодарю! – растроганно заявил набоб и торжественно облобызал старого охотника. – Раз – благодарю за отличную охоту, а второе – за эту закуску...

Нужно ли говорить, что торжество Майзеля отразилось острой болью на душе у всех остальных, особенно у Вершинина, который имел несчастье думать в течение целых двух суток, что никто не может придумать ничего лучше его уха из живых харюзов. Вот тебе и харюзы! Даже Сарматов – и тот, обнюхивая микроскопический кусочек доставшейся на его долю классической охотничьей закуски и глубокомысленно вытаращив глаза, громко заявил, что действительно, когда он был командирован в Архангельскую губернию, то в течение трех лет питался одной маринованной губой сохатого. Родион Антоныч торжествовал: союзники теперь побивали друг друга... Отлично! Майзель никогда не простит Вершинину уху из харюзов, а Вершинин никогда не простит Майзелю маринованной губы.

«Отлично! – думал Родион Антоныч, потирая руки. – Вот так удружили... Ха-ха!.. Ах! нужно сейчас же послать Раисе Павловне эстафету».

В душе Ришелье затеплилась сладкая надежда, что все здание, с такой дьявольской хитростью воздвигнутое руками Тетюева, разлетится прахом от такой простой вещи, как встреча уха с губой...

После трех рюмок водки у Майзеля совсем сделалось легко на душе, и он презрительно оглядывал всю остальную публику. Сарматов, прожевывая ломтик колбасы, рассказывал набобу самые удивительные случаи о своих охотничьих похождениях, а в том числе и о собаках.

– Представьте себе, Евгений Константиныч, – ораторствовал он, у меня была одна собака... Кстати, я знаю отличное средство, если кто боится собак: ни одна не укусит. Если вы идете, например, по улице, вдруг – навстречу псина, четвертей шести, и прямо на вас, а с вами даже палки нет, – положение самое некрасивое даже для мужчины; а между тем стоит только схватить себя за голову и сделать такой вид, что вы хотите ею, то есть своей головой, бросить в собаку, – ни одна

собака не выдержит. Честное слово... Я даже производил опыты с одним тигром в зверинце.

Сарматов показал пример, как нужно трясти головой, но мнения общества относительно заявленного средства разделились.

– Вздор! – решительно заявил Майзель.

– Честное и благородное слово, Николай Карлыч! Хотите пари?

– Извольте, но с условием: я положу свое пальто, на пальто положу свою собаку, – если вы возьмете из-под собаки пальто, вы выиграли.

– Идет!

Майзель торжественно разостлал на траве макинтош и положил на нем свою громадную датскую собаку. Публика окружила место действия, а Сарматов для храбрости выпил рюмку водки. Дамы со страху попрятались за спины мужчин, но это было совершенно напрасно: особенно страшного ничего не случилось. Как Сарматов ни тряс своей головой, собака не думала бежать, а только скалила свои вершковые зубы, когда он делал вид, что хочет взять макинтош. Публика хохотала, и начались бесконечные шутки над трусившим Сарматовым.

– Это дрессированная собака, – оправдывался Сарматов, нимало не конфузясь. – Она только и умеет, что лежать на вашем пальто...

– Дорого бы я дал тому, кто подал бы мне мой макинтош! – хвастался Майзель, упоенный своими победами. – Господа, попробуйте!

В этот момент из толпы выделился Родион Антоныч, подошел к лежавшей собаке и прыснул на нее набранной в рот водой. Захваленный пес вскочил, поджал хвост и скрылся.

– Вот ваш макинтош, Николай Карлыч! – почтительно проговорил Родион Антоныч, подавая пальто Майзелю.

Старый охотник совсем опешил и не знал, что ему ответить. Публика тоже была очень смущена, но когда набоб засмеялся, взрыв дружного хохота был наградой находчивости Родиона Антоныча, который с застенчивой улыбкой вытирал себе лицо платком.

– Это нечестно! – отрубил наконец взбешенный общим хохотом Майзель.

– Успокойтесь, Майзель! – уговаривал расходившегося старика набоб. – Этот господин поступил очень находчиво – и только... А

Сарматов жестоко проврался! Я думал, что он совсем оторвет себе голову... А как фамилия этого господина, который прогнал вашу собаку?

– Сахаров, – сердито ответил Майзель.

– Ага! Да, очень находчиво.

Поданный обед спланировал неприятные последствия этого маленького эпизода. На столе в разных видах фигурировал только что убитый олень. Все участвующие, конечно, наперерыв старались уверить друг друга, что в жизнь свою никогда и ничего вкуснее не едали, что оленина в жареном виде – самое ароматное и тонкое блюдо, которое в состоянии оценить только люди «с гастрономической жилкой», что вообще испытываемое ими в настоящую минуту наслаждение ни с чем не может быть сравниваемо и т. д. Выпитое за охотничьей закуской вино заметно оживило все общество, и даже генерал, выдавший лес и охотников только на картинах, громко уверял Перекрестова, что и лес и охота – отличные вещи сами по себе. Секретари, занимавшие пост около «галок», совершенно были согласны с генералом; пьяный Летучий, особенно близко познакомившийся в эту поездку с Прозоровым, подтвердил слова генерала неожиданно вырвавшейся икотой. Вообще все имели особенное расположение к веселящим напиткам. Прейн пил вместе со всеми, но не пьянел, а только заметно делался глупее, что ему и доказала самым очевидным образом Нина Леонтьевна, запустив ему шпильку. Впрочем, Прейн не очень огорчился выходкой Нины Леонтьевны – это была та необходимая доза житейской горечи, которая делает наше счастье настоящим счастьем. Он видел два чудные глаза, которые смотрели на него таким понимающим, почти говорящим взглядом и смотрели только на него одного, потому что все остальные люди для этой пары глаз были только необходимым балластом.

– Я уезжаю! – объявила Нина Леонтьевна генералу самым решительным тоном сейчас же после охотничьего завтрака.

Такой оборот дела поставил генерала в совершенный тупик: ему тоже следовало ехать за Ниной Леонтьевной, но Лаптев еще оставался в горах. Бросить набоба в такую минуту, когда предстоял осмотр заводов, значило свести все дело на нет. Но никакие просьбы, никакие увещания не привели ни к чему, кроме самых едких замечаний и оскорблений.

– Неужели, Нина, стоит обращать внимание на глупую болтовню такого человека, как Прозоров? – говорил генерал. – Обижаться его выходкам – значит, слишком мало уважать себя...

– Оставимте этот разговор, – коротко высказала свою волю Нина Леонтьевна, – я теперь убедилась окончательно, насколько вы меня цените...

– Нина, ради бога, в какое ты ставишь меня положение?

– Вы сами себя ставите, а не я... – зашипела «болванка». – Прозоров – ваш университетский товарищ, и вы так поставили себя с ним, что он совершенно безнаказанно может делать что хочет.

С логикой кровно обиженной женщины Нина Леонтьевна обрушилась всей силой своего негодования не на Прозорова, а на генерала, поставив ему в вину решительно все, что только может придумать самая пылкая фантазия, так что в конце концов генерал почувствовал себя глубоко виновным и даже не решался просить прощения. Притом все дамы были за Нину Леонтьевну и тоже изъявили желание вернуться к покинутым домашним очагам, причем даже не трудились подыскать мало-мальски подходящих предлогов для такого коллективного протеста. М-ме Дымцевич была величественна и неумолима, как фатум; m-ме Сарматова держала своих юниц за руки с таким видом, точно их невинности грозил самый воздух.

– Мы вас, во всяком случае, оставляем в таком приятном обществе, – говорила Нина Леонтьевна генералу уже от лица всех дам, – что вы, вероятно, не особенно огорчитесь нашим отъездом...

Здесь останутся три особы, которые имеют все данные, чтобы утешить вас всех...

– Нина, что ты говоришь? – взмолился генерал. – Опомнись... Бросать грязью в этих девушек просто несправедливо!

– Mesdames, вы слышали? – обратилась Нина Леонтьевна к своим сторонницам. – Я это знала вперед!

Момент получился критический, и интересы русского горного дела висели на волоске. Генерал колебался, оставаться ему здесь или последовать за Ниной Леонтьевной. То и другое решение могло иметь неисчислимые последствия. Но Нина Леонтьевна пересолила, и генерал, как это делают все бесхарактерные люди, махнул на все рукой. Будь что будет, а он останется в горах, чтобы провезти Лаптева на обратном пути по всем заводам. От такого варварского решения с Ниной Леонтьевной сделалось дурно, хотя в душе она желала, чтобы генерал остался в горах, и вместе с тем желала сорвать на нем расходившуюся желчь.

– Что тут такое: революция? – вмешался Прейн, появляясь точно из-под земли.

– Да, мы хотим огорчить вас и... уезжаем, – с деланным смехом ответила Нина Леонтьевна. – Не правда ли, это убьет вас наповал? Ха-ха... Бедняжки!.. Оставлю генерала на ваше попечение, Прейн, а то, пожалуй, с горя он наделает бог знает что. Впрочем, виновата! генерал высказывал здесь такие рыцарские чувства, которые не должны остаться без награды...

Прейн отлично понял, что хотела сказать Нина Леонтьевна, но, прищутив свои бесцветные глаза, только развел руками.

– Вы нам испортите всю поездку, Нина Леонтьевна, – серьезно проговорил он, бросая окурок сигары в траву. – Что-нибудь случилось?

– Ничего особенного... кроме того, что мы не желаем быть здесь лишними. Притом вам предстоит с генералом еще столько серьезных занятий... ха-ха! Нет, довольно, Прейн! я не желаю вас мистифицировать: мы едем просто потому, что в горах слишком холодно.

– Я передам Евгению Константинычу, а с своей стороны могу сказать только что пароход сейчас ушел...

– Как ушел?

– Я уже сказал, что у вас происходит какая-то революция: половина общества уже уехала, а теперь вы покидаете нас...

Нина Леонтьевна побелела даже через слой румян и белил: Прейн предупредил и отправил девиц вперед. Он сейчас после завтрака передал m-lle Эмме, что им пора убираться восвояси, m-lle Эмма сама думала об этом и потащила за собой Анниньку. Перекрестов и Братковский вызвались их сопровождать. К этому веселому обществу присоединились Прозоровы и доктор.

Положение дам получилось довольно некрасивое, но им больше ничего не оставалось, как только выдержать характер до конца. Пароход вернулся через три часа, и все дамы, простившись с Евгением Константинычем, отправились к пристани.

– Вы войдите в мое положение, – говорил дамам на прощанье Евгений Константиныч, желавший остаться любезным до конца. – Ведь с вашим отъездом я превращаюсь в какую-то жертву в руках генерала, который хочет протащить меня по всем заводам...

В виде почетной стражи к удалившимся дамам были приставлены «почти молодые люди» и Летучий, который все время своего пребывания в горах проспал самым бессовестным образом. Генерал проводил дам до пристани, где еще получил в виде задатка несколько колкостей как главный виновник всего случившегося.

– Славу богу, одним грехом меньше, – шепнул Прейн набобу, когда генерал вернулся на главную стоянку на Рассыпном Камне.

– Что такое случилось, – я решительно недоумеваю! – не понимал Лаптев.

– Самая обыкновенная история; по русской пословице: семь топоров лежат вместе, а два веретена врозь.

– Ага... Очень хорошая пословица. Семь топоров лежат врозь...

– Нет: вместе.

– Да, да... Семь топоров вместе... Очень остроумно сказано!..

Оставшись одни, все почувствовали себя свободными, особенно мужья. Присутствие женщин связывало общество, потому что самые лучшие анекдоты приходилось рассказывать вполголоса и, главное, постоянно быть настороже, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего, а теперь все сняли с себя верхнее платье и остались в одних рубашках. Это было очень оригинально и приближало к простоте окружавшей природы; притом и пить приходилось очень много, потому что какое

значение может иметь природа для цивилизованного человека, если она не вспрыснута дорогим вином. Даже генерал – и тот пил вместе с другими, чтобы разогнать тяжелое чувство ожидаемого возмездия. Вместе с тем, поглядывая на Евгения Константиныча, генерал соображал, как он потащит на буксире этого барчука высшей школы по всем заводам, а главное – в Куржак, на знаменитый железный рудник. Майзель, Вершинин, Дымцевич и Сарматов заметно оживились и наперерыв старались блистать самым непринужденным остроумием. Под шиханом лесообъездчиками была устроена на высоких козлах трапеция, и на ней «господа» показывали свою ловкость: Прейн вертелся как клоун и поражал всех живостью и силой своего сколоченного жилистого тела. Остальные припомнили тоже кое-что из старины, и всякий в свою долю старался влезть, по крайней мере, на шест, чтобы не отстать от других. Набоб лежал на траве в одной рубашке и поощрял кувыркавшихся и потевших добровольцев, потому что любил упражнения этого рода. И сам он в былые времена тоже умел проделывать кое-что по части эквилибристики, но теперь зажирел и вообще сделался тяжел на подъем.

– А вы, Родион Антоныч, что не попробуете? – предлагал Прейн, когда все успели проделать свои номера.

– Я-с? Нет уж, Альберт Осипыч, увольте... – взмолился Родион Антоныч, отмахиваясь обеими руками. – Помилуйте, я уж старик, притом совсем почти слепой. С печи на полати едва перелезаю...

– Врет, все врёт! – послышались голоса. – Какой он слепой! птицу в лет бьет! Нет, Родион Антоныч, пожалуйте!..

В общем хоре особенно энергично настаивал Майзель, который не мог простить Родиону Антонычу его выходки с собакой. Набоб смеялся над смутившимся Ришелье и тоже упрашивал его попытать счастья на трапеции.

– Не могу-с, Евгений Константиныч, вот как перед богом, не могу! – упирался Родион Антоныч, умиленно прижимая обе руки к сердцу.

– Да вы попробуйте. Ведь прогнали же собаку Майзеля, – поощрял Лаптев, продолжая милостиво улыбаться. – На людях и смерть красна... Притом мы здесь совершенно одни, дам нет.

Стоявшие почтительно в сторонке лесообъездчики начали пересмеиваться, дескать, влопался наш Родька, как он ползет на

петлю. Общее внимание и градом сыпавшиеся со всех сторон просьбы повергли Ришелье в окончательное смущение, так что он готов был замолчать самым глупым образом и из-за какой-нибудь дурацкой гимнастики разом потерять все внимание, какое успел заслужить в глазах набоба. Оставалось только лезть на трапецию, чтобы сверзиться оттуда мешком для общей потехи; но в это мгновение Родиона Антоныча осенила счастливая мысль, и он проговорил:

– Ей-богу, Евгений Константиныч, не могу насчет трапеции! А ежели вот на палке тянуться или по-татарски бороться...

– Как это по-татарски?

– А так-с, лежа, нога за ногу, а потом кто кого на голову поставит...

Эта идея очень понравилась набобу, и Прейн первый решился вступить с Ришелье в оригинальное ратоборство. Они легли рядом на траву ногами к голове и потом зацепили друг друга ногой в ногу; секрет борьбы заключался в том, чтобы давить скрюченной ногой ногу противника до тех пор, пока тот не встанет на голову. Получалась очень комичная сцена, и набоб хохотал от души, когда Прейн и Родион Антоныч надувались и краснели, стараясь осилить друг друга. Наконец, к общему удовольствию, Прейн кубарем полетел через голову, и ловкость Родиона Антоныча покрылась общими аплодисментами. Лесообъездчики рты разинули от удивления, как ловко Родька обтяпал барина. Ай да Родивон Антоныч, придумал штуку, почище господской петли.

– Это очень интересно! – восклицал Евгений Константиныч, крайне довольный новой забавой. – Ну-ка, Родион Антоныч, со мной...

Это предложение заставило Родиона Антоныча в первое мгновение оторопеть. Он даже потер себе глаза: но нет, это была не галлюцинация, и Лаптев уже растянулся на траве и поднял ногу.

– Евгений Константиныч... ей-богу, не могу-с! не смею... – залепетал Родион Антоныч.

– Ничего, вздор! – решил Прейн, прихрамывая и щупая затылок. – Прямо меня на голову поставил...

Родиона Антоныча насильно уложили рядом с Лаптевым и заставили зацепить ногой барскую ногу. Бедный Ришелье только сотворил про себя молитву и даже закрыл глаза со страху. Лаптев был

сильнее в ногах Прейна, но как ни старался и ни надувался, – в конце концов оказался побежденным, хотя Родион Антоныч и не поставил его на голову.

– Молодец!.. – хвалил Евгений Константиныч, поднимаясь с земли. – Право, я не подозревал, что так можно бороться. Как жаль, что здесь нет Летучего, а то его следовало бы поставить на голову раз пять... Ха-ха! Вы, Родион Антоныч, может быть, еще что-нибудь умеете?

– Нет-с, Евгений Константиныч, больше ничего не умею... Разве вот на палке тянуться, а то ведь я все по письменной части.

Новый успех Родиона Антоныча покоробил Майзеля, и он процедил сквозь зубы:

– Дурацкая штука... глупость!..

Генерал тоже был недоволен детским легкомыслием набоба и только пожимал плечами. Что это такое в самом деле? Владелец заводов – и подобные сцены... Нужно быть безнадежным идиотом, чтобы находить удовольствие в этом дурацком катанье по траве. Между тем время летит, дорогое время, каждый час которого является прорехой в интересах русского горного дела. Завтра нужно ехать на заводы, а эти господа утешаются бог знает чем!

– Генерал, вы что так насупились? – спрашивал Лаптев, заметив недовольную мину. – Не сердитесь, голубчик... Завтра ранним утром отправляемся в Куржак, и там можете делать со мной что хотите. Не правда ли, Прейн?

Погода была великолепная, точно сама природа благоприятствовала успехам прогрессирующего русского горного дела. Вот уже третью ночь все общество проводило в горах, и какую ночь – хоть картину пиши! Вечером солнце село по всем правилам искусства: оно точно утонуло золотым шаром в пылавшем море крови, разливая по небу столбы колебавшихся розовых теней. Опять звездная бездна над головой, опять душистая прохлада северной ночи; кругом опять призраки и узорчатые тени по горам, а в самой выси, где небо раздавалось и круглилось куполом, легли широкие воздушные полосы набежавших откуда-то облачков, точно кто мазнул по небу исполинской кистью. Эти облачка сильно беспокоили Майзеля. Еще предстояло взять дупелиное болото, потом проведать медведя – и вдруг дождь, самый обыкновенный, глупейший дождь, который может

зарядить дня на два! Что может быть обиднее? Родион Антоныч думал то же, расположившись на ночь около огонька. Он пережил столько в последние сутки, что долго не мог успокоиться и все шупал свою ногу, которая удостоилась прикоснуться к ноге Евгения Константиныча... Ведь вот, поди ж ты, кто бы, кажется, мог придумать такую штуку!.. Да, боролся с самим Евгением Константинычем и был замечен, назло всем окружавшим Родиона Антоныча врагам. Если разобрать, что он такое в этой компании: червь, моль, былинка, колеблемая ветром! Он не умел рассказывать пикантных анекдотов, не умел придумывать новых кушаний – и вдруг: собака Майзеля и татарская борьба сразу подняли его на небывалую высоту! Зато теперь все грызут на него зубы – и Вершинин, и Дымцевич, и Майзель, и Сарматов. Особенно Майзель, который с чисто немецкой аккуратностью не умел прощать обид. Но что они все значили, даже взятые вместе, перед вниманием Евгения Константиныча, который изволил собственной ногой зацепить его рабью лапу? Вот-то обрадуется Раиса Павловна, когда узнает! А Прейн, шельма этакая, только улыбается, а того не подумает, каково было ему, Родиону Антонычу, единоборствовать с Евгением Константинычем. И во сне Ришелье несколько раз осторожно и с благоговением приподнимал ошарашенную ногу, точно эта нога составляла уже не часть его тела, а сам он составлял всем своим существом только ничтожный придаток к этой ноге.

К утру вспырнул легкий дождь, напугав всех, но этот страх был совершенно напрасен. Дождь только освежил траву и лес, и солнце взошло с небывалой пышностью. Предраассветная туманная полоса, пеленавшая восток, точно дала широкую трещину, от которой все небо раскололось на мириады сквозивших розовым золотом щелей. Неудержимый поток света залил все небо, заставив спавшую землю встрепенуться малейшей фиброй, точно кругом завертелись мириады невидимых колес, валов и шестерней, заставлявших подниматься кверху ночной туман, сушивших росу на траве и передававших рядом таинственных процессов свое движение всему, что кругом зеленело, пищало и стрекотало в траве и разливалось в лесу тысячами музыкальных мелодий. Нужно было такому чуду свершаться исправно каждый день, чтобы люди смотрели на него, ковыряя пальцем в носу, как смотрел набоб и его приспешники, которым утро напоминало только о новой еде и новом питье.

Для охотничьего утра набоб проснулся очень поздно, потому что вчера целый день слишком много пил и ел; Прейну стоило большого труда растолкать его, причем оба ругались на трех языках. М-г Чарльз ожидал пробуждения своего повелителя с целым арсеналом принадлежностей туалета и холодным, презрительным взглядом смотрел на суетившуюся толпу управителей. Оседланные лошади нетерпеливо грызли удила, фыркали и взрывали землю копытами. Генерал с сигарой в зубах шагал по росистой траве, заложив руки за спину; он тоже поднялся не в духе, потому что в его профессорском теле сказалась чисто профессорская болезнь. В сторонке от главной стоянки распорядился Майзель, отдавая приказание лесообъездчикам; он был великолепен всей своей петушиной, надутой фигурой, заученными солдатскими жестами и вообще всей той выправкой, какая бросается в глаза на плохих гравюрах из военной жизни. Из лесообъездчиков Майзель хотел выбить какой-то эскадрон, точно готовился сейчас лететь в атаку.

– Генерал сердится... – объяснил Прейн, когда набоб снова бессильно опустил поднятую голову на подушку. – Наконец будет жарко, и охота пропадет. Теперь самый раз отправляться...

– Я сейчас... – бормотал набоб, натягивая на себя одеяло. – А на генерала мне наплевать... Вот еще мило: каторжный какой дался вам!

Прошел еще час, пока Евгений Константиныч при помощи Чарльза пришел в надлежащий порядок и показался из своей избушки в охотничьей куртке, в серой шляпе с ястребиным пером и в лакированных ботфортах. Генерал поздоровался с ним очень сухо и только показал глазами на стоявшее высоко солнце; Майзель тоже морщился и передергивал плечами, как человек, привыкший больше говорить и даже думать одними жестами.

– Извините, господа, – говорил Евгений Константиныч, усаживаясь за завтрак из холодной дичи. – Мы еще успеем. А где у меня Brunehaul?

Собаку-фаворитку привезли только накануне, и она с радостным визгом принялась прыгать около хозяина, вертела хвостом и умильно заглядывала набобу прямо в рот. Другие собаки взвизгивали на сворах у егерей, подтянутых и вычищенных, как картинки. Сегодня была приготовлена настоящая парадная охота, и серебряный охотничий рог уже трубил два раза сбор.

– Замечательная собака! – говорил Лаптев, лаская своего пойнтера. – Какую стойку делает! Раз выдержала дупеля час с четвертью. Таких собак только две по всей России: у меня и у барона N.

– А сколько она стоит? – любопытствовал кто-то.

– Вздор... Тысячи две, кажется.

– Ровно две тысячи, – подтвердил Прейн.

Наконец и завтрак был кончен. Серебряный рог протрубил сбор в третий раз, и Майзель скомандовал на коня. До Куржака было верст двадцать, но приходилось ехать верхами. Генерал тоже взмогился в седло и неловко держал поводья обеими руками, точно посаженная на лошадь монахиня; Родион Антоныч оказался верхом на мохноногом горбоносом киргизе. Около него вертелся и прыгал его сеттер Зарез, который до настоящей минуты находился на строгом попечении лесообъездчиков. Вся охотничья кавалькада длинным хвостом потянулась по западному склону горы, спускаясь по извилистой горной тропинке.

Когда съехали с Рассыпного Камня, тропинка расширилась, так что можно было ехать двоим в ряд. Генерал воспользовался этим случаем и, выровняв своего скакуна с английской охотничьей лошастью набоба, принялся отчитывать ему по части тех проклятых экономических вопросов, которые никогда не выходили из генеральской головы. Набоб слушал молча и наблюдал за движением ушей своей лошади, которая чутко прислушивалась к каждому шороху, вздрагивала и напряженно взмахивала своим куцым энглизированным хвостом. Увлечшись своей речью, генерал не хотел замечать, что Евгений Константиныч думает совсем о другом и только делает вид, что внимательно слушает его.

– Теперь важно на самом деле проверить наши теоретические построения, – ораторствовал генерал, неловко повторяя своим телом тяжелый прыжок лошади через ямы. – Увидев заводы, фабрики и фабричных рабочих, я многое уяснил себе, что раньше являлось только отвлеченным понятием, логической выкладкой... На заводы нужно смотреть, как на одну громадную машину, где главной двигающей силой, к сожалению, остаются рабочие руки. Это варварство, с одной стороны, а с другой – слабое место всякой промышленности. Именно эта живая сила составляет основание всех

недоразумений, а потому задача всех крупных предпринимателей – как возможно шире применять механические двигатели: воду, пар, электричество наконец. Я не хочу этим сказать, что нужно сокращать количество рабочих: нет, до этого мы не доживем, слава богу, потому что наша фабричная промышленность, собственно, еще в зародыше. Но важно предупредить печальное недоразумение, то есть перевес предложения рабочих рук над спросом. Россия в этом случае стоит, по сравнению с Западной Европой, в самых выгодных условиях, и для нее рабочий вопрос, в обширном смысле этого слова, только вопрос отдаленного будущего. Печальный пример более цивилизованных государств должен нам служить указанием не повторять чужих заблуждений, хотя Наполеон Первый и сказал, что чужие ошибки не делают нас умнее.

– Да, да... – соглашался машинально набоб, думая совсем о другом.

Он почему-то теперь вспомнил о Луше и рассердился на Прейна, который не умел удержать дам в горах. Что они ссорятся и интригуют между собой, так это слишком старая история, чтобы обращать на нее внимание или не уметь помирить враждующие стороны. Собственно, набоб даже не знал, в чем дело, и не интересовался знать, но сердился на Прейна, который обязан был предвидеть и предупредить отъезд Луши. Пикантная это девочка и что-то в ней есть такое, чего нет в других. Трудно сказать – что, но именно вот этого теперь и недостает Евгению Константинычу. Притом, что этот генерал пристаёт к нему с рассуждениями, точно впереди мало времени... Воображение набоба рисовало смелый и типичный образ девушки, которая не выходила у него из головы и точно дразнила его своей улыбкой.

– Евгений Константиныч, сейчас будет болото, – отрапортовал Майзель, подъезжая на рыжем иноходце.

– Ага!

– Нужно спешиться, Евгений Константиныч, а то мы распугаем птицу.

Егеря и лесообъездчики уже спешили и, выстроившись в две шеренги, с вытянутыми лицами ожидали дальнейших приказаний. Лошади фыркали и отмахивались хвостами от овода, собаки обнюхивали траву и сильно натягивали своры. Устроился

импровизированный охотничий привал, хотя огня и не раскладывали из опасения испугать дичь.

Передав лошадей егерям, охотники, под предводительством Майзеля, побрели по болоту, которое светилось через жидкий перелесок. Под ногами сосала и чмокала вода; болотные кочки торчали травянистыми вихрами. Редкий болотистый ельник скоро расступился и открыл довольно широкое болото, очевидно образовавшееся из лесного озера; почва зыбко качалась под тяжестью проходивших людей, а самая середина была затянута высокой желтоватой травой, над которой пискливо звенели комары. У опушки леса все остановились и осмотрели ружья. Евгений Константиныч был с легкой бельгийской двустволкой, которая блестела на солнце своими полированными стволами с насечкой. Brunehaut, вздрагивая всем телом и виляя хвостом, ожидала приказа.

– Cherche!^[25] – тихо послал собаку набоб и сам пошел за ней в болото.

Уткнув нос в землю и вытянув хвост палкой, красавица Brunehaut шла впереди с той грацией, с какой ходят только кровные пойнтеры; она едва касалась земли своими тонкими и сильными ногами, вынюхивая каждую кочку. Только истинные охотники поймут торжественность наступившего момента, и даже набоб испытывал приятное волнение, наблюдая каждое движение искавшей собаки. Вот она припала носом к одному месту и слабо вильнула хвостом – значит, нашла след дупеля; вот сделала несколько шагов вперед, приподняла переднюю погу, вытянулась и точно застыла в живописной позе. Раздалось: пиль! – дупель мягко вспорхнул из-под самого носа собаки и, жалко кувыркнувшись в воздухе, так же мягко упал в траву. Дым и гром выстрела испугнули еще двух дупелей, которые перелетели в другой конец болота. Охота началась счастливым выстрелом, и набоб положил в свой ягдташ теплую птицу, пестренькие красивые перышки которой были запачканы розовыми пятнами свежей крови.

Скоро лес огласился громким хлопаньем выстрелов: дупеля оторопели, перепархивали с места на место, собаки делали стойки, и скоро у всех участников охоты ягдташи наполнились дичью. Родион Антоныч тоже стрелял, и его Зарез работал на славу; в результате

оказалось, что он убил больше всех, потому что стрелял влет без промаха.

– Ого, да вы настоящий охотник! – похвалил его Прейн, усаживаясь на кочку.

– Какой уж я охотник! – скромничал Ришелье, польщенный этой похвалой. – Вот Евгений Константиныч уж точно: дохнуть не дадут.

После часовой охоты все присели отдохнуть. Началась проверка добычи и оценка достоинств стрелков. Сарматов убил меньше всех, но божился, что в молодости убивал влет ласточек пулей. Майзель расхвалил Brunehaut, которая так и просилась снова в болото; генерал рассматривал с сожалением убитых красивых птичек и удивлялся про себя, что люди могут находить приятного в этом избиении беззащитной и жалкой в своем бессилии пернатой твари.

– У меня была собака, – рассказывал Сарматов, размахивая руками, – пойнтер розовой масти... Уверяю вас: настоящей розовой. Это крайне редкий случай. И что же! Это собака раз выдержала трехчасовую стойку... Нынче уж таких собак нет.

– Моя Brunehaut выдержит час, – заметил Лаптев, лаская собаку.

– Нет, не выдержит! – посомневался кто-то. – Она теперь устала и разгорячилась.

– Выдержит.

Набоб поднялся и послал собаку снова в болото; через несколько минут Brunehaut сделала стойку. Майзель достал часы и заметил время. Воцарилась напряженная тишина, которая нарушалась только сдержанным шепотом. Оставив собаку, Евгений Константиныч развалился на траве с самоуверенной улыбкой. Но не прошло двадцати минут, как Brunehaut не выдержала и спугнула дупеля. Раздался смех, и взбешенный набоб пустил вдогонку сконфуженной Brunehaut заряд бекасинника, который заставил ее дико взвыть и кубарем покатиться по траве. Ошеломленная болью собака визжала самым неистовым образом и отчаянно трясла своими шелковыми ушами, в которые впился бекасинник.

– Послушайте, Евгений Константиныч, это наконец варварство! – вспыхнул генерал, побледнев как полотно. – Можно делать что угодно, но этому... этому я не приберу даже подходящего названия!

Взбешенный набоб тоже побледнел и, взглянув на генерала удивленными, широко раскрытыми глазами, что-то коротко сказал

Прейну по-английски; но генерал не слышал его слов, потому что прямо через болото отправился на дымок привала. Brunehaut продолжала оглашать воздух отчаянными воплями.

– Это невозможно! – по-английски же ответил Прейн набобу, укоризненно качая головой.

– А если я не желаю ехать дальше? Могу же я позволить себе хоть одно желание?

– Да, в другое время, а не теперь, – настаивал Прейн. – Вы расстроите своим капризом весь план нашей поездки.

– Ни шагу дальше, и сейчас же домой! – капризно повторял набоб. – Вы с генералом делаете из меня какого-то несчастного дупеля...

– Да ведь это ребячество! Продержать генерала в горах трое суток, обещать ехать по всем заводам и вернуться ни с чем... Вы не правы уже потому, что откладываете поездку из-за пустяков. Погорячились, изуродовали собаку, а потом капризничаете, что генерал сказал вам правду в глаза.

– Я уже слишком много слышал правды от генерала. Но что вы хотите наконец от меня? Собственно, он меня оскорбил, а не я его... Я, впрочем, могу извиниться перед генералом, но дальше не поеду, хоть зарежьте.

Как ни уговаривал Прейн, как ни убеждал, как ни настаивал, как ни ругался – все было напрасно, и набоб с упрямством балованного ребенка стоял на своем. Это был один из тех припадков, какие перешли к Евгению Константиновичу по наследству от его ближайших предков, отличавшихся большой эксцентричностью. Рассерженный и покрасневший Прейн несколько мгновений пристально смотрел на обрюзгшее, апатичное лицо набоба, уже погрузившегося в обычное полусонное состояние, и только сердито плюнул в сторону.

Поездка в горы перепутала окончательно все ходы, так что друзья и противники перестали понимать друг друга. Сначала, без сомнения, все было на стороне партии Тетюева: во-первых, Раиса Павловна оставалась дома, потом ряд блестящих гастрономических побед, удачная охота на оленя... Но в момент, когда «мой Майзель» был на вершине торжества, все здание, возведенное с таким трудом, пошатнулось в самом основании: сначала подвел Родион Антоныч с собакой, потом Прозоров угостил Нину Леонтьевну, далее татарская борьба того же Родиона Антоныча и наконец заряд бекасинника по Brunehaut, произведший резкую размолвку между генералом и набобом. Обиднее всего было то, что безголовый Прейн рассказал набобу эпизод с Прозоровым, и набоб хохотал над Ниной Леонтьевной. Таким образом надежды и упования партии Тетюева значительно побледили и потеряли прежнее обаяние, а известно, как много значит в каждом деле вера в собственные силы. Если генерал не удержится на прежней высоте, тогда трудно будет предвидеть будущее.

Генерал вернулся из-под Рассыпного Камня один, а за ним следом приехал и Евгений Константиныч в сопровождении всей свиты. Заводы остались неосмотренными, да об этом теперь никто и не заботился, даже сам генерал, который, кажется, махнул на все рукой. Добитая лесообъездчиками Brunehaut явилась камнем преткновения, через которое русское горное дело никак не могло переползти. Однако Прейн не дремал. Этот человек не переносил скандалов и резких выходов и поэтому скоро довел набоба до того, что тот высказал желание не только примириться с генералом, но и извиниться. С другой стороны, генерал, обсудив хладнокровно свою выходку, совершенно безупречную в нравственном смысле, нашел, что резкий тон этой выходки был подготовлен в нем неприятным отъездом Нины Леонтьевны, следовательно, он был несправедлив к набобу, который поступил так же, как делают другие охотники. Губить русское горное дело из-за таких пустяков, во всяком случае, не стоило,

тем более что столько уже было сделано и оставалось только подвести итоги.

– Извините, генерал... – добродушно проговорил набоб, являясь в генеральский флигель в сопровождении Прейна. – Мне самому жаль бедной Brunehaut. Погорячился...

Эта искренность растрогала генерала, и он с чувством пожал протянутую руку набоба.

– Оставимте это, Евгений Константиныч, – отвечал он. – Говоря откровенно, и я не совсем был прав, хотя и не виноват... Одним словом, пустяки и вздор, о котором не хочется вспоминать; а чтоб загладить неприятное впечатление этих пустяков, займемтесь делом серьезно. Времени уже много потеряно...

– О, да, да! Непременно займемтесь! – с живостью подтвердил Евгений Константиныч. – Я буду рад... Главное, все разом покончить, не откладывая в долгий ящик.

– Постараемся покончить, – соглашался генерал.

Примирение набоба с генералом разрешило все сомнения и опять придало храбрости унывавшим «тетюевцам», как их называл Прозоров. Но это была только одна сторона медали. За визитом к генералу последовал визит набоба к Раисе Павловне. Конечно, все отлично понимали, зачем Евгений Константиныч сделал этот второй визит – уж, конечно, не для самой Раисы Павловны, а для Луши. Эта игра была слишком очевидна даже для непосвященных; поэтому ей и не придали особенно важного значения. Действительно, набоб встретил у Раисы Павловны Лушу и заметно обрадовался этой встрече.

– Как ваше здоровье, Раиса Павловна? – осведомился Евгений Константиныч с небывалой вежливостью. – Право, оно меня начинает сильно беспокоить...

– Ах, отстаньте, пожалуйста! Охота вам обращать внимание на нас, старух, – довольно фамильярно ответила Раиса Павловна, насквозь видевшая набоба. – Старые бабы, как худые горшки, вечно дребезжат. Вы лучше расскажите о своей поездке. Я так жалею, так жалею, что не могла принять в ней участие. Все говорят, как вы отлично стреляли...

Луша сидела на стуле рядом с Раисой Павловной и при последних словах едва заметно улыбнулась. Она точно выросла и

возмужала за последнее время и держалась с самой непринужденной простотой, какая дается другим только путем мучительной дрессировки. Набоб заметил улыбку Луши и тоже улыбнулся: они понимали друг друга без слов.

– Эта поездка для меня лично явилась рядом неудач, – ответил набоб, бросая в глаз, неизвестно для чего, монокль. – Единственным объяснением этих неудач является, Раиса Павловна, только ваше отсутствие.

– Ах! как это трогательно, Евгений Константиныч!

– Уверяю вас. Дело кончилось тем, что мы чуть не разодрались с генералом, вернее, чуть он меня не поколотил...

– И следовало бы поколотить: зачем стреляли в собаку, – заметила Луша с серьезным видом. – Вот чего никогда, никогда не пойму... Убить беззащитное животное – что может быть хуже этого?..

Подняв плечи, Луша вызывающе посмотрела на набоба злыми глазами. Эта смелость испугала Раису Павловну, но набоб только улыбнулся и с ленивой улыбкой, играя своим стеклышком, проговорил:

– Скажите, вы не будете на меня в претензии, если я вас буду называть так же, как Раиса Павловна? А то ваше имя такое длинное и мудреное, что язык вывихнешь... Вы позволяете, Раиса Павловна? Я хотел сказать, что вы, mademoiselle Луша, были причиной смерти бедной Brunehaut. Если бы вы так внезапно не уехали, собака была бы жива... Представьте себе, Раиса Павловна, наше положение: вдруг все дамы бросают нас в лесу на произвол судьбы. С горя мы пили целую ночь, потом дурачились, а конец вам известен. Говоря по справедливости, нас и обвинять нельзя, а меня в особенности. Я слишком был огорчен, чтобы давать себе отчет в собственных поступках.

Набоб был любезен, как никогда, шутил, смеялся, говорил комплименты и вообще держал себя совсем своим человеком, так что от такого счастья у Раисы Павловны закружилась голова. Даже эта опытная и испытанная женщина немного чувствовала себя не в своей тарелке с глазу на глаз с набобом и могла только удивляться самообладанию Луши, которая положительно превосходила ее самые смелые ожидания: эта девчонка положительно забрала в руки набоба.

Они сидели в небольшой голубой гостиной, из которой стеклянная дверь вела на садовую веранду. Обитая голубым атласом с желтыми шнурами мягкая мебель, маленький диван с стеганой спинкой, вроде раковины, шелковые тяжелые драпировки, несколько экзотических растений по углам, мраморные группы у одной стены – все это так приятно гармонировало с летним задумчивым вечером, который вносил в открытую дверь пахучую струю садовых цветов. Сильно пахло левкоями, которые Раиса Павловна особенно любила. Лучи закатывавшегося солнца лениво бродили по паркетному полу рассеянной золотой пылью, которая ярко вспыхивала на бронзовых бра, на ручках дверей и тонких золотых багетах. Набоб сидел на стуле, заложив ногу за ногу, и легонько раскачивался, когда начинал смеяться; летняя пара из шелковой материи, цвета смуглой южной кожи, обрисовывала его сильное, по уже начавшее брюзгнуть тело. Из-под растрюба панталон выставлялись шелковые пестрые чулки, потому что набоб дома всегда носил мягкие башмаки. Луша была в своем единственном нарядном платье из чечунчи; сначала она сидела рядом с Раисой Павловной, а потом перешла на диван.

Раиса Павловна с материнской нежностью следила за всеми перипетиями развертывавшейся на ее глазах истории и совершенно незаметно оставила молодых людей одних, предоставляя руководить ими лучшего из учителей – природу. Когда платье Раисы Павловны, цвета античной бронзы, скрылось в дверях, набоб, откинув нетерпеливо свои белокурые волнистые волосы назад, придвинул свой стул ближе к дивану и проговорил:

– Mademoiselle Луша, а вы мне еще не дали ответа на тот вопрос, который я предложил вам там... в горах?

– Ах, да... Но ведь это был такой серьезный вопрос, что я до сих пор еще не решалась даже приступить к его обсуждению, – отшучивалась Луша, улыбаясь своими потемневшими от удовольствия глазами. – Притом, я думала, что вы уже успели забыть...

– Это несправедливо!..

– Пожалуй... Но вы забываете, что я уже дала слово доктору?

– Что же мне делать? Вызвать доктора на дуэль?

– Я думаю, что это будет самое лучшее... Вы отлично стреляете бекасинником.

– Злая!

В полужакрытых глазах набоба вспыхнул чувственный огонек, и он посмотрел долгим и пристальным взглядом на свою собеседницу, точно стараясь припомнить что-то. Эта девчонка положительно раздражала его своим самоуверенным тоном, который делал ее такой пикантной, как те редкие растения, которые являются каким-то исключением в среде прочей зеленой братии.

– Скажите откровенно, зачем вы так неожиданно уехали с горы? – спрашивал Евгений Константиныч, припоминая неприятное чувство, когда он ехал на дупелиную охоту по дороге в Куржак.

– Вы не поймете, – ответила Луша спокойно.

– Позвольте! В таком случае, значит, вы меня считаете просто за осла. Я могу обидеться наконец!

– Можете, но и я могу желать не отвечать вам... Впрочем, вам лучше спросить объяснения у Прейна.

Луша так и сказала, совсем фамильярно: «у Прейна», и даже не думала поправиться, что опять задело набоба за живое. Он подумал сначала, что m-lle Луша не умеет себя держать и сама не понимает, что сказала, но, взглянув на ее лицо, убедился, что если кто не понимает ничего, так это он.

Раиса Павловна осталась очень довольна поездкой набоба в горы, раз – потому, что Прозоров ловко смазал «болванку», а затем – потому, что отношения между Лушей и набобом пережили самый двусмысленный и нерешительный период. С Лушей у Раисы Павловны по этому поводу не было никаких интимных объяснений, но по сосредоточенному, немножко усталому взгляду карих глаз своей любимицы опытная женщина заключила вполне основательно, что случилось именно то, чего она желала: набоб объяснился с Лушей. Поведение набоба доказывало это неопровержимейшим образом, потому что он держал себя с Лушей с утонченной вежливостью и, кажется, не знал, чем угодить этой взбалмошной девчонке, которая ничего не хотела замечать. В голове Раисы Павловны бродили тысячи дум, планов и соображений, так что она даже забывала о самой себе. Очевидно, набоб высказывает самые серьезные намерения относительно Луши, и теперь дело за согласием Луши... Конечно, это будет неравный брак, но разве мало таких *mésalliance*^[26] устраивают русские набобы. Пока Раиса Павловна ничего не говорила Луше о своей мечте, предоставляя все дело его естественному течению. Ее

теперь больше всего беспокоило то, как взглянет на *mésalliance* Прейн: этот старый грешник больше всего, кажется, заботится о себе и делает вид, что ничего не видит и не замечает. От зоркого глаза Раисы Павловны не ускользнуло то влияние, каким пользовался Прейн над Лушей, но, как многие умные женщины, она была убеждена, что ей только стоит объяснить Луше, что за птица Прейн – и умная девочка поймет все. Слишком занятая интимными отношениями, Раиса Павловна с замиранием сердца следила, как раскрывалась страница любви в жизни ее фаворитки, забывая о своих собственных делах.

А между тем дело принимало такой серьезный оборот, что это понял наконец и сам Платон Васильич. Этот странный человек сопровождал набоба в горы, принимал участие в обедах и завтраках, говорил, когда его спрашивали, но без Раисы Павловны всегда оставался совершенно незаметным, так что о нем, при всем желании, трудно было сказать что-нибудь. Бывают такие люди, и господь их знает, как они живут, если не попадут в руки какой-нибудь умной и энергичной женщины. Платон Васильич вечно был занят своей фабрикой и машинами и только о них и мог постоянно думать, – все остальное для него проходило точно в тумане, а особенно таким туманом был покрыт проезд набоба. Как это ни странно сказать, но главный управляющий Кукарскими заводами знал меньше всех, что делалось кругом. Самый маленький заводский служащий, который бегал с пером за ухом, и тот знал малейшие подробности приезда набоба, отношения враждовавших партий и все эпизоды поездки в горы. Платон Васильич ел и вершининскую уху и маринованную губу, а о столкновении Нины Леонтьевны с Прозоровым узнал уже по возвращении в Кукарский завод, где служащие рассказали ему и о ссоре генерала с набобом.

– Но я ведь сам был на дупелиной охоте, – задумчиво говорил Платон Васильич. – Видел, как убили собаку, а потом все поехали обратно. Кажется, больше ничего особенного не случилось...

Раиса Павловна просто потешалась над этой наивностью мужа и нарочно морочила его разными небылицами, а когда он надоедал ей своими глупыми вопросами, – выгоняла из своей комнаты. Уйти на фабрику для Платона Васильича было единственным спасением; другим спасением являлись разговоры с генералом о нуждах русского горного дела.

Раз, довольно рано утром, когда Платон Васильич вышел пройтись по саду, на одном повороте аллеи он встретился с Прейном и Лушей, которые шли рядом. Заметив его, Прейн отодвинулся от своей спутницы и выругался по-английски, назвав Горемыкина филином.

– Ах, это ты, Луша! – удивился Платон Васильич, здороваясь с Прейном.

– Да, а это – вы... – грубо ответила девушка. – Вы ничего не потеряли здесь?

– Нет, кажется, ничего. А что?

– Да у вас такой вид, точно вы что-нибудь ищете.

– Да, да... Ты шутишь? – догадался наконец Горемыкин и потом с самым глупым видом прибавил, обращаясь к Прейну: – Не правда ли, какая сегодня отличная погода?

– Да, ничего... скверная, – отвечал Прейн, стараясь попасть в тон Луши. – Скажите, пожалуйста, мне показалось давеча, что я встретил вас в обществе mademoiselle Эммы, вон в той аллее, направо, и мне показалось, что вы гуляли с ней под руку и разговаривали о чем-то очень тихо. Конечно, это не мое дело, по мне показалось немного подозрительно: и время такое раннее для уединенных прогулок, и говорили бы тихо, и mademoiselle Эмма все оглядывалась по сторонам...

– Что вы хотите сказать этим? – недоумевал Платон Васильич. – Я иногда гуляю в саду, но только один... Не понимаю, как вы могли меня видеть с mademoiselle Эммой.

– В таком случае нужно будет спросить у Раисы Павловны, что значит такие ранние tête-à-tête^[27], – смеялся Прейн. – Вам направо?

– Нет, налево.

– Ну, так нам с вами не по пути... До свидания.

Платон Васильич в раздумье несколько минут постоял на месте, посмотрел вслед быстро удалявшейся парочке и пошел своей дорогой: «Не понимаю! ничего не понимаю!..» А утро было славное, хотя и холодное после вчерашнего дождя. Песок кое-где был смыт с утоптаных дорожек, в ямах стояли лужи мутной воды, следы ног ясно отпечатывались на мокром грунте; дувший с пруда ветерок колебал верхушки берез и тополей, блестящих теперь самой яркой зеленью. Около купальни и набережной с шумом разбивались

пенившиеся волны. По небу ползли разорванными клочьями остатки рассеявшихся туч, точно грязные лоскутья серых лохмотьев, сквозь которые ярко сквозило чистое голубое небо и вырывались снопы солнечных лучей. Садовник с ножницами ходил около помятых вчерашним ветром кустов сирени и отрезывал сломанные ветви; около куртин, ползая по мокрой траве, копались два мальчика в ситцевых рубашках, подвязывавшие подмятые цветы к новым палочкам. На песке виднелся отпечаток двухколесной тележки, прокатившейся здесь ранним утром с разным мусором; тут же тянулись следы босых ног с резким отпечатком пальцев.

– Зачем ты смеялась над этим филином? – говорил Прейн, предлагая Луше руку.

– А ты зачем делал то же?

– Я смеялся, глядя на тебя...

– А я смеялась потому, что эта глупая рожа мне надоела. Скажите на милость, что этому Платону Васильичу понадобилось в саду в такое время? Еще разболтает чего-нибудь сплупа. Мне все равно, а все-таки меньше разговоров – лучше... Скоро ли вы прогоните этого дурака, Прейн?

– Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь...

– Обманываешь?

– На днях комиссия начнет свои работы, и тогда конец Горемыкину.

– Ах, как я желала бы, чтобы эта накрахмаленная и намазанная Раиса Павловна полетела к черту, вместе с своим глухонемым мужем. Нельзя ли начать какой-нибудь процесс против Раисы Павловны, чтобы разорить ее совсем, до последней нитки... Пусть пойдет по миру и испытает, каково жить в бедности.

– Нет, это невозможно.

– Ах, как я ненавижу эту Раису Павловну, если бы ты знал! Ведь она теперь мечтает... ха-ха!.. ни больше, ни меньше, как о том, чтобы выдать меня за Лаптева, а я разыгрываю пред ним наивную провинциалочку. Глупо, досадно и опять глупо...

– погоди, мы все устроим, – ласковым шепотом проговорил Прейн, осторожно привлекая к себе девушку за талию. – У нас все будет, мы проживем в свою долю...

– Да, все это так... я не сомневаюсь. Но чем ты мне заплатишь вот за эту гнилую жизнь, какой я жила в этой яме до сих пор? Меня всегда будут мучить эти позорнейшие воспоминания о пережитых унижениях и нашей бедности. Ах, если бы ты только мог приблизительно представить себе, что я чувствую! Ничего нет и не может быть хуже бедности, которая сама есть величайший порок и источник всех других пороков. И этой бедностью я обязана была Раисе Павловне! Пусть же она хоть раз в жизни испытает прелести нищеты!

Прейн был почти у цели. Есть люди, которые рождаются в сорочке, и к таким людям, конечно, принадлежал этот философ-бонвиван. Сердце Луши принадлежало ему безраздельно, и он распоряжался в нем, как неограниченный монарх, хотя этому владычеству и были приданы неуловимые формы. Прейн действовал с той ласковой настойчивостью и мягкой самоуверенностью, какие неотразимо действуют на женщин. Луша поверяла ему свои задушевные мысли и чувства, как лучшему другу, и сама удивлялась, что могла снизойти до таких нежностей. В ее глазах старый грешник являлся совершенством человеческой природы, каким-то чародеем, который читал у ней в душе и который пересоздал ее в несколько дней, открыв пред ее глазами новый волшебный мир. Что так старательно развивалось и подготавливалось Раисой Павловной в течение нескольких лет, Прейном было кончено разом: одним ударом Луша потеряла чувство действительности и жила в каком-то сказочном мире, – к которому обыденные понятия и мерки были совершенно неприменимы, а прошлое являлось каким-то жалким, нищенским отребьем, которое Луша сменяла на новое, роскошное платье. Все будет новое; по одному мановению руки Прейна вырастут из земли всевозможные чудеса, которые он положит к ее ногам. У Луши кружилась голова, и она ходила, как в тумане. Все то, что слышала она от отца и доктора о какой-то честной жизни, о новых людях, о заветных идеалах – все это не пустой ли бред, который на каждом шагу разбивается действительностью? Взять хоть того же отца, Раису Павловну, других – все говорят одно, а делают другое, обманывают сами себя и в конце концов портят себе жизнь. Прейн, по крайней мере, не притворяется, называет вещи их настоящими именами и обещает только то, что действительно в состоянии исполнить. Под влиянием Прейна Луша

переродилась с такой же быстротой, с какой северные цветы в две-три недели из зеленой почки развертываются всеми своими красками в пышное растение.

– Как все это случилось – я сама не могу дать себе отчета, – говорила иногда в минуты раздумья Луша, ласкаясь к Прейну. – Ведь ты – старый, выдохшийся жуир, я тебя ненавидела и боялась сначала и теперь иногда ненавижу... Но меня что-то тянет к тебе, мне хорошо и легко в твоём присутствии, а когда ты уходишь, меня пожеет тоска. Зачем? Почему? Ничего не знаю и ничего знать не хочу... Мне просто хорошо; хорошо теперь, вот сейчас, когда я смотрю на тебя и когда но думаю о будущем. Я недавно читала историю Мазепы. Этого старика тоже любила одна молоденькая хохлушечка, Матрена Кочубей. По-русски «Матрена» нехорошо звучит, а по-хохлацки русская Матрена превращается в Мотреньку... Мазепа был старше тебя, но гораздо лучше. Какие письма писал он своей Мотреньке! Ах, Прейн, я иногда сама не знаю, что говорю и что делаю. То мне хочется петь и танцевать, иногда плакать, иногда убежать, иногда умереть...

Луша хваталась за голову и начинала истерически хохотать. Сам все испытавший Прейн пугался такого разлива страсти, но его неудержимо тянули к Луше даже дикие вспышки гнева и нелепые капризы, разрешавшиеся припадками ревности или самым нежным настроением. Вдвоем они вволю смеялись над набобом, над генералом с его «болванкой», надо всеми остальными; но когда речь заходила о Раисе Павловне, Луша бледнела и точно вся уходила в себя: она ревновала Прейна со всем неистовством первой любви.

– Ты ее любил... да? – спрашивала Луша тысячу раз. – Не отпирайся, я знаю...

– О нет же, тысячу раз нет! – с спокойной улыбкой отвечал каждый раз Прейн. – Я знаю, что все так думают и говорят, но все жестоко ошибаются. Дело в том, что люди не могут себе представить близких отношений между мужчиной и женщиной иначе, как только в одной форме, а между тем я действительно и теперь люблю Раису Павловну как замечательно умную женщину, с совершенно особенным темпераментом. Мы с ней были даже на «ты», но между нами ничего не могло быть такого, в чем бы я мог упрекнуть себя...

– Ах, верю... и все-таки не могу поверить: это выше моих сил. В сущности, я не особенно забочусь о будущем, потому что знаю только

одно, что я хочу быть всегда свободной... всегда!.. Даже тогда, когда ты обманешь меня. Ведь ты целую жизнь обманывал женщин, и одной больше – одной меньше для тебя ничего не значит. К чему все это говорю я тебе?.. Да... Какая я была глупая раньше, еще так недавно!.. Мечтала, что буду богатой-богатой, у меня будет своя коляска, бриллианты, поклонники, ложа в театре. А теперь... Мне все это надоело, прежде чем я испытала удовольствие обладания настоящим богатством. Ведь тебе ничего не стоит выбросить пятьдесят тысяч, чтобы устроить мне настоящее гнездышко... да? Конечно, я никогда не унижу себя... Ах, я так хорошо представляю себе свое будущее! Пройдет полгода, потом тебе надоест, и ты с своей обычной ловкостью постарайся сбыть меня какому-нибудь другому жуиру, чтобы сейчас же перейти к новому счастью.

– Луша! ты забываешь золотое правило: всякий человек имеет право быть глупым, но не следует злоупотреблять этим правом...

– Нет, уж позвольте, Альфред Иосифович... Я всегда жила больше в области фантазии, а теперь в особенности. Благодаря Раисе Павловне я знаю слишком много для моего возраста и поэтому не обманываю себя относительно будущего, а хочу только все видеть, все испытать, все пережить, но в большом размере, а не на гроши и копейки. Разве стоит жить так, как живут все другие?

Оставаться в своем флигельке для Луши теперь составляло адскую муку, которая увеличилась еще тем, что Виталий Кузьмич жестоко разрешил после поездки в горы и теперь почти не выходил из своей комнаты, где постоянно разговаривал вслух, кричал, хохотал и плакал. Луше делалось просто страшно, когда она оставалась одна с отцом; его постоянный крики смех болезненно раздражали ее напряженные нервы, и она по целым часам, против воли, прислушивалась к бессвязной болтовне отца, которая вертелась главным образом около текущих событий. Это была самая беспощадная философия отчаяния в лицах, пересыпанная меткими сравнениями, остроумными замечаниями и просто красными словечками. Конечным выводом этой философии получалось заключение, что все люди поголовно мерзавцы, только в разной степени, а так называемые порядочные и честные люди – или идиоты, или жертвы известных общественных законов. Везде зло, мелкие животные инстинкты и всеобщее непонимание; истинные союзники

враждуют, враги идут под ручку, противоположности сходятся. Получается болезненно-яркая путаница всяких понятий об «истине, добре и красоте». Свои взгляды и убеждения Прозоров иллюстрировал, причем доставалось всем – и набобу, и Прейну, и генералу, и Тетюеву.

К довершению всех бед, под предлогом помощи Прозорову, в гнилой флигелек повадился ходить Яша Кормилицын, который испытывал мучительную жажду видеть Лушу хотя издали, что вполне объяснялось психологическими, антропологическими и социальными причинами.

Все в природе строго законно, и не пропадает напрасно самое малейшее движение, следовательно, и посещения Яшей Кормилицыным Прозоровского флигелька в общей экономии природы и в ряду социальных явлений должны были иметь высшее научное объяснение.

– Яшка! – кричал Прозоров, размахивая руками. – Зачем ты меня обманываешь? Но ты напрасно являешься волком в овечьей шкуре... Все, брат, потеряно для тебя, то есть потеряно в данном случае. Ха-ха! Но ты, братику, не унывай, поелику вся сия канитель есть только иллюзия! Мы, как дети, утешаемся карточными домиками, а природа нас хлоп да хлоп по носу.

Доктор садился в уголок, на груды пыльных книг, и, схватив обеими руками свою нечесаную, лохматую голову, просиживал в таком положении целые часы, пока Прозоров выкрикивал над ним свои сумасшедшие тирады, хохотал и бегал по комнате совсем сумасшедшим шагом.

Нина Леонтьевна поклялась, что столкновение ее с Прозоровым дорого обойдется Раисе Павловне. Официально она оставалась по-прежнему больна, но это не мешало ей заправлять и руководить всем заговором.

Первой заботой ее было доставить обещанную аудиенцию у набоба Тетюеву, и такая аудиенция наконец состоялась. Часа в два пополудни, когда набоб отдыхал в своем кабинете после кофе, Прейн ввел туда Тетюева. Земский боец был во фраке, в белом галстуке и в белых перчатках, как концертный певец; под мышкой он держал портфель, как маленький министр.

– Очень рад... Много слышал о вас, – встретил Тетюева набоб, пережевывая эти стереотипные фразы. – Не угодно ли вам садиться... Вероятно, Прейн передал вам о предполагаемой консультации?

– Да, да... Мне это тем более приятно, что я буду иметь возможность ясно и категорически высказать те интересы Ельниковского земства, которые доверены мне его представителями, – отцедил Тетюев, закладывая свободную руку за борт сюртука. – Лично против заводов, а тем более против вас, Евгений Константиныч, я ничего не имел и не имею, но я умру у своего знамени, как рядовой солдат.

– Садитесь, пожалуйста! – предложил еще раз Лаптев, рассматривая коренастую фигуру человека, приготовившегося умирать у знамени. – Ваши слова могут сделать большую честь каждому общественному деятелю...

Поклонившись в ответ на комплимент набоба, Тетюев с напускной развязностью занял стул около письменного стола; Прейн, закурив сигару, следил за этой сценой своими бесцветными глазами и думал о том, как ему утишить ненависть Луши к Раисе Павловне.

– Я полагаю, Евгений Константиныч, что кукарское заводууправление в своих отношениях к Ельниковскому земству действовало на свой страх, – продолжал Тетюев, выщипывая свое *profession de foi*^[28] с прежним апломбом. – Я хочу этим сказать, что слишком высоко ценю лично ваши просвещенные и высокогуманные

взгляды на идею земства и льщу себя надеждой, что именно ваше содействие устранил все недоумения. Например, гора Куржак приносит земству всего два рубля семнадцать копеек дохода!

– Скажите... целая гора?

– Да, гора Куржак, которая заключает в себе тридцать миллиардов лучшей в свете железной руды.

Для набоба оба известия были настоящим открытием, и он даже посмотрел с недоумением на Прейна, который равнодушно пускал в пространство синие круги дыма. Польщенный вниманием и изумлением набоба, Тетюев обрушился на его голову целым потоком статистических данных и даже вытащил из портфеля объемистую тетрадь, испещренную целыми столбцами бесконечных цифр. Но эта тетрадь была совсем лишнею: Евгений Константиныч уже истощил весь запас своего удивления и посмотрел на Прейна беспокойным взглядом, точно искал у него защиты. Однако Тетюев, увлекшись, ничего не хотел замечать и осыпал набоба такой массой новых открытий, что тот окончательно потерялся и даже зевнул в руку. Кстати, в этот критический момент Евгений Константиныч вспомнил о генерале, который должен все это знать и все устроить.

– Хорошо, хорошо... Мы постараемся все это устроить общими силами, – заговорил Лаптев, поднимаясь с места и протягивая руку Тетюеву.

– Я...

– Вы подробно изложите свои взгляды на консультации...

– Я, Евгений Константиныч...

– А занятия консультации должны быть кончены в самом непродолжительном времени.

– Я, Евгений Константиныч, буду всегда высоко держать знамя земского обновления, – торжественно провозгласил Тетюев, откланиваясь.

В консультацию, кроме генерала, Прейна и Тетюева, вошли Вершинин и «мой Майзель». Платон Васильич тоже должен был занять место в этом совете бессмертных, но захворал, и на его место был назначен представителем Родион Антоныч. Конечно, такое назначение клеветы Раисы Павловны было встречено партией Тетюева с скрежетом зубным, но, очевидно, Родиону Антонычу покровительствовал сам Прейн, а с этим приходилось мириться

поневоле. Ришелье заявился в собрание «князей и владык мира сего» с самым смиренным видом; он всем кланялся, улыбался заискивающей улыбкой: но все отлично знали пущенную в курятник лису и держали ухо остро. Тетюев морщился и делал вид, что не замечает своего заклятого врага; Майзель не отвечал на поклоны Родиона Антоныча и даже несколько раз толкнул его локтем в бок, конечно, не намеренно. Ввиду такого враждебного настроения Родион Антоныч сначала испытывал большое «угнетение чувств», но, как человек, попавший из темноты прямо на большой свет и ослепленный им, мало-помалу огляделся и самым благочестивым образом занял свое место.

– Смотрите, Родион Антоныч, я вам все доверила, – говорила Раиса Павловна, когда отправляла своего Ришелье на консультацию, – я уверена, что мы выиграем и что вы постоите за себя, но только не трусьте. Ведь они умные только за обедами да за завтраками, а тут нужно будет дело делать. Тетюев болтун, и на него не обращайтесь внимания. Генерал... Ах, Родион Антоныч, Родион Антоныч! Это – самый жалкий и бессильный человек, каких я только видела; из него можно все сделать, поэтому вы не бойтесь его ни на волос... Есть одна пьеса – «Свадьба Фигаро», так там горничная говорит: «Ах, как умные люди иногда бывают глупы!..» Вот именно такой человек генерал.

– А Нина Леонтьевна? – спрашивал смущенный Ришелье.

– Нина Леонтьевна... да от нее и сыр-бор загорелся; в ней, конечно, вся сила, но ведь она не будет принимать участие в консультации, следовательно, о ней и говорить нечего.

Но как ни уговаривала Раиса Павловна своего Ришелье, как ни старалась поднять в нем упавший дух мужества, он все-таки трусил генерала и крепко трусил. Даже сердце у него екнуло, когда он опять увидел этого генерала с деловой нахмуренной физиономией. Ведь настоящий генерал, ученая голова, профессор, что там Раиса Павловна ни говори...

Заседания консультации происходили в длинной комнате, где помещалась богатая старинная библиотека, собранная Лаптевыми в их путешествиях по Европе. Большинство книг было на иностранных языках. Библиотекой, кроме Прозорова, никто не пользовался, и все эти дорогие издания в роскошных переплетах стояли в шкафах без всякой пользы. Теперь посередине комнаты был поставлен длинный

стол, покрытый зеленым сукном; кругом стола были расставлены мягкие кресла, и только одному Родиону Антонычу был предложен простой деревянный стул. Против каждого сиденья была положена пачка чистой бумаги и карандаш; центр стола занимали две стопки разных юридических книг, нужных для справок; горный устав, сборник узаконений о крестьянах, земское положение и т. д. Вообще вся эта торжественная обстановка придавала консультации такой вид, точно в библиотеке готовились заседания какого-нибудь европейского конгресса. Генерал занял председательское кресло, около него поместились Тетюев и Майзель; Вершинин и Родион Антоныч сидели дальше, через стол. На открытие первого заседания явился и сам Евгений Константиныч в сопровождении Прейна и Перекрестова; генерал хотел уступить свое место набобу, но тот великодушно отказался от этой чести. Перекрестов с нахальной улыбкой окинул глазами шкафы книг, зеленый стол, сидевших консультантов и, вытащив свою записную книжечку, поместился с ней в дальнем конце стола, где в столичных ученых обществах сидят «представители прессы».

– Господа! – заговорил генерал официальным сухим тоном, поднимаясь с места. – Мы собрались здесь для очень важного дела, и я считаю своей обязанностью выяснить главные цели нашей консультации. Русская промышленность прогрессирует с каждым годом, и с каждым годом ее интересы захватывают все большую и большую область, соприкасаясь с областями других отраслей производительной деятельности нашей страны. Понятно, что при таком близком соприкосновении разных заинтересованных учреждений, отраслей и лиц происходят неизбежные недоразумения, препирательства и крупные столкновения. Нам приходится иметь дело в настоящем случае с интересами и задачами собственно уральской горной промышленности, в частности – с специально заводскими интересами Кукарского заводского округа, поскольку они связаны с интересами заводского населения, земства и внутренней администрации. Я обращаю особенное ваше внимание, господа, на приведенные сейчас рубрики; мы начнем именно с них, чтобы разрешением этих вопросов расчистить почву для более широких начинаний уже в области русской промышленности вообще, где пред нами встанут другие вопросы и другие задачи. В настоящем случае

важно то, что мы будем обсуждать поставленные вопросы с разных точек зрения, для чего в состав консультации вошли лица различных профессий и различных сфер деятельности. По-моему, именно от такого разнообразного состава зависит вполне беспристрастное решение нашей задачи, и я надеюсь, что всякий из нас внесет свою лепту в общий труд, чтобы сказать вместе с баснописцем:

И моего тут капля меду есть...

Генерал перевел дух, посмотрел через очки на слушателей и, облокотившись рукой на кучку лежавших перед ним деловых бумаг, обратился к набобу:

– Евгений Константиныч! скажу еще несколько слов собственно вам. Помните, Евгений Константиныч, евангельскую притчу о рабе, который получил десять талантов, приумножил их новыми десятью талантами и возвратил своему господину уже не десять талантов, в вдвое больше. Вы именно так поступаете, как этот евангельский раб, собрав нас сюда для работы, которая может иметь значение государственной важности. Время безучастного отношения заводовладельцев к своему специальному делу давно миновало: кому дано много, с того и взыщется много. Вы хорошо поняли это и теперь принимаете участие в нашем общем труде, как наш собрат. Эта готовность послужить общему благу является лучшим залогом успеха. Говорю это как человек науки, который может только пожелать, чтобы и другие заводовладельцы отнеслись к своему делу с такой же энергией и, что особенно важно! с такой же теплотой и искренним участием.

Набоб поклонился и сказал на это приветствие несколько казенных фраз, какие говорят в таких торжественных случаях. Родион Антокыч сидел все время как на углях и чувствовал себя таким маленьким, точно генерал ему хотел сказать: «А ты зачем сюда, братец, затесался?» Майзель, Вершинин и Тетюев держали себя с достоинством, как люди бывалые, хотя немного и косились на записную книжку Перекрестова.

– Чтобы не терять напрасно времени, мы прямо приступим к тому вопросу, который отчасти и вызвал поездку Евгения Константиныча на заводы, – вновь начал генерал, перебирая бумаги около себя. – Я хочу сказать о недоразумениях, которые возникли между кукарским заводоуправлением – с одной стороны, и

крестьянским обществом – с другой. Кстати, мне пришлось хорошо познакомиться с этим вопросом из первых рук: я имел случай несколько раз говорить с представителями крестьянского общества, а кроме того, я получил довольно обстоятельный доклад, собственно, от кукарского заводууправления специально по этому делу.

«Вот оно когда началось-то...» – подумал Родион Антоныч, чувствуя, как его вперед прошибло холодным потом.

А генерал уже достал из портфеля объемистую тетрадку и положил ее перед собой; в этой тетрадке Родион Антоныч узнал свою докладную записку, отмеченную на полях красным карандашом генерала, – и вздохнул свободнее. Рядом с этой рукописью легла мужицкая бумага, тоже размеченная и подчеркнутая. Началось длинное чтение, которое в первые же десять минут нагнало тоску на Евгения Константиныча, так что ему стоило большого труда, чтобы удержаться и не заснуть. Прейн поймал эту мальчишескую выходку и едва заметно покачал головой. Чтение докладной записки и мужицкой бумаги продолжалось битый час, а за чтением генерал сказал свое короткое резюме и открыл прения. Майзель и Тетюев напали на несправедливость действия кукарского заводууправления по отношению к крестьянскому обществу в том смысле, что заводууправление то допускало напрасные послабления, то устраивало бесполезные прижимки; Вершинин отмалчивался, ожидая, что скажет сам генерал.

– Я решительно и во всем обвиняю заводууправление, – резал Майзель, обрадовавшись случаю сорвать злость. – Отсутствие выдержки, неумение поставить себя авторитетно, наконец профанация власти – все это, взятое вместе, и создало упомянутые недоразумения.

– Не угодно ли будет вам, господин Сахаров, высказаться по этому вопросу? – предложил генерал, когда стороны были выслушаны.

Родион Антоныч не смутился и пункт за пунктом принялся разбивать обвинения своих противников, причем воодушевился настолько, что удивил всех своей смелостью и отчетливым знанием дела.

– Да это – тот самый, который, помнишь, прогнал собаку Майзеля, а потом боролся со мной по-татарски? – спрашивал набоб Прейна.

– Да, секретарь Горемыкина. Делец... – коротко аттестовал Преин, с удовольствием слушая ораторствовавшего Родиона Антоныча.

Завязались прения, причем Родиону Антонычу приходилось отъедаться разом от троих. Особенно доставалось бедному Ришелье от Вершинина, который умел диспутировать с апломбом и находчивостью. Эта неравная борьба продолжалась битых часа полтора, пока стороны не пришли в окончательный азарт и открыли уже настоящую перепалку.

– Господа, я полагаю, лучше будет выслушать самих крестьян, а потом уже продолжать дебаты, – предложил Преин, желая спасти Родиона Антоныча от раз-громления.

Все шумно поднялись с своих мест и продолжали спорить уже стоя, наступая все ближе и ближе на Родиона Антоныча, который, весь красный и потный, только отмахивался обеими руками. «А Преин еще предлагает привести сюда мужиков...» – думал с тоской бедный Ришелье, чувствуя, как почва начинает колебаться у него под ногами.

– До завтра, господа! – кричал генерал, стараясь заглушить споривших. – А завтра мы выслушаем крестьянских ходоков... Это будет лучше.

Прямо с консультации Тетюев, Майзель и Вершинин отправились в генеральский флигелек, к Нине Леонтьевне, а Родион Антоныч побрел к Раисе Павловне, где и встретил Преина, хохотавшего, как сумасшедший. Раиса Павловна тоже смеялась и встретила своего Ришелье с необыкновенной любезностью.

– Устали вы, Родион Антоныч? – спрашивала она, усаживая его в кресло. – Кофе подать вам или закусить? Слышала, все слышала... Настоящую вам баню задали – ну, что делать, нужно потерпеть!

– Уж потерпим, пока терпится, – согласился уныло Родион Антоныч, вытирая платком лицо и шею.

– Все отлично идет! – хвалил Преин, потирая руки. – Как на заказ!

– А с мужиками вы зачем назвались, Альфред Осипыч? – корил Родион Антоныч. – Нечего сказать, отлично... Да они всю душу вымотают, а толку все равно не будет никакого.

– С мужиками еще лучше будет, – весело отвечал Преин. – А вы держите свою линию – и только. Им ничего не взять... Вот увидите.

– Генерал-то молчит что-то.

– И пусть молчит... А Евгению Константинычу очень понравился ваш доклад. Он узнал вас.

Конечно, все это было приятно и утешительно, но перспектива новых битв пугала Родиона Антоныча, потому что один в поле не воин. Ох, грехи, грехи!

На следующий день действительно были приглашены на консультацию волостные старички с Кожиным, Семенычем и Вачегиным во главе. Повторилась приблизительно та же сцена: ходоки заговаривались, не понимали и часто падали в ноги присутствовавшему в заседании барину. Эта сцена произвела неприятное впечатление на Евгения Константиныча, и он скоро ушел к себе в кабинет, чтобы отдохнуть.

– Чего они хотят от меня? – спрашивал он Прейна. – Удивляюсь... И к чему это унижение, эти поклоны! Ведь теперь не крепостное право, все одинаково свободные люди.

– Это верно, но и к свободе нужно привыкнуть, – объяснял Прейн. – Эти земные поклоны еще остатки крепостного права, когда заводских мастеровых держали в ежовых рукавицах.

– Зачем же эти униженные просьбы, – я все-таки не пойму. Если дело мастеровых правое, тогда они стали бы требовать, а не просить... Разве мой Чарльз будет кланяться кому-нибудь в ноги?

Родион Антоныч не ошибся в своих расчетах: присутствие мужиков окончательно перепутало весь ход работ консультации. Эти живые документы разных заводских неправд, фабрикованных ловкими руками Родиона Антоныча, производили известное впечатление на генерала, не привыкшего обращаться с живыми людьми. «Какие разговоры с мужичьем, – думал Родион Антоныч про себя, – в шею их, подлецов. Нет, в три шеи, да еще отпороть на прибавку, чтобы пустяками не занимались. Ох, времена!» Но главным неудобством в положении Родиона Антоныча была его совершенно фальшивая роль и этом деле: он насквозь видел всех, видел все ходы и выходы и должен был отмалчиваться. Тот же Тетюев и Майзель толкуют за мужиков, а сами из-за мужичьей спины добивают Раису Павловну. Дай-ка им в руки этих мужиков, да они бы из них лучины нащепали. А генерал всякому ихнему слову верит, потому что они по-образованному умеют говорить, ученые слова разговаривают. Тоже

если взять и заводское дело: плетут из пятого в десятое, а настоящей сути все-таки нет. Разве такие порядки должны быть? Вон Прейн, даром что немец, а всех видит... Ох, тонкий, оборотистый человек, только не провел бы он нас с Раисой Павловной. Даже крестьянские ходоки – и те перестали ломать шапку перед Родионом Антонычем, а краснобай Семеныч, встретив его на улице, с необыкновенной развязностью спросил:

– А што, Родивон Антоныч, бают, у тебя супротив енарала-то неустойка выходит? Ты вот нам прижимку сделал, а енарал по душе все хочет разобрать...

Это уж было слишком. Все кругом рушилось, и дни Раисы Павловны были сочтены. Тетюев одолевал генерала с земством, а в сущности Раису Павловну подсиживал. И умен только, пес, уродился, такие углы загибает генералу, что успевай слушать! Дальше Вершинин начал сильно гадить – тоже мужик не в угол рожей, пожалуй, еще почище будет Авдея Никитича. Одним словом, чем дольше шли работы консультации, тем положение Ришелье делалось невыносимее, и он уже потерял всякую веру даже в Прейна, у которого вечно семь пятниц на неделе. К Раисе Павловне Сахаров редко заглядывал, ссылаясь на работу. Ввиду всех этих грозных признаков, омрачавших горизонт, бедный кукарский Ришелье находил единственное утешение в своем курятнике, где и отдыхал душой в свободные часы. Известно, что все великие исторические люди питали маленькие слабости к разным животным, может быть выплачивая этим необходимую дань природе, потратившей на них слишком много ума.

А партия Тетюева торжествовала совсем открыто, собираясь у Нины Леонтьевны, где об изгнании Раисы Павловны все говорили, как о деле решенном. Параллельно с этим торжеством начинались новые происки и интриги, причем недавние союзники начинали играть уже «всяк в свои козыри», потому что каждому хотелось занять место Горемыкина. Конечно, это место всего легче было добыть через посредство Нины Леонтьевны, курсы которой поднялись необыкновенно высоко. И в самом деле, она не только привезла набоба на Урал, но и руководит каждым шагом генерала. Кроме общих совещаний, каждый из тетюевцев старался выслужиться перед Ниной Леонтьевной частными визитами, причем происходили забавные

встречи, неожиданности и недоразумения. Тетюев подозревал Вершинина, Майзель – Тетюева, Вершинин – Тетюева и Майзеля; одним словом, заварилась настоящая дипломатическая каша, в которой больше всех выигрывала Нина Леонтьевна.

Перекрестов, бывший всегда там, где везло счастье, находился в числе неизменных гостей Нины Леонтьевны и расточал перед ней самые лестные речи.

– Без вас, Нина Леонтьевна, никому и ничего не сделать бы, – говорил представитель русской прессы, приятно осклабясь. – Хотите, я напишу о вас целый фельетон?

Впережку с этой неисчерпаемой ложью Перекрестов искал блох у Коко или сплетничал про все и про вся. Нина Леонтьевна очень ценила этого литературного человека и в ответ на его любезности предложила ему небольшую работу.

– Знаете что, – сообщила она, – я говорила о вас с Мироном, и мы решили передать вам один заказ... Именно, вы будете писать историю фамилии заводладельцев Лаптевых.

– Я с удовольствием... – соглашался Перекрестов, целуя у Нины Леонтьевны ручку.

– Условия работы такие: пока будете работать – три тысячи в год, за работу пять тысяч, а если ваша работа понравится Евгению Константинычу, тогда он, без сомнения, наградит вас по-царски.

– Благодарю, благодарю вас, Нина Леонтьевна. Чем я могу заплатить вам за внимание к моим слабым силам?

– Угадайте, чем можете заплатить? Ха-ха... Как это наивно, чтобы не сказать больше! Вы можете сослужить большую службу русскому горному делу своим пером... Догадались?

– Помилуйте, Нина Леонтьевна, да зачем же я сюда и ехал?.. О, я всей душой и всегда был предан интересам горной русской промышленности, о которой думал в степях Северной Америки, в Индийском океане, на Ниле: это моя *idée fixe*^[29]. Ведь мы живем с вами в железный век; железо – это душа нашего времени, мы чуть не дышим железом...

– Я понимаю вас, Перекрестов, – сентиментально проговорила Нина Леонтьевна, тронутая этим патетическим монологом.

– И я отлично вас понимаю, Нина Леонтьевна! – воскликнул Перекрестов. – Мне было достаточно увидеть вас... И уж никогда я не

сравню вас с другими женщинами! Знаете, Нина Леонтьевна, Раиса Павловна считает себя самой умной женщиной и не подозревает, как вы ей салазки смажете... Ха-ха! Вы сослужите русскому горному делу золотую службу, Нина Леонтьевна!

Заручившись симпатиями Нины Леонтьевны, а также выгодной работой по части жизнеописания Лаптевых, Перекрестов тоже возмечтал. Ведь в самом деле, мыкался, мыкался он по всем континентам, продавал все и всех, заискивал, льстил, унижался и все-таки гол как сокол! Надо же когда-нибудь и остепениться! В бесшабашной голове Перекрестова мелькнула счастливая мысль: а что, если бы ему, Перекрестову, занять место Горемыкина... а?.. На эту интересную тему Перекрестов продумал целую ночь, набросал даже в своей книжечке на всякий случай план реформ, какие он произведет в Кукарских заводах, и весь следующий день ходил с самым таинственным видом, точно какой-нибудь заговорщик.

– Что это с тобой сделалось? – с участием спрашивал его Летучий. – Уж не болит ли у тебя живот?

XXVIII

Пока шла ожесточенная борьба партий, беззаботная половина человеческого рода веселилась напропалую, изобретая каждый день новое удовольствие. Под предлогом развлечения Евгения Константиныча устраивались гулянья в саду, семейные вечера, катанья по пруду на лодках, пикники и т. д. Молодежь находила тысячи средств веселиться, пока люди зрелого возраста рыли друг другу волчьи ямы, злословили и преисполнялись самыми ожесточенными мыслями и чувствами. Аннинька и m-lle Эмма проводили время в обществе Братковского, Перекрестова и Летучего самым веселым образом и находили, что лучшего ничего и желать невозможно. Особенно так думала Аннинька, формально объяснившаяся Братковскому в любви.

– Я тоже вас люблю... – лениво ответил поляк. – Только обещать вам ничего не могу, потому что...

– Ах, боже мой! Да разве я что-нибудь требую от вас? – задыхающимся шепотом говорила Аннинька, блестя своими темными глазками. – Ведь вы скоро уедете... времени остается так мало.

В ответ на это Братковский целовал Анниньку и шепотом говорил тот любовный вздор, который непереволим ни на какой язык, хотя отлично понимается всеми, как музыка без слов. Как все влюбленные девушки, Аннинька таскала за собой Братковского по разным тенистым уголкам в саду, одолевала его массой записочек и ревновала даже к Нине Леонтьевне. Конечно, каждый вечер m-lle Эмма должна была выслушать бесконечную болтовню Анниньки, которая изнывала от душившей ее потребности рассказать кому-нибудь о своем счастье. M-lle Эмма любила, раздевшись и улегшись в постель, долго жевать что-нибудь сладкое: сосала леденцы, грызла орехи, доедала припасенное заранее мороженое и конфеты, причем погружалась в сладкое созерцательное настроение, как жующая жвачку овечка. Аннинька пользовалась этим моментом душевного расслабления своей подруги, забиралась к ней с ногами на кровать и принималась без конца рассказывать о своей любви, как те глупые птички, которые щебечут в саду на заре от избытка преисполняющей их жизни. Таким

образом m-lle Эмма имела удовольствие узнать все достоинства пана Братковского, который был совершенством человеческой природы и, наверное, происходил из какой-нибудь старинной королевской фамилии.

– Отлично, все отлично, – лениво соглашалась m-lle Эмма, рассматривая свои упругие круглые руки. – А этот переодетый принц не рассказывал тебе, сколько он таких дур, как ты, надул на своем веку? Спроси как-нибудь.

– Да мне-то какое дело? Конечно, надувал и еще сто дур надует, а все-таки я его люблю. Если бы ты, Эминька, знала, как я этого красивого мерзавца люблю! Право, я съела бы его или задушила бы, если бы могла... Глаза у него какие, Эминька!

– Дурища ты безголовая, Апька, вот что я тебе скажу! – полушутя, полунаставительно говорила m-lle Эмма.

– Что же, Эминька, разве я не знаю, что я глупенькая... «Галка», как Прозоров говорит. Все равно пропадать, так хоть месяц поживу в свое удовольствие!

В припадке нежности и отчаяния Аннинька и плакала, и хохотала, и сто раз принималась целовать m-lle Эмму – в лицо, шею, даже ее голые точеные руки.

– Ты смотри, как Лушка устроилась, – говорила m-lle Эмма, напрасно стараясь отбиться от поцелуев Анниньки. – Не бойсь, не по-нашему с тобой... Мне, ей-богу, она начинает нравиться: умная! Вон как Прейна забрала, а уж, кажется, он весь свет оплетет. И сама себя бережет, лишнего ничего не позволит. Так и следует поступать умной девушке, а то поцеловались два раза – и кончено! точно разварная рыба, хоть ты ее с хреном ешь, хоть с горчицей. Лушка и Раису Павловну проведет... Та ее за Лаптева прочит... Ха-ха! Ей-богу, я начинаю любить эту Лушку!

В минуту отдыха, раздевшись и прикрыв свое круглое белое тело одеялом, m-lle Эмма любила пофилософствовать на разные житейские темы, причем все у ней выходило как-то необыкновенно спокойно и чуть-чуть было приправлено тонкой и умной насмешкой. В этом сколоченном на заказ организме, работавшем, как машина, для философии отчаяния не оставалось ни одного свободного уголка, потому что m-lle Эмма служила живым воплощением самого завидного душевного равновесия. Даже такие критические

обстоятельства, которые теперь заставляли весь кукарский господский дом, со всеми флигелями и пристройками, переживать самые тревожные минуты, не беспокоили особенно m-lle Эмму, хотя она, после падения Раисы Павловны, буквально должна была идти на улицу, не имея куда приклонить голову. Сама Раиса Павловна в минуты отчаяния посылала за m-lle Эммой, и одно присутствие этой жирной, как семга, немки успокаивало ее расхоловшиеся нервы. К передрягам и интригам «большого» и «малого» двора m-lle Эмма относилась совсем индифферентно, как к делу для нее постороннему, а пока с удовольствием танцевала, ела за четверых и не без удовольствия слушала болтовню Перекрестова, который имел на нее свои виды, потому что вообще питал большую слабость к женщинам здоровой комплекции, с круглыми руками и ногами.

Слушая болтовню Анниньки, m-lle Эмма припоминала свой последний разговор с Перекрестовым, который сделал ей довольно откровенное предложение, имея в виду открывавшуюся вакансию главного управляющего Кукарскими заводами.

– Мы люди умные и отлично пойдем друг друга, – говорил гнусавым голосом Перекрестов, дергая себя за бороденку. – Я надеюсь, что разные охи и вздохи для нас совсем лишние церемонии, и мы могли бы приступить к делу прямо, без предисловий. Нынче и книги без предисловий печатаются: открывай первую страницу и читай.

– Что вы хотите сказать этим? – сердито спрашивала m-lle Эмма, чувствовавшая, что тут дело идет совсем не об ее уме.

– Вы меня отлично понимаете, mademoiselle Эмма; к чему притворяться? Мы устроились бы в Петербурге отлично. У меня есть работа, известное обеспечение; наконец, очень солидные виды на будущее, которым вы остались бы довольны...

Бессовестно лстя уму и прочим добродетелям m-lle Эммы, Перекрестов высказал самое откровенное желание поближе познакомиться с ее крупной талией, но получил в ответ такой здоровый удар кулаком в бок, что даже смутился. Смутился Перекрестов, проделывавший то же самое во всех широтах и долготах, – это что-нибудь значило! Но m-lle Эмма не думала разыгрывать из себя угнетенную невинность и оскорбляться, а проговорила совершенно спокойно:

– Нет, батенька, это дело нужно оставить: у вас ничего нет, и у меня ничего нет – толку выйдет мало. Я давно, знаю эти умные разговоры, а также и то, к чему они ведут... Одним словом, поищите дуры попроще, а я еще хочу пожить в свою долю. Надеюсь, что мы отлично поняли друг друга.

В последнее время Братковский имел меньше времени для свиданий с Аннинькой, потому что в качестве секретаря генерала должен был присутствовать на консультации, где вел журнал заседаний и докладывал протоколы генерала, а потом получил роль в новой пьесе, которую Сарматов ставил на домашней сцене. С секретарскими работами Аннинька мирилась, но чтобы ее «предмет» в качестве *jeune premier*^[30] при всех на сцене целовал Наташу Шестеркину, – это было выше ее сил.

– Я этой Наташке все глаза выцарапаю, – уверяла Аннинька в порыве справедливого негодования. – Вот увидишь, Эминька, как кошка, так и вцеплюсь. Пусть тогда Братковский целуется с ней.

– Нашла кого ревновать, – презрительно замечала m-lle Эмма. – Да я на такого прощельгу и смотреть-то не стала бы... Терпеть не могу мужчин, которые заняты собой и воображают бог знает что. «Красавец!», «Восторг!», «Очаровал!» Тьфу! А Братковский таращит глаза и важничает. Ему и шевелиться-то лень, лупоглазому... Теленок теленком... Вот уж на твоём месте никогда и не взпянула бы!

Аннинька зажимала рот m-lle Эмме рукой и продолжала свое, как ее ни уговаривала рассудительная подруга, не любившая в жизни никакой суеты, даже в любви. Но уговорить Анниньку было не так-то легко: она скрежетала зубами, рвала на себе волосы и вообще страшно неистовствовала. Иногда она старалась не думать о готовившемся спектакле, но ее точно подталкивал какой-то бес и шептал на ухо: «Вот теперь Братковский идет на репетицию... вот он в уборной у Наташи и помогает ей гримироваться... вот он улыбается и смотрит так ласково своими голубыми глазами». Бедная «галка» ходила, как помешанная, и, не имея сил преодолеть чувства ревности, решила накрыть Братковского на самом месте преступления, то есть подкараулить на одной из репетиций.

Сарматов, так милостиво отмеченный набобом, хотел удивить мир злодейством, как сам характеризовал свою театральную затею. Он не щадил ни себя, ни других, чтобы удивить набоба блестящей

постановкой пьесы. Нужно было выбрать такую пьесу, где можно было бы показать всех кукарских красавиц разом. После долгих колебаний Сарматов остановился на одной из комедий Потехина. В число исполнителей были завербованы все наличные силы и, между прочим, Луша Прозорова. Последним Сарматов подкупил всемогущего Прейна, который молча и многозначительно пожал руку театральному директору.

– Старый артиллерист все видит и умеет молчать, как рыба, Альфред Осипыч, – ответил на это пожатие Сарматов.

– Благодарю, благодарю... А какой костюм нужно будет сделать для Прозоровой?

– Костюм? Можно белый, как эмблему невинности, но, по-моему, лучше розовый. Да, розовый – цвет любви, цвет молодости, цвет радостей жизни!.. – говорил старый интриган, следя за выражением лица Прейна. – А впрочем, лучше всего будет спросить у самой Гликерии Виталиевны... У этой девушки бездна вкуса!

Прейн улыбнулся и фамильярно потрепал старого солдата по плечу.

Луша с удовольствием согласилась принять участие в спектакле, потому что сидеть в своем флигельке и слушать пьяный бред отца ей было хуже смерти. Она еще никогда не играла на сцене и с любопытством новичка увлекалась даже неприглядной изнанкой театра. Ей нравилась эта длинная мрачная казарма, служившая временным помещением для театра. Сколоченные на живую руку подмости едва освещались двумя-тремя дрянными лампами, и эта убогая любительская сцена, загромажденная кулисами и декорациями, терялась в окружавшем мраке громадного здания мутным пятном. Подойдя к рампе, Луша подолгу всматривалась в черную глубину партера, с едва обрисовавшимися рядами кресел и стульев, населяя это пространство сотнями живых лиц, которые будут, как один человек, смотреть на нее, ловить каждое ее слово, малейшее движение. Перспектива сценической деятельности как-то вдруг досказала Луше то, чего ей недоставало: вот где ее место... Девушке нравилось здесь все – и затхлый, застоявшийся воздух, пропитанный запахом свежей краски от декораций, керосином и еще какой-то гнилой дрянью, и беспорядочность закулисной обстановки, и общая бестолковая суматоха, точно она попала в трюм какого-то громадного

корабля, который уносил ее в счастливую даль. Что-то фантастическое чувствовалось кругом, точно какая детская сказка без начала и конца... А главное, вся эта театральная обстановка как нельзя больше отвечала душевному настроению Луши. Ведь вся эта нескладная театральная суматоха и всеобщая путаница являлась только живым сколком и продолжением того, что считалось за действительность в господском доме; те же декорации и кулисы, тот же оптический обман на каждом шагу и только меньше фальши и лжи, хотя актеры и актрисы должны были изображать совсем других людей.

Даже неистовство Сарматова нравилось Луше, потому что он неистовствовал от чистого сердца, не скрывая своего желания выслужиться. В пылу усердия он кричал на всех каким-то неестественным тонким голосом, как поют молодые петухи, ходил по сцене театрально-непринужденным шагом, говорил всем дерзости и тысячью других приемов старался вдохнуть в своих сотрудников по сцене одолевший его артистический жар. Особенно доставалось Наташе Шестеркиной и Канунниковой, которые не раз плакали от выходок Сарматова и все-таки продолжали приносить непосильные жертвы на алтарь искусства.

– Наталья Ефимовна! актриса должна себя держать совсем непринужденно на сцене!.. – кричал Сарматов на конфузившуюся Шестеркину. – А вы не знаете, куда деваться с руками... Наталья Ефимовна! ради всего святого уберите ваши коленки! Ах, боже мой! Извините! коленки вы убрали, а зачем, с позволения сказать, начинаете выпячивать живот и переваливаетесь, как гусыня. А вы, mademoiselle Канунникова, вы держите голову с таким трудом, точно она набита у вас свинцовой дробью. Держитесь свободно, не стесняйтесь! Вон посмотрите на Братковского: этот гусь точно родился на сцене, а между тем я чувствую, что он-то и провалит меня, без ножа зарежет... Признайтесь, Гуго Альбертович, ведь вы до сих пор своей роли ни в зуб толкнуть и будете удить рыбу из суфлерской будки?..

Братковский только улыбался и даже не давал себе труда отшучиваться.

На репетициях, кроме официально назначенных актеров, толпились в качестве добровольцев Перекрестов с Летучим. Эти «почти молодые люди» постоянно заглядывали в дамскую уборную и

старались заслужить внимание любительниц разными мелкими услугами: переставляли стулья, носили переписанные роли и даже пришивали пуговицы, когда это требовалось. Перекрестов толкался на сцене из любви к искусству и отчасти движимый желанием поволочиться за хорошенькими женщинами при той сближающей обстановке, какую создают любительские спектакли. Что касается Летучего, то этот прогоревший сановник, выдохшийся даже по части анекдотов из «детской жизни», спился окончательно и приходил в театр с бутылкой водки в кармане, выпивал ее через горлышко где-нибудь в темном уголке, а потом забирался в самый дальний конец партера, ложился между стульями и мирно почивал.

– Театр – это цивилизующая сила, – ораторствовал Перекрестов, забравшись в дамскую уборную. – Она вносит в темную массу несравненно больше, чем все наши университеты и школы. Притом сцена именно есть та сфера, где женщина может показать все силы своей души: это ее стихия как представительницы чувства по преимуществу.

Театральная суматоха была нарушена трагико-комическим эпизодом, который направлен был рукой какого-то шутника против Сарматова. Именно, во время одной репетиции, когда все актеры были в сборе, на сцене неожиданно появилась Прасковья Семеновна, украшенная розовыми бантиками.

– Мне нужно видеть директора театра, – спрашивала она совершенно серьезным тоном, отыскивая глазами Сарматова.

– К вашим услугам, сударыня, – с комической вежливостью расшаркивался Сарматов, напрасно придумывая какую-нибудь остроумную шуточку над полусумасшедшей девушкой. – Чем могу служить вам?

– Я получила приглашение от вас играть роль первой любовницы, – с прежним спокойствием проговорила Прасковья Семеновна, не замечая насмешливых улыбок. – Вот я и пришла...

– Это недоразумение, Прасковья Семеновна... – смутился Сарматов от такой неожиданности. – У нас уже есть первая любовница.

Этот ответ искажил добродушно-сосредоточенное лицо Прасковьи Семеновны; глаза у ней сверкнули чисто сумасшедшим гневом, и она обрушилась на директора театра целым градом упреков и ругательств,

а потом бросилась на него прямо с кулаками. Ее схватили и пытались успокоить, но все было напрасно: Прасковья Семеновна отбивалась и долго оглашала театр своим криком, пока пароксизм бешенства не разрешился слезами.

– Меня все обманывают, – шептала несчастная девушка, глотая слезы. – И теперь мое место занято, как всегда. Директор лжет, он сам приглашал меня... Я буду жаловаться!.. О, я все знаю, решительно все! Но меня не провести! Да, еще немножко подождите... Ведь уж он приехал и все знает.

Нашлись такие любители скандалов, которые хотели потешиться над заговаривавшейся девушкой, но какая-то добрая рука увела ее со сцены под одним из тех предлогов, при помощи которых заставляют уходить из комнаты детей. На Лушу этот маленький эпизод подействовал крайне тяжело, и она просидела все время в уборной, пока Прасковья Семеновна кричала и плакала на сцене. Но после репетиции, когда Луша проходила по узкому коридорчику между кулисами, кто-то в темноте схватил ее за руку точно железными клещами, так что она даже вскрикнула от испуга и боли.

– А, попалась... Ха-ха!.. – кричал хриплый голос, по которому Луша едва узнала Прасковью Семеновну. – Ты отбила мое место, но я тебе устрою штуку. Ты будешь меня помнить... Ха-ха!..

Луша чувствовала на себе пристальный взгляд сумасшедшей и не смела шевельнуться; к ее лицу наклонялось страшное и искаженное злобой лицо; она чувствовала порывистое тяжелое дыхание своего врага, чувствовала, как ей передается нервная дрожь чужого бешенства. Подоспевший на выручку Братковский помог освободиться Луше от этого объяснения, и она едва добрела до уборной, где и упала в обморок. Поднялась новая суматоха, послали за доктором, но Луша пришла в себя сейчас же, как ее вспрыснули холодной водой. Она долго сидела на грязном диванчике в уборной, плохо понимая, что делается кругом, точно все это был какой-то сон, тяжелый и мучительный. Только когда в дверях уборной показалась длинная фигура доктора Кормилицына, Луша точно проснулась.

– Не нужно, ничего не нужно... – проговорила она, жестом прося доктора не входить. – Мне лучше... Это пустяки. Не говорите ничего отцу.

– Что такое случилось? что с вами, мой ангел? – кричал Преин, врываясь в уборную: его тоже успел кто-то предупредить. – Ах, как я испугался...

– Напрасно... Может быть, лучше было бы умереть, – проговорила Луша, начиная сердиться. – Уходите, пожалуйста... «мой ангел»!

В последнее время все стали замечать, что Прасковья Семеновна сильно изменилась: начала рядиться в какие-то бантики, пряталась от всех, писала какие-то таинственные записочки и вообще держала себя самым странным образом. Раиса Павловна давно заметила эту перемену в сумасшедшей и боялась, как бы она не выкинула какой-нибудь дикой штуки в присутствии набоба; но выселить ее из господского дома не решалась.

Аннинька, желая накрыть Братковского на самом месте преступления, несколько раз совершенно незаметно пробиралась на сцену и, спрятавшись где-нибудь в темном уголке или за кулисами, по целым часам караулила свой «предмет». Эта засада, однако, не приводила ни к каким положительным результатам, потому что Братковский держал себя, как и все другие мужчины. Впрочем, с прозорливостью влюбленной Анниньки поймала несколько таких взглядов Наташи Шестеркиной на «предмет», что сомнения не оставалось. Наташа любила его. Сделанное открытие стоило Анниньке больших слез и еще большей злобы против счастливой соперницы; оставалось только выследить их вдвоем и накрыть.

Всем влюбленным случай, как известно, является покорнейшим слугою; он же помог и Анниньке довершить предпринятый подвиг. Репетиция была назначена вечером; Аннинька с утра притворилась больной, а когда m-lle Эмма ушла к Раисе Павловне, она, как ящерица, улизнула в театр и пробралась на свой наблюдательный пост. На этот раз Братковский нетерпеливо шагал по сцене, заложив руки за спину. Не оставалось никакого сомнения, что он ждал ее. Было еще рано, и актеры только что начинали собираться и шушукались отдельными кучками. Братковский несколько раз посмотрел на часы и все поправлял свои русые волосы нетерпеливым жестом. Но вот мимо Анниньки скользнула знакомая женская фигура, закутанная в большой платок: это была Наташа Шестеркина. Она прошла к тому углу сцены, где были свалены старые декорации, и сделала знак Братковскому,

чтобы он шел за ней. Аннинька должна была придерживать грудь рукой, чтобы сдержать колотившееся сердце, а потом она, как кошка, начала подкрадываться к уединившейся парочке. Ей пришлось сделать порядочный крюк, чтобы подойти к вороху кулис совершенно незамеченной. Вот уж близко, всего несколько шагов... Можно рассмотреть, как Братковский крепко обнял Наташу одной рукой и, наклонив голову, что-то внимательно слушал. Потом до ушей Анниньки донесся сдержанный счастливый смех ее разлучницы. Вся кровь прилила к голове Анниньки, сердце замерло, в глазах пошли красные круги; еще несколько шагов – и она у цели. Счастливая парочка так близко от нее, что можно доскочить одним прыжком; и Аннинька почти чувствует под своими ногтями белую кожу Наташи Шестеркиной. Но нужно немного перевести дух...

– Что же она? – спрашивал Братковский.

– Она?.. Ха-ха... Аннинька такая глупая, что ее обмануть ничего не стоит. Ведь она караулила тебя здесь все время, а ты и не подозревал?

– Этого еще недоставало!.. Ничего нет скучнее этих кисейных барышень, которые ничего не понимают... Ведь сама видит, что надоела, а уйти толку не хватает.

– А тебе неужели не жаль Анниньки?

– Я могу женщину любить только до тех пор, пока она не потеряла ума, а как только начались охи, да вздохи, да еще слезы...

Братковский сделал выразительный жест рукой, а Шестеркина засмеялась. Аннинька слишком хорошо изучила ее манеру говорить и смеяться и вся дрожала, как в лихорадке. Послышался долгий поцелуй.

– А все-таки необходимо поскорее отделаться от этой дуры, – заговорила опять Шестеркина, прижимаясь к своему кавалеру, – а то она еще, пожалуй, устроит такой скандал, что и не расхлебашь.

– Вздор!..

– Нет, я ее отлично знаю...

Аннинька не могла больше выносить и, как тигренок, бросилась на свою жертву, стараясь вцепиться ей прямо в лицо. Неожиданность нападения совсем обескуражила Братковского, он стоял неподвижно и глупо смотрел на двух отчаянно борющихся женщин, которые скоро упали на пол и здесь уже продолжали свою борьбу.

– Анька... дура! Да ты, кажется, совсем с ума сошла? – послышался голос защищавшейся.

У Анниньки упали руки при звуках этого знакомого голоса – это была не Наташа Шестеркина, а m-lle Эмма, которая смешно барахталась своими круглыми руками и ногами, напрасно стараясь оттолкнуть нападавшую Анниньку.

– Право, настоящая дура! – уже сердито проговорила m-lle Эмма, поднимаясь с пола. – Ну, к чему было лицо ногтями царапать?..

Бедная, уничтоженная Аннинька сидела на полу в самом отчаянном виде и решительно не могла понять, во сне она или наяву.

Занятия консультации были в полном разгаре, хотя сам Евгений Константинович теперь редко посещал ее заседания. Дело Родиона Антоныча было совсем дрянью, и он, махнув на все рукой, плыл туда, куда его уносил стремительный поток событий. Да и что он мог сделать один против четверых? Выходила полная неустойка, как говорил Семеныч. Тетюевцы разнесли по щепам всю внутреннюю политику Раисы Павловны, и беспристрастный генерал, находившийся под сильным давлением Нины Леонтьевны, заметно начал склоняться на сторону тетюевцев. В чаше испытаний, какую приходилось испытать Родиону Антонычу, мужицкие ходки являлись последней каплей, потому что генерал хотя и был поклонником капитализма и смотрел на рабочих, как на олицетворение пудо-футов, но склонялся незаметно на сторону мужиков, потому что его подкупал тон убежденной мужицкой речи.

– Твое желание исполнилось, – говорил Прейн, отыскав Лушу в театре, – Платона Васильевича мы покончили совсем...

– А ты не обманываешь меня?..

– Если не веришь мне, так завтра сама можешь узнать от Раисы Павловны, – ответил Прейн обиженным тоном порядочного человека.

Луша торжествовала: ее заветное желание исполнилось. Сегодня идти к Раисе Павловне было поздно, но зато завтра она воочию убедится в случившемся. Ей страстно хотелось видеть, как Раиса Павловна примет известие о своем поражении и как она отнесется к Прейну, на которого надеялась, как на каменную стену. Вот будет комедия!..

Луша долго не могла заснуть в эту ночь. Вслед за картиной поражения Раисы Павловны перед ней встала другая, более широкая – это торжество партии Тетюева, с Ниной Леонтьевной во главе. Вот самодовольная, надутая фигура «моего Майзеля», вот хитро улыбающееся бородатое лицо Вершинина, вот делец Тетюев с своим «я», вот сама «чугунная болванка», расплывшаяся и безобразная... Луша одинаково ненавидела эту торжествующую шайку дельцов, ненавидела той отраженной ненавистью, какая созрела в ней в

последнюю поездку в горы, когда все начинали смотреть на нее, как на кандидатку в куртизанки. Особенно ненавидела Луша заводских аристократов, которые так жалко пресмыкались перед Ниной Леонтьевной... Чем Раиса Павловна хуже безобразной «болванки»? Дальше Луша думала о том, кто займет место Горемыкина, и старалась представить себе картину разрушения старого режима, сложившегося около Раисы Павловны. Кто потеряет и кто выиграет в этой новой суматохе? Прейн несколько раз говорил, что всего больше шансов на стороне Тетюева... Итак, вместо Раисы Павловны будет царить Авдей Никитич Тетюев. Глупо. Когда ненавистная Раиса Павловна была побеждена, и в душе Луши проснулось к этой женщине какое-то неясное, но теплое чувство. Ведь если разобрать справедливо, так Раиса Павловна ничем не хуже других, а только умнее во сто раз. И Лушу она любила по-своему, особенно в последнее время. Да, любила; любила немного по-кошачьи, но все-таки любила.

Перед Лушей протянулся длинный ряд воспоминаний, как Раиса Павловна готовила ее к балу, как с замирающим сердцем следила за ее первыми успехами, как старалась выдвинуть ее на первый план, с тактикой настоящей великосветской женщины, и как наконец создала то, чем теперь Луша пользуется. Одной красоты и молодости мало для женщины, а нужна еще выдержка, такт, известная оригинальная складка, что и было разработано в Луше той же Раисой Павловной.

«Но ведь Раиса Павловна погубила отца... – думала Луша, движимая старым наболевшим чувством. – Она и меня преследовала, когда я была маленькой замарашкой».

Раньше Луша относилась к отцу почти индифферентно или с сдержанным чувством холодного презрения, а теперь начинала бояться его. Что он скажет, когда узнает все? Никакая тайна не останется тайной. Этот погибший человек отвернется от нее, как от содержанки Прейна. Он бросит в нее первый камень. Жалкий отец только один и вставал между нею и Прейном. Луша видела его презрительную улыбку и чувствовала всем телом его злой, насмешливый взгляд. Но из-за страха перед отцом в душе Луши выступило более сильное чувство: она жалела этого жалкого, потерянного человека и только теперь поняла, как его всегда любила. Ведь это была недюжинная голова, человек с искрой в душе, который

при других обстоятельствах мог быть университетской знаменитостью или выдающимся представителем в области литературы. Мысли об отце были единственной тайной Луши от Прейна, и она берегла эту последнюю святыню, как берегут иногда детские игрушки, которые напоминают о счастливом и невинном детстве. И все-таки отца погубила окончательно Раиса Павловна... Это решение созрело еще в голове Луши в самом раннем детстве и в таком виде сберегалось до последнего времени, как не требующая доказательств аксиома. Но первое проснувшееся чувство расширило душевный горизонт Луши, и она теперь старалась проверить детскую аксиому, принимая меркой свой личный опыт. Кто из них прав и кто виноват: Раиса Павловна или отец?.. В сущности, она судила только по догадкам и только отчасти по двум-трем письмам, доставшимся ей после матери. История была самая темная. Да и как ей судить их? Просветленная собственным чувством, Луша долго думала о самой себе и своих отношениях к Прейну. Эта неожиданная встреча тоже носила в себе что-то роковое, как и встреча отца с Раисой Павловной. Луша действительно любила Прейна, любила человека умного и сильного, – всего вернее последнее. Именно сила Прейна производила на нее обаятельное действие: это был всемогущий человек, создавший свое положение одним своим умом. Конечно, он стар и некрасив, но все-таки во сто раз лучше тех молодых и красивых, которых встречала Луша до настоящего времени, не говоря уже об Яшке Кормилицыне. Девушка поклонялась силе, потому что в самой себе чувствовала эту силу, а жить, как живут все другие люди – день за днем, не стоило труда.

Долго не спала Луша в эту ночь, ворочаясь на своей постели. Ночь была темная и дождливая; деревья в саду шумели, точно говор далекой толпы, волновавшейся, как море. Крупные капли дождя хлестали в стекла с сухим треском, как горох, а рамы вздрагивали и тихо дребезжали под напором метавшегося ветра. Где-то выла собака, сильно сконфуженная происходившими в природе беспорядками. А потом глухо гукнул отдаленный раскат грома, точно вестовая пушка. Шум начал стихать, и дождь хлынул ровной полосой, как из открытой души, но потом все стихло, и редкие капли дождя падали на мокрую листву деревьев, на размякший песок дорожек и на осклизнувшую крышу с таким звуком, точно кто бросал дробь в воду горстями. Но

это было временное затишье, как бывает перед надвигающейся грозой. Вот режущим блеском всполыхнула первая молния, и резким грохотом рассыпался первый удар, точно с неба обрушилась на землю целая гора, раскатившаяся по камешку. Опять затишье, и новая молния, и вслед за ней уже без всякого перерыва покатались страшные громовые раскаты, точно какая-то сильная рука в клочья рвала все небо с оглушающим треском. Луша не боялась грозы и с замирающим сердцем любовалась вспыхивающей ночной тьмой, пока громовые раскаты стали делаться слабее и реже, постепенно превращаясь в отдаленный глухой рокот, точно по какой-то необыкновенной мостовой катился необыкновенно громадный экипаж.

Поздно утром, когда Луша проснулась, около ее кровати сидела Раиса Павловна. По блескам дождевых капель в волосах и по темным пятнам от таких же капель на платье и на большой темной шали, в которую она куталась до самого подбородка, было видно, что Раиса Павловна только что пришла. Она сидела с опущенной головой, в задумчивой позе, и не замечала, что Луша давно уже смотрела на нее. Бледное, обрюзгшее лицо было бы совсем безобразно, если бы не освещалось какой-то глубокой думой, которая заставляла Раису Павловну забывать и промокшие насквозь прюнелевые башмаки, и недоконченный туалет, и место, где она сидела.

– Ах, ты уж проснулась? – проговорила Раиса Павловна, выведенная из своего забытья движением Лушиной головы.

– Да... Что случилось, Раиса Павловна? – сухо спросила девушка, напрасно стараясь замаскировать овладевшее ею чувство радости при виде разбитого врага.

– Ничего особенного...

Раиса Павловна нервно улыбнулась и опустила глаза; ее душило, и слезы стояли в горле.

– Я пришла проститься с тобой, Луша, – заговорила Раиса Павловна душевным, простым тоном, с нечеловеческими усилиями подавляя бушевавшие в ней горькие мысли.

– Что такое? Как проститься? – ответила Луша, не давая себе труда даже притвориться хорошенько. – Я, кажется, еще покуда не уезжаю, Раиса Павловна.

– Зачем ты обманываешь меня, голубчик? Я не за этим пришла... Мне хочется на прощанье много тебе высказать, потому что... вероятно, больше нам уже не придется встретиться, хотя и я – как ты, конечно, знаешь – тоже уезжаю.

«Скатертью дорога», – про себя подумала Луша, пока Раиса Павловна с трудом переводила дух.

– Я знаю твой выбор, – тихо заговорила Раиса Павловна, глядя прямо в лицо Луши. – И знала его гораздо раньше, чем ты думаешь. Но дело не в этом. Я пришла поговорить с тобой... ну, как это тебе сказать? – поговорить, как мать с дочерью.

– Раиса Павловна, пожалуйста, оставьте это святое слово в покое... Как-то вам нейдет говорить: мать!

При виде смирения Раисы Павловны в Луше поднялась вся старая накипевшая злость, и она совсем позабыла о том, что думала еще вечером о той же Раисе Павловне. Духа примирения не осталось и следа, а его сменило желание наплевать в размалеванное лицо этой старухе, которая пришла сюда с новой ложью в голове и на языке. Луша не верила ни одному слову Раисы Павловны, потому что мозг этой старой интриганки был насквозь пропитан той ложью, которая начинает верить сама себе. Что ей нужно? зачем она пришла сюда?

– Ты права, Луша... – ответила Раиса Павловна бледнея, – я беру свое слово назад. Но ты все-таки позволишь мне высказать тебе все, что у меня лежит на душе?

– Говорите... если вам это доставляет удовольствие, – с прежним бессердечием заметила Луша, пожимая плечами. – Только я думаю, что между нами всякие разговоры – совершенно лишняя роскошь. Надеюсь, что мы и без слов понимаем друг друга.

Луша сухо засмеялась, хрустнув пальцами. В запыленные, давно непротертые окна пробивался в комнату тот особенно яркий свет, какой льется с неба по утрам только после грозы, – все кругом точно умылось и блестит детской, улыбающейся свежестью. Мохнатые лапки отцветших акаций едва заметно вздрагивали под легкой волной набегавшего ветерка и точно сознательно стряхивали с себя последние капли ночного дождя; несколько таких веточек с любопытством заглядывали в самые окна.

– Можно открыть окно? – спросила Раиса Павловна, задыхаясь от бросившейся в голову крови.

– Будьте так любезны... А вы мне позволите одеться сначала?

– Позволяю...

Через четверть часа Луша была готова, и Раиса Павловна распахнула окно, в которое широкой волной хлынула еще не успевшая улетучиться ночная свежесть. Пахнуло цветочным ароматом, и вместе с струей свежего воздуха ворвался в комнату неясный гул работавшей фабрики. Что-то бодрое и сильное ликовало там сейчас, за пределами Прозоровского флигелька, где зелеными кружевами поднимались шпалеры акаций и сиреней, круглились зелеными шапками липы и сквозили на солнце прорезными вершинами мохнатые стройные ели. Сколько покоя, сколько мира чувствовалось под этим открытым голубым небом, того мира, которого недостает бессильному, слабому человеку, придавленному к земле своей бесконечной злобой. В ожидании разговора Луша села на свой прорванный диванчик, а Раиса Павловна тяжело ходила по комнате, заложив руки за спину.

– В последнее время, Луша, я не спала несколько ночей, думая о тебе, – заговорила Раиса Павловна, с трудом переводя дух. – Ты сделала рискованный шаг, слишком смелый для твоего возраста и неопытности. С этой дороги возврата нет. Но я пришла не для того, чтобы читать тебе наставления, а просто хочется поговорить по душе. Ты только начинаешь свою жизнь, а я ее кончаю; поэтому не лишнее будет заметить тебе кое-что из моего житейского опыта. Сначала я испугалась ожидающей тебя участи, но потом передумала: порядочной, честной женщине, как это принято понимать, не стоит жить, потому что все против нас... Если мужчина, на стороне которого все права и преимущества, может эксплуатировать женщин в свою пользу, не заслуживая ничего порицания, то почему же женщина не может распорядиться точно так же единственным своим преимуществом? Посмотри на меня: что я такое? Жалкая старуха – и больше ничего. В настоящую минуту у меня ничего нет – ни общественного положения, ни молодости, ни друзей, даже нет того, что остается после всех крушений и неудач – сознания, что я действительно сделала все, что могла. Нет, мне не осталось даже и этого утешения, хотя я была когда-то красива, не глупа и целую жизнь работала – конечно, работала по-своему... Вот в этой-то работе ты и можешь видеть то проклятие, которое тяготеет над женщиной. Мы всегда остаемся в жизни каким-то придатком мужчины, и возможная

для нас деятельность совершается только из-за его спины. Самой умной женщине пробить себе дорогу только одной своей головой – дело почти невозможное; она всегда остается на полудетском положении, и ее труд ценится наравне с детским. Получается самое проклятое положение, тем более что требуют от женщины неизмеримо больше, чем от мужчины. Малейшая ошибка, малейший неверный шаг – все против нее, и больше всех сами же женщины. Про свою жизнь не буду тебе рассказывать – слишком много глупостей, или, вернее, одна сплошная глупость, хотя я всегда слыла за особу, которая умеет обделывать свои дела и ни перед чем не остановится.

Луша слушала эту плохо вязавшуюся тираду с скучающим видом человека, который знает вперед все от слова до слова. Несколько раз она нетерпеливо откидывала свою красивую голову на спинку дивана и поправляла волосы, собранные на затылке широким узлом; дешевенькое ситцевое платье красивыми складками ложилось около ног, открывая широким вырезом белую шею с круглой ямочкой в том месте, где срастались ключицы.

– Мне целую жизнь приходилось барахтаться в самой некрасивой обстановке, – продолжала Раиса Павловна, – интриговать, обманывать, лгать на каждом шагу и вечно действовать через третьи руки. Единственным утешением оставалось сознание, что окружавшие меня люди, с которыми мне приходилось иметь дело, ничем не лучше, за исключением разве того, что они в большинстве случаев были непроходимо глупы. И что же? Конец ты сама знаешь... Но уже когда жизнь прошла, я пришла к тому убеждению, что нужно было жить совсем иначе. Видишь, в чем дело. Я подразделяю людей на две категории: на человеческое мясо, которое мясом рождается, мясом живет и мясом умирает, и на собственно людей – настоящую человеческую аристократию, выдвинувшуюся из остальной безличной массы или умом, или характером, или красотой, или талантом. Я говорю об этой второй категории и, собственно, об ее женском отделе. Таким женщинам нужна широкая деятельность, не обставленная выдохшимися привычками, обычаями и правилами, и такая деятельность доступна только вполне свободной женщине. Последнее время открыло несколько таких профессий и полуобщественных положений, где женщина может найти приложение своим силам и взять от жизни все, что та может дать. Конечно, общественные

предрассудки высказываются против такой деятельности, пробивающей брешь в старых порядках; но что же делать, если нам не остается прямого выхода, нет дороги...

– Я это уже слыхала, Раиса Павловна, и не могу понять, при чем я-то тут? – спрашивала Луша.

– Вот о тебе и речь, Луша... Ты молода, красива, по-своему умна и обладаешь счастливым характером. Словом, в твоих руках все данные, чтобы устроить свою жизнь настоящим образом. Я буду счастлива уже тем, если когда-нибудь услышу, что ты хорошо устроилась, в чем я не сомневаюсь. Ты начинаешь с того, с чего когда-то следовало начать и мне, но я пропустила лет тридцать, а родиться во второй раз для повторения опыта не приведется. Прейн из мужчин его круга недурной человек и сумеет обставить тебя совершенно независимо; только нужно помнить одно, что в твоём новом положении будет граница, через которую никогда не следует переступать, – именно: не нужно... как бы это сказать... не нужно вставать на одну доску с продажными женщинами.

– Вы ошибаетесь, Раиса Павловна, принимая меня за одну из таких тварей...

– Нет, совсем не то; я хочу только сказать тебе, что нужно беречь себя и серьезно работать. У тебя будет в руках масса дел и людей, и ты можешь ими пользоваться по своему усмотрению. А главное...

Раиса Павловна на мгновение остановилась и закрыла даже глаза, точно собираясь с силами произнести роковое слово.

– Что «главное»? – спросила Луша, довольная этим патетическим движением, которому не верила.

– Главное, Луша... – глухо ответила Раиса Павловна, опуская глаза, – главное, никогда не повторяй той ошибки, которая погубила меня и твоего отца... Нас трудно судить, да и невозможно. Имей в виду этот пример, Луша... всегда имей, потому что женщину губит один такой шаг, губит для самой себя. Беги, как огня, тех людей, то есть мужчин, которые тебе нравятся только как мужчины.

– Благодарю за хороший совет; но опять прошу вас, Раиса Павловна, не повторять имени отца; иначе я попрошу вас удалиться отсюда.

– Ты меня гонишь? Ах, да, ведь не ты одна – все меня гонят... Но ты забываешь только одно, что я тебе желаю добра и даже забываю,

что ты ненавидишь меня.

– Это уж мое дело, Раиса Павловна... Надеюсь, вы кончили?

– Да, почти. Все равно, я сейчас уйду.

Раиса Павловна накинула на голову шаль, но медлила уходить, точно ожидая, что Луша ее остановит. Она, кажется, никогда еще не любила так эту девочку, как в эту минуту, когда она отвергивалась от нее совсем открыто, не давая себе труда хотя сколько-нибудь замаскировать свою ненависть.

– Прощай, Луша! – проговорила с трудом Раиса Павловна, не решаясь подойти к не трогавшейся с места девушке. – Мне хотелось тебя поцеловать в последний раз, но ведь ты не любишь нежностей...

Луша молчала; ей тоже хотелось протянуть руку Раисе Павловне, но от этого движения ее удерживала какая-то непреодолимая сила, точно ей приходилось коснуться холодной гадины. А Раиса Павловна все стояла посередине комнаты и ждала ответа. Потом вдруг, точно ужаленная, выбежала в переднюю, чтобы скрыть хлынувшие из глаз слезы. Луша быстро поднялась с дивана и сделала несколько шагов, чтобы вернуть Раису Павловну и хоть пожать ей руку на прощанье, но ее опять удержала прежняя сила.

– К чему? – проговорила она вслух, прислушиваясь к звукам собственного голоса. – Зачем она приходила? Ах, да... Все это одна сплошная ложь, последняя ложь!

Луша даже засмеялась, хотя на душе у ней было тяжело, точно там лежал какой камень. Итак, Раиса Павловна уничтожена. Она сама сейчас говорила это вот здесь. Куда она теперь денется с своим Платоном Васильичем, который глуп, как семьдесят баранов? Тетюев торжествует, и пусть торжествует: его счастье. То-то теперь все переполошились и начнут наперерыв заискивать перед новым временщиком, чтобы удержать за собой насиженные местечки, а может быть, и получить новые получше. И Нина Леонтьевна тоже торжествует и будет уверена, что это она столкнула Раису Павловну. Вот и еще размалеванная дура!

«А между тем мне стоит сказать одно слово, – и все торжество этих мерзавцев разлетится прахом», – думала Луша с удовольствием, взвешивая свое влияние на Прейна.

Ее подмывало детское желание разрушить всю городьбу Нины Леонтьевны и Тетюева, но она удержалась. Пускай события идут

своим естественным путем, как им следует идти. Ее личные счета с Раисой Павловной кончены навсегда, а мертвых с кладбища не носят.

В тот же день вечером, когда все улеглось в господском доме на покой, Евгений Константиныч раньше обыкновенного простился с Прейном, ссылаясь на усталость. Когда шаги Прейна затихли, набоб торопливо накинул на себя плед, надел шотландскую шапочку и осторожно вышел из комнаты; он миновал парадную приемную, потом столовую и очутился на садовой террасе. Ночь была мягкая, хотя и сырая после вечернего дождя; только что родившийся молодой месяц причудливо освещал колебавшиеся широкими полосами купы деревьев, зеленые стены акаций и разбитые веером цветочные клумбы. Берег был окутан клубами тихо шевелившегося тумана; выметывавшее из доменных печей пламя отражалось легкими вспышками, а от фабрики тянулся неясный сдержанный гул, точно какое громадное животное ворчало во сне. Спустившись с террасы, набоб пошел налево, в дальний угол сада; его охватила ночная сырость, которая заставляла неприятно вздрагивать. Вот и туманная полоса берега, вот те две ели и маленькая зеленая скамейка под ними.

«Здесь...» – подумал набоб, еще раз прочитывая в уме полученную вечером записку.

Эта записка была от женщины, и набоб испытывал то приятное волнение, какое овладевает человеком в неизвестном ожидании. Кто писал эту записку? – набоб терялся в догадках, хотя желал думать, что она была написана Лушей. Сколько сотен таких записок получал Евгений Константиныч на своем веку, как все они были похожи одна на другую и вместе с тем каждая имела свою особенность. Были записки серьезные, умоляющие, сердитые, нежные, угрожающие, были записки с упреками и оскорблениями, с чувством собственного достоинства или уязвленного самолюбия, остроумные, милые и грациозные, как улыбка просыпающегося ребенка, и просто взбалмошные, капризные, шаловливые, с неуловимой игрой слов и смыслом между строк, – это было целое море любви, в котором набоб не утонул только потому, что всегда плыл по течению, куда его несла волна. Маленькие атласные конверты служили гнездышком раздушенным розовым листочкам, точно это были лепестки какой-то необыкновенной розы. Но полученная набобом записка сегодня была таинственна, как сфинкс, и он долго ломал над ней голову.

«Приходи на берег пруда, где стоят две ели, – гласила записка, – там узнаешь одну страшную тайну, которую ношу в своем сердце много-много дней... Люди бессильны помешать нашему счастью. – Твой добрый гений».

Закутавшись в плед, набоб терпеливо шагал по мокрому песку, ожидая появления таинственной незнакомки. Минуты шли за минутами, но добрый гений не показывался. «Уж не подшутил ли кто надо мной?» – подумал набоб и сделал два шага назад, но в это время издали заметил закутанную женскую фигуру и пошел к ней навстречу. По фигуре это была Луша, и сердце набоба дрогнуло.

– Ты не узнал меня? – спросил его добрый гений, когда они пошли по песчаной дорожке рядом.

– Нет... не догадываюсь.

Незнакомка сильно куталась в большой платок, так что ее лица нельзя было рассмотреть; но голос был изменен; очевидно, добрый гений хотел поинтриговать предварительно.

– Я знаю, что ты меня любишь, – продолжал гений прежним измененным голосом, – но злые люди нас постоянно разделяли. Везде интриги и коварство. Но я тебя тоже люблю и вот пришла сюда сама сказать это...

– Открой лицо, – просил набоб, начиная сомневаться в подлинности гения.

– Поклянись, что ты меня всегда будешь любить?

– Я уже клялся тебе раз... там, в горах.

– О нет... Это был обман.

Чтобы покончить эту комедию, набоб, под предлогом раскурить сигару, зажег восковую спичку и сам открыл платок гения. И попятился даже назад от охватившего его чувства ужаса: перед ним стояла Прасковья Семеновна и смотрела на него своим сумасшедшим взглядом.

– Узнал?... – шептала она, протягивая к нему руки с улыбкой.

Но набоб уже не слышал этого шепота, потому что обратился в самое постыдное бегство, точно за ним по пятам гнался целый ад; Прасковья Семеновна стояла на прежнем месте и грозила кулаком ему вслед, а потом дико захохотала на весь сад.

Пробежав несколько аллей, набоб едва не задохся и должен был остановиться, чтобы перевести дух. Он был взбешен, хотя не на ком

было сорвать своей злости. Хорошо еще, что Прейн не видал ничего, а то проходу бы не дал своими остротами. Набоб еще раз ошибся: Прейн и не думал спать, а сейчас же за набобом тоже отправился в сад, где его ждала Луша. Эта счастливая парочка сделалась невольной свидетельницей позорного бегства набоба, притаившись в одной из ниш.

– Это целая оперетка! – заливался Прейн, когда Прасковья Семеновна прошагала мимо них. – Луша! что же ты молчишь? Ха-ха!..

Но Луша была задумчива, почти грустна и не отвечала на шумную радость Прейна той же монетой. Она только что рассказала перед этим об утреннем визите Раисы Павловны и напрасно старалась разгадать впечатление, произведенное ее рассказом.

– Что же, тебе нисколько не жаль Раисы Павловны? – спросила она наконец.

– Что же я могу сделать для нее? – ответил Прейн тоже вопросом.

– Как что? Ты можешь все... если захочешь.

– Ну, теперь уж поздно: все кончено.

Равнодушный тон Прейна обидел Лушу, и ей сделалось вдруг жаль Раисы Павловны, насчет которой теперь ликовала вся партия Тетюева.

– Послушай, а если я хочу, чтобы Раиса Павловна осталась? – капризно проговорила девушка, ежась от холода.

– Слишком поздно... Что хочешь проси, только не это:

На волнах морских построю замок

И зубами с неба притащу луну...

но спасти Раису Павловну я не в силах. Еще раз повторяю: все кончено...

– В таком случае я требую, чтобы Раиса Павловна осталась! Понимаешь: требую! А иначе, не кажись мне на глаза!

Произошла очень горячая сцена, и стороны разошлись самым неприятным образом обвиняя друг друга.

Прейн опять торжествовал. Благодаря своей политике он сумел заставить Лушу просить его о том, чего хотел сам и что подготавливал в течение месяца в интересах Раисы Павловны. Это была двойная победа. Он был уверен именно в таком обороте дела и соглашался с требованиями Луши, чтобы этим путем добиться своей цели. Это была единственная система, при помощи которой он мог вполне управлять капризной и взбалмошной девчонкой, хотевшей испытать на нем силу своего влияния.

– Отлично, и еще раз отлично! – повторял он несколько раз, потирая руки от удовольствия.

Разрушить всю городьбу, которую в течение месяца с таким усердием городили Тетюев с Ниной Леонтьевной, Прейну ничего не стоило, как он уверял с самого начала Раису Павловну. Дело было настолько подготовлено, что оставалось только нанести последний удар. Удаление Горемыкина в принципе было решено, и набоб вполне был согласен с таким решением. Работы консультации вывели на свежую воду многое, что не должно было видеть света. Недостатки горемыкинского режима сделались ясны, как день, даже для непосвященных, а генерал положительно был возмущен, что и высказывал Прейну несколько раз с своей обычной откровенностью.

– Теперь нужно доставить Тетюеву вторую аудиенцию, – предлагал Прейн генералу, – до настоящего времени вся ваша работа носила только отрицательный характер; пусть Тетюев представит Евгению Константинычу положительную программу, в духе которой он мог бы действовать, если бы, например, Евгений Константиныч предложил ему занять место Горемыкина... Конечно, я говорю только к примеру, генерал.

– Понимаю, – соглашался генерал. – А отчего же и в самом деле не предложить бы Тетюеву этого места? Это такой развитой, интеллигентный человек – настоящая находка для заводов! Тем более что отец Авдея Никитича столько лет занимал пост главного управляющего.

– Я не могу обещать вам решительно, генерал, но употреблю с своей стороны все, что будет зависеть от меня, а за остальное не ручаюсь... Хотя, кажется, можно утвердительно сказать, что все шансы теперь на стороне Тетюева.

– И Нина Леонтьевна говорит то же самое относительно Тетюева; так что мы все трое думаем одинаково.

– Да, да... Очень приятно, очень приятно! А вы предупредите Тетюева, чтобы он основательно подготовился к приему и изложил перед Евгением Константинычем свое profession de foi. А прежде всего, я думаю, вам нужно представить Евгению Константинычу подробный доклад занятий нашей консультации, чем вы, так сказать, расчистите почву Тетюеву. Положительные данные будут виднее на отрицательном фоне... Горемыкина нам щадить нечего, потому что он нам и без того стоит столько хлопот.

– Да, если бы не эта консультация, мы могли много бы сделать для заводов в эту поездку! – согласился генерал.

После своего неудачного свидания с «добрым гением» набоб чувствовал себя очень скверно. Он никому не говорил ни слова, но каждую минуту боялся, что вот-вот эта сумасшедшая разболтает всем о своем подвиге, и тогда все пропало. Показать смешным для набоба было величайшим наказанием. Вот в это тяжелое время генерал и принялся расчищать почву для Тетюева, явившись к набобу с своим объемистым докладом.

– А не лучше ли было бы рассмотреть этот доклад после, в Петербурге? – протестовал Евгений Константиныч при виде целой дести исписанной бумаги. – Мы на досуге отлично разобрали бы все дело...

Но генерал был неумолим и на этот раз поставил на своем, заставив набоба пролотить доклад целиком. Чтение продолжалось с небольшими перерывами битых часов пять. Конечно, Евгений Константиныч не дослушал и первой части этого феноменального труда с надлежащим вниманием, а все остальное время сумрачно шагал по кабинету, заложив руки за спину, как приговоренный к смерти. Генерал слишком увлекся своей ролью, чтобы замечать истинный ход мыслей и чувств своей жертвы.

– Благодарю вас, генерал, от души благодарю! – с облегченным сердцем говорил набоб, когда чтение кончилось. – Я во всем согласен с

вами и очень рад, что нашел наконец человека, которому могу вполне довериться. Вот и Прейн то же говорит...

Но этим испытание не кончилось. Вслед за генералом с его бесконечным докладом в кабинет явился Прейн и объявил, что необходимо дать Тетюеву вторую аудиенцию.

– Нет, это уже слишком! – горячо возразил Евгений Константиныч, делая сердитое лицо. – Вы все, кажется, сговорились довести меня этими проклятыми делами до чахотки.

– Нельзя, Евгений Константиныч! – мягко настаивал Прейн. – Если бы была какая-нибудь возможность обойтись без вас, тогда другое дело... Тетюев для нас чистый клад!

– Убирайтесь к черту с вашим кладом!

– Я вам говорю, что нельзя. Вы – заводовладелец, и в таком важном деле необходимо ваше личное вмешательство. Наша роль с генералом кончилась.

Набоб задумался и, поддаваясь настояниям Прейна, изъявил наконец согласие выслушать Тетюева.

– Только в последний раз! – капризно говорил набоб.

– В самый последний... Неужели у вас не найдется свободных пяти часов для такого важного дела?

– Пять часов! Да ты, Прейн, с ума, кажется, сошел...

– Нисколько... Если вы хотите показаться смешным в глазах всех служащих, тогда не слушайте меня и делайте по-своему. Что же мне-то за интерес надоедать вам?..

Набоб замолчал.

– Ваше последнее слово, Евгений Константиныч? – продолжал настаивать Прейн.

– Хорошо, я согласен.

– Отлично. Я передам это генералу.

Прежде чем явиться к набобу, Тетюев получил подробные инструкции от самой Нины Леонтьевны, которая вперед поздравляла его с полным успехом. Со стороны можно было подумать, что Тетюева аккредитовали послом к самому Бисмарку или по меньшей мере поручали министерский портфель. Вероятно, настоящие министерские кризисы происходят при менее торжественной обстановке. Майзель, Вершинин и другие тетюевцы тоже переживали самые тревожные минуты в ожидании решительного момента, причем

повторялась избитая психологическая истина, что общее волнение возрастало вместе с уверенностью в успехе.

Наконец Тетюев был совсем готов и в назначенный день и час явился во фраке и белом галстуке со своим портфелем в приемную господского дома. Было как раз одиннадцать часов утра. Из внутренних комнат выпянул m-г Чарльз и величественно скрылся, не удостоив своим вниманием вопросительный жест ожидавшего в приемной Тетюева. Поймав какого-то лакея, Тетюев просил его доложить о себе.

– Барин еще почивают, – отвечал лакей.

– Не может быть! он назначил мне прием именно в одиннадцать часов.

– Не могу знать-с.

– Ну, так доложи Альфреду Осипычу. Он, наверно, уже встал.

Лакей сонно взглянул заспанными глазами на Тетюева и нехотя понес его карточку на половину Прейна.

Вместо ожидаемого лакея выбежал сам Прейн. Он был в туфлях и в шелковой фуфайке, в чем и поспешил извиниться с истинно французской вежливостью.

– Извините, Авдей Никитич. Вам придется подождать несколько минут, – говорил Прейн, подхватывая министра под руку. – Пойдемте пока в мою комнату.

Комната Прейна, служившая ему и кабинетом и спальней, отличалась отчаянным беспорядком неисправимого холостяка. Усадив гостя на кресло к письменному столу, на котором ничто не напоминало о письменных занятиях, Прейн скрылся за маленькую ширмочку доканчивать свой утренний туалет.

– Отодвиньте ящик в правой тумбочке, там есть красный альбом, – предлагал Прейн, выделявая за ширмой какие-то странные антраша на одной ноге, точно он садился на лошадь. – Тут есть кое-что интересное из детской жизни, как говорит Летучий... А другой, синий альбом, собственно, память сердца. Впрочем, и его можете смотреть, свои люди.

Красный альбом не представлял ничего особенного, потому что состоял из самых обыкновенных фотографий во вкусе старых холостяков: женское тело фигурировало здесь в самой откровенной

форме. В синем альбоме были помещены карточки всевозможных женщин, собранных сюда со всего света.

– Вы слышали о галерее польского короля Станислава-Августа, которая хранится теперь в Дрездене? – спрашивал Прейн, выставя голову из-за ширмы.

– Право, не помню что-то, Альфред Осипыч...

– Гм... Ну, одним словом, этот синий альбом заменяет мне королевскую галерею.

Прейн объяснил более откровенным образом значение синего альбома, и Тетюев погрузился в рассматривание длинного ряда красивых женских лиц, принадлежавших всем национальностям. Кого-кого только тут не было, начиная с гризеток Латинского квартала, цариц Мабиля и кафе-шантанов, представительниц *demi-monde'a* самых модных курортов и первых звезд европейских цирков и балетов и кончая теми метеорами, которых выдвинула из общей массы шальная мода, ослепительная красота или просто дикая прихоть пресыщенной кучки набобов всего света. На страницах альбома, который перелистывал Тетюев, нашли себе, может быть, последний приют самые блестящие полуимена, какие создавали за последние двадцать пять лет такие центры европейской цивилизации, как Париж, Вена, Берлин, Лондон и Петербург. Это была интимная история в лицах той жизни, которая доступна только избранникам и баловням слепой фортуны. Если бы перевести на «язык простых копеек», чего стоили эти красавицы Европы, то в результате получилась бы сумма, далеко превышающая стоимость громадной войны каких-нибудь очень цивилизованных держав. Эти красивые лица были живой иллюстрацией капитальных политических переворотов, страшных экономических кризисов, банковых крахов, миллионных хищений и просто воровства, воровства без числа и меры. Обыкновенные разорения, самоубийства, убийства и разные другие *causes célèbres*^[31] не должны идти в счет, как слишком нормальные явления. Тетюев слышал об этом исключительном интернациональном мирке из пятого в десятое, поэтому перелистывал альбом без особенного внимания, как человек непосвященный, и только заметил последнюю страницу, где было оставлено свободное место для новой карточки: это место было назначено Луше Прозоровой.

– Однако Евгений Константиныч заставляет нас ждать! – проговорил Прейн, появляясь наконец из-за ширмы. – Двенадцать часов скоро...

Он позвонил и велел явившемуся на звонок лакею узнать, может ли принять Евгений Константиныч. Лакей через пять минут явился с длинным конвертом на серебряном подносе. Прейн разорвал конверт и несколько раз торопливо перечитал маленький листок английской почтовой бумаги цвета морской воды.

– Не понимаю... – проговорил он наконец, вопросительно глядя на Тетюева и проводя рукой по лбу. – Вероятно, какая-нибудь ошибка. Извините, Авдей Никитич, я вас оставлю всего на одну минуту... Не понимаю, решительно не понимаю! – повторил он несколько раз, выбегая из комнаты.

Лакей остался в дверях и сонно смотрел на Тетюева с тупым нахальством настоящего лакея, что опять покорило будущего министра. «Черт знает, что такое получается? Уж не хочет ли Прейн расстроить аудиенцию разными махинациями?» – мелькнуло в голове Тетюева, но в этот момент появился Прейн. Ударив себя по лбу кулаком, он проговорил:

– Решительно ничего не понимаю, Авдей Никитич. Вот не угодно ли вам прочесть самим это письмо.

Прейн передал полученное письмо Тетюеву, и тот прочитал:

«Дорогой Прейн! Одно очень серьезное дело заставило меня уехать, не простившись ни с кем... Передай генералу, что я во всем полагаюсь на него и на тебя и вперед изъявляю свое полное согласие на все, что вы сделаете для заводов.

Твой *Евгений Лаптев*».

– Не понимаю, не понимаю, не понимаю! – кричал Прейн, схватившись за голову. – Какое дело? куда уехал?..

– Я тоже, кажется, ничего не понимаю... – в раздумье проговорил опешивший Тетюев. – По моему мнению... я... В самом деле, Альфред Осипыч, как же я-то: был назначен прием, я готовился, и вдруг...

Неожиданный отъезд набоба походил скорее на бегство. Он укатил в своей коляске только с одним m-r Чарльзом, величественно сидевшим рядом с кучером. Вся свита, в лице Прейна, генерала, Нины Леонтьевны, Перекрестова с Летучим и прочими остались в

Кукарском заводе, вместе с лаптевской конюшней, охотой, гардеробом и целым обозом. Известие о сбежавшем набобе еще раз переполошило весь Кукарский завод, причем все накинудись на Прейна, как сумасшедшие. Произошел целый ряд неприятных сцен и недоразумений; все рушилось кругом, точно случилось по меньшей мере смешение языков. В общей суматохе первым опомнился шустрый представитель русской прессы Перекрестов: он в то же утро, в сопровождении Летучего, бросился нагонять набоба каким-то проселком, чтобы перехватить его, по крайней мере, на пароходе. В пустой голове Перекрестова все еще болталась мысль о месте плавного управляющего, хотя он и потерпел полное фиаско у круглых ног m-lle Эммы.

Общему изумлению не было границ и меры: все было устроено, приготовлено, даже сделано наполовину – и вдруг...

– Как же это так?.. – вдруг спрашивали все друг У друга.

Бедный Сарматов ворвался в кабинет Прейна бледный как полотно и едва мог выговорить:

– Альфред Осипыч! а как же спектакль? Ведь уж все было приготовлено, я из кожи лез, и вдруг... Наташе Шестеркиной нарочно такой костюм заказали, чтобы плечи были как на ладони. Ей-богу!.. Да что же это такое в самом деле?..

Вслед за Сарматовым явился «мой Майзель» и с своей обычной важностью отцедил:

– Куда же я с медведем, которого приготовил под Куржаком для Евгения Константиныча?

– Я уж, право, не знаю, господа, как быть с вами, – вертелся Прейн, как береста на огне. – Пожалуй, медведя мы можем убить и без Евгения Константиныча... Да?.. И вы, Сарматов, не унывайте: спектакль все-таки не пропадет. Все, вероятно, с удовольствием посмотрят на ваши успехи...

– Ну, уж слуга покорный! – огрызнулся Сарматов. – И медведя и спектакль – жирно будет.

– Вы начинаете говорить дерзости, Сарматов!

– Виноват... простите! Но, ради всего святого, войдите в мое положение, Альфред Осипыч!

– И в мое тоже, – прибавил Майзель, точно бросил пудовую гирию.

– А кто же в мое положение войдет, господа? – спрашивал Прейн, делая трагический жест.

– Действительно, замысловатая вышла штука, – проговорил Сарматов, приходя немного в себя. – Это выходит совсем новая пьеса, в которой все остались с носом... – ха-ха!.. А жаль, признаться сказать, я рассчитывал на кое-что, потому что, согласитесь сами, ведь плечи у этой бестии Шестеркиной – мрамор, нет – слоновая кость... Право, всем нам теперь остается только тараканов морозить!

В кабинете Прейна собрались почти все действующие лица расстроенной пьесы, даже приплелся, неизвестно зачем, Яша Кормилицын. Генерал был возмущен и сконфужен и тоже изъявил неременное желание сейчас же уехать из Кукарского завода.

– Нет, это невозможно, генерал, – доказывал Прейн, – теперь вся ответственность ложится на нас с вами, и мы не имеем права бежать с нашего поста. Чужие глупости еще не дают нам права делать своих. Притом нам остается только увенчать уже возведенное здание.

– Вы правы, Прейн, – согласился прямодушный генерал. – Я погорячился. А все-таки жаль, что Тетюев лишился возможности высказать Евгению Константинычу свою программу. Это замечательная административная и финансовая голова.

На половину Раисы Павловны, где уже начинала воцаряться библейская мерзость запустения, пикантную новость принес воспрянувший духом Родион Антоныч. Даже изощренная во всевозможных внутренних переворотах Раиса Павловна не хотела верить всему случившемуся. Таковую штуку, конечно, мог устроить только один Прейн, этот гениальнейший из рожденных женами.

– Ну, то есть так они ловко укололи эту самую штуку, так ловко! – умиленно шептал Родион Антоныч, качая своей жирной головой. – Ведь уж все дело было на мази, а тут вдруг... Уж истинно сказать, что из огня выхватил нас Альфред-то Осипыч.

Вечером, отделавшись от своих взволнованных гостей, Прейн сидел в будуаре Раисы Павловны, которая опять угощала его кофе из собственных рук. Собеседники болтали самым беззаботным образом, и Раиса Павловна опять блестела пикантным остроумием, а Прейн, как школьник, болтал ногами и хохотал, как сумасшедший. Между прочим, он рассказал об эпизоде с добрым гением, причем хохотала уже Раиса Павловна.

– Что же мы теперь будем делать? – спрашивала Раиса Павловна, успокоившись после первых восторгов. – Какой-то умный человек сказал, что не так трудно выиграть сражение, как разумно воспользоваться его плодами.

– Да, да... Но теперь уже все от вас зависит: я свое дело сделал.

– Постойте, зачем же вы из меня душу-то тянули столько времени, бессовестный человек?

– Я?.. Нет, я с самого начала объявил вам, что буду делать?

– А потом?.. Что стоило вам предупредить меня... а я тут бог знает что передумала и даже несколько раз проклинала вас, как изменника. Вы мне много крови испортили...

– Напротив, я хотел подарить вам маленький сюрприз, а что касается до ваших сомнений, то в них, во-первых, больше всего виноваты вы же сами, а во-вторых, чем была бы наша жизнь без маленьких волнений!

– Да, да, хорошо вам разводить философию, а каково было мне...

Растроганная и умиленная неожиданным успехом, Раиса Павловна на мгновение даже сделалась красивой женщиной, всего на одно мгновение лицо покрылось румянцем, глаза блестели, в движениях сказалось кокетство женщины, привыкшей быть красивой. Но эта красота была похожа на тот солнечный луч, который в серый осенний день на мгновение прокрадывается из-за бесконечных туч, чтобы в последний раз поцеловать холодную землю.

– Мы еще поживем! – проговорил Прейн, весело целуя руку Раисы Павловны. – Не правда ли?

– Да, вы еще поживете, – печально согласилась Раиса Павловна, чувствуя, как румянец сбегает у ней с лица и глаза холодеют. – Извините, Прейн, я не желала вас обидеть, но так как-то само сказалось...

На другой день утром, когда Раиса Павловна едва еще успела проснуться, Родион Антоныч уже ожидал ее. Такой ранний визит, конечно, был неспроста, и Раиса Павловна поторопилась выйти к своему Ришелье.

– Что новенького, Родион Антоныч? – спрашивала она, еще позевывая после сна.

– Да новенького-то ничего нет, а я пришел так... – начал Родион Антоныч по своему обыкновению издали. – Вот у вас был вчера

Альфред Осипыч, так, может, у вас что-нибудь есть новенькое.

– Ах, да... Ну, нового ничего особенно нет, а старое вы сами знаете.

– Так-с... Очень хорошо.

По лицу Ришелье Раиса Павловна видела, что он что-то хочет сказать и не решается.

– Да не тяните вы из меня жилы! говорите прямо, зачем пришли? – договорила Раиса Павловна, усаживаясь в кресло. – Ну?.. Ах, какой человек!

– Ей-богу, ничего, Раиса Павловна... Я так зашел. Был в управлении, а потом и думаю: дай, думаю, зайду проведать Раису Павловну. Только и всего.

– Ну, теперь видели, что Раиса Павловна в добром здоровье, и убирайтесь, а мне нужно еще одеваться да притираться. Чего стоите?..

– Вот что, Раиса Павловна, – заговорил нерешительно Родион Антоныч, делая самую благочестивую рожу. – Как вы насчет Авдея Никитича?

– То есть, как это «насчет»? Просто, всех их к черту – и конец делу! А Тетюева в особенности...

Родион Антоныч тяжело вздохнул, сморщился и не уходил, переминаясь с ноги на ногу.

– А я вам, Раиса Павловна, прямо скажу, – заговорил он после длинной паузы, – напрасно вы, даже весьма напрасно, то есть относительно Авдея Никитича...

– Что же мне делать с вашим Авдеем Никитичем? Расцеловать его, что ли? Предоставляю это Нине Леонтьевне и другим дамам...

– Все-таки напрасно, Раиса Павловна... Конечно, теперь вы можете сделать большую неприятность Тетюеву, но ведь он отдохнет да опять за старое. Вот какую оперу устроил!.. Ведь меня-то заклевали на консультации и совсем бы съели, ежели бы не Альфред Осипыч. Ну, нынче хорошо, а час на час не приходит... Тетюев непременно опять будет нас подсидживать и уж свое возьмет. Большие неприятности может сделать... А между тем все просто, проще пареной репы. Рассудите так: неужели теперь у Евгения Константиныча для Тетюева места не найдется в Петербурге, когда он такую ораву совсем несообразных людей кормит и поит? Да ежели бы Авдею-то Никитичу пять тысяч дать в Петербурге, местечко этакое

особенное устроить ему, да ведь он... Ах, господи!.. Как это вы, Раиса Павловна, Авдея Никитича понимать не хотите; ведь живой он человек, жить хочет! А кабы его в Петербурге к Евгению Константинычу пристроить, да еще он почувствовал бы, что не через Нину Леонтьевну свое счастье получил, а через вас, да тогда вы тут катайтесь, как сыр в масле! Ей-богу, ведь голова-то какая: все может на свете оборудовать. А у нас бы в Питере-то рука была не чета Прохору Сазонычу Загнеткину. Право, Раиса Павловна, даже очень вы напрасно так Авдея Никитича трактуете. Теперь самый случай его на точку поставить, а он уж за добро наше заплатит. Ведь человек-то вон какой!

Это предложение сначала озадачило Раису Павловну; потом она усумнилась в искренности Родиона Антоныча, который мог ее продать тому же Тетюеву, и наконец проговорила:

– Хорошо, я подумаю, хотя определенного ничего и не могу обещать.

– Подумайте, Раиса Павловна... Ведь человек-то... А-ах, боже мой!

Кукарский завод походил теперь на улей, из которого улетела матка и все пчелы бродят как потерянные. Более подходящим сравнением, пожалуй, будет картина игроков, которые чинно уселись за зеленый стол, роздали карты, произвели ряд выкладок карточной математики, сделали первые ходы, обозначившие масть и намерение партнеров, – и вдруг какая-то шальная рука перемешала все карты... Прибавьте к этому, что на карту были поставлены самые жгучие интересы, связывавшие главарей с десятками других, второстепенных игроков, которые должны были ограничиваться только наблюдением за ходом всей игры. Отъезд набоба довел расходившиеся страсти до последней степени напряжения, и две женщины, стоявшие во главе партий, питали друг к другу то же ожесточение, как две матки в одном улье. Собственно за игорным столом сидели теперь Раиса Павловна, Нина Леонтьевна, Тетюев и Прейн. Чтобы общее недоразумение не перешло в рукопашную, нужно было придумать какой-нибудь такой компромисс, который примирил бы интересы всех. Таким компромиссом и являлась придуманная Родионом Антонычем комбинация, заставившая Раису Павловну сильно задуматься, прежде чем она решилась передать свой разговор Прейну.

– Что же! отличная это штука, Раиса Павловна! – обрадовался никогда не унывавший Прейн. – Мы так и сделаем... Тетюев действительно неглупый человек и может быть нам очень полезен.

По сдержанному выражению лица Раисы Павловны Прейн понял с своей обычной проницательностью, что ее смущает: ей хотелось окончательно уничтожить Нину Леонтьевну, а назначение Тетюева в Петербург будет принято «болванкой» за дело ее рук.

– Послушайте, Раиса Павловна, я устрою так, что Тетюев сам придет к вам с повинной! – объявил Прейн, радуясь новой выдумке. – Честное слово. Только мне нужно предварительно войти в соглашение с генералом: пожалуй, еще заартачится. Пусть Нина Леонтьевна полюбуется на своего протеже. Право, отличная мысль пришла в голову этому Родиону Антонычу!.. Поистине, и волки будут сыты, и овцы целы...

Как Раиса Павловна ни презирала Тетюева, но все-таки сомневалась, что он пойдет на такую сделку, что и высказала Прейну, который только захохотал в ответ.

Прейн на этот раз не отложил дела в долгий ящик, а сейчас же пригласил генерала к себе для необходимых совещаний. Прежде всего ему нужно было уломать генерала, а Тетюев пусть себе едет в Петербург, – там видно будет, что с ним делать: дать ему ход или затереть на каком-нибудь другом месте.

– Генерал, нам необходимо кончить это дело как можно скорее, – говорил Прейн, встречая генерала в дверях.

– Я ничего не имею против этого...

– Отлично... Садитесь, пожалуйста, и поговоримте откровенно. Тетюева я давно знал как умного человека, но познакомиться с ним ближе мне как-то не удавалось до сих пор. Для нас такой человек находка. Да?.. Хорошо. Но согласитесь, что Россия вообще страдает недостатком в умных и талантливых людях, и похоронить такого человека на заводах было бы просто грешно. Ведь заводское дело в своей сущности крайне просто, то есть я говорю об административной его части, которая находится в ведении главного управляющего. Даже те недостатки управления Горемыкина, которые так блистательно раскрыты работами нашей консультации, обязаны своим происхождением переходному времени. Не будь уставной грамоты, все дело шло бы отлично. Заметьте, что Платон Васильич замечательно честный человек, и не мне объяснять вам, какое это неоцененное достоинство в наше время крахов, растрат и хищений. Но все это к слову; главное, я против того, чтобы Тетюева оставлять на заводах: такую голову мы возьмем поближе к себе.

– Что вы хотите сказать этим? – спрашивал недоумевавший генерал.

Прейн начал издали. Сначала он подробно изложил намерения генерала и его *idée fixe* о создании в России капиталистического производства под крылышком покровительственной системы, благодаря чему русские промышленники постепенно дорастут до конкуренции с иностранными производителями и даже, может быть, в недалеком будущем займут на всемирном рынке главенствующую роль.

– Это наша общая цель, генерал, и мы будем работать в этом направлении, – ораторствовал Преин, шагая по кабинету с заложенными за спину руками. – Нам нужно дорожить каждым хорошим человеком в таком громадном деле, и я беру на себя смелость обратить ваше особенное внимание, что нам прежде всего важно привлечь к этой работе освежающие элементы.

– Да, да...

– Все столичные дельцы на одну колодку, генерал, они слишком шаблонны, слишком обезличены окружающей обстановкой, а провинция всегда вливает новые силы.

– Да, да... это подтверждается всей историей: Греция, Рим, современный Париж...

– Мы отлично понимаем друг друга, и я предложил бы перевести Тетюева в Петербург на службу к Евгению Константинычу. Места, конечно, все заняты, но можно создать для него что-нибудь новое... Ну, пусть будет юрисконсульт, тем более что Тетюев получил солидное юридическое образование.

– Что ж! это будет отлично! – соглашался генерал. – Теперь именно нужно действовать исключительно на юридических основаниях, как, например, создала свое промышленное благосостояние Англия...

– Именно, именно, я только что хотел сказать то же самое. Ведь нам приходится воспитывать конкурентов английским промышленникам, и мы будем разбивать их на их же почве и их же оружием.

Генерал был в восторге от этого разговора и, только вспомнив про Горемыкина, сморщился и проговорил:

– Да, все это хорошо, а как мы с Горемыкиным сделаемся?

– С Горемыкиным?.. Ничего нет легче, генерал. Пусть он пока останется на том же месте, а мы тем временем успеем приискать подходящего преемника.

– Да, но ведь это выйдет неловко, Альфред Осипыч, – заметил генерал, отлично представляя себе неистовую ярость Нины Леонтьевны. – Все было против него, и вдруг он останется! Это просто дискредитирует в глазах общества всякое влияние нашей консультации, которая, как синица, нахвастала, а моря не зажгла...

– Да ведь я сказал, генерал, что мы оставим Горемыкина только пока... Заметьте: *пока*. А там без сомнения устраним его...

Это «пока» совсем успокоило генерала, который не подозревал, что это маленькое словечко в русской жизни имеет всеобъемлющее значение и что Прейн постоянно им пользовался в критических случаях. Наука, с которой имел дело генерал, все явления подводит под известные законы и не хочет знать никаких «пока». Между тем это «пока» имеет самое широкое применение, особенно в мелочах повседневной жизни. Известно, что битая посуда два века живет, и постройки, воздвигаемые на время, в ожидании капитальных сооружений, пользуются особенной долговечностью. Все архитекторы и подрядчики отлично знают, что стоит только поставить на время какую-нибудь деревянную решетку вместо железной или дощатую переборку вместо капитальной стены – и деревянная решетка и дощатая переборка переживут и хозяина и даже самый дом. Прейн давно практиковал в этом направлении и теперь пустил в ход заветное словечко, которое сразу обезоружило генерала.

Покончив с генералом, Прейн пригласил к себе Тетюева и с шутиливой откровенностью высказал ему свои намерения.

– Надеюсь, что мы сойдемся с вами, Авдей Никитич, – закончил свои переговоры Прейн, – хотя, конечно, за будущее трудно ручаться... Вы будете нашим юрисконсультom и поработаете на пользу русской промышленности, поскольку она соприкасается с юридическими вопросами. Ну, взять хоть эту же уставную грамоту, отношения к земству, тарифные вопросы и так далее.

– Я, Альфред Осипыч, буду всегда... – смущенно бормотал Тетюев, растроганный свалившимся с неба на его голову счастьем. – Одним словом, вы не раскаетесь в сделанном выборе, если мне не изменят мои слабые силы...

– Отлично, очень хорошо... Но это все еще в будущем, а теперь поговоримте о настоящем: у меня на первый раз есть для вас маленькая дипломатическая миссия. Так, пустяки... Кстати, я говорил уже о вас генералу, и он согласен. Да... Так вот какое дело, Авдей Никитич... Собственно, это пустяки, но из пустяков складывается целая жизнь. Я буду с вами откровенен... Надеюсь, что вы не откажете мне?

– Помилуйте, я для вас готов в огонь и в воду, только скажите!

– Я уже сказал, что пустяки: нужно помирить Раису Павловну с Ниной Леонтьевной. Ведь, собственно говоря, батенька, вы и кашу-то всю заварили, так вам ее и расхлебывать.

Как ни велика была готовность Тетюева идти за Альфреда Осипыча в огонь и в воду, но эта «маленькая дипломатическая миссия» повергла его сразу в уныние, потому что он отлично понимал невозможность примирения двух враждовавших женщин. В ответ на предложение Прейна Тетюев только пробормотал что-то совсем бессвязное.

– Да вы не смущайтесь, Авдей Никитич, – успокаивал Прейн. – В таких делах помните раз и навсегда, что женщины всегда и везде женщины: для них своя собственная логика и свои законы... Другими словами: из них можно все сделать, только умеючи.

– Но ведь здесь с одной стороны Раиса Павловна, а с другой – Нина Леонтьевна... – с унынием повторял Тетюев. – Нет, это невозможно! Что хотите, но только не это, Альфред Осипыч!

– Э, пустяки! Я вас научу, батенька... Вы будировали против Раисы Павловны много лет. Да? И всю эту поездку устроили тоже сюрпризом для нее... так? Потом с Ниной Леонтьевной работали все лето против Раисы Павловны... так? А теперь вам нужно сделать следующее: отправляйтесь сегодня же с визитом к Раисе Павловне и держите себя так, как будто ничего особенного не случилось... Ведь такие вещи приходится проделывать постоянно.

– А если меня Раиса Павловна не примет?

– Нет, за это я вам поручусь... Позвольте еще одну маленькую откровенность: пожалуйста, когда будете у Раисы Павловны и у Нины Леонтьевны, держите себя так, как бы вы попали к самым молоденьким и красивым женщинам... Да, это первое условие, а то всю свою миссию погубите. Ведь женщина всегда останется женщиной!

– А как же Нина Леонтьевна? Ведь она все узнает, и тогда... нелепая история может произойти.

– Ах, да... Мне следовало предупредить вас с самого начала. Позволю еще маленькую откровенность. Ведь вы, Авдей Никитич, в душе уверены, что обязаны своим юрисконсульством Нине Леонтьевне? Да?

– Да, я считаю себя много обязанным Нине Леонтьевне...

– Хорошо. Так и запишем... Вы считаете себя много обязанным Нине Леонтьевне, а между тем вы обязаны всем исключительно одной Раисе Павловне, которая просила меня за вас чуть че на коленях. Да... Даю вам честное слово порядочного человека, что это так. Если бы не Раиса Павловна, вам не видать бы юрисконсульства, как своих ушей. Это, собственно, ее идея...

Это известие окончательно ошеломило Тетюева, точно он слушал какую-нибудь сказку: Раиса Павловна хлопотала за него, когда все было для него с отъездом Лаптева проиграно! Нет, это что-то совсем непонятное и хоть кого сведет с ума.

– А когда вы сделаете визит Раисе Павловне, – продолжал Прейн, – мы сейчас же устроим обед и на обеде сведем Раису Павловну с Ниной Леонтьевной... Да! Тут уж им не примириться невозможно!

Выполняя маленькую дипломатическую миссию, Тетюев немедленно отправился с визитом к Раисе Павловне, которая встретила его с той непроницаемой великосветской любезностью, которая так ловко заравнивает все житейские шероховатости, колдобины и целые пропасти.

– Очень рада поближе познакомиться с вами, Авдой Никитич, – говорила Раиса Павловна. – Мы, кажется, встречались с вами иногда... на улице?

– Да...

В гостиной Раисы Павловны к своему изумлению Тетюев встретил Амалию Карловну и m-me Дымцевич. Эти милые дамы болтали самым непринужденным образом, хотя в душе страшно ненавидели друг друга: Амалия Карловна была уверена, что она первая делает визит Раисе Павловне и предупредит других, и m-me Дымцевич думала то же самое, но эти проницательные дамы встретились носом к носу на подъезде квартиры главного управляющего и должны были войти в гостиную Раисы Павловны чуть не под ручку. Появление Тетюева усилило эффект до последней степени: Амалия Карловна презирала ренегатство и подлое заискивание m-me Дымцевич и Тетюева, m-me Дымцевич то же самое презирала в Амалии Карловне и Тетюеве, а Тетюев презирал обеих дам по тому же адресу. Моралист в этой глупой комбинации нашел бы новое доказательство человеческой испорченности, но погодите

бросать камнем в это почтенное трио, ибо невозможно обвинять перелетную птицу за то только, что она летит туда, где теплее. И для человеческой плупости есть свои законы, хотя они еще не раскрыты наукой с той отчетливостью и непреложностью, как какое-нибудь учение об отрицательных величинах или теории вероятностей. Отрицательные величины в мире умственных и нравственных явлений имеют такое же законное право на существование, как и в области математики.

Раиса Павловна держала себя, как все женщины высшей школы, торжествуя свою победу между строк и заставляя улыбаться побежденных. Нужно ли добавлять, что в гостиной Раисы Павловны скоро появились Майзель, Вершинин, Сарматов – одним словом, все заговорщики, кроме Яши Кормилицына, который в качестве блажеиненького не мог осилить того, что на его месте сделал бы всякий другой порядочный человек.

– Я так рада вас видеть у себя, господа, – повторяла несколько раз Раиса Павловна, занимая милых гостей.

Повторились сцены, разговоры и пикировки парадных завтраков, за исключением того, что все «галки» отсутствовали, ибо – увы! – они были за произведенную в театре драчишку навсегда изгнаны из рая, уготованного избранным. Чтобы довершить эффект, Раиса Павловна послала доктору записку: «Яша, я должна была бы выцарапать тебе глаза за твое коварство, но я тебе прощаю... Приезжай сейчас же, если желаешь застать меня в живых... Горемыкина». Когда в гостиной появился доктор и с детским недоумением посмотрел на всех, как оплушенный теленок, все сдержанно замолчали и даже сделали вид, что не замечают его.

– Ага, вот и сам Мазепа явился! – заметил вполголоса Сарматов, глядя на доктора прищуренными глазами. – Ну, Яшенька, сознавайся: кто заварил кашу? – спросил он уже громко. – Раиса Павловна, рекомендую вашему вниманию этого молодого человека. Не правда ли, хорош?

Но Раиса Павловна встретила и Яшу Кормилицына с той же любезностью и даже поцеловала его в порыве чувства, проговорив вполголоса:

– Ну, Яшенька, как видишь, я совсем здорова: чем ушибся – тем и лечись... Чего тебе: чаю или кофе? Эй, Афанасья, кофе доктору, да

покрепче, чтобы привести его в чувство... Ха-ха!..

Мы избавим читателя от описания того, как заблудшие, но возвращенные овцы ели, пили, льстили Раисе Павловне и наперебой рассказывали самые смешные анекдоты про набоба и генерала с его «болванкой» и про его свиту. Прodelывалось то же самое, что прodelывается всеми и, к сожалению, слишком часто.

– Я, Раиса Павловна, могу про себя сказать только одно, – откровенничал Сарматов, целуя руку у Раисы Павловны, – именно, что один раскаявшийся грешник приятнее десяти никогда не согрешивших праведников...

– Совершенно верно, – соглашалась Раиса Павловна. – А что ваш спектакль?..

– Гм!.. спектакль. А вы про который изволите спрашивать?..

– Конечно, про настоящий...

– Ну, я теперь сижу, как Сципион Африканский на развалинах Трои!..

– Да ведь Сципион Африканский никогда не сидел на развалинах Трои!

– Это все равно, Раиса Павловна.

В этом общем торжестве не принимал участия только один Платон Васильич, который еще не выходил из своего кабинета. Он лежал на широкой кушетке и бредил без конца новыми машинами, которые стучали и вертелись у него в голове всеми своими колесами, валами и шестернями. Доктор часто навещал его, но до сих пор никак не мог определить болезни: и хворал Платон Васильич так же бесцветно и неколоритно, как жил. Вообще странный был человек, ставивший в тупик даже Яшу Кормилицына, который выбивался из сил, измеряя температуру, считая пульс и напрасно перебирая в уме все болезни, какие знал, и все системы лечения, какие известны в науке. Платон Васильич оставался какой-то патологической загадкой, которая неожиданно разрешилась сама собой, то есть Платон Васильич открыл глаза и почувствовал себя на положении выздоравливающего человека.

Генерал, покончив все дела в Кукарском заводе, давал прощальный обед, на котором, по плану Прейна, должно было состояться примирение враждовавших сторон в окончательной форме. Но как заманить на этот обед и Нину Леонтьевну и Раису Павловну,

притом заманить так, чтобы это было незаметно обеим и чтобы они встретились поневоле? Выполнением этого плана занялись все. Прейн с своей стороны обещал за Раису Павловну, но никто не брал на себя ответственности за Нину Леонтьевну, которая теперь в качестве потерпевшей могла наделать неприятностей всем. О визите Тетюева и других единомышленников она, конечно, знала и пылала справедливым негодованием к этой общей измене. В самом деле, сколько она хлопотала, старалась, интриговала – и вот награда! Бедный генерал переживал самую критическую минуту.

– Благодаря вашему ротозейству вы и Евгения Константиныча прозевали, – корила его Нина Леонтьевна. – Я уж не говорю о себе... А теперь вы затеваете парадный обед, чтобы устроить мне публичный скандал.

– Нина, пойми же, ради бога, что я делаю обед не для собственного удовольствия, – пробовал уговаривать генерал. – Ведь это официальный прощальный обед, который я обязан дать заводскому обществу...

– Ну, и прекрасно: давайте ваш обед, а я уеду одна.

После долгих и напрасных просьб и увещаний Нина Леонтьевна предложила генералу компромисс: она будет на обеде, но за это генерал должен так замарать формулярный список Прозорова, чтобы ему никуда носу нельзя было показать. Условие было слишком жестокое, но Нина Леонтьевна была неумолима, как судьба, и обещала совсем бросить генерала, если он по исполнит ее требования. Все это было высказано настолько категорически, что добрый генерал в конце концов не устоял и, желая спасти самого себя, погубил своего университетского товарища... В формулярном списке Прозорова собственной рукой генерала было прописано несколько таких замечаний, которыми дальнейшая карьера Виталия Кузьмича в каком бы то ни было ведомстве сделалась невозможной.

– Это будет всегда на моей совести... – проговорил генерал, бросая перо. – Нина, что ты наделала?

– Ничего, самая простая вещь: око за око – не больше того. А что касается твоей совести, так можешь быть совершенно спокоен: на твоём месте всякий порядочный человек поступил бы точно так же...

Все это было устроено совершенно келейно, так что на этот раз Нина Леонтьевна перехитрила решительно всех.

Обед имел быть устроен в парадной половине господского дома, в которой останавливался Евгений Константиныч. Кухня набоба оставалась еще в Кукарском заводе, и поэтому обед предполагался на славу. Тетюев несколько раз съездил к Нине Леонтьевне с повинной, но она сделала вид, что не только не огорчена его поведением, но вполне его одобряет, потому что интересы русской горной промышленности должны стоять выше всяких личных счетов.

Идея примирения двух враждовавших женщин сделалась настоящей злобой кукарского дня, причем предположениям, надеждам и сомнениям не было конца. Женщины, кровно заинтересованные в этом чисто женском деле, ходили как в тумане, внося в общую сумятицу новые усложняющие соображения. Когда все собрались в обеденную залу, в которой принимал гостей генерал, общее напряжение достигло последних границ. В числе гостей были приглашены и дамы. В комнатах господского дома гудела и переливалась пестрая и говорливая волна кружев, улыбок, цветов, восторженных взглядов, блонд и самых бессодержательных фраз; более положительная и тяжеловесная половина человеческого рода глупо хлопала глазами и напрасно старалась попасть в тон салонного женского разговора. Да мужчинам было, собственно говоря, и не до дам, потому что все ожидали с нетерпением близившейся развязки. Ведь этот последний обед, на котором собрался весь «малый двор» и обломки большого, имел решающее значение, потому что им должно было увенчаться все здание. Все недоразумения, пререкания, сомнения – все должно было исчезнуть, и даже навсегда готовилась быть засыпанной та пропасть, которая до сих пор разделяла «малый» и «большой» дворы.

Публике было известно, что Нина Леонтьевна явится в сопровождении Тетюева и Братковского, а Раиса Павловна в сопровождении Прейна и Родиона Антоныча. Две женщины превращались в миртовые ветки, делаясь символом общего мира. Прошло полчаса общего томительного ожидания, а главные действующие лица все не появлялись на горизонте. Генерал несколько раз тревожно посмотрел на часы и поморщил лоб. Но вот растворились двери, и в них вошли Прейн и Тетюев одни, а за ними плелись Братковский с Родионом Антонычем. По толпе гостей

пробежал трепет, как порыв ветра, который перед грозой шелестит в траве.

– Нина Леонтьевна больна... – объявил Тетюев, принимая министерскую позу.

– Раиса Павловна тоже больна... – отозвался Прейн.

Наступило гробовое молчание, точно в ожидании вердикта присяжных. Приходилось садиться обедать одним, причем генерал испытывал крайне угнетенное состояние духа. Прейн тоже ругался на пяти языках, хотя по его беззаботному виду и невозможно было разгадать эту лингвистическую внутреннюю бурю.

Таким образом, торжественный обед начался при самых неблагоприятных предзнаменованиях, хотя все записные специалисты по части официальных обедов лезли из кожи, чтобы оживить это мертворожденное дитя. В надлежащем месте обеда сказано было несколько спичей, сначала Вершининым и Тетюевым, причем они, подогретые невольным соперничеством, превзошли самих себя. Когда было подано шампанское, генерал поднял бокал и заговорил:

– Милостивые государыни и милостивые государи! Мне приходится начать свое дело с одной старой басни, которую две тысячи лет тому назад рассказывал своим согражданам старик Менений Агриппа. Всякий из нас еще в детстве, конечно, слышал эту басню, но есть много таких старых истин, которые вечно останутся новыми. Итак, Менений Агриппа рассказывал, что однажды все члены человеческого тела восстали против желудка...

– Отлично, генерал!.. – раздалось среди общей тишины.

В дверях стоял пьяный Прозоров и, пошатываясь, слезившимися глазами нахально смотрел на обедавших...

– Отлично... ха-ха!.. Менений Агриппа... прекрррасно!.. – продолжал он, поправляя волосы неверным жестом. – А Менений Агриппа не рассказал вам, Мирон Геннадьич, о будущей Ирландии, которую вы насаждаете на Урале с самым похвальным усердием? Менений Агриппа!.. О великие ловцы пред господом, вы действительно являетесь великим российским желудком... Ха-ха!.. А я вам прочитаю лучше вот что, господа:

Умерла Ненила; на чужой земле
У соседа-плута – урожай сторицей;

Прежние парнишки ходят бородаты,
Хлебопашец вольный угодил в солдаты,
И сама Наташа свадьбой уж не бредит...
Барина все нету... барин все не едет!

– Ради бога, уведите его! – шептал генерал, причем нижняя губа тряслась у него от бешенства.

– Менений Агриппа и Тетюев... ха-ха! – хохотал Прозоров, когда его выводили в переднюю два лакея, а Родион Антоныч осторожно подталкивал сзади. – Иуда, и ты здесь? Ну, нам с тобой и бог велел быть подлецами! Видел Тетюева, будущего юрисконсульта? Ха-ха! Продал Тетюев за чечевичную похлебку свое земское первородство и посему далеко пойдет: нынче крупным подлецам везде скатертью дорога... Родька! наплюй за меня в рожу Тетюеву, он сам меня просил об этом! Менений Агриппа – и Мирон Геннадьич Блинов! поистине, от великого до смешного один шаг. Насаждаем российский капитализм и вступаем в конкуренцию с Западными Европами чисто желудочными средствами... Ха-ха! Тетюев и генерал, генерал и Тетюев! – черт с младенцем и дважды два стеариновая свечка!

– Виталий Кузьмич, ради истинного Христа, удержите вы свой язык! – умолял Родион Антоныч, помогая Прозорову найти дверь в передней.

– А... это ты, Иуда! – бормотал Прозоров, выдвывая вензеля ногами. – Знаешь, что я тебе скажу: я тебя люблю... да, люблю за чистоту типа, как самородок подлости. Ха-ха!

Парадный обед, задуманный на таких широких основаниях, закончился благодаря Прозорову полнейшим фиаско.

Вечером этого многознаменательного дня Прозоров сидел в будуаре Раисы Павловны, которая сама пригласила его к себе. Дело шло о погибшем формуляре, о чем Раиса Павловна только что успела узнать от своего Ришелье.

– Куда вы теперь, Виталий Кузьмич? – спрашивала Раиса Павловна своего друга.

– А сам не знаю, царица Раиса... Нужно будет приискивать род занятий; может, волостным писарем пристроюсь где-нибудь.

Подумав немного, Прозоров улыбнулся пьяной улыбкой и прибавил:

– Давеча, царица Раиса, генерал Мирон рассказывал басню Менения Агриппы... Я часто думаю о ней и все не нахожу себе места в числе членов человеческого тела, а теперь нашел... Ха-ха!..

– Именно?

– То есть, собственно, это не часть тела, а только одна из его необходимых принадлежностей: я – больной зуб, царица Раиса! Собственно, и не зуб, а гнилой корень, который ноет, а вытащить нечего.

– Если дело пошло на сравнения, так вы можете сравнить себя вернее с чирьем... Ну, да дело не в сравнениях, а я пригласила вас по серьезному делу. Именно: поговорить о судьбе Луши, которая дальше не может оставаться при вас, как это, вероятно, вы и сами понимаете...

– О, понимаю, царица Раиса, слишком хорошо понимаю!.. Только позвольте мне еще одно сказать: на генерала Мирона я не сержусь, видит бог – не сержусь!

– И прекрасно... Ваше положение теперь совсем неопределенное, и необходимо серьезно подумать о Луше... Если вы не будете ничего иметь против, я возьму Лушу на свое попечение, то есть помогу ей уехать в Петербург, где она, надеюсь, скорее устроится, чем здесь. Не пропадать же ей за каким-нибудь Яшкой Кормилицыным...

– Да, да... Лукреция уже, кажется, и без того на хорошей дороге! Впрочем, я это говорю так... Нынче выгоднее жить ногами, чем головой, Раиса Павловна.

Раису Павловну удивило безучастное отношение Прозорова к дочери, хотя он, по-видимому, и подозревал печальную истину.

– Послушайте, царица Раиса, я пьяница, а кое-что еще в состоянии понимать, – бормотал Прозоров, моргая глазами. – Везде жертвы... да! Это то же самое, что побочные продукты в промышленности. Лукреция совершеннолетняя, и сама понимает, что делает, а я молчу... Не мне и не вам ее учить... Оставимте ее впокое!.. Боже, боже мой!

Прозоров вдруг заплакал, закрыв лицо руками.

– Перестаньте, что вы, Виталий Кузьмич! – проговорила Раиса Павловна, трогая своего друга за плечи.

– Вы думаете, царица Раиса, я плачу о том, что Лукреция будет фигурировать в роли еще одной жертвы русского горного дела – о нет! Это в воздухе; понимаете, мы дышим этим... Проституцией заражена наука, проституция – в искусстве, в нарядах, в мысли, а что же можно сказать против одного факта, который является ничтожной составной частью общего «прогресса». Не об этом плачу, царица Раиса, а о том, что Виталий Прозоров, пьяница и потерянный человек во всех отношениях, является единственным честным человеком, последним римлянином... ха-ха!.. Вот она где настоящая-то античная трагедия, царица Раиса! Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость! Тетюев с Родькой теперь совсем подтянут мужиков, а генерал будет конопатить их подлости своей проституированной ученостью... Я вчера шел по мосту: там сидит здоровенный мужик с выжженными глазами... Ему на заводской работе в горе порохом выжгло глаза, и он сидит пятнадцатый год нищим на глазах у всех, и кукарское заводоуправление пальца не разогнет для него. Да это что! ничтожная пылинка, одна капля в море... Это только иллюстрация тому, что мы должны были сделать и не сделали. В Кукарских заводах нет даже богадельни для престарелых, нет пенсии изработавшимся и увечным, нет приюта для сирот... Конечно, все это филантропия, но и филантропия лучше той мутной воды, какую разводит генерал Мирон! Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью, а мы... Наука, святая наука, и та пошла в кабалу к золотому тельцу! И вашему царству, царица Раиса, не будет конца... Будьте спокойны за свое будущее – оно ваше. Ваш день и ваша песня...

Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что постыдным сегодня считается,
Удостоится завтра венца...

– Царица Раиса, дайте вашу ручку! – лепетал Прозоров, падая на колени. – И слабая женщина нашла наконец свое место на пиру жизни... Да. Теперь честной женщине нечего делать. Я понимаю вас!

А вот мы, пьяненькие да несчастненькие, будем стоять у кабацкой стоечки и любоваться вами... ха-ха!..

На другой день после парадного обеда генерал Блинов уехал из Кукарского завода, а за ним потянулась длинным хвостом нахлынувшая с Лаптевым на Урал челядь. Так после веселого ужина или бала прислуга выметает разный сор из комнаты! Этот человеческий хлам выметал сам себя из зала недавнего пиршества.

Прейн уехал последним. Луша отправилась в Петербург вместе с Раисой Павловной, которая чувствовала потребность немного освежиться.

Результаты приезда барина на заводы обнаружались скоро: вопрос об уставной грамоте решен в том смысле, что заводским мастеровым земельный надел совсем не нужен, даже вреден; благодаря трудам генерала Блинова была воссоздана целая система сокращений и сбережений на урезках заработной рабочей платы, на жалованье мелким служащим и на тех крохах благотворительности, которые признаны наукой вредными паллиативами; управители, поверенные и доверенные получили соответствующие увеличения своих окладов.

Тетюев занял свой новый пост юрисконсульта, а Родион Антоныч единогласно был избран председателем Ельниковской земской управы, причем в первый же год своей земской деятельности поставил дело так, что знаменитая гора Куржак, обложенная двумя рублями семнадцатью копейками земских налогов, была освобождена от этой непосильной тяготы, как освобождены на Урале от земского обложения все золотые прииски.

Уральские рассказы*

– Вот тебе и Шерама... – проговорил мой возница, тыкая кнутовищем по направлению блеснувшей из-за пригорка степной речки Уразаевки. – Как на ладонке...

Шерама, село дворов в полтораста, красиво облепило бревенчатыми избами холмистый берег Уразаевки. Издали можно было залюбоваться им. Таких сел в Зауралье попадается очень много. Одно только портило картину: насколько хватал глаз, ковром расстилались все поля и поля, и нигде не было даже клочка леса. А прежде, лет полтораста назад, судя по преданиям, вдоль берегов Уразаевки красовались вековые бора, – и аборигены Шерамы, башкиры, откочевывали на летние тебеневки далеко, в Ишимскую степь. Даже пней не осталось от этих боров, все выжгли уральские заводчики, им усердно помогали и сами крестьяне. Русский человек ценит лес только тогда, когда его изведет до последнего дерева. Впрочем, шераминские мужики не особенно тужат об исчезнувших лесах, потому что на месте этих лесов теперь зеленеют бесконечные хлебные поля, сенокосы, и только часть остается под пустошами, куда выгоняют скот. История этих исчезнувших в Зауралье лесов живо напоминает историю прежних обитателей этого благословенного края, башкир; последние давно уже вытеснены из лучших мест русским населением. От башкир остались во многих местах только одни названия. Так, речка Уразаевка и село Шерама – несомненно, названия башкирские, хотя в Шераме не найдете ни одного башкира, как и по всему течению Уразаевки. Здесь плотно и крепко осело русское население, и между бывшими башкирскими деревнями рассажались чисто русские села: Шляпово, Новоселы, Полома и так далее.

Но зауральский мужик совсем не того типа, к какому привык глаз в великорусских губерниях. Здесь живет народ «естевой», то есть зажиточный (вероятно, от слова: есть), «народ-богатеи», если

сравнить с «Расеей». Матушка Сибирь вспоила, вскормила его и на ноги поставила. На привольных местах окреп тот же самый народ, раздобрел. Недаром славятся сибиряки своей смышленостью и промышленным характером. Под боком киргизская степь, Обь с своими притоками; позади стеной подымается Урал – было где поучиться зауральскому мужику уму-разуму.

От деревни Шляповой до Шерамы вез меня какой-то дядя Евмен и всю дорогу весело балагурил на своем облучке. При виде Шерамы даже Евмен пришел в некоторый восторг, потому, вероятно, что она раскинулась, «как на ладонке».

– Важное село, – говорил, любуюсь, Евмен, когда наша телега начала осторожно спускаться по крутому косогору прямо к реке. – А вон дом попа Якова... Естевой поп. Тебе к нему?

– Да.

– Ну, ты, ма-ахонькая! – прикрикнул на свою лошадь Евмен, прыгая на облучке; его рубаха из изгребного холста надулась парусом, показывая свои кумачные ластовицы. – Попадья Руфина пирогом попотчует, – прибавил Евмен, поворачивая ко мне свое широкое улыбавшееся лицо с оскаленными зубами и загорелым румянцем.

– Любите попа Якова? – спросил я.

– Якова-то? Пошто его не любить – любим... Он у нас как мохом оброс. Теперь, надо полагать, на пятый десяток перевалило, как он поступил к нам в Шераму. Нет, ничего, любим Якова... у него десятин сорок, поди, посеяно – да скотины сколько... всякой всячины – дивно! Яков-то все у нас сам доспиеет^[32], своими руками, оттого мы его и любим. Примется пахать, так куды мужику, не угнаться... Могутный из себя, навалится на сабан, так лошадь-то только-только не закричит, едва выворотит полосу-то. Важно пашет... А примется косить или сено метать, или молотить – только успевай глядеть. А вот жать – нет, не может, – с улыбкой прибавил Евмен, поглаживая свою бороду мочального цвета: – брюхо не позволяет... Как нагнется, глядишь – и сел. Ей-богу!.. Да и то сказать, старо место, на седьмой десяток перевалило, где уж за молодыми угнаться...

После короткой паузы Евмен тряхнул своей головой и, поправив шляпу на один бок, проговорил задумчиво:

– А ведь у попа-то Якова ноне не ладно в дому...

– Что так?

– Да так... – коротко ответил Евмен таким тоном, который делал дальнейшие расспросы совершенно излишними.

Мы въезжали в самое село. Широкая улица, обставленная рядами красивых изб, вела прямо к каменной белой церковке, красиво прятанной в густой зелени черемух, лип и берез. Наше появление, конечно, прежде всего обратило на себя внимание деревенских собак, которые с азартным лаем настоящих провинциалов провожали нас до самого дома о. Якова. Я очень люблю этот домик, выстроенный о. Яковом из старинного кондового леса; он так добродушно поглядывает из-под своей порыжелой тесовой крыши узкими окошечками с белыми ставнями, точно вот-вот сейчас хочет улыбнуться. Лет десять не бывал я в этом доме, но он не изменился ни на волос, только как будто глубже врос в землю да плотнее надвинул свою крышу прямо на глаза, как старую разносившуюся шляпу.

– А вот и попадья Руфина!.. – проговорил Евмен, когда наша телега мягко подкатилась по зеленой полянке к воротам, точно по ковру.

У ворот стояла низенькая толстая старушка в полинялом темненьком ситцевом платье и, заслонив черные узкие глаза короткой пухлой ручкой, внимательно всматривалась в меня. Ей было под шестьдесят, хотя на вид она казалась бодрой еще не по летам. Круглое добродушное лицо было покрыто мелкими морщинами; они собрались около глаз и рта лучами, разбегавшимися по всему лицу при каждой улыбке.

II

– Здравствуйте, Руфина Анемподистовна, – здоровался я, слезая с телеги. – Не узнали меня?

– Да где тебя сразу-то узнаешь, – отозвалась добродушно старушка, видимо еще сомневаясь в твердости своей памяти. – Ах, батюшки... да ведь это ты... – встрепенулась старушка, называя меня по имени. – А уж я-то не чаяла тебя и в живых видеть... Никак, лет десять будет, как ты не бывал у нас?

– Около того.

Старушка обняла меня и расцеловала, а потом, схватив за рукав пальто, бойко потащила в «горницу». Пока мы шли от ворот к старому крылечку, она несколько раз оглядывалась на меня, как будто стараясь убедиться в том, что имеет дело не с призраком, а с живым человеком. Конечно, при таком благоприятном случае старушка не преминула всплакнуть и сквозь слезы с каким-то детским всхлипываньем шептала:

– Из себя-то уж ты больно тово... в чем душенька!.. Все, небойсь, учился? Ох-хо-хо... Учитесь вы до седого волоса, а когда жить-то будете...

– Как отец Яков здравствует?

– Здоров, ничего... Что ему сделается?..

Дворик у о. Якова был устроен на крестьянскую руку. Службы были заняты «стойками» для скотины, амбарами, сусеками и громадным сеновалом. На задней половине двора помещалось отделение живности; из-за перегородки весело смотрела мохнатая голова годовалого жеребенка; несколько овец лежало в тени амбара, вытянув по земле шеи. Из самой глубины двора выглядывала маленьким окошечком крошечная банька; в ней о. Яков любил отдохнуть летом после обеда часок-другой и «позолотить хлеб-соль», то есть покурить из большой деревянной трубки. Посреди двора стояла тюменская телега, на которой только что приехали с поля; на колесах оставались следы вчерашней грязи, а из кузова лезла во все стороны не успевшая еще подсохнуть недавно скошенная трава. Под навесом у погребов были сложены бороны.

– Милости просим... – говорила матушка Руфина, с легким перевальцем утицей забегая по настланным дощечкам в темные сени; она распахнула дверь в кухню и любовно смотрела на меня своими черными глазками.

Если во дворе было царство о. Якова, то за порогом сеней начинались уже владения матушки Руфины. Я всегда с некоторым благоговением переступал через этот порог; за ним каждая вещь говорила о неустанном, вечном труде. Налево от входных дверей, за косяком, стоял обыкновенно посошок о. Якова; если посошок дома – и хозяин дома, посошка нет – и хозяина нет. Теперь посошок отсутствовал. Направо в углу стояла крашеная деревянная кадка с водой, а потом целый арсенал сундуков, ящиков, ящичков, коробушек,

плетенки и тому подобного «хлама», как называл о. Яков весь этот хозяйственный скарб. От самого порога сеней вела в горницу белая, как снег, тропинка из домашнего холста.

Ход в горницы шел через кухню, и другого не полагалось. «Что я, разве губернатор какой, чтобы парадное крыльцо строить, – говаривал поп Яков. – Я, брат, своими руками дом-то строил... Тут не много разгуляешься. Было бы тепло!» Впрочем, незнакомый человек не скоро бы и догадался, что он в кухне. Русская печь скромно пряталась за ситцевой занавеской, посуда была всегда прибрана, и, может быть, только один пузатый самовар, всегда стоявший на залавке, мог навести некоторое сомнение своим присутствием.

– Снимай балахон-от свой, – говорила матушка, помогая мне снять верхнее пальто. – Гость будешь, да еще какой гость-то... Вот уж по поп придет, так он как обрадуется...

Прямо из кухни одна дверь вела в горницу самого о. Якова; эта горница выходила тремя окнами на улицу и была перегорожена низенькой ширмой пополам. За ширмой стояла широкая двуспальная кровать. Вторая дверь вела из кухни в горницу матушки Руфины, крошечную комнатку, выходившую одним окошечком на двор. Нужно сказать, что в домике о. Якова всегда стоял совершенно особенный воздух, весь пропитанный каким-то специфическим ароматом. Не то росным ладаном пахло, не то старой вишневым наливкой или геранью – не разберешь хорошенько.

– А это у вас что за оружие? – спросил я, рассматривая полицейскую шашку, которая висела на ширме вместе с белым кителем.

– Да ведь Прошку-то помнишь? Ну, еще из училища его тогда исключили! Это его муниция... Он у нас урядником служит в Шераме. Как же, чин получил недавно... Теперь где-то в Полому уехал, ловит кого-то.

– Кого?

– Да в Полеме-то попом отец Ксенофонт, а у него сын... Ну, там где-то в Москве обучался. Только это так... он совсем ничего, а это Прошка придумал.

На маленьком столике, который стоял в углу комнаты, были разложены книги и стопкой лежали подобранные номера газеты. На одном переплете я прочитал «Das Kapital, von Marx»^[33].

– Это Кинтильяновы книги, – предупредила мой вопрос старушка. – Ты его не помнишь, поди? Нет, где помнить. Он еще в училище тогда учился, когда ты был у нас в последний-то раз.

– Ведь у вас еще два сына?

– Да, как же... Митрей-то Яковлич попом теперь в Зюзиной служит, а Никаша – дохтуром земским. Четверо их у меня.

– А дочь? Ведь у вас была девочка, Аня.

Старушка только махнула рукой.

– Замуж вышла?

– Нет...

– Умерла?

– Хуже... – прошептала со слезами на глазах бедная старушка и, осторожно оглядевшись кругом, таинственно проговорила: – Ужо расскажу тебе вечером, когда уберусь. Да вон и поп с Кинтильяном идут... Обедать сейчас будем.

III

Поп Яков вошел в это время уже в кухню и, заметив меня, проговорил своим густым баском:

– Да это никак...

Он назвал меня по имени и, заключив в свои могучие объятия, облобызал. Высокого роста, с могучей грудью, поп Яков смотрел настоящим русским богатырем, а благообразная седина придавала его фигуре нечто патриархальное. Когда, мальчуганом, я учил историю ветхозаветных патриархов, поп Яков для меня служил живым и наглядным примером; я отлично представлял себе фигуру библейского патриарха Иакова – стоило только закрыть глаза и припомнить попа Якова. Десять лет, в течение которых я не видал его, почти не изменили его наружности, за исключением разве того, что косматая окладистая борода из седой превратилась в желтую, да на высоком лбу легло несколько глубоких морщин. И костюм на о. Якове оставался тот же, то есть нанковый синий подрясник с высоким стоячим воротником, каких нынешние модные батюшки уже совсем не носят; из-под подрясника выплядывала ситцевая рубашка-косоворотка, перехваченная тоненьким гарусным пояском чуть не под самыми

мышками. Этот поясок мне всегда казался особенно забавным, потому что без подрясника, в одной рубашке, как частенько ходил дома о. Яков, он походил на колоссального ребенка. Старик любил в таком виде работать во дворе или в огороде, а на пашне это было даже ему необходимо, потому что подрясник только заплетал ноги и мешал работать.

Широкое русское лицо попа Якова глядело своими большими серыми глазами строго и внушительно; губы всегда были плотно сжаты и очень редко распускались в улыбку. И в фигуре, и в движениях, и в выражении лица сказывался человек, который «в поте лица снискивал» свой хлеб. Я всегда любил эту спокойную уверенность попа Якова, его медленную речь, веселую умную улыбку, которую все лицо точно освещалось.

На этот раз меня неприятно поразила только одна перемена в о. Якове; он оставался прежним попом Яковым, – но это по наружности. Глаза же смотрели как-то неестественно пытливо, и он несколько раз тревожно поглядывал в окно; улыбался он тоже не по-прежнему – какой-то натянутой, не своей улыбкой. Вообще во всем – в движениях, в голосе, во взгляде и в улыбке – чувствовалось то «неладное», о чем мне говорил дорогой Евмен.

– Ну, мать, соловья баснями не кормят, – заметил о. Яков, когда мы успели обменяться первыми вопросами, какие неизбежны между старыми знакомыми после долгой разлуки.

Кинтильян, сын, только издали поклонился мне и даже не вошел в горницу. Он был одет в коротенькое казинетовое пальто; казинетовые брюки были заправлены за сапоги. Такая же ситцевая рубашка, как у о. Якова, была точно так же подпоясана гарусным пояском и выпущена поверх брюк, на мещанский манер. На вид ему можно было дать лет двадцать пять; русая пушистая бородка красиво обрамляла его бледное, изнеможенное лицо и придавала ему какую-то преждевременную серьезность. Вообще и ростом и лицом Кинтильян походил на мать; отцовского в нем оставались только одни глаза – серые, большие, строгие, с темными густыми ресницами.

– Милости просим... – приглашала матушка, появляясь в дверях. – Только уж ты, гостенек, не обессудь нас на нашей простоте...

Нечем тебя угощать-то, потому приехал к самому обеду, а печка у меня уж простыла.

– Ничего, вечером пельмени сделаешь, – успокоил о. Яков старушку. – А теперь пусть отведаст нашего мужицкого кушанья... Ешь просто, проживешь лет со сто! – пошутил батюшка.

Мы уселись в кухне за маленький деревянный столик, накрытый синей изгребной скатертью. Тарелок не полагалось. Ели из одной чашки деревянными ложками. Кушанье было собственно два – щи и гречневая каша. Зато щи матушки Руфины стоили целого обеда. Таких щей никто не умел делать, и старушка гордилась своим искусством.

– Давно ли попал в наши Палестины? – спрашивал о. Яков между первой и второй чашкой щей. – Там ведь, в вашем-то Петербурге иль в Москве, все бедовый народ живет.

– Ну уж, пошел... – с неудовольствием заметила матушка.

– Чего пошел?! Я дело говорю... Вон благочинных запретили выбирать... Везде суд, да доносы, да подозрения, – говорил как-то отрывисто о. Яков и вдруг спросил: – А где у нас Прошка, мать?

– Сам знаешь где, – неохотно ответила матушка.

– Это он в Полому забрался? Да не пес ли... не за столом будь сказано... Да Ксенофонт-то разорвет его, как дохлую кошку... Ну и народец только нынче пошел!..

Отец Яков все время сильно волновался и несколько раз принимался бранить то Петербург, то Прошку. Кинтильян хранил самое упорное молчание и не проронил ни одного словечка. После обеда о. Яков увел меня в горницу, закурил свою деревянную трубку и опять навел разговор о Петербурге. Несколько раз он среди своей речи бросал трубку, рылся в газетах и вынимал какой-нибудь номер, где карандашом было отмечено все достойное примечания.

– Нет, он нам вот где, ваш Петербург-то, – говорил старик, указывая на свой могучий затылок. – Ой, как солоно он приходится... Да! Хорош Питер, да бока повытер... Кажется, живешь себе в таком месте, что и ворон костей не заносит, а глядишь – не тут-то было. Да!.. Прежде я этих самых газет и в руки никогда не брал, разве про войну прочитаешь, а нынче не-ет... Ждешь не дождешься номера-то, как Христова дня. Не прежние времена... Вон мужики – и те как газеты любят читать. Недаром, видно, пословица сложилась, что в городе дрова рубят, а в деревню щепки летят...

Вечером матушка Руфина приготовила пельмени, а когда мы уже сидели за столом, явился и Прошка – из Поломы. Он был верхом и едва мог спуститься с седла. Пошатываясь, вошел он в кухню и красными, воспаленными глазами посмотрел на всех. Плотный, коренастый Прошка цвел завидным здоровьем.

– Ну, что, не отколотил тебя Ксенофонт? – спросил о. Яков.

– Н-нет... мы помирились, – заплетавшимся языком ответил Прошка, стараясь сохранить равновесие, а потом покрутил головой и улыбнулся пьяной блаженной улыбкой. – Мы с Ксенофонтом-то целую четверть раздавили, родитель... А я ему все-таки покажу! Нет... я ему... Он меня сначала-то за ворот схватил...

– Я бы на его месте так просто удавил бы тебя, яко смердящего пса! – заметил о. Яков. – Взятку, небойсь, хотел взять?..

– Н-нет, зачем взятку брать... закон не велит, а вот четвертную мученицу ничего... не воспрещено...

Прошка только теперь заметил меня и сейчас же преобразился, принял деловую осанку, нахмурил брови и строго спросил:

– А позвольте, милоствый гсдарь... документы!

– Я тебе покажу такие документы, что ты у меня не будешь знать, которым концом сесть... – зарычал о. Яков.

– Да я так... пошутил... – осклабился Прошка и, махнув рукой, прошел в горницу.

Отец Яков хотя и храбрился все время, но я заметил, что он не в своей тарелке. Нет-нет и посмотрит в окно как-то из-за косяка, точно он опасался какой-то засады или нечаянного нападения. Матушка Руфина тяжело вздыхала и подбирала губы оборочкой, делая вид, что ничего не замечает.

IV

Вечером мы долго калякали с попом Яковом, сидя на завалинке во дворе. Говорили о разных разностях и, между прочим, о местных новостях.

– Ябеды везде пошли, – объяснил мне старик. – Прошка-то, – видел его давеча, – раньше был сельским учителем. Так этот самый отец Ксенофонт все на него доносы писал: и в церковь, мол, не ходит,

и газеты мужикам читает, и по постным дням скоромное ест... Выжил ведь парня с места! Шатался-шатался Прошка без места, а потом за свою простоту в урядники попал... И как это он устроил – ума не приложу. А как попал, и пошла потеха... Есть тут в Новоселах псаломщик, Варвар. Башка, я тебе скажу! Вот этот Варвар повздорил о чем-то с отцом Ксенофонтом и давай доносы жарить на его сына, а Прошка его ловить... Теперь у них такая каша, что упаси боже!.. Ксенофонт-то больно дерзок на руку и силен, медведь медведем. Вот когда-нибудь он освежает Варвара с Прошкой...

Попадья Руфина, пока мы беседовали на завалинке, подтыкав подол, таскала ведро за ведром в стойки, где мычали только что вернувшиеся с поля коровы. Старушка искоса поглядывала на нас, улыбаясь, и, перегнувшись на один бок, с старческим побряхтыванием семенила по двору. Когда она прошла с большим дойником доить коров, поп Яков поднялся и проговорил:

– Ну, заболтался я с тобой... Поди-ка спать в баню, там уж мать все тебе приготовила. Утро вечера мудренее... А мне еще нужно к завтрему дров наносить попадье да телегу вымазать.

– А что ваш доктор? – спросил я.

– Это Никашка-то? Служит в земстве, что ему сделается. Недавно был у нас с женой... Ты разве не слыхал? Женился... Таковую госпожу в очках подцепил, что... Ну, да это не нашего ума дело: ему с ней жить-то, а плянется, так и слава богу.

Поп Яков побрел за дровами, а я отправился в баню. Там матушка Руфина когда-то успела уже все приготовить. На широкой лавке был постлан киргизский войлок, покрытый чистенькой простыней с плетеным кружевом у спускавшегося на пол края. Ситцевая подушка, взбитая пухленькими ручками матушки Руфины, высилась горой. Рядом с постелью на деревянном табурете была поставлена сальная свеча в железном луженом подсвечнике, и тут же лежало несколько номеров газеты и еще какая-то книга. Добрая старушка обо всем успела позаботиться, чтобы доставить гостю все удобства. Я развернул книгу и невольно улыбнулся. Это были какие-то литографированные записки по женским болезням. Нужно сказать, что матушка Руфина не умела читать и притащила первую попавшуюся под руку книгу.

В бане было немного душно, и я открыл окно. На меня глянула пахучая летняя ночь и краешек синего неба, усыпанный звездочками,

как серебряными блестками. Тут же под окном, на двух грядках, росли кусты малины, образуя зеленую беседку. Несколько кустов бузины и ряды гряд с капустой, картофелем и горохом упирались в низкую изгородь, которою усадьба попа Якова разграничивалась с владениями церковного старосты, зажиточного мужика Никитича. По наружной стороне бани по натянутым веревочкам вился зеленой спиралью хмель; пара молоденьких веточек его с детским любопытством заглядывала в самое окно. Наверно, Аня любила этот тенистый уголок, где летом так удобно работать. Я едва помнил ее девочкой лет двенадцати, с любопытными и серьезными черными глазками, с неправильным, но симпатичным, всегда загорелым личиком... Где-то ты, Аня, проводишь эту мягкую и поэтическую ночь?

В открытое окно тянуло свежим ночным воздухом, вносившим с собой пеструю смесь звуков, какими отдавала теперь спавшая глубоким сном Шерама. Где-то перекликались деревенские собаки, ржала лошадь; глухо погромыхая, прокатилась по деревенской улице запоздалая телега. Точно с того света донеслась и сейчас же смолкла далекая проголосная песня. Кто ее поет, эту песню: может быть, молодой деревенский парень, которого зазнобила девичья краса; может быть, выливается в ней чье-нибудь одинокое тяжелое горе; может быть, поет забубенная головушка, кабацкий пропойца... Мудрено поет русский человек; не разберешь хорошенько, горе или радость заставляет его петь.

Любуясь ночью, я вспомнил про женитьбу доктора Никашки.

Станный был человек этот Никашка. Как теперь вижу его в коротенькой люстриновой поддевке, в таковых же шароварах, заправленных за сапоги, и в сером мужицком чекмене, который он носил вместо осеннего пальто. Из-под мягкой коричневой пуховой шляпы любопытно и насмешливо выглядывали два черных бойких глаза. Узкое лицо с козлиной бородкой и широкими губами отличалось необыкновенной подвижностью и постоянно улыбалось умной, немного иронической улыбкой. Одним словом, уродился Никашка, как говорится, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Таким учился и таким жить пошел, да, вероятно, таким и останется до гробовой доски.

Помню – это было в начале шестидесятых годов, – как в первый раз явился Никашка в Шераму доктором в своей поддевке и верхней сермяжке. Удивил он даже деревенскую простоту. Щеголяли и другие сермяжками, да скоро бросали, а Никашка так и остался в ней на всю жизнь. Прост был Никашка, да и время тогда было совсем особенное, не в пример другим. Идеальное было время, хотя Никашка в простоте своего сердца считал себя «мыслящим реалистом». Жил этот доктор еще проще, чем одевался. С удовольствием припоминаю, какое неизгладимо сильное впечатление производил Никашка тогда на нас, школяров. Что-то такое хорошее, убежденное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, и мы льнули к нему, к его книжкам, к его рассказам об *alma mater*^[34].

Только давно это было, много воды с тех пор утекло, а, право, доктор Никашка остается для меня лучшим и самым дорогим воспоминанием, как хороший юношеский сон, смутный и неопределенный, но после которого чувствуешь такой прилив молодых сил.

V

– Ты не спишь еще? – послышался голос матушки Руфины, и ее круглое сморщенное лицо показалось в оконце.

– Да еще рано...

– То-то, я смотрю, окно не заперто... Дай, думаю, загляну, – прибавила старушка, точно в свое извинение. – Да зажги свечу-то, чего в потемках разговаривать... Не воровать пришли!

Я чиркнул спичкой и зажег свечу. Желтый неровный свет разлился по бане и осветил лицо старушки; оно было теперь серьезно и печально. В раме окна на темном фоне матушка Руфина походила на портрет старинной голландской школы.

– О чем с попом-то разговаривали даве?

Выслушав мой рассказ, она тяжело-тяжело вздохнула и, пристально взглянув на меня, заговорила:

– Ничего-то я, ровнешенько ничего не понимаю... Хоть расколи меня! Точно вот не я слушаю, а кто-нибудь другой...

Матушка сильно пригорюнилась, высморкалась и, вытерев кончиком фартука глаза, опять начала:

– Вот я и пришла к тебе... поговорить с тобой. А то хожу я, как в потемках все равно. Да... Смертоньки нет, а жить, пожалуй, и в тягость. Отдохнуть бы старым костям...

– Что вы, Руфина Анемподистовна, – поспешил я успокоить старушку, – зачем умирать. Еще жить нужно...

Старушка только махнула рукой, а потом, улыбнувшись сквозь слезы, прибавила:

– Известно, раньше смерти не умрешь... а только пора. Как человек не стал ничего понимать, значит, пора и в землю. Чего даром-то небо коптить?

– А вы о чем со мной хотели поговорить?

– О чем поговорить-то хотела?... – в раздумье повторила мой вопрос старушка. – Видишь ли, надо сначала тебе рассказать все, как дело-то наше вышло, а потом уж я тебя и спрошу. Только я тебе зачну с самого начала рассказывать...

– Рассказывайте, я с удовольствием послушаю.

– Ты ведь Никашу-то помнишь?

– Как же, очень хорошо помню. Он женился?

– Женился... – уныло ответила матушка. – Была я у них как-то, у Никаши-то... Расскажу я тебе, как в гости-то ездила. Уж после свадьбы была. Он ведь в городе живет, в Мохове. Там и квартира у него. Только сам-то он больше в разъездах. Должность-то свою все собачьей службой зовет да еще прибавит: «Волка ноги кормят, маменька!» Знаешь его: у него каждое слово неспроста, все смешком. Ну, давненько он меня звал к себе в гости, да все недосуг был, а тут как-то перед рождеством я и собралась от свободы. А давно в городе не бывала, да и на лошадях страсть боюсь ездить... хуже смерти! Всю дорогу под подушкой лежала... Думаю, если и убьют меня лошади, так хоть невзначай. Не видали бы глазыньки. Вот и приехала я в город, на его квартиру, часов этак и десять утра, а он еще спит, и жена спит. В разных комнатах спят, по-образованному, она на одном конце дома, он на другом. Грешным делом, случись пожар, один сгорит, а другой и не услышит. Все по-образованному... Хорошо. Промерзла я в дороге, а работница вышла разряженная такая...

– Горничная?

– Ну, по-вашему горничная, а по-нашему работница... Только хотелось мне чайку испить с дороги – не посмела, горничную-то побоялась беспокоить, а самой ставить самовар да в чужом доме как-то и неловко. Хоть и деревенская дура, а все-таки докторова мать. Ну, вот докторова мать и сидит час, сидит другой, инда в горле пересохло, а все не смею спросить самовару... Только встали, наконец, то есть Никашка встал. Увидал меня, обрадовался. Сидим, калякаем. Только выходит жена... А я еще и не видала ее. Посмотрела на меня этак сыздальки, кивнула головой, усмехнулась и пошла опять в свою комнату. Из себя женщина довольно полная и молодая, ну, а личиком как будто не вышла маненько... Шадрина и глаза как-то навывкате, точно кто ее стукнул по затылку. «Наташа, – говорит мне Никаша, – умная... Ты уж не обращай на нее внимания, у ней, говорит, карактер...» Как-то это он мудроно выразил, да я и позабыла. «Вижу, говорю, Никаша, что умная у тебя жена... Вот бы, говорю, чайку испить...» Подали самовар... А надо тебе сказать, что квартира у Никаши хоть и хорошая, да только столь она грязна, столь грязна, – и не умею сказать... Вот когда перед пасхой дома убираем, так в этом самом роде. И самовар, и чашки – все под одну статью... Ну, мы с Никашей чай пьем, а жена в книжку читает и сигарку при этом курит. Только в своей деревенской простоте я и спрашиваю: «А сколько ты, Никаша, в год проживаешь?» Женато как воззритя на меня. «Вы, – говорит этак высоко, – подсчитывать, что ли, нас приехали?» – «Извините, говорю, невестушка, на глупом слове, потому как я сказала спроста...» Ну, ничего, напились чаю, а тут за Никашей приехали из уезда. «Вы, говорит, маменька, погостите тут, пока я езжу...» Я сдуру-то и останься. Ну, не понимаю, значит, как это по-образованному-то люди живут, дай попляжу. Никаша уехал, а я сижу. Походила по комнатам, небель посмотрела, обзаведенье... А жена все в книжку читает, точно по комнатам кошка ходит. Ей-богу. И смешно мне и жаль, то есть Никашу-то жаль. Села я этак к окошечку, пригорюнилась. Сидела, сидела, вплоть до самого вечера высидела... Обедают у них в семь часов вечера, когда мы ужинаем. Ну, тут мне и вспади на ум: чего, мол, я дуру здесь строю?.. Пошла на двор да и велела лошадей запрягать мужику, благо они отдохнули. Так, не емши, и уехала от гощенья; дорогой уж калачик городской прихватила да на станции съела... Я тебе это не к тому рассказываю, чтобы жену

Никаши осудить... Господь с ней! Может, она и в самом деле ученая, а я только к тому веду речь, что понятия во мне не стало... Не понимаю ничего, и конец. По-Никашину, это, может, и хорошо так жить, а мне так его жаль... Прост он, Никаша-то, вот что! О чем я, бишь, хотела рассказать-то... Ты перебил меня этой свадьбой-то...

– Да о Кинте хотели рассказывать, матушка.

– Да, да... припомнила. Это я со снохой-то спуталась... Ну, помнишь, как тогда Никаша дохтуром приехал? Тогда Кинте уж в семинарию надо было переходить... Нет, не так. Митрею – в семинарию-то, а Кинтя в духовном училище учился. Так вот Митрея-то тогда из семинарии исключили. Никаша и взял его к себе. А Митрей, кроме своей водки, и знать ничего не хочет... Побился-побился с ним Никаша года с два, так ничего и не смог сделать, а Митрей в псаломщики поступил, а теперь в попы вылез. Это прежде трудно было в попы попадать, надо было из богословия, а нынче исключат из семинарии, а потом его же в попы и поставят. Так вот Митрей-то Яковлич первое горе нам с отцом и сделал. А теперь ничего, выправился. Сытый такой, горло широкое, конский завод держит... По-моему, это не подходяще попу... Только это мы успели оглянуться, а тут Прошка из училища вылетел. Этот уж совсем дурашливый уродился, так, пожалуй, и горя бы не было. Думали, пусть его при домашности останется; все же, пока мы живы, с голоду не помрет. А Никаша давай Прошку учить, да в учителя и определил... Ну, дальше уж знаешь, какая каша вышла с Ксенофонтом этим да с Варваром. Так вот трое у меня старшеньких сынков, как-никак, а все при месте. Опять вздохнули мы с попом свободнее, думаем – теперь отдохнем, потому Кинтильян учился первым, а Аня дома жила, так какая забота о ней. Ну, как, значит, человек возгордится, как мы возгордились с попом Яковом, господь его и найдет... Мы думаем теперь, вот отдых нам пойдет, – а глядишь, вместо отдыха горе, да еще какое горе-то!.. Вот у меня их пятеро, как перстов на руке, а всех одинаково жаль, да глупого-то, как Прошку, еще больше жаль. И пословица говорится: умного-то жаль, а дурака вдвое...

Старушка печально смолкла и, как бы отдохнув, продолжала:

– Из четырех сынов Кинтильян был самый меньшенькой, – так начала старушка подавленным голосом, – только еще Аня была его моложе... Та уж так и родилась и росла совсем на особицу: одна

дочка в доме, балованное да нежное дитяtko... Ну, так Кинтя как еще родился, так не нарадовались мы на него с попом... Точно сколоченный весь, как ядреная репа. Родился – и кулаки себе сосет, всех насмешил. Так он и вырос... Уж сколько же и хорош вырос мой мальчик: точно нарисованный. Не приходится свое детище хвалить, а к слову пришлось, да и дело прошлое. Румяный, брови черные, глаза, как у отца, да светленько таково поглядывают, и на все руки парень: озорничать так озорничать, учиться так учиться. Растим парня да потихоньку радуемся. И какой-то, господь его знает, характер у него особенный: грубого слова не слыхивали, обиды не знали. Шелк, а не парень. И все-то он видит и все понимает, а стал подрастать – стишал, телячью-то бодрость оставил. Так мы его тогда и в училище это отдали. Отдали, учится, а что ни праздник, то нам, глядишь, новую радость везет, учился все первым, и учителя не нахвалятся. Кроткий да гордый парень на все. А приедет домой, книжки все до единой привезет и все их учит. Поиграет и учит. Вчуже приятно было смотреть. Все завидовали, а мы напринимались маяты-то с Митрием-то Яковlichem да с Прошкой-то, так нам это все вдвое кажется. Только одного и боялись, чтобы не избаловать. Поедет, бывало, к Никаше в гости и тоже книжки привезет и опять читать. Так он из училища первым поступил в семинарию и там первым кончил, а сам точно красная девица: румянец во всю щеку, как налитой. Водки капли в рот не брал, не курил этих сигарок... А здоровье у него, точно бы и век не изжить: никогда не хварывал ничем...

Вот после семинарии-то и грех первый у нас вышел, – продолжала старушка: – отцу взбрело что-то на ум уговаривать Кинтю идти в попы. И с чего это он придумал – ума не приложу! Сам всегда говорил, что поповское житье самое последнее, а тут на поди... Наладил, что, как умрем, некому будет пред престолом господним стоять... Так уж это, накатился стих такой... Ну, Кинтя слушал-слушал отца-то, тихонечко этак усмехнулся, да и ответил: «Это, говорит, вы меня дармоедом хотите сделать?» Тут уж отец из себя вышел: засучил рукава, да и показывает ему руки. «Погляди-ка, говорит, щенок ты этакой, разве у дармоедов такие мозоли живут на руках? Это, говорит, вы – дармоеды-то... Знаю, говорит, кто тебе в уши надул: Никашка!.. Он думает, говорит, что большое жалованье получает да образование имеет – так только будто и свету, что в окне?

А я, говорит, горбом добываю каждый кусок, да этим же куском меня и корят...» Ничего не сказал Кинтя, сложил себе котомку, попрощался и ушел. «Куда, говорю, идешь-то?» – «Учиться», – говорит. Думаем с отцом, что к Никаше уйдет, на брата надеется. Стороной наведались про Никашу, а тот и сном дела ничего не знает. Тут уж мы и схватились за ум... Погорячился отец-от, понадеялся на его кротость, а надо бы его потихоньку да лаской. Ну, погоревали, потужили, поплакали, а прошлого, говорят, не воротишь... Через людей уж мы узнали, что Кинтя в Москве учится, а потом он и письмо прислал. Как уж он там устроился, где денег взял – ничего не знаем. Написал, что ему хорошо и что в деньгах не нуждается...

Прошло этак года с два, – продолжала матушка Руфина с тяжелым вздохом, – тут нам Кинтя и объявился в Шераме. Нежданно-негаданно, как снег на голову. «Приехал, говорит, из Москвы вас, стариков, повидать». А он эти два года в дохтурском отделении учился... То ли не дошлый парень! Обрадовались мы, что сына увидели, а про свои слезы да про горе, которое мы терпели за эти два-то года, мы и забыли... Больно уж рады мы Кинте-то были! Так рады, так рады... В те поры дочка-то, Аня-то, как раз в емназии в городе курс кончила; Никаша ее на свой счет учил – ну, нам радость вдвое. Не было ни гроша, да вдруг алтын. А Кинтя опять такой скромный да кроткий: воды не замутит. Отец совсем растаял, не надышится на него, а я, грешный человек, держу у себя на уме: «Ой, не ладно дело, что больно смирен наш Кинтя... Недаром он приехал сюда такую даль!» Уж я раскусила его тогда еще, как он отца-то дармоедом обозвал... Кротость-то у него больно уж мудреная. И ведь как он отца обошел: оказия!.. Совсем старик рехнулся и всякое зло позабыл, а следовало бы Кинтию тогда побранить, хоть для видимости. Я пробовала было ругать его, так куды тебе: отец так горой за него и стоит! Приступу нет. Ну, а вышло по-моему... Много слез привез тогда нам Кинтильян!

VI

– Теперь об Ане сказать... – дрогнувшим голосом проговорила старушка. – Последнее наше дитяtko было, Аня-то! Маленькая

замарашкой такой росла, а в емназии-то выровнялась. Я уж приданое потихоньку готовила... Вот у тебя простыни да одеяла – это из приданого Ани... Да, думали со стариком, что, может, господь велит, и внучат дождемся от дочурки. А мне так это уж совсем хорошо казалось, потому сынки-то – дорого они матери стоят, а радости да привету от них не много увидишь. А дочь-то другое совсем... Она уж все понимает, и дети-то дочернины как-то ближе, чем от сыновей... Ну, мы свое соображаем, а пляжу, стала Аня задумываться... Тогда уж я и спохватилась, что Кинтя ее по-своему поворотил. Увел ведь девку...

– Куда увел?

– Да в этот ваш Петербург... Чтоб ему ни дна, ни крыши! Сколь мы ни бились, сколь ни уговаривали: наладила одно, что учиться поедет, и хоть ты ей кол на голове теши. Боялась я тогда, чтобы отец или сам не рехнулся, или над Кинтей чего не сделал... Однако обошлось дело так. Кинтюшка-то кротким таким прикинулся, точно он и под ногами-то у себя ничего не видит... Оказия, что это за человек уродится, ведь свое рожное, а никак ты его не распознаешь... Хорошо. Увез Кинтя нашу Аню в Петербург, и остались мы одни-одинешеньки с Прошкой нашим. Куда с ним деться-то... Отец-то и возроптал на Кинтю тогда, тихо возроптал, а вышло-то так, что и за сына его, пожалуй, не стал считать.

Прошло этак с каких-нибудь полгода, не больше, пали до нас слухи, что с Кинтей не ладно... Ни слуху ни духу. Как в воду канул. Отец-то нарочно к Никаше в город ездил, телеграмму посылали, а все ничего. Аня отписала мне потихоньку, что Кинтя-то вышел раз из дому вечером, да больше и не приходил. Объявили в полиции, и там ничего не знают. Тогда мы и узнали настоящее горе... Жив ли Кинтя, помер ли, нагрезил ли – ничего не знаем. Я чуть и глаза-то все не проплакала о нем, а отец начал именно с тех пор газеты читать. Все читает и все из лица как будто темнеет. Ничего не говорит о Кинте, точно его и не бывало никогда. А меня-то вдвое убивает: хоть бы он пожалел его!.. Не понимала я тогда ничего, то есть попа-то своего не понимала, что у него на уме бродит. Только этак прошло с год время... Аня-то из Петербурга так и не выезжала... Летом это мы как-то спим с попом на постели. Кровать-то у нас двуспальная старинная. Сплю я этак и слышу, как будто кто-то плачет. Как вскочу... Спросонков-то

показалось, что дите плачет. Ведь покажется же... Села, да и думаю: «Кому же, думаю, плакать, ведь все большие дети-то!» А на попа-то и не подумаю... Крепок он на слезы, – можно подумать, что совсем бесчувственный, а тут упал лицом-то в подушку да тихо-тихо так плачет, совсем по-ребячьи. Стала его спрашивать, утешать... Тут уж он и сказал все. Встал и говорит: «Сон видел, попадья...» – «Какой такой сон?» – спрашиваю. «А такой, говорит, не простой сон. Прилег, говорит, помолился про себя, а потом и вижу, точно наяву, Кинтю нашего. Вот как тебя вижу... Только далеко это, в нашей же стороне, где на собаках ездят. Бледный такой, исхудал, тоскливо таково смотрит. „Кинтя!“ – окликнул я. Смотрит на меня, а ничего не говорит. „Кинтя, говорю, я тридцать лет пред престолом божиим возношу молитвы, а ты... что ты наделал? Ведь ты кровь моя, мое рождение, я за тебя должен ответ богу дать на страшном суде...“ Слушает меня Кинтя, а потом как у него губы затрясутся, заплачет... „Папа, – говорит это, а сам плачет, – папа, прости меня... Я не могу... Это не от меня зависит... Не моя воля!“ От этих самых слов я и проснулся, и так мне стало жаль Кинти, так жаль, что кажется, вот взял бы да и умер вместо него... Жаль, и стыдно, и страшно. Ведь я против бога иду, что такого сына пожалел...» Рассказывает это мне поп, а сам так рекой и разливается... Ну, потом уж я догадалась: затеплила перед образом свечку и велела попу молитву читать... Встали мы на коленки рядышком и давай со слезами с горькими молиться за всех и за вся, и за боляры, и за вои. И так-то мы жарко молились, так хорошо, что и сказать тебе не умею. Плачем и молимся, молимся и плачем... Я, грешный человек, и за Кинтю заблудящего нет-нет да и поклонник и отложу, – тоже и за Аню. Так молитвой мы тогда этот самый сон и избыли. Точно гора с плеч...

Ведь Аня-то вскоре после этого и воротилась домой, – прибавила с оживлением старушка. – Зимой было дело... Пошла я вот в эту самую баню зачем-то... Дело вечером было. Темно совсем на дворе. Ну, иду себе ощупью, знакомое место. Только это отворила дверь в баню, пляжу, а там человек... Я так от страху и обомлела... Стою и крикнуть не могу, а сама думаю, что, наверно, это бродяжка беглый забрался на ночь, вот он уже меня кокнет чем ни на есть. А потом и слышу Анин голос: «Мама... это я, не бойся!» Я так на месте и села... дура душой и ни словечка вымолвить не могу. Это Аня-то, значит,

убежала, да и пришла к отцу... Еще мужчинка перебьется как-нибудь, а дело женское, куда ей деться... Вот и сидим мы с ней, горюем. Одежонка-то на ней плохонькая, иззябла вся, не ела два дня... Ах ты, горе мое, горе бедовое! И жаль мне ее, и попу-то боюсь сказать... Потому как ее, беглую-то, держать, ведь человек не иголка, особенно в деревне, сейчас заметят и затаскают по судам. Все-таки укрепились, не сказала ничего попу, а сама отогрела Аню, накормила... Материнское сердце, из себя кусок готова вырезать, да только бы дите было сыто. Ну, так недели с две и хоронила я Аню по разным углам, а сама и ночей не сплю, и днем мне покою нет... Где стукнет, где брякнет – так у меня сердечушко и оборвется: по Аню пришли! И богу молилась, и зарок давала... Такую муку приняла, такую муку, что совсем хожу вроде как полоумная. А тут уж поп Ксенофонт успел пронюхать про Аню... И как это он узнал – ума не приложу. Ну, сейчас донос исправнику и всякое прочее. Хитрящий поп, все доносы пишет... Вот этак ночью лежим мы на кровати с попом. Он спит, а я все слушаю... вот все равно заяц в логове. Все мне мерещится, – встану, погляжу в окошечко и опять слушаю. Ну, тут и слышу: подъехали тихохонько сани... другие... Подскочила к окошку... Пришел мой конец, подкосились мои ноженьки. Проснулся поп, а исправник и входит. Знаешь Петра Иваныча... Славный такой, чаем сколько раз угощала его, ну, а тут так и думаю, зарубит он меня, беспременно зарубит. Сейчас Петр Иваныч к моему попу и бумагу ему показывает. Поп так даже затрясся весь, из лица вышел, а потом сотворил крестное знамение и говорит: «Делайте, что хотите... я ничего не знаю!..» А я уж в это время успела одуматься и сама дивлюсь, что вдруг у меня никакого страха не стало... Вот на столечко (старушка отмерила кончик мизинца) не боюсь никого: ни Петра Иваныча, никого... Ей-богу!..

Нет, постой, надо тебе еще один случай тут рассказать, – прервала старушка нить своего повествования: – была у нас курица кохинхинка... Славная такая курица и яйца несла по кулаку. Ну, посадила я ее на яйца, и вывела моя курица цыпляток... А тут, как на грех, ястреб пал на одного цыпленка и поволок. Так что бы ты думал: ведь курица-то его заклевала, ястреба-то. Ухватила за него да на крыше его и задолбила. Вся деревня тогда диву далась, – отроду не видывала этакое чуда... Ну, так когда Петр Иваныч-то после сказал,

что надо теперь на дворе поискать, мне эта курица и вспади на ум. «Не дам, думаю, Аню, и кончено... Мое – не тронь!» Ей-богу, согрешила пред господом богом, – так и подумала... Ну, пошли по двору, потом, в баню. Думаю про себя, Аня беспрерывно под полочку залезла или под лавку, прикрою как-нибудь ее платьем... Ведь вот подумаешь, как по-ребячьи все это выходило в мыслях! Ох-хо-хо!.. Ну, пришли в баню, а Аня-то и не думала прятаться. Тут ее и взяли, голубушку, а я вроде как осатанела: ухватилась за Аню-то и давай ее к себе тащить. Кусаюсь, царапаю ногтями, кричу... Так меня в горницу отдельно унесли. Там уж я и отошла потом... Поп-то уж не знал, о ком и горевать, все думал, что и меня вместе с Аней по судам таскать будут. Однако Петр-то Иваныч попустился мне, а Аню увезли. Таскали-таскали ее по городам... а потом Аня-то стала задумываться, да и рехнулась... С год высидела в Казани в душевном лазарете, да толку не вышло. Теперь у Никаши живет. Он ее сам лечит, да только проку не будет... Все молчит и прячется, никого не узнает. Тошнехонько смотреть на нее, а помочь нечем. Думаем теперь домой ее взять. Загубили мою дочурку, вконец загубили...

Старушка неожиданно заплакала, заплакала мелкими старческими слезами, которые так и сыпались у ней из глаз. Несколько слезинок застряли и расплылись по морщинам. Матушка Руфина не вытирала своих слез и не стыдилась их; ее выцветшие, побелевшие губы слабо шептали:

– Вот на этой самой лавке, где ты лежишь, и взяли Аню-то... Бледная такая сидит, ни кровинки в лице нет... Так вот все ее и вижу перед собой: как живая стоит... И ночью и днем покоя нет. Только вот этак чуть-чуть забудусь, а она уж опять и смотрит на меня...

Матушка Руфина умолкла. Склонив седую голову на грудь, она неподвижно сидела на своей завалинке, полная святой материнской тоски. Я вспомнил слова писания: «Глас в Рае слышан бысть, плач, и рыдания, и вопль мног... Рахиль бо плачущися о чадах своих и не хотяше утешитися, яко не суть».

– А Кинтильян скоро вернулся? – спросил я, выводя матушку из задумчивости.

– Кинтя-то... как же, вернулся, – проговорила старушка, просыпаясь от своего раздумья. – Только его шесть годиков ровнешенько не было... целых шесть. Мы и в живых давно его не чаяли и в поминании за упокой поминали... Уж сколько слез было принято, сколько горя – и не спрашивай! Только этак в великое говенье, перед страстной... Тогда уж оттепелело, проталинки пошли... ну, этак вечером, в сумерках уж, убираю я в кухне молоко, а под окном кто-то тихо так постучал. Думаю, бродяжка какой-нибудь. Много их об эту пору из Сибири в Расею бежит... Мы им, грешные люди, подаем хлебушка, несчастненьким. У других и полочки такие у окошек приделаны для потайной милостыни, чтобы ночью ежели придет, так сам взял кусочек-то... У нас тоже была полочка раньше, а тут ребята сломали, поп все не мог собраться наладить ее. Вот я отрезала ломоть хлеба, высунула руку в окошко и говорю: «Прими Христа ради...» Вижу, что мужчина стоит в рваном этаким зипунишке и даже совсем синий из себя. Еще пожалела его про себя... Подаю я это ему хлеб-от, а он не берет, а только таково пристально смотрит на меня. Что за оказия, думаю. «Чего, мол, тебе надо, родименький?» – «А вы не узнаете меня?» – спрашивает. «Нет, говорю, мало ли вашего брата, бродяжек, по здешним местам проходит...» Помолчал, а потом опять и говорит: «Кинтя поклон прислал». Ну, тут у меня ноженьки подкосились, закричала я, а поп бросился за ворота и бродяжку в избу тащит. Напоили мы его чаем, накормили, а он зеленехонек, и видно по обличью-то, что из благородных. Бородка маленькая и всякое прочее... Оно уж приметно. Ну и рассказал нам бродяжка про Кинтю, что жив он и здоров, хоть и далеко отсюда. Бродяжка рассказывает, а поп и говорит мне: «Попадья, а помнишь мой сон?» Сон-то вышел у попа совсем правильный. Сидим мы с бродяжкой и беседуем, я слушаю, а сама плачу, река-рекой... и радостно мне и горько. А уж ночь на дворе, поп и говорит: «Ну, милый человек, не взыщи – обогрели мы тебя, накормили, а ночевать попросись к кому другому... Оставил бы я тебя не на день, а на год за твое хорошее слово, да не моя воля: следят за мной, а узнают, что бродяжка ночевал, – со свету сживут...» Говорит это поп, а сам трехрублевую бумажку сует в руки бродяжке... Тут уж Кинтя и не стерпел – бродяжка-то Кинтя и был

наш, – как заплачет... Не поверишь, мы родного сына не признали. Не признаем, и кончено: не такой у нас Кинтя был. Так уж он расстегнул рубаху и показал мне родимое пятнышко над левой грудью, так уж по пятнышку-то его признали... А поп так недели с две к нему все не мог привыкнуть: чужой, и кончено. Ох-хо-хо!.. Уже не знали мы тогда, что нам и делать: плакать ли, радоваться ли... Так совсем из ума вышибло!.. А он правильно воротился, с бумагой и всякое прочее. Ну, пыталась я спрашивать Кинтю, что и как... Ничего не рассказывает, только этак улыбнется по-своему. «Зачем, говорит, это вам знать, маменька? Был там, а теперь здесь...» А сам все скучный такой, на себя не походит и по ночам долго не спит. Раз как-то сидим с ним вдвоем, чай пьем. Он смотрел-смотрел на меня и говорит: «Пусто, маменька, вот здесь (показывает на грудь), недолго проживу, так уж вы не очень убивайтесь, как помру... Кажись, не много радости от меня видели». А сам усмехается... Да я и сама вижу, что не жилец он у нас, в живых покойниках...

А теперь о себе-то тебе расскажу, – продолжала старушка. – Наше-то дело какое... а? Видел попа-то? Заметил, как он по сторонам оглядывается? А все от страху... Так всего и боимся: щелкнет где, стукнет – у нас и душа в пятки. Уж, кажись, чего бы и бояться: нас, стариков, никуда не подернешь, а молодых не осталось... Так вот и маячим да со дня на день ждем какой-нибудь беды. С требой как-то приехали за попом, так он со страху на погреб залез... Едва оттуда его вытащили. Ей-богу... И грех и смех! Так в худых душах^[35] и живем: ни живы мы, ни мертвы, а один страх... Вот я тебя и хотела спросить насчет этого: долго еще нам в худых-то душах жить? Прежде вот холерные годы бывали, тоже вот солдатчина, а нынче в худых душах живем. Попрошу это я кругом-то и точно отемнею, ничего не понимаю. Как уж мы и жить будем – одной царице небесной известно...

Старушка, очевидно, спрашивала только для формы, чтобы поделиться своим горем с живым человеком. Она не ждала моего ответа и смотрела куда-то в сторону, опустив голову. А летняя ночь была уже на исходе; окутывавший нас мягкий сумрак сменился белесоватым светом занимавшейся зари. Звезды тихо гасли; только две или три продолжали еще теплиться мигающими блестками. Небо было серо. Откуда-то набегал слабый ветерок, безыменная птичка

беззаботно и весело заливалась на ближайшей черемухе. Могучим покоем веяло от этой незамысловатой картины, которая с первым солнечным лучом проснется разом в тысячах звуков и красок. Но теперь этот покой природы заставлял подозревать что-то скрытое, недосказанное, что, казалось, висело в воздухе... Вот в этой сочной зеленой траве, подернутой утренней росой, с виду тоже тихо, как и в воздухе, но сколько в этот момент там и здесь погибает живых существований, погибает без крика и стога, в немых конвульсиях. Одна букашка душит другую, червяк точит червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ест и букашку и червяка, делаясь в свою очередь добычей кошки или ястреба. В этом концерте пожирания друг друга творится тайна жизни...

– Гляди-ко, гляди... – зашептала таинственно матушка Руфина, толкая меня своей короткой ручкой.

В это время двери сеней домика о. Якова слегка приотворились, и в них показалась седая голова самого хозяина. Он осторожно и подозрительно огляделся кругом и вышел во двор. Где-то глухо стучала деревенская телега, старик долго прислушивался к удалявшемуся стуку, а потом, озираясь по сторонам, подкрался к воротам и припал глазом к узкой щели в полотнище калитки. Что-то такое жалкое и несчастное было в этой старческой фигуре, которая теперь стояла у ворот в положении насторожившегося зайца...

Утро было отвратительное, точно природа выворотила из своих недр всю грязь, какая только была в запасе. По небу ползли низкие, грязные облака, цеплявшиеся за самые крыши городских домов. На улицах грязь стояла по колено, и можно было подумать, что с неба в течение двух последних дней лился не дождь, а помои. Грязь, грязь и грязь – целое море грязи, в котором уездный городишко Пропадинск растворялся, как брошенная в стакан воды горсть соли.

– Совершенная подлость! – коротко заметил густым надтреснутым басом Башка, взглянув в запотевшее окно на улицу.

В этот момент все кругом окончательно потонуло в мутной кружившейся мгле, сверху тихо начали падать хлопья мокрого снега и сейчас же таяли в липкой, точно разведенной грязи. Через полчаса окна кабака «Плевна» были залеплены мокрым снегом, так что внутри сделалось совершенно темно, как в сумерки.

– Экое божеское произволение! – флегматично заметил сиделец «Плевны», толстый и рябой мужик в плисовом пиджаке; его звали обыкновенно Иван Василичем, а под сердитую руку просто Ванькой Каином. – Ну, Башка, дело дрянь выходит... совсем как есть дрянь!

Башка протянул свои длинные ноги в стоптанных опорках и ничего не ответил, а только передернул широкими плечами. Облокотившись жилистой, волосатой рукой на стойку, он низко опустил свою лохматую голову с легкой проседью в русых кудрявых волосах. Костюм Башки давно требовал самой серьезной ремонтровки, потому что засаленный старинный сюртук с узкими рукавами и широким воротником расползался окончательно и дал несколько трещин по швам, а серые триковые штаны готовы были свалиться каждую минуту, не говоря уже о выдавшихся заплатанных коленках и точно выеденных задках раструбов. Но Башке было не до

костюма. Он был весь поглощен одной идеей, сосавшей и щемившей его с раннего утра: это – опохмелиться. Все громадное тело Башки ныло каждой косточкой, каждой каплей крови, а в трещавшей голове колесом вертелась одна мысль. Его широкое лицо с окладистой бородой, густыми бровями, приплюснутым носом и высоким лбом точно было подернуто сегодня туманом, а маленькие серые глазки смотрели воспаленным взглядом.

– Хоть бы черт принес кого-нибудь, – проворчал Башка, поглядывая на отворяющуюся и затворяющуюся дверь кабака. – Этакая мерзость!

Непогодь гнала народ в «Плевну», но это все были чужие: извозчики, отставные солдаты, мужики с базара, несколько мастеровых. Они вносили с собой комья грязи на ногах, отряхивали снег с шапок, ругались и подходили к стойке Ваньки Каина, который не успевал сегодня поворачиваться, наливая стаканчики из толстого пузыристого стекла. Водка выпивалась, слышалось здоровое кряканье совсем прозябших людей, на стойку сыпались пятаки, а потом долго прожевывалась захваченная с собой закуска. «Ух, студено!» – кричал приземистый, плотный извозчик, отворачивая полу своего кафтана, чтобы достать кисет с деньгами. Он как-то особенно аппетитно опрокинул себе в рот стаканчик водки, закрыл глаза и одним плотком покончил всю церемонию. Башка старался не смотреть на эту картину, но это не мешало ему чувствовать каждый плоток водки, разливавший блаженную теплоту. Ванька Каин казался каким-то необыкновенным капельмейстером, который разыгрывал целую оперу.

«Нет, чтобы предложить опохмелиться... ну, какой-нибудь стаканчик, – с тоской думал Башка, и ненависть к Ваньке Канву несколько парализовала ломавшее его жестокое похмелье. – Этакая шадривая каинская рожа!.. Ведь рассчитался бы после. У! дьявол... И как назло никого нет: ни Хохлика, ни Корнилыча, ни Трубы».

Кабак «Плевна» был из привилегированных и находился почти в центре города, в глухом переулке, который шел от Хлебного рынка. Прямо из сеней дверь вела в большую полутемную комнату со стойкой Ваньки Каина в глубине; это, собственно, и был кабак; из-за стойки маленькая дверца вела в каморку самого сидельца, а другая дверь из кабака вела в две следующие комнаты, предназначенные для публики почище, собственно для кабацких завсегдатаев вроде Башки.

Эти завсегдатаи редко останавливались перед стойкой, а проходили дальше и проклажались уже в своей компании. Случайные посетители и мужичье толклись обыкновенно в первой комнате или сидели на широкой грязной лавке, поставленной вдоль всей передней стены. Теперь, собственно, была полна только эта первая комната. Но музыкальное, чуткое ухо Башки уже поймало знакомые торопливые шаги в сенях: это без сомнения был он, Корнилыч. В растворившихся дверях показалась сторбленная юркая фигурка в пиджаке и фуражке; раскланявшись с Ванькой Каином, она быстро исчезла в соседней комнате, куда поплелся и Башка.

– Едва ушел... – торопливо рассказывал Корнилыч, моргая своими рысьими глазками. – Всего две партии сыграл на биллиарде, подвинул двенадцатого шара рукавом, ну, меня и взбрили. В бок здорово саданули кулаком... Ну, а ты? Вижу, вижу... Эх, скверно!..

Корнилыч запустил руки в карманы брюк и забежал по комнате маленькими шажками, как ходят трактирные половые; на его пиджаке мокрыми отпотинами обозначались остатки мокрого снега, а плечи просто дымились от пара.

– Нет, Ванька-то... а? Каков подлец?! – громко проговорил Башка, останавливаясь посередине комнаты в самой трагической позе. – Ведь видит, шельма рогатая, как живого человека кочевряжит, и хоть бы какой наперсток...

– Это ты напрасно, Башка, – уговаривал Корнилыч. – Где же вас всех поить даром? А без Ваньки куды бы мы? Пропадай, как червь.

Башка крепко выругался, но должен был согласиться с Корнилычем, который всегда и всех оправдывал и даже на самого себя смотрел как-то со стороны. Лицо у Корнилыча было бойкое, всегда измятое и всегда добродушное; стриженные щеткой волосы дали повод называть его в своей компании «ерошкой». Он был замечательный мастер разговаривать и знакомиться с кем угодно и был самый необходимый человек в хорошей компании.

– Ну, а снег? – спросил Башка, что-то соображая про себя.

– Снег? Подлец, а не погода... так и лепит. Мне за воротник сколько насыпало... бррр... У тебя покурить нет? Ну, не надо...

Ерошка наслаждался теперь и охватившей его теплотой гнилого кабацкого притона, и сознанием собственной безопасности. Эти грязные, покосившиеся стены, избитый точно в конюшне пол,

пропитанная специфическими кабацкими миазмами атмосфера, – все ему было дорого и мило; Ерошка с удовольствием потянул в себя промозглую струю воздуха, прохваченную запахом грязи, дегтя, гнилой кожи, мокрого платья, перегорелого лука и сивушного масла. Несколько расшатанных стульев и некрашенный деревянный стол составляли всю меблировку этой привилегированной половины.

– А вот и наши здесь! – проговорил в дверях плечистый, приземистый мужик в поддевке; рыжая борода и прищуренный косой глаз придавали ему подозрительный вид. – Ну и погодка!.. Месил, месил грязь, хоть бы одна шельма попалась. Есть до смерти хочется, братцы...

– У нас табаку нет, а он: есть! – презрительно ответил Башка, шагая по комнате неровными шагами. – Хохлика не видал?

– Как не видал: у Хохлика тоже ненастье...

– Вот что, Труба, как бы нам того... не пропадать же в самом деле? – заговорил Ерошка заискивающим голосом. – Сходи, братику, к Каину, авось расступится... а? Ты объясни ему... а?

Труба почесал в затылке, еще сильнее прищурил свой косой глаз и отрицательно покачал головой. Наступила тяжелая пауза, которой не нарушило даже появление Хохлика. Это был еще совсем молодой человек с зеленовато-серым лицом и глубоко ввалившимися глазами, горевшими лихорадочным, чахоточным блеском. Он молча сел в уголок, поджал под себя ноги и долго не мог отдышаться после скорой ходьбы. На всех напала минута тяжелого уныния, как у людей, заблудившихся в лесу. В таких исключительно критических случаях обыкновенно выручал Башка, отличавшийся дьявольской изобретательностью, но сегодня и он повесил нос, точно пришибленный. А из кабака доносилась настоящая мелодия довольного кряканья после выпивки, звона стаканчиков и того кабацкого галденья, какое бывает только около стойки.

– Эх их взяло, подлецов! – глухо пробасил Башка, натягивая на свою голову заношенную, как блин, кожаную фуражку. – Ну, братцы, я схожу... подождите, может, и выгорит что.

Когда высокая фигура Башки скрылась в дверях, все как-то разом оживились и заговорили: «Уж Башка одно слово... Выручит! Да он из земли добудет, особенно ежели с похмелья ломает когда. Золотая голова!» Даже Ванька Каин почувствовал угрызение своей каиновой

совести, когда мимо его стойки Башка прошагал с самым мрачным видом.

«По погодыю-то надо бы стаканчик было подать, – думал Ванька Каин, проворно орудуя за своим прилавком. – Ну, да больно зазнаваться стал, пусть не фордыбачит».

В душе Ваньки Каина шевельнулась обидная мысль, что Башка третьего дня обляял Акулину, его любовницу, которая жила с ним в каморке. И всего-то дела было, что Акулина попросила Башку наставить самоварчик, так куды тебе – сейчас на дыбы, мы-ста образованные люди и всякое прочее, а вот теперь, образованный человек, ступай-ка, помеси грязь-то... Это даже совсем преотлично для тех, кто настоящего понятия не хочет иметь и добра не помнит.

II

Отчаянное положение выдавило в голове Башки мысль, которую он теперь нес из «Плевны» на самый конец города. Собственно, это было последнее средство, на какое он решался только в самых критических обстоятельствах.

– Э, черт с ними! – ругался Башка, шагая через грязь.

А погода делалась все отвратительнее. Холод крепчал. Откуда-то налетал порывами пронизывавший насквозь ветер, который просто жег голые руки и спину. Хлопья мокрого снега сменились сухой снежной пылью, тихо кружившейся в воздухе отдельными пушистыми снежинками в форме правильных звездочек, игл и разных замысловатых геометрических фигур. Недавно сплошная полоса грязи, заливавшая пропадинские улицы, теперь приняла самый обманчивый вид, и Башка постоянно ошибался, стараясь пробраться поблагополучнее. В одном месте он совсем оставил свои опорки в грязи и долго не знал, что делать с ними. Грязь еще сохраняла в себе известную теплоту, сравнительно с верхним снеговым налетом, который резал ноги, как ножом. После короткого раздумья Башка всунул ноги в полные грязи опорки и зашагал по деревянному тротуару. От «Плевны» ему было нужно перекосить соборную площадь, потом обогнуть старый гостиный двор, а там свернуть в узкую Проломную улицу, где тонули в грязи постоялые дворы. Сделав

с полверсты по этой убийственной дороге, Башка почувствовал непреодолимое желание вернуться под гостеприимный кров «Плевны», – обычная энергия изменила даже его железной натуре. Это был настоящий припадок малодушия, но Башка устоял против искушения и только быстрее зашагал вперед.

Скрестивши по-наполеоновски руки на груди, чтобы сохранить теряющуюся теплоту, и подняв плечи, чтобы защитить голую шею от попадавшего за воротник снега, Башка летел вперед, как хороший волк. В конце Проломной стоял кабачок Зобуна, в который Башка иногда заходил, но теперь было не до него – до цели оставалось всего с полверсты. Купеческие каменные дома в Пропадинске были только в центре, затем во все стороны расходились деревянные постройки, а на окраинах тянулись самые жалкие лачуги, слепленные кое-как из разной дряни, как ласточкины гнезда. За Проломной, на самой окраине, как исключение, стоял большой каменный дом гуртовщика Ломотина; сюда и держал свой путь Башка. Разбогатевший мужик Ломотин недавно умер, и сегодня шел девятый день, следовательно, должна была быть богатая подачка нищей братии. Башка не без основания рассчитывал кое-что получить здесь, хотя к такому нищенству прибегал только в самом безвыходном положении как сегодня.

Около ломотинского дома уже собралась порядочная кучка нищих. Когда Башка подходил к ней, в воротах появился мордастый дворник; он загородил калитку жердью и начал пропускать под нее во двор по одному человеку. Нищая братия одним сплошным шевелившимся комом лохмотьев наперла на калитку и брала приступом каждый вершок. Слышалась хрипая ругань, бабий визг и тяжелые вздохи. Башка остановился позади всех и терпеливо ждал своей очереди пролезть под жердью, перегораживавшей калитку; он чувствовал особенное отвращение к этой грязной сволочи, потерявшей всякий образ и подобие божне, потому что и в самом падении своем чувствовал себя неизмеримо выше этого человеческого хлама. Некоторых он знал. Вот, например, этот седой сгорбленный старичок, который особенно назойливо пробивался вперед; он когда-то служил в земском суде, занимал видное место и во время своей славы раскуривал трубку кредитками, но спился с круга и теперь жил подаяннем. За ним держался смуглый бритый мужчина; этот славился

как прежний богач, умевший промотать доставшееся ему наследство в пятьдесят тысяч. Далее следовал ряд совершенно темных личностей, собравшихся пода бог знает из каких трущоб; особенно были подозрительны женщины-побирушки, с обрюзгшими, измятыми лицами и злыми глазами. Это всё были специально нищие, промышлявшие сбором подаяния по домам, на рынке, по церковным папертям и шмыгавшие по всем поминкам в богатых купеческих и чиновничьих домах. Для них лохмотья и заплаты служили средством существования как вывески какого-нибудь цехового мастера; где кончались лохмотья и где начинался человек, трудно было разобрать; люди здесь превращались в живые лохмотья, заплаты и прорехи.

Башке пришлось прождать битый час в этой толпе, и он совершенно окоченел, напрасно стараясь согреться переминанием с ноги на ногу. Живая теплота живого тела оставила его; у Башки начинали стучать зубы, и он почувствовал особенную ненависть к жирному и брыластому дворнику, который нарочно медлил, пропуская очередных, и несколько раз начинал переругиваться с нищими жиденским тенорком.

– Отпячивай назад, пехота! – кричал дворник, защищая вход своим толстым брюхом в белом фартуке. – Я вот скажу Анфисе Парфеновне, так она вас всех метлой отселева...

– А ты не больно шеперься, не велик в перьях-то! – огрызалась какая-то шустрая старушонка с птичьим лицом. – Не к тебе пришли...

– Разговаривай! – лениво протянул дворник. – Вон она, Аифиса-то Парфеновна, сама на крыльце-то стоит.

Наконец наступила и очередь Башки. Он уже держался одной рукой за палку, ожидая своей очереди и стараясь не глядеть на дворника, который его просто возмущал всей своей фигурой, как голодного волка возмущает сытая собака. Вместе с тем Башка испытывал тяжелое чувство унижения и еще больше сердился на ни в чем не повинного дворника, которого с удовольствием перекусил бы пополам. От нечего делать он рассматривал внутренность богатого двора, усыпанного желтым песочком, с крепкими службами назади, с цепной собакой у амбара, с привязанной у столба великолепной лошастью, заложеной в лакированный экипаж; налево был подъезд с стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна в лисьей шубе и степенно давала

каждому его пай милостыни, лениво повторяя одну и ту же фразу: «Помолись, миленький, за раба божия Симеона и сродников». Около купчихи толклись какие-то две старушонки в темных платочках с глазками.

– Пролезай! – крикнул дворник иа зазевавшегося Башку.

Башка согнулся, чтобы пролезть под жердью, но в этот момент мимо него головой вперед рванулась какая-то бабенка с подбитым глазом и чуть было не предупредила его, но Башка вовремя схватил ее за шиворот и отбросил назад, как тряпицу.

– Куда, Фигура, прешь? – ворчал он, уже шагая к крыльцу.

Получив подаяние и крепко сжав деньги в кулаке, Башка зашагал в другой конец двора, куда выпроваживал нищую братию высокий кучер в кожаном кафтане. Чтобы не было напрасной давки, нищих выпускали из двора другими воротами. Очутившись на улице, Башка сосчитал полученные деньги; на его долю достался целый полтинник, и это обстоятельство разом вознаградило его за все лишения.

Через полчаса Башка уже входил в кабак Зобуна, где толпились нищие, успевшие «выправить» подаяние раньше его. Размякший, ожирелый сиделец с зобом на шее орудовал не хуже Ваньки Каина и, наливая стаканчики, приговаривал:

– Помяни раба божия Симеона и сродников... Больно добра для вас Анфиса-то Парфеновна, гли-ко, по полтине на рыло сошлось. А! и ты, Башка, здесь?

– Ну, ну, не разговаривай... совсем околел!

Башка залпом выпил два стаканчика, чтобы сразу согреться, но водка на него не действовала сегодня, и он потребовал себе третий. Когда Башка уже подносил дрожавшей рукой стакан ко рту, около него появилась давешняя бабенка с подбитым глазом и нахально толкнула его локтем в бок.

– Ты опять, Фигура? – зарычал взбешенный Башка и даже замахнулся на надоедливую бабенку поднятой рукой. – Раздавлю, как муху...

– Ух, какой страшный! – кокетливо взвизгнула Фигура и нахально захихикала прямо в лицо Башке. – Этакое верзило и с бабами драться... Ну, тронь, только тронь!..

Отпустив несколько отборнейших выражений на специальном кабацком жаргоне, Фигура с наслаждением выпила стаканчик

зеленого бальзама, вытерла губы подолом грязного платья и опять засмеялась своим нахальным смехом.

– Што, Башка, наткнулся на ерша? – спрашивал Зобун, кисло улыбаясь. – Уж она октрыса, одно слово, как бритвой бреет...

Башка презрительно взглянул на Фигуру еще раз и отвернулся. Он вообще ненавидел всех женщин, как другие не выносят мышей или тараканов, а теперь еще должен был переживать чувство оскорбленного достоинства, что связался с бабой.

Именно этот почти невольный жест физического отвращения задел за живое Фигуру, которая в дни крайнего падения не могла расстаться с логикой хорошенькой женщины, привыкшей требовать общего внимания. Взглянув теперь на Фигуру, никто бы не поверил, что это отекающее лицо с воспаленными и слезившимися глазами, с распухшим носом и блестящими синеватыми губами могло быть когда-нибудь красиво, хотя это было так. Костюм Фигуры был самого подозрительного свойства – какая-то рыжая кофточка, сбившаяся на один бок, ситцевые юбки, обносок шали на голове и стоптанные ботинки на ногах. Выпив два стакана бальзама, Фигура села на лавку, рядом с Башкой, и далеко вытянула свои грязные ноги, так что из-под юбки выставились совсем голые щиколотки и нижняя часть белых полных икр.

– Будь ты проклята, анафема! – выругался Башка, вскочив с лавки. – Чего ты лезешь?

– Будет лаяться-то, невежа! – совсем другим тоном, спокойно и самоуверенно проговорила Фигура, взяла Башку за локоть и посадила рядом с собой. – Ну, чего ты бесишься? Лучше покурим; у меня табак есть...

Башка сердито плюнул на сторону, но от табаку не отказался. Он испытывал теперь совершенно особенное чувство, именно, он точно был давно знаком с этой нахальной бабой и даже был доволен, что она его удержала на месте. Про себя Башка несколько раз обругал соседку самыми непечатными словами и хотел сейчас же отправиться в «Плевну» к ожидавшим его товарищам, но вместо этого язык Башки как-то против его воли проговорил:

– Хочешь еще бальзаму, Фигура Ивановна?

– Только вместе с тобой...

Дальше все происходило в каком-то тумане: стаканчики следовали за стаканчиками, Башке сделалось тепло и весело; он хохотал и пел с своей новой знакомой, как сумасшедший. Потом они вместе пошли от Зобуна по Проломной улице, и Башка даже помогал своей спутнице переходить через грязь, как настоящий кавалер.

– Пойдем к Ваньке Каину; там у нас настоящее гнездо, – объяснял Башка, сильно пошатываясь. – Все отличные ребята... Ерощку не знаешь? и Хохлика? и Трубу?.. Ну, после этого ты ровно ничего не знаешь...

Башка дергал на ходу плечами, сжимал кулаки и совсем не чувствовал холода, который леденил его тело.

– Нужно еще денег достать, – говорила Фигура. – Пойдем, я знаю где... Еще есть в двух домах поминки.

III

На привилегированной половине «Плевны» целый день прошел в самом нехорошем настроении духа; это решительно был пресквернейший день. Сначала все поджидали возвращения Башки и рассказывали анекдоты о его пообыкновенней находчивости; потом начали ворчать и ругаться, зачем Башка так долго не идет на выручку, и наконец все тяжело замолчали, как люди, потерявшие последнюю надежду. Даже Ванька Каин, и тот сжалился над ними и выслал целое решето черного хлеба и луку. Это было уже совсем под вечер.

– Должно быть, Башку пьяного в полицию где-нибудь забрали, – повторял несколько раз Корнилыч. – Зашел погреться куда-нибудь, выпил, ну, и разомлел с холоду-то... Это бывает!

Точно в ответ на это предположение в дверях «Плевны» появился сам Башка, сильно пьяный; гнев всего общества был готов обрушиться на его голову, но его проявление было парализовано появлением Фигуры, которую привел с собой Башка.

– Господа, рекомендую... вот женщина... Фигура Ивановна, – бормотал Башка заплетавшимся языком.

Все общество встретило эту рекомендацию гробовым молчанием и сделало такой вид, что совсем не замечает присутствия «женщины». В дверях выглядывала улыбающаяся рожа Ваньки Каина, а из-за его

плеча сумрачно смотрела Акулина, высокая костлявая баба, с широким деревянным лицом, походившим на лопату.

– Вот так уколол Башка штуку... ловко! – хрипел Ванька Каин, любуясь происходившей пред его глазами сценой.

– Да вы что молчите-то, оглашенные? – заговорила Фигура, обращаясь к публике вообще. – Подавились чем или мух ловите здесь?

Общество оставалось глухо и немо; все были сконфужены и за себя и в особенности за сбесившегося Башку, который нарочно теперь бодрился перед своими друзьями, как все виноватые люди. Он с напускной развязностью потребовал у Ваньки Каина водки и сел вместе с Фигурой за отдельный столик, точно вызывая все общество на бой. Собственно говоря, собравшиеся в этой комнате потерянные люди отличались большой тонкостью чувств и той особенной психической чуткостью, когда слова являются излишними для взаимного понимания. Все они отлично понимали друг друга по одному взгляду, по малейшему жесту. Молчаливый протест друзей для Башки был в тысячу раз тяжелее открытого восстания, ругани и даже рукопашной. Даже нахальная без границ Фигура, и та, видимо, не ожидала такой встречи и теперь только улыбалась пьяной и нахальной улыбкой.

– Пожалуйте, Фигура Ивановна, – угощал Башка свою гостью, стараясь быть любезным назло всем.

– А как тебя зовут? Я еще не знаю, – спрашивала Фигура, делая вид, что ничего не понимает.

– Меня здесь зовут Башкой...

– Очень хорошее имя: Башка... да! Из семинаристов? Да, да... Я встречала много семинаристов... Славный народ и пьют отлично.

Фигура стыдливо обдернула сбившуюся набок юбку, спрятала грязные ноги и несколько времени упорно старалась принять серьезный вид приличной дамы, но ее опухшее лицо само собой расплывалось в отвратительную улыбку, которая просто коробила Башку, точно его поджигали каленым железом. Но он хотел выдержать характер. Труба, Корнилыч и Хохлик сбились в углу в одну кучку, как последние римляне и как люди, хорошо посвященные в тайны светских приличий; они вели вполголоса совершенно посторонний разговор, как это делают хорошие друзья, когда в доме покойник или другое какое несчастье.

Это критическое положение сторон разрешилось совершенно неожиданной развязкой. За стойкой у Ваньки Канна произошла довольно горячая сцена с Акулиной, которая сначала шипела, а потом принялась голосить и ругаться на весь кабак.

– Хотя я тебе не жена, а все-таки у тебя ума нисколько нет! – кричала Акулина, размахивая длинными руками. – Разве это порядок, чтобы пушать в заведение всякую дрянь? Да она, шлюха этакая, еще стащит што-нибудь. Разве углядишь за ей, паскудой?.. И што это я за каторжная далась тут вам, чтобы напускать всяких потаскушек!

– Затвори хайло-то, хайло затвори, ворона! – огрызался Ванька Каин, хотя это делалось только для порядку, чтобы показать перед публикой свою хозяйскую власть. – Вот я возьму как обихаживать самое-то, только стружки полетят.

– Ну, бей, бей! А я не соглашусь, чтобы всякая потаскушка распорядилась в заведении! – голосила Акулина неистовым голосом, точно ее резали. – Хотя я не в законе с тобой, а в дому порядок должен быть... Да я ей, твари, все зенки выцарапаю, вот што! Разве у нас такое заведение, чтобы манеры-то эти разводить?.. Я и Башке всю рожу исцарапаю.

Положение Башки крайне усложнилось. Ополоумевшая Акулина имела за себя все преимущества как перед мужем, так и перед завсегдатаями, которые, конечно, держали ее сторону. В пьяной голове Башки шевелилась уже мысль о неизбежности рукопашного решения спорного вопроса, и он под столом сжимал свои страшные кулаки, вызывающе поглядывая на недавних приятелей.

– Вот что, Башка, пойдем отсюда, – предложила ему Фигура, поднимаясь с места. – У меня еще дело есть... Медальон ждет.

– Какой Медальон?

– Увидишь.

За водку деньги были заплачены вперед, и парочка торжественно направилась к выходу. Когда Фигура была уже у дверей, Акулина выбежала из-за стойки, догнала ее и толкнула своей деревянной рукой в шею.

– Акулька, язва, отвяжись! – кричал Ванька Каин.

Башка зарычал, как медведь, по которому выстрелили, но Фигура успела его вытолкнуть в сени и энергично потащила за руку вперед.

– Стоит связываться с дурой! – успокаивала она своего спутника, шлепая по грязи. – Тут недалеко, живо дойдем. Дай руку, вот так, как барыни ходят...

Фигура хрипло засмеялась в темноте, в Башка молча зашагал рядом с ней. Кругом было совершенно темно, хоть глаз выколи, и только слабо мигали жалкие фонари по углам улиц. Снег остановился, но холод был по-прежнему страшный и пробирал до костей. Где-то завывала бездомная собачонка, слышалось хлопанье оторвавшегося с крыши железного листа; какой-то забулдыга брел через соборную площадь и все старался затянуть песню, походившую на мычанье. Медленно проехал извозчик, позвонил в чугунную доску ночной сторож, а впереди и назад – крошечная тьма. Парочка брела на ощупь и через двадцать минут была уже в узком и глухом переулке.

– Здесь, – проговорила Фигура и остановилась у какой-то деревянной развалины.

Они вошли во двор, потом в какой-то сырой и холодный подвал, походивший на могилу. Фигура чиркнула спичкой и отыскала сальный огарок, вставленный в бутылку из-под сельтерской воды. При слабом свете Башка мог рассмотреть весь подвал, служивший когда-то кухней. Маленькие окошечки с железными решетками, как в каземате, выходили на улицу; ободранная дверь болталась на одной петле; около одной стены на гряде, тряпья спал какой-то человек с бледным, худым лицом:

– Медальон, вставай... Я гостя привела!.. – кричала Фигура, расталкивая спавшего. – Да ну же, вставай!.. Это наконец невежливо так принимать гостей. Посмотри, какого я зверя привела...

– Ах, это ты, Милочка? – проговорил Медальон, поднимаясь со своего неприхотливого ложа. – Какого зверя?.. Милочка, как у меня страшно голова болит, мне всего одну бы... а?

– Видишь, какой ты лакомка. Медальон: «одну бы», а где я тебе ее возьму? Ну, ну, не плачь, я сейчас... Я и закуски принесла, а пока позволь представить тебе нашего гостя: monsieur Башка.

Медальон был еще совсем молодой человек, лет двадцати трех, белокурый, жиденький, с длинной шеей и голубыми детскими глазами; костлявые плечи, ввалившаяся грудь и бескровное лицо придавали ему вид какого-то подвижника. «Эх, какая дохлятина! – с презрением подумал Башка, разглядывая Медальона. – Настоящая

листа». Фигура в это время успела достать откуда-то бутылку водки и кусок вареной печенки, что составляло уже целый ужин на троих.

– Странно, право: нас сегодня выгнали из кабака, – рассуждала Фигура, разрезывая печенку обломком перочинного ножа. – Нашли меня неприличной... Ужели я настолько не умею себя держать, что не могу быть приличной для кабака? Фи... Какая гадость! Боже мой, боже мой, до чего может дойти человек! Я, собственно, и обиделась только сейчас, то есть не обиделась даже, а так... гадко стало для самой себя...

Медальон, выпив две рюмки, несколько пришел в себя и с аппетитом принялся есть печенку. Проглотив последний кусок, он проговорил с комическим пафосом:

– *Sic transit gloria mundi!*^[36]

– *Domine*^[37], ты знаешь по-латыни? – обрадовался Башка, протягивая руку.

– Да, немножко...

– Медальон кончил гимназию с золотой медалью, – объяснила Фигура не без удовольствия, – а таких там называют «медальонами».

– Ага! – проговорил Башка. – У нас в семинариях первых учеников звали «башками», я и имел несчастье быть таким первым учеником; значит, мы с вами одного поля ягоды...

Они молча пожали друг другу руки и засмеялись. Знакомство завязалось быстро, и за рюмкой водки новые друзья рассказали о себе всю подноготную. Медальону пришлось немного рассказывать о себе: сын богатых, но разорившихся родителей, блестящим образом кончивший гимназию, он быстро свихнулся, когда пришлось зарабатывать свой хлеб, и теперь ждет какого-то места, обещанного ему каким-то очень хорошим человеком.

– Только бы получить место, а потом я брошу эту проклятую водку и заживем с Милочкой припеваючи, – закончил свою повесть Медальон. – Так ведь, Милочка?

– Конечно, конечно... да, припеваючи, – машинально повторила Фигура, опуская голову.

– А знаете, что нас всех сгубило? – задумчиво говорил Башка. – Самолюбие... Да!.. Вся система нашего воспитания построена именно на самолюбии, которое в нас развивали с детства. По себе знаю... Это общая судьба всех первых учеников... Поврежденный народ

выходит... Видите ли, для таких людей должна быть жизнь на особых условиях, а не прозябание обыкновенных смертных. А когда тебя станут по носу щелкать на каждом шагу, тут и погибель: характера-то не хватает, а самолюбие давит... ну, и утешаемся по-своему... Так ведь?

– Верно, – согласился Медальон.

– Много нас таких-то, – продолжал Башка, не обращаясь, собственно, ни к кому. – Ну, и, конечно, обвинять кого-нибудь и что-нибудь в своем падении по меньшей мере глупо, все равно, что обвинять машину, которая одному раздробила руку, а другого совсем искрошила... Все, что существует, существует разумно и, ergo^[38], имеет право на существование. Факт стоит выше всяких законов... да. Если я говорю: «нас погубила система», то это только принятая форма выражения, приспособленная для понимания большинства. Так сказать, это только личная форма... Можно только понимать факты, а сердиться и радоваться по поводу их – это уже детство мысли. Одна есть истинная точка зрения на вещи и факты, это – отвлеченная философская мысль.

– Ух, какая ученость! – со вздохом проговорила Фигура, чувствуя, как у нее слипаются глаза.

Через пять минут, под шумок умных разговоров, Фигура уже заснула, где сидела. Ей грезилась плохонькая сцена провинциального театра, плохонькая музыка, плохонькая провинциальная публика, плохонькое освещение, а она выпархивает в коротких юбках и трико прямо к рампе и начинает петь забористую шансонетку. Публика аплодирует и любуется ее ногами, которые действительно замечательно хороши своей упругой полнотой и классическими линиями. Ей подносят большой букет, она прячет в него свое счастливое, улыбающееся лицо, потом посылает поцелуй публике и улетает за кулисы.

IV

Теперь нам необходимо сказать несколько слов о «Пловце» и ее завсегдатаях.

В Пропадинске было много кабаков, и каждый из них имел свою собственную физиономию. Так, кабак Зобуна в Проломной улице славился как притон конокрадов и лесоворов; кабак «Ямка», около гостиного двора, служил сборным местом нищих; были кабаки самой подозрительной репутации, как пристанище жуликов и мазуриков и т. п. «Плевна» резко отличалась от всех, потому что в ней завсегдатаями были особенные люди, промышлявшие разными художествами: в «Плевне» составлялись прошения мужикам, там всегда можно было найти для нотариуса грамотного свидетеля с паспортом, там же процветала игра в стуколку, три листа и в трынку, там же можно было послушать музыку и даже пение, покутить в хорошей компании и т. д. Главное, в «Плевне» никогда не позволялось буйство и мазурничество, за чем Ванька Каин следил в оба; полиция была поэтому особенно довольна «Плевной» и редко осчастливливала ее своими посещениями.

Такие особенности «Плевны» создались отчасти благодаря ее выгодному центральному положению, а главным образом – благодаря сметке и административной прозорливости Ваньки Каина. До него из сидельцев в «Плевне» славился кривой старик Ермило, но после Ермилы наступил смутный период междуцарствия: переменялся целый ряд сидельцев, и звезда «Плевны» начала быстро клониться к закату, если бы не выручил Ванька Каин, явившийся в самый критический момент и сумевший сразу поставить свое «заведение» прямо на точку, чем он особенно гордился. Его предшественники или не умели обращаться с публикой, или не могли выдержать характера, или просто прогорали от плохих расчетов. Кабацкое дело кажется со стороны таким простым, но оно далеко не просто, и только посвященные знают, сколько нужно умения, характера и чисто дипломатической изворотливости, чтобы удержаться на таком видном посту, как «Плевна». Конечно, запутанная кабацкая бухгалтерия стояла на первом плане, потом разные отношения к полиции и акцизным чиновникам, но всего важнее было организовать правильные отношения к разношерстной кабацкой публике, вернее сказать, создать такую публику.

– Прежде всего, мы народ очень самолюбивый, – объяснял Башка, когда Ванька Каин забрал в свои цепкие руки бразды правления. – Да... А потом нужно помнить, что мы совсем потерянный народ

только для вас, а для себя мы потерянные только временно. Самый последний пьянчужка глубоко убежден, что он пьянствует только пока, а потом бросит водку и заживет еще лучше других.

– Уж это обнакновенно; каждый последнюю рюмочку у вас пьет, – прибавлял глубокомысленно Ванька Каин от себя. – И мы тоже не без понятия...

– Отлично... Потом заруби себе на носу, что деньги наживают не с богатых, а с бедных, вот с таких проходимцев, как мы, в особенности. Я тебе объясню, почему... Во-первых, богатых людей очень немного, второе, богатый всегда и все купит вовремя и подешевле, – так? – ну, а беднота платит втридорога вашему брату, и из грошиков-то да из пятакков, глядишь, у ловкого человека капитал вырос... Так?.. И мотай себе это на ус... Если бы ты знал математику, так я тебе доказал бы, как дважды два, что значат так называемые несоизмеримо малые величины. Горы из них растут, из этих несоизмеримо малых величин... Да. Так и в вашем деле.

– Уж известно, надо и нам свою линию выводить... А только я вот чего никак не пойму: так это вы складно умеете говорить, как по-писаному, и так все верно у вас выходит, а только вот с собой-то не можете ничего сделать... Даже, ей-богу, жаль глядеть в другой раз со стороны!.. При этаким-то уме да при вашей грамоте какую бы линию можно было вывести... то есть только ах, боже мой!

– Ну, это уж не твоего ума дело, Иван Василич.

Башка сделался для Ваньки Каина правой рукой во всех важных кабацких делах и вместе с тем постоянной статьей дохода. Говоря вообще, именно Башка задавал тон всей «Плевне», где он являлся вполне авторитетным лицом. Специальностью Башки служило ходатайство по делам, причем он иногда зарабатывал порядочные деньги, одевался заново и потом все спускал до последней нитки. Знакомых у Башки в мелком купечестве, в духовном звании было несметное число, и он умел эксплуатировать всю эту братию с замечательной изворотливостью. В «Плевне» было составлено и написано Башкой множество прошений, которыми он одолевал суды всех инстанций; он же являлся свидетелем в двух нотариальных конторах, как человек «лично известный» гг. нотариусам. На худой конец Башка зарабатывал в день рубль или полтора, хотя в его тревожной жизни случались нередко совсем глухие моменты,

особенно после жестокого перепооя, когда он сидел без гроша по неделям. Такие несчастья обыкновенно случались с ним сейчас после больших получений: получит Башка деньги и пойдет чертить, а потом и зубы на полку, так что даже к нотариусу не в чем явиться. Обыкновенно из такого отчаянного положения Башку выручал Ванька Каин, делавший ему при этом приличную нотацію. В глубине души Ванька Каин благоговел пред талантами Башки, хотя иногда и любил его поприжать своей каиновой лапой.

Около Башки группировались уже остальные завсегдатаи «Плевны».

Корнилыч, промотавшийся купеческий сынок, был великим артистом по части бильярдной игры; он дневал и ночевал по трактирам, выжидая подходящего случая нагреть руки около загулявшего купчика или чиновника. Всю выручку он нес в «Плевну», где сейчас же появлялись на сцену сардинки, сыр, разные лакомства сезона и т. д., пока не улетучивалась у Корнилыча последняя копейка. Этот человек остался неисправимым мотом; сорить деньги было у Корнилыча в крови, и он многолетней практикой до совершенства постиг великое искусство шикнуть и показать товар лицом. Пил Корнилыч совсем мало и перебивался в «Плевне» около хороших людей вроде Башки.

Труба, сбившийся с панталыку мужик, промышлял около приезжавших в город крестьян, с которыми умел заводить знакомство с необыкновенной быстротой; он в одном кармане носил колоду карт, а в другом свой величайший секрет – «гривенку». Захмелевших мужиков Труба умел затянуть в известную кабацкую игру «три туза» или начинал метать орлянку, причем на сцену выступала заветная гривенка. Эта гривенка была устроена особенным образом. Труба взял две старых николаевских гривны и у одной сточил «решетку», а у другой «орел», так что сложенные вместе они составляли одну гривну; в «решетке» Труба искусно высверлил несколько желобков и в них налил ртути, а потом спаял обе гривны в одну. Такая монета, брошенная вверх, всегда ложится решеткой вниз, так что Труба никогда не рисковал проиграться, хотя заветную гривенку приходилось пускать в оборот очень осторожно. Труба редко играл в «Плевне», а большею частью на стороне, где его не знали, и с

выигрышными деньгами непременно являлся к Ваньке Каину и пил тяжелым мужицким запоем.

Кто такой был Хохлик, по всей вероятности, он и сам того не знал. В «Плевне» он являлся безответным, чрезвычайно скромным существом; его можно было послать куда угодно, и он, кажется, никогда не мог возразить что-нибудь. Чем он существовал – тоже являлось неразрешимой загадкой. Его друзья знали только то, что Хохлик умеет играть на гитаре и на пробках; последнее искусство стоило ему самого каторжного труда, и он овладел им настолько, что, взявши в зубы две пробки, разыгрывал даже опереточные арии. Корнилыч и Труба часто пользовались услугами безответного товарища, когда им нужно было подставное лицо, а Башка гонял Хохлика с прошениями по всему городу. Вообще Хохлик отличался полным отсутствием воли и был счастлив, когда делал что-нибудь для других по их приказанию.

– И какой ты, право, Христос с тобой! – говорила ему в припадке сердечного расслабления сожительница Ваньки Каина. – Ты бы смелее, ей-богу... Учись у Башки-то али у других тоже... Право, какой ты!..

– Где уж нам, Акулина Митревна... Мы уж так-с... помаленьку-с, – смущенно отвечал Хохлик, обдергивая рукава своего пальто.

– Ежели бы ты блаженный был... придуривал там, а то ведь... Уродится же этакой человек, подумаешь! А?

Кроме этих завсегдатаев, «Плевну» периодически посещало множество других особенных людей, которые временем сильно зашибали водкой. Посещение такого гостя было настоящим праздником для завсегдатаев. Гость пропивался до нитки и потом удалялся восвояси. В этом разряде были чиновники, купцы и люди неопределенных профессий; за ними обыкновенно являлись родственники, которые страшно ругались с Ванькой Каином и обещались жаловаться начальству.

– Что же-с? Я их не неволю-с, – любезно отвечал Ванька Каин, взмахивая черными волосами. – А что до начальства касательно, так у меня есть пакент... сделайте ваше одолжение.

Ванька Каин был великий тактик и в совершенстве обладал величайшим сокровищем, которое называется «чувством моря»; людей он видел насквозь и со всяким умел обойтись по-своему.

Тонкость понимания была в нем развита замечательно и еще скрашена известным запасом чисто русского добродушия. Конечно, по-своему Ванька Каин был прожженный плут и мошенник, но только для других, а не у себя дома, где он являлся почти отцом семейства. Бездомные бродяги и скитальцы вели у него все хозяйство, ходили за лошадью, и даже сам Башка полел в огороде гряды. Завсегдатаи любили Ваньку Кайна именно за его понимание, то есть за то, что он один относился к ним, как к людям.

– Да ты думаешь, Иван Васильевич, я пошел бы куда-нибудь в кабак?.. а? – допрашивал пьяненький Корнилыч. – Не-ет, брат, я тоже себе цену знаю... А к тебе вот иду, потому что уважаю. Да!.. Как к отцу родному иду, во как... Уж это ты будь без сомнения, по всей форме.

Отметим здесь ту особенность, что в этой среде кабацких завсегдатаев соблюдался целый ритуал самых строгих приличий, преступать которые никто не мог, и, может быть, нигде в другом месте так жестоко не преследовалось отступление от этих приличий, как здесь. Между прочим, строго было запрещено приводить в «Плевну» женщин или, выражаясь кабацким жаргоном, баб, что и выполнялось до сих пор неукоснительно. Причин такого драконовского закона было много, начиная с того, что Башка не выносил баб вообще и в частности, и кончая тем, что Акулина Митревна строго блюла патриархальность нравов своего заведения и в качестве женщины ненавидела всех других женщин, а тем более шляющихся по кабакам. Ванька Каин держал нейтралитет, потому что находился в некотором подчинении у своей сожительницы, особенно когда сам зашибал своим товаром.

Теперь нам понятно то чувство негодования, которое было вызвано неожиданным появлением в «Плевне» Фигуры. Когда дверь кабака захлопнулась за ней, сейчас же последовал настоящий взрыв одобрения, адресованного к расхрабрившейся Акулине Митревне.

– Молодца у нас Акулина Митревна, – галдели завсегдатаи, точно праздновали настоящую победу. – Ловко она отчехвостила эту шлюху... А Башка после этого будет хуже Мазепы.

– Настоящий Гришка Отрепьев.

Общественное мнение «Плевны» было возмущено до глубины души и вынесло Башке обвинительный вердикт без всяких

смягчающих вину обстоятельств, и только один Ванька Каин испытывал некоторое угрызение совести, что не предложил Башке вовремя стаканчика и тем довел его до окончательного падения. Впрочем, он вслух никому не высказывал своих мыслей, тем более что его вина носила слишком косвенный характер.

«Сбесился, пес, – раздумывал Каин, орудуя за стойкой. – Этакое колено уколол!.. а? Бабу приволок, да еще какую-то такую, что... тьфу! Этакие пропастины, подумаешь, на белом свете водятся...»

На другой день после этого события «Плевна» уже имела самые подробные биографические сведения относительно прошлого и настоящего Фигуры. Это поусердствовал Корнилыч, имевший большие трактирные связи, а в трактирах Фигуру отлично знали.

– Перво-наперво она у родителей жила, – повествовал Корнилыч, глубокомысленно посасывая дешевенькую сигарку. – Из дворян еще будет... Ну, воспитание получила самое нежное, да потом и пошла щеголять. В театре актрисой была, потом арфисткой, потом по трактирам... щеголяла-щеголяла, да вот и дощеголяла до своего настоящего виду. Зобун рассказывал, как она Башку-то подцепила... Нехорошо даже рассказывать. И такая, сказывает, пройдоха, что не приведи Христос. Шлэнда, одним словом...

– Удавить бы ее, проклятущую! – предложил кто-то.

Однако такие разговоры никого не могли утешить: отсутствие Башки чувствовалось во всем: точно из машины вынули главное колесо. И, как назло, народ так и пер в «Плевну» с прошениями, а Башка и глаз не показывал.

– Сказывают, утонул он, – отвечал Ванька Каин на расспросы просителей и мрачно улыбался.

V

Через неделю Башка неожиданно появился в «Плевне», он привел с собой Медальона и занял свое обычное место, как ни в чем не бывало. Понятно, что завсегдатаи встретили его очень подозрительно, но Башка с обычной хитростью притворился, что ничего не замечает, и держал себя так, точно ничего особенного не случилось.

– Экие бесстыжие глаза! – изумлялась Акулина Митревна. – И беспреречно у него што-нибудь есть на уме... уж не таковский человек, штобы спроста! И одежкой раздобылся, пес...

Действительно, Башка явился в сапогах, в калошах, в приличных брюках и даже в осеннем дипломате с чужого плеча. Медальон жался в одном пиджачке.

– А мы уж тебя утонувшим записали, – ехидно говорил Ванька Каин, выставляя приличную посудину. – Много тут спрашивали... Я еще пожалел, потому как и цвете лет и, можно сказать, без покаяния...

– Будет тебе огороды-то городить, – обрезал Башка. – Я вот тебе хорошего человека привел.

– Что же? Мы хорошим людям завсегда рады... Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.

Медальон был подвергнут самой беспощадной критике и выдержал испытание. Его как-то сразу все полюбили; а Акулина Митревна сказала прямо, что «энтот как раз под пару подойдет Хохлику-то». Однако вечером, когда пьяный Башка принялся рассуждать с Медальоном о разных философских предметах, Ванька Каин заметил жене, что Медальон «далеко не вплоть» Хохлику-то, вон какие мудреные слова разговаривает. Даже Корнилыч, на что лют бобы-то разводить, и тот только глазами хлопает. А Башка действительно разговорился как-то необыкновенно и точно все заискивал перед новым своим другом, чем завсегдатаи были обижены еще раз.

– Есть целый разряд фактов, который совсем выходит из пределов обыкновенной логики, – философствовал Башка. – Например, общество не хочет знать нас и даже стыдится, а между тем мы самое наизаконнейшее явление... Даже можно сказать, мы правильное смотрим на вещи, потому что, по теории утилитаризма, променяли фиктивные блага на более существенное, так сказать, мы пьем сок жизни, когда другие только приближаются к этому идеалу. Важно доработаться до философского мирозерцания, а с высоты его разные житейские невзгоды кажутся просто смешными.

– Совершенно верно! – соглашался Медальон, запуская тонкие руки в свои белокурые волосы. – Людям крайне тяжело расставаться с известными житейскими предрассудками, особенно теми из них,

которые срослись с домашним обиходом... Только вот у нас в гимназии плохо проходили философию, и я не совсем понимаю некоторые твои рассуждения.

– Пустяки! Этот недостаток твоего воспитания мы пополним, – смеялся Башка, встряхивая своей гривой. – Знаешь, я человек откровенный и прямо тебе скажу, что крепко недолюбливаю ваше сухарное гимназическое образование... Ей-богу!.. Знаете вы много и порядочно знаете, а вот настоящего закалу в вас нет... этой философской выдержки. У нашего брата, бурсака, дубленые мозги-то... Ха-ха!.. Жизнь, братику, это мудреная история, если особенно взять не казовые концы и не ее парадную праздничную сторону, а настоящую суть. Везде противоречия... «Ввергохом злато в огонь, и излился телец». Ха-ха!.. Это уж постоянно. «Злато» – это то, чем мы были до нашего воспитания, а «телец» получился уже в результате. Знаешь, я недавно шел ночью босиком в одной рубахе по грязи... холодище смертный, даже одеревенел весь, а в главизне разные латинские да греческие цитаты так и шевелятся: из Овидия, из Гомера, из Цицерона. Ведь получается жестокая, но поучительная ирония... Я хохотал, над собой хохотал. К чему? Зачем?.. Жизнь требует цельного человека, сильного умом и волей, а мы являемся на житейский пир, как попугаи, с двумя-тремя латинскими фразами. Я вот человеком-то себя чувствую только здесь, в «Плевне», и то постоянно сосет червь... Просто иногда пугает этот всеобщий разлад, частицу которого составляешь и сам своей особой. Вот Ванька Каин уравновешенная душа, потому что он безмерно глуп... из породы сумчатых и толстокожих, и, наверное, у него волосы растут прямо из мозгов.

Медальон говорил на эту же бесконечную тему, хотя во многом не мог согласиться с жестокой логикой Башки. Он сидел на своем стуле, болезненно согнувшись, точно все еще под ним была гимназическая парта, и нервно вздрагивал каждый раз, когда за стенами «Плевны» с визгом и завываниями поднимался режущий осенний ветер, метавшийся по городским улицам, как оплашенный. Стоял октябрь, земля уже покрылась промерзшей корой, и везде белел первый снег, которым так приятно любоваться из хороших теплых домов, когда в запасе есть теплая шуба. В «Плевне» в эту пору всегда

бывает особенно много посетителей, потому что холод всех гонит к теплу.

– Экая у тебя жидкокостная и гнилая натурашка! – негодовал Башка каждый раз, когда у Медальона на улице зуб с зубом не сходился. – Ты смотри на меня: точно из подошвенной кожи сшит.

Раньше Башка ночевал вместе с другими завсегдатаями в задней каморке «Плевны» или по разным ночлежным притонам, а теперь к ночи обязательно исчезал в обществе Медальона.

– Это он к той шляется, – соображала «Плевна» и презрительно пожимала плечами. – А та небось боится сюда бесстыжие-то свои глаза показать.

Между тем Фигура лежала больная в своем подвале, куда Башка и Медальон приносили дрова и разный необходимый провиант, добываемый ими по всему городу. Башка был неузнаваем. Он сначала ненавидел Фигуру, потом помирился с ней, а теперь ухаживал за ней, как за ребенком, то есть ухаживал-таки опять по своему, по-бурсацки. Со стороны можно было подумать, что Башка хочет приколотить больную. Но это не мешало ему просиживать над ней целые ночи, бесконечные осенние ночи, когда все кругом покоится мертвым сном и только ветер выводит дикие ноты в трубе. Башка привел к больной доктора, ему одному известными способами добывал лекарства, Башка приносил откуда-то дрова, Башка раздобылся матрацем и одеялом для больной; одним словом, он работал неутомимо и, кроме того, еще ухаживал за Медальоном, которого полюбил с первого раза. Фигура лежала на своем одре с закрытыми глазами и, кажется, не узнавала никого; по ночам она начинала тяжело метаться и глухо стонала. Башка обкладывал ее компрессами, измерял температуру, подавал лекарства и был очень доволен, что у него не остается ни минутки свободного времени. Иногда Башка приносил с собой бутылку водки и молча ее распивал в обществе Медальона, который делал всегда то, что делают другие. Особенно хорошо чувствовали себя друзья в те часы, когда топилась вечером печь и они могли сидеть перед ней в безмолвном созерцании, как настоящие философы. Пламя трещало так весело и разливало кругом такую благодатную теплоту.

– Странная вещь этот огонь, – задумчиво говорил Башка, глядя на переливы пламени. – Это стихийное начало, с одной стороны... с другой, символ очищения, прообраз домашнего очага, величайшее

приобретение для ветхого человека и неутомимый работник для нового.

Медальон цитировал греческих и римских авторов, припоминая места, где говорили об огне, а Башка сидел и думал, думал, без конца, как думается только в осенние непроглядные ночи. Ни отца, ни матери он не помнил; они умерли разом в сорок восьмом холерном году. Дядя свез его восьми лет в бурсу, и с тех пор Башка жил своим умом. Много перенес он за двенадцать лет бурсацкой науки и холода, и голода, и всяких других напастей, и в конце концов выработался из него чистокровный семинарский «башка». Чем только он ни был, проходя через это бурсацкое чистилище: архиерейским исполатчиком, кадило- и свещевозжигателем, капоиархом, иподьяконом, архиерейским басом, потом служил в консистории, в акцизном ведомстве, при полиции, на золотых промыслах, в городской управе и т. д.

– Не сносить тебе головы, братец, – говорил Башке один старичок, семинарский профессор, – винта не хватает одного в мозгах... Очень уж ты башковат, своя сила одолит, да и гордости этой в тебе через меру.

Действительно, в голове у Башки не доставало какого-то винта. С блестящими способностями, с философской складкой ума, выносливый, изобретательный, он принимался за десятки специальностей, быстро делался общим любимцем, а потом так же быстро ссорился со всеми, бросал дело и уходил на улицу, которая всегда кормила и поила его. В минуты раздумья Башка сам сознавал, что пропадает ни за грош, но переломить себя не мог: его вечно грыз бес ненасытной гордости, точно какая скрытая зараза. Конечно, Башка страшно пил, пил с двенадцати лет, но что могла значить водка для его железной природы? Он пил с тоски, которая неотступно сосала его. Даже успех не радовал его, а наводил уныние: он, который чувствовал в себе силу сдвинуть гору, должен был «ловить мышей», как выражался Башка. Сознание собственной силы и превосходства над окружающими сделало его несчастным, как и многое множество других талантливых русских выроdkов, кончивших роковым «общим знаменателем», как называл Башка кабак.

В жизни Башки был один ничем не объяснимый пробел: для него женщины почти не существовали, или, вернее, существовали, как печальная физиологическая необходимость. Радужный ореол, которым

окружали женщину поэты всех стран и народов, для Башки был дребеденью и чепухой; он видел только баб, самый вздорный и ничего не стоящий народишко, который в природе служит только переходной формой и, как таковая, носит в себе все недостатки переходного существования. С физической стороны Башка относился к женщине брезгливо, с тем презрением, которое выработала в нем тяжелая практика; как философ, он их ненавидел, как ненавидит каторжник цепи даже на других. О любви и вообще нежных чувствах Башке не приходилось задумываться, и в нем жил какой-то подвижнический, почти аскетический дух. Не помня матери и не имея семьи, Башка вырос дикарем и частенько подумывал о монашестве.

Случайная встреча с Фигурой и Медальоном произвела на него какое-то смешанное впечатление: чем ближе он знакомился с Фигурой, тем сильнее ее презирал, и чем больше ее презирал, тем больше любил Медальона, этого гимназического башку в зародыше, в бесконечном приближении к своему первообразу и идеалу, точно Башка видел в Медальоне часть самого себя, именно ту часть, которой ему недоставало. Как ни странно сказать, Башка питал к Медальону отечески нежные чувства, точно сам он физически хотел продолжиться в этой жидкокостной натурщице. Сначала Башку до глубины души возмущали телячьи нежности в отношениях Фигуры и Медальона; эти нежности шокировали и коробили Башку, но вместе с тем пред ним страница за страницей раскрывался совершенно неведомый мир, мир неиспытанных ощущений. Фигура любила Медальона, и это неизведанное чувство Башка переживал в отраженной форме. Им овладела какая-то новая тоска, точно он что-то потерял такое хорошее и дорогое и, вместе, такое чистое... Да, это было новое чувство, и Башка боролся с ним молча, сосредоточенно, как борются в темноте со смертельным врагом, который напал сзади.

– Вздор... глупости! – ворчал Башка, схватывая себя за голову.

Разве он мог любить грязную, истасканную Фигуру, столько же походившую на женщину, как стоптанная, валяющаяся дырявая калоша где-нибудь на улице походит на настоящую обувь. Башка был слишком силен физически, чтобы не чувствовать физического отвращения к Фигуре, хотя это чувство и не мешало ему видеть в ней другую женщину, именно ту, которая еще так недавно блестела своей свежестью, женщину, которая одной улыбкой могла сделать человека

счастливым. Просиживая ночи у постели больной, Башка припоминал плохонький провинциальный театр, из райка которого он любил смотреть на сцену, и на этой сцене он припомнил Фигуру. Да, это была она – улыбающаяся, заражавшая публику своим весельем, а теперь... Даже философски-организованный ум не в состоянии помириться с таким беспощадным превращением, как не помирится он с вином, потерявшим свой букет, – оставалась одна форма, а содержание улетучилось.

А Фигура все лежала с закрытыми глазами, и Башка не один раз думал, что она уже умирает. Его схватывала какая-то злоба от сознания своего полного бессилия пред творившимся на его глазах актом природы; он, с своим железным здоровьем, суровый и непреклонный, был здесь слабее ребенка и, как ребенок, только мог ждать. Одна ночь особенно была тяжела, но эта ночь имела благодетельный исход. Фигура заснула в первый раз спокойным сном выздоравливающего человека и наутро в первый раз попросила есть.

– Мне лучше, – прошептала она и пожала руку Башке.

Это невольное движение испортило все дело: Башка даже пожалел, что Фигура не умерла, и озлился на себя, зачем напрасно терял время в этом подвале. Главное, Башка почувствовал себя как-то необыкновенно глупо, и ему сделалось совестно даже пред выздоравливающей.

Наступила новая полоса. Башка начал теперь пропадать по целым дням и являлся на квартиру к Медальону только вечером. Выздоровление Фигуры подвигалось вперед быстрыми шагами, молодой организм брал свое, она уже могла сидеть на постели и все придумывала разные необыкновенные кушанья.

– Знаете, что мне кажется? – говорила однажды Фигура, когда Медальон и Башка сидели у топившейся печки и мечтали. – Мне кажется, что я родилась во второй раз... Я как-то проснулась здесь днем одна, и вдруг мне представилось, что я маленькая девочка, совсем маленькая, когда ходила в коротеньких платьицах и в панталонах с кружевной оборочкой. Да... Это так было смешно. И рубашка на мне была такая тонкая и чистая, настоящая батистовая, летнее платьице из дешевенькой кисеи с маленькими такими розовыми мушками, а волосы на голове были подвязаны одной

ленточкой, – и больше ничего. Ведь это во сне все... да. И сама я такая легкая сделалась, и хорошо мне так, что я даже засмеялась про себя.

Этот рассказ просто взбесил Башку. Он схватил свою шапку и, не сказав никому ни одного слова, убежал из подвала.

– Что это с ним такое сделалось? – недоумевала Фигура.

– А кто его знает, – равнодушно ответил Медальон. – Он ведь вообще довольно странно себя держит.

Башка жестоко пил весь вечер в «Плевне», раскаялся во всех своих вольных и невольных прегрешениях Корнилычу и, облегченный этой добровольной исповедью, дал слово своему закадычному доброприятелю, что больше никогда не заглянет к Медальону.

– Ну их к черту! – коротко заметил Корнилыч.

– Беленькое платице... Батистовая рубашка... Слышишь? И рубашка беленькая! Ха-ха!.. Говорит, во сне видела... Этакая подлая душонка! И ленточка... тьфу!..

Пьяный Башка проклинал всех баб вообще, а на другой день вечером опять сидел в подвале у Медальона и сурово курил один крючок махорки за другим. Он шел мимо и зашел погреться – не больше. С Фигурой он не говорил ни слова и точно совсем не замечал ее присутствия, а когда уходил, то так сильно хлопнул дверью, что та соскочила с последней своей петли. Это обстоятельство задержало Башку в подвале дольше, чем он предполагал, но он все-таки до конца выдержал характер и не проронил с Фигурой ни одного словечка. Очутившись на улице, Башка долго бродил и все что-то обдумывал, ругаясь про себя.

– Нет, это уж благодарю покорно! – думал он вслух, шагая по молодому снежку, который своей белизной опять напоминал ему о проклятой беленькой рубашке. – Дудки!.. К черту!

Башка в последнее время работал самым лихорадочным образом и успел обделать сотни ловких дел. Из-под его пера летел целый град прошений и всяческих кляуз во всевозможные инстанции. Денег у него было много, и, между прочим, он успел достать Медальону место писца у нотариуса. Словом, работа кипела. По вечерам Башка иногда захаживал в подвал к Медальону погреться, выкуривал несколько папирос и исчезал. К Фигуре он относился с прежней суровостью, а между тем она уже могла бродить по комнате и с удовольствием сидела перед печкой. Болезнь совсем изменила ее.

Пьяная одутловатость исчезла, лицо вытянулось, кожа побледнела, глаза смотрели чистым светлым взглядом, как у проснувшегося ребенка.

– Теперь уж кончено, – в сотый раз повторяла Фигура. – Я водки больше ни-ни... У тебя теперь есть место, и я тоже найду занятия. Поступлю суфлером в театр, возьму место приказчицы, словом, устроимся.

Эти планы поверялись и Башке, который только иронически улыбался. Он теперь занят был исключительно философскими соображениями и постоянно спорил с Медальоном, то есть, вернее, придирался к нему и постоянно разбивал его по всем пунктам. Раз такой разговор перешел в настоящую ссору.

– Ничего вы, медальоны, не понимаете – вот что! – обрезал Башка. – Ну, что вы за народ, если разобрать? Плюнуть – и растереть нечего, вот и весь разговор.

– Однако ты, Башка, довольно сильно выражаешься сегодня, – заметил Медальон, задетый за живое.

– А вы привыкли, чтобы вас по головке гладили?.. а? – зарычал неожиданно Башка. – Какой-нибудь издохлый гимназистик и философия... Ха-ха!..

– Послушайте, это невежливо наконец, – заметила от себя Фигура.

– Не-веж-ли-во? – переспросил с расстановкой Башка, побелев от охватившей его злости. – А тебя, Фигура Ивановна, кто спрашивает?.. К черту!.. Слышала?.. А то я, без церемонии, за хвост да об стену...

Башка разругался напропалую и, как все неправые люди, старался выместить свою злость на ни в чем не повинном Медальоне, который скоро замолчал, что уже окончательно вывело из себя Башку.

VI

Дела в «Плевне» шли всё под гору, что завсегдатаи объясняли отщепенством Башки. Он, правда, бывал в «Плевне», и даже очень часто бывал, но это было «то, да не то», потому что душой он уже не принадлежал к ней, как это было прежде.

«И точно на меня затмение тогда нашло какое, – раздумывал с горечью про себя Ванька Каин, пересчитывая выручку. – Ну, чего стоило дать тогда Башке опохмелиться, ну, какой-нибудь стаканчик – плевать, а теперь вот и ожигайся...»

С другой стороны, Ваньку Каина точно какой бес подталкивал не покоряться Башке ни под каким видом. «Эка важность, и без него проживем: было бы болото, а черти будут!» Наружно он был вежлив с Башкой по-прежнему, хотя и не умел скрыть оборотной стороны этой вежливости, выжидая только случая отомстить Башке по-настоящему. Эти жестокие мысли в Ваньке Каине поддерживались еще больше плохой выручкой, которая даже перед Рождеством не поправилась, хотя это было самое бойкое, время. К довершению всех бед, чуть не под носом у Ваньки Каина открывался другой кабак, что, очевидно, было делом рук все того же Башки.

– Это даже весьма обнакновенно, – рассуждал Ванька Каин в своей компании с видом угнетенной невинности. – И поговорка такая есть: «Не поя, не кормя, врага не наживешь». Оно все так и выходит: за мою хлеб-соль да меня же Башка и подводит. Прежде прошения писать сколько мужиков в «Плевну» ходило, так и прут, как в окружной суд, а теперь, видно, шабаш, как обрезало... А все за мою доброту, да, – прибавлял Каин многозначительно.

Завсегдатаи «Плевны» тоже чувствовали себя не особенно весело, потому что и у них дела без Башки сильно пошатнулись, а главное, уж не было прежнего духа. Про себя они тоже обвиняли в своих неудачах Башку, обвиняли, в таких проступках, о которых он не мог знать даже «сном-делом». Так, Корнилыч проигрывался на биллиарде – рука стала не тверда и плаз притупился, а он обвинял в этом обстоятельстве Башку; Трубе где-то в харчевне крепко наломали бока за его гривенку – и тоже Башка был виноват. Даже безответный Хохлик, и тот, ложась с пустым желудком, не раз был огорчен странным поведением своего недавнего покровителя.

Раз, незадолго до Рождества, выдался для «Плевны» особенно плохой день. Снег так и ходил по улицам белой стеной, холод был страшный и пробирал до костей в самых теплых шубах, а у завсегдатаев на троих не было даже теплой шапки. Приходилось сидеть в «Плевне» и ждать, не подвернется ли какой хороший человек. А тут еще, как назло, мимо «Плевны» шли и ехали с разными

покупками к празднику: тащили гусей, ломти замороженной свинины, всяческую другую снедь, точно с специальной целью непременно подзадорить щелкавших зубами завсегдаев.

– Хоть бы Башку черт принес! – ворчал Корнилыч, тоскливо поглядывая на отворяющуюся дверь. – Сказывают, в шубе щеголяет и с бобровым воротником.

– Ах, пес! – ругался Труба. – Ведь вот, подумаешь, какое другим людям счастье привалит.

В момент наибольшего отчаяния в «Плевне» появляется Фигура; она сильно навеселе и держит окоченевшими от холода руками какой-то бумажный сверток.

– Башка здесь? – спрашивает Фигура самого Ваньку Каина, который смотрит такими глазами, точно сейчас хочет проглотить ее живьем.

– Был, да весь вышел, – отвечает он в галантерейном тоне.

– Мне бы поговорить с вами нужно...

– Говорите.

– Нет, здесь нельзя; у меня секрет.

Каин отлично знал эти секреты своих посетителей и только указал головою на дверь в свою комнату, куда Фигура и шмыгнула с проворством ящерицы. Отдыхавшая на перине Акулина Митревна встретила посетительницу самым неприветливым образом, не говоря ни слова, вырвала у ней из рук бумажный сверток и сердито принялась обрывать бумагу, вытаскивая на свет что-то белое.

– Может, оно украдено, – говорила Акулина, растягивая перед окном тонкую батистовую женскую рубашку, отделанную кружевом, а потом кисейное белое платье с розовыми мушками; из середины упала на пол тоненькая голубенькая ленточка. – Ишо в суд потащут за краденое-то. Нет, матушка, не надо... у нас не такое заведение, штобы краденым промышлять.

– Могу вас уверить, что это не краденое, – уверяла Фигура. – Что дадите, то и возьму.

– Сказывай сказки-то, знаем мы...

В сущности, у Акулины глаза разбежались на хороший заклад, но она не могла отказать себе в удовольствии поломаться над ненавистой Фигурой, которую так бы и смазала прямо по роже.

Акулине давно хотелось иметь кисейное платье, а то она летом ужасно потела, а теперь платье само прилетело к ней.

– Откедова у тебя такому платью взяться? – тянула Акулина, снова прикидывая на свет и рубашку и платье.

– Да ведь это для вас все равно: мое, и только.

– Твое!.. А купи его да надень, в полицию и представят. Это как?

– Ах, боже мой!.. Я дешево отдам...

– Не надо, – обрезала Акулина, свертывая комом платье. – Наживешь греха-то с вашим братом. Проваливай подобру-поздорову!

– Послушайте, я даже скажу вам, от кого это платье, только, пожалуйста, не рассказывайте никому...

– Ну?

– Мне подарил все это Башка... Да. Он такой странный... Вчера я вечером была дома одна, Медальон еще не пришел со службы, слышу шаги Башки... Я знаю его походку хорошо. Ну, я нарочно и притворилась спящей и думаю: что он будет делать? Ей-богу, только он вошел в комнату, видит, что я одна и сплю, подкрался ко мне и спрятал под подушку вот этот самый сверток, а сам убежал. Честное слово, не вру, вот ни капельки не вру! Уж что ему за фантазия пришла – не понимаю.

– Сколько тебе под заклад-то?

– Дайте пять рублей... Ведь эти две вещи стоят больше двадцати.

– Два бери.

– Помилуйте, ведь эти вещи из магазина.

Торг закончился на трех рублях, и Фигура, зажав бумажку в руке, отправилась прямо в комнату завсегдатаев и сейчас же спросила три бутылки водки и закуски.

– Господа, мы сегодня кутим! – приглашала она компанию. – Да вы не стесняйтесь, пожалуйста... Ха-ха!.. Ну, первая колом, вторая соколом, а потом мелкими пташечками полетят.

«Плевна» закутила. Корнилыч и Труба позабыли все невзгоды и сосали рюмку за рюмкой; безответный Хохлик тоже «поддерживал компанию». Но всех великолепнее, без сомнения, была сама виновница этого импровизированного торжества, то есть Фигура. Она быстро опьянела и косневшим языком, улыбаясь, рассказывала разные анекдоты о Башке и, между прочим, сама же первая разболтала со всеми подробностями историю последнего подарка Башки.

– Он славный, – тянула Фигура, делая неопределенный жест рукой. – И ленточку голубенькую не забыл... Ха-ха!.. Это я ему сама рассказала... когда была маленькая... да-а!.. Чему вы смеетесь?

Подогретая вином и общим вниманием, Фигура принялась рассказывать о Башке в лицах, кривлялась, размахивала руками и несколько раз чуть не растянулась на полу. Это даровое представление надрывало животики всей «Плевне», так что сам Ванька Каин хохотал над Фигурой до слез.

– Ох, будь же она проклята, язвина! – шептал он в умилении, утирая катившиеся от смеха слезы. – Недаром сказано, что «баба хмельная – вся чужая»... Ай да Башка, молодца!

В самый разгар этого веселья, когда вся посторонняя публика приняла в нем оживленное участие, в «Плевну» вошел Башка. Ванька Каин пальцем подозвал его к стойке, вынул из шкафа купленный у Фигуры сверток и, развернув покупки на стойке, спросил:

– Узнаешь супрызец-то? Ха-ха!.. Погляди-ка ступай, как твоя-то Фигура представляется.

Башка в первое мгновение совсем ошалел от этой приятной неожиданности, и Ванька Каин втолкнул его в комнату, где Фигура в десятый раз представляла в лицах переделанный по-своему анекдот о подарке Башки. Публика аплодировала и задыхалась от смеха, а Башка, бледный как полотно, смотрел на нее дикими, остановившимися глазами.

– Видел?.. а?.. – спрашивал Каин, наклоняясь к самому уху Башки.

– Видел.

– И это правда все?

– Правда.

Завсегдатаи, заметив стоявшего в дверях Башку, вдруг присмирели и начали один за другим отодвигаться от пьяной Фигуры, которая уже не могла ничего видеть.

– Ну-ка, закатай ей хорошего раз, – поджигал Каин осовевшего Башку и даже легонько подталкивал его вперед. – Да ну, взвесели ее, шельму!

Башка через плечо посмотрел на Каина как-то так странно, улыбнулся и, не сказав ни слова, пошатываясь, пошел к двери.

– Пстой! Куда ты! – кричал Каин. – Шапку-то хоть возьми, ежова голова!

Но Башка ничего не слышал и шагал уже далеко, чувствуя, как его голова и без шапки горит огнем.

После этого Башку больше не видали в «Плевне», он исчез навсегда из Пропадинска.

Отрава*

Очерк

I

Жирное, колеблющееся солнечное пятно уперлось прямо в широкую спину Вахрушки, но он продолжал лежать на земле плашмя, уткнув в траву свое бородатое и скуластое лицо. Солнце жгло отчаянно, а Вахрушка оставался неподвижен из свойственного ему упрямства: не хочу – и шабаш, пусть палит... Пестрядинная рубаха, перехваченная ремешком, и скатавшиеся штаны составляли весь костюм Вахрушки. Валяная крестьянская шляпа и сапоги лежали отдельно: Вахрушка бережно носил их с собою в руках – «на всякий случай», как говорил он.

– Эй, Вахрушка, вставай! – повторял я, толкая его прикладом ружья в бок. – Нужно переправляться через озеро. Не ночевать же здесь на берегу.

Вахрушка мычал, вытягивал босые ноги и продолжал лежать ничком, как раздавленный. Это было возмутительно, особенно когда являлась блаженная мысль о холодном квасе попоа Ильи и чае со свежеею земляничкой у писаря Антоныча. На Вахрушку накатились упрямый стих, и он оставался недвижим, как гнилая колода. Лягавая собака Фортуна, взятая нами у Антоныча напрокат, задыхалась от жара. Время от времени она звонко щелкала челюстями, стараясь поймать одолевших ее мух. Зной был нестерпимый, а наш тенистый уголок был теперь обойден солнцем.

– Вахрушка, вставай... Что ты в самом деле дурака валяешь?

– А... гм... ыг-хм!.. О, господи милостивый...

Мы попали в неприятную засаду. Из Шатунова вышли тем ранним утром, когда еще «черти в кулачки не бились». Сначала обошли озеро Кекур, потом по гнилой степной речонке Истоку перебрались на озеро Чизма-Куль, обошли его кругом и с двумя утками в охотничьей суме решили вернуться назад. Можно было

передохнуть в небольшой деревушке Юлаевой, где жил знакомый старик Пахомыч, но Вахрушка заупрямился, как это с ним случалось, и потянул в Шатуново.

– Первое дело, у попа Ильи квасу напьемся, – объяснил он в свое оправдание. – А то как же? К Пахомычу мы в другой раз завернем... Изморился я до смерти с этими проклятущими утками: одна битва с ними, а не охота.

Можно было вернуться старою дорогой, что составило бы в два конца верст пять с хвостиком, но Вахрушка опять заупрямился и повел ближнею дорогой. Только обогнуть «башкирскую могилу» (урочище, где было сражение во времена башкирских бунтов), Чизма-Куль и останется влеве, а до Кекура рукой подать, из лица в лицо выйдем на Шатуново. Как раз и Маланьина избенка стоит на самом берегу – живо солдатка на батике подмахнет, а там и холодный квас у попа Ильи. Хорош поповский квас! И Вахрушка уперся на этой несчастной мысли, как бык. Было уже так жарко, что вступать в ратоборство с Вахрушкой не хотелось, – ближнею дорогой, так ближнею.

Только охотники знают, что такое возвращаться порядочному человеку с поля, когда во рту пересыхает от жажды, ноги точно налиты свинцом и в голове вертится предательская мысль: «Нет, уж это в последний раз...» Идти пришлось открытыми покосными местами, кое-где перерезанными мелкою порослью и отдельными островками. Фортуна давно тащилась по пятам, высунув язык, с тою особенною собачьей покорностью, которая еще больше увеличивает вашу собственную усталость. Собаки предчувствуют плуности своих даже случайных хозяев. Так мы обогнули башкирскую могилу, разлезшийся глиняный холм с березовою порослью, оставили влеве Чизма-Куль («Говорил, что влеве останется озеро», – несколько раз повторил Вахрушка, оспаривая неизвестного супротивника) и, наконец, завидели вдали кривую полосу ярко блестящего на солнце Кекура. Это было громадное высохавшее степное озеро, каких так много разбросано по всему Зауралью. Теперь оно мирно зарастало ситником и осокой, представляя отличный утиный садок. Для охоты оно было неудобно. С берега не допускала качавшаяся под ногами трясина, а гоняться за утками по камышам еще хуже. Вода в озере была дрянная, с болотистым вкусом и ржавыми, масляными пятнами, да к тому же в ней кишмя-кишела так называемая водяная вша. Это не

помешало по берегу Кекура вытянуться семиверстному селу Шатунову, – таких сел в Зауралье не одно, как вообще в Сибири, где любят жить трудно. Издали вид на Кекур и Шатуново был по-своему красив, – извилистая полоса стоячей воды была точно «обархочена» разным крестьянским жильем. В центре белела каменная церковь, представляя резкий контраст с окружавшими ее бревенчатыми избышками. Шатуновские старики помнили еще времена, когда кругом Кекура стояли стеной непролазные леса, а в самом озере рыбы было видимо-невидимо; но леса давным-давно «поронили», всю рыбу выловили самым безжалостным образом, как умеет это делать один русский человек, крепкий задним умом, и озеро мало-помалу обращалось в гниющее болото. Та же история повторялась и с другими озерами, как Чизма-Куль, Багаши и другие. Теперь на месте сведенных лесов ковром расстилались бесконечные пашни, и бывшие башкирские улусы и стойбища поражали своим унылым, русским видом. Когда-то земля была овчина овчиной и давала баснословные урожаи, но благодаря сибирской привычке не удобрять поля и это последнее богатство уплыло, – урожаи год от году делались хуже, а единственным средством поправить дела были молебны попа Ильи да крестные ходы, когда появлялась засуха.

– Ах ты, телячья голова! – говорил Вахрушка, когда мы пришли, наконец, короткою дорогой к озеру. – Маланьи-то нету... а?

– Что же, она, по-твоему, обязана была нас ждать на берегу?

– Баба она, баба и есть! – ругался Вахрушка, присматривая противоположный берег из-под руки. – Ах, телячья голова!.. Вон и батик на берегу кверху брюхом лежит, а Маланьи и званья нет... Утрепалась куда-то, телячья голова!..

Через озеро до села было, на худой конец, две версты, и как Вахрушка мог рассмотреть не только Маланьину избышку, но даже вывороченную вверх дном лодку, – я не мог понять. Прищуренные темные глаза Вахрушки отличались ястребиною зоркостью, в чем я имел случай убедиться много раз.

– Ма-а-а-ланья!.. – кричал Вахрушка, подхватив одну щеку волосатую рукой. – Телячья голова-а!..

Это было отчаянное средство обратить на себя внимание солдатки, но Вахрушка орал благим матом совершенно напрасно по крайней мере полчаса, пока не охрип.

– Вот тебе и ближняя дорога! – донимал я Вахрушку в качестве потерпевшей стороны. – Теперь кругом озера-то до Шатунова битых двенадцать верст.

– Нет, поболее: все пятнадцать. Ма-аланья!.. А зачем нам кругом озера экую даль месить?

– Что же мы будем здесь делать? Не ночевать же в поле... Вот тебе и холодный поповский квас!

Вахрушка презрительно молчал и только пнул ногой подвернувшуюся Фортуну. Собака отбежала в сторону и, высунув язык, удивленно посмотрела на нас своими добрыми песьими глазами. Когда Вахрушке надоело кричать, он облюбовал на берегу таловый завесистый куст, бросил под него сапоги и шапку и улегся в тени, точно дело делал. <

– Увидит кто-нибудь с берегу, телячья голова... Вся причина в Маланье...

Мне ничего не оставалось делать, как только последовать его примеру. Солнце так и жарило. Камыши стояли не шелохнувшись, над ними плавали два ястреба-утятника; пахло гнилою водой, осокой и протухшею рыбой. Июльский овод кружился в застывшем воздухе столбом. На небе ни облачка, и только с восточной стороны всплывала белую дымкой высокая тучка. Фортуна два раза меняла место под кустом, потом сходила в болото, выпачкалась в грязи по уши и, вернувшись к нам, с ожесточением принялась трясти ушами и всем телом, так что грязь полетела на нас дождем. Вахрушка не пошевельнулся, и Фортуна легла рядом с ним, навалившись на его плечо своим грязным боком.

Время идет ужасно медленно, когда хочется есть и когда у попа Ильи такой холодный квас. Наши съестные запасы истощились, и в надежде на Пахомыча не было захвачено соли, так что нельзя было воспользоваться даже убитыми утками. Я пробовал заснуть по примеру Вахрушки и с отчаянною решимостью целый час лежал с закрытыми глазами, но и это не помогло. Солнце обошло куст и начало припекать мне плечо. Я переменил место, а Вахрушка оставался на самом припеке, онемев от истомы.

– Вахрушка, вставай! – будил я его. – Пойдем кругом озера, а то здесь просидим до завтра.

Вахрушка безмолвствовал из свойственного ему упрямства. В Шатунове Вахрушка играл роль интеллигентного «лишнего человека» и был «наперекосях» со всем миром. Жил он бедно, одиноким соломенным вдовцом, потому что жена Евлаха, лет десять терпевшая бедность и побои, ушла, наконец, в стряпки к писарю Антонычу. Свое хозяйство у Вахрушки давно было разорено, и он мыкался по людям: где дров порубит, где на сенокос угодит, где помолотит, где так, за здорово-живешь, стащит. Всего замечательнее было то, что Вахрушка был действительно умный человек, но ухмный как-то болезненно, с непримиримым ожесточением. Все, что делали другие, Вахрушка обязательно порицал, и порицал ядовито, с тем особенным мужицким юмором, который бьет, как обух. Выберут нового старосту, случится деревенский казус – Вахрушка произведет такой анализ, что не поздоровится. Шатуновские мужики говорили про него, что «Вахрушка не в людях человек», и это было лучшей характеристикой. Летом в страду, когда от работы стон стоял, Вахрушка сидел у себя на завалинке или ловил петлями уток; осенью, когда все отдыхали и справляли свои праздники, Вахрушка напускался на работу. Иногда он решался порвать всякие отношения с Щатуновым, выправлял паспорт и уходил куда-нибудь на сторонние заработки, но это продолжалось не долго, – много через месяц Вахрушка возвращался на свое пепелище озлобленнее прежнего и опять входил в свою роль деревенского обличителя.

– Все дураки, телячья голова! – повторял он, посасывая копеечную трубочку. – К чужой коже, видно, своего ума не пришьешь!

Были у него братья, хозяйственные, исправные мужики, и бесконечная деревенская родня, но все давным-давно отчурались от Вахрушки, как от невозможного человека. На деревенских праздниках или на свадьбах, где угощались званые и незваные, Вахрушка напивался пьяным, стervenел и устраивал скандал. Его, конечно, колотили, по неделям держали на высидке при волости, а потом Вахрушка получал свободу, садился на завалинку и ядовито посмеивался над односельчанами.

С этим деревенским лишним человеком я познакомился у попа Ильи, когда последний находился в полосе запоя. Вахрушка ухаживал за попом и каким-то жалостным голосом повторял:

– Ах, батько, отец Илья, нехорошо... что люди-то про нас с тобой скажут?... Надо соблюдать себя, телячья голова!

Обезумевший от запоя о. Илья лез на Вахрушку с кулаками, ругал его самым непозволительным образом, но Вахрушка переносил все с ангельским терпением и только улыбался. К чужим слабостям он питал необыкновенное влечение и защищал грудью деревенских отверженцев – опять-таки по необыкновенной строптивости своего ума.

II

Одуревшая от жара Фортуна вдруг заворчала:, чужой идет... Присмотревшись в запольную сторону, я увидел приближавшегося развалистою, усталую походкой мужика в белой валяной шляпе. Он шел сгорбившись и в такт размахивал длинными руками. Меня удивило, что в такой жар мужик был одет в тяжелый чекмень из толстого крестьянского сукна и новые сапоги. Для удобства полы чекменя были заткнуты за новую красную опояску, открывая подол стоявшей коробом новой пестрядинной рубахи и такие же штаны. «Видно, куда-нибудь бредет к празднику», – невольно подумал я, сдерживая рвавшуюся Фортуну за ошейник. Но какие же праздники могут быть в страду, а Ильин день уже прошел... Свадьбы в страду тоже не «играют».

– Мир на стану, – здоровался мужик, подходя к нашей засаде.

– Спасибо... садись, так гость будешь.

Мужик медленно посмотрел на меня своими прищуренными, слезившимися глазами, потом на Вахрушкину спину и, тряхнув головой, проговорил:

– Видно, перевоза ждете?

– Да вот все Вахрушка виноват, – пожаловался я, обрадовавшись случаю воспользоваться третейским судом. – Ближнему дорогой повел, да вот в засаду и привел.

– Несообразный человек, одно слово – все поперек ладит сделать супротив других, – мягко поддерживал меня мужик, оглядывая место присесть. – Мне, видно, тоже в Шатуново... попутчик вам нашелся.

– К празднику? – спросил я, чтобы поддержать разговор.

– Около тово, – отвечал мужик и тяжело вздохнул.

Он бережно подобрал полы чекменя, снял шляпу и сел на траву между мной и Вахрушкой. На вид ему было лет пятьдесят, но мужицкая старость держится долго: на голове ни одного седого волоса, лицо свежее, – одним словом, работник еще в полной поре. По одеже и манере себя держать можно было определить сразу, что он из достаточной семьи и не надсаждается над работой. Только в маленьких глазах стояла какая-то недосказанная, тяжелая мысль, которая заставляла его бормотать себе под нос, встряхивать головой и задумчиво разводить руками.

– Эй, Вахрушка, вставай, будет тебе бочонки-то катать, – заговорил он после долгой паузы.

– Отвяжись, телячья голова! – бормотал Вахрушка, заползая головой прямо в куст. – Умереть не дадут спокойно.

– Говорят: вставай...

Вахрушка судорожно поднялся, сел и равнодушно проговорил:

– А, Пимен Савельич...

– Видно, он самый... За охотой ходили?

– Есть такой грех: рыба да рябки – потеряй деньки... А ты куда поволокся?

Этот простой вопрос как-то вдруг заставил старика съежиться, и он ничего не ответил. Вахрушка тоже, видимо, смутился нетактичностью вопроса и так зевнул, что челюсти хрустнули. Мое присутствие, видимо, их стесняло.

– А все Маланька виновата, телячья голова! – заговорил Вахрушка, точно хотел оправдаться – Который час теперь дожидаем, а и всего-то дела: села в батик и подмахнула живою рукой... Нет у этих баб никакой догадки!..

– Вы бы пальме на берегу разложили, вот Маланья-то и догадалась бы...

– Еще за бродяг примут с пальмом-то... да и в страду оно не тово... сухмень стоит.

– Ну, из ружья стрельнули бы... Маланья – баба увертливая, сейчас бы прикинула умом.

– И в самом деле, телячья голова! Ведь вот, поди ты, в голову не пришло... Барин, одолжите порошку – сейчас запалю... Ведь вот,

поди ты, давно бы догадаться так-то!.. Померли бы с голоду, как бы не Пимен Савельич...

Я передал Вахрушке свою двустволку, которую все равно нужно было разрядить. На берегу грянули два выстрела, но солдатка не показывалась. Вахрушке опять пришлось орать благим матом: «Маланья... те-елячья голова-а!»

– Обожди малость: не до нас ей, – остановил его старик. – Со всего села народ теперь сбежался к следственнику, а Маланья впереди всех, потому как самая легковерная бабенка.

Было сделано еще два выстрела, но с прежним успехом. Фортуна бегала по берегу, тыкалась носом в траву, фыркала и, оглядываясь на стрелявшего Вахрушку, отчаянно лаяла.

– Разве в Шатунове есть следователь? – спросил я Пимена Савельича, пока происходила вся комедия.

– Нет, из городу приехал... Дожидали его ден пять, потому как объявилось на покосе мертвое тело... Так, вышла заминка... Пора страдная, до того ли теперь, а народ должен дожидать... Известно, беда не по лесу ходит, а по людям!

– И то утрепалась Маланька-то к следственнику, – говорил Вахрушка, подсаживаясь к нам. – Этих баб хлебом не корми, а только бы на народе потолкаться... Кому горе, а им любопытно.

Разговор на этом оборвался. Пимен Савельич прилег на траву и, видимо, начинал дремать. Вахрушка растянулся опять пластом, раскинул руками и коротко вздохнул, как человек, приготовившийся отдохнуть после тяжелого труда. Но его вдруг точно что уколело, – он поднялся на ноги одним прыжком.

– Кольем ее, эту самую Отраву... да!.. – азартно заговорил Вахрушка, наступая на нас– А то следственник приехал... тьфу!.. Надо без разговору, телячья голова, удавить ее... Нет: привязать за ноги к двум березам да на-полы и разорвать, чтоб она чувствовала.

– Темное дело, Вахрушка, не нашим умом судить... – ответил со вздохом старик. – Чужая душа – потемки.

В уме я быстро соединил найденное на покосе мертвое тело, приезд в Шатуново следователя и теперешний разговор об Отраве, шатуновской старухе, пользовавшейся репутацией колдуньи, в одно целое. Вахрушкин азарт служил только дополнением унылого

настроения Пимена Савельича. Видимо, старик имел какое-то касательство к разыгравшейся в Шатунове трагедии.

– Она, телячья голова, сколько теперь народу стравила... а? – уже хрипел Вахрушка, входя в раж. – А тут на: и следственник выехал, и становой, и понятых нагнали... тьфу, тьфу!.. Нашли важное кушанье!.. Как барыню допрашивать будут, а всего-то дела – веревку ей на шею да в озеро... Своими бы руками задавил, телячья голова, потому не стравляй народ!..

– Полно, Вахрушка, зря молоть... не таковское дело, – заметил старик, переминая в руках свою белую шляпу. – Мало ли про кого что болтают!

– Тебя ведь тоже колдуном зовут? – заметил я Вахрушке.

– Меня?.. Я – другое, телячья голова!.. Ежели от ума, например, это я могу... Лошади там или корове попритчилось, – это уж мое дело. Да! Всегда могу свое понятие показать – вот и вышел Вахрушка колдун.

– И Отрава, может быть, тоже от ума помогает? Вахрушка повернулся в мою сторону и, откладывая пальцы на левой руке, заговорил с – новым азартом:

– У ей, у Отравы у самой, было три мужа: всех стравила, а дочери-то, этой самой, Таньке, всего двадцать третий год пошел. И третьего мужа дотравит... Вторая у ей дочь, значит, выходит, солдатка Маланья, – ну, когда солдат выйдет в бессрочный, и его стравят. Солдат-то сойдутся с кузнецом Фомкой, – муж, значит, Танькин, – и каждый раз говорят: непременно нас тещенька на тот свет напрасною смертью предоставит. Ей-богу, сами говорят!.. А кривого Ефима кто уходил? Обязательный был старичок... А Пашка Копалухин? А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого?.. Тут, телячья голова, целая уйма народу соберется, а работа все одна... Не один раз мужики-то всею деревней на эту самую Отраву посыкались и порешили бы, да...

– За чем же дело стало? – любопытствовал я.

Этот простой и естественный вопрос неожиданно смутил Вахрушку. Он заморгал глазами, дернул плечом, развел рукой, да так и остался с закрытым ртом, точно подавился. Пимен Савельич тоже отвернулся в сторону. Старик все время, пока Вахрушка пересчитывал по пальцам «стравленных» мужиков, грустно качал головой и повторял:

– Вахрушка, а Вахрушка?.. Да уймись ты, а?.. А-ах, бож-же мой, да разе про это можно так зря говорить... Вахрушка, а?

– Да я первый бы ее, эту самую Отраву, – заговорил Вахрушка, не отвечая на мой вопрос, – и с дочерью Танькой вместе... Кишки бы из них вытащил да обеих колом осиновым на-скрозь, н-на!.. Не трави народ, первое дело. Одно званье чего стоит: Отрава... Из других деревень к Шатунову бредут бабешки, и все к Отраве, а она уж – научит, телячья голова. Да ежели считать, так верных человек сто стравила! Хошь у кого спроси у нас в Шатунове, в Юлаевой, в Зотиной, на Тычках... Вот она какая, эта самая Отрава! А тут следственник выехал, народ сбили, на окружном суде беспокоить добрых людей будут... Разе такой ей суд надо? Да с ней и разговаривать-то грех.

Деликатные формы нового суда возмущали Вахрушку до глубины души, и он, как бывалый человек, в лицах представил весь судебный процесс.

– «Анна Парфеновна, признаёте ли вы себя виновной, что стравили сто шатуновских мужиков и касательно протчих деревень?» – «Никак нет, ваше высочордие!» А тут уж абвокат пойдет пластать в свое оправдание: и такая-то, и сякая-то, и сейчас в закон ударит, прямо, значит, по статьям, – ну, Отрава и выправится!..

– Вахрушка, а? Да уймись, пе-ос! – усовещивал Пимен Савельич, вздыхая. – Как это у тебя язык-то поворачивается?.. Таковское ли это дело, чтобы, значит, так просто о нем разговоры эти самые разговаривать?

– У меня свои права есть! – орал Вахрушка в иступлении. – Тогда женешка-то моя Евлаха тоже было... Как это, по-твоему, Пимен Савельич?.. Например, ты пирога с груздями поел, а у тебя в брюхе такая резьба подыметя, и сейчас под сердце подкатит. Доставала Отрава-то, телячья голова, и меня, да только я умом своим собственным тоже раскинул: молоком парным едва отпоили в те поры. Значит, теперь у меня свои права в полной форме, и завсегда я могу всякие слова говорить.

Мы в этих разговорах просидели еще часа полтора, пока солдатка Маланья заметила нас и «подмахнула» на своем батике. Ватами называются лодки, вроде тех деревянных колод, в каких задают лошадям корму. На бату едва можно поместиться двоим, а если сядет

третий, то грозит серьезная опасность утонуть от малейшей неосторожности.

– Как же я вас повезу? – раздумывала Маланья, когда бат, наконец, причалил к берегу. – Четверым не уйти.

Это была приземистая баба-крепьш с ласковыми карими глазами и глупо-довольным выражением круглого румяного лица. В Шатунове она пользовалась незавидною репутацией, но с нее и не взыскивали, как с непокрытой головы. И солдатка живой человек: крепится-крепится, да что-нибудь живое и придумает, а охотников на чужую беду всегда много.

– Что же ты, телячья голова, не плыла раньше-то? – ругался Вахрушка, залезая в бат первым. – Уж мы тут и кричали и палили.

– Ох, без вас тошнехонько! – махнула рукой Маланья и со слезами в голосе – прибавила, обращаясь к старику: – Ведь твоя-то Анисья во всем повинилась следственному...

– Н-но-о?

– И все на мамыньку показала... Ох, конец пришел!.. Солдатка вышла на берег, присела на камушек и громко заголосила.

– Ну, вот што, Маланьюшка, ты здесь посиди, а мы, значит, поплывем, – утешал Вахрушка, пробуя весло. – С каким-нибудь мальчонкой выворотим батик-то.

Маланья только махнула рукой. Батик отчалил, тяжело раскачиваясь в воде, а мы держались за борта руками, чтобы сохранить устойчивое равновесие. Фортуна спокойно поплыла за нами, как это и следует умной собаке.

– Кто тебе Анисья-то будет? – спрашивал я старика.

– А дочь! – как-то равнодушно ответил он. – Значит, се-редняя дочь, а старшая-то в Юлаевой за кузнецом.

– В чем она повинилась?

– Ох, не спрашивай... Страшно и выговорить: мертвое-то тело на покосе нашли – это ейный муж, выходит. Ох, великий грех... тошнехонько!

– Сидите смирно, телячьи головы! – обругал нас Вахрушка, когда батик сильно качнулся,

Поп Илья в летнем подряснике из ярко-зеленого люстрина, пожелтевшего под мышками и на лолатках, ходил из угла в угол по комнате, выходявшей тремя окнами на широкую шатуновскую улицу. В переводе это значило, что батюшка совершенно здоров. Завидев нас, он выплянул в распахнутое окно и улыбнулся своею застенчивою улыбкой.

– А мы насчет квасу, отец Илья, – объяснял Вахрушка, шмыгая в калитку. – На перепутье, значит, телячья голова.

Поповский новенький пятистенный домик стоял как раз напротив церкви. Новые ворота вели во двор с новыми службами и новым крылечком, которое всегда стояло растворенным настежь, точно приглашая в гости к попу званого и незваного. Но сам двор был совершенно пуст, ее в пример всем остальным поповским дворам, переполненным до краев разною живностью, – поп Илья вдовел лет пять, детей не имел и разорил все хозяйство. Оставалась всего одна курица, спасавшая свою жизнь где-то под крыльцом. Вахрушка неоднократно покушался изловить ее, но «дошлая птица» отличалась большою предусмотрительностью и точно проваливалась сквозь землю в самый критический момент.

Пока мы снимали разную охотничью сбрую в задней каморке, поп Илья разговаривал с Пименом Савельичем, который понуро стоял перед окном.

– Не по лесу грех ходит, – повторял он.

– Да, всеконечно, – бормотал о. Илья, разглаживая черную бородку.

Среднего роста, коренастый и плотный, пол Илья так и дышал деревенским здоровьем, которому нет износу. Его портило только опухшее лицо и сквозившая на макушке преждевременная лысина. Близорукие, выпуклые глаза смотрели как-то удивленно. Шагая по своей зале, поп Илья имел привычку постоянно прятать руки в карманы или просто под полу зеленого подрясника.

Когда я вошел в залу, Пимен Савельич простился с попом Ильей и побрел своею дорогой, раскачиваясь на ходу.

– Ну что, как дела, отец Илья? – спрашивал я, чтобы начать разговор.

– Ничего, скверно... Жаль мужика. Мужик-то хороший!..

– Следствие производят?

– Да.

Поп Илья не отличался разговорчивостью и заменял слова усиленной ходьбой. Кроме того, ему, видимо, не хотелось говорить о случившемся.

– Ведь про Отраву рассказывают ужасные вещи? – попытался я еще раз завести разговор.

– Не наше дело.

– Да ведь все же об этом кричат, отец Илья?

– Один Вахрушка болтает... Не наше дело...

Эта полная безучастность удивила меня. Живя в деревне, нельзя чего-нибудь не знать, тем более что здесь выдавалось вопиющее дело.

– Вы у Антоныча остановились? – спрашивал меня о. Илья.

– Да. А что?

– Так. У него полон дом теперь гостей: становой, следовательно...

Вы оставайтесь у меня.

– Благодарю.

Старушка родственница, заведовавшая несложным хозяйством попа Ильи, подала две бутылки холодного поповского квасу, о котором мы мечтали целый день. Вахрушка припал губами прямо к горлышку и выпил всю бутылку.

– Скусен поповский квас, телячья голова! – похвалил он, вытирая свои тараканьи усы рукавом рубахи. – Не то, что наш, крестьянский.

После сидения на солнопеке прохлада поповского дома так и тянула отдохнуть. Улица была совсём пуста. Даже собаки – и те попрятались по тенистым уголкам. Вахрушка перехватил какой-то закуски на кухне и ушел отдыхать в сарай. Обедать с нами он ни за что не хотел остаться по особой мужицкой деликатности.

– Нет, уж я, телячья голова, лучше в куфне чего поищу, – объяснил Вахрушка. – Не привычны мы, чтобы с господами компанию водить... Как раз еще подавишься, телячья голова!

– Перестань ты, Вахрушка, дурака валять...

– Нет, уж в куфне... Оно способнее. Вот насчет водочки, телячья голова, ежели такая милость будет... это мы весьма даже принимаем.

Поп Илья махнул рукой на купоросившегося гостя, который теперь «приунищился» неспроста: вы будто господа, а мы будто мужики, – ну, все-таки у нас свое понятие есть. Мужик сер, да ум-то у

него не черт съел. Вахрушкин гонор поднимался на дыбы по самым ничтожным поводам, как было и сейчас. Самое лучшее, как всегда в таких случаях, оставить его одного, – гонор так же быстро спадал, как и накатывался. Впрочем, эта Вахрушкина политика скоро объяснилась: через полчаса в поповский дом нагрянули настоящие господа – следователь Василий Васильевич, высокий, сгорбленный господин в пенсне, толстый и лысый доктор Атридов, старичок становой Голубчиков. Гости только что кончили следствие и завернули к попу «стома-ха ради», – как объяснил Атридов, нюхая воздух своим приплюснутым жирным носом.

– Это черт знает что такое! – повторял Василий Васильевич, шагая по комнате. – Целая лаборатория всевозможных ядов у этой старушонки... И заметьте: все растительные яды, которые и доказать на трупе в большинстве случаев трудно.

– Друг мой, я вам! вперед говорил... – скороговоркой отвечал доктор, обнимая Василья Васильевича. – Уж я знаю, друг мой... Заметили, какое у ней лицо? Настоящая колдунья!.. Нос крючком, глаза горят, как у волка, и хотя бы бровью повела.

Старичок становой сокрушенно вздыхал, посматривая на дверь, откуда должны были появиться поповские наливки и приличная случаю снедь.

– Не правда ли, друг мой, – тормошил его неугомонный Атридов, успевавший надоедать решительно всем, – редкий случай?

– Вот нашли редкость... ха-ха!.. Да у нас этого добра сколько угодно, – отвечал становой, как человек, обязанный знать всю подноготную в пределах своей территории. – В любой большой деревне такая птица сидит, а за этой я уже давно следил... Одним словом, крупный зверь попался.

– И крепко попался... Я и говорю Василью Васильевичу: «Друг мой, вы ее покрепче прижмите, чтобы в собственном соку изжарилась...» Кажется, дело чисто сделали. Не правда ли, друг мой?.. А та, молоденькая-то бабенка, Анисья, с первого раза размякла и прямо в ноги: «Я мужа стравила». Даже очень глупая бабенка... Старуха-то ее очень хорошо учила: «Ты помаленьку трави мужа, чтобы незаметно было». Ну, неможется человеку – и вся недолга. Так бы и изошел иа нет, фельдшер помог бы еще какую-нибудь микстурой,

а отец Илья предал бы тело земле... да! Ну, а бабенка не стерпела: перепаратила... Очень уж ей хотелось поскорей отделаться от мужа.

– Большая несостоятельность замечается теперь среди сельского населения, – глубокомысленно заметил становой, любивший выразиться покудрявее. – Например, жизнь человека, самое драгоценное благо, идет совсем прахом, да!

Предобеденная выпивка прошла очень торопливо, по-походному. Доктор и тут успел исполнить долг ровно за троих и хлопал одну рюмку за другой с приличными случая прибаутками и наговорами. У него не только покраснело заплывшее жиром лицо, но даже лысина, и он к каждому слову теперь прибавлял свое: «друг мой».

– Замечательно то, что за отраву эта старуха взяла с Анисьи всего тридцать копеек деньгами, трубку холста и еще какую-то дрянь, вроде яиц, – говорил Василий Васильевич, усаживаясь за обеденный стол и запихивая один конец салфетки за ворот накрахмаленной рубашки. – Это тараканов травить дороже.

– Вы забываете, друг мой, что почтенная старушка вела свои дела оптом, а это целый капитал... Если она сотню людей отправила таким образом *ad patres*^[39] и за каждый сеанс получила, друг мой, трубку холста, по два десятка яиц и еще осязуемыми знаками обмена, как говорит политическая экономия... Отец Илья, друг мой, вы что же стомаха ради не пьете?

– У меня зарок, доктор... Не могу.

– Я вам разрешаю, друг мой... Клин клином вышибай – это мой принцип. А если уж очень будет коробить – сейчас, друг мой, хлоралгидрат: золотая штучка. Я всегда ее с собой вожу...

– Не могу, – зарок...

За обедом разговоры велись все о той же Отраве, которая пока была заключена в холодную при волости, а отсюда должна быть препровождена в уездный город Пропадинск и там содержаться в остроге до суда. Обстоятельства всего дела и предположения о его последствиях передавались с тем механическим спокойствием, как это свойственно людям, привыкшим к своей специальности, точно дело шло о самых обыкновенных пустяках. Врачи так же говорят о самых страшных болезнях и удивительных случаях в их практике. Эти разговоры пересыпались самыми домашними отступлениями: у жены Атридова всё болели зубы, у станового родились весной двойни, у

Василья Васильевича была куплена новая лошадь – коренник с необыкновенно завесистою гривой, дошлая курица попа Ильи, предназначенная сегодня на жертву стомаху, опять скрылась, и т. д. Говорили об отличной охоте на косачей в окрестностях Шатунова, когда выпадет первый снег, об удивительных рыбных тонях в озере Кекур всего каких-нибудь двадцать лет назад, о жестоком законе, который запрещает священникам жениться во второй раз, и в конце концов опять разговор переходил на Отраву – очень уж редкий случай.

По обстоятельствам всего дела, выясненного судебным следствием, можно было только восстановить его формальную сторону: тогда-то бабенка Анисья, не ладившая с мужем, пришла к Отраве и попросила средства; Отрава приняла подарки, порылась в своей лаборатории и вынесла необходимую специю в кабацкой посудине. Бабенка Анисья вместе с средством получила подробную инструкцию, как ей орудовать, но постаралась и двухнедельную порцию выпоила мужу в сутки. Дело происходило на покосе, в страдное время. У мужика поднялась ужасная «резьба», он катался с воем по земле и прямо указал на жену, что она его отравила. Сбежались соседи по покосу, ребятишки ревели, Анисья потерялась и во всем повинилась следователю, выдав головой Отраву. Старуха, несмотря на поличное, заперлась, и Василий Васильевич ничего не мог от нее добиться: знать не знаю, ведать не ведаю. Бабенка Анисья была ясна, как день, но Отрава оставалась загадкой: запирается во всем против прямых улик слишком наивное средство для такой опытной старухи, а главное, она сама себя не признавала виновной. В ней, в этой Отраве, жило убеждение своей правоты, и это поражало всех.

– А как она сказала про Анисью при очной ставке? – спрашивал я, стараясь распутаться в собственном недоумении.

– Да ничего не сказала, а только посмотрела с сожалением, – объяснил Василий Васильевич. – Дескать, нестоющая ты бабенка, коли не успела концы схоронить... Не стоило рук марать. А главное, очень уж дешево все... Тридцать копеек, трубка холста и яйца.

Действительно, очень уж дешево, и это – вторая, запутывавшая дело, сторона. Отрава знала, что дает и чем сама рискует, а идти за тридцать копеек в каторгу – прямой нерасчет. Вообще Отрава являлась некоторою загадкой и невольно подавляла своею самоуверенностью.

– В прежние времена с этими дамами проще обращались, – заметил становой. – Конечно, с какой стати она будет говорить на свою голову, а прежде прописали бы ей такую баню... да-с. Оно, конечно, грубое средство и с женщиной даже жестокое, но, согласитесь сами, как же быть?.. Нужно хоть чем-нибудь гарантировать неприкосновенность личности.

– Вы, друг мой, ошибаетесь, – спорил доктор Атридов, примыкавший всегда к большинству. – Это называется выколачивать истину, а мы живем, слава богу, не в такое время... Да, друг мой.

IV

Вечером у попа все засели «повинтить» – обыкновенное времяпрепровождение засидевшегося провинциального человека. Спускались прекрасные летние сумерки. По улице устало пробрело стадо коров. Блеяли овцы, азартно лаяли собаки, гоготали гуси, – вообще Шатуново переживало тот оживленный момент, за которым так быстро наступает мертвая деревенская тишина. В открытом окне несколько раз появлялась и исчезала голова Вахрушки. Я вышел за ворота, чтобы подышать свежим воздухом. Вечерняя заря ярко алела над озером, которое горело розовым огнем. Из далекого конца, где сошлись стеной камыши, уже потянуло ночную сыростью, и в воздухе, как дым, плавали первые пленки тумана.

Постояв за воротами, я без всякой цели побрел вдоль улицы. Кое-где в избах зажигались о-пни, бабы встречали возвращавшуюся с поля скотину, деревенская детвора пугливо стихала при виде незнакомото городского человека. Русская засыпающая деревня имеет всегда такой грустный вид, и невольно сравниваешь ее с городом, где именно в это время закипает какая-то лихорадочная жизнь. Контраст полный... На дороге меня догнал Вахрушка, слонявшийся по деревне без всякого дела, – идти в свою избушку ему решительно было незачем.

– А я-таки сбегал в волостное, – докладывал он, шмыгая ногами на ходу. – Поглядел на Отраву... Ну и язва только, телячья голова!.. Сидит, как сова в тенете.

Вахрушка удушливо засмеялся, довольный сравнением.

– А што ей будет, значит, Отраве? – спрашивал Вахрушка, забегаая бочком вперед. – На окружной суд пойдет?

– На окружной.

– Оправдают, телячья голова! – самоуверенно проговорил Вахрушка и сделал отчаянный жест рукой. – Известно, господа будут судить... В прежние времена за это самое на эшафоте бы взбодрили первое дело, а потом в каторгу, да!.. А нынче какое обращение: «Анна Шафеновна, признаёте себя виновной?» – «Никак нет, вашескородие, а даже совсем напротив». Ну, господа и скажут: «Покорно благодарим». Какой это суд? По-настоящему-то Отраву на ремни надо разрезать...

Около ворот и на завалинках попадались кучки мужиков, тихо разговаривавших между собой, вероятно, о той же Отраве, как и мы с Вахрушкой. Наше появление заставляло их смолкать. В темноте едва можно было различить бородатые, серьезные лица. Кое-кто снимал шапки; вероятно, принимая меня за лицо, сопричастное к следствию.

– А в волостном писарь Антоныч с фельдшером в шашки жарят, – проговорил Вахрушка, когда мы поравнялись с двухэтажною избой. – Верно... К попу Илье им теперь не рука идти, потому тоже чувствуют свое начальство, вот и прахтикуют между собой. А какое начальство хоть тот же Василь Васи-лич... Ей-богу!.. Лонись^[40] мы с ним за косачами по первому снежку ездили, – самый что ни на есть простой человек, телячья голова. Рядком с ним едем в пошевнях и растабарываем... Разве такое начальство должно быть?

– А какое, по-твоему?

– По-моему-то?.. По-моему, настоящее начальство, когда от страху человек всякого ума решается... Врасплох-то его и бери, а то одумается, так из него правды топором не вырубешь. Ту же Отраву взять: нисколешенько она Василь Василича не испугалась и даже еще разговаривает с им...

Мы зашли в волость. Мне нужно было увидеть писаря Антоныча. Это был типичный представитель зауральского писаря: седенький, обстоятельный, с неторопливой речью; одевался он всегда в черные суконные сюртуки и носил «трахмальные» манишки. Фельдшер Герасимов был бледный, попивавший господин, насквозь пропитанный специфическим аптечным ароматом. Если Антоныч держал себя независимо, то фельдшер испытывал какой-то

прирожденный страх перед каждой форменной пуговицей и постоянно трепетал.

По скрипучей, покосившейся лестнице мы поднялись во второй этаж. В передней мирно дремал на лавочке старик сторож, заменявший при волости чиновника особых поручений. В присутствии горела на столе сальная свеча и слабо освещала две головы, безмолвно наклонившиеся над доской с шашками.

– Ходу? – спрашивал фельдшер, видимо припиравший противника к стене. – Как ни ворочай, все одна нога короче...

– Гусей по осени считают, – отвечал Антоныч, сдерживая игровую злость. – Подожди, когда другие похвалят... Ах, это вы?.. Милости просим, садитесь.

Воспользовавшись случаем, Антоныч перемешал шашки, что возмутило фельдшера до глубины души. Он только прошептал: «Хлизда».

– Завернули полюбопытствовать насчет содержимой? – галантно обратился Антоныч ко мне, не обращая внимания на «движение» партнера.

Я объяснил, что буду ночевать у попа Ильи и что, пожалуй, не прочь буду взглянуть на «содержимую», если это никого не затруднит.

– Не стоит она того, чтобы беспокоить себя, а впрочем, пожалуйста, – с достоинством пригласил Антоныч следовать за собой.

Шатуновский писарь говорил об Отраве нехотя, с тем пренебрежением, как говорят о предметах неприличных. Фельдшер о чем-то шептался с Вахрушкой и разводил руками.

Антоныч пошел впереди нас со свечой. В сенях была узкая и крутая лесенка, спускавшаяся в нижний этаж. Там было совершенно темно. Мы спустились в такие же сени, какие были наверху, и здесь натолкнулись на Пимена Савельича и каких-то женщин, боязливо прижавшихся к стене.

– Чего вы тут делаете? – строго проговорил Антоныч, обращаясь к сидевшему на скамеечке сотскому.

– А к дочери пришел, Иван Антоныч, – тихо ответил старик, перебирая в руках свою белую шляпу. – Значит, к Анисье. Ох, согрешили мы грешные... привел господь...

Наступила тяжелая пауза. Прижавшиеся к стене бабы тяжело вздыхали и сморкались. В запертой на железный болт двери

проделано было квадратное отверстие, куда я и заглянул. Антоныч услужливо посветил своим сальным огарком, направив полосу света на «содержимых». Холодная представляла узкую грязную комнату с одним окном, заделанным массивною железною решеткой. На полу валялась грязная солома. Отрава, сгорбленная старуха лет семидесяти, сидела на единственной скамейке, по-бабьи подперев голову рукой. Сморщенное старушечье лицо глянуло на нас тусклыми, темными глазами, обложенными целою сетью глубоких морщин. Отрава нисколько не смутилась нашим появлением и только равнодушно пожевала сухим беззубым ртом. У стенки, опустив руки, стояла вторая «содержимая», Анисья, еще молодая бабенка, но с поблекшим лицом и впалою грудью. Глаза у ней распухли от слез, худые плечи вздрагивали. Она была босая и так жалко выглядела всею своею испуганною фигурой.

– Мышей тут ловите, телячьи головы? – спрашивал Вахрушка, просовывая свою голову к форточке. – Ах, вы...

Он выругался, но Антоныч сердито его оттолкнул:

– Не твоего ума дело!.. Все под богом ходим.

– Так ты, Анисья, говоришь, што пестрядину отдать своячине? – вмешался Пимен Савельич, очевидно, продолжая какой-то хозяйственный разговор.

– Пусть Нютке скроит рубашонку, – ответила Анисья с удивительною для ее общего убитого вида деловитостью. – Да, Пашуньке... Па-ашунь...

Схватившие ее за горло слезы не дали кончить слова.

– И нар-родец: человек в каторгу идет, а они – пестрядина! – ворчал Иван Антоныч, оттирая старика.

– Да ведь нельзя же, Иван Антоныч, – оправдывался покорно убитый старик, – детишки-то малешеньки... Тоже обрядить надо, а без матери-то хуже сирот. Так Пашуньке-то из новых овчин шубенку обставить? – заговорил он в форточку.

– Шубенку, а останутся которые лоскутки, так на заплатки уйдут, – отвечала Анисья с новым приливом энергии. – И чтобы телушку братану Илье, а ярочку свекровушке. После детишкам-то росстава будет...

Бабы у стены начали перешептываться. Сотский цыкнул на них, как на куриц. Отрава сидела неподвижно и смотрела куда-то в угол.

«Мамынька, родимая», – тихо заголосила у стенки солдатка Маланья, не смеяшая подойти к двери. Антоныч сморщился и сделал нетерпеливый жест, – как человек галантный, он не мог выносить глупого бабьего воя.

– Что же, она все молчит? – спросил я про Отраву.

– Как мертвая, – ответил фельдшер, хранивший все время молчание. – Упорная старушонка-с.

Молчаливая, точно застывшая фигура Отравы произвела на всех импонирующее впечатление: за нею, вот за этую семидесятилетнюю старухой, что-то стояло страшное и внушительное, что знала она одна и что давало ей силы. Меня удивляло то смущенное и совестливое чувство, которое она возбуждала во всех и которого не могли прикрыть ни Вахрушкина грубость, ни писарская галантность. Даже Пимен Савельич, этот черноземный человек, и тот старался обходить разговоры об Отраве: «господь с ней, не наше дело», и т. д.

– А которое, что в сундучишке, так пусть тетка Феклиста побережет, – наказывала Анисья, занятая хозяйственными соображениями. – Смертное^[41] пусть полежит... После мне же пошлете, куда накажу. А новые башмаки, может, Нютки дождутся...

Мы вышли другим ходом на крылечко и двором на улицу. Деревня уже спала. Только кое-где мертвая тишина нарушалась сонным бреханьем собак.

– Так вы к попу? – спрашивал меня Антоныч.

– Да... У вас теперь вся квартира занята гостями, а у попа есть свободный уголок.

– Нашлось бы местечко... Гости-то, поди, к утру придут– не придут. О, господи помилуй, – зевнул Антоныч в заключение.

Мы пошли с Вахрушкой обратно.

– А ты все-таки схлиздил давеча, Антоныч, – корил в темноте фельдшер своего партнера. – Я совсем в дамки проходил...

– Отвяжись, зуда, – ворчал Антоныч, зевая.

В Зауралье, где раскинулись такие села, как Шатуново, «тысячные писаря» не редкость. Это очень влиятельный и солидный народ, не в пример заблудящим писарькам других губерний. Таким был и Антоныч, который, кроме своих прямых обязанностей, занимался хлебопашеством, приторговывал при случае и вообще умел сколотить копейку про черный день. Заветною его мечтой было

попасть в земские гласные и в члены управы, чтобы этим *путем* развязаться с деревенской «темнотой». В подтверждение своих мечтаний он любил приводить характерную поговорку: «Бог да город, черт да деревня». Из таких писарей действительно организуются земские силы вторичной формации, и они вертят всеми делами, особенно в маленьких уездах, где некого противопоставить им.

Поп Илья тоже был из тысячных зауральских попов; у него посева достигали до ста десятин, было двадцать лошадей, столько же коров, – одним словом, громадное хозяйство. Но после смерти жены, оставшись одиноким человеком, поп Илья запустил хозяйство и начал сильно запивать. Постепенно все хозяйственное обзаведение перешло к Антонычу, а поп Илья угрюмо шагал по своему дому из угла в угол, как затравленный зверь. Эта история никого не удивляла, точно писарь Антоныч для того и существовал, чтобы перевести за себя все поповское добро

V

Винт в поповском доме продолжался. Выигрывал Василий Васильевич, несмотря на то, что делал постоянно промахи по части выходов, забывал объявленные масти и вообще, выражаясь технически, плел лапти. Его партнер, доктор Атридов, возмущался, стучал кулаком по столу и орал на всю улицу:

– Вы, друг мой, хуже старой бабы... да! Можно подумать, что вы меня подсиживаете с намерением... Это, друг мой, наконец, черт знает что такое!

Старичок становой не выиграл и не проиграл, поэтому все его лицо сияло одною добродушною улыбкой. Развалины закуски на столе, пустые и недопитые бутылки говорили о жарком деле.

– Поп-то терезвый! – удивлялся Вахрушка, выглядывая на игравших из дверей передней.

Я посидел около игравших и отправился спать в сарай, где на сене Вахрушка уже приготовил все необходимое. Мы улеглись спать; Вахрушка, выспавшийся днем, долго ворочался, зевал и точно про себя проговорил:

– Терезвый поп-то, а то он задал бы, телячья голова, хи-хи!.. У него какая повадка, у Ильи-то: пропустил две рюмки, глаза на крове и заходили, а потом этак, молчком, подойдет да хлясь прямо в ухо... Вот такая привычка, телячья голова!.. Сперва-то он меня так удивил: за здорово-живешь так звезданул... А сам молчит. Ну, а уж потом я к нему вполне привык: как он ко мне начнет приближаться, я ему вперед кулак и показываю: «Не подходи, изувечу насмерть!..» Хи-хи... А так смиренный, раздушенный поп, и, кажется, кожу с его сымай, как вот Антоныч его оборудывает. Так, зараза у кого такая, я так полагаю, телячья голова...

– А ты пьяный разве лучше бываешь?

– Я-то? Я умнее делаюсь... Верно тебе говорю! У меня своя повадка: чем больше пью, тем умнее. И хоть с кем хошь могу свободный разговор иметь... Значит, телячья голова, вполне.

– Когда содержимых будут отправлять?

– Завтра утром.

Отрава не выходила у меня из головы: что-то такое непонятное стояло за эту странную старухой, отравлявшей целую «округу»; Откуда она черпала свое дьявольское спокойствие? Тихая летняя ночь не давала ответа... Уже брезжило утро, и расплывавшиеся полосы белого света лезли к нам сквозь щели в крыше. Где-то звонко прокричал первый петух. Ему ответили десятки голосов. Последние петухи выкрикивали где-то, точно в глубине земных недр, – это доносился петушиный голос с другого конца деревни. Собаки перестали лаять. На улице глухо топотали просыпавшиеся овцы. Где-то близко промычала корова. Вся мирная деревенская обстановка вставала в этих звуках живьем, и с нею никак не могло примириться страшное дело, совершившееся всего несколько дней назад. Среди этой ночной тишины как должна была мучиться Отрава, обойденная тенями «стравленных» ею?.. Странно было и то, что отравленные были всё мужики. За ними стояли осиротевшие семьи, дети, пущенные по миру, – и все это за тридцать копеек и десяток яиц. Не было никакой логической связи между причиной и последствиями.

Мне припомнились эти «стравленные»: Пашка Копалухин, другой Пашка, зять Спирьки Косого, потом «обязательный старичок» Ефим, а кузнец Фомка и муж Маланы еще ждут своей очереди. Сами говорят: «Стравит нас тещенька»... И все это так просто, как самое

обыкновенное дело. А между тем Шатуново – самое земледельческое место, удаленное от всяких соблазнов и разлагающих влияний, как город, тракты или ярмарки. Исконное крестьянское население всегда отличается мирными инстинктами, а тут вдруг является какая-то старуха, которая возвела в ремесло отравление односельчан. И ведь живет она в Шатунове не год, не два, а всю жизнь. Все ее видят, каждый знает, что она – Отрава, кричат в голос о каждом случае и указывают на старуху пальцами, а она все-таки живет в своей деревне до семидесяти лет. Что-то такое ни с чем несообразное выплывало из всего уклада крестьянской жизни, становясь вразрез с мирными деревенскими порядками.

Среди царившей кругом мертвой тишины летней ночи доносились изредка возгласы игравших. Собственно, слышался голос одного доктора Атридова:

– Друг мой, это свинство: вы объявили два без козыря, я выхожу с пик...

Временами поднимался общий гвалт, и слышно было, как двигали стульями, поднимаясь для необходимого подкрепления ослабевших сил. Василий Васильевич иногда раскатисто хохотал, старичок становой бунчал, как пойманная за ногу муха, поп Илья безмолвствовал, выдерживая свой трезвенный искус. Это мрачное убивание своего времени ничего общего не имело с тем, что теперь мучительно дремало над всею деревней. Приехали обязанные службой люди, исполнили свой долг и завтра едут, а Шатуново останется со своею скрытою болезнью. Внешнее проявление зла. будет уничтожено, правосудие будет удовлетворено, но все это только скользнет по поверхности, оставив после себя смутный и расплывающийся след.

Утром на другой день я проснулся довольно поздно. Вернее сказать, это было уже не утро, а, по-деревенски, послеобеденное время: двенадцать часов. Вахрушки в сарае не было. В поповском доме стояла тишина. Единственная поповская курица ходила по двору с гордостью «последнего римлянина». Сам поп Илья еще спал, но это не мешало в гостиной на столе отлично вычищенному самовару кипеть с самоотверженным усердием.

– Третий раз доливаю самовар-то, – сообщила мне старушка, заправлявшая хозяйством. – Тот шальган-то... ну, доктор этот... уж

забежал раза два и в окошко палкой стучался.

– Поздно вчера разошлись гости-то?

– А солнышко, видно, взошло.

Пока я умывался, поп Илья успел проснуться и встретил меня у самовара. Он был сегодня особенно мрачен. Пока я пил свой стакан чаю, поп Илья ходил по комнате с сосредоточенностью человека, осужденного на бессрочную каторгу. Разговориться с ним в такую минуту было трудно: да, нет – и весь разговор. Раза два он подходил к окну и заглядывал на улицу, которая в такое время всегда пуста. Теперь не было даже ребятишек и собак.

– Кто у вас вчера выиграл? – спрашиваю я для оживления наших разговоров.

– А так... никто.

– Для чего же играли?

– А так, нужно убить время.

Молчание. Самовар перестает кипеть и только вздыхает, как человек, пробежавший целую станцию. На улице стоит тяжелый зной, от которого попрятались все курицы. Тени никакой. Озеро режет глаза тяжелым блеском полированной стали.

– Жарко! – говорит поп Илья, вытирая вспотевшее лицо платком.

– Страда хорошая.

– Да...

Мой собеседник, оставив стакан, начинает опять мерно шагать из угла в угол с упорством сумасшедшего. В окне показывается голова Вахрушки.

– Чай с сахаром! – приветствует он не без галантности.

– Заходи, гостем будешь, – откликается поп Илья, не переставая шагать.

– Недосуг, телячья голова: сейчас Отраву на окружной суд отправлять будем.

– А тебе-то какая забота?

– Мне?.. А вот пойду и погляжу, как Отраву барыней повезут... Как же, заместо того, чтобы колем ее разорвать, в город везут – добрых людей беспокоить. Образованные люди всё мудрят, телячья голова! Хи-хи... «Анна Парфеновна, признаёте себя виновною?» – «Никах нет, ваше высокородие». Ну, Отрава и выправится. А около волости со всей деревни народ сбежался. Тоже от ума: поглядеть, как

Отрава поедет с Анисьей... Всё пешком ходили, а тут сразу две барыни.

Мне хотелось посмотреть последний акт деревенской драмы. Когда мы с Вахрушкой подходили к волости, там гудела толпа народа. Собрались старый и малый. У крыльца стояла простая телега, заложённая парой. Сотский, с бляхой на груди, вымащивал на облучке какое-то хитрое сиденье. Бабы столпились через дорогу у новой пятистенной избы Ивана Антоныча. Слышались отрывочные восклицания, вздохи и сдержанный шепот. В окне волости несколько раз показывалась голова Ивана Антоныча, вопросительно поглядывавшая через дорогу. Ждали, когда становой кончит завтрак.

– Василь-то Васильевич с дохтуром уехали давно, – сообщал мне Вахрушка. – Напились чаю и угнали, а становой Отраву сам повезет... В честь попала, телячья голова!

Я остался в толпе, чтобы прислушаться к говору собравшихся здесь людей. Мужики сосредоточенно молчали или вполголоса разговаривали о своих хозяйственных делах. Заметно было то общее смущение, которое вызывала Отрава в мужицких головах. Бабы жалели Анисью.

– Тихонькая бабенка какая была, – слышался в толпе голос. – Воды не замутит, а тут вон что стряслось.

– Помутилась бабочка, вот и стряслось, – отвечал другой голос.

– Тише вы, бабы... Эк вас взяло!

Бабы на минуту смолкали, а потом начинался новый шепот. Голова Антоныча появлялась в окне все чаще. Сотский несколько раз влезал на устроенное сиденье, одавлял его и глупо ухмылялся, довольный общим вниманием.

– Тебе бы, Поташ, шпагу надо дать, – острил Вахрушка, принимавший в этих опытах деятельное участие. – Форменнее, телячья голова! С барынями поедешь.

Наконец, в окне писарской избы показалась седая голова станового и сделала соответствующий знак голове Антоныча. Толпа глухо колыхнулась. Сотский нырнул в сени. Показался Пимен Савельич без шапки и с ребенком на руках. Другой ребенок боязливо цеплялся за полу его чекменя. Под конвоем Антоныча вывели Отраву и Анисью. Они шли торопливою походкой и неловко уселись в телеге.

Какая-то бабенка тыкала два узелка под кучерской передок, где торчали ноги сотского. Бабы захныкали.

Голова станового наблюдала происходившую сцену и сделала второй знак.

– Трогай! – крикнул Антоныч кучеру, подбиравшему вожжи.

– Сичас.

Анисья сидела с убитым видом, опустив глаза. Пимен Савельич подтащил к ней ребятишек. По лицу Анисьи пробежала судорожная тень, искривившая помертвевшие губы. Она с какою-то жадностью припала к детским головкам и вся замерла.

– Трогай!

Толпа расступилась, давая дорогу. Отрава поклонилась миру на все четыре стороны, перекрестилась и ничем не выдала своего душевного настроения. Бабы начали причитать. Какой-то звонкий женский голос резко выделился из остальных и тем речитативом, как голоса по покойникам, принялся наговаривать последние бабьи слова. Голова станового подала нетерпеливый знак, и телега с отравительницами тронулась.

По толпе пробежало то судорожное движение, как по тихой застоявшейся воде от первого порыва бури. Оставшиеся ребятишки-сироты ревели, Пимен Савельич стоял на волостном крылечке, по-прежнему без шапки, и крестился.

– Ну, слава богу! – повторял писарь Антоныч, принимая свой обыкновенный степенный вид. – Гора с плеч...

Звякнул колокольчик, и из ворот писарского дома выкатил дорожный экипаж станового...

– Вашему высокоблагородию... – раскланивался Вахрушка, подсакивая к экипажу. – Скатертью дорога...

Колокольчик дрогнул и залился своею бесконечною дорожною болтовней.

VI

Позднею осенью мне пришлось заехать в Шатуново. По первому снегу здесь всегда была такая отличная охота на косачей «с подъезда». Остановился я у писаря Антоныча, которого дома не было, – он уехал

в деревушку Низы со сборщиками податей. Чтобы разыскать Вахрушку, необходимого человека для охоты, я отправился к попу Илье.

Деревенская улица осенью – это сплошная грязь, которая так и застывает. Народ был дома, и везде шла крестьянская домашняя работа «на зиму»: поправляли избы, подвозили дрова, клали печи. Полевые страдные работы кончились, и до зимы можно было управиться с разного домашностью. Одна беднота по первым заморозкам торопилась на молотяги, чтобы взять новину. Справные мужики ждали, когда «станет» озеро Кекур, чтобы обмолотиться прямо на льду. Попа Илью я застал дома. Едва я успел отворить ворота, как наткнулся на самого хозяина, который в обществе Вахрушки, с поленом в руках, гонялся за своею последнею курицей.

– У, каторжная!.. – ревел Вахрушка, стараясь обежать удиравшую от него курицу. – Отец Илья, валяй её по ногам... Ах, телячья голова, опять ушла!..

Оба были пьяны настолько, что даже не могли стесняться состоянием своей невменяемости. Лицо у попа Ильи распухло, волосы были включены, костюм в беспорядке, и вообще он имел вид «разрешившего человека». По некоторым данным можно было заключить, что запой продолжался не меньше двух недель. Когда курица окончательно скрылась, Вахрушка обругал ее вдогонку, плюнул и, подходя ко мне, проговорил:

– Сорвало!

– Что сорвало? – спросил я, не понимая этого слова..

– А вот нас с попом Ильей сорвало... Третью неделю чертим, телячья голова.

Поп Илья стоял, опустив голову, – он был просто жалок, когда первая буйная половина болезни сменялась угнетенным состоянием. Теперь он находился именно в такой полосе и, кажется, плохо сознавал, что происходило кругом него... Вахрушка всегда ждал поповского запоя, как праздника, и водворялся в поповском доме, как у себя. Пил он вместе с хозяином, но водка на него не действовала: на время его вышибало из ума, а потом оставался только полугар, и Вахрушка переживал блаженное настроение. Мужичье железное здоровье сказывалось в этом случае самым осязательным образом.

– Отец Илья, пойдем в избу, – приглашал Вахрушка, подхватывая хозяина под руку. – Мы курицу завтра изловим, телячья голова, а в избе можно и прилечь... В ногах правды нет, телячья голова.

По пути Вахрушка успел подмигнуть мне и льстиво уговорил попа Илью идти в горницы. Тот повиновался, не рассуждая, и только время от времени сжимал свои отекавшие кулаки.

– Того гляди, хлобыснет по морде, – объяснял Вахрушка, проводя больного в сени. – Не успеешь оглянуться, как прилепит, – такая уж зараза. Ведь разговаривает, телячья голова, как следует быть человеку разговаривает, а тут как развернется... Я этих поповских блинов достаточно наелся-таки! Сыт... И. тоже другая зараза: беспременно экономку свою колотить. Как увидел, сейчас, чем попадая, и благословит, а потом сам же и заплачет... Вот он какой, поп-то Илья: ходи да оглядывайся... А душа в ем, телячья голова, предобреющая и ума палата... Недели по две разговоры эти самые разговариваем.

При помощи разных военных хитростей Вахрушке удалось заманить попа Илью в спальню и уложить в постель. Через четверть часа он уже храпел, как зарезанный.

– Как ведерный самовар за жаривает... – ухмылялся Вахрушка, показывая головой на спальню. – А вы насчет косачей?

– Да.

– Оно теперь самое способное время, только вот поп будто связал меня по рукам и ногам...

– Как знаешь, я и один съезжу.

– А вы по заозеру возьмите... От Юлаевой к Низам пойдут островки: тут, как ворон, этих косачей! Многие господа любопытствуют: Василь Василич недавно приезжал, так пострелял, становой...

Было уже поздно, и я отправился на квартиру к Антонычу. Писарь только что вернулся из своей поездки и, видимо, дожидался меня за кипевшим самоваром.

– Проведывать ходили нашего батюшку? – спрашивал он, здороваясь со мной. – Очень ослабли... Сельчане-то жалуются, а тоже надо рассудить и по человечеству: живой человек-с. Сидит-сидит, как медведь в берлоге, – ну и разрешит... Много их таких-то вдовых попов, а я всегда говорю мужикам: вы не смотрите на его слабость, а

на священство. Да-с. Мы в нем должны нашего пастыря уважать, а не вино. Другой и трезвый, а... Не прикажете ли ромцу?

На огонек подошел фельдшер Герасимов и скромно поместился в уголок. Говорили о последних деревенских новостях, о разных городских знакомых, об урожае, о чуме в соседнем уезде и тому подобном, о чем разговаривают в таких случаях. В окна уже глядела темная осенняя ночь, самовар пускал тоскливые ноты, стаканы с чаем стыли на столе. Стук в окно заставил всех невольно вздрогнуть: это был Вахрушка.

– Эк тебя взяло, полуночника! – выругался Антоныч, дергая за шнурок от затвора калитки.

– А я вот к барину, – борхмотал Вахрушка, появляясь в дверях. – Значит, телячья голова, насчет косачей... не могу я оставить попа. Чуть вывернется из избы, а уж сейчас и гребтится, – как бы чего он не сделал над собой... Неровен час!

– Мы уж уговорились, – отвечал я. – Я один поеду завтра.

– Вахрамей, посмотри ты на себя, в каком ты образе? – усовещивал гостя Антоныч и внушительно качал головой.

– В настоящем своем виде, Иван Антоныч, потому как я от вина только умнее делаюсь... Другой дурит, а у меня в башке настоящая музыка играет.

– Око и видно, что музыкант.

Зачем приплелся Вахрушка, трудно было сказать. Пьян он был в надлежащую меру, об охоте разговоры кончились, а Вахрушка все переминался с ноги на ногу. Антоныч искоса поглядывал на непрошеного гостя и только морщился. В другое время он без разговоров выпроводил бы его в шею, а теперь ему просто было Лень. А Вахрушка все стоял и ухмылялся.

– Ты бы шел лучше домой, – заметил фельдшер.

– Я... домой? – озлился Вахрушка. – Я знаю, когда мне домой идти... Может, я разговаривать пришел, телячья голова!

– Ну, и разговаривай.

– Потому как я в полном уме сейчас... да! Повернувшись ко мне, Вахрушка с вызывающим видом проговорил:

– А вы знаете, господин, как с Отравой на окружном суде поступили?

– Нет, не знаю.

– Так-с... И с Анисьей тоже?

– Тоже не знаю.

Антоныч сделал нетерпеливое движение, но Вахрушка его предупредил:

– Уйду, сейчас уйду, Иван Антоныч... Дай слово вымолвить: в каторгу услали обеих, сударь! Вот оно какое дело-то!

– Что же, ты доволен?

– Я-то?.. Про меня и собаки не брешают... А вот как вы, сударь, полагаете насчет этого самого случая? Вот это самое...

Признаться сказать, этот вопрос меня смутил, и я не нашелся ничего ответить. В самом деле, как судить уже осужденных, тем более что многое в этой истории для меня лично оставалось темным?

– Вот то-то и есть, – торжествовал Вахрушка, выкручиваясь из своего неловкого положения. – Оно и так можно рассудить и этак можно. Теперь нужно так взять: ушла Отрава в каторгу и Анисью с собой прихватила, а кому от этого от самого стало легче?.. Ошибочку большую тогда эта Анисья сделала, телячья голова!.. Не умела концов схоронить, да и подвела Отраву под обух, а теперь нашим бабенкам и ущититься нечем.

– Перестань ты, Вахрушка, молоть! – оговаривал его Иван Антоныч, разлаживая бородку. – Тогда что ты говорил, непутящая голова? «Кольем исколоть Отраву!» – кричал по всему селу... Всех науськивал да смутьянил.

– Я не отпираюсь: было дело, телячья голова!.. Ведь я мужик и по своей линии говорил, а теперь насчет баб разговор – это опять своя линия. Да!.. Вы, сударь, послушайте, что я вам скажу от своего-то ума. Дуры эти бабы, вот первое дело... Им бы зубами за Отраву надо держаться, потому защита ихняя была. У нас как теперь баб увечат, одна страсть... Того же взять Пашку Котгалухина: возьмет жену за ноги и подтянет к потолку, а сам ее – по спине вожжами, пока из сил не выбьется... Все суседи сбегутся смотреть, как она вся синяя висит, а Пашка в окошко кричит: «Моя жена, на мелкие части изрежу». А другой Пашка, значит, зять Спирьки Косого, свою жену все на муравейник водил, так на обродке, как козу, и волокет в лес, а там разденет донага, вобьет в муравьище кол, свяжет ей руки назад, посадит голую на муравьище, да к колу руки и привяжет. Цельную ночь иной раз на муравьище-то сердечная корчится, ревет благим

матом, а никто ослобонить не смеет, потому как Пашка-то тут же, около нее, на траве лежит и на гармонике играет. Тоже вот обязательный был старичок Ефим... Он двух жен в гроб заколотил, женился на третьей, на молоденькой, и над ней свой характер стал оказывать. Ефим-то возьмет жену да и стреножит: левую ногу с правой рукой свяжет ремнем, да так неделю и держит, а ежели она натает жалиться, он ее шилом в самое живое место или по толченому стеклу учнет водить. Было это, Иван Антоныч?

– Перестань ты, Вахрамей... Мало ли зверства по деревням темнота ваша делает!

– А я к чему речь-то веду, телячья голова?

– Ты лучше про себя расскажи, как свою жену увечил.

– Было и мое дело, не отпираюсь... Иногда пьяный и поучишь, на то она и баба. Где же мое-то начальство? Надо мной и становой и старшина куражатся, надо и мне сорвать сердце, Это точно, бивал Евлаху...

– Да ведь умеючи надо бить, малиновая голова, а то ухватит полено и давай обихаживать им жену по чем попадя.

– Постой, постой, дай ты мне, телячья голова, речь-то кончить! Я насчет баб все... У Отравы три мужа было, и зверь к зверю: один косу оторвал вместе с мясом, другой поленом руку ей перешиб, третий кипятком в бане хотел сварить. Это как по-вашему? Тоже у дочери у ейной, у Таньки: первый ребро Таньке выломал, второй скулу своротил... Взять опять Анисью, дочь, значит, Пимена Савельича, чего она натерпелась от мужа-то?.. Вышла она из богатого дома за голяка, потому как была по девичьему делу с изьяном... Он, муж-от, в первый же раз, как повели молодых в баню, ногами ее истоптал, а потом уж совсем озверел. Истряслась бабенка... Так оно и пошло у них наперекосях: мимо муж-то не пройдет, чтобы зуботычины не дать, при всем народе много раз за косы по улице таскал; а потом уехали на покос, у ней уж терпенья не стало. Все бабенки-то, которым не вмоготу, завсегда к Отраве шли, а та средство свое представит и всему научит. Ну, мужикам все же опаска... Моя-то Евлаха тоже ведь стравить меня этак же хотела. Резьба тогда в брюху у меня такая пошла, што хуже смерти: точно траву стали косить в нутре... Тогда вот я и говорю, телячья голова, про Отраву-то: большую неустойку

показали бабенки-то наши. Теперь уж совсем нечем им будет ущититься супротив мужьев!..

– Что же, правда так правда, – заметил Иван Антоныч, когда Вахрушка ушел. – Зверства этого вполне достаточно... Мужики зверствуют, а бабы травят – это по всем деревням так,

– И в каждой большой деревне своя Отрава есть, – прибавил фельдшер из своего угла. – Мне постоянно приходится отваживаться с отравленными... А между прочим, до свидания, Иван Антоныч. Пора спать, видно.

– И то пора... Ох-хо-хо!.. Согрешили мы, грешные...

Деревня давно спала мертвым сном, и только кое-где тишина нарушалась собачьим лаем.

Гора, на которой мы остановились с Шапкиным, называлась Чертова Почта. Нельзя не сознаться, что это именно название как нельзя больше шло к ней. Представьте себе довольно крутую гору с несколькими лысыми по бокам; по самой широкой из лысин, начиная с утесистой вершины, тянулись совершенно параллельно две полосы точно нарочно рассыпанных камней. Очевидно, что эти камни когда-то отвалились от каменного гребня на вершине горы, а потом были сдвинуты вниз снегами, или даже, может быть, когда-нибудь существовал здесь ледник, оставивший на своем пути ряды морен. Издали, особенно если смотреть на Чертову Почту снизу, глазу представляется совершенно правильная широкая дорога, установленная по бокам довольно крупными валунами, – вот потому-то уральские охотники и называли ее «Чертовой Почтой».

– Прямо чертова почта, – объяснял Шапкин, усаживаясь на один из валунов. – Вот какие чемоданы да котомки *он* пятил на гору-то, а потом спяну и разбросал по сторонам...

– Непременно пьяный? – спросил я.

– А то как же?.. *Он* хоть и черт, а тоже не без ума... Заставь-ка *его* трезвого-то этакую страсть камня наворотить. По-вашему, поученому-то, может, это и смешно, а мы даже очень донимаем все *его* штуки.

Шапкин, как все настоящие охотники и игроки, был очень суеверен, притом он до известной степени был поэт в душе и облакал жизнь природы в самые таинственные формы.

– Послушайте, Лука Агафоныч, а ведь нам не дойти засветло до Ломовиков, – проговорил я. – Вон солнце уж на закате, а идти верст семнадцать будет.

– Дойти-то дошли бы, да вон там шапка плывет... – раздумчиво заметил он, указывая головой на северо-восточную сторону неба, где круглилась и росла темная грозовая туча, точно вырвавшийся из какого-то гигантского орудия громадный клуб черного дыма. – Гроза будет страшная...

– Что же делать?

– А тут есть балаган, под Вострякам, там можно заночевать, если хотите.

Грозовая туча росла с поразительной быстротою, как это бывает иногда в горах, и ничего не оставалось, как только согласиться на предложение опытного старого охотника, знавшего местность, как свои пять пальцев. Идти под проливным дождем верст пятнадцать было бы плохим удовольствием.

– Вот спустимся по Чертовой Почте, перекошим ложок и как раз упремся в балаган, – объяснил Шапкин, вскидывая на плечо свою тяжелую старинную двустволку. – И откуда, подумаешь, туче было взяться... эх ее раздувает!..

Когда мы начинали спускаться с горы, вдали глухо гукнул первый удар грома, как будто он прокатился под землей. Все кругом как-то разом стихло и замерло, точно в природе разыгрывалась одна из тяжелых семейных драм, когда все боится со страхудохнуть. Солнце быстро клонилось к западу, погружаясь в целое море кровавого золота; по траве от легкого ветерка точно пробегала судорожная дрожь, заставлявшая кусты жимолости и малины долго шептаться. Там, далеко внизу, тени быстро росли и сгущались в ту вечернюю мглу, которая залегает по логом сплошной массой; бурый ельник, который отделял Чертову Почту от Востряка, с каждым шагом вперед вырастал и превращался в темную зубчатую стену. Место было дикое, но именно теперь, когда с одной стороны горело зарево заката, а с другой – темной глыбой надвигалась гроза, оно делалось красивым своей дикой поэзией. Вся эта жалкая северная природа точнодохнула всей грудью, и то, что не имело смысла, взятое отдельно, получило особенное значение в общем: все эти разбросанные по сторонам камни, топорщившиеся в траве кусты и кустики, точно выросшие внезапно силуэты отдельных елей и пихт, – все слилось в одну великолепную гармоническую картину, которой нельзя было не залюбоваться.

– Вон как на Талой дождь запластывает, – проговорил Шапкин, когда мы совсем уж спустились с Чертовой Почты. – Прямо на нас так и катит!..

Гора Талая, до самой вершины заросшая молодым сосняком, вся точно вспыхивала при каждом! громовом всполохе, и можно было отчетливо рассмотреть даже отдельные ветви деревьев, вырезывавшиеся на светлом фоне. Туча выползала с левой стороны Талой и пустила вперед себя мутную косую полосу дождя, которая тянулась на нас, точно тучу задерживала какая-то невидимая рука громадной парусиной. А там, на западе, блестело последним светом закатывавшееся солнце, обливая розовым огнем верхушки леса и скалистые гребни гор. Это была настоящая борьба света и мглы, сопровождавшаяся оглушительной канонадой. Гора Востряк, торчавшая своей одинокой верхушкой, как громадный зуб, была в двух шагах, и *мы* скоро зашагали по громадному ельнику, где было уже совсем темно. Брести по такому лесу, особенно вечером, даже привычному охотнику всегда как-то жутко; вас охватывает мертвая тишина, сырой воздух давит грудь, начинает казаться, что никогда из этой трущобы не выбраться, и невольно прислушиваешься к шуму собственных шагов, который теряется в мягком желтом мхе. Именно в таком ельнике и «блзнит» непривычному человеку, который начинает бояться собственной тени и со страхом пробирается вперед через лесную чащу, валежник и папоротники. Глухо, неприятно кругом, точно над головой нет больше неба, а тьма ползет на вас со всех сторон и начинает медленно давить.

Я всегда любил смотреть, как Шапкин ходил в таком лесу. Дело в том, что простой охотник-любитель идет всегда дуром, как попало, в крайнем случае только по известному направлению, а «охотник по преимуществу» идет с расчетом! и очень редко прямо – он выбирает каждый шаг и делает его уверенно. Резкой особенностью такого охотника служит то, что как он зашел в лес, так и пропал – вы идете с ним чуть не рядом и все-таки его не видите. Эта манера на всякий случай идти под прикрытием всего лучше характеризует настоящих охотников, и Шапкин именно ходил так... вошел в лес – точно сквозь землю провалился; десять раз пройдешь мимо него и не заметишь, что он стоит где-нибудь за стволом дерева или «притулился» за кустиком. Появлялся Шапкин тоже как-то совсем неожиданно и уж не с той

стороны, где вы его предполагаете, притом! ходил всегда совершенно неслышным шагом. Не в лесу он без передышки делал по тридцати верст медленным, развалистым шагом, точно хорошо заведенная машина. Глядя на его нескладную фигуру, с несоразмерно длинным туловищем и короткими вывороченными ногами, никто не подумал бы, что этот медведь – записной ходок. И теперь я едва успевал следовать за ним, хотя Шапкин шел самым обыкновенным шагом и даже останавливался иногда. Таким образом, мы перекосили ельник в каких-нибудь полчаса, и когда почва пошла заметно в гору и деревья начали редеть, кругом было уже совершенно темно, и только впереди белесоватым пятном выделялся какой-то просвет. Это была, как оказалось, глубокая лесная прогалина, где и стоял искомый балаган.

– Вот мы и дома, – провозгласил Шапкин, подставляя руку под редко падавшие первые капли дождя. – Только-только успели выбраться...

По-надвигавшемуся глухому шуму со стороны Талой можно было заключить, что гудел настоящий ливень, какие бывают на Урале только в июле, когда по ночам играют так называемые «зарники», или зарницы, по великороссийскому говору, то есть при совершенно чистом, безоблачном небе вспыхивают на горизонте красные огни, точно далекая молния, хотя последняя никогда красной не бывает. Балаган стоял на опушке смешанного леса, под прикрытием нескольких очень высоких лиственниц, высоко поднимавшихся своими широковетвистыми вершинами над шелестевшими под ними осинником, березами и мелкой еловой зарослью. Такой смешанный лес никогда не бывает на матерых нетронутых местах, а толчется непременно около жилья или по лесным порубьям и чрезвычайно напоминает собой каких-то лесных разночинцев. Господствующие лесные насаждения на Урале – это хвойные леса: ель, сосна, пихта, кедр, а лиственные породы жмутся только по лесным опушкам и главным образом около воды, причем замечательно то, что большинство этих лиственных пород – пришлецы из средней России и на Урале появились сравнительно недавно, именно двести – триста лет назад, когда русские поселенцы принялись «сводить» уральские леса. Колонизация новых лесных пород шла за человеком шаг за шагом, преимущественно речными долинами, где вместе с русскими поселенцами осела далекая российская гостья, береза, и ее младшая

сестра – липа. Собственно, в Сибири береза была неизвестна, и среди инородческого населения сложилась легенда, что вместе с этим! «белым деревом» идет и власть «белого царя».

– Скиток раскольничий здесь когда-то стоял, – объяснил Шапкин, останавливаясь перед балаганом, – потому здесь очень превосходный ключик есть в овражке, точно слеза сочится... Мед, а не вода.

Балаган, стороженный из толстых листовенных плах, походил на верховой погреб, обложенный дерном, только здесь сверху просто была насыпана земля и потом уже она обросла травой и даже березками. Мимо него можно было пройти в десяти шагах и не заметить. Таких балаганов по широкому приволью Уральских гор раскидано множество, потому что в них ютятся от непогоды и охотники, и бродяги, и артели ягодников, и раскольничьи старцы, и лесообъездчики. Зимой, когда олень уводит охотника на лыжах верст за двадцать, такой балаган единственное спасение. Внутреннее устройство балаганов везде одинаково: сейчас у двери очаг из камней, большею частью без трубы, задняя половина занята широким помостом – и только. Если хорошенько натопить очаг, – то в балагане делается жарко, как в бане, но неудобно то, что во время топки балаган весь наполняется дымом, как топятся все курные избы, а потом, когда отверстие на крыше, заменяющее трубу, заткнуть дерном или травой, в балагане долго стоит тяжелый угар. Но охотнику все это не в диковинку, и он только кряхтит от удовольствия, обливаясь потом на полатах; дым и угар в счет нейдут, потому что, плавное, было бы тепло и чтобы жгло уши жаром.

Пока я старался развести огонь на очаге из старых головешек, стружек и хвои, Шапкин принес целую охапку сухарника и «медовой» воды в «медном чайнике. Через четверть часа, когда над нашими головами разразилась гроза и лес точно застонал от раскатов грома, у нас в балагане весело горел огонек и быстро наливалась живительная теплота.

– Слава тебе, господи! – крестился Шапкин каждый раз, когда отворенная дверь балагана вспыхивала ослепительным пламенем занимавшейся молнии. – Вот это превосходно... ишь как молонья разыгралась!

– Чего превосходно-то?

– А гроза? Куда бы мы без грозы-то поспели... Все у нас от грозы: и хлеб спеет, и трава доходит, и цветы. Посмотри-ка, как завтра все засмеется кругом: настоящий праздник будет...

– Это от дождя, а не от молоньи.

– Ну уж извините... Ох, где-то дерево расщепало молоньей – слышите?

Среди разгулявшихся звуков трудно было различить треск разбитого молнией дерева, но в этом случае я вполне полагался на Шапкина, потому что он, как музыкант, различал отчетливо в хаосе звуков каждую отдельную ноту. Я, собственно, любовался всполохами яркого света, который на мгновение открывал вид и на Чертову Почту и на Талую, точно отдергивался какой-то занавес и на громадном светлом экране вспыхивала целая горная панорама, резавшая глаз отчетливостью своих деталей. Ливень каждый раз прекращался перед особенно страшными ударами молнии, чтобы потом! забушевать с новой силой, как будто где-то открывался гигантский душ и вода бросалась сплошною струей.

– Всем. бы хорошо, – задумчиво говорил Шапкин, подкладывая новое полено в огонь, – да только я вот Агничке не сказался, что, может, заночую в лесу... ждате будет; беспокойная она у меня.

II

В числе наших охотничьих трофеев было два рябчика и линялый косач, которые и были назначены на ужин. Пока кипел чайник, Шапкин ошипал дичь; рябчиков, не выпотрошив, за вернул в широкие листья какой-то травы и в этом виде закопал в горячую золу, а косача оставил на похлебку.

– У него, у подлеца, мясо теперь, как подошва, – объяснил Шапкин, взвешивая ошипанного косача на руке. – Он на варево только и годится, а рябчики в самом соку. Супротив наших уральских рябчиков нигде не сыскать: первый сорт, потому он теперь сидит на землянике, а наша-то земляника тоже известная ягода – с огнем поискать. Когда мы с покойником Аса-фом Иванычем на охоту ездили, так уж очень он любил, чтобы этих рябчиков земляникой начинять и рому прибавлять, а только я этого не уважаю.

– Это Ведерников, Асаф-то Иваныч?

– Он самый... Страшный охотник был – хлебом не корми, а только в лес пусти. У Асафа-то Иваныча повар испанец был, собственно, еще у его матушки, у самой старухи Ведерничихи... Характерная была покойница и любила покушать чистенько. Может, слышали? Коренная столбовая дворянка была, не чета нынешним-то, и содержала себя весьма неприступно. Ну так я у этого повара-испанца и наблошнился разной стряпне, так что Асаф-то Иваныч по этому случаю без меня никуда на охоту не ходил. Ох, лют был на всякого зверя ходить... Да что говорить, сам был хуже всякого зверя: рука, как двухпудовая гиря – тройку на всем скаку останавливал, жеребцов одним ударом с ног валил... Вот и я, нечего бога гневить, не обижен силенкой, а супротив Асафа Иваныча вроде как воробей какой или комар. Разгуляется, бывало, Асаф-то Иваныч в теплом местечке и начнет удивлять: двугривенные двумя пальцами сгибал... Могутный был человек. Одних медведей сколько поднял на рогатину, а больше всего любил на лося зимой ходить... Это ведь самая душевредная охота, потому верст тридцать иной раз за зверем на лыжах надо пробежать. Тут уж одному ничего не поделаться, а непременно надо вдвоем или втроем. Мы вдвоем! хаживали, когда глубокий снег падет и зверя выследят. Асаф-то Иваныч дня три перед охотой не пьет, чтобы на ногу легче быть, ну потом и орудует. Ведь это какая охота: найдем след сохатого и жарим по следу на лыжах, Асаф Иваныч впереди, а я за ним. Как настигли зверя, и пошла потеха... Подумайте то одно, что этакую махину, как сохач, надо на бегу замаять. Пробежит Асаф Иваныч верст пять за зверем – верхнюю шубу долой, а я сзади ее поднимаю. Ну, натурально, отстанешь и только уж по следу за ним торопишься. Глядишь, верст через пять нижний бешмет валяется на полу, потом! шарф, даже шапку бросит, потому разгорится человек на бегу до смерти и никакого холоду не чувствует. Бывало так, что Асаф-то Иваныч и ружье бросит и с одним ножом гонится, и уж непременно положит зверя. Раз этак-то замаял он сохача, выбил его из сил, ну, зарезал, а я с одежей-то едва через полтора часа добежал к нему. Он в одной рубашке сидит на сохатом, и пар от него валит, как от пристяжной лошади. Железный был человек, а пропал от своего характера: водочка да девушки унесли веку,» без ног сделался на сороковом году, а ведь здоровья на полтора года было...

К числу похвальных душевных качеств Шапкина, между прочим, принадлежала скромность, так что он, в вящее возвеличение Асафа Иваныча, от чистого сердца превращал себя в воробья, хотя и не имел ничего общего с этой вульгарной и бессильной птицей. Достаточно было взглянуть на необъятную сутулую спину Шапкина, на его длинные руки, какую-то необыкновенную четырехугольную шею, чтобы убедиться в его громадной силе, и действительно, он в свои под шестьдесят лет кулаком забивал двухвершковые гвозди в стену и поднимал за передние ноги стоялых жеребцов. И лицо у него было самое подходящее к фигуре: глубоко! посаженные маленькие серые глазки, развитые надбровные дуги, высунувшиеся скулы, большая нижняя челюсть, едва тронутая жиденькою растительностью песочного цвета, и ни одного седого волоска в светлорусых волосах. Говорил Шапкин неопределенным жиденьким голоском, как иногда говорят люди очень большого калибра, и улыбался добродушной, немного плуповатой улыбкой, от которой все лицо у него точно светлело. Дома он одевался на господскую руку – в длинный оюртук и крахмальные рубахи, а на охоту являлся в какой-то мудреной кожаной куртке, купленной где-то по случаю с барского плеча. Теперь он сидел перед огоньком в охотничьих ботфортах и в одной ситцевой рубашке, с обношенным и полинявшим от долгого употребления воротом, который так и врезывался в его загорелую могучую шею.

Я любил слушать бесконечные рассказы Шапкина о разных «случаях», которыми обильно пересыпана была вся его жизнь; вернее сказать, эта жизнь представляла одну сплошную цепь таких случаев, потому что жил он, как птица, изо дня в день. Любимой его темой были воспоминания о фамилии Ведерниковых, потому что Шапкин вырос под крылышком этой столбовой дворянской семьи в качестве простого дворового человека. Для меня лично Шапкин представлял особенный интерес именно с этой стороны, как обломок крепостного режима. Здесь необходимо оговориться. Урал, как и вся Сибирь, в сословном отношении делится только на крестьян, промышленников, купцов и чиновников – помещичий элемент здесь отсутствует, так что ни Урал, ни Сибирь не знали крепостного права в тесном значении этого слова. Уральское горнозаводское население было только приписано к заводам и находилось в совершенно исключительных условиях. Но в смутную эпоху дворцовых переворотов XVIII века на

Урал, собственно в Зауралье, было заброшено несколько помещичьих семей, владения которых являлись крошечными островками на необъятном море остальных заводских и казенных земель и не имели никакого самостоятельного значения, как вообще дворянский помещичий элемент; в настоящее же время эти помещичьи земли или перешли в руки кулаков, или пустуют, а их владельцы давно разорились или вымерли. Странные были эти помещичьи семьи, замешавшиеся в среду сибирского населения, как морская рыба, которая по ошибке попала в реку, а из них особенно выдавалась фамилия Ведерниковых, особенно старуха «Ведерничиха», мать Асафа Иваныча.

– Ох, было-таки пожито, – с тяжелым вздохом рассказывал Шапкин. – Когда жива была сама Ведерничиха, так у нас в Карабаше сплошное Христово воскресенье стояло... да!.. Село простое было Карабаш, а какая усадьба – дворец. Конечно, теперь головешки одни остались, сгорела усадьба-то, да и Ведерниковых, почитай, никого не осталось... Ндравная была старушка и такой порядок завела: над воротами наладила вышку, вроде как башня, а на вышке постоянно особенный сторож ходил, чтобы докладывал барыне, кто по дороге мимо едет. Тракт в версте проходил... Ну, доложат примерно, что тройка бежит, сейчас верховых, и тройку заворачивают на двор – лошадей в конюшню, кучеру водки, колеса долой, а гостей в усадьбу. Выживи три дня и ступай себе с богом. Раз как-то благочинный попался, на следствие ехал, дело спешное, а старуха его не пускает – выжил он таким манером положенные три дня, а потом потихоньку пешком и ушел на почтовую станцию за семнадцать верст. На моих памятях было все...

После «воли» Шапкин очутился на улице, как большинство дворовых, и поселился в уездном городе Загорье, где в течение двадцатилетних мытарств успел сколотить себе домишко, в котором теперь и проживал «своими средствами». Правда, благоприобретенное жильё было немного лучше балагана под Востряком и только что не кричало, что развалится каждую минуту, если его не подопрут колыями со всех четырех углов; но все-таки у Шапкина был свой угол, а это было залогом полной самостоятельности. Очутившись на воле, Шапкин перепробовал всевозможные профессии. Служил на Чусовском караване, искал

золото, настраивал фортепьяна, устраивал ночлежный дом, даже сеял репу, – но все эти профессии ничего, кроме убытков, не давали, и Шапкин под конец остановился на театре, к которому прилепился всеми силами души и тела. Заветной его мечтой, правда, всегда было попасть в горное загорское правление, к так называемому «золотому столу», где наживали во время оно «большие тысячи», но эта мечта так и осталась мечтой, да и времена переменялись: блаженные дни сидевших за «золотым столом» миновали... В театре Шапкин не имел определенного занятия и не получал никакого определенного жалованья, а служил *так*, как и жил: при случае, когда заболел кассир, продавал билеты, при случае мазал декорации, при случае «играл» на турецком барабане в оркестре, при случае изображал «народ» и т. д. Только одного он никогда не делал – не играл на сцене, потому что, как говорил сам, у него был плохой «резонанс», то есть произношение, а в сущности – Шапкин просто трусил, потому что был вообще совестливый и скромный человек. Эти «занятия театром» для него имели еще то преимущество, что делали лето совершенно свободным, а это для его поэтической души было дороже всего.

– Конечно, у «золотого стола» служить весьма превосходно, без красненькой домой не придешь, – говорил Шапкин в припадке откровенности, – а все-таки чиновник, как цепная собака, а я вольный казак... Хочу – за дупелями пойду летом-то, хочу – за утками, – сам большой, сам маленький. А к зиме подвоят актеры, работы по горло.

Кроме специально театральных дел, Шапкин всегда исполнял разные поручения своих бесчисленных знакомых: одна знакомая барыня просила достать непременно белую козлуху, там квартира понадобилась кому-то, дальше подыскивали охотника на иноходца и так далее, без конца. Вообще до чужих дел Шапкин был великий охотник и из-за них позабывал о себе. Такими людьми на Руси хоть пруд пруди, и, как кажется, это одна из наших национальных особенностей. Чем существовал Шапкин, какие у него были средства – являлось неразрешимой загадкой, вроде квадратуры круга, но он существовал и, мало того, всегда находился в самом ровном и благодушном настроении духа.

– Помилуйте, да о чем горевать-то? – удивлялся Шапкин. – Одному-то персоналу много ли нужно: зимой театр, летом вот дупельки, рябчики... Нам добра не изжить!..

Занятия «театром» давали Шапкину самые жалкие нищенские гроши, но для него важна была не материальная сторона дела, а сознание, что и он работает, что и у него есть совершенно определенная профессия, что и он, наконец, может болеть и радоваться в определенном направлении, как органическая часть живого целого. Новые декорации, новая пьеса, новый талант провинциальных подмостков – все это приводило его в неподдельный, немного детский восторг, как плохие сборы и разные специально театральные неудачи лишали его сна и аппетита. Провинциальный театральный мирок, полный вечного разделения, интриг и закулисных каверз, являлся для Шапкина постоянной заботой, потому что нужно поддержать такого-то актера, сбить спеси зазнавшейся, капризничавшей примадонне, провести на хорошую роль начинающий талант, поощрить подарочком искреннее служение музам – словом, работа без конца и, главное, совершенно добровольная работа, которой никто не хотел замечать, а тем более ценить. Другой на месте Шапкина давно плюнул бы на все, но он служил делу, а не лицам, и в этом, может быть, заключалась тайна его философского благодушия. Провинциальные труппы вообще набираются с борку да с сосенки и потому вечно грозят моментальным распадением из-за ничтожнейших пустяков; в таких критических обстоятельствах Шапкин бегал и суетился, как бегают крысы на корабле, давшем течь и готовом пойти ко дну.

– В третьем году актриса Размаринова из-за трека чуть всю обедню не испортила, – повествовал Шапкин с наивным трагизмом. – Треко-то в одном месте немного поотцвело, а ей нужно было Периколау играть... нет, не Периколау, а Маргариту в «Маленьком Фаусте», ну и подняла содом. Так ведь едва уломали... И вся-то ей цена – расколотый грош, а уж умела угодить публике, потому ноги у ней были антик. На Ирбитской ярмарке купцы в неистовство чувств приходили от ее ног и на себе на квартиру каждый вечер из театру ее возили. Ноги для настоящей актрисы первое дело, на них корсета не наденешь...

Нужно заметить, что Шапкин не брал капли вина в рот, не курил и вообще был самый воздержный человек, хотя и не без некоторых слабостей. Так, он не мог никогда удержаться, чтобы не приврать малую толику, когда разговор заходил об охоте, потому что очень уж

любил все необыкновенное. Впрочем! всем записным охотникам, как известно, присуща эта маленькая слабость Раз как-то на охотничьей стоянке разговор зашел о джигитовке. Народ собрался все бывалый: кто рассказывал о джигитовке донских казаков, кто о черкесах, кто о текинцах. Шапкин слушал все внимательно и, когда все рассказы истощились, добавил следующее:

– Что же, это невелика еще хитрость – с лошади шапками рубли поднимать или на ногах в седле скакать, а вот со мной случай был... Как-то в оренбургской степи была джигитовка – вот это так джигитовка, могу сказать!.. У дороги поставили кадуюшку ведер в шесть, налили ее молоком и бросили в кадуюшку двугривенный. Ну казачок на всем скаку чубурах головой в кадуюшку, схватил двугривенный зубами и валяй дальше... Простые оренбургские казачишки орудовали!..

III

Итак, мы сидели в балагане; ливень продолжал еще идти, но буря уже миновала, и только изредка раздавался в горах оглушительный громовой раскат, точно отстреливался неприятель, отступавший в беспорядке. Приятно было именно в такую погоду сидеть у весело потрескивавшего огонька, освещавшего неказистую обстановку балагана какими-то взрывами: полоса света то выхватит гнилой угол, разрисованный зеленоватою плесенью, то прокопченный дымом бревенчатый потолок, то залянет под полати, где валяется всякий сор – остатки натащенного сюда охотниками сена, суковатое полено, изношенный лапоть, обрывок гнилой веревки. За приятными разговорами мы выпили целых два чайника, а потом принялись за изжарившихся рябчиков, которые оказались, конечно, превосходными, как верх доступного человеку кулинарного искусства.

– А вы слышали, как сибирские купцы живых осетров с собой возят? – спросил Шапкин, вслух продолжая нить своих мыслей. – Очень просто: возьмут такого живого осетра, завернут в оленью доху и положат с собой, а как приехали на станцию – сейчас ему в пасть стакан водки, и опять дальше Так его можно везти ден пять...

Этот неожиданный осетр явился, вероятно, в pendant^[42] к изжаренным рябчикам. Люди, которые долго остаются с глазу на глаз, часто ведут такой отрывочный и, по-видимому, бессвязный разговор – каждый настолько занят нитью собственных размышлений, что совершенно не замечает бессвязности своего вопроса. В ответ на осетра, глядя, как Шапкин уплетает удивительно зажаренного рябчика, я неожиданно для самого себя спросил его:

– Скажите, пожалуйста, Лука Агафоныч, вы когда-нибудь были больны?

– Я-с... То есть настоящей болезни, пожалуй, не бывало, бог милоЕал, а так случай один вышел... И захворал бы, непременно захворал бы, ежели бы не один знакомый фершал. Это когда я еще в театре не служил, а ходил на Чусовеком караване Дело весной было: суматоха хаос, столарня, не приведи господи никому, потому дело спешное, а бурлачье это, прямо сказать, ничего не понимают. Ну, все караванные служащие, как сплав, так на другой же день от крику без голосу, а только хрипят, как которые злые цепные собаки. Бегаешь целый день, высуня язык, а время весеннее, самое обманчивое, того гляди, прохватит ветерком. Таким манером я и почувствовал себя неладно, точно совсем другой стал – и руки не мои, и ноги тоже, и голова, как глиняный горшок. Вижу, плохо дело, сейчас к фершалу, а он каждую весну приезжал зубы дергать пристанским бабам, потому что все они зубами на сплаву маются. Другой зараз зубов пять выхватит... Осмотрел меня фершал и говорит: «У тебя, Лука Агафоныч, кислоты нет...» – «Как так кислоты нет?» – «А так, говорит, такая есть болезнь, что в человеке вся кислота истребится». И вылечил: истолк сулемы да медного купоросу, да еще прибавил каких-то злых кореньев – и как рукой сняло... После я доктору знакомому рассказывал, так не верит и даже весьма смеялся. А все-таки я нынче к ненастью иногда чувствую, как будто опять во мне этой кислоты мало стаёт... ей-богу!.. Вот вам смешно, а я это очень хорошо чувствую и стараюсь водзорить кислоту: уксус пью, лимоны ем, капусту соленую... очень помогает.

За рябчиками последовала косачиная похлебка, а затем ничего не оставалось, как лечь спать.

– Ну, теперь я вас буду дымом угощать, – говорил Шапкин, притворяя дверь в балаган. – А то холодно будет...

– По-моему, уж лучше пусть будет холодно, а то задохнешься еще, пожалуй.

– Нет, вы только закройте глаза, а потом привыкнете, даже понравится.

Я кое-как уговорил старика подождать еще часок, пока калякаем о разных разностях. Для меня сидеть таким образом у огонька, где-нибудь на охотничьей стоянке, всегда доставляло истинное удовольствие: кругом темь, хоть глаз выколи, мертвая тишина, ночной холодок ползет снизу и заставляет вздрагивать, а ты сидишь, как очарованный, уставившись в огонь, и как-то ни о чем не думаешь, а просто чувствуешь себя безотчетно хорошо. На душе делается так легко, точно перенесся совсем в другой мир, разом стряхнув с себя все злобы и треволения, которые одолевают в обыкновенное время. И сидел бы так без конца, чувствуя, что и тебе нет никакого дела до всех остальных людей и им тоже. Есть зеленые горы, есть лес, есть пара рябчиков в ягдташе, есть медовый ключик в лесу – и довольно... Вот это и есть счастье, насколько счастье возможно. Да и много ли нужно для такого счастья? Спрятался человек от дождя в балаган, подставил один бок к огоньку, а там пусть вся природа корчится в конвульсиях безумной борьбы разгулявшихся стихийных сил. Может быть, это очень некрасивый эгоизм, но ведь он разыгрывается на пространстве всего нескольких квадратных сажен, и я часто завидую Луке Агафону, который, – выражаясь языком Шопенгауэра, – так полно может «растворяться в настоящем».

– А все-таки Агничка беспокоиться будет... – несколько раз повторял Шапкин, потягиваясь и зевая. – Очень она у меня сомнительная девчурка. Во второй класс гимназии перешла... как же, умненькая такая растет.

Агничка была воспитанница Шапкина, которая жила вместе с ним в его избушке. Это была задумчивая одиннадцатилетняя девочка, темноволосая и сероглазая. По всему складу маленькой изящной фигурки можно было заметить, что Агничка была не простого рода, но как она попала к Шапкину – он не любил рассказывать, и когда разговор заходил на эту тему, отмалчивался или заминал речь. Впрочем, у него была страсть к воспитанницам, вынесенная, вероятно, еще из помещичьей усадьбы, где всегда ютились таинственные девицы всех возрастов под общим термином

«шпитонок». Старуха Ведерничиха любила окружать себя такими безродными существами, и Лука Агафонович унаследовал от нее это пристрастие. До Агнички, по его словам, у него была другая воспитанница, которая заплатила ему за отеческие попечения самой черной неблагодарностью, – звали ее Марфенькой. Нашлись злые языки, которые таинственную Агничку называли незаконной дочерью Шапкина, потому что он ужасно возился с нею; но такое предположение еще требовало доказательств, а их не было налицо. К женщинам Шапкин относился в высшей степени сдержанно, хотя и не без галантности театрального человека и любезника старой школы, только он не любил рассказывать разных пикантных анекдотов и «детских» историй, к чему все записные охотники имеют большую склонность. Скромные разговоры он всегда слушал со сдержанной и какой-то больной улыбкой, точно обижался. Только раза два он как-то случайно проговорился, когда мы ночевали вдвоем в лесу, о какой-то Анне Асафовне, и то очень неясно... «Вы не знавали Анны Асафовны? – как-то неожиданно спросил меня Шапкин. – Ах, какая была отличная дама... такая дама, такая дама, что просто даже удивительно!» – «А кто она такая?» – «Да так, она при театре находилась... замечательная дама!» Этим разговор и кончился, так что отличная дама Анна Асафовна оставалась для меня загадкой, хотя по величанию и можно было предполагать в ней дочь знаменитого Асафа Иваныча Ведерникова.

– Вы не были женаты, Лука Агафоныч? – спросил я нечаянно, раздумавшись об Агничке.

Мой вопрос точно передернул Шапкина, и он вдруг как-то неловко съезжился, точно его укололо.

– Это вы насчет Агнички? – тихо спросил он.

– Нет, так... просто...

Наступила неловкая пауза. Дождь заметно стихал, в открытую дверь потянуло уже ночною сыростью; было часов десять ночи.

– А ведь про Агничку напрасно болтают, – заговорил Шапкин, с трудом подбирая слова, – что будто она моя дочь... Совершенная напраслина-с!.. Я Агничку действительно люблю, и даже очень люблю, может быть, больше родной дочери, а только она мне чужая, то есть, собственно, пожалуй, и не чужая, а так... Авну-то Асафовну помните?

– Нет.

– Вот была дама... ах, какая это была дама!.. Да что тут говорить... – махнул рукой Шапкин в каком-то отчаянии. – Это такая была замечательная дама, такая дама... Может быть, помните актера Карачарова? Он все больше в Загорье играл...

– Высокий такой?

– Да, четырнадцати вершков росту, в плечах широченный и пасть, как у быка, – ну настоящий был трагик, по всей форме. Бывало, двух человек себе на грудь ставил. Ну-с, так этот самый Карачаров от Анны Асафовны, можно сказать, и в землю ушел...

– Как так?

– А так... случай такой. Ведь дам)а-то какая была?! – еще раз воскликнул Шапкин, хватаясь обеими руками за голову. – То есть Анна Асафовна, собственно, была барышня, а только... ну, одним словом, это с актрисами всегда так бывает: девица на дамском положении, и Анна Асафовна тоже. Вот однажды Карачаров и скажи одно слово про Анну Асафовну... очень ей ее понравилось это самое слово. Как-то сошлись они вместе, Анна Асафовна как накинется на Карачарова, сбила его с ног и давай топтать, а потом схватила его за горло да в окошко и хотела выбросить этакую машинищу, а Карачаров только хрипит. И выбросила бы, ежели бы хорошие люди не отняли... при мне все было, на моих глазах. Никому бы в свою жизнь не поверил, что такие женщины бывают, а вот бывают же... Кара-чаров-то после этого самого случая чах-чах, да так и не поправился. Нет, да вы представить себе не можете, что за дама была Анна Асафовна: таких больше не осталось... извините!.. Куда?... Что вы... ведь это что такое было: тигр, а не женщина!

Шапкин ужасно воодушевился, размахивал руками и даже с азартом напал на меня, хоть я и не думал спорить с ним.

– Какое же слово сказал ей Карачаров? – спросил я, чтобы привести старика в себя.

– Слово?.. Ах, если бы вы знали Анну Асафовну... – продолжал Шапкин, не расслышав вопроса. – Да на других-то женщин после нее и смотреть не захотели бы... Какие это женщины? Галки – и весь разговор. Вон у нас каждый год новая примадонна, а что в них толку: двух фунтов не поднимет другая, а тоже, я, говорит, примадонна... тьфу... Анна-то Асафовна возьмет, бывало, двухпудовую гирию да

двадцать пять раз одной ручкой – вот этаким манером – спустит и поднимет ее (Шапкин показал, как Анна Асафовна поднимает гирю) и не дохнет. Вот какая это была женщина... да-с! Ростом она невелика была и лицом не так красива, а что касается всего прочего – портрет... И не то, что толстая там была, а в настоящей препорции, как следует барышне. Руки, ноги у ней... ах, да что тут говорить – нет больше таких женщин, нет и нет, да и не будет никогда!.. Купцы просто сатанели, когда она в треко оденется, бывало: вся в ямочках, как точно будто из воску вылеплена.

– А теперь где она?

– Умерла... лет уж с восемь этому времени будет. Так от самых пустяков погубила себя, потому что все-таки женская часть в ней была. Оно ведь кому как: другая только встряхнется, а Анна Асафовна не таковская была женщина – золотая душенька, только уж судьба ей такая задалась. У меня на руках и померла. Вот где мое горе было – немало я тогда над ней слез пролил, а она же меня и утешала, голубушка. Агничка-то, значит, дочь ей приходится, Анне-то Асафовне; вот я и люблюсь над ней: хоть и далеко до матери, а Есе же знаки есть... этак рассердится иногда да исподлобья, исподлобья и заочертит... ах, люблю я эту Агничку, вот как люблю и уж выведу в настоящие люди, чтобы после добрым словом старого дурака помянула. Ведь нынче что, жить да жить барышням надо, да господа благодарить, потому везде скатерью дорога: и в телеграф, и в учительши, и в разные конторы, а прежде только и свету в окне, что замуж, а то ищи блох у болонок, пока не околеешь. Порядочная прежде темнота была даже и у образованных-то людей...

– Анна Асафовна была дочь Асафа Иваныча?

– А вы как знаете?

– Да по отчеству видно...

Старик на мгновение задумался, вытер лицо ладонью и с тяжелым вздохом проговорил:

– Да, дочка Асафа Иваныча, голубчика... Кто бы мог подумать... а?.. У Асафа-то Иваныча еще сын был, он и теперь жив, в богадельне в Загорье содержится, потому что не в своем разуме, да и изубожился... э, да долго вам это все рассказывать, потому что и моя тут часть вышла... да, не смотрите, что я из дворовых, а чувствовать и я могу... да!.. К женскому полу я никогда сладострастия не имел, как

покойничек Асаф Иваныч; думал, что и ее так изживу, а тут вышла и моя часть... Здоров я был из себя, в том роде, как вот дерево какое смоленое, а тут как разобрало, так, кажется, лучше руки бы на себя наложил, чем этакую смертную муку принимать.

Старик задумался. Огонь догорал, и только легкое синеватое пламя перебегало по углям; дождь совсем прекратился, и небо было чистое, ясное, точно расшитое серебряными блестками по голубому бархату – именно такой шелковистый отблеск бывает только на нашем бледном северном небе. Я подбросил новых дров на очаг, и веселое пламя опять осветило весь балаган. Шапкин сидел неподвижно и безучастно смотрел на трещавший огонь; он слишком был подавлен своими воспоминаниями и несколько раз устало взмахивал левой рукой, точно отгонял одолевшие его мысли.

– Господи, как подумаешь, чего-чего на белом свете не бывает... – заговорил он после длинной паузы, точно просыпаясь. – Я ведь вам рассказывал, как в Карабаше жили... это еще до воли было. Анна Асафовна тогда еще совсем маленькой была... этакая белокурая да резвая, всегда с голыми коленками ходила, потому у Асафа Иваныча одна англичанка к детям была приставлена. На руках я нашивал Анну-то Асафовну, когда она маленькой была. Тэной ее все звали, – это по-аглицкому выходит все равно, что по нашему Аннушка. А крепкая была Тэна, когда, еще дитей совсем, ухватится за шею – кочень-кочнем. В праздник оденут ее в белое такое платьице, кружевные кальциончики, ботиночки – чистый ангел, а не девочка. Так, на моих глазах, Тэночка выросла до одиннадцати лет, а потом эта самая воля объявилась, ну, известное дело, кто куда – все разбрелись из Карабашей!.. Старуха-то Ведерничиха тогда же и умерла, прямо от огорчения, а Асаф Иваныч ножек лишились. Мое дело такое вышло, что на волчьем положении состоял: волка ноги кормят... Тогда я по разным статьям орудовал. Ну-с, таким манером прошло весьма немалое время, может, лет семь или восемь, я уж по театральной части пошел... Хорошо. Тогда эти оперетки только объявились: «Орфей в аду», «Птички певчие», «Прекрасная Елена» – работы всем много, а публика, можно сказать, ума решилась: так и ломит в театр, так и ломит. Только и свету в окне, что оперетки да шансонетки, а проклятущие примадонны просто взбесились: такие цены брали, такие цены – страсть!.. Пятьсот рублей в месяц, и не подходи...

Антрепренеры просто замаялись с примадоннами, потому публике ни первых любовников, ни трагиков не надо, а подавай примадонну. Вот раз и слышу, что к нам в Загорье поступает новая Елена, и рассказывают про нее чудеса... Хорошо. Приехала и только успела переодеться, сейчас ее на сцену; ну, публика неистовствует. Я тоже пошел посмотреть – и что бы вы думали: Тэночка Ведерникова. У меня так сердце кровью и облилось, окаменел весь, а она хлещет: и юбками, и ногами, и плечами... Дворянское дите, холеное да неженное, и вдруг перед публикой хуже чем нагая, а публике резонанс у ней больше всего понравился, потому как Тэночка всякими языками говорила и уж насчет словесности, извините, – только слушай. Французские шансонетки на французском языке так и откальвала и ножкой при этом... Господи! вот до чего дожили... Верите, заплакал я даже. Ежели сама Ведерничиха-то жива была бы, – да она руки бы на себя наложила от этакого сраму!.. Что бы вы думали, я целых две недели не мог подойти к Тэночке и объявиться пред ней, каков я есть человек. Совестно было, да и ее конфузить не хотел. А потом уж, как она с этим Карачаровым тогда познакомилась, я ей и отрекомендовался. Передернуло ее сначала, а потом ничего, только смеется... Она тогда и порассказала мне, как у них Карабаш адвокаты отняли, и как Асаф Иваныч без ножек лежал, и как братец Сереженька в богадельню попал, потому как совсем беспутным человеком оказался: кутил напропалую, а из себя был жиденский такой, ну и скоро разумом ослабел и пляску святого Витта получил. Она рассказывает, а я плачу-с... Нет моих сил терпеть, точно я сам бы взял да умер лучше. Ну, Тэночка-то сначала в гувернантки поступила, потому как девица с большим резонансом была, да не ужилась; известно, какая жизнь этим гувернанткам: как мышь сиди в мышеловке... А дело ее было совсем молодое: жила-жила Тэночка в гувернантках да с самим-то барином и познакомилась, а барыня узнала да в шею ее. Ну, выбросили девку на улицу, и ступай себе на все четыре стороны. Вот она-мыкалась-мыкалась, и голодом и холодом сидела, да в театр и махнула; а там, конечно, рады, потому что этакого резонансу и во сне не слыхивали.

Старик тяжело перевел дух и замолчал.

– Ну-с, нехорошо это рассказывать, а был великий грех, – продолжал Шапкин: – как я посмотрел на Тэночку, какая она стала, на

ее силу необыкновенную – так она мне к самому сердцу пришлась, так пришлась... Ведь вот поди же, как человек устроен! Ну, что я такое для Анны Асафовны, ежели разобрать: червь и только, а между тем я все о ней думаю, день-и ночь думаю – нейдет с ума, и конец тому делу. И как теперь помню, как все это случилось... точно в театре, ей-богу. Анна Асафовна тогда уж вплотную с этим Карачаровым связалась... Ах ты, господи, господи, что иногда с человеком делается! Ну, что, кажется, в этом Карачарове любопытного для такой барышни, как Тэночка: рожа у него одна, так не приведи господи во сне увидеть, а она в нем души не чаяла и сколько раз при мне, бывало, обовьет его шею своими руками и давай целовать эту поганую-то рожу. Одним только и брал Карачаров, что смешить умел Тэночку – уморит со смеху, а Тэночка без него весьма скучала и постоянно меня за ним посылала, чтобы я его разыскал по трактирам да по разным вертепам. И слова не даст вымолвить про Карачарова, про его разные поступки: уж прямо сказать, что полюбился сатана пуще ясного сокола. Подарки ему дарит, деньги дарит, ухаживает... тьфу!.. Я так полагаю, что было тут дело нечисто: приворожил он Анну Асафовну, а может, и потохму еще он ей плянул, как состав имел для мужчины необыкновенный. Все-таки не понимаю... Всего, бывало, ему закупит: и рубашек, и одеяло новое, и – с позволения сказать – даже кальцонов, а он никакой благодарности не понимает. Одним словом, баловала его, как малого ребенка. Раз этак она и придумала везти Карачарова на охоту – всю снасть купила, на, милый-размилый, а я вместо кучера у них. Отлично... Приезжаем в лес, я и повел Карачарова по болоту, да тут и вспомнил, что огня позабыл разложить Анне Асафовне; пожалуй, еще лошадь-то убежит у ней, потому как она при экипаже осталась. Бреду это я и слышу, что кто-то дрова у нас на стану рубит и так рубит, что только стон стоит. И что же бы вы думали – это сама Анна Асафовна дрова рубила... Я нарочно, знаете, не подошел близко, а только взял да издальки спрятался за дерево и долго любовался на нее: картина. Отыскала она комлистую такую сухарину, вершков восьми в отрубке, да ее и нажаривает, а я смотрю да смеюсь про себя: «Отрубить-то, мол, мы отрубим, а вот как, Анна Асафовна, колоть будете...» Обрубок-то пуда в три был. Не успел я это подумать, как Анна Асафовна ляп топором по обрубку, да как через плечо треснет его о сухарину – так на три

полена и расколола сразу. Ах, какая это была дама... такая дама. Ну тут со мной и сделалось неладно...

– Как неладно?

– А так-с... С этого самого моменту тоншо мне сделалось, а потом напало на меня какое-то зверство. Ей-богу... Хожу, как очумелый бык, а у самого на уме Анна Асафовна. А она, как нарочно, постоянно меня при себе держала и даже часто одевалась и раздевалась при мне до рубашки, потому что знала, что я не имею сладострастия к женщинам... Ну, рассудите, каково было мне все это терпеть? Ах, как я ее любил... чувствую, что даже думать-то об этом самом мне смешно, а сам еще больше чумею – так вот инда дух во мне захватит. Другие весьма к водке бывают подвержены в таких случаях, а я и этого не могу, а только смотрю на Анну Асафовну и казнюсь... Всего хуже мне было, как она примется меня посылать за КарачаровЫхМ – сердце из меня вынет, бывало, одним словом. Грешный человек, не раз думал: убью Карачарова, порешу Анну Асафовну, а под конец себя кончу – никому не доставайся... ей-богу!.. Озверел, значит... Ох-хо-хо! грех-то не по лесу ходит, а по людям. И что бы вы думали: Анна-то Асафовна ведь догадалась насчет меня: «Ты, говорит, Лука Агафоныч, совсем поглупел нынче, и ничем, говорит, не могу объяснить этого, как только тем, что ты в меня влюблен...» Я уж тут напрямки ей и отвесил, а она меня в шею. Однако опять воротила к себе и так, смешком, сказала: «Ну, черт с тобой, оставайся, если уж я так тебе понравилась». Только после этого случая заметно стала остерегаться меня и раздетая не допускала до себя. Одно только скажу: что ни делала Анна Асафовна – все у ней по-своему выходило, этак умненько, все с гордостью-с. Да-с. А скажет слово – так прямо рублем подарит. Разе я не чувствовал, что она настоящая барышня, а я раб пред ней, а все-таки Анна Асафовна не надсмехалась надо мной. Вот это-то самое и дорого...

Шапкин увлекся своим рассказом и позабыл, что давно нужно ложиться спать.

– Я уж вам рассказывал, как Анна Асафовна собственными своими ножками Карачарова истоптала, – продолжал он, – он вскоре и душу свою поганую отдал... туда и дорога, потому что он постоянно обманывал Анну-то Асафовну, как пес какой. И на кого менял: одна была водевильная горничная, самая лядащая девчонка – взять двумя

пальцами и переломится; ну, с ней путался и с другими тоже. Ну разве это не обидно было Анне-то Асафовне при ихней-то гордости, когда все это она видела и только из своей гордости такой вид принимала, что нечего не замечает? Ежели бы еще Карачаров с какой-нибудь красавицей или настоящей дамой лямурился, все же не так оно обидно было бы Анне-то Асафовне, я так полагаю, потому что женщина она была гордая и не любила жаловаться. Не стало Карачарова; кажется, тут и спокой, так нет – она же и принялась тосковать да убиваться об нем. Да ведь как убивалась!.. Насмотрелся я тогда страсти и, можно сказать, досыта наплакался – и про свою-то любовь забыл, даже очень стыдился, потому что разве я мог так чувствовать, как Анна Асафовна, – прямо сказать, березовое полено я был перед ней. Я за ней ухаживал тогда уж опять по-старому, как раньше, и все придумывал, чем бы ее развеселить. Ну тут Ирбитская ярмарка подвернулась. Мы с Анной Асафовой туда и махнули – может, на людях-то, думаю, она и разойдется помаленьку. И не такое горе великое изнашивают, а человек молодой скоро забывает. Хорошо-с... Приезжаем в Ирбит. Ну, натурально, ярмарка; народ, как вода в самоваре, кипит. А только нужно вам сказать, что эта Ирбитская – кажется, хуже ее ничего нет. Насмотрелся я-таки всего на своем веку – всякой пакости видел и с Асафом Иванычем, и с бурлачьем, и в театре, а такого сладострастия не видал-с. Преужасный народ съезжается туда, то есть даже не народ, а дьяволье... Натурально, как Анна Асафовна объявилась на ярмарке, за ней и ударились: кто во что горазд, всякому хочется удивить. Она уж тогда сделалась точно в отсутствии ума и тоже всех удивляла: в руки никому не давалась, а только душу выматывала да зорила... Такой кутеж около нее стоял, точно Содом и Гомор, а Анне Асафовне даже весьма приятно было дурачить разных купчишек, потому что у них известное понятие: деньгами, мол, что хочешь, куплю. Другой протянет, бывало, к ней свою лапу, чтобы обнять или за ногу схватить, так она его прямо смажет по роже, а им, подлецам, это еще приятнее. А никто не знал, кроме меня, как Анна Асафовна по ночам-то плакала да убивалась, когда домой придет... Еще хуже, чем в Загорье, пожалуй, и я жизни не рад стал: замучила и меня. Тогда уж меня ни на шаг от себя-то не отпускала, даже в свою спальню и спать клала: она на кровати

почивает, а я на полу... Ярмарочное дело – очень даже опасно для женщины.

– А все-таки эта проклятущая Ирбитская и доконала вконец Анну-то Асафовну, – с тяжелым вздохом продолжал свой рассказ Шапкин, низко опуская голову, – резонанс она там потеряла... да. То ли простыла где, или болезнь приключилась – только прежнего резонанса как не бывало, а куда же Анна Асафовна после этакой жизни да без резонанса? Станет петь и оборвется... А тут еще беда: была она тяжела после Карачарова, хоть никому и не говорила, даже от меня таилась. Известно, все-таки девичье дело, как хотите, оно даже весьма совестно, а Тэночка-то настоящая барышня была, ей вдвое еще совестнее. Ну, я-то примечал уж за ней давненько, что будто она сильно уж кругиться начала, только молчал, потому дело наше совсем маленькое. Хорошо-е... Как быть? И совестно-то, и денег-то нет, и резонансу лишилась, и тоже надо спокой иметь в таком положении. Ну я тогда Анну Асафовну к себе в избушку и перетащил, а в Загорье-то всем рассказал, что она в Казань уехала. Долго не соглашалась Анна Асафовна ко мне переезжать, да уж делать было нечего, выбирать-то не из чего было... Так она у меня в избушке и Агничку родила, да и сама скоро скончалась. Прислуги-то никакой не было, я сам за ней все ходил и даже решительно все делал. Акушерка была, а потом уж я орудовал... Ну Агничка-то родилась, Анне Асафовне точно полегчало вдруг: спокойная да веселая вдруг сделалась, и я тоже с ней ожил. Со мной постоянно разговаривала. Про старое-то расспрашивала, как на Ирбитскую ездили, и точно все удивляется, самой себе удивляется, что такие поступки она могла поступать, а про Карачарова ни единого слова... Потом стала говорить, что бросит театр и будет честным трудом жить. Хорошо она умела говорить, когда развеселится... Смеялась она уж очень хорошо: улыбнется, да этак исподлюбья и посмотрит. Роды у ней были самые легкие, потому состав вон какой был, ну, а тут акушерка велит девять ден лежать... очень это обидно было Анне Асафовне, да и меня все жалела, потому что я и за ней хожу и за ребенком. Как-то отвернулся я в лавочку зачем-то, прихожу, а она у печки возится; я так и ахнул, а она только смеется. «Чего мне, говорит, сделается, Лука Агафоныч? Замаяла я тебя...» Ну, как я ее ни уговаривал – ничего не мог поделать с ней; походила она таким манером дня с два, а потом и разнемоглась

– родильная горячка прикинулась. Так, моя голубушка, и кончилась... без памяти все время была.

Когда Шапкин кончил свой рассказ, ночь была уже на исходе и восточная сторона неба приняла серый цвет – это занималась утренняя заря. В лесу начали слабо перекликаться первые утренние птички, точно настраивали инструменты в каком-то грохматном оркестре.

– Вплоть до зари проболтали, – конфузливо заметил Шапкин, точно он испугался своей откровенности, – право, по простоте больше болтаю... уж вы не взыщите.

– Помилуйте, Лука Агафоныч, я с таким удовольствием слушал все время.

– Очень приятно-с, ежели угодил... А не двинуть ли нам ка охоту-с по заре-то? Самое теперь преотличное время...

– Да ведь мокро в лесу после дождя...

– Ах, да, я и забыл-с, что была гроза... да, совсем забыл. Вот ведь, право, под старость-то память совсем девичья сделалась: короткая. Хе-хе... Значит, соснем?

– Я думаю, что это лучше будет.

Мы улеглись. Теперь в балагане было тепло, да и солнце скоро встанет и обогреет, но это не помешало Шапкину наглухо запереть дверь, отчего весь балаган сейчас же наполнился дымом и угаром. Он даже порывался наглухо «закутать» трубу дерном, но я энергично протестовал и кое-как настоял на своем. Мы пролежали таким образом с полчаса, но сон не шел на ум.

– Вы не спите? – окликнул меня Шапкин в темноте.

– Нет... а что?

– Да так-с... Хотелось мне одно спросить у вас: за какие такие провинности Анна-то Асафовна мучилась... а? Как вы насчет этого полагаете?.. И смерть напрасную приняла, когда жить бы да жить надо... Я часто об этом думаю и так своим умом прихожу: за родительские прегрешения она под грозу попала... Не иначе, потому и в писании насчет этого совсем ясно сказано, что «на главы чад даже до седьмого колена». Извините, пожалуйста, а меня это вот седьмое колено ужасно смущает, потому неужели же и Агничка должна пропасть?..

Я напрасно старался разуверить старика в неправильном толковании этого семиколенного возмездия, которое противно основному духу христианского учения. Шапкин только вздыхал и опять – принимался за свое «даже до седьмого колена».

– Ведь совсем ясно сказано, – уныло продолжал старик. – Да я это и сам чувствую иногда, когда смотрю на Агничку... Конечно, в ней есть знаки Анны Асафовны, и большие знаки, а иногда мне покажется бог знает что! Право... Вы подумайте только: раз смотрю на нее, как она книжку читает, а глаза-то у ней карачаровские! Так вот во мне даже все нутро со страху перевернулось. «Господи, думаю, за что же ты меня-то еще этакой напастью наказываешь?» И как я теперь ее буду любить, когда в ней одна-то половина Анны Асафовны, другая – карачаровская? И такое на меня сомнение нападет, такое сомнение, точно я совсем не люблю Агнички!.. Ах, грех какой...

Когда старик, наконец, заснул, я вышел потихоньку из балагана, потому что оставаться там дольше не было никаких сил. Зато в лесу теперь было чудно хорошо. Все кругом блестело и лоснилось после вчерашнего дождя, как покрытое лаком. Прямо перед балаганом поднималась Чертова Почта, на которой можно было рассмотреть каждый камешек, каждый кустик; Талая походила на громадную шапку с зеленым бархатным верхом. Над балаганом недвижно высились вечно молчаливые, печальные лиственницы; лужайка, на которой стоял когда-то раскольничий скит, вся была затянута высокой травой, доходившей мне в некоторых местах до плеч. Тихо качались розовые головки иван-чая; пахло земляникой и еловой смолой. На опушке леса заливались невидимые певцы; это пение точно висело в самом воздухе, струившемся под солнечным лучом, как вода. Хорошо так было кругом, так мирно и торжественно; не хотелось верить, что только вот несколько часов назад, над этими самыми горами, пронеслась гроза и вырвала с корнем не одно дерево вот в этом лесу, где теперь все так радуется и ликует, – ликует, когда тут же рядом лежат мертвые, для которых больше нет солнечного света.

На шихане*

Из записной книжки охотника

I

– Там кто-то есть... – проговорил Савка, нюхая воздух, как собака. – На шихане^[43] артель.

Он остановился в задумчивой позе, поставил свою винтовку на камень и пристально посмотрел назад, в дымившуюся под нашими ногами голубую даль. Пестрая собачонка Кукша давно уже почуяла присутствие людей и в ответ на слова хозяина только помахала своим пушистым хвостом и даже облизнулась – умное животное чувствовало близость других собак.

– Карла с объездчиками... шестером, на вершних, – продолжал Савка, осматривая каменистую извилистую тропу, круто забирающуюся кверху между двумя россыпями. – Чуешь, барин?

– Нет, ничего не чую... – должен был я сознаться.

– А я давно чую, и Кукша тоже... – проговорил Савка с задумчивой улыбкой, которая так шла к его изрытому оспой некрасивому лицу.

Небольшого роста, худенький, сутуловатый Савка казался таким жалким мужичком в своем широком армяке, подпоясанном каким-то оборванным ремешком. Разношенная бобровая шапка, надвинутая на самые уши, делала лицо Савки еще меньше. Ободранные сапоги на ногах и мешок из синей пестрядины за плечами дополняли охотничий костюм. Дробь и порох Савка носил в двух деревянных ладунках, которые прятал в пазухе, всегда отдувавшейся у него самым неудобным образом; «свистоны», хранившиеся в пузырьке из-под какого-то лекарства, он прятал в шапку, вместе с табачным кисетом и пыжами. Курил Савка преуморительно: свернет из газетной бумаги крючок, набьет крупной, зажжет и, затянувшись раза два, погасит крючок прямо о ладонь своей заскорузлой руки и окурок спрячет в

шапку. Спичек изводил он несметное количество, но никогда не решался выкурить весь крючок зараз.

– Далеко еще до шихана? – спросил я, когда Савка полез в свою шапку за окурком.

– Да версты две, поди, будет... Засветло еще приедем.

Я, собственно, был очень доволен этой остановкой, потому что едва передвигал ноги: мы бродили целый день по лесу, а тут еще крутой подъем на гору почти в пять верст. Три версты этого подъема оставались назади, оставалось сделать еще две. Пожалуй, хорошо было бы устроить охотничий привал и на том месте, где мы сейчас стояли, но Савка был неумолим в таких случаях – не сделать ночевку в заранее намеченном балагане, урочище или просто где-нибудь под камнем для него было чем-то вроде святотатства. Впрочем, это уж такая «зараза» всех записных охотников, и Савке не раз случалось, особенно на зимней охоте за оленями или дикими козлами, являться в балаган полуживым. Через четверть часа мы продолжали свой подъем в гору, карабкаясь по громадным камням россыпи. Но сначала нужно сказать, что такое «россыпь». Если смотреть на гору издали, часто кажется, что целый бок горы усыпан мелким щебнем, каким мостят шоссе; иногда из такого щебня образуются правильные полосы, которые спускаются вниз каменными потоками. Это и есть россыпи. Когда вы начинаете взбираться на гору и встречаете россыпь, то вместо щебня оказываются громадные камни, иногда объемом в несколько кубических сажен. Приходится прыгать с камня на камень, карабкаться и даже ползти, чтобы подняться по такой россыпи. Когда вы наконец подниметесь на самый верх, перед вами открывается великолепная картина: россыпь сползает вниз сплошной серой массой валунов, точно высыпанных здесь из гигантского мешка каким-нибудь исполином. Края россыпи обыкновенно затянуты кустами жимолости, черемухой, малиной и иван-чаем; кой-где поднимаются сибирские кедрики и горные ели и пихты. Особенно красивы последние: они так и рвутся в небо своими готическими прорезными вершинами, а внизу расстилают по камням целый ковер из бархатной зеленой хвои. Между этим ковром и стрелкой ели остается голый темный ствол. Я несколько раз спрашивал Савку о причине такого расположения ветвей.

– Это от олешков... – флегматически объяснял Савка. – Когда у олешка вырастут молодые рога, ведь они у него кожей обтянуты и в шерсти – вот олешек и обтирает эту кожу по россыпям о пихты, потому зудят у него рога-то в те поры.

Мне такое объяснение Савки казалось недостаточным, потому что такие же пихты должны были бы встречаться и в обыкновенном лесу, где водятся олешки, но этого не бывает.

– Говорю: олешки... Чего еще тебе? – сердился Савка.

Подъем по россыпям значительно облегчается тем, что все камни, точно нарочно, выложены разноцветными мхами и необыкновенно красивыми лишаями. Нога ступает иногда как по мягкому ковру; в засуху лишай хрустят и осыпаются под ногой, но после дождя камни кажутся обтянутыми змеиной кожей, такой же пестрой, влажной, холодной и скользкой. Мхи бывают большею частью великолепных серых цветов или зеленоватые с черными пятнами, красными крапинками и целыми узорами, точно вычерченными какой-то очень искусной рукой. Эта чисто северная растительность гнездится по камням и медленно разлагает их поверхность в мелкий песок, который смывается дождем и сносится вниз снегами. Можно представить себе ту микроскопически гигантскую работу, при помощи которой получается каждая горсть песка где-нибудь на дне горной речки. Растения здесь помогают атмосферическим деятелям и разъедают камни своими корешками. Мелкая зеленая травка осыпает образовавшийся из старых лишайников слой чернозема точно медной ярью или изумрудной оправой; иногда из расщелины скалы весело плянет на вас розовым или синим глазком северный цветник, занесенный сюда бог знает откуда, иногда широко топорщатся широкие листья или расползутся по откосам и ссадинам разные каменки и горькая горная полынь.

Наша тропинка вилась между двумя такими россыпями, потом перекосила одну из них и увела в густую еловую заросль, которая зеленой щеткой покрывала широкую впадину почти на самом верху горы. Нас сразу охватило смолистым ароматным воздухом, который накопился здесь за день. И я теперь уже слышал легкий запах гари, тянувшийся со стороны недалекого шихана.

– Теперь по самому по лбу идем... – объяснил Савка, развалисто ступая своими кривыми ногами. – Широченный у ей лоб-от!..

Гора, на которую мы взбирались, называлась Лобастой, потому что имела форму волчьей головы; мы поднялись по самому крутому подъему, который вел к шихану. На Лобастой было два шихана, которые издали казались ушами каменной головы.

С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо делалось глубже. Гора Лобастая составляла центр небольшого горного узла; от нее в разные стороны уходили синими валами другие горы, между ними темнели глубокие лога и горбились небольшие увалы, точно тяжелые складки какой-то необыкновенной толстой кожи. Хвойный лес выстилал синевшую даль, сливаясь с горизонтом в мутную белесоватую полосу. Где-то далеко желтел своими песчаными отвалами небольшой прииск, дальше смутно обрисовывалась глухая лесная деревушка, прятавшаяся у подножия довольно высокой горы с двумя вершинами. В нескольких местах винтом поднимался синий дымок, тихо таявший в воздухе и расплывавшийся голубым пятном. Несколько бойких горных речек сбегались в одну, которая смело пробивалась между загораживавших ей дорогу прикрутостей и увалов; и одном месте она пробила скалистый берег, который вставал отвесной каменной стеной, точно полуразрушившийся замок.

Над этой картиной плыло несколько белоснежных облачков, прохваченных по краям розовым золотом, густевшим и точно спекавшимся в кровавый сгусток на самом западе, где багровым шаром спускалось над горами закатившееся солнце. Горизонт горел кровавым пожаром; это море огня дрожало и переливалось золотыми блестками, точно там, сейчас за зубчатой линией горизонта, колыхалась сплошная волна расплавленного золота. А здесь, на земле, уже чувствовалась наливавшаяся ночная свежесть, потянуло ароматом лесных пахучих трав – земля «дала пар», как объяснял Савка. Над лесной опушкой толкнсь высоким столбом комары, где-то вприсонье пиликала какая-то лесная «пичужка», неожиданно вырывалась изломанной линией летучая мышь и быстро исчезала в накоплавшейся мгле. Внизу, по логам и расселинам, заползал волокнистый туман, кутававший белой пеленой говорливые речки и ключики, речную осоку, все низины и болотины.

– Вёдро будет... ишь как туман-то заходил, – проговорил Савка, перекидывая свою винтовку с одного плеча на другое. – Кукша, цыц,

треклятая!

Вдали, точно под землей, вопросительно гукнул сторожевой собачий лай, и Кукша ответила подавленным ворчаньем.

II

На шихане, вернее – под шиханом, действительно сделала привал охотничья артель, с «Карлой» во главе, как угадал Савка. Нам навстречу вылетели два сеттера-гордона, черные, с желтыми подпалинами, и сейчас же напали на Кукшу, которая присела задом к земле и по-волчьи защелкала зубами.

– Ну вы, дуrolомы, отойдите! – кричал Савка на лаявших господских собак. – В хозяина шерстью-то вышли...

Шихан на Лобастой представлял собой острый каменный гребень сажен в двенадцать высотой, сейчас под ним образовалась в мелкой пихтовой заросли небольшая лужайка. Место было порядочно дикое, но его скрашивали два охотничьих балагана, поставленных один против другого под самым шиханом. Таких балаганов по горам разбросано без числа: в них скрываются от дождя и непогоды охотники, лесообъездчики и просто бродяги. В осеннюю дождливую пору, а особенно зимой, такому балагану цены нет, и не один охотник спасся здесь от верной смерти, поэтому балаганы оберегаются как общественное достояние.

Теперь на лужайке под шиханом горел яркий костер; около него собралась пестрая кучка охотников. В центре, около самого огня, на бухарском ковре лежал в охотничьей венгерке сам «Карла», а около него лежали и сидели на траве человек пять лесообъездчиков. Над самым огнем висел походный котелок с варевом и медный чайник.

– Мир на привале... – здоровался Савка, входя в полосу света, падавшего от огня.

– Мир дорогой, – отозвался один из объездчиков. – Да это ты, Савка?

– Выходит, что я, Иван Васильич... Можно нам заночевать?

– На-вот, всем места хватит.

– А я вот барина по лесу водил, пристали... Кукша, цыц, стерва!..

– Пожалуйт, пожалуйт, каспада... – заговорил сам Карла, приподнимаясь с ковра. – Веста, тубо... назать!.. А, это ти, Сафк...

– Я, Карла Иваныч... Вот к огоньку вашему прибрели с барином.

– Ошэнь рат... садитесь на месту... Кого убиль?

– Да так, пустяки, Карла Иваныч, – скромничал Савка, снимая с плеч свой пестрядевый мешок. – Двух поляшей залобовали да польнюшку^[44].

– Карош.

Мы познакомились. Карла Иваныча я знал по слухам. Он был управителем в Кособродском заводе и между рабочими слыл под именем «Слава-богу», потому что называл Ивана Богослова – Иван Слава-богу. Это был чистокровный баварский немец – вспыльчивый, горячий и по-своему добрый; он жил «на России» чуть не двадцать лет и говорил самым невозможным ломаным языком, но зато ругался по-русски мастерски. Рабочие любили его, потому что Слава-богу хоть и был крут, но зато был и отходчив сердцем; обругает, прогонит, а потом отойдет и все забудет. Бывало так, что он даже извинялся пред простыми рабочими. «А шерт минэ взял... мой не прав... твой извиняйт», – говорил он в таких случаях, и рабочие по-своему понимали этот тарабарский язык. Наружность Карлы как нельзя больше соответствовала его внутреннему содержанию: среднего роста, коренастый, с взъерошенными волосами, с белыми немецкими глазами навывкате, он точно был налит кровью. У Карлы не только было красное лицо, но и вся шея, даже руки. Козлиная борода и усы, завинченные штопором, придавали ему вид «человека» из номеров для гг. приезжающих или егеря средней руки. У нас на Урале он сходил за заводского управляющего, и даже за очень хорошего управляющего, хотя в специально-заводском деле ничего не смыслил. Уральские заводские управляющие – народ с бору да с сосенки, военные писаря, гардемарины, какие-то забвенные шведы, кантонисты и т. д., так что в этой разношерстной среде Слава-богу являлся настоящей находкой и пользовался громкой репутацией настоящего дельца. Кровяные бифштексы, английский портер, рижские сигары и вера в то, что нет на свете людей лучше немцев, делали из Карлы то, чем он был.

– А ви сюда... ковер... – обязательно предлагал мне Слава-богу место около себя и сейчас же налил водки в походный серебряный

стаканчик. – Зарядиться... мест опасный.

Пять человек лесообъездчиков смотрели в глаза своему повелителю, как дрессированные лошади, и старались предупредить малейший его жест. Народ был все рослый, здоровый и крайне плутоватый, потому что около господ нельзя не избаловаться. Лучше других был Иван Васильич, старый объездчик, степенный и благообразный старик, с широкой грудью и седыми подстриженными усами; он был из отставных унтер-офицеров и в тонкости знал всякую субординацию и военную вытяжку. Охотничья закуска была нам приготовлена в лучшем виде, потому что первой обязанностью хорошего лесообъездчика считается поварское искусство. Мы съели отличный суп, пару рябчиков и какую-то кашу, а потом на сцену появились сардинки, копченый язык и даже страсбургский пирог в герметически закупоренной жестянке. Карла ел за четверых, запивал все водкой и портером и болтал без умолку на своем попугайском языке. Собаки почтительно дожидались подачи, облизывались и с опущенными ушами униженно вертели хвостами.

– Хорош собак? – спрашивал Слава-богу, облизывая свои пальцы. – Веста, куш... отличный сука!

Подкрепив свои силы всевозможными составами, немец растянулся у огня и сейчас же захрапел. Мой Савка развел огонек у другого балагана и варил убитую польнюшку в горшочке, который раздобыл откуда-то из балагана. Кукша, положив свою острую морду с торчавшими пнем ушами меж передних лап, следила за каждым движением хозяина и вызывающе взмахивала пушистым белым хвостом.

– Эк этот Карла трескает... страсть! – задумчиво говорил Савка, помешивая одной рукой в своем горшочке, а другой заслоняя лицо от летевших искр. – Чисто как в бочку водку льет. Этакая прорва... И каждый день так-то натрескается, а потом и дрыхнет, как стоялый жеребец. Иван Васильич, хошь моей похлебки?..

Иван Васильич молча подсел на корточки к огоньку и раскурил деревянную трубочку, которую по солдатской привычке носил за голенищем.

– Хороша у вас сучка-то... – проговорил Савка, отставляя горшок от огня.

– Ничего... – протянул Иван Васильич, насасывая свою трубочку. – На дупелей стойку держит, на копалят^[45] тоже...

– Ну, это пустое... а так, баская собачка. Вы куда?

– Под Мохнатенькую... Карле пуще всего болото: хлебом не корми, а под Мохнатенькой болотина верст на пять.

– Знаю... Куликов стрелять? Известно, господская охотка... все в лет надо.

Савка презрительно улыбнулся, потому что куликов и всякую болотную дичь считал поганой. Сам он стрелял только в сидячую птицу, да и то из винтовки, потому что его винтовка пороху принимала самую малость, а это большой расчет для настоящего охотника.

А летняя горная ночь уже давно все кругом закутала своим мягким сумраком, который сгустился по логам и в лесу в черную мглу. Горы приняли фантастические очертания, точно они выросли и поднялись выше; лес превратился в сплошные темные массы, неподвижно обложившие все кругом. Сильно пахло свежей травой и смолевым деревом. Пала роса, что предвещало завтра хорошую погоду. Летние ночи, по-моему, особенно хороши именно этой росой и густыми туманами, чего не бывает весной, когда стоишь на тяге – от сухой травы пахнет чем-то мертвым, а тут точно все дышит около вас. Я долго любовался изменявшейся картиной северного неба, которое сейчас после солнечного заката спльно потемнело и только мало-помалу «отошло» и приняло великолепный голубой цвет. Полярная звезда, Большая Медведица горели лихорадочным светом; Млечный Путь теплился матовым фосфорическим светом. В одном месте черкнула по небу падавшая звезда, точно кто в темной комнате зажигал спичку о стену. Падавшие звезды производили на Савку какой-то суеверный ужас, и он долго шептал какую-то молитву.

– Это андел божий пал на земь, – объяснял он. – По душу господь его послал, по праведную.

Лежа в балагане, на широких полатях, я долго не мог заснуть, хотя устал страшно. В открытые двери балагана мне видна была вся площадка, освещенная двумя кострами. Недалеко бродили по траве спутанные лошади, тяжело падая на передние ноги при каждом прыжке. Где-то ухнул филин и замолк; ночная птица шарахнулась над самым огнем и заставила Савку обругаться. «О, будь ты проклята,

некошная! – ругался он за свой испуг. – Эх ее взяло, проклятушую...» Иван Васильич, похлебав из горшочка охотничьего варева, облизал ложку, вытер усы и, сняв кожаную фуражку, помолился на восток.

– Ну, что у вас на Кособродском? – спрашивал Савка, раскуривая бумажный крючок.

– Да чего тебе нового-то... Дровосушки закрыли. Наладили новую печь, Сименсом зовут, труба высоченная, ну, так эта печь сырые дрова-то жрет. Слышь, щепам да корьем можно топить... Девкам теперь на дровосушных печах никакой работы не стало, а только которы еще поденщиной перебиваются.

– А будь они от меня трижды прокляты, эти дровосушные печи! – азартно проговорил Савка, бросая окурочек в траву.

– Не забыл разве еще Анки-то? Ах ты, пес тебя возьми... ишь ведь... а?... Экой у тебя характер, Савка... чистый ты дьявол, ежели разобрать... а?

– Хуже дьявола, потому как...

Савка не закончил речи и начал крутить новый крючок.

III

Мне пришлось познакомиться с Савкой в лесу, на охоте около глухой деревушки Студеной. Дело было осенью, под вечер, когда нужно было позаботиться о ночлеге.

– Пойдем, барин, ко мне, заночуем... – предложил Савка. – Я в Студеной живу...

Вероятно, многим случалось пользоваться такими любезными приглашениями, а затем на поверку оказывалось, что у гостеприимного хозяина изба полна ребят и жена хуже черта. Вид Савки говорил не в его пользу, и я колебался принять его предложение.

– Да ты чего, барин, сумлеваешься? – заговорил Савка, угадывая мою мысль. – Я в своем доме хозяин, не сумлевайся... Верно тебе говорю!.. У меня избушка теплая, самовар оборудуем...

Мы отправились. Деревушка Студеная была недалеко от золотых промыслов, и нам приходилось тащиться в кромешной тьме верст пять, рискуя каждую минуту свалиться куда-нибудь в шахту. Я вполне

положился на охотничью опытность Савки и брел за ним ощупью. Наконец показалась и Студеная. Избушка Савки стояла на самом краю и была без ворот и двора; ход в нее шел прямо с улицы. В избе огня не было; нас встретила высокая здоровенная баба, которая сначала обыскала карманы и пазуху Савки, а потом принялась ругаться.

– И чего ты, шатун, ведешь незнакомого барина, на ночь глядя? – ругалась достойная половина Савки. – В избе и места-то нет совсем...

В избе Савки действительно места совсем не оказалось: на полу, на лавках, на полотах – везде валялись ребята. У Савки было восемь человек детей, и самый меньшой качался еще в зыбке. Мне ничего не оставалось, как только ругать про себя и дурака Савку и свою глупую доверчивость.

– Нам бы, Анка, насчет самоварчика? – попробовал робко заявить Савка пред своей разгневанной половиной.

– Самоварчик?! да где я тебе его возьму? – с азартом закричала Анка, наступая на мужа со сжатыми кулаками. – Заведи сперва самоварчик-то, а потом и спрашивай, а то у меня и чугулки-то нет...

– Да ты что больно зудишь? – заговорил Савка с очевидным намерением показать себя настоящим хозяином в своем доме. – Я тебя расчешу, постой... я тебе...

Вместо ответа Анка схватила ухват и со всего плеча принялась ломить «хозяина своего дома» по чему попадя. Ребятишки проснулись и заревели. Я ожидал жестокой схватки, но Савка, под градом сыпавшихся на него ударов, улизнул на печку и уже оттуда кричал на жену: «Погоди, Анка, вот я тебя расчешу... будет тебе зудить-то!»

– Ох, погубитель... ох, разбойник, нет на тебя пропасти-то, на окаянного!.. – неистово голосила Анка, стараясь ударить Савку по самому чувствительному месту, по голове, в живот или по хребту. – Гли-ко, ребятишек-то наплодил полную избу, а сам все на проклятом винище протрескивает... Все ведь видят мою-то муку мученическую!..

Савка ругался, кричал, но даже не пытался сопротивляться, а только защищал себя руками и ногами, как перевернутый на спину таракан. Дело кончилось тем, что, утомившись колотить мужа, Анка села посреди пола и принялась причитать, как по покойнике, причем для первого знакомства рассказала всю подноготную про мужа: как он в третьем годе последнюю телушку свел в кабак, как потом, когда она

рожала последнего ребенка, Савка отбил замок у ее сундука и пропил всю одежду до нитки, как... и т. д.

Я провел под гостеприимной кровлей Савки прескверную ночь и утром на другой день был крайне удивлен картиной полнейшего примирения супругов. Дело объяснилось каким-то недоумением в расчетах: Анка заподозрила мужа в сокрытии нескольких пятак, чего не оказалось в действительности.

– Она, Анка-то, славная у меня... – докладывал Савка. – И меня любит, а только на руку больно скоро, когда расстервенится. Конечно, есть тут и мое зверство...

Анка при дневном свете была еще некрасивее, чем при искусственном освещении. Это была здоровенная, высокая баба с необыкновенно широкой спиной и некрасивым желтым лицом; она точно вся была сделана из дерева, притом сделана столяром-самоучкой, который больше всего заботился о крепости своего произведения. В своей избушке Анка являлась настоящей рабочей машиной, не знавшей усталости; единственным недостатком этой машины была только ее неистощимая производительность. За двадцать лет супружества Анка принесла восемнадцать ребят, из которых десять похоронила.

– А пропасти на вас нет... хошь бы передохли все до единого! – кричала Анка на ораву ребятишек с утра до ночи. – Который помер – и слава богу, не мается сам и меня не тянет... А отцу что, хоть околеет мы тут, ему бы только вино. Ох, уж и жисть же только; как колесом по тебе ездят...

Несмотря на свою видимую суровость, необыкновенную скорость на руку и способность голосить, Анка была самой примерной женой и по-своему очень любила мужа и детей. Каждый новый детский гробок она оплакивала по месяцам, пока новый ребенок не отнимал у нее последние свободные от работы минуты. Савку за глаза Анка никогда не ругала и никому не жаловалась на свое положение, как делают другие бабы, даже напротив, она яростно защищала его пред общественным мнением Студеной и готова была перегрызть горло каждой бабенке, которая скажет что-нибудь нехорошее про Савку. «Он, Савка-то, ведь совсем особенный, не как другие...» – объяснила мне однажды Анка про мужа, и этим одним словом было сказано все.

Вот история Савки в коротких словах.

Шил в Кособродском заводе один мужик, по прозвищу Крохаль. Это был настоящий богатырь – высокий, плечистый, широкий в кости, с железной рукой; он в свободное от заводской работы время промышлял зверованьем и на своем веку залобовал за сорок медведей. Как все слишком развитые физически люди, старый Крохаль не получил соответствующего развития умственных способностей и даже был «слабоват головой»; избыток материи перевешивал в нем более тонкие психические отправления. Между прочим, этот медведь в человеческом образе испытывал какой-то панический ужас, когда ему приходилось идти в заводскую контору или к приказчику; Крохаль всегда говорил, что ему лучше идти один на один на медведя, чем к начальству. Извиняющим обстоятельством для старого Крохалья было только то жестокое крепостное время, когда на заводах с рабочими обращались, как с преступниками, даже хуже. По необъяснимой игре природы, у богатыря Крохалья был сын, лядащий мужичонко Савка Крохаленок, и, по еще более необъяснимой игре природы, в этом лядащем Крохаленке от молодых погтей проявились именно те самые душевные свойства, каких недоставало отцу. Начать с того, что Савка Крохаленок не боялся решительно никого и ничего на свете и гордо отстаивал свое «я» от всяких поползновений на его неприкосновенность. Сначала мальчишки, потом подростки и мужики – все узнали в Савке особенного человека, которого не тронь. Одним словом, Крохаленок оказался отчаянной башкой, которому везде было по колено море и все – трын-трава. Старики дивились в Савке его необыкновенному уму: он все понимал по-своему и все умел представить в самом смешном виде с той беспощадной иронией, на какую способны только особенные мужицкие мозги. Савка и говорил не как люди, а совсем по-своему, как говорят все талантливые выродки и отщепенцы: мысль выражалась полусловами, намеками, загадками, точно это была бурлившая горная речка, которая прокладывала себе извилистое течение через тысячи препятствий.

– Уж Савка скажет – как завяжет! – дивилось мужичье. – Мудреный, пес...

– Не больно завидно мудренее вас-то быть, – огрызается Савка. – Все вы, как бараны, друг за дружкой ходите... Всякий своего ума боится.

– А ты поживи за нас своим-то умом, Савка.

– И поживу.

Особенному человеку Савке скоро вышла и особенная судьба. Он работал на заводской фабрике, в кричной; на фабрике же при дровосушных печах работала и Анка. Что понравилось Савке в ней – трудно сказать, но только он крепко привязался к Анке и везде ходил за ней, как хороший гусь. Вероятно, эта связь прикрылась бы венцом и был бы тому делу конец, но, на беду Савки, не так вышло. Приказчик в Кособродском на ту пору случился Чернобровин, из крепостных служащих; это был благочестивый тихонький старичок, большой охотник до ядреных и рослых баб. Чернобровин увязался за Анкой и при помощи своих клеветов получил желаемое, то есть в одну прекрасную ночь Анка очутилась в господском доме, прямо в когтях благочестивого старца. Вся фабрика замерла в ожидании, что выкинет Савка Крохаленок по такому исключительному случаю. И Савка действительно выкинул: Чернобровина нашли задушенным в своей квартире, причем преступление было совершено среди белого дня с отчаянной смелостью. Наехал суд, и первым делом, конечно, схвачен был Савка. Несмотря на всевозможные подходцы и придирки, прямых улик против Савки суд не мог найти и до окончания дела препроводил Савку в острог. С этого момента в жизни Савки начинается ряд подвигов, прославивших его имя на несколько уездов: он шесть раз уходил из острога, наводил грозу на целые селения и снова попадался в острог благодаря своей слабости к родному гнезду и к своей Анке. Он не мог прожить больше году, чтобы не объявиться в Кособродском, и притом являлся всегда смело, с отчаянной энергией и замечательным хладнокровием.

– Уж знаю, что взловят меня, а иду домой, – рассказывал Савка. – Как в петлю иду и никого не боюсь. Чего мне было бояться, когда люди меня боялись хуже огня?.. Даже смешно в другой раз бывало над ихней глупостью!.. Приду в Кособродский ночью, прямо в кабак: отворяй!.. Целовальник трясется, как осиновый лист, только его не тронь, и прямо меня за стойку, как дорогого гостя – еще мне же кланяется... А там уж донесут в контору, потому караулят меня, ну, сейчас ударят на пожар, народ и повалит Савку ловить к кабаку. А на меня самое это зверство нападет: сижу в кабаке и не могу с места встать – так бы я всех этих дураков в крошки расшиб, потому бояться

одного человека. И уходил, из глаз у всех уходил, разве когда сонного возьмут.

– Как же ты уходил?

– Да так... больше по своей смелости, потому человек, ежели расстервенится, хуже он в те поры всякого зверя. Ну, кому свою-то голову охота было подставлять, да и крепостные тогда были, не по своей воле ловили меня, а тут еще свои дружки-приятели помогали. Где тут в свалке ночью-то разберешь – один крик да гам, как на пожаре, а я, глядишь, и вывернулся... Ну, а как воля пришла, этих самых приказчиков прежних не стало, лютовать-то не перед кем, ну, я сам пришел в острог-то и объявился. Таскали-таскали меня по острогам, а потом в подозрении оставили и выпустили, потому как большая неправда прежде по заводам была и утеснение народу. Много нас этаких-то в бегах состояло, по горам бродили, как олени... Нынче тихо все, потому уж не те времена.

– Ну, а Анка что?

– Анка?.. Конечно, вышел тогда с ней грех, только это грех подневольный, а тем море не испоганилось, что пес налакал...

Нужно заметить, что крепостное время с его варварскими порядками создало на уральских горных заводах два характерных явления, служивших как бы сторонами одной и той же медали: это заводские разбойники и заводские дураки. Около таких разбойников, на стороне которых были все симпатии населения, сложились целые легенды, но достаточно указать на тот факт, что прошло всего каких-нибудь двадцать пять лет воли, как те и другие совершенно исчезли вместе с создавшими их причинами. Так, Савка до воли состоял в бегах и наводил панику, как завзятый разбойник, а когда настала воля – он просто перешел в разряд тех «особенных» людей, каких выдвигает из себя крестьянский мир в виде исключений. И занятие себе Савка выбрал «особенное», ни от кого не зависящее – охоту. Заметим здесь в скобках, что для мужика собственно охоты, как удовольствия, в барском смысле этого слова, не существует, и даже самые слова «охота» или «охотник» считаются обидными, потому что господа стреляют всякую погань – куликов, воробьев и т. д.; мужик зверует, то есть, как старый Крохаль, бьет только зверя, или лесует, то есть, как Савка, бьет птицу и зверя. От старинных времен сохранился еще термин: ясачить, который часто употребляется на Урале, но не в

своим собственном смысле, то есть не в смысле добывания ясака. Савка отлично знал места на сто верст кругом и мог жить безбедно, промышляя лесованием, но его губила водка – он часто не доносил вырученных за дичь денег, за что и получал законную трепку от Анки.

– Уж супротив Савки не сделать, – говорили про него другие мужики, – его и птица всякая знает и зверь, потому как он слова такие знает... Ведь он того, не к ночи будь сказано: с нечистой силой знается.

В сущности Савка, как большинство настоящих охотников, был поэт в душе и крайне наблюдательный человек, которому до тонкости были известны все привычки, особенности и образ жизни каждой дичи. Он являлся настоящим хозяином в лесу.

– Зачем же ты пьешь так, что зоришь сам себя? – несколько раз спрашивал я Савку. – Ведь ты мог бы жить не хуже других?

– От зверства своего и пью... – коротко объяснял Савка. – Ведь ты у меня не был на душе-то у пьяного? То-то вот и есть, а я, может, жисти своей не рад... Как пойдут в башке круги да столбы, начнется тоска... Ох, да что тут говорить, барин!.. А то раздумаешься-раздумаешься...

Таков был особенный человек Савка, составлявший вполне органическое целое с своей Анкой.

IV

На шихане утром мы поднялись очень рано, потому что Савка обещал Слава-богу показать какое-то дупелиное болото сейчас под Лобастой горой.

В горах даже самые лучшие июльские утра очень холодны и нагоняют неприятную дрожь. Солнце подымается в туманной мгле горизонта багровым шаром без лучей, точно оно отделено от вас громадным матовым стеклом; утренний свет льется откуда-то сверху дрожащей волной, которая дробится мириадами искр в ночной росе, еще покрывающей траву и деревья. В логах колышется густыми массами туман: где-то из-за горы он всплыл кверху небольшим белым облачком. Зелень свежа и режет глаз своим блеском, как только что ограненный драгоценный камень. Все кругом дышит наливающейся

силой летнего дня, и вы чувствуете эту силу, как и то, что вы ничтожная пылинка в этом грандиозном концерте природы. Вздрагиваешь, надевая покоробившиеся за ночь охотничьи сапоги, вздрагиваешь, когда солнце ударит в глаза ослепляющим светом, вздрагиваешь от первого слабо дохнувшего ветерка, поднявшего накопившийся за ночь в лесу тяжелый аромат, а там стоит густая трава по пояс, которая промочит вас до нитки на нескольких саженьях пути.

– Важное утречко издалось... – говорит Савка, залезая плечами в свой пестрядинный мешок. – Пусть уже Карла погоняет куликов в болоте, ноги-то у него длинные.

Слава-богу совсем одет и уже красен, как зажаренный с кровью барашек. Обе собаки с нетерпением следят, как он надевает на себя патронницу и заряжает свою бельгийскую двустволку центрального боя; Веста слабо взвизгивает от радости и взмахивает хвостом, готовая сейчас ринуться в мокрую траву, опустив нос к земле.

– Пошла, Сафк? – спрашивает Слава-богу, опрокидывая серебряный охотничий стаканчик.

– А я, Карла Иваныч, этих самых куликов одинока набил целый десяток шапкой, – рассказывает Савка, трогаясь в путь своей развалистой походкой.

– Врать... – скептически замечает Иван Васильич, потягиваясь в седле и зевая.

– Ей-богу, сейчас помереть... Утренничек был этак в усленье пост, ну, им росой-то крылушки и заморозило. Я иду около болота, а они передо мной порх-порх... Взлететь-то и не могут. Ну, я снял шапку, да шапкой их и ловил.

Мы идем с Савкой впереди. За нами в линию вытянулись лесообъездчики; лошади фыркают и громко лязгают подковами по камням. Слава-богу молча сосет сигару, продолжая дремать в седле; объездчики тоже дремлют и потихоньку зевают. Шихан и пихтовая заросль остались позади, а перед нами крутой спуск с горы между россыпями. Вид на горы отсюда утром необыкновенно хорош. Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметно, как он дрожит и переливается в ярком утреннем свете солнца. Синевато-серая даль точно поднесена. Можно рассмотреть даже Кособродский завод, до которого от Лобастой верных тридцать верст; ближе спряталась в лесу Студеная, около нее серыми пятнами выделяются золотые прииски.

Лес в логах принимает какой-то фиолетовый оттенок, и только курени и поруби остаются светло-зелеными, – точно громадные заплаты. Глаз отдыхает на этой картине широкого простора, дышится так вольно, и является скромное желание подняться куда-то выше, в синеву неба, где черными точками плавают ястреба.

Между россыпями трава по пояс; белые шапки душистого белого шалфея, иван-чай и малина лепятся около самых камней, точно живая бахрома. В одном месте из-под куста жимолости вынырнул зайчонок и пустился наутек в траву; Веста вздрогнула, согнулась и, как пущенная из лука стрела, пустилась вдогонку за беглецом. Слава-богу спрыгнул с лошади и пустился бегом за собакой, выкрикивая хриплым голосом: «Веста, Веста... канайль!.. швейн!» Быстрая на бегу Веста совсем начала настигать зайчонка, но хитрая зверушка, спасая свой заячий животишко, сделала крутой поворот назад и стремглав полетела прямо на нас. Разбежавшейся собаке нужно было выгнуть большой круг, чтобы вернуться назад.

– Ох, барин!.. – вдруг крикнул Савка каким-то не своим голосом, пустившись бежать к Карле. – Ой, барин... стой!..

Но было уже поздно, Слава-богу успел выстрелить, и бедная Веста с диким воем упала в траву. Дальше произошло что-то необыкновенное: Савка подбежал к Слава-богу и как-то по-волчьи схватил его прямо за горло. Прежде чем объездчики успели опомниться, Савка уже катался по траве с Карлой одним живым комом. Когда мы подбежали на выручку, Слава-богу уже сидел на Савке и колотил его прямо по лицу своими красными кулаками.

– Бей, бей... – хрипел Савка, закрывая глаза. – Лучше меня бей.

– А... канайль... швейн!.. – ревел Карла, продолжая обрабатывать побежденного неприятеля. – Ты меня хотел убивайт... душил за горлом...

– И задущу... вот постой, немчура... я те покажу...

Мы кое-как растащили сцепившихся врагов, и странно было то, что Савка не отпускал немца, а не наоборот.

– Отцепись ты, дьявол! – кричал Иван Васильич, напрасно стараясь разжать судорожно скорченные руки Савки. – Точно клещ впился... Дьявол, тебе говорят: пушай...

– Бей меня, а то пса губить... живодеры, мошенники! – ревел Савка, продолжая барахтаться.

Пятеро здоровенных мужиков едва могли оторвать Савку. Слава-богу смотрел кругом ошалелыми глазами, не понимая, что такое случилось. Веста неистово визжала, ползая по траве.

– А шерт минэ взял... а шерт тебэ взял... Зачево минэ душиль?.. – спрашивал Слава-богу, повертываясь. – Стрелял мой собак... твой минэ душиль...

– У! нехристь... – шипел Савка, стараясь вырваться из рук объездчиков.

Этот неожиданный эпизод совсем расстроил нашу охоту. Слава-богу уехал с лесообъездчиками, а я остался с Савкой на россыпи. Этот странный человек долго молча лежал на траве и только вздрагивал своим тщедушным телом. Я принес ему воды в берестяном чумане и лег на траву; в десяти шагах от нас валялась убитая Веста, над которой уже начали кружиться какие-то зеленые мухи. Где-то в воздухе слышался ребячий крик коршуна и щекотанье польнюшки-матки, сторожившей на ягоднике свой выводок. Тихо-тихо набегал утренний ветерок, колыхал высокую траву и скрывался в лесной заросли с тихим шепотом. В траве стрекотали кузнечики и ползала всякая мелкая тварь, может быть жившая всего одним этим днем и поэтому особенно наслаждавшаяся самым фактом своего существования. По небу плыли легкие облачка, вытягивая за собой по горам длинные тени.

Савка безмолвно пролежал с полчаса, а потом сел и тяжело вздохнул. Лицо у него вспухло, один глаз совсем затек; на зипуне и на руках оставались кровавые пятна. Он ощупал что-то за пазухой и только покачал головой, а потом отправился к тому месту, где происходила свалка. Через несколько минут он поднял с земли маленький нож, который всегда носил за пазухой.

– Ишь ты, проклятый... вывалился из-за пазухи-то, – как-то в раздумье проговорил он, разглядывая нож. – Ну, счастлив Карла, а то я бы ему выпустил все кишки.

– Это из-за собаки?

Савка посмотрел на меня, отрицательно покачал головой и в прежнем раздумье заговорил:

– Не помню, из ума вышибло... Ах, барин, барин!.. Как это Карла нацелился в собаку, так у меня точно что порвалось в нутре... Не помню ничего, что дальше было, а только помню, как он меня по роже

лепил. Да мне это наплевать, а вот псицу жаль... Зачем он ее порешил без вины? Не могу я этого самого зверства видеть, потому во мне все нутро закипит... Ох, везде неправда, везде темнота, везде это самое зверство! Ты теперь разбери, барин, кто лучше: зверь или человек?

– Какой зверь, какой человек?

– А всякой... Зверь лютует с голоду, ему пропитал нужен, а так всякой зверь, как ребенок малый. Возьми ты даже медведя... На что волк лют, а и тот сытый не тронет. А вот человек-то не так... Он сытый-то еще, пожалуй, хуже... Верно! Лютости этой в человеке, зверства – пропасть... Я всякого зверя люблю, потому зверь справедливее завсегда человека. А уж касательно лошади али пса – так и говорить нечего... Я никогда не трону лошадь али пса, потому куда бы мы поспели без них? Конечно, говорят, что души в них нет только, а я так думаю, что хоть плохонькая душонка, да должна быть... Я тебе какой случай скажу. Ехал как-то через наш Кособродский завод один купец, он на ярмарку ехал. Денег при нем тыщи три было... Ну, остановился у знакомых мужиков, покормил лошадь, а лошадь у него своя была, преотличная лошадь. Уехал купец, а мужики, у которых он останавливался, больно озарились на его деньги, сейчас в погоню, догнали его, да и убили. Ну, убитого купца затащили в лес да в ширф и бросили, а сверху елочками закидали... Теперь куда с лошадыю деться, а лошадь дорогая, приметная. Эти самые убивцы взяли эту самую лошадь да к сосенке на цепь и приковали и на ноги железные путы надели. Думают, помрет на этом самом месте с голоду, – и конец всему делу. Хорошо... А лошадка-то три дня стояла у сосенки да грызла ее, да и перегрызла, а потом с путами-то поскакала домой. Семьдесят верст, сердешная, проскакала она в путах и прямо на двор к хозяину. Как увидали ее – все всполошились, конечно, и по следу назад поехали, потому из ног-то у ней кровь все лила по дороге, а она вперед идет и прямо в Кособродский к нам привела, к тому двору, где убивцы жили. Ну, народ, конешно, собрался, все признали лошадь-то и все на убивцев: признавайтесь... Помялись-помялись они и прямо миру в ноги: «Наше дело... мы убили купца. Простите!» Признаться признались, а куда убитого купца дели – не сказывают. Тогда опять эту самую лошадь пустили вперед... Что бы ты думал, ведь она повела: идет впереди, а народ за ней так валом и валит. Плачет народ-то, так это

жалостливо все вышло. Ну, привела лошадь к самой шахте, в которую купца бросили, и встала. Тут его и нашли... Так народ что тогда делал: ревмя ревели, не над купцом, а над лошадыю! Изгибла, сказывают, скоро, потому ноги себе путами извела...

– Почему же эти мужики не убили лошадь тогда, когда убивали купца?

– Ах, какой ты непонятный, барии... Человека-то, поди, легче убить, чем скотину, потому она безответная тварь, только смотрит на тебя. На купца, значит, рука поднялась, а на лошадь не поднялась. У нас в дому такой случай был. Жеребушечка у отца росла да ножку себе и сломала. Куда с ней, как не пришибить? Ну, отец взял винтовку, зарядил, пошел стрелять жеребушку – и воротился... Медведей бил, а жеребушку не мог порешить. Думали-думали, послали за одним пропойцем, Тишкой звать. Отчаянная-преотчаянная башка, настоящий душегубец... Ну, Тишка и говорит: «Ставь полштоф водки, тогда и жеребушку вашу порешу». Повели его в кабак, выставили полштоф. Тишка его выпил и к нам. Отец-то со страхов в избу спрятался и на крючок заперся. Ей-богу! Ну, а Тишка взял топор, замахнулся и бросил... «Не могу, говорит, рука не поднимается, хошь что хошь со мной делайте. Обрато вам полштоф ваш выставлю...» И выставил, а жеребушечка уж сама изгибла. Вот оно, барин, какое дело-то выходит. При всем нашем зверстве и то руки опускаются, а тут еще барин называется и пса стреляет. Пес-то, может, лучше его был...

В этом бессвязном рассказе Савки рельефно обрисовывались основания его оригинального мирозерцания. Сознание Савки было подавлено проявлениями человеческого «зверства» и «лютости»; его пытливый ум прилепился к безграничному лесному простору, и здесь, в мире животных, он находил погибшую в людях правду... Савку не страшили самые дикие проявления железного закона борьбы за существование в этом животном царстве, потому что для этого закона существовало разумное объяснение, как неизбежной, хотя и жестокой необходимости, тогда как человек проявляет свое зверство большею частью помимо этой необходимости, а только удовлетворяя своей жажде «лютовать».

– Теперь читал ты о великих угодниках, которые по лесам спасались? – допрашивал меня Савка. – К этим угодным человекам всякой лесной зверь приходил: и медведь и олень... Это как по-

твоему?.. Зверь-то понимает, что человек его лютее, и обходит человека. Никого так зверь не боится, как человека... А старухи говорят, что в звере нет души, а пар. Какой тут пар... Ты бы весной послушал, что по лесу делается?.. Стоишь этак, стоишь, прислушаешься, а лес-то кругом тебя точно весь живой: тут птица поет, там козявка в траве стрекочет, там зверь бежит... Уж больно хорошо птицы по весне поговаривают, точно вот понимаешь их, и так у них все хорошо выходит. А как припомнишь свое-то житышко да про других-то, господи милостивый, сколько неправды... Раз я этак-то слушал-слушал, точно очумел, а потом пляжу, вся рожа-то у меня мокрая: слезой проняло.

На Татарском острове они прятались уже четвертый день. Весенние ночи были светлые, теплые; где-то в кустах черемухи заливался соловей; речная струя тихо-тихо сосала берег и ласково шепталась с высокой зеленой осокой. По ночам, в глубокой ямке, выкопанной лётными в середине острова и обложенной из предосторожности со всех сторон большими камнями и свежим дерном, курился огонек; самый огонь с берега нельзя было заметить, а виднелся только слабый дымок, который тянулся вниз синеватой пленкой и мешался с белым ночным туманом.

Конечно, лётные, из страха выдать себя, не разложили бы огня, но их заставила неволя: один из троих товарищей был болен и все время лежал около огонька, напрасно стараясь согреться. В партии он был известен под именем Ивана Несчастной Жизни, как он называл себя на допросах у станowych и следователей. Теперь он лежал у огонька, завернувшись в рваную сермяжку, из-под которой глядело черными округлившимися глазами желтое, больное лицо. Изношенная баранья шапка закрывала лоб до самых бровей. Широкие губы запеклись, нос обострился, глаза светились лихорадочным блеском. Иван сильно перемогался и отлеживался в своей ямке около огонька, как отлеживается от лихих болестей по ямам, логовам и «язвинам» разное лесное зверье. Он не жаловался, не стонал, а только иногда сильно бредил по ночам – кричал, размахивал руками и все старался куда-нибудь спрятаться. В больном мозгу несчастного бродяги без конца шевелилась, мысль о преследовании.

– Опомнись, зелена муха, Христос с тобой! – уговаривал Ивана товарищ, длинный и костлявый «Иосиф Прекрасный». – Ночесь в воду было совсем бросился, ежели бы я тебя за ногу не сохватил... Как

начнет блазнить, ты сейчас молитву и сотвори. Я так-ту в тайге без малого недели с три вылежал, и все молитвой больше.

Иван приходил в себя, трясся всем телом и как-то разом весь опускался – это были последние вспышки сохранившейся в больном теле энергии, выкупаемые тяжелым расслаблением. После таких галлюцинаций больной долго лежал с закрытыми глазами, весь облитый холодным потом; он чувствовал, что с каждым днем его все более и более тянет к земле и он теряет последние крохи живой силы. Но, как ни было тяжело Ивану, он никогда не забывал своей пазухи и крепко держался за нее обеими руками; за пазухой у него хранилась завернутая в тряпье заветная «машинка», то есть деревянная шкатулочка с необходимым прибором для отливки фальшивых двугривенных.

– Иван, ты, того гляди, помрешь... – несколько раз довольно политично заговаривал Иосиф Прекрасный. – Отдай загодя нам с Переметом машинку-то, – с собой все одно не возьмешь.

– Поправлюсь, даст бог...

– Куды поправишься!.. Ей-богу, Иван, помрешь, верно говорю!.. А нам с Переметом далеко еще брести, веселее бы с машинкой...

– Не мели!

– Ну, зелена муха, не кочевряжься... говорю, помрешь!

Хохол Перемет не принимал никакого участия в этих переговорах, потому что вообще был человек крайне сдержанный и не любил болтать понапрасну. В партии он был всех старше и в свои пятьдесят лет сохранил завидное здоровье. Перемет больше всего любил лежать на солнышке, на самом припеке, закинув свою хохлацкую голову и зажмурив свои карие казацкие очи. В усах и в давно небритой бороде у него уже серебрилась седина. В трудных случаях своей жизни Перемет говорил только одно слово «нэхай», и тяжело принимался насасывать свою трубочку-носогрейку. Рядом с ним Иосиф Прекрасный казался каким-то вихлястым и совсем несуразным мужиком. Его рябое худощавое лицо, с белобрысыми подслеповатыми глазками отличалось необыкновенной подвижностью, точно Иосиф Прекрасный вечно к чему-нибудь прислушивался, как заяц на угонках. В нем именно было что-то заячье.

– Бросится уже в воду, да и утонет вместе с машинкой, зелена муха... – несколько раз поверял Иосиф Прекрасный свои опасения Перемету и зорко караулил больного товарища.

– Нэхай, – отцеживал хохол.

– А куда мы без машинки?..

Не раз, просыпаясь по ночам, Иосиф Прекрасный крепко задумывался над вопросом, как завладеть машинкой, и ему приходили в голову страшные мысли: представлялись размозженная голова, окровавленное мертвое лицо, судорожно сжатые бессильные руки... Но эта картина пугала самого Иосифа Прекрасного, и он начинал молиться вслух, чтобы отогнать смущавшего беса. Чтобы рассеяться от накипавших злых мыслей, Иосиф Прекрасный по целым дням бродил по Татарскому острову и по-своему изучал во всех тонкостях этот клочок, а главным образом – поселившихся на нем птиц. По этой части Иосиф Прекрасный был великий артист и отлично знал всякое птичье «обнаковение»: какая птица как живет, где вьет гнездо, какими способами обманывает своих врагов.

Больной Иван подозревал душевное состояние своего приятеля, но больше опасался молчаливого хохла, особенно по ночам, когда тот, завернувшись в старый полушубок, неподвижно лежал в двух шагах от него. Кто знает, что у такого человека на уме: молчит-молчит, да как хватит сонного камнем по башке – только и всего.

Сошлись они все трое случайно, в сибирской тайге, и хотя общая бродяжническая жизнь, переполненная общими приключениями и опасностями, сильно сближает людей, но они все-таки мало знали друг друга, потому что по какой-то особенной бродяжнической деликатности избегали интимных разговоров о том прошлом, которое всех их загнало в далекую и холодную Сибирь. Это последнее происходило отчасти потому, что бродяги редко говорят правду о себе даже друг другу, тем более что и сходятся они в маленькие артельки только на пути через Сибирь, а там, как перевалят благополучно через Урал, всякому приходится идти уже в одиночку.

– Братцы, шли бы вы вперед... своей дорогой... – несколько раз говорил слабым голосом Иван. – Я, может, долго залежусь.

– Лежи, знай, зелена муха, а мы отдохнем малость, – отвечал Иосиф Прекрасный за всех. – Слышь, по дорогам лётных не

пропускают... на трахту недавно человек двадцать пымали. Обождем, до осени далеко.

Разговор обыкновенно на этом обрывался, и лётные молча раздумывали, каждый про себя, свою думу.

Весенние ночи были коротки, но для больного, которому приходилось сторожиться от своих товарищей, они казались бесконечными. Стоило закрыть глаза, и начинались самые мучительные грезы: представлялся опасный побег с каторги, лица гнавшихся по пятам конвойных солдатиков, догнанный солдатской пулей товарищ по побегу, а там дальше следовало страшное блуждание по тайге, где приходилось дней по пяти сидеть без куска хлеба. Страшные таежные овода заедают человека насмерть, как это и случается с заблудившимися в тайге беглыми; рвет его таежный зверь, а всех их хуже таежный дикий человек, который охотится за «горбачом», – как называют там беглых, с винтовкой в руках... Все это представлялось больному бродяге с мучительной ясностью, и он в сотый раз переживал все муки и опасения, перенесенные им в бегах: душил его прямо за горла таежный медведь, выслеживал бурят, верхом на лошади, нацелившись винтовкой... Видел он квадратное желтое лицо с косыми глазами, и кровь стыла в жилах, потом видел громадную сибирскую реку, потонувшую в плоских мертвых берегах; видел, как горами шел по ней весенний лед, а он сам, с шестиком в руках, прыгал с одной льдины на другую, перебираясь на другой берег. Это была Обь... Иван Несчастной Жизни навеки было скрылся под расступившейся обской льдиной, которая пролотила бы его вместе с машинкой, но близко был берег, и бродяга выплыл. Пришлось идти в мокрых оледеневших лохмотьях: в холодной Оби и зачерпнул Иван свою болезнь, которую нес до самого Зауралья, куда рвалась его душа. Еще в тюремном каземате видел он вот этот самый Татарский остров и, наконец, добрался до него, но здесь последние силы оставили Ивана, и он даже не мог подняться на ноги, чтобы посмотреть на знакомый берег родной реки.

Так прошло целых три дня. Запасы кое-какие были, погода стояла отличная, и лётные пока ничего не предпринимали, наслаждаясь благословенным покоем. Да и пора было отдохнуть, потому что все они бродяжничали уж «близко полгода», – даже у здорового Филиппа Перемета, и у того по временам ныла каждая косточка.

На четвертую ночь Ивану пришлось особенно тяжело, и он лежал около огня в тяжелом полузабытьи. Ночь выпала ясная, немножко холодная, с сильной росой; над островом и над рекой стояла какая-то молочная мгла, чутко вздрагивавшая от малейшего звука. Кусты тальника, смородины и вербы, которыми порос весь остров, казались гораздо выше, чем днем, и сливались в большие темные массы. Где-то далеко, на берегу Исети, заливались два соловья. Иногда у самого острова глухо всплескивала вода, – это металась в заводи крупная рыба; где-то далеко-далеко, точно под землей, глухо лаяла собака. Иван иногда *глядел* на небо, усеянное звездами, и ему оно казалось громадной синей трубой, опрокинувшейся широким концом как раз над самым Татарским островом. Отяжелевшие глаза слипались сами собой, но ухо чутко сторожило малейший шорох, заставляя бродягу вздрагивать. То казалось ему, что к острову осторожно подплывает лодка, то в кустах слышались крадущиеся шаги и подозрительный треск. Больному «блазнило» вдвойне, и он смешивал галлюцинации с действительностью.

Перед самым утром, когда небо начало заволакиваться туманом, больной начал совсем засыпать, но над самой его головой жалобно пискнула маленькая птичка, выпугнутая из гнезда сонною. Это был скверный знак, и Иван только что хотел разбудить спавших товарищей, как на его плечо легла чья-то тяжелая рука.

– Не трожь... – прошептал чей-то голос, и из темноты над Иваном наклонилась сгорбленная широкая фигура. – Я с хорошим словом к вам пришел: мир на стану!

– Садись, так гость будешь.

– Я и то в гости пришел... – засмеялся гость и уселся к огню на корточки, по-татарски. – Сколько тут вас: трое? Так и есть. Эх вы, и бродяжить-то не умеете: разе бродяги по ночам огни раскладывают, а? Наши парнишки всю деревню переполошили. В ночном лошадей стерегли, а на острову дымок; ку, сейчас в деревню: «Лётные на Татарском острову...»

– Да вот неможется что-то, – около огонька все как будто способнее...

– Ну, это статья другая!.. – согласился гость и, не торопясь, принялся раскуривать свою трубку-носогрейку.

Спавшие бродяги проснулись, но продолжали лежать с закрытыми глазами, наблюдая ночного гостя с волчьей осторожностью.

– Ишь, дьявола, хотят дядю Листара обмануть! – весело проговорил гость и опять засмеялся. – У меня такой петушок был: засунет голову в поленницу и думает, что его не видно... занимательный был петушок... А вы, братцы, не сумлевайтесь: дядя Листар сам в лётных-то колотился годов с пять и всю эту музыку произошел, как же!..

– Ты из Тебеньковой будешь? – спросил Иван.

– Тебеньковский. Мир меня, значит, послал испытать вас, с добром или с худом вы пришли. Время летнее, в деревне только старые да малые, ну, чтобы баловства какого не вышло.

А я так про себя-то меречаю: чистые дураки эти наши мирские мужики...

Дядя Листар одним движением головы молодецкато передвинул свою шляпенку с уха на ухо и опять засмеялся хриплым смешком, прищутив свой единственный глаз. Лицо у него было сильно изрыто оспой, один глаз вытек и был закрыт ввалившимся веком; жиденьякая желтая бороденка плядела старой мочалкой. Одет он был в изгребную синюю рубаху домашнего дела и такие же порты. Широкая сгорбленная спина и длинные руки выдавали деревенского силача, видавшего виды, о чем свидетельствовал единственный глаз дяди Листара, который смотрел как-то особенно воровато.

Иосиф Прекрасный и Перемет поднялись со своих мест и подсели к огоньку, разглядывая дядю Листара исподлобья.

– Издалече будете? – спрашивал старик тоном своего человека.

– Ничего-таки... здорово отмахнули, – хвастливо ответил Иосиф Прекрасный, грея свои длинные руки над огнем. – Из-под Иркутскова буровим, третью тыщу доколачиваем.

– Так... Место знакомое: сам из-под Иркутскова уходил.

– Нно-о?

– Верно... Я тут конокрадством занимался, ну, одного человека и порешили грешным делом. По этому самому случаю меня и засудили, старые тогда суды были. Было-таки всячины... ох-хо-хо!

– А глаз куда девал? – спросил Иосиф Прекрасный.

– Это, милый друг, один кыргызь мне заметку оставил... ха-ха!.. В орде мы коней воровали у них, ну и тово, прямо копьем да в глаз кыргызь проклятуций и угадал. Так вот, дру-ги милые, пришел я к вам от своих: мир послал... опасятся насчет баловства. Обыкновенно – дураки, я про мужиков-то; лётные, как зайцы, чего их бояться... всякому до себя.

– Верное твое слово... Нам бы только до своих местов пройти, а не до баловства. Да вот Иван что-то больно разнемогся дорогой, да и на трахту, сказывают, тово...

– Насчет трахту не сумлевайтесь: пустое... – успокоил дядя Листар. – Конечно, не прежняя пора, ну все-таки ежели с умом, так хошь на тройке поезжай.

– А как в Шадринном ноне? – полюбопытствовал Перемет.

– В шадринском остроге? Дрянь дело: изгадили место совсем... Прежде шадринский-то острог все лётные даже весьма уважали: не острог был, а угодник. Первое – насчет харчу не стесняли, а второе – майдан...

– Слыхивали и мы, как же.

– Как не слыхать: первое место было для лётных... Сами бродяжки туда шли по осени, чтобы перезимовать. Шестьсот, семьсот душ набиралось... А нынче шабаш, строгости везде пошли... начальство тоже новое...

Лётные разговорились с дядей Листаром, как со своим братом, и рассказали, кто и куда пробирается: Иосиф Прекрасный шел на Волгу, в свою Нижегородскую губернию, хохол Перемет куда-то в Черниговскую, Иван Несчастной Жизни за Урал, в Чердынский уезд. Собственно, говорил один Иосиф Прекрасный, вообще большой краснобай по природе.

– Так, говоришь, ваши тебенковские сильно испужалиеь нас, а? – спрашивал он дядю Листара в третий раз. – А ты им скажи, своим-то мирским, что наше дело смиренное: передохнем малость и опять к своим местам поволокемся.

– Скажу, скажу... Дурачье эти наши мужики самые, правду надо говорить, – философски рассуждал дядя Листар, расставляя руки. – А того не сообразят, что все под богом ходим: сегодня я справный, самый естевой мужик, а завтра заминка вышла, и я сам в лётные попал... Это как? Понимать все это надо, а не то чтобы бояться. У нас в Тебеньковой эк-ту один брательник другого топором зарубил, ну, большая неустойка вышла; засудили сердягу, теперь тоже, поди, в лётных где-нибудь по Сибири мается.

– А много лётных через ваши места проходит?

– Страсть сколько: день и ночь идут... по одному, по два, по три. У нас насчет этого даже очень способно – никто пальцем не пошевелит бродяжку настоящего, а еще кусочек хлеба

– подаст. Не как в этой проклятущей Сибири – там, брат, травят горбачей, как зайцев. Эти желторотые сибиряки – сущие псы... А у нас у каждой избы такая полочка к окну пришита, чтобы на ночь бродяжкам хлеб выставлять. Бабы у нас жальливые насчет бродяжек... Вот разбойникам да конокрадам спуску не дадим, это уж точно!

В этой мирной беседе не принимал участия только один больной Иван; он лежал с закрытыми глазами и молча слушал болтовню лётных с дядей Листаром. Последнего он узнал по голосу и теперь старался не попадаться ему на глаза: еще узнает, пожалуй, и разблаговестит в Тебеньковой.

– Вы бы, черти, хоть землянку сделали, что ли, – говорил дядя Листар, собравшись уходить. – Мало ли какая причина: дождичком прихватит, росой тоже... не в пример способнее землянка-то, а то попросту балаган оборудуйте, У нас жить можно: народ естевой, не чета сибирским-то челдонам. Худого слова не услышите, ежели себя будете соблюдать... Только вот с писарем надо будет маленько сладиться, и чтобы прижимки какой не вышло. Наши шадринские писаря, как помещики: приступу к ним нет.

– Уж как-нибудь сладимся, зелена муха...

III

Татарский остров издали походил на громадную зеленую шапку. Река Исеть плыла здесь широким плесом, точно в зеленой бархатной

раме из вербы, ольхи, смородины и хмеля. Кругом, насколько хватал глаз, расстилалась без конца-краю панорама полей, сливавшихся на горизонте с благодатной ишимской степью; два – три кургана едва напоминали о близком Урале, откуда выбегала красивая Исеть, вся усаженная богатыми селами, деревнями и деревушками, точно гигантская нитка бус. Место было широкое и привольное, какие встречаются только в благословенном Зауралье, где весело сбегают в Исеть реки: Теча, Синара и Мияс, эти настоящие земледельческие артерии.

В полуверсте от Татарского острова, вниз по течению Исети, на плоском песчаном берегу, плотно уселось своими двумя сотнями изб богатое село Тебеньково. Издали красовалась белая каменная церковь; единственная широкая улица тянулась по берегу версты на две, как это бывает в настоящих сибирских селах. С тебеньковской колокольни можно было рассмотреть несколько других селений: верстах в десяти вверх по течению Исети горбились крыши деревни Чазевой; вниз по течению, прикрытое зеленым холмом, пряталось село Мутовкино; в стороне, где синел старинный башкирский бор, как свеча, белела высокая колокольня села Пятигор. Эту картину портило отсутствие леса – от прежних вековых лесных дебрей, на пространстве сотен квадратных верст, сохранился только пятигорский бор, жиденские березовые перелески, гривки и островки из смешанной зелени, прятавшиеся по логовам и оврагам. Зато полям не было краю – точно на диво развернулась сказочная скатерть-самобранка: ярко зеленели озими, желтели, как давно небритая борода, прошлогодние пары, черными заплатами вырезывались яровые.

– Эх, места-то, места сколько... – повторял с каким-то сожалением Иосиф Прекрасный, в котором сказывался великорусский пахарь. – Не то что в нашей Нижегородской губернии... кошку за хвост повернуть негде. Тут помирать не надо: во какие луга-то...

Татарский остров получил свое название в темные времена башкирских бунтов, когда на нем отсиживались воевавшие с русскими насельниками башкиры. Предание гласило, что эти защитники своей родины полегли костями на Татарском острове все до последнего. Вообще цветущий бассейн реки Исети в течение целого столетия, начиная с первого башкирского бунта, вспыхнувшего в 1662 году под предводительством башкирского старшины Сеита, и кончая

пугачевщиной, служил кровавой ареной, и весь этот благословенный простор залит реками башкирской крови. После окончательного замирения Башкирии прошло не более ста лет, и эта «орда» превратилась в настоящее русское приволье: на месте башкирских улусов, стойбищ, тебеневок и кошевок выросли русские деревни и развернулись крестьянские нивы, как на месте скошенной траву вырастает новая... Воспоминанием о поэтическом и воинственном башкирском племени сохранились в Зауралье только жалкие островки башкирского населения да башкирские названия русских сел, урочищ, рек и озер.

Май был на исходе, и весна разливала кругом свои чудеса со сказочною щедростью. А давно ли все кругом было мертво, как пустыня. Долго хмурится апрельское небо и точно не хочет улыбнуться первым весенним лучом; в засвежевшем упругом воздухе иногда начинают тихо кружиться пушистые снежинки; но весна берет свое – на бугровых проталинках зеленой щетиной пробивается первая травка, везде блестят на солнце лужи вешней полрой воды, сердито и весело буравят землю бесчисленные ручьи, снег сползает к оврагам и водородинам, пухнет, чернеет, покрывается ржавыми пятнами и ледяными кружевами. Дольше всех не сдается скованная толстым льдом река, пока наливающаяся в воздухе, томящая весенняя теплынь не выгонит поверх льда желтые наледи, промоины и широкие полыньи. Первыми вестниками наступающей весны являются грачи, скворцы, жаворонки; за ними прилетает разная водяная птица, как только реки и озера дадут закраины; за водяной птицей летит болотная, позже всех прилетают лесные птицы. Усталые вереницы пролетают тысячи верст, делают короткие становища, кормежки и высыпки, и опять летят вперед, туда, на север, где хмурится низкое небо и в синеватой мгле тонет бесконечная лесная полоса, которая разлеплась широкой зеленой лентой от одного океана до другого. Сколько миллионов перелетной птицы погибает напрасною смертью в этот длинный путь через моря, горы, пустыни и леса! Иная, выбившись из сил, попала в море, иная погибла от голода, иная сделалась жертвой тех хищников, которые зорко стерегут перелетные станицы на каждом шагу и провожают почетным конвоем. И хищная птица, и снег, и зверь, и холодный ветер, а всех больше человек – истребляют миллионы беззащитной твари; но могучий инстинкт

сильнее всех этих препятствий, и птичья армия каждый год с точностью, которая недоступна даже лучшим машинам, начинает свое переселение, точно двигается вперед какая-то стихийная сила.

Теперь уральская весна была в полном разгаре, и все кругом жило какую-то напряженную жизнью. Наперекор предсказаниям Иосифа Прекрасного, Ивану Несчастной Жизни вдруг полегчало – это было чудо животворящей весны... Больной мог сидеть, ел и вообще превращался в здорового человека. Он каждый день по несколько раз обходил Татарский остров, смотрел сквозь кусты на знакомый берег Исети, на расстилавшиеся родные поля, тебеньковскую колокольню и чувствовал, как по его желтому лицу катились счастливые слезы, слезы безыменного бродяги, который имел такое же значение в общем строе жизни, как фальшивый двугривенный или письмо, отправленное по почте без адреса. Но ведь и он, Иван Несчастной Жизни, мог, сколько душе угодно, слушать, как по ночам жалобно курлыкали журавли, бродившие по тебеньковским пашням, как на заре кричали на Исети своим диким криком лебеди, как куковала где-то далеко-далеко сирота кукушка; мог смотреть, как над деревней, над полями, над рекой широким винтом поднимались злые коршуны, зорко высматривавшие свою добычу. На Татарском острове тоже день-деньской копошилась разная птичья мелюзга, заливаясь своими песнями; ласточки, синички, малиновки, черемушники гнездились в кустах; по песчаной отмели проворно бегали черныши-бекасы и серые зуйки, грациозно покачиваясь на своих тонких, как проволока, ножках; в прибрежном коряжнике было два утиных гнезда, в осоке по ночам долго скрипел коростель. У Иосифа Прекрасного была вся птица на счету, как у хорошего хозяина; лётные не трогали птиц.

– Это господам забава – беззащитную тварь бить, – любил рассуждать Иосиф Прекрасный, сидя у огонька. – Птица-то проснется и сейчас бога славит – вот ты на нее и гляди, что она названием-то птица. Зверь – тот не умеет угодить богу, потому, какая у него песня: либо завоюет, либо залает, либо захрюкает, а птица на все голоса выводит. Птица, брат, вольная тварь – первая родня нашему брату, лётному... Ее господь умудряет за ее простоту, потому она и место свое знает лучше другого человека – самая махонькая птичка, и та вот знает. Нет, ее, брат, не обманешь. Кому, значит, что дано: одному такая

часть, другому другая; а место у каждого свое должно быть; ну, его к этому самохму месту и волокет, потому как божеское произволение...

Действительно, между перелетной птицей и лётным существует роковая аналогия: та же стихийная тяга к своему месту, те же становища, высыпки, кормежки, с тою разницей, что для каждого лётного опасность этого рокового пути удесятывается тысячью препятствий специально человеческого существования. Самая хитрая и вороватая птица, по сравнению с самым простым и глупым человеком, является полнейшим ничтожеством и выкупает свое глупое птичье существование только колоссальной плодовитостью; параллельно с этим и опасности птичьего перелета в миллион крат меньше того, что выносят лётные. Мы приведем только страшную цифру ежегодно ссылаемых в Сибирь в каторгу и на поселение, именно пятнадцать тысяч человек, итак идет из года в год; а между тем из всех ссыльных, по вычислениям сибирской статистики, в Сибири остается всего пять процентов... Куда же деваются остальные девяносто пять процентов? Мы можем сказать утвердительно, что большинство бежит... И если первый путь в Сибирь является специфическим русским *via dolorosa*^[47] то этот *второй*, обратный путь является беспримерным явлением, получающим благодаря своей численности, правильности и постоянству глубокое историческое значение. И так каждый год, точно льется широкая река...

В общем лётные – самый жалкий и забитый народ, так что в деревнях их не боится никто. Встречаясь на дороге с проезжающими, бродяги еще издали снимают шапки, кланяются и – самое большое – попросят хлеба. Среди сельского населения у бродяг создалась известная репутация, которою все они страшно дорожат. Мы отметим здесь тот знаменательный факт, что едва ли где-нибудь так хорошо относятся к бродягам, как в богатом Зауралье. В коренной Сибири бродяг недолюбливают, называют обидным именем «варнаков» и эксплуатируют всякими способами; в свою очередь, бродяги ненавидят желторотых сибиряков и называют их «челдонами». Зато в Зауралье им настоящий отдых; а река Исеть представляет из себя настоящий бродяжнический тракт. Беглых вы здесь встретите на каждом шагу, и это самый безвредный народ, несмотря на те страшные преступления, за которые некоторые из них пошли в Сибирь. Здесь сам собой выступает вопрос о преступлении и

наказании, и важно то, как он разрешается людьми образованными и народом. Не безнадежная испорченность или неисправимо злая воля толкает большинство преступников на путь преступления, а сцепление роковых случайностей, которыми так богата на каждом шагу наша русская жизнь... Только крайнее меньшинство лётных, именно лётные разбойники, представляются исключением из общего правила, и к ним применима тяжелая кара закона. Какая масса никому не нужных страданий устранилась бы сама собой, если бы, с одной стороны, русская жизнь поменьше создавала роковых случайностей, а с другой – наши следователи, судьи, прокуроры и присяжные умели и могли отличать действительно несчастного преступника от закоренелого злодея. Простой народ понял и разрешил этот вопрос с присущим ему здравым смыслом: женская рука, которая каждый вечер кладет на полочку к окну кусок хлеба лётному, в этом простом человеческом! движении неизмеримо чище и выше всех мудрых и сильных.

Нам нужно сделать оговорку, именно, что не следует смет шивать лётных разбойников и лётных бродяг. Разбойники держатся особняком, как своего рода аристократия, и «работают» каждый в свою голову. Это слишком сильный народ для стадного образа жизни, притом разбойники всегда стараются замаскировать себя: купцом, писарем, солдатом, мужиком и т. д. Лётные бродяги совсем другое дело: они являются под своим собственным именем: бродяга так бродяга...

IV

При помощи дяди Листара у лётных быстро завязались правильные сношения с деревней. Первым отправился в Тебеньково, конечно, Иосиф Прекрасный и первым делом зашел в кабак к Родке Беспалому, где его уже поджидал дядя Листар. Кабак стоял на выезде; вывеской ему служила прибитая к коньку и давно порыжевшая елка.

– Добро пожаловать... – здоровался Беспалый, разглядывая Иосифа Прекрасного своими быстрыми, совсем круглыми глазами. – Суседи, видно, будем?

Беспалый засмеялся жиденьким, тонким смехом, который уж совсем не шел к его толстому брюху и широкому, лоснившемуся бородатому лицу; свое прозвище он получил за отрезанные на левой руке два пальца.

– У генерала Кукушкина служил в полку... – поддерживал веселый тон сидельца дядя Листар. – Дай-ка нам чего потеплее, чтобы добрым людям завидно было.

Кабак помещался в обыкновенной крестьянской избе, а для удобства посетителей дверь была проделана прямо на улицу. Несмотря на то, что, по летнему времени, дверь стояла настежь, в кабаке было темно, особенно когда войдет человек с улицы. Страшная грязь, вонь, избитый, как в конюшне, пол, грязная стойка, грязные стаканчики из пузыристого мутного стекла и у стены грязная лавка, на которой сидели посетители... Чаше других бывал здесь, конечно, дядя Листар: охотник он был выпить, особенно на чужой счет, так как свои деньги не держались у старика. «Не с деньгами жить-то, а с добрыми людьми...» – говорил дядя Листар, подмигивая своим единственным глазом.

– Мимо меня лётные-то не проходят, – говорил Беспалый, когда Иосиф Прекрасный спросил для куражу целый пол-штоф. – Ох, много их идет из Сибири... Ну, с устатку и завернут к Родьке нутро поправить. Тоже назябнутся, да наголодаются, да натерпят всякой муки-мученицкой, оно живого человека и тянет к теплу... другому и так подашь стаканчик.

– Из сливок?^[48] – поправил дядя Листар.

– Всяко бывает... другой раз цельного отломишь.

В кабаке Беспалого Иосиф Прекрасный познакомился с разными тебенёвскими мирянами, и все оказался народ самый хороший: два брательника Гуциных, рыжий и весноватый Мирон-кузнец, обдерганный и забитый мужичонка Сысой, два Гаврилы, степенный и обстоятельный мужик Кондрат и т. д. Сначала мужики немного косились на Иосифа Прекрасного, а потом разговорились, и только один Кондрат, засунув руку за опояску, как-то загадочно улыбался в свою окладистую русую бороду.

– Как с вами быть-то: живите пока... – говорил кузнец Мирон, а ему поддакивали другие мужики. – Кругом лётные перебиваются по летам: кто на покосах по избушкам, кто себе балагушку пригородит.

– Лётные, как комары: до осени... – смеялся Родька Беспалый. – Первым снежком их, как метлой, выметет. Все в Шадринском будут... Угодник на угоднике: Елкин, Кустов, Кольцов – не найти концов.

Мужики добродушно смеялись над лётными, выпили лишний стаканчик по такому случаю, и знакомство завязалось.

– Вот как насчет баб?.. – заметил Кондрат в самый разгар беседы. – Летняя пора – и за грибами и за ягодами ходят... Чтобы неустойки не вышло какой.

Иосифу Прекрасному ничего не оставалось, как божиться и клясться, что они и близко к бабам не подойдут, что им это самое дело наплевать, а уж если такая нужда застигнет, так и Шадринск не за горами – там этого харчу сколько угодно. Дядя Листар кусал свою бороду и ничего не говорил, потому что настоящему мужику нехорошо болтать о таком пустом предмете, – ему даже было немножко совестно за степенного Кондрата, которому не следовало себя срамить. Эка невидаль – бабы!.. Уж тут что ни говори, а если тебеньковские бабенки гуляют со своими парнями, так будут и с лётными гулять: солдатка Степанька, кривая вдов-а Ф им ушка, заматавшаяся девка Улита, да мало ли их наберется по деревням?

За Иосифом Прекрасным к Беспалому пришел Филипп Перемет и сразу понравился всем, потому видно, что обстоятельный человек: напрасно слово не молвит и компанию поддержать может. Особенно близко Перемет сошелся с кузнецом Мироном, потому что и сам близко знал всякую кузнечную работу.

Один Иван Несчастной Жизни оставался все еще на Татарском острове, потому что едва ходил, да и то задыхался через каждые десять шагов. От нечего делать он городил вместе с Иосифом Прекрасным летний балаган, в котором можно было скрыться по крайней мере от дождя.

Первыми на Татарский остров явились деревенские белоголовые ребятишки; они сначала наблюдали лётных с берега и только потом решились переправиться на остров. Это были самые бойкие из всей деревенской детворы. Семка, сынишка старшего брательника Гущина, Авдошка Сысойкин, Кулка Родькин и с ними же приплелась семилетняя девчурка Сонька. Мальчишки совсем не заметили, как она перебралась за ними через реку на остров, и были очень сконфужены ее обществом.

– Сонька, подь домой... прибьем!.. – кричал Кулка, первый озорник. – Ишь, сопливая, туда же за ребятами...

Он схватил девочку за тонкое плечо и больно ее толкнул. Сонька заревела, но за нее вступился Иосиф Прекрасный, умевший ладить с ребяташками.

– Не трожь ее, ребята, – говорил он буянам). – Ты чья будешь, девочка, а?... Ах ты, зелена муха...

– Фе... фе... кли-и... стина, – всхлипывая и закрыв лицо руками, ответила Сонька. – К мамке хочу...

Девочка опять расплакалась. Но Иосифу Прекрасному не стоило особенного труда утешить ее: он посадил Соньку к себе на колени и принялся выделывать на губах такие трели, что девочка сейчас же засмеялась чистым и доверчивым детским смехом. Иван лежал в балагане и видел всю сцену: имя Фекли-сты заставило его вздрогнуть; но он не вышел из балагана и только издали разглядывал белокурую головку девочки с заплаканными глазами. Сонька была в одной старой выбойчатой рубашонке, открывавшей до самых колен исцарапанные, желтые от грязи и загара ноги; *и* спине у нее болталась скатавшаяся косичка; тонкая шея была совсем коричневая, лицо запачкано, и только одни глаза, как две звездочки, сияли тихим ясным взглядом.

Эта детвора быстро освоилась на Татарском острове и с детским эгоизмом одолевала Иосифа Прекрасного тысячью просьб: наладить удочки, поймать птаху, поиграть на губах, вырезать пииульку помудреннее, рассказать сказку пострашнее. Перемета и Ивана ребята боялись и только с любопытством поглядывали на них издали. Угождая ребяташкам, Иосиф Прекрасный через них быстро разузнал всю подноготную Тебенковой: какой поп, кто богатые мужики, какой писарь, когда лётные проходили и т. д.

Из мужиков раньше других пришли брательники Гуцины, здоровые и молчаливые мужики, про которых шла не совсем хорошая молва, особенно про большака: знали брательники с башкирскими конокрадами, трактовыми ворами, пошаливавшими на шадринском тракте. Гостей лётные угощали водкой.

– Ничего, славно здесь у вас, – говорил меньшак Гуцин, заглядывая в балаган к Ивану. – Летом-то даже очень любопытно... тоже вот балапушку приспособили. Ну, Иван, как ты здоровьем-то?

– Да ничего... полегчало будто.

– Чердынский, говоришь?

– С той стороны...

– Та-ак, – недоверчиво протянул меньшак и переплянул с большаком. – Только говорё-то у тебя не подходит маненько...

– Смешались мы говорём-то... – подхватил Иосиф Прекрасный, желая выручить товарища. – В остроге-то всякого жита по лопате наберется, – ну, какое уж там говорё.

После Гуциных приходил кузнец Мирон, Сысой и даже заглянул степенный Кондрат, обнюхавший весь остров. Лётные принимали всех мужиков одинаково и всех угощали водкой. Водка выпивалась исправно, и мужики повторяли: «Ничего, живите пока». Дядя Листар, конечно, наведывался чаще других и сам припрашивал водки. Пьяный, он разбалтывал все, что говорят в деревне мужики относительно лётных.

– Тебе бы, Иван, показаться в деревне-то... – советовал старик. – А то сумлеваются (мужики-то... Конечно, по плупости по-ихней, – не понимают, что хворый человек... Заверни, как ни на есть, к Родьке, только и всего. Поглядят и отстанут... дураки, одно слово.

Иван так и сделал – сходил в кабак показаться тебеньковским мужикам, и этим устранились все подозрения: его никто не узнал, да он и сам себя, вероятно, не узнал бы – так болезнь его перевернула.

– Обличьем-то ровно бы ты на одного нашего мужичка подходишь... – заметил один Родька Беспалый, взглядываясь в Ивана. – Брательники тут у нас были, Егор да Иван; еще неустойка у них тут большая вышла: Иван-то порешил Егора, топором зарубил.

– Бывает... – глухо соглашался Иван, желая сохранить спокойствие, – мало ли человек на человека походит. В чужую скотину вклепываются.

– Да ведь я так, к слову сказал.

Иван произвел на тебеньковских мирян известное впечатление, как человек особенный и уж совсем не чета Иосифу Прекрасному. Мужики умеют сразу определить нового человека по самым ничтожным признакам, и в этом случае не ошиблись.

Иван резко выделялся своей спокойной уверенностью, известным мужицким тактом и особенно тем, что умел быть самим собой. Он не заискивал, не подделывался под чужой тон, а держался просто, как всякий другой мужик. Иван отлично понимал, что, как бы хорошо к

нему ни относились тебеньковские мужики, для них он отрезанный ломоть, чужой человек, которого терпят из милости, и что при первом «поперечном» слове его выгонят в шею. Эта мужицкая милость была ему тяжела, как медвежья лапа, которая может раздавить каждую минуту. Одним словом, он как-то сразу невзлюбил этих тебеньковских мужиков, которые могут так свободно расхаживать у себя по деревне, заходить к Беспалому и вообще держать себя совсем независимыми людьми. А главное, что им от него нужно: бродяга, и конец делу.

По вечерам на Татарском острове часто собиралась целая компания, особенно «частили» брательники Гуцины, приносившие с собой свою водку. Около огонька просиживали до зари и болтали о разных разностях, причем лётные разузнавали все, что им нужно было знать: какие и когда лётные прошли через Тебеньково, кто содержится в шадринском остроге, кто из лётных перебивается по окрестным деревням, на покосах в избушках, какие партии прошли в Сибирь и т. д. Центром этих известий служил кабак Родьки Беспалого, куда захаживали почти все беглые.

– А сколько знакомых наберется, зелена муха, – умилялся Иосиф Прекрасный, перебирая клички лётных. – Только вот этих Елкиных да Иванов Непомнящих больно уж много развелось, и не разберешь.

Когда компания развеселялась, Иосиф Прекрасный затягивал сибирскую острожную песню, которая обошла, кажется, всю Россию:

Как по речке, да по быстрой,
Становой едет пристав...
Ох, горюшко-горе,
Великое горе!..
А с ним письмоводитель –
Страшенный грабитель.
Ох, горюшко-горе,
Великое горе!..
Едут по великому делу:
По мертвому телу...

Голос у Иосифа Прекрасного был высокий, нежный, как поют одни нижегородцы, и он выводил заунывные рулады с особенным

усердием, а остальные подхватывали припев, такой же печальный и тяжелый, как неприветливая необозримая Сибирь с ее тайгой, болотами, степями, снегами, пустынными реками и угрюмым населением неизвестного происхождения.

– Ох, и люблю я эту песню... – каким-то слезливым голосом признавался дядя Листар и всякий раз лез целоваться с Иосифом Прекрасным. – Огонь по жилам идет...

– Отцепись, зелена муха!.. – протестовал Иосиф Прекрасный, защищаясь от этих ласк. – Разве я девка... тьфу!

V

У дяди Листара своей избы не было, он ее давно промотал и жил теперь у вдовы Феклисты, которой помогал управляться с хозяйством. В кабаке Беспалого иногда лукаво подмигивали насчет отношений Листара к Феклисте, хотя всем было хорошо известно, что Феклиста баба строгая и содержит себя «матерней вдовой» крепко-накрепко. Это была видная, высокая женщина лет под сорок, с загорелым лицом и плоской грудью, какая бывает вообще у деревенских баб, истомившихся на тяжелой крестьянской работе. Ходила Феклиста в темных ситцевых сарафанах или попросту в изгребном синем дубасе, а голову по-вдови прикрывала темным платочком с белыми горошинами.

Феклиста держала за собой мирскую землю и потому вытягивалась на работе, как лошадь, чтобы управляться и с домом, и с пашней, и с покосом. В доме не было мужика, и Феклиста прихватила дядю Листара, который хотя и пьянствовал большую поло-вину года, но все-таки помогал в такую пору, как деревенская страда.

– Погоди, вот Пимка подрастет, тогда не пойду в люди кланяться, – грозилась Феклиста, когда дядя Листар очень уж надоедал ей своим пьянством. – Чтой-то за мужик: либо лодырничает, либо в кабаке губы мочит. Одно божеское наказание, а не работник..

– Ну, ну, размыргалась... – ворчал дядя Листар, стараясь куда-нибудь уйти с глаз от Феклисты. – На свои пьем... а работа от нас не уйдет, еще почище другого трезвого-то сробим.

С работой Феклиста кое-как справлялась, хотя колотилась, как рыба об лед; но ее сокрушало то, что ее вдовьи руки никак не доходили до дома – изба и двор, все начинало медленно разрушаться, как это бывает в захудавших сиротских домах. Некому было поправить валившуюся вереву, приколотить отставшую «досточку», наладить расползавшиеся на крыше драницы, починить прясло в огороде, а тут еще амбарушка покосилась, на сеновале обвалились стрехи и т. д. Мало ли в крестьянском хозяйстве таких мелочей, за которыми нужен хороший хозяйский глаз, а где же одной бабе управиться? Постоянно болело Феклистино сердце от этих хозяйственных прорех по дому, и все надежды возлагались ею на девятилетнего Пимку – «вот Пимка подрастет, тогда все выправим».

У Феклисты после мужа осталось пять человек детей; но трое умерли: господь сжалился и прибрал сирот, как говорила Феклиста. Оставалось всего двое, мальчик и девочка, «красные детки», как говорят крестьяне. Маленькую Соньку мы уже знаем, брат Пимка был старше сестры всего года на два, но он, как все деревенские сироты, плядел гораздо старше своих девяти лет и держался настоящим мужиком. С деревенской детворой он почти не связывался совсем, а больше промышлял около дома, помогая матери своими детскими руками. Нужно было видеть, с каким сердитым видом он ходил у себя по двору, когда обряжал лошадь, задавал скотине корму и вообще хозяйничал, как настоящий большой мужик. Детские серые глаза смотрели серьезно, говорил Пимка мало, с тем мужицким тактом, чтобы не сказать слова зря, и очень редко улыбался. Сонька, по плупости, еще бегала по улице с другими деревенскими ребятишками, а Пимка только по праздникам выходил за ворота и то больше смотрел, как играют другие.

– Работника себе растишь, Феклистушка, – говорили тебеньковские мужики, и эта мужицкая похвала заставляла ее краснеть. – Славный у тебя парнишка выравнивается, не чета нашим-то сорванцам.

Всего интереснее было, как Пимка держал себя с дядей Листаром. Когда старик приходил домой пьяный, мальчик делал такой вид, что совсем не замечает Листара, хотя тот изо всех сил старался перед ним выслужиться.

– Ишь, опять шары-то (глаза) как налил, – говорил Пимка, смягченный пьяной угодливостью старика. – Добрых людей не совестно, так хошь бы стен постыдился, пропащая башка.

– А я, думаешь, рад этому самому вину? – объяснялся дядя Листар коснеющим языком. – Да я не знаю, что от себя отдал бы, чтобы не видать его, вина-то... отраву это нашему брату... Да...

– Никто не неволит отраву-то лопать...

– А-ах! Ббожже мой!.. Да я... да мне плевать... Трекнусь (отрекусь) от водки – и конец делу!.. Вот какой дядя-то Листар, вот ты и пляди.

– Как же, сказывай, трекнулся... Такой и человек, – с невыразимым презрением говорил Пимка.

Феклиста часто посмеивалась про себя, слушая откуда-нибудь из-за косяка, как Пимка доезжает пьяного Листара, точно комар, который жужжит над одуревшей от летнего жара скотиной. Но это была одна видимость, а в сущности Пимка и Листар были большие друзья, и Пимка больше льнул к пьяному мужику, чем к матери, перенимая от него всякую мужицкую ухватку. Дядя Листар по-своему очень любил «мальца» Пимку и учил его всякому мужицкому делу как по дому, так и в поле. За это пьянице Листару спускалось Феклистой очень многое, хотя она не одну сотню раз клялась выгнать его из избы.

Известие о лётных, засевших на Татарском острове, в избу Феклисты принесла белоголовая Сонька, а потом дядя Листар. Феклиста отнеслась к этому событию совершенно равнодушно, потому что мало ли лётных бредет по Исети каждое лето.

– Поживут, да и уйдут... – говорила Феклиста с соседками, забежавшими поделиться деревенской новостью.

– Двое-то были в кабаке у Беспалого, – тараторили бабенки перед Феклистой. – А третий, бают, хворый лежит; Гущины пирога с морковью послали, молодайка-то, которая за Митр нем.

Но потом к Феклисте зашла Степанида Обросимовна, жена богатого мужика Кондрата, и засиделась дольше обыкновенного. Правда, старуха закинула какое-то заделье, но Феклиста сердцем почуяла, что Степанида Обросимовна неспроста растабарывает с ней о разных пустяках. Да и какая у них компания: семья Кондрата богатая, а Феклиста – бедная. Конечно, и раньше Степанида Обросимовна не брезгала Феклистиной беднотой, потому как еще со

стариками дружила сильно, ну, а все-таки недаром накинула она на себя простоту. Только когда «вежеватая» и степенная старуха заговорила о лётных, Феклиста поняла сразу, куда гнула она, и ее точно что укололо в самое сердце.

– Это ты насчет нашего-то Ивана речь закидываешь? – предупредила Феклиста вопрос.

– Нет, я так, к слову молвила. Может, и ваш-то Иван тоже с лётными где-нибудь бродяжит.

Этот же разговор повторился с Аксиной, женой кузнеца Мирона; потом с соседкой Фролихой, у которой двое сыновей было в солдатах, со стряпкой попа Ампадиста, Егоровной, с любовницей волостного писаря Калиныча, известной в Тебеньков вой под именем Лысанки, потому что она зачесывала свои рыжие волосы назад, по-городскому.

«Да что они в самом деле пристали ко мне, верченые? – раздумалась Феклиста не на шутку и даже всплакнула про себя. – Дался тебе этот Иван... Может, и бродяжит, я почему знаю!..»

Но, как ни старалась Феклиста отогнать беспокоившие ее мысли, – они лезли ей в голову, как летний овод.

Разыгравшаяся в семье Корневых тяжелая драма была очень несложного характера, как все крестьянские драмы.

Феликста выросла в сиротстве и была единственной дочерью Никитишны, больной старухи, изморившейся на работе по чужим людям. Эта Никитишна всегда на что-нибудь жаловалась, и не проходило дня, чтобы не попрекнула свою дочь, что вот другим бог посылает же парней, а у нее всех-на-всех одна девка. Ну, куда девку повернешь? Корми и воспитывай, а потом, глядишь, девка и улетела. Чужой товар эти девки, и больше ничего.

– Вон у Корневых двух сыновей растят, замена будет старикам-то, – жаловалась Никитишна и тяжело вздыхала.

Корневы были соседи. Семья у них была небольшая, но достаточная, – муж с женой, старик, дедушка Афоня (по деревенскому прозвищу Корень), и двое ребяташек: Егор да Иван. Дети маленькими выросли вместе, на одной деревенской улице, и Феклиста часто бывала у Корневых. Когда она сделалась подростком, меньшак Иван был уже шестнадцати лет. Детское знакомство перешло в привязанность, а затем в более сильное чувство. Часто им

приходилось вместе и работать, и хороводы водить, и на супрядках сидеть. Феклиста была смиренная и работающая девка, а к шестнадцати годам она расцвела тем трудовым здоровьем, какое бог посылает иногда сиротам. Красива она не была, но деревенские парни не обегали ее своим вниманием, и Феклиста износила много синяков от деревенских кавалеров, как и они от нее. Иван Корнев был все-таки на особом счету, и деревенские свахи в один голос повторяли, что быть Феклисте за Иваном Корневым. То же думала и сама Феклиста и старая Никитишна, хотя последняя и любила поговорить, что Корневы найдут невесту побогаче Феклисты.

Корневы действительно послали к Никитишне сватов, только присватались за большака Егора, а не за Ивана. Взвыла и забунтовала Феклиста на первых порах, не хотелось идти за немилого, но ничего не поделаешь – старики столковались между собой, и Феклисту никто не спрашивал: хочет она идти за Егора или нет. Корневым нужна была в дом хорошая работница, потому что сама старуха начала сильно прихварывать и не успевала справляться с хозяйством. Так и вошла Феклиста в новый дом, и сейчас же была завалена такой кучей новой работы, что ей даже дохнуть некогда было, не то что раздумывать о своем милом. Одних мужиков в доме было четверо, да еще свои дети пошли, тут приходилось вертеться колесом целые дни напролет, как работают одни деревенские бабы. Муж у Феклисты был хороший, работающий мужик, хотя и крутенок, особенно под пьяную руку.

Иван молчал и, видимо, старался избегать Феклисты, хотя сделать это было и трудно, особенно по зимам, когда вся семья скучивалась в одной избе. На счастье или на несчастье подвернулась рекрутчина, и Корневым приходилось выставлять солдата, а на очереди был Егор. Вся семья взвыла; у Феклисты уже было двое ребятишек, и она ходила по дому с опухшими от слез глазами. Крепко задумался Иван над неожиданной страшной бедой и порешил идти в солдаты за Егора – все равно, только бы дальше от Феклисты. Когда он объявил свое решение семье – первая, с воем и причитанием, повалилась ему в ноги Феклиста вместе с ребятишками.

– Не для вас иду, а для себя... – ответил Иван и даже отвернулся.

Крепкий был парень этот Иван, какой-то совсем особенный против других деревенских парней, но, видно, уж такая судьба задалась, чтобы быть ему под красной шапкой. Так он и ушел на

тяжелую солдатскую службу и целых пятнадцать лет тянул свою лямку где-то в уездном городишке. Даже на побывку он не ходил в Тебеньково, чтобы напрасно не тревожить себя и Феклисту, а через пятнадцать лет вышел вчистую, да еще фельдфебелем. Дед Корнев и старики успели к этому времени умереть, а всем хозяйством «руководствовал» Егор с Феклистой. Жили они исправно, и Иван поселился на первое время у них, потому что куда же солдату деваться в деревне. Дело было как раз зимой, работы никакой не было, и Иван отдыхал после солдатчины, да, сказать правду, он и отвык за время службы от тяжелой крестьянской работы. Сначала все шло хорошо, Егор был рад благополучно вернувшемуся брату, пока кто-то не намекнул ему на прежние отношения, Ивана к Феклисте. Одним словом, между братьями пробежала черная кошка, хотя оба молчали и старались не подать виду.

Как теперь Феклиста помнит тот роковой день, когда корневский дом пошатнулся до основания и она осталась вдовой с пятью ребятишками на руках. Это было в воскресенье, сейчас после зимнего Николы. Братья, оба, только что пришли от обедни, и Феклиста подала им горячий пирог с соленым максуном. Егор что-то был не в духе и все косился на брата.

– Ты что это на меня так глядишь? – спросил, наконец, Иван.

– А и то пляжу, что мастер ты, Иван, чужой хлеб есть, – отрезал Егор, да еще прибавил: – Работы пока от тебя не видали, а за стол садишься первый...

Это несправедливое слово обожгло Ивана, как огнем, но он сдержался и промолчал. Егор не унимался и начал прямо ругаться. Между братьями завязалась тяжелая мужицкая ссора. Слово за слово, а потом ссора перешла в драку. Феклиста бросилась было разнимать братьев, но Иван успел схватить лежавший под лавкой топор и раскроил им череп брательнику.

Дальше все было в каком-то тумане: следствие, суд, потом каторга. Корневский дом одним ударом точно раскололся надвое: большак Егор убит, меньшак Иван ушел в Сибирь, а Феклиста опять осталась сиротой, и не одна, а с целой оравой ребят.

– Прости меня, ради Христа, Феклиста... – повалился Иван в ноги снохе, когда его с партией отправляли по этапу. – Бес попутал...

– Бог простит, Иванушка... – плотая слезы, ответила Феклиста. Она не жаловалась, не плакала, а точно вся застыла. С тех пор об Иване не было ни слуху ни духу.

VI

Разговоры тебеньковских баб растревожили Феклисту, и она начала чего-то бояться, хотя сама не знала чего. Даже работа валилась у нее из рук, а по ночам она тяжело стонала.

Дядя Листар часто возвращался домой поздно ночью и, чтобы не тревожить Феклисту, уходил в старую избу, где раньше по зимам держали телят. Раз, проснувшись ночью, Феклиста услышала, что в задней избе как будто кто-то потихоньку разговаривает. Она сначала подумала, что это бормочет Листар сам с собой, но потом ее взяло большое сомнение – пьяный человек, приведет кого-нибудь с собой; пожалуй, еще избу подпалят с пьяных-то глаз.

– Пьянчугу какого-нибудь привел, кривой пес... – ругалась Феклиста, направляясь в сени.

Действительно, в задней избе разговаривали двое – один голос был Листаров, а другой... Прислушавшись, Феклиста вся вздрогнула и едва устояла на ногах: она узнала голос Иваиа. Да, это был он, Иван... Феклиста несколько раз уходила из сеней в свою избу и пробовала даже уснуть, но тут было не до сна, и она решилась, наконец, войти к Листару.

– Ты что это полуночничать-то вздумал? – сердито заговорила Феклиста, отворяя дверь в заднюю избу. – Нет тебе, пьянице, дня-то?..

– Ведь встала-таки, учуяла-таки... а?.. – удивился дядя Листар, стараясь загородить локтем стоявшую на лавке посудину с водкой. – Ну, чего ты пришла? чего не видала?.. Думаешь, больно испугались?.. Вот сидим и водку пьем... а?.. Шла бы ты лучше, Феклиста, да спала бабьим делом...

– Не мели, мелево... Здравствуй, родимый, – поздоровалась она с Иваном Несчастной Жизни, который сидел у окна. – С острову, видно?

– С острову... лётный, – глухо ответил Иван и как-то весь побелел, точно его ударило чем прямо в сердце.

– Дружок мой! – объяснял дядя Листар, ожидавший от Феклисты большого гонения. – Я сам, Феклиста, опять бродяжить пойду... верно!.. Да ты это что, Иван, помучнел весь?..

– Так... неможется все... ослабел я...

– И то от хвори... это бывает.

– Дальний будешь? – спрашивала. Феклиста, чтобы вывести лётного из неловкого положения.

– Не так, чтобы очень... а порядочно-таки... – замялся Иван.

– Так он тебе и сказал, Феклиста... как же!.. – бормотал дядя Листар, болтая головой. – Хошь стаканчик колупнуть за компанию?

– Отстань... Не привыкла я зря вино-то изводить, да и какая такая радость у тебя, Листар, чтобы вином-то наливаться?

– Вот и пошла взъедаться... Ступай спать, Феклиста, ей-богу...

Изба была освещена сальным огарком, и в первую минуту Феклиста не могла узнать Ивана и даже подумала, что ей просто «поблазило» со сна. Но, взглядевшись в сидевшего у окна лётного, она больше не сомневалась – это был Иван, только такой худой, желтый, – краше в гроб кладут. На нем был надет подержанный чекмень; на лавке лежала войлочная шляпа, какую носят мужики. У Феклисты весь страх как рукой сняло, когда она увидела Ивана, – не прежнего молодого Ивана, а вот такого больного и жалкого. Только одни темные глаза у него светились по-прежнему: «ндравный» был человек, «карахтерный».

– А ты бы, Листар, еще полштофчик выправил... – говорил бродяга, приглядывая пустую посудину к свету. – Вот и деньги...

– Н-ооо? И то выправлю... Поди, спит Беспалый-то, дьявол, да я у него из горла выну.

Дядя Листар полетел в кабак, как был – без шапки, на босу ногу и в одной рубахе. В избе несколько времени длилось тяжелое молчание.

– Узнала?.. – первым спросил Иван.

– Узнала, родимый, по голосу узнала и до смертушки устрашилась, а взглянуть на тебя охота. Ох! Страсть-то какая!.. Да и перед Листаром-то боялась ошибиться, больно уж он на язык-то слаб... Не узнали тебя наши-то... деревенские?

– Нет, Беспалый маненько вклепался было, да потом отстал... Да и где узнать: мало ли нашего брата, лётных, в кабаке у него перебивается за лето!

– Узнают, родимый, беспременно узнают...

– Ну, и пусть узнают: все мне едино... – Убег, – и все тут.

Феклиста продолжала смотреть на него пристальным; упорным взглядом и не замечала, как по ее загорелому лицу катились крупные слезы.

– Ну, перестань реветь, Феклиста... – сурово оговорил ее Иван. – Дело надо говорить... Не прогонишь меня-то?

– Чего мне тебя гнать-то, Иванушка: сам уйдешь... Не таковское твое дело, чтобы разживаться в деревне-то... Царица небесная, заступница, вот как довелось свидеться-то! То-то у меня все сердечушко истосковалось да исщемилось... бабы все тут болтали про лётных, а на меня тоска напала, страх, сама не своя стала. Вот и теперь... поговорить бы надо, а в голове-то все измешалось...

– Второй раз я убег с каторги-то... – говорил Иван, опустив голову. – В первый-то раз сменялся за пять целковых, ну, да бегать еще не умел – скоро пымали и опять в острог. Непомнящим сказался... Иван Несчастной Жизни. До осени проживу на острове, а там видно будет... Трое нас.

– Слышала, все слышала...

– Шел сюда, думал, спокой себе найду, а тут другое... Не плянута мне мужики ваши, Феклиста, сейчас терпят, а чуть что – в шею... Пожалуй, незачем были бежать в такую даль... Ну, а ты как тут живешь?..

– Ох, не спрашивай: плохое мое дело, руки не доходят, а помощники-то сами до чужого хлеба. Видел Соньку? Ну, Пимка старше будет года на два, а других ребятишек прихоронила. Ох, плохо, Иванушка, к кому это сиротство привяжется: сиротой выросла, сиротой и помру.

Вернувшийся из кабака Листар прервал этот разговор. Феклиста еще немного посидела в избе и собралась уходить.

– Засиделась я с вами, полуночниками, – проговорила Феклиста. – Ты, Листар, не гони лётного-то, пусть переночует в избе али в сарае, коли плянется...

– И то, Иван, заночуй у нас, ишь Феклиста-то как размякла для тебя... она ведь баба добрая, только ругаться больно люта.

– Ну, замолот!.. – остановила его Феклиста.

– Нет, я на остров уйду, – решил Иван. – Еще увидят мужики-то, болтать будут... Спасибо на добром слове, Феклистушка.

Дядя Листар был в самом веселом настроении, размахивал руками и постоянно подмигивал своим единственным глазом. Ивану было не до водки, и Листар за разговором пил стаканчик за стаканчиком, облизывался и, наконец, заявил, – что он сам уйдет в лётные.

– Ей-богу, уйду, Иван!.. – кричал он и хохотал хриплым хохотом. – Что мне, плевать на все... погуляю еще. У нас тоже был эк-ту один случай! И смеху только... Ха-ха!.. По осени как-то на трахту ловили бродяжек, ну, для порядку, значит. Ну, в одной деревне и пымали отставного солдата... Каков человек есть? Ну, обнакновенно: Иван Кругом Шашнадцать... А стали его обыскивать, у его солдатский пачпорт, правильный пачпорт. Оказия!.. «Зачем ты, служба, лётным сказался?» Тут уж он и повинился во всем: «Я, байт, вчистую вышел, пошел в свое место, – ну, дорогой-то обносился! Да и пить-есть надо... А какие у солдата средства! Помаялся-помаялся и придумал: скажусь лётным, потому лётному-то скорее подадут». Так и шел в свою сторону... Ха-ха! Вот оно как бывает, Иванушка... И я тоже бродяжить пойду, плевать!..

Феклиста слушала эту пьяную болтовню и ые могла никак заснуть. Очень уж тяжело ей стало, даже слез не было, а так – давит всю, точно камнем.

«Убивец ведь он, Иван-то, а я его пожалела... – раздумывала Феклиста на тысячу ладов, и ей опять делалось страшно. – Мне и глядеть-то на него не следовало, а я пожалела... Владычица небесная, заступница, прости ты меня, окаянную!.. Измешалась я разумом...»

Дальше Феклисте представлялись лица Соньки и Пимки, которых Иван осиротил, и ей делалось совестно перед собственными детьми, но вместе с тем накалило у нее на самом сердце мучительное чувство разраставшейся жалости к несчастному бродяге. Бог его наказал и люди тоже, а какая она ему судья? Второй раз из каторги побег, разве легко ему, а что он за человек: не к шубе рукав. Пришел поглядеть на свои места, а вот снег падет, и все лётные по острогам разбредутся, кто куда. Феклисте мерещилось это больное желтое лицо, темные упрямые глаза, и сквозь ворох беспорядочно шевелившихся в ней мыслей и чувств начинало просачиваться сознание того, что ежели

разобрать правильно, так она, Феклиста, виновата во всем. Ведь не выйди тогда она за Егора, жили бы братья как следует, а тут родители захотели на беду по-своему сделать. Не переступила Феклиста родительской воли, покорилась да целую семью и извела. Великий, незамолимый бабий грех... Припомнились ей темные ночи, когда она выходила к Ивану в огород, целовалась и миловалась с ним, потом летние хороводы, зимние посиделки, нечаянные встречи на покосе, когда ночь казалась короткой, и вот чем все это кончилось.

Страшное отчаяние напало на Феклисту, и она была на волосок от сумасшествия. Всю ночь она продумала до зари, и чем дольше думала, тем тяжелее ей делалось.

VII

Ивану Несчастной Жизни было не легче Феклисты, хотя его горе было несколько другого характера.

Наученный горьким опытом неудачного побега, он в течение шести лет прошел целый подготовительный курс, как бежать, какими дорогами. На каторге были настоящие профессора по части бродяжничества, которые выходили из заключения десятки раз. Иван терпеливо ждал своей очереди и, наконец, выждал удобного случая для бегства.

Мы уже говорили выше, с каким трудом и опасностями сопряжен путь через тайгу, горы, пустыни и сибирские реки, пока Иван добрался до своего места, добрался больной, разбитый, полуживой.

Но именно здесь, в своем месте, с Иваном случилось нечто такое страшное, что было ужаснее самой каторги и чего он не рассчитал раньше, как не рассчитывают этого все тысячи лётных. Он почувствовал это *страшное* в избе Феклисты, когда она ему сказала: «Сам уйдешь». В самом деле, куда и зачем шел Иван Несчастной Жизни? Вот и свое место – родные нивы, река, деревня, мужики, – и что же?.. На каторге Ивану были лучше, и он даже пожалел, что бежал. В каторге было, конечно, тяжело, но скитаться лётному с места на место было еще тяжелее, потому что он, Иван, не был ни разбойником, ни завзятым бродягой. Его тянуло на волю, на простор, как тянет всякое живое существо, и вместе с тем эта воля для него

заклучалась там, в своей деревне. Теперь деревенский мир являлся перед его глазами во всей своей трудовой обстановке, как он строился еще дедами и прадедами, – ничего не было здесь лишнего, каждый винт делал свое дело, а отдельный человек являлся только ничтожной частицей громадного живого целого и только в этом целом имел смысл и значение, как нитка в пряже или звено в цепи. Каждая крестьянская душа выстраивается по этому порядку и только благодаря этому порядку знает, что хорошо, что дурно: радуется, горюет, надеется, плачет, молится и – главное – чувствует себя на своем месте. А что же такое он теперь? Ивана давила не внешняя обстановка бродяжнической жизни, а сознание, что он лишний человек на белом свете, как выдернутый зуб или как отвалившийся от горы камень, и что у него даже настоящего горя не может быть, как у той же Феклисты.

– Ты чего это, Иван, как будто не в себе? – спрашивал Иосиф Прекрасный. – Скушной такой...

– Нездоровится...

– Попользоваться можно... Старушка такая есть в Пяти горах; сказывают, в лучшем виде может хворь из человека выжить.

– Ну ее к черту!

– А то вон кузнец Мирон тоже мерекает малость, ежели человек с глазу мается или чем испорчен.

Иосиф Прекрасный и Перемет, кажется, чувствовали себя очень хорошо и совсем не торопились уходить с Татарского острова, ссылаясь на разные предлоги; они были счастливы именно тем, что впереди у них оставалась надежда дойти до своего места, и совсем не рассуждали о том, что их ждет в своем месте, как больные, которые живут изо дня в день. Перемет пристроился к кузнецу Мирону, у которого и работал в кузнице; Иосиф Прекрасный промышлял по-своему около тебеньковских мужиков, а больше сидел в кабаке у Беспалого.

Сначала лётные жили на счет тебеньковской милостыни, которую обыкновенно Иосиф Прекрасный раздобывал через сердобольных баб. Так прошло недели две, бабы привыкли к лётным, и милостыня пошла ту же. Пришлось пустить в ход заветную машинку, хотя Иван прибегал к этому средству только в самых критических случаях. Производством двугривенных он занимался всегда секретно и не любил, чтобы за ним

подглядывали. Заберется, как волк, куда-нибудь в чашу, разведет огонек в ямке и орудует. Да и фальшивых двугривенных он отпускал как раз столько, сколько было необходимо, что особенно возмущало Перемета.

– И чего вин ее бережет, тую машинку! – удивлялся хохол и ругал Ивана «пранцеватым кацапом».

Фальшивую монету сдавать в Тебеньковой было очень опасно: как раз узнают; поэтому с оловянными двугривенными отправлялся обыкновенно Иосиф Прекрасный куда-нибудь в окрестные деревни, где были кабаки побойчее. Предварительно эти двугривенные вымазывались дегтем или вылеживались в сыром месте, и только когда они принимали вид подержанной монеты, Иосиф Прекрасный пускал их в оборот, причем весь секрет заключался в том, чтобы как можно больше получить сдачи медными. Про эти операции как-то пронюхал Родька Беспалый и сейчас же предложил свои услуги: он брал оловянные двугривенные исполу с большим удовольствием.

– Что вы мне раньше-то, дьяволы полосатые, не сказали? – ругался Родька, пересыпая на руке фальшивую монету.

– Ишь ты, зелена муха, какой гладкий; тоже всяко бывает с таким монетом: в другой раз и в шею накладывают. А нам что за расчет с острову-то уходить...

– Да разве я стану их в Тебеньковой менять-то? Тоже и у нас не две головы...

– Ну, ну, зелена муха, смалкивай...

– То-то, смалкивай... Ведь это фарт!^[49]

Как политичный человек, Родька Беспалый совсем не любопытствовал, откуда у лётных оловянные двугривенные. Впрочем, кто же скажет на свою голову, да и Родьке это был «один черт»...

Точно так же обойден был и другой щекотливый вопрос, о котором говорил Кондрат: ни Перемет, ни Иосиф Прекрасный даже близко не подходили к деревенским бабам и девкам, но зато по ночам на Татарском острове появлялись то Улита, то кривая Фимушка. Деревенские парни, конечно, знали об этом, но не подавали никакого вида, что подозревают что-нибудь, потому что кому охота вязаться за таких пропащих бабенок и срамить себя. Иван обыкновенно уходил куда-нибудь, когда на острове появлялись эти приятельницы лётных.

С Феклистой Иван виделся довольно часто, хотя старался у нее бывать так, чтобы не особенно бросалось в глаза посторонним. Обыкновенно он отпраплялся из кабака вместе с Листаром. Придет в избу к Феклисте, сядет куда-нибудь на лавочку и молчит, как пень. О прошлом не было сказано ими ни одного слова, точно это прошлое вовсе не существовало. Только иногда Иван замечал, что Феклиста со стороны следит за ним таким жалостливым взглядом и точно немножко опасается его. Когда Феклисты не было дома, лётный любил заниматься с ребятами, особенно с белоголовой Сонькой, которая напоминала ему его собственное детство, когда Феклиста была такой же маленькой девчуркой и бегала по улице с голыми ногами, в такой же выбойчатой рубашонке.

– Дяденька, тебя почто лётным зовут? – спрашивала иногда Сонька, забавно вытараща свои светлые глаза.

– А хорошо летаю, Сонька, вот и стал лётный... – отшучивался Иван.

– А кусочки ты берешь, которы мамка на полочку кладет?

– Нет... другие берут.

Иногда Сонька своими детскими вопросами заставляла бродягу краснеть – ей все нужно было знать. Пимка, наоборот, держался с Иваном настоящим волчонком и все хмурился; в нем уже проявлялась скрытая мужицкая хитрость даже тогда, когда он смеялся своим детским смехом. Иван понимал, что сойтись ему ближе с Пимкой было невозможно: в этом мальчике, как в капле воды, отражалось то органическое недоверие к лётному, каким была пропитана вся деревня, несмотря на видимую доброту и снисходительность. Этот маленький мужик в незаметных мелочах умел показать свое мужицкое превосходство над бездомным бродягой и давил его своими детскими ручонками. Между Иваном и Пимкой завязалась глухая, молчаливая борьба, совсем незаметная для постороннего глаза. Мальчик умел вовремя обидно промолчать, иногда сосредоточенно ухмылялся про себя, а при случае отвечивал крупную мужицкую грубость.

Раз, например, Пимка накладывал в телегу навоз, что было еще совсем не под силу его детским рукам; Иван взялся за лопату и хотел ему помочь.

– Не трожь!.. – закричал Пимка и весь покраснел от охватившей его злости.

– Тебе же хотел помочь... как знаешь.

– Знаем мы вашего брата, помочникоз!.. Тоже выискался!

– Да ты что, Пимка, в сам-то деле зря лаешься?

– Уйди от греха... об тебе давно сибирские-то остроги плачут. Кольем вас надо попужать, варнаков. Хлеб чужой только задарма едите. Я вот и Листара в три шеи выгоню... Ишь, нашел себе дружков, одноглазый дьявол.

Феклиста, понятно, не могла не видеть такого поведения Пимки, и к ее сердцу подступала самая глухая тоска. Указать сыну она в этом деле не могла, как не могла объяснить ему все начистоту. Кривой Листар пробовал по-своему уговаривать Пимку, но из этого ничего не вышло, – Пимка так «расстервенился», что бросился на старика с палкой и даже ударил его.

– Осатанел, постреленок... – добродушно смеялся Листар, почесывая спину в том месте, по которому ударил Пимка. – Ишь ведь какое собачье мясо уродилось!.. И что это помешал ему Иван?.. Оказия, ребята, да и только... Глазенки-то так и горят, вот поди ты с ним.

Одним словом, с появлением Ивана в Феклистиной избе началось то «неладное», что отравляло жизнь всем.

– Боюсь я этого Пимки, рождения своего боюсь... – стыдливым шепотом говорила Феклиста Ивану. – Ведь все я слышу, как он фукает на тебя... надо бы закликнуть, выдрать, а я не могу. Сама же и боюсь его, а велико ли место еще и весь-то парнишка... И что это он привязался к тебе, Иванушка?.. Так я думаю: чует сердчишко у Пимки отцовскую-то кровь... вот он и встает на дыбы перед тобой. Сонька-то вон совсем еще несмысленная, а тоже как глядит плазенками-то на тебя... да и на меня глядит. В другой раз даже совестно станет.

– Уйду я, Феклиста, от греха... – говорил Иван, опустя голову. – Может, тебе легче будет... Не могу я... тошно мне.

Разговор происходил ночью, в огороде. Небо было точно подернуто легкой синеватой дымкой, звезды искрились, с реки тянуло сыростью. Феклиста стояла, прислонившись к пряслу спиной; Иван сидел на траве. При колебавшемся месячном свете он мог отлично видеть это загоревшее грубое женское лицо, которое вдруг точно

дрогнуло, Феклиста глухо рыдала. Она слишком долго крепилась, и теперь ее разом прорвало.

– Перестань, Феклиста, ну тебя... – заговорил Иван, чувствуя, как у него слезы подступают к горлу и душат его. – Уйду, и все тут... Свет-то не клином сошелся.

– Иванушка, голубчик, куда ты уйдешь-то?

– В скиты к кержакам уйду... а то поверну обратно в Сибирь, там богатые челдоны любят держать беглых, ежели у кого рукомесло... Не пропаду, не бойсь.

– Сказывают, на золотых промыслах в орде^[50] много лётных-то укрывается.

– Нет, на промысла не рука нашему брату... В тайге этого добра много: битва, а не житье. У кержаков в скитах лучше будет.

– Иванушка, не гоню я тебя... ох, тошнехонько!.. И что я за несчастная такая уродилась... Мне и жалеть-то грешно тебя, а я еще стою вот с тобою здесь!.. Моченьки моей не стало... А как подумаю, что ты, Иванушка, убивец, да еще какой убивец-то – страшно слово вымолвить! Теперь вот перед своими детишками казнюсь я денно и ношно!

– Все одно: в Тебеньковой мне не жить, Феклиста. Обидно на других-то плядеть. Пока мужики не трогают, а все в виноватых состоишь. Уж лучше в чужом месте маячить...

– До осени-то хоть оставайся...

– До первого снега проживу на острове.

Долго Феклиста плакала и не стыдилась своих слез.

VIII

Наступила страда. Травы уродились хорошие, погода стояла ведреная, и всякая рабочая рука ценилась на вес золота. Лётные с острова перебрались на покосы, и теперь везде их принимали как дорогих гостей. Перемет работал на покосе у своего благоприятеля, кузнеца Мирона, Иосиф Прекрасный переходил от Родьки Беспалого к братьям Гуциным, от Гуциных к Кондрату, от Кондрата к писарю Калинычу. Деревни стояли пустыми, а зато на всех покосах, по низинам и поймам, широкой волной катился настоящий праздник –

с утра до вечера сверкали косы; ровными рядами покорно ложилась высокая, душистая трава; от свежего сена далеко несло ароматной струей, точно самая земля курилась благовониями. Народ трудился по берегам Исети, на заливных лугах, по моче-жинам, в ложках. По ночам, как светляки в траве, мигали веселые огоньки; около них собирались семьи, тут же бродили спутанные лошади, стояли телеги с поднятыми оглоблями, и весело катилась от одного покоса к другому проголосная песня.

– Ну-ка, Иванушка, поробим, благословясь, – весело говорил дядя Листар, принимаясь за косу. – Ноне господь уродил не траву, а шелк.

В страду даже Листар «стрекался» от водки и работал, как медведь, за исключением «помочей», когда он исправно напивался до полного бесчувствия. Иван Несчастной Жизни работал с Листаром на покосе Феклисты. Место было отличное, на самом берегу Исети; расчистил его еще старик Корнев, Широкий луг, копен на восемьдесят, одним краем упирался в реку, где под прикрытием развесистой вербы был устроен балаган. Рядом шел покос старика Гаврилы, который вышел в поле сам-пят: сам да четыре сына. Семья была на подбор, и весело было смотреть, как Гаврилычи поворачивали тяжелую страдную работу. В крестьянской страде таится великая трудовая поэзия, которая охватывает даже самых ленивых. Бродяги давно отвыкли от нее, но их захватил общий поток, и в каждом заговорила мужицкая кровь. Особенно ряд был Иван, взявшись за косу со слезами на глазах. С него точно спала какая шелуха. Он теперь был такой же мужик, как и все другие, – страдная работа всех сравнивала, как траву под косой. Первые дни Иван заметно отставал от Листара, а потом начал работать наравне с ним и даже перегнал его. Сам старик Таврило похвалил бродягу за чистую работу, а такая похвала дорого стоила – нужно быть артистом страдной работы, чтобы понимать все ее тонкости.

– Где это ты наловчился... а?... – спрашивал старик Таврило, внимательно поглядывая на бродягу. – В остроге-то у вас трава не растет... Чистенько робишь, хошь кому впору. Загонял совсем Листара-то.

– Тебя бы, дедка, столько-то колотили, как меня, так ты и косу-то позабыл бы, как в руках держать, – оправдывался Листар. – Места ведь живого во мне нет...

– За дело колотили – не балуй.

Феклиста была тоже весела и работала наравне с мужиками; Иван часто любовался, как она шла по полосе рядом с ним – деревом, а не баба. Настоящая работница, не чета другим бабенкам, которые поленивались-таки из-за мужей. Пимка не мог косить, а больше управлялся около лошади, помогал ворошить подсыхавшую траву и с нетерпением ждал, когда поспеет гребь. Возить копны на старом гнедке было для него настоящим торжеством. Он теперь не косился больше на Ивана – очень уж хорошо работал бродяга, недаром похвалил дедко Гаврило. Маленькая Сонька тоже льнула к Ивану и часто засыпала где-нибудь в траве около него. Вообще на Феклистином покосе царил тоже праздник, как и на других, хотя она сама не верила своему счастью и ждала какой-то беды, как все много выстрадавшие люди.

И беда была не за горами. Половина покоса была убрана, оставалась вторая. Феклиста стала замечать, что дядя Листар как будто что-то держит у себя на уме. Старик перестал работать по-прежнему, несколько раз добывал себе где-то водку и видимо переменялся к Ивану. Раза два он приходил на покос совсем пьяный и пролежал в кустах целый день.

– Ты никак, Листар, рехнулся умом-то? – заметила ему Феклиста.

– Смалкивай... У Листара побольше твоего ума-то, – огрызнулся старик, а потом засмеялся. – Что выпучила на меня бельмы-то?.. Нет, брат, Листара не проведешь... не объедешь на кривой кобыле... Рехнулся... Да у меня ума-то на всю деревню хватит, да еще останется. Вот он какой, Листар-от.

Феклиста поругалась, махнула рукой и отступилась: кривой черт, видимо, сбесился. Да теперь с Иваном и без него можно управиться. Оставалось подкосить копен ня десять да убрать старую кошенину, которая сохла четвертый день.

– Как это я раньше-то не договорился... а? – бормотал про себя Листар, посасывая трубочку. – Свалял дурака... Ловкие тоже эти лётные!.. Видно, хлебцем вместе, а табачком врозь... Право, псы! Хоронятся от Листара, а его не проведешь... Теперь прямо сказать: откуда у них деньги? Ну-ка, скажи! Нет, брат, тут фарт! Ишь, богачи завелись... Должно быть, у кого-нибудь машинка, а у другого не у кого быть, как у Ивана... уж это верно. Сам лётным был, тоже понимаю...

Право, варнаки после этого... Нет, чтобы с кривым Листаром поделиться. «На, старичина, получай свою плепорцию...» Вот он какой, дядя-то Листар!.. А Феклиста – дурища, и больше ничего.

Подвернулась помочь у писаря Калиныча. Все лётные работали у него, два дня и ничем не выделялись от других тебенёвских мужиков. Дядя Листар, конечно, напился, как стелька, и явился на покос Феклисты в лучшем виде, напевая какую-то мудреную песню:

Девки в лес по хворост, Я за ними пополоз...

– Эк налакался, кривой пес... – ворчала Феклиста. – Обрадел чужому-то вину, бесстыжие шары!..

Иван хотя был на помочи, но вернулся не пьяный и отдыхал в балагане.

– Иван, а Иван, – приставал к нему Листар. – Нехорошо, брат... Ох, как плохо... Я говорю: обманывать Листара не хорошо...

– Да кто тебя обманывает?..

– А лётные надувают дядю Листара... Н-нет, брат, не на таковского напали! Напрямки надо говорить-то, Иван... да. Первое дело: есть у тебя машинка?

– Ну, есть, а тебе какая забота?

– Мотри, Иван, ты не того... – бормотал Листар заплетавшимся языком и закончил очень решительно – Давай на полштофа...

– Не дам.

– А... так ты вот как! Ну, ладно, пусть будет ин по-твоему. Так не дашь?

– Отвяжись, смола!..

– Так... ладно... Ну, смотри, Иван, не покайся.

– Не твоя забота.

Не спалось эту ночь бродяге Ивану. Он не боялся кривого Листара, а вместе с тем чувствовал, что вот один этакий дрянной мужичонка может испортить ему все... Душистая летняя ночь была хороша; любовно глядели с синего неба частые звезды, где-то в прибрежной осоке скрипел коростель, наносило дымком, который мешался с ночною сыростью и запахом свежего сена. Давно смолкли песни, и над бесконечной равниной тихо веял трудовой сон. Когда-то Иван тоже певал здесь и с замиравшим сердцем вслушивался, не отдастся ли на его голос звонкая девичья песня. Вот в этих вербах миловались они с Феклистой, пока старики спали мертвым сном, а

Исеть была закутана белым туманом. Ничего не осталось, все пошло прахом, и только на душе, как смола, накипало одинокое, тяжелое горе.

«Хоть бы умереть...» – думал бродяга, прислушиваясь к храпению пьяного Листара, который забрался в балаган к ребятишкам.

– Ты не спишь, Иван? – окликнул бродягу в темноте голос Феклисты.

– Нет... не спится.

Они подсели к огню, который совсем потухал. Из пепла только изредка с шипением поднималась струйка синего дыма.

– Слышала я даве, как этот змей приставал к тебе... – заговорила Феклиста, подпирая щеку рукой. – Не отстанет он, не таковский.

– Знаю, что не отстанет... Только, вишь, дать-то ему, дьяволу, нельзя: дай раз, а там не развяжешься с ним...

– Нельзя ему давать – одолеет. Уродится же этакий человек!

Они долго молчали. Иван поправил огонь. В воздухе метнулась ночная птица и неслышно пропала, как тень. Феклиста несколько раз оглянулась, придвинулась ближе к Ивану и прошептала:

– Иванушка, голубчик, все мне представляется тот... помнишь лётного-то Антона, которого дедушка Корень пристрелил? Ну, он м, не все и мерещится... Ох, не к добру это! Третьего дня только стала я засыпать, а Антон-то и идет ко мне. Будто как от Гаврилы с покосу и прямо к *пак*. «Узнала?» – говорит, а сам мне репку показывает. У меня со страхов и язык отнялся, словечка вымолвить не могу. Ну, он поглядел и засмеялся таково нехорошо. «Попомни, говорит, дедушкину-то репку». Проснулась я, никого нет, а меня всю так и трясет, боюсьдохнуть.

– Плохо... – согласился Иван, – не к добру; уходить надо, Феклиста.

Феклиста опять заплакала, закрыв лицо руками. Живут же другие люди, отчего же ей нет счастья на белом свете? Хоть сейчас бы умерла, ежели бы не ребятишки... Жаль тоже, больно мало место, да и куда они денутся сиротским делом? Увлечись своим горем, Феклиста даже возроптала, но Иван остановил ее.

– Не нашего ума это дело... – про! сворил он. – Кому что на роду написано, тому так и быть.

История с лётным Антоном принадлежала к одному из самых необъяснимых проявлений специально деревенской жестокости, бессмысленной и зверской, как всякое стихийное зло. Дедко Корнев был сгорбленный и худой старик со ввалившимися глубокими глазами и лысой головой; Иван и Феклиста знали его уже дряхлым, выжившим из ума стариком, который впал в детство. По зимам старик не сходил с печи, а летом выползал непременно куда-нибудь на солнышко и здесь по целым дням грел свои старые кости. Деревенская детвора, как стая воробьев, обсыпала полоумного старика и вечно просила его рассказать, как он убил лётного Антона «за репку».

– Репку он у меня воровал из огорода-то, этот Антон самый... – хрипло шамкал Корнев своим беззубым ртом. – Я садил репку-то; а лётный ее учал воровать. Я зарядил турку^[51] жеребьем и караулил его по три ночи сряду; ну, и укараулил: как пальну из турки-то, лётный и покатился горошком, а репку мою в руке держит.

Старый дедка смеялся хриплым смехом и долго мотал своей лысой головой.

– Разве тебе не жаль было его, лётного-то? – спрашивал кто-нибудь из ребятишек. – Не больно дорога репка-то...

– Да ведь она моя была? После-то жаль было, когда он приполз ко мне же на двор... Кровища из него так и хлещет, потому я угодил ему жеребьем-то прямо под сердце в болонь... До вечера маялся, сердяга... На подмости его во дворе положили, ну, он тут и докончился! Вся деревня сбежалась во двор-то: бабенки режут, мужики меня ругают, а моей тут причины никакой не было. Ну, как стал Антон отходить совсем, народ-то бросился прощаться с ним – все в ноги кланяются и в один голос: «Прости, миленький». Ну, и я подошел к нему; узнал он меня и вымолвил: «Будешь меня ты помнить, старик... напрасную кровь пролил». Так мы его и похоронили в леску; ямку вырыли, да в ямку и положили, а сами молчим, потому что по судам будут таскать. Попу после покаялся за Антона-то...

IX

Благодаря ведру тебеньковцы скоро убрались с сеном, а жнивье еще не поспело, так что можно было немножко передохнуть, особенно

по праздникам. Перемет и Иосиф Прекрасный обыкновенно исчезали в эти дни и пропадали где-нибудь по укромным местам, в обществе гуляющих бабенок – солдатка Степанида путалась с Переметом, а Иосиф Прекрасный попеременно дарил своим вниманием то кривую вдову Фимушку, то заблудящую Улиту. Раз пьяные тебенковские парни для потехи устроили на них целую облаву и для потехи же порядком намяли бока всем; особенно досталось упрямому хохлу Перемету, который вздумал защищать свою Степаньку.

– Здорово взбодрили... – отзывался после этой шутки Иосиф Прекрасный, щупая избитые бока. – Ишь, дьявола, тоже расшутились!..

Перемет пролежал без движения на острове дня три, а потом вышел на работу как ни в чем не бывало, и его опять видели в обществе шатуньи Степаньки.

В этих тайных удовольствиях не принимал участия один Иван. Он по праздникам оставался обыкновенно на острове и по целым дням раздумывал свою бесконечную бродяжническую думу. Да и было о чем подумать: осень стояла не за горами. К Феклисте Иван заходил теперь редко. Он не то что боялся Листара, который продолжал дуться на него, – это само собой, но была и другая причина. В последнее время Иван стал замечать, что Феклиста начала как будто припадать к нему: то расплачется ни с того ни с сего, то сунет ему какую-нибудь деревенскую постряпеньку, взглянет таково нехорошо. Иван испугался, испугался за самого себя, что не выдержит и приголубит Феклисту, и в его душе тихо поднималось старое наболевшее чувство. С другой стороны, предательское желание отдохнуть, согреться, услышать теплое слово неудержимо влекло его вперед, как сладкий сон замерзающего в снегу. Нужно было иметь железную силу воли, чтобы не поддаваться этому искушению и стряхнуть с себя находившую дурь. Чтобы отогнать от себя эти мысли, Иван обыкновенно думал о Пимке и Соньке; дети являлись пред ним защитниками пошатнувшейся матери и вызывали тень убитого отца.

Раз, после Ильина дня, Иван, по обыкновению, остался на Татарском острове один и лежал с утра в своем балагане, как волк в логове. Накануне пал небольшой дождь, и день выдался такой светлый, теплый, какие подвертываются только на исходе короткого уральского лета, когда летнее солнце точно прощается с землей. Со

всех сторон тянуло праздничными звуками: бойко катились по проселку телеги с загулявшими мужиками и бабами; с веселым говором и дружной песней возвращались с работы помочане; на лугу, у самой деревни, развернулся пестрый девичий хоровод, а там дальше гудело и шевелилось все село, точно растревоженный пчелиный улей. По Исети непрерывной волной катился несмолкаемый праздничный гам, но это трудовое мужицкое веселье ложилось лишним камнем на душу одинокого бродяги: работа равняла его с другими мужиками, а веселье рознило.

Весь день и весь вечер Иван невольно прислушивался к праздничным звукам, а потом заснул тяжелым сном больного человека. Ему мерещились и пьяный Листар, и Феклиста, и бегство с каторги, и убитый брат Егор, и лётный Антон с дедушкиной репкой. Ночью его кто-то разбудил.

– Эй, Иван, вставай, зелена муха... – тащил его за плечо едва стоявший на ногах Иосиф Прекрасный. – Гостинца я тебе приспособил...

– Какого гостинца? Отвяжись...

Слабый стон где-то в кустах заставил Ивана вскочить, а пьяный Иосиф Прекрасный только показал ему в тальник и бессильно сел на траву.

– Там... зелена муха... – бормотал он, покачиваясь всем своим длинным туловищем. – Ну, и штука только, зелена муха...

– Да кто там? Говори толком...

– А она... Дунька... бродяжка. Ну, и зелена муха...

Не добившись толку от пьяного бродяги, Иван отправился прямо в кусты, где чуть не наступил на какую-то бабу, которая ползала и корчилась на земле, как раздавленный червяк. В первое мгновение бродяга испугался и даже попятился – он не ожидал именно того, свидетелем чего пришлось сделаться так неожиданно. Потом ему вдруг сделалось как-то совестно, и он хотел вернуться, но Дунька опять застонала, жалобно цепляясь одной рукой за что-то невидимое в воздухе. Иван только теперь, при колеблющемся месячном освещении, рассмотрел смертельно бледное молодое женское лицо, точно вспыхивавшее неровными пятнами горячего румянца; узкий белый лоб закрыт спутавшимися волосами, а небольшие серые глаза остановились на нем в смертельной истоме...

– Батюшки... батюшки... ой, батюшки... – захлебываясь, стонала Дунька и ползала по траве на одних руках.

Иван все понял и опрометью бросился в балаган, откуда вернулся со своей сермяжкой. Дунька присмирела и лежала под кустом с закрытыми глазами, а около нее, прямо на траве, копошился и вспискивал, как мышь, только что родившийся ребенок. Бродяга перекрестился и бережно прикрыл Дуньку своей сермяжкой. Из кустов в этот момент показалось хихикавшее птичье лицо Иосифа Прекрасного.

– Уйди... убью! – закричал Иван и даже бросился на товарища, но тот уже был далеко.

Через полчаса Дунька уже лежала в балагане на Ивановом месте, прижимая к своей груди слабо кряхтевшего ребенка. Иван то входил в балаган, то выходил и, видимо, не знал, что ему делать.

– Бабушку-то позвать, что ли? – сурово спросил он, не глядя на больную.

– Нет... не надо... так управлюсь... – шепотом ответила Дунька, не имея сил открыть глаза. – Ох, смертонька моя приходила, испытать бы...

Иван принес воды в деревянной ведерке и поставил ее к изголовью Дуньки, которую вместе с ребенком прикрыл полушубком Перемета; потом он развел огонь около входа в балаган, чтобы хоть часть тепла попадала на больную. Ночь была не холодная, но на Дуньке, кроме ситцевого сарафанишка, ничего не было. В дырявый платок, который был у нее на голове, сна завернула своего ребенка. Бродяга просидел у огонька целую ночь, не смыкая глаз. В нем самом происходило что-то такое необыкновенное, чего он еще никогда не испытывал, – ему и жутко было, и как-то легко, и что-то такое хорошее теплилось у бездомного бродяги на самом дне его души, именно то светлое человеческое чувство, которого не в состоянии вытравить никакая каторга. Вот здесь, почти у него на глазах, родился новый человек, и бродяга смутно сознавал все величие свершившегося акта природы: новая жизнь теплилась в балагане, как блуждающий огонек... Небо точно выше поднялось над грешной землей, тонувшей во мраке бродивших по ней ночных теней, и частые звездочки плядели с него так приветливо и чисто, как детские плазки. «Это ангелы божий... святые душеньки, – думал бродяга, глядя на звезды, и

торопливо творил какую-то молитву. – У каждого человека, сказывают, своя звезда обозначена... и у Дунькина ребенка тоже хошь маленькая звездочка, да есть, – ведь тоже живая душа». А Дунька, эта женщина, полная греха, крепко прижимала к своей груди новое маленькое существо и с каким-то страхом ощущала теплоту маленького тельца, точно у нее из груди шевелился целый необъятный мир.

Рано утром, когда Исеть была еще закутана густым белым туманом, явился протрезвившийся за ночь Иосиф Прекрасный. Он не решался подойти к Ивану прямо, а только показал издали жестяной чайник и глиняную чайную чашку. Ему было совестно за свое вчерашнее глупое поведение, да он и побаивался Ивана, который шутить не любил.

– Ну, давай сюда чайник-то, да смотри у меня... – пригрозил Иван.

– И чаю раздобылся и комышек сахара, во... Дунька насчет чаю большая охотница, уж я знаю. Сладена она, зелена муха.

– Да где ты ее добыл вечер-то?..

– Где?.. А я в Пятигорах был с Улитой, ну, она осталась, а я домой пошел. Бреду это пьяный-то, а Дунька, как зайчиха, под кустом мается – разродиться, значит, не может. Ну, я ее тогда пожалел да на остров и приволок. На себе тащил через реку-то... тоже живой человек, не помирать же под кустом-то. Померла бы беспрременно, кабы не я. А только и Дунька эта самая, вот придумала штуку...

Иосиф Прекрасный никак не мог удержаться от душившего его смеха и только закрывал свое птичье лицо локтем.

– Чему ты смеешься-то, дурак? – озлился на него Иван.

– А то как же? По всем этапам эта самая Дунька известна, до самого Омска: и рестораны, и солдаты, и лётные – все ее очень хорошо знают. Сволочь она, эта Дунька самая, а тут дите.

– Дите не виновато.

– Знамо, не виновато... А я про Дуньку... Сказывали, зи-мусь в Камышлове болталась, ну, там, значит, и приспособила себе это самое дите... И я и Перемет знавали еще в остроге... как же! Она за отраву в каторгу ушла... мужа, значит, сулемой стравила. А теперь в бегах который год шляется. Спроси хошь кого про Дуньку Непомнящую,

всяк скажет. Ну и Дунька, выкинула колено, зелена муха! Я Перемету сказывал – ругается, и меня ругает, зачем я Дуньку пожалел...

– Дураки вы оба с Переметом-то!

– Может, и дураки... Я ведь так молвил.

Измученная родами, Дунь-ка проспала в балагане целый день, а с ребенком попеременно возились то Иван, то Иосиф Прекрасный. Последний сбегал в деревню за молоком и за соской, но ребенок плакал и не хотел брать соски. Бродяги ругались и грели плаксу перед огнем.

– Прокоптим его хорошенько, так дольше проживет... – добродушно смеялся Иосиф Прекрасный.

К вечеру Дунька проснулась, но долго притворялась, что спит: ей было совестно возившихся с ее ребенком бродяг. Только когда стемнело, она подала голос и приняла ребенка. Целуя его, бродяжка тихо плакала.

– Меня-то узнала, Дунька, а? – спрашивал Иосиф Прекрасный, просовывая голову в балаган.

– Убирайся к черту, лешак...

– Славного ты мальчонку приспособила, зелена муха. А чаю хошь?

Дунька больше не откликнулась. Она лежала, повернувшись лицом к стене балагана, и не смела пошевелиться, чтобы, не растревожить ребенка, жадно припавшего к материнской груди.

Появление Дуньки как-то вдруг оживило Ивана, и он точно позабыл про свое собственное горе. Да если разобрать, какое его горе было по сравнению вот с этой самой Дунькой, которую всякий обижал, а потом над нею же ругался? В остроге, по этапам, в бегах Дунька везде оставалась Дунькой – самой последней тварью, которая бродила, сама не зная куда, как бездомная собака, чтобы получать новые пинки, ругань и всяческое поношение. Положение лётного мужика в тысячу раз легче, и Иван теперь стыдился за собственное малодушие. Кроме того, у него явилась смутная цель, неясная и сбивчивая, но все-таки цель: он, бродяга Иван Несчастной Жизни, нужен вот той же Дуньке, которая пропала бы без него, как подстреленная птица. Кто бы стал за ней ходить? Лежала бы где-нибудь в яме и сгнила бы заживо. Ивану доставляло удовольствие ухаживать за больной Дунькой – кипятить чайник с водой,

прикрывать ее по ночам полушубком, подкладывать огня к, самому балагану, придумывать новую еду.

Через три дня Дунька настолько оправилась, что могла выйти из балагана, и посидела у огонька с полчаса. Она была совсем не такая, какую показала Ивану ночью, – курносая, с веснушками, темноглазая и еще очень молодая. Загорелое лицо Дуньки точно просветлело от перенесенной муки, глаза смотрели чистым взглядом, и только запекшиеся губы придавали лицу болезненное выражение. Она, видимо, стеснялась и все повторяла:

– Не заживусь я у вас тут: только поправлюсь малость и уйду.

– Да куда ты уйдешь-то, глупая?

– Надо... нельзя мне. Я не одна... Бродяжка тут есть, «Носи-непотеряй» прозывается, так я с ним. Он теперь в Камышловом содержится: от него дите-то.

При последних словах Дунька вся застыдилась, точно боялась, что Иван ей не поверит относительно, происхождения ребенка: у этого новорожденного бродяги был отец, и Дунька гордилась, что могла назвать его, – это было самое большое счастье в ее собачьей жизни.

X

Неожиданное появление Дуньки на Татарском острове произвело в Тебеньковой настоящее волнение, особенно среди тебеньковских баб, которые совсем «решились ума», как говорил Родька Беспалый. В обсуждении этого важного вопроса приняли горячее участие решительно все, начиная с солидной Степаниды Обросимовны и кончая Фимушкой. Всякая разница между настоящими бабами и «путаными бабенками» на время совершенно исчезла: снохи старого Гаврилы, жены брательников Гуциных, Аксинья-кузнечиха, поповская стряпка Егоровна не только якшались с писарской «Лысанкой», но и с Фимушкой, с заблудящей Улитой и даже с солдаткой Степанькой.

– Статочное ли это дело, чтобы бабы бродяжили, – с негодованием говорила Аксинья-кузнечиха. – Ежели мужики бегают

из острогов, так это еще не указ бабам: одна мужичья часть, другая – бабья...

– Где уж с мужиками тягаться: первое дело – забрюхатит, – прибавила жена Сысоя, испитая, лядащая бабенка.

– Теперь куда с дитем-то повернется эта самая отчаянная Дунька?

– А вот поправится после сносей, так наших мужиков станет сманивать к себе на остров.

– Уж это как есть. Разорвать ее, стерву, мало. Листар сказывал, что Дунька-то свою мужа сулемой стравила... уж наших мужиков чем бы не напоила тоже, – ведь у мужиков-то немного ума.

Дядя Листар принимал самое живое участие в общей бабьей суете и по возможности старался растравить баб, чтобы хоть этим путем насолить Ивану за его машинку. Через Иосифа Прекрасного дядя Листар знал все подробности появления Дуньки на Татарском острове и то, как отнесся к ней Иван.

Все было на руку хитрому Лисгару, и он втихомолку поджигал взбеленившихся баб.

– Погодите, выправится Дунька-то, так она всех ваших мужиков перепортит, – предупреждал он особенно податливых бабенок. – Подсунет какого приворотного зелья, тут и шабаш... всю деревню стравит.

Этот бунт тебеньковских баб против Дуньки Непомнящей являлся одною из тех необъяснимых житейских несообразностей, которые так заразительно действуют на массы. Отсутствие логики и самых обыденных человеческих чувств служит только к развитию тех мелких глупостей и нелепостей, которые выплывают, как сор, на поверхность вскрывшейся текучей воды. Всего естественнее было ожидать, что именно бабы пожалеют Дуньку, тем более что она находилась в таком исключительном бабьем положении, но выходило как раз наоборот. Те самые бабы, которые каждый вечер клали лётным кусочки, теперь готовы были разорвать Дуньку в клочья. Женщины-бродяги – большая редкость, и это одно могло служить некоторым объяснением к вспыхнувшему недоразумению, а тут Дунька поселилась вдруг под самым носом и ©сем мозолила глаза своим присутствием. Самые обстоятельные деревенские мужики чувствовали себя как-то неловко и даже заметно конфузились, когда заходил разговор о Дуньке. Большинство старалось не обращать

внимания на ополоумевших баб, и только самые решительные из мужиков осмеливались заметить: «Будет вам, бабы, языки-то чесать... право, сороки вы короткохвостые!» Но такие замечания только подливали масла в огонь, и бабы готовы были выцарапать глаза каждому, кто скажет слово за ненавистную Дуньку.

А виновница этого переполоха продолжала лежать в балагане у лётных пласт-пластом. Сначала ей как будто полегчало, и потом наступила страшная слабость, – ныла и болела. каждая косточка, и Дунька на все расспросы о болезни отвечала только одно: «Вся не могу». Да и к себе она относилась как-то совсем равнодушно, сосредоточив все помыслы и желания на своем ребенке.

Так прошла незаметно целая неделя. Иван по-прежнему ухаживал за больной, хотя чувствовал, что кругом творится что-то неладное. Перемет совсем не показывался на острове, Иосиф Прекрасный тоже начинал, видимо, сторониться, являлся на остров только затем, чтобы передать, что говорят про Дуньку в деревне. Ивана злило это, и, улучив минутку, когда Дунька могла остаться одна, он отправился в деревню, чтобы повидать Феклисту. Жнивье уже поспело, и весь народ был в поле. Иван дождался Феклисты, и первое, что поразило его, было то, что Феклиста сильно смутилась перед ним и даже покраснела.

– Ну, как поправляешься?.. – спросил Иван, стараясь не глядеть на нее.

– Да ничего... по малости управляемся. Сено все поставили, теперь за жнивье принялись.

– Я ужо как-нибудь на неделе приду помотать. Феклиста совсем смешалась и, запинаясь, проговорила:

– Нет, Иванушка, уж лучше ты не ходи...

Этим было все сказано. Феклиста была против Дуньки, а Иван не хотел ей объяснять, почему и как попала Дунька к ним на остров, потому что это было бы бесполезно. «Это другие бабы настроили Феклисту...» – думал бродяга, выходя из Феклистой избы. На дворе он встретился с Пимкой, который запрягал лошадь в телегу.

– Здорово, малец... – проговорил Иван и хотел потрепать мальчика по голове, как иногда делал.

– Не трожь!.. – закричал Пимка, и глаза его засверкали, как у настоящего волчонка. – Ты вот Дуньку-то свою гладь по голове...

Погоди ужо, наши мужики доберутся и покажут, тебе Дуньку.

– Сильно грозятся?

– Башку, бают, отвернем...

Иван понимал, что Пимка говорит с чужого голоса и что его, очевидно, научил кривой Листар, но все-таки бродяге сделалось ужасно обидно. Что в самом деле сделала Дунька им всем? И Феклиста заодно с другими бабами... Куда же ее, хворую, деть, не в Исеть же спустить, да и дите тут примешалось. Дело было под вечер, и Иван зашел в кабак к Беспалому.

– Давай полштоф... – заявил он, не здороваясь.

– Что больно угорел? – засмеялся Родька.

– И то угорел...

В кабаке было пусто, только на лавке спал пьяный старик нищий, да на крылечке сидели двое обратных ямщиков. Иван без передышки выпил два стаканчика и сразу захмелел – давно он не пил водки настоящим образом. Родька делал вид, что будто переставляет у себя за стойкой какую-то посудину, а сам все время не спускал глаз с бродяги.

– Иван, а Иван... – окликнул Родька вполголоса.

– Ну?

– Мотри, худо твое дело... Из-за самой этой Дуньки примешь большое горе – мужики сильно серчают...

– Пусть... хворая она лежит, так не за ноги мне ее тащить с острова.

– Она точно, что тово...

Наступило тяжелое молчание. Иван налил третий стаканчик и долго смотрел осовелыми глазами куда-то под лавку, где валялся разный кабацкий сор. Родька по-прежнему наблюдал его своими лукавыми глазами и, наконец, проговорил:

– А куда твои-то дружки ушли?

– Какие дружки?

– Ну, Перемет и этот Иосиф Прекрасный. Вечор заходили выпить по шкалику и болтали, что на острове больше не останутся: мужиков наших устрашились, чтобы за Дуньку чего не было...

– Устрашились, говоришь?..

– Да разве они сами-то тебе ничего не сказывали?

Иван тяжело ударил кулаком по стойке и сердито плюнул на пол. Это была явная измена со стороны товарищей. И кого устрашили? – тебеньковских баб...

– А ты, Иван, в сам-деле поберегайся: неровен час... Теперь будто жнивье подоспело, все в поле, а вот праздник подвернется, так жди гостей.

– Ладно... Куда же ушли мои-то дружки?

– Перемет поколь у кузнеца Мирона приспособился, а Осип махнул прямо на трахт...

– Подлецы они, дружки-то... А я Дуньку не выдам. Что она им далась, чертям?.. Нашему-то брату, мужику, какво достается бродяжить-то? В другой раз жизни своей постылой не рад, а бабе в тыщу раз потяжелше нашего достается.

– Уж это что и говорить: больно слабо место... Только вот наши-то тебеньковские бабенки ошетинились: так и рвут!..

– Ну и пусть рвут... Робеньчишко у Дуньки-то, а малость выправится – сама уйдет.

Действительно, лётные ушли с Татарского острова, и Иван остался в балагане с пазу на паз с Дунькой. Она женским чутьем догадалась, в чем дело, и порывалась тоже уйти, хотя сама не могла еще держаться на ногах.

– Уйду я, Иван, а то в сам-деле мужики тебя еще, пожалуй, изувечат... – говорила она, собирая какое-то тряпье.

– Перестань, дура... Куда ты уйдешь-то?.. Никого я не боюсь.

В ближайший праздник к берегу Исети с утра начали собираться деревенские ребяташки, а это было дурным знаком. Иван узнал своих старых знакомых – и Авдошку, и Кульку, и Семку. С ними толклась белоголовая Сонька, сосредоточенно засунув пальцы в рот. Так продолжалось до самого вечера, когда со стороны деревни показалась толпа мужиков. Иван понял, что они шли на Татарский остров, и сунул за пазуху короткий нож. Живым он не хотел отдаваться в руки.

Толпа подошла к берегу и, засучив порты выше колен, побрела к острову. Впереди всех шел без шапки седой сгорбленный старик, известный в деревне под именем Вилок, это был самый вздорный и зубастый мужичонка, горланиздай на волостных сходах до хрипоты. За ним шли кузнец Мирон, Сисой, Кондрат, Родька Беспалый, а

позади, всех – степенный старик Таврило с двумя старшими сыновьями.

– В гости к тебе пришли... – заявил Вилоч своим скрипучим голосом, заглядывая в балаган.

– Милости просим... – ответил Иван и прибавил: – Насчет Дуньки?

– Видно, что так, милый друг... Где она у тебя спрятана, принцесса-то твоя?

– Чего мне ее прятать... в балагане лежит.

Мужики немного замялись и переглядывались между собой. Родька Беспалый первый вошел в балаган, но Дунька сама вышла оттуда с ребенком на руках и молча поклонилась миру.

– Ишь, змея, с дитем тоже... – обругался Вилоч и даже плюнул.

– Уж ты, Иван, как хошь, а ослобони нас от Дуньки... – заговорил Кондрат из-за спины Гаврилычей. – Мы лётных не гоним, живите, Христос с вами, а главная причина, что вот бабенка у вас объявилась на острове. Очень это неспособно.

– Нас бабешки-то наши поедом съели... – вставил свое слово смиренный Сысой. – Житья не стало.

– А ежели Дунька хвора? – спросил Иван спокойно.

– Знамо, что хвора... – загалдели мужики, почесывая в затылках. – Обнакновенно, бабье дело. Очень хорошо понимаем...

– Ну, так зачем пришли, коли знаете? – огрызнулся Иван.

– А ты что больно ощетинился-то? – начал задирать Вилоч, угрожающим образом наступая на бродягу. – Не больно велик в перьях-то... Тебе мир приказывает, а ты щетинишься...

– Уж это, как мир хочет, а я Дуньку не дам в обиду... – заявил побледневший Иван и инстинктивно положил руку за пазуху.

– Так и сказать?

– Так и скажите...

– Ну, мотри, парень... – грозился Вилоч, потряхивая своей седой головой.

– И то смотрю, как вами бабы помыкают....

– Ребята, пойдете домой... – неожиданно заявил старик Гаврило, и «ребята» без слова пошли за ним, как оглашенные. – Дело ведь бродяга-то говорит...

Мужики ругались всю дорогу, пока шли до Тебеньковой.

Неожиданный отпор бродяги сбил их с толку, а с другой стороны, этот Гаврило смутил всех.

– Один против мира идет, стерва!.. – ругали мужики бродягу. – Кольем его с острова-то, варнака... Вишь, какой выискался дошлый!

– Он не против миру, а маненько будто насчет баб... – спорил старик Гаврило. – Правильное слово сказал: все из-за баб загорелось, ну их к ляду!.. Жили лётные целное лето, а по заморозкам-то сами уйдут.

Дядя Листар тоже приходил вместе с другими, но благоразумно остался с ребятишками на берегу, пока мужики были на острове. Он ругался больше всех, но его никто не слушал.

XI

Что-то такое страшное и неумолимое чувствуется в слове «осень». Это – медленная агония умирающей природы... Бесконечные темные ночи, голые поля, осиротевший печальный лес, темная вода в реке, мертвый шорох валяющихся на земле желтых листьев, дождь, грязь и вечная песня осеннего ветра, который разгуливает с жалобными стонами по раздетой земле. Особенно печальна осень в Зауралье, где мертвые поля тянутся на сотни верст и, после короткого северного лета, кажутся такими жалкими, точно оставленное поле сражения. Хорошо тому, у кого есть свой теплый угол, своя семья, свое место, где сам большой, сам маленький.

Около Тебеньковой теперь везде красуются клады хлеба и стога сена, а на гумнах начинается с раннего утра громкая молотьба, точно землю клюют сотни громадных птиц своими деревянными носами. Тут, тук, тук... А вон веселый дымок стелется над овином – сушится мужицкое богатство. Зато Исеть стала такая темная, бурливая; она поднялась от дождей в горах и теперь крутится в пологих берегах с глухим ворчаньем. Валы так и хлещут, особенно по ночам, когда поднималась настоящая сиверка. Татарский остров сделался точно ниже, желтый лист сохранился в кустах только кое-где, как позабытые лохмотья, голые ветви черемухи, вербы и тальника жалко топорщились во все стороны, и глазу неловко за их наготу после пышного летнего наряда. С дороги в Тебеньково молено рассмотреть

балаган, устроенный лётными на острове, и курившийся перед ним огонек. Дунька все еще лежала больная в балагане и только изредка выползала погреться к огоньку; она любила смотреть на черневшую реку и задумчиво говорила:

– Иван, вон уж птица стала грудиться...

– Это она к отлету в стаи сбивает, – объяснял Иван.

Лесная птица уже улетела, за ней двинулась – болотная. Дольше всех держалась водяная – утки, гуси, лебеди. У бродяги Ивана щемило на сердце, когда по небу с жалобным курлыканьем неслись в теплую сторону колыхавшиеся косяки журавлей, точно они с собой уносили последнее тепло. На Исети появлялись отдельные стаи чирков, крохалей, гоголей, черняди, кряковых; пара лебедей долго плавала у самой деревни. Раз ночью, захваченный холодным ветром, на Татарский остров пал целый гусиный перелет. Птица выбилась из сил и была такая смиренная, хоть бери ее руками. За день гуси успели отдохнуть, покормились и с веселым гоготаньем двинулись вперед.

– Ну, видно, и нам скоро пора, Дунька, тепла искать, – заговаривал несколько раз Иван, провожая глазами улетающие птичьих станицы. – Ты куда думаешь идти?

– А мне в Камышлов... Боюсь, чтобы «Носи-не-потеряй» куда в другое место не услали. Весточку хотел прислать.

– Да где он тебя искать будет, глупая?

– Найдет... Вот только бы поправиться. Другой раз цельный день здоровая бываю, а тут точно вся размякну: ноженьки не держат.

– В силу еще не вошла, оттого и не держат. Поправляйся скорее.

Странная была эта Дунька, какая-то совсем безответная, и точно она боялась Ивана все время. Бродяга это чувствовал и не мог понять, зачем Дунька боится его. Раньше ему было жаль ее, как больного человека, а теперь он жалел просто замотавшуюся бабу, которая переносила свою судьбу с непонятным равнодушием. Дунька никогда не жаловалась, не плакала, а только изредка вполголоса затягивала какую-то печальную песню:

Не взвивайся, мой голубчик, Выше лесу да выше гор...

Иван знал только, что Дунька откуда-то с уральских горных заводов, а откуда именно – она не говорила.

– Твой-то «Носи-не-потеряй» тоже заводский? – спрашивал Иван.

– А я почему знаю...

Прошло уже недель пять, как Дунька поселилась на Татарском острове. Время летело как-то незаметно. Дунькин ребенок понемногу рос и уже мог улыбаться, когда Иван брал его к себе на руки.

– Бродяжить пойдем, пострел... а?.. – говорил Иван, подбрасывая ребенка кверху.

В половине сентября на Татарский остров неожиданно явился Иосиф Прекрасный, худой, мокрый, грязный, так что Иван едва его узнал.

– Откудава это тебя принесло? – спрашивал Иван недоверчиво.

Где был, там нет... Мне бы зелёну муху повидать, Дуньку. Весточку принес ей... Месил-месил от Шадрина-то, просто хоть умереть, а нельзя: больно просил «Носи-не-потеряй». Он в Шадрине теперь, в остроге, так наказывал, чтобы Дунька непременно к нему шла... серчает.

Это известие и обрадовало и смутило Дуньку, хотя она ждала его с часу на час. Она даже не расспрашивала про своего возлюбленного, что он и как, а знала только одно: ей непременно нужно идти в Шадрино и повидаться с «Носи-не-потеряй». Иван молчал и только исподлобья поглядывал на Иосифа Прекрасного, точно сердился на него.

– Ты чего на меня буркалы-то выворачиваешь? – спросил Иосиф Прекрасный.

– А смотрю, где у тебя совесть, у анафемы. Зачем тогда убегли, дьявола?

– Известно, не от радости ушли... эк пристал!.. Все Перемет сманивал...

– Да ведь ты один ушел на трахт?

– Ну, сначала один, а потом и Перемет пришел... он и сомустил тогда меня, а то бы я ни в жисть не поддался тебеньковским-то мужикам.

– Перестань врать. А где теперь Перемет?..

– Перемет, брат, на казенное тепло перебрался... И прокурат только этот самый хохол!.. Как холода начались, он махнул на Шадрино и прямо к следственнику: так и так, бродяга, не помнящий родства, желаю поступить в острог. Молодой следственник-то, славный такой, ну и говорит Перемету: «Мне сейчас некогда тебя в острог садить – мертвое тело производить еду, а ты меня обожди –

приеду, тогда в лучшем виде тебя в острог предоставлю». Ну, Перемет и ждал до самых вечереи, а потом забрался в кухню к следственнику-то, да там и заснул. Следственник-то приезжает ночью, ему и говорят: «Бродяга вас дожидается, вашескородие!» – «Какой бродяга?» – «А что даве приходил». – «Да где он?» – «Да в кухне у вас спит». Ну, разбудили Перемета, следственник записал его в бумагу и с бумагой послал в острог одного, потому казака не случилось. Перемет и говорит: «Не сумлевайтесь, вашескородие, не заблудимся...» Так и предоставился сам в острог с бумагой, зелена муха!

– А много лётных идет в острог?

– Идут помаленьку... по двое, по трое идут. Больше-то не видно. Ну, да еще и настоящего холоду не было; крепятся, которые в полушубках.

– Ну, а ты как со своей головой полагаешь?

– Да что полагать-то, один конец...

Иосиф Прекрасный неожиданно захохотал и долго не мог успокоиться.

– Чего ржешь-то, дьявол? – спрашивал Иван.

– Ох, и потеха только была... Ведь я сюда прибег с веревочки, ей-богу!.. Вот сейчас провалиться!.. Шатался я, шатался по трахту, заморозки пошли, и так это мне тошно сделалось, так тошно: н-на, ложись да помирай. Лист это кругом облетел, птица всякая потянула в теплую сторону, все по своим углам схоронились, одни лётные замешались. Ни ты человек, ни ты зверь, ни ты птица какая... всем свое, место есть, одному лётному земля – клином. Ах ты, зелена муха, пошел в первую деревню да прямо в волость и объявился: так и так, мол, Иосиф Прекрасный... А уж в волости-то штук восемь лётных до меня сидело – кого пымали, кто сам пришел. Ну, нас всех, рабов божиих, на веревочку да к ундеру, а ундер нас и повел в Шадрино... И смех только: нас восьмеро, и такие все орлы – упаси боже, а ундер-то один. Мы его, ундера, на смех и подняли дорогой: «Куда ты, кислый черт, ведешь нас?» Он нас варнаками крестит, а мы хохочем. Только тут уж я вспомнил про Дуньку-то, что ей наказывал «Носи-непотеряй», ну, развязался и удрал от ундера, а остальные за мной. Ундер-то с палкой за нами гнался верст с пять...

– Ну, а теперь как думаешь насчет своей глупой головы?

– К тебе пришел: прогонишь – уйду, не прогонишь – останусь.

– Чего мне тебя гнать: оставайся, коли плянется, только уговор дороже денег – с кривым Листаром не якшаться.

– Ну вот, зелена муха, да с чего я полезу к нему!..

– А от большого ума и полезешь... Этот самый Листар унюхал про машинку-то и все зубы грызет на меня с тех пор.

– Н-но?.

– Верно... Да ты же, поди, проболтался тогда ему. Ну, да все равно... Листар тогда и баб настроил против Дуньки и мужиков подсылал на остров, чтобы я Дуньку прогнал. Знает пес, чем насолить...

Иван сначала был сердит на Иосифа Прекрасного, потом ему стало жаль этой беспутной головы, да и Дунька уйдет – вдвоем веселее будет горе горевать. Так Иосиф Прекрасный и поселился снова на Татарском острове, как настоящая перелетная птица.

– Мы еще ребенка у Дуньки крестить будем, – говорил он. – Так, Дунюшка... ась?..

– Отстань, сера горячая...

– Стосковалась, поди... а?.. А мы вот с Иваном возьмем да и не пустим тебя, ха-ха!.. Может, мы еще лучше твоего «Носи-непотеряй»... Погляди-ка на меня-то, а?..

XII

Начались крепкие заморозки. Земля по утрам глухо гудела под ногой, как прокованная полоса железа. На Исети образовались закраины; последняя зеленая травка, топорщившаяся кое-где отдельными кустиками, замерзла, и только одни утки продолжали кружиться на самой середине реки. Перед покровом выпал первый «гнилой» снежок и через три дня растаял. Сейчас после покрова Дунька собралась уходить, несмотря ни на какие уговоры лётных повременить еще.

– Нельзя... надо... – твердила Дунька, собирая свои тряпицы.

– Да ведь ты замерзнешь, окаянная!

– Нет, ждет он меня.

Так Дунька и не сдалась на уговоры, собралась и в одно холодное осеннее утро отправилась в путь, поблагодарив лётных за хлеб-соль и

за ласковое слово. Иосиф Прекрасный, в виде последней любезности, перенес Дуньку на спине через реку и долго смотрел ей вслед, повторяя: «Ах, ты, зелена муха... право, зелена муха!» Иван тоже следил глазами с острова за уходившей Дунькой, и его сердце ныло, точно он провожал ее на прямую погибель.

– Ох, не надо бы пущать Дуньку-то... – говорил вечером Иосиф Прекрасный, когда они варили на огне кашу. – Погибнет она, а бабенка-то уж больно безответная. Как собачонка ходит за этим «Носи-не-потеряй», а он же ее и колотит... Видел я его в остроге-то, такой углан.

– Самим надо уходить...

– В скиты?

– Да, в скиты к раскольникам... за Верхотурье-Лётные решили уйти с острова дня через три. Ивану хотелось проститься с Феклистой, и он все собирался к ней каждый день. Может, теперь баба опомнилась, а ссориться с ней Иван не хотел. Он был даже доволен, что благодаря Дуньке они на время разошлись с Феклистой: враг силен – мало ли что могло быть. Выбрав подходящий вечерок, Иван отправился в деревню. С реки дул сильный ветер, по небу бежали свинцовые тучи, осенняя непроглядная темь захватила все кругом, точно могила. Иван пробрался к Феклистиной избе задами, но на беду Феклисты не случилось дома: она ушла куда-то в соседи, а в избе оставалась одна Сонька. Иван подождал с полчаса, а потом пошел обратно.

– Скажи мамке, что Иван прощаться приходил, – наказывал он белоголовой девчурке. – Скажешь?..

– Скажу... – лениво ответила Сонька; она давно хотела спать и готова была разреветься.

Иван шел назад старой дорогой, и когда подходил уже к самому острову, небо вдруг осветилось горячим заревом – горело Тебенково с самой середины, и ветер гнал колыхавшееся пламя в обе стороны.

– Здорово запаливает... – говорил Иосиф Прекрасный, из-под руки рассматривая пожар. – Страшенное пальмо занялось... Вон у Гущиных изба горит, к Кондрату пошло. Ох, страсть какая: так и дерет пальмо-то... Разве сбегать в деревню-то?

– Ну, придумал... – остановил его Иван. – Не до нас мужикам-то, неровен час, пожалуй, и в шею наладут.

– В лучшем виде... потому как народ одуреет совсем. Вон как поворачивает огонь-то, на обе стороны пошел.

Деревенский пожар, особенно в ночную пору, – страшная вещь. Через каких-нибудь полчаса половина Тебенькова была в огне: одна изба горела за другой, и страшное «пальмо» с ревом кружилось по улице, прахом пуская нажитое потом и кровью крестьянское добро, от которого оставались только одни головни да густая полоса черного дыма. По небу разлилось кровавое зарево и далеко осветило окрестности своим зловещим светом, точно к небу вставала сама мужицкая кровь. Вой ветра сливался с ревом скотины, метавшейся по конюшням и притонам. Спавший народ выскакивал на улицу, кто в чем был: мужики – босые, простоволосые бабы – в одних рубахах, ревившие ребятишки – полураздетые. На церкви лихорадочно звонили во все колокола, у ворот везде стояли старухи с иконами в руках и громко читали молитвы; со всех сторон в Тебеньково летели крестьянские телеги с мужиками. Мирное село превратилось в ад. Народ совсем обезумел, и мужики метались по селу вместе с одуревшей скотиной, которая обрывала привязи и рвалась в горевшие стойла. Коровы бросались прямо в огонь. Ополоумевшие бабы растеряли своих ребятишек и еще более увеличивали общую суматоху своим воем и причитаниями. Какой-то слепой и глухой старик ни за что не хотел выходить из горевшей избы, и его должны были вытащить на руках силой.

Когда пожарище охватило полдеревни, у мужиков опустились руки: нечего было спасать и некуда. Единственная пожарная машина сгорела вместе с волостным правлением, да и какая машина могла остановить это море бушевавшего огня. От избы Гуциных остались одни трубы, догорала новая изба Кондрата, у Сыся его плохая избенка загоралась уже два раза, но он с топором в руках отстаивал свое последнее добро. Рядом с ним работал дядя Листар, подставляя огню свою горбатую спину.

– Господи, да откуда это началось-то? – голосили бабы. У дяди Листара, как молния, мелькнула мысль, и он закричал с крыши одуревшей толпе:

– Кому поджигать-то, окромя лётных!..

Эта мысль, как искра, упавшая в порох, произвела в головах обезумевших мужиков и баб другой пожар. «Лётные подождли...

лётные!» – ревела вся деревня, как один человек. Выискался кто-то, кто видел, как вечером Иван пробирался задами, к Фекл истиной избе – сейчас после него и занялся пожар. Отыскали Феклисту – она не видала Ивана, ей дали тумака и пообещали выдрать, зачем якшается с лётными. Зато маленькая Сонька рассказала все, что знала.

– Это он из-за Дуньки деревню подпалил!.. – кричал седой Вилок, выскакивая из толпы. – Робята, тащите их, варнаков, суды...

Толпа мужиков бегом бросилась к Татарскому острову... Иосиф Прекрасный думал спастись бегством, но его поймали верховые и потащили по земле за волосы, как теленка. Иван не сопротивлялся и шел в деревню среди толпы остервенившихся мужиков с побелевшим мертвым лицом.

– А куда Дуньку дел?.. – ревели голоса, и на бродягу посыпались удары.

– Ушла... третьёво-дня ушла.

– Так и есть! Дуньку спровадили, а сами деревню подпалили! Ваших рук дело, варначье... кайтесь!..

– Братцы, Христос с вами... опомнитесь!.. – умолял Иван, но его голос замирал в общем гвалте, как крик ребенка.

– Мы тебя живо рассудим, стерва!.. – кричал Вилок, стараясь ударить Ивана кулаком по лицу. – Листар все видел...

Иосиф Прекрасный был уже на пожарище, когда привели в деревню Ивана. Бродяги были в разорванных рубахах и оба в крови, которая струилась у них по лицам.

– Вот они... поджигатели!.. – ревела деревня.

В толпу протолкался дядя Листар и закричал, указывая на Ивана:

– При мне он грозился на деревню...

Изба Сысой горела, как сноп соломы: он, захлебываясь от ярости, пробился тоже к бродягам и вцепился в Ивана, как кошка.

– Это он поджег!.. – неистово голосил Сысой, стараясь укунить бродягу за плечо. – Своими глазами видел...

– В огонь их!.. – пронеслось в толпе.

Этот страшный крик стоил пожара. За Ивана схватились; разом десятки рук, и, несмотря на самое отчаянное сопротивление, он повис в воздухе – его тащили к первой горевшей избе.

– Батюшки... батюшки... батюшки!.. – отчаянно вопил Иван, напрасно цепляясь за чужие руки, шеи, головы.

– В огонь!..

В воздухе мелькнул какой-то живой ком, болтавший ногами и руками, и беглый попал в самое пекло. Через несколько секунд он выкатился оттуда, обгорелый, окровавленный, продолжая лепетать: «Батюшки... батюшки...» Но толпа не знала пощады, и бродяга полетел в огонь во второй раз, а чтобы он не выполз оттуда, кто-то придавил его тяжелой слесей.

К утру Тебеньково представляло из себя дымившееся пожарище, а от Ивана Несчастной Жизни не осталось даже костей. Иосиф Прекрасный через день от полученных на пожаре побоев умер в кабаке Родьки Беспалого.

Комментарии

Горное гнездо*

Впервые напечатан в журнале «Отечественные записки», 1884, № № 1–4, с подзаголовком «Из уральской летописи». Первая глава имела название «Барин». К заглавию романа было дано примечание автора: «Под именем «Горного гнезда» на Урале громкой известностью пользовался во времена оны институт казенных горных инженеров; но я придаю этому термину более широкое значение, именно, подвожу под него ту всеильную кучку, которая верховодила и верховодит всеми делами на Урале» («Дело», 1884, № 1, стр. 120). Роман перепечатывался при жизни автора в 1890, 1893, 1900 и 1912 годах. В первом отдельном издании романа (1890 г.) примечание и заглавие первой части были сняты.

Печатается по изданию 1912 г. с исправлением опечаток по предшествующим изданиям.

Произведение не сразу получило свое название «Горное гнездо». В черновых вариантах встречаются другие названия: «Омут», «Мария Останина», «Очерки «Горного гнезда», «Светлое житье», «Страничка из уральской летописи», «Очерки из жизни «Горного гнезда». В одной из черновых записей под названием «Введение к горному гнезду» Мамин-Сибиряк раскрыл свое понимание «горного гнезда» со значительно большей широтой, чем в примечании к заглавию журнального текста: «Горное гнездо, как его обыкновенно понимают: казенные инженеры, – но их время миновало, доживают последние дни выбитые из гнезда птенцы-поздныши. Светлая жизнь миновала и имеет только исторический интерес.

Мы понимаем горное гнездо шире: история его – Больница новгородская (Савва Есипов), рудознатцы и розмыслы, Строгановы:

- а) период частной промышленности в широком смысле до 1632 г.;
- б) казенное дело: 1632–1739 гг.; *башкирские бунты, дубинщина;*
- в) поссессии и приписные крестьяне: 1739–1806 гг.; *Пугачев;*
- г) крепостное право: 1802–1861 гг.; *картофельный бунт;*
- д) смутное время – помешательство: партикулярные заводы взяли перевес, лендлордство. Вопросы: о земле – поссессия, выкуп, наделы

мастеровых, отношение к земству; топливо, инженеры и самородки, положение рабочих, специально-заводская администрация; нравы и типы воротил-управителей и заводчиков. В будущем – Ирландия и пролетариат. Образование, железные дороги, промыслы: золото, английский стальной магазин в Екатеринбурге, соляной, камни, хром [истый] железняк» (впервые опубликовано Е. А. Боголюбовым в книге «Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка». Молотов. 1944, вып. III, стр. 65).

Содержание термина «горное гнездо» разъясняется и в другой черновой записи Мамина-Сибиряка под названием «Результаты деятельности горного гнезда»:

«а) национальная собственность – миллионы десятин в одних руках и обезземеление рабочих;

б) во имя горных заводов принесены в жертву все другие промыслы;

с) образовались такие ненормальные явления, как положение старателей, чувовских бурлаков, мраморских мастеровых;

д) образование не существует, если сравнить его с наказом Геннина и взглядами Тагищева;

е) в силу ненормальных условий жизни – подавляющая масса и резкие особенности преступлений;

ф) такие аномалии, как английские рельсы под Тагилом, потерянное ученое общество, английский стальной магазин в Екатеринбурге, редактор «Недели» – главный механик, прогулка хромистого железняка в Англию, покупка нами тульских железных изделий, фарфора, сукон, мыла и свеч и т. д.

Горное гнездо до сих пор не поняло двух основных положений:

1) интересы горного гнезда солидарны с интересами живой рабочей силы;

2) интересы производителей должны быть солидарны с интересами производителей (так в рукописи; может быть, потребителей? – А. Г.), что возможно только при прогрессивном развитии производства, а главное – возможном устранении всяких посредников между производителями»^[52].

Роман «Горное гнездо» восходит к ранним, очень широким литературным замыслам Мамина-Сибиряка. В письме из Петербурга от 21 августа 1875 года писатель просил своего отца собирать

материалы, связанные с историей Урала и, в частности, с историей семьи Демидовых. «Вы, папа, могли бы достать много интересных выдержек из заводского архива... интересно... собрать те сведения о доме Демидовых, которые лежат в конторских бумагах или ходят по рукам в виде рассказов и воспоминаний. Особенно важно здесь, – пишет он, – постоянно иметь в виду резкую разницу, отделяющую энергичных, деятельных представителей первых основателей дома Демидовых и распущенность последних его членов. Здесь интересны два ряда фактов, характеризующих, с одной стороны, энергию первых Демидовых и распущенность и самодурство последних». Фамилия Лаптевых впервые встречается в ранней редакции «Приваловских миллионов» – «Семья Бахаревых». Как видно из текста рукописи, здесь Лаптевым назван один из представителей семьи Демидовых.

Работа над «Горным гнездом» шла одновременно с работой над «Приваловскими миллионами». До нас дошли две незаконченные редакции романа под названием «Омут» (одна из них, подписанная псевдонимом Дмитрий Рассказов, датирована 1879 годом) и рукопись романа под названием «Горное гнездо», близкая к журнальному тексту (хранится в Свердловском областном архиве).

Еще не успели напечататься «Приваловские миллионы» (их переработка была закончена 2 сентября 1883 г., а последние главы напечатаны в ноябрьской книжке «Дела» того же года), как автор послал первую часть своего второго романа, «Горное гнездо», в «Отечественные записки». Редактор «Отечественных записок» М. Е. Салтыков-Щедрин одобрил первую часть романа и просил прислать его окончание. 30 октября 1883 г. Мамин-Сибиряк сообщал В. Н. Мамину, что он получил письмо Щедрина: «Пишет, что ему *весьма понравилась* первая часть моего большого очерка «Горное гнездо» и что он ждет с нетерпением продолжения. Конец этой статьи послан мной 20 октября».

Сюжет «Горного гнезда» строится на основе действительных фактов, хорошо известных автору. О приезде П. П. Демидова в сопровождении профессора С. М. Добровольского в Нижний Тагил в 1863 г. и о посещении им заводов Нижне-Тагильского горного округа Мамин-Сибиряк рассказал в очерке «Один из анекдотических людей». При поездке Демидова по заводам автору «случилось быть в Висиме, на одном из небольших заводов, в сорока верстах от Тагила Стояла

середина лета, настоящая заводская страда, но рабочие толкались в ожидании барина в селении, потому что – как же не встретить Павла Павлыча... Фабрика и господский дом были вычищены и вылизаны до последней степени, поскольку допускает чистоту фантазия и пределы человеческих сил. Так прошло в самом томительном ожидании несколько дней, наконец, было получено самое верное известие, что Павел Павлыч «едет». Помню, как около господского дома собралась трехтысячная толпа с раннего утра; с ближайшего завода, где барин кушали чай, летели «загонщики» один за другим, с известиями, что барин начали кушать чай, потом откушали, садятся в коляску и изволили благополучно отбыть. Суматоха ожидания была ужасная, – точно на Висим шел неприятель. Наконец, прилетел последний загонщик, махавший отчаянно шапкой, а за ним вихрем прокатилась коляска четверней, заключавшая барина; коляска была окружена! почетным конвоем из джигитовавших лесообъездчиков, а з-а ней тряслись несколько экипажей с избранными представителями свиты. Весь народ, конечно, стоял без шапок; барину поднесли хлеб-соль, барин принял и немного нахмурился – ему, видимо, надоела эта церемония; он побыл в господском доме как раз столько времени, сколько было нужно для перекладки новых лошадей, то есть четверть часа, сказал несколько слов окружавшей господский дом толпе и – укатил на следующий завод. Об осмотре фабрики, конечно, не могло быть и речи: барин переезжал с завода на завод с такой отчаянной скоростью, точно за ним гналась стая волков. Единственным результатом этой поездки по заводам было несколько загнанных лошадей...» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собр. соч., Гослитиздат. М., 1955, т. 8, стр. 409, 410). «Демидов прожил на заводах около трех недель и провел все время в разных «забавках» или на охоте; служащим и рабочим к нему не было никакого доступа; особенно сторожились подозрительных личностей, которые могли обеспокоить барина прошением...» (там же, стр. 409).

О введении уставных грамот на Тагильских заводах, о приезде в Тагил «особы» из Петербурга Мамин-Сибиряк подробно рассказал в одном из очерков «От Урала до Москвы», «...разбирая каждый отдельный пункт уставной грамоты, – писал он, – мы видим, что это *chef-d'oeuvre* канцелярской казуистики и российского крючкотворства: именно владелец Тагильских заводов, Демидов, *предоставляет*

мастеровым в полную собственность их (т. е. построенные полностью на их счет. – Л. Г.) дома; из расчищенных покосов *предоставляет* по одной десятине на душу, а остальные покосы отдает желающим, если они не служат у него на заводах, по 30 копеек за каждую десятину, *впредь до усмотрения; вpredь до усмотрения* владелец предоставляет мастеровым пользоваться лесом и конским пастбищем, содержит церкви, госпитали, школы, пожарную часть и т. д... Мастеровые Тагильских заводов приносили жалобу на свою уставную грамоту, и губернское по крестьянским делам присутствие в 1865 году признало ее незаконной, а в 1881 году это же самое присутствие нашло ее вполне правильной. Пререкания между населением и заводоуправлением обратили на себя внимание высшего начальства, и из Петербурга приезжала в заводы одна высокопоставленная особа с специальной целью выяснить и устранить все эти печальные недоразумения. Но и особа, как раньше губернское по крестьянским делам присутствие, сначала признала уставную грамоту неправильной, а потом правильной» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Собр. соч., Гослитиздатом., 1955, т. 8, стр. 276,

«Горное гнездо» – заметное явление в развитии демократического, или, как писал М. Е. Салтыков-Щедрин, общественного романа. Необходимость создания романа с новым, демократическим содержанием остро ощущали передовые писатели 1880-х годов. М. Е. Салтыков-Щедрин высказывал недовольство романами, которые не выходили за рамки «семейственности»: «Русские беллетристы или размениваются на мелочи, или же остаются на почве сороковых годов, то есть продолжают разработывать помещичьи любовные дела» (М. Е. Салтыков-Щедрин «О литературе и искусстве». «Искусство», М., 1953, стр. 383).

Щедрин призывал писателей раскрывать внутреннее содержание современной общественной жизни. Художественный талант Мамина-Сибиряка складывался под, несомненным идейно-эстетическим воздействием великого русского сатирика. Влияние Щедрина отчетливо проявляется в «Горном гнезде». Содержание этого романа может быть прямо соотнесено с теми требованиями, которые предъявлял Щедрин современным писателям: «А сколько характерных эпизодов могут представить, например, непрерывное развитие хищничества и тот бездонный запас легкомыслия, хвастовства,

наглости, самонадеянности, в котором сколько, ни черпай, все ему скончания не будет» (там же).

Мамин-Сибиряк стремился осуществить призыв Щедрина создать «народный роман», в котором «главным типом является целая народная среда». В «Горном гнезде» именно «народная среда» противопоставлена буржуазным хищникам. Завязка и развязка действия в этом романе определяются борьбой рабочей массы крупного горнозаводского округа с заводовладельцем, сила которого – в громадном капитале, в тысячах десятин богатейшей в свете земли, в поддержке крупной заводской администрации, буржуазной науки, прессы, всего государственного аппарата. Творчество Салтыкова-Щедрина и Некрасова помогло Мамину-Сибиряку выработать резко отрицательное отношение к буржуазии. Автор неоднократно приводит в своем романе выдержки из поэмы «Современники», одного из самых антибуржуазных произведений Некрасова. Стихи из «Забытой деревни» «Вот приедет барин – барин нас рассудит...» взяты в качестве эпиграфа к «Горному гнезду». Мотив «Забытой деревни» звучит от начала до конца романа. У Некрасова забытой, полностью зависимой от произвола барина была русская крепостная деревня, у Мамина-Сибиряка зависимым от произвола буржуазии, и помещиков, «забытым», явилось рабочее и крестьянское население пореформенного Урала.

В своей автобиографии Мамин-Сибиряк писал, что роман «Горное гнездо» остался незаконченным. Работа над его продолжением стала невозможной, так как журнал «Отечественные записки», где он печатался, был закрыт правительством. Продолжением «Горного гнезда» писатель считал роман «На улице» (в отдельном издании – «Бурный поток»), который, по словам автора, был испорчен тем, что в нем «перемешались две темы: с одной стороны, перед читателем проходят лица из «Горного гнезда», а с другой – представители «улицы». Первая тема осталась недоконченной, вторая только затронута» (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Автобиографическая записка. См. 10-й том настоящего издания).

Появившийся в первой половине 1880-х годов роман Мамина-Сибиряка имел большое общественное значение. Реакционное правительство Александра III продолжало политику «контрреформ», начатую еще в годы царствования Александра II. Роман «Горное

гнездо», проникнутый мыслью о необходимости настоящей воли, осуждал эту антинародную политику.

Как и «Приваловские миллионы», «Горное гнездо» замалчивалось буржуазной критикой. Ни один из крупных журналов Петербурга и Москвы не отозвался на журнальную публикацию романа Мамина-Сибиряка.

Отдельное издание романа в 1890 году вызвало в общем чувственную оценку критики. Критик журнала «Русская мысль» (1890, № 6) писал, что «Горное гнездо» читается с большим интересом», что романы Мамина-Сибиряка «Горное гнездо» и «Три конца» дополняют друг друга и что в «Трех концах» дана еще более широкая картина уральской горнозаводской жизни, чем в «Горном гнезде».

Критик отметил неясность и непоследовательность автора в изображении «романа» Луши Прозоровой. «Это самая слабая часть произведения г. Мамина, – писал он. – Читатель остается в полном недоумении относительно того, чем и как ее увлек Прейн, почему она предпочла положение любовницы фактотума^[53] браку с «самим баринном».

Еще до выхода в свет отдельного издания автору стало известно, что роман высоко оценивался в кругах, связанных с «Отечественными записками». На «профессорском» обеде в Эрмитаже в 1886 г. Мамин встретился с бывшим секретарем редакции «Отечественных записок» А. А. Плещеевым, который «хвалил «Горное гнездо» и сообщал, что от романа «все в восторге».

В 1896 г. в статье о Мамине-Сибиряке А. М. Скабичевский сравнил его с Э. Золя и назвал «Горное гнездо» лучшим украшением нашей литературы.

Об этой статье Скабичевского Мамин-Сибиряк упомянул в письме к матери от 27 октября 1896 г. и возразил против сравнения его с Э. Золя: «Старик размахнулся и... поставил меня превыше облака ходячего, чего уж совсем не следовало делать. Напрасно он сравнивает меня с Золя и еще более напрасно ругает последнего, чтобы вящше превознести меня. Много крови он испортил мне раньше, то есть Скабичевский, а теперь хвалит. Благодарю бога, что я пережил свой критический литературный период без всякой посторонней поддержки и пробил дорогу себе сам, так что сейчас для

меня похвала Скабичевского имеет значение только в... торговом смысле, то есть для продажи изданий, хотя честь и лучше бесчестья».

...платье из голубого альпага – здесь платье из шерсти южноамериканского животного альпага из семейства лам.

«*Подозрение да не коснется жены Цезаря*» – афоризм приписывается римскому императору Юлию Цезарю; употреблялся и в более широком, иносказательном смысле: поступки высокопоставленных лиц обсуждать не следует.

Ты помнишь чудное мгновенье... – Измененная строка стихотворения Пушкина «К ***» – У Пушкина: «Я помню чудное мгновенье...»

Тихо запер я двери... – Из стихотворения Пушкина «Из Barry Cornwall». У Пушкина первая строфа читается так:

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

Война алой и белой розы – тридцатилетняя война в Англии (1455–1485) между двумя линиями королевского дома – Йоркской и Ланкастерской; алая и белая розы – эмблемы этих домов.

Грановский Т. И. (1813–1855) – общественный деятель и профессор всеобщей истории в Московском университете; в своих лекциях обличал крепостничество.

Магистрант – кандидат на получение, ученой степени магистра, сдавший экзамены, но не защитивший еще диссертации.

. Гривуазность – от фр. grivois – нескромный, игривый.

Фребель Ф. (1782–1852) – немецкий педагог; подробно разработал систему дошкольного воспитания, создал систему игр и занятий для детских садов.

Песталоцци И. (1746–1827) – швейцарский педагог; создал педагогический институт и школу-коммуны, где обучение сочеталось с физическим трудом; разработал методику начального обучения родному языку, арифметике и географии.

Ришелье Лрман Жан дю Плесси (1585–1642) – французский государственный деятель, кардинал, министр Людовика XIII, представитель абсолютизма, фактический правитель Франции с 1624 года.

Мазарини Джулио (1602–1661) – французский политический деятель периода абсолютизма, кардинал, продолжал политику Ришелье.

Посессионное право – право иметь на казенных землях фабрики и заводы, а также покупать крестьян для работы на них. Владелец посессионного предприятия не мог продать его, прекратить работу или изменить продукцию; предприятие, без права дробления, передавалось по наследству. В связи с реформой 1861 г. посессионные крестьяне были освобождены от личной зависимости, но многие крестьяне, обеспечивавшие себя работой на предприятии только частично, остались после реформы без средств существования.

Безешка – от фр. baiser – поцелуй.

Фалетур – фореитор.

Прасол – торговец, скупающий оптом рыбу, мясо и другие продукты, а также торговец скотом.

Крица – бесформенный кусок вываренного из чугуна железа, под ударами молота очищаемый от шлака, превращаемый в болванку.

Кэри Г. (1793–1879) – американский экономист, апологет капитализма, проповедник реакционной теории гармонии классовых интересов.

Мальтус Т. (1766–1834) – английский реакционный буржуазный экономист, священник; оправдывал капитализм и объяснял обнищание трудящихся перенаселением; для борьбы с перенаселением предлагал ряд мер для сокращения численности населения.

Кюссхен – от нем. Kuss – поцелуй.

И моего тут капля меду есть... – Неточная передача части стиха из басни Крылова «Орел и пчела». У Крылова: «...и моего хоть капля меду есть».

Потехин Н. А. (1834–1896) – писатель-драматург; приобрел большую известность в 70-х годах своими комедиями.

Станислав-Август Понятовский (1732–1798) – польский король; известен легкомыслием и развращенностью.

Менений Агриппа (VI–V вв. до н. э.) – римский политический деятель; когда плебеи в ответ на отказ правителей облегчить их долги ушли на «Священную гору», Менений Агриппа подал голос за уступку плебей, при этом он произнес басню, сравнив общество с человеческим организмом, в котором желудок (патриции) и руки (плебеи) не могут существовать, друг без друга. Маркс по этому поводу писал, что «Агриппе, однако, не удалось доказать, что можно питать члены одного человека, наполняя желудок другого»^[54].

Умерла Непала... – Из стихотворения Некрасова «Забытая деревня».

Подождите! Прогресс подвигается... – Из поэмы Некрасова. «Современники», ч. II; эти стихи у Некрасова читаются так:

Подождите! Прогресс подвигается,
И движенью не видно конца:
Что сегодня постыдным считается,
Удостоится завтра венца...

Уральские рассказы*

Впервые отдельным изданием в двух томах вышли в 1888–1889 годах. Второй том в 1889 г. в том же составе был напечатан вторым изданием. С незначительно измененным порядком расположения произведений «Уральские рассказы» в трех томах вышли в 1899 году. Это издание без существенных изменений было перепечатано в 1905 г. (издание Д. П. Ефимова, тт. I–III). В 1902 г. вышел четвертый том «Уральских рассказов», в который были включены повести и рассказы: «Озорник», «Переводчица на приисках», «Доброе старое время», «Верный раб», «Вольный человек Яшка».

«Уральские рассказы» печатаются по изданию 1905 г. (тт. I–III) и 1902 г. (т. IV): очерк «Бойцы» печатается по отдельному изданию 1908 г., «Озорник» – по изданию 1907 г., «Вольный человек Яшка» – по изданию 1911 г. с исправлением опечаток по предшествующим изданиям.

Редакторы советских изданий сочинений Мамина-Сибиряка придерживались по преимуществу жанрово-хронологических

принципов (хотя и не всегда последовательно) и печатали «Уральские рассказы» вперемежку с произведениями из других сборников и циклов, несмотря на то, что «Уральские рассказы» неоднократно издавались и переиздавались при жизни писателя в определенном составе и порядке.

О необходимости издания произведений Мамина-Сибиряка в том порядке, какой был установлен автором сборников и циклов («Уральские рассказы», «Сибирские рассказы», «Ноктюрны», «Детские тени», «Около господ»), говорят следующие факты. Некоторые из этих сборников и циклов представляют собою единое целое в тематическом отношении, некоторые произведения были объединены автором в определенные книги на основе общности содержания, жанровой близости, единства выраженных в них идей, общности художественной манеры и т. д. Эти книги сам автор воспринимал как единое целое. Так, например, по поводу «Уральских рассказов» Мамин-Сибиряк говорил в беседе с Ф. Д. Батюшковым: «Читайте мои уральские рассказы. Это лучшее, что у меня есть.» («Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке». Свердловск, 1936, стр. 140).

Книга «Уральских рассказов» вызвала сравнительно многочисленные критические отзывы. Первым откликнулся журнал «Северный вестник» (1888, № 9). Рецензент этого журнала писал, что «Мамин обладает несомненным талантом», что он хорошо «владеет техникой литературного дела», но в целом автор рецензии дал отрицательный отзыв об «Уральских рассказах». Он был неудовлетворен тем, что автор «Уральских рассказов» отчетливо проявлял свои симпатии и антипатии, что он, по выражению критика, – был склонен к «экскурсиями «в область публицистики и даже полемики». В своих суждениях критик «Северного вестника» оставался исключительно в области формы и литературной техники и не делал попытки характеризовать содержание «Уральских рассказов».

Несправедливая рецензия «Северного вестника» обидела Мамина-Сибиряка. В письме к А. Н. Пыпину от 3 декабря 1888 г. он писал: «Раньше я начинал работать в «Северном вестнике»... но... в августовской книжке нынешнего года меня так обругали за вышедшую первую книжку моих «Уральских рассказов», что продолжать

сотрудничество в «Северном вестнике» сделалось невозможным» (Рукописный отдел ГПБ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Отношение «Северного вестника» к «Уральским рассказам» не изменилось и по выходе второго тома: В рецензий на II том рецензент этого журнала (1889, № 6) признавал; что в них дан «многосторонне и с любовью изображенный быт одного из интереснейших уголков обширного русского мира», но вместе, с тем упрекал Мамина-Сибиряка в этнографизме, протоколизме, в смешении гоголевского реализма с французским лженатурализмом.

«Северному вестнику» решительно возразил критик «Русской мысли» (1888, ноябрь), который писал, что «Уральские рассказы» представляют собою четко индивидуализированные и вместе с тем правдивые художественные обобщения. «Особенную прелесть – рассказам г. Мамина придает полная их правдивость, отсутствие деланности или придуманности. И, с тем вместе, это не фотографии, не рабские воспроизведения действительности, не протокольные записи: это – художественные снимки с природы, в них настоящая, «подлинная» (как говорит Гл. И. Успенский) жизнь бьет ключом, потому что рассказы об этой «подлинной» жизни одухотворены подлинным талантом и к бытию вызваны неподдельною, горячею любовью к тем людям, о страданиях и радостях которых повествует автор».

Наиболее развернутый и содержательный отзыв об «Уральских рассказах» дал (хотя и с опозданием, на что Мамин-Сибиряк жаловался в письме к А. Н. Пыпину от 1 февраля 1890 г. ^[55]) «Вестник Европы» (1890, октябрь, ноябрь). Автор «Литературного обозрения» этого журнала ставил «Уральские рассказы» на первое место среди произведений, напечатанных за последнее время. Отметив недостаточное внимание русской литературы к жизни народа окраин страны («народ у Тургенева есть по-преимуществу народ орловский, у Некрасова – народ верхнего Поволжья, у Писемского также; у Островского москвичи и тоже верхнее Поволжье»), критик с удовлетворением писал о повороте русской литературы к жизни народа окраинных областей России (П. И. Мельников-Печерский, С. В. Максимов) и в ряду авторов произведений из народного быта самое видное и «почетное место» отвел Мамину-Сибиряку. В заслугу писателю критик поставил высокую художественную правду и

типичность «Уральских рассказов»: «...как будто недостает только собственных имен и городов, чтобы перед нами прошла настоящая историческая картина горнозаводского быта».

Критик отмечает своеобразие Мамина-Сибиряка в изображении народной жизни и русского народного характера. В тяжелой жизни народа с ее жестокими нравами, с одичанием и темнотой Мамин-Сибиряк, по словам критика, умел увидеть «...оригинальные проявления народного характера. Рабочий гнет не подавлял энергических натур, и в этом тяжелом быту развивались своеобразные типы с проявлением какой-то полудикой поэзии. Автор «Уральских рассказов» рисует несколько таких типов в виде охотников, ходоков и т. п. людей, в которых сказывалось народное сознание, неясный протест и такое же неясное поэтическое настроение... он умеет подметить черты нравов, как они складывались в их-особых условиях, хорошо изучил быт и, наконец... прекрасно владеет народным языком».

К числу поэтических достоинств «Уральских рассказов» отнесена способность Мамина-Сибиряка «обставлять свои рассказы» «прекрасными изображениями природы; описания уральского пейзажа составляют одну из привлекательных сторон его рассказов».

Спустя несколько лет отдельные произведения из сборника «Уральские рассказы» и сборник в целом вызвали высокоположительные оценки М. Горького. «Мамина – прочитал почти всего, – писал он К. П. Пятницкому. – Хороший, интересный писатель». «Очень хороши его сибирские и уральские вещи...» (М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, М., 1954, т. 28, стр. 273, 274).

«В худых душах...»^{*}

Впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1882, № 12, с подзаголовком «Люди и нравы в Зауралье». С тем же подзаголовком он был напечатан в первом издании «Уральских рассказов», М., 1888 г. В рецензии «Северного вестника» (1888, № 9) рассказ был оценен как одно из лучших произведений, напечатанных в 1-м томе «Уральских рассказов». Рецензент, однако, указал, что подзаголовок не вполне соответствует содержанию рассказа: «Изображаются «люди», каких в Петербурге, конечно, больше, нежели в Зауралье, и рисуются «нравы не совсем обыкновенные для глухого медвежьего угла». Подзаголовок

«Люди и нравы в Зауралье» снят в третьем издании «Уральских рассказов» (М., 1899 г.). Рассказ «В худых душах» перепечатывался во всех последующих изданиях «Уральских рассказов», в 1904 г. он был напечатан отдельной книжкой в издании «Донская речь», Ростов-на-Дону.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», изд. четвертое. М., 1905, т. 1.

Тебеневки – пастбища.

Рубаха из изгребного холста – рубаха из грубого холста, сотканного из оческов.

Сабан – род примитивного двухколесного плуга.

Башка*

Рассказ впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1884, № И. При жизни писателя печатался во всех изданиях «Уральских рассказов». Отдельно напечатан в 1901 г. в серии «Новая библиотека» журнала «Русская мысль».

Время работы над рассказом устанавливается на основе авторских пометок на рукописи. На первом листе авторская надпись: «24 августа 84 г. Екатеринбург». В конце рукописи: «5 сентября 1884 г. Екатеринбург». Подпись: «Д. Сибиряк». Рукопись хранится в Свердловском областном архиве.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», изд. четвертое, М. 1905, т. 1.

Рассказ привлек внимание Л. Н. Толстого, «...один толстовец рассказывал, – писал Мамин-Сибиряк А. С. Маминой 8 октября 1893 г., – что Толстой в восторге от моего рассказа «Башка» и сам читал его вслух своей семье». Об интересе Л. Толстого к творчеству Мамина-Сибиряка свидетельствует письмо М. Горького к А. Чехову от 11 или 12 октября 1900 г.: «Но когда он, Л[ев] Николаевич, начал говорить о Мамине – это было черт знает как хорошо, ярко, верно, сильно!» (М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, М., 1954, т. 28, стр. 137).

Положительно отозвался о рассказе «Башка» М. Горький. «Башка» – один из лучших рассказов Мамина, – писал он. – Это вещь, написанная а la Брет Гарт о людях «бывших». Один из героев – бывший семинарист, другой – бывший гимназист, героиня – бывшая

актриса. Герои – золоторотцы, героиня – проститутка. Описана, колоритным языком автора, кабацкая жизнь, трущобные нравы. Рассказ производит сильное впечатление, еще раз доказывая, что иногда и грязь не мешает человеку блеснуть алмазами духовной красоты» (М. Горький. Несоборные литературно-критические статьи. М., 1941, стр. 50, 51).

Дипломат – длинное весеннее или осеннее пальто.

Отрав*

Впервые напечатан в журнале «Русская мысль», 1887, № 11. Первоначальное название – «Косточки хрустят». Сохранились две рукописи под этим названием. Одна из них представляет собою черновой вариант начала рассказа (хранится в ЦГАЛИ), другая близка к журнальному тексту (хранится в Свердловском областном архиве).

При жизни писателя неоднократно переиздавался.

Печатается по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», изд. четвертое, М., 1905, т. 1.

В основу рассказа положен действительный факт, о котором Мамин-Сибиряк рассказал в фельетоне, напечатанном в газете «Новости», 1884, №№ 162, 168. В фельетоне идет речь о крестьянке села Покровского, Ирбитского уезда, Абакумовой, которая «была замужем три раза, и все три мужа умерли скоропостижной смертью, даже дочь Абакумовой уже за вторым мужем». «Вообще эта ведьма, – писал Мамин-Сибиряк в «Новостях», – поставляла яды на целый округ».

Рассказывая в газетной статье о страшной истории крестьянки Абакумовой, сознательно отравившей по меньшей мере четырех человек, Мамин-Сибиряк сурово осудил убийцу, а в очерке его симпатии оказались на стороне старухи Отравы, хотя число отравленных ею мужиков неизмеримо больше, чем в том случае, который описан в «Новостях».

Во время работы над газетной статьей Мамин-Сибиряк, видимо, находился еще под сильным впечатлением от этой страшной истории и не мог с достаточной глубиной оценить причины тяжелых деревенских драм.

В очерке же автор фиксирует внимание именно на, причинах трагических действий Отравы, и читателю становится ясно, что

Отрава совершает преступления в результате того невыносимого положения, в каком находилась женщина-крестьянка.

Очерк высоко оценил В. Г. Короленко. Это, по словам Короленко, «прекрасный рассказ», где показана «действительная драма» из народного быта, освещенная во всем ее «простом и мрачном трагизме» (В. Г. Короленко. О литературе. М., 1957, стр. 378).

Чекмень – кафтан.

Гребтится – думается, кажется.

Обродка – недоуздок, узда без удил, с одним поводом, для привязи.

Гроза*

Впервые напечатан в журнале, «Наблюдатель», 1885, № 12. Подпись: «Д. Сибиряк». На первом листе рукописи (хранится в Свердловском областном архиве) надпись-автограф; «10 января 85 г. Екатеринбург». В конце рукописи: «14 января 85 г.». При жизни автора перепечатывался неоднократно в составе «Уральских рассказов».

Печатается по тексту: д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы.», изд. четвертое. М., 1905, т. I.

Морены – обломки горных пород.

Блазнит – мерещится, кажется.

На шихане*

Рассказ впервые напечатан в журнале «Вестник Европы», 1884, № 10. При жизни автора переиздавался в составе «Уральских рассказов» в 1888, 1899, 1905 годах. Со значительными сокращениями был издан отдельно под названием «Савка» в 1886 г. киевским отделением Российского общества покровительства животным.

Печатается по тексту: д. н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», изд. четвертое, М., 1905, т. 1.

Гардемарин – учащийся старших отделений морского корпуса и морского инженерного училища.

Кантонист – в крепостной России до середины XIX в. – солдатский сын, со дня рождения числившийся за военным ведомством и подготовляемый к военной службе в особой, низшей военной школе.

Ясак – подать пушниной. Здесь добыча охотника.
Чуман – лукошко.

Лётные*

Рассказ впервые напечатан в журнале «Наблюдатель», 1886, № № 2, 3. Перепечатывался при жизни писателя в составе «Уральских рассказов» в 1888, 1899, 1905 годах и отдельно в 1893, 1896, 1900, 1902 годах.

Черновая рукопись (варианты глав V, VI – х) хранится в ЦГАЛИ. На одном из листов рукописи: «Д. Сибиряк, 18 сентября 1885 г.». В Свердловском областном архиве сохраняется рукопись, озаглавленная «Лётные. Из летних рассказов» с надписью-автографом: «Мамин. Москва. Тверской б., д. Ланской».

Время работы над «Лётными» точно устанавливается на основе писем Мамина-Сибиряка к А. С. Маминой. В письме от 8 сентября 1885 г. писатель сообщал: «...я усиленно работаю: пишу статью для «Вестника Европы» и переделываю свою пьесу, которую, может быть, поставлю в частном театре Корша». Речь идет о рассказе «Лётные» и пьесе «Золотопромышленники».

17 сентября того же года он писал о «Лётных»: «Завтра кончаю рассказ для «Вестника Европы»; в письме от 20 сентября говорится: «Третьего дня кончил большой рассказ для «Вестника Европы», листа три печатных, теперь он переписывается...»

В конце сентября автор приступил к его доработке: «Теперь поправляю рассказ для «Вестника Европы», который пошлю в Петербург на этой неделе» (письмо А. С. Маминой от 29 сентября 1885 г.).

В конце ноября он получил письмо А. Н. Пыпина, которым редакция «Вестника Европы» отклоняла «Лётных».

Журнал отказался напечатать «Лётных» потому, что в нем якобы содержались порнографические картины. Мотив отказа был глубоко несправедлив и обиден для автора. Посылая в журнал «Вестник Европы» первый том «Уральских рассказов», где был напечатан рассказ «Лётные», Мамин-Сибиряк уже спустя три года < упрекал А. Н. Пыпина в несправедливой оценке «Лётных»: «...посылаю Вам книжку «Уральских рассказов», где помещен рассказ «Лётные», возвращенный мне, как порнографическое произведение, – повторяю

Ваши собственные слова. Прочтите его, чтобы убедиться, кто прав – редакция или автор» (письмо к А. Н. Пыпину от 3 декабря 1888 г.).

Из «Вестника Европы» рассказ был передан в журнал «Наблюдатель», где и был напечатан в февральской и мартовской книжках за 1886 год.

Здесь печатается, по тексту: Д. Н. Мамин-Сибиряк «Уральские рассказы», изд. четвертое, М., 1905, т. I.

В рассказе «Лётные» Мамин-Сибиряк раскрывает те ненормальные условия, в которых находился трудовой человек в старой России... Философия этого рассказа близка демократической философии 1860-х годов. Объясняя причины народных преступлений, Н. А. Добролюбов в одной из своих статей писал: «...всякое преступление есть не следствие натуры человека, а следствие ненормального отношения, в какое он поставлен к обществу» (Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в трех томах, М., 1952, т. 2, стр. 192, 193). Об этом же писал и Н. Г. Чернышевский. Чтобы решительно снизить число преступлений, «нужно, – по мнению Чернышевского, – не наказание отдельного лица, а изменение в условиях быта для целого сословия»... «Где вы найдете человека, которому приятнее было бы и в мороз и в непогоду прятаться в берлогах и шататься по пустыням, часто терпеть голод и постоянно дрожать за свою спину, ожидающую плети..?» (Н. Г. Чернышевский. Собр. соч. в пятнадцати томах, М., 1950, т. V, стр. 165, 166).

В связи с выходом «Уральских рассказов» критик журнала «Северный вестник» осудил «Лётных» за их полемический тон и резкость публицистических отступлений. При последующих переизданиях Мамин-Сибиряк был вынужден смягчить полемическо-обличительный тон рассказа. После предложения: «Какая масса никому не нужных страданий устранилась бы сама собой, если бы... наши следователи, судьи, прокуроры и присяжные умели и могли отличать действительно несчастного преступника от закоренелого злодея» – в журнальном тексте и первом издании «Уральских рассказов» шли следующие слова, устраненные в последующих изданиях: «К сожалению, известного лагеря печать и такие «проникновенные учителя», как Ф. М. Достоевский, возвели каторгу в ореол, какого-то очищающего душу страдания... Это уже колоссальный абсурд, тем более, что он проповедуется теми самыми

людьми, которые изобрели специально *русского Христа*» («Уральские рассказы», 1888, т. I, стр. 333).

После предложения (в конце III главы): «И так каждый год, точно льется широкая река» – шел отрывок, выброшенный впоследствии писателем: «Представьте же себе ту страшную массу нечеловеческих страданий и опасностей, какую выносит на своих плечах этот отверженный, поставленный вне закона люд!.. Сначала нужно устроить побег из каторжной тюрьмы или с дороги на каторгу, что устраивается очень нелегко и часто покупается ценою жизни – лётный падает от пули тюремного часового или конвойного солдата, прежде чем успеетдохнуть вольным, неострожным воздухом. Затем начинается невероятное странствование по сибирской тайге, болотам и степям, где лётные безвестно гибнут от голода и жажды, в когтях дикого зверя, от меткой пули бурята и сибирского «челдона» или просто заедаются таежным оводом» («Уральские рассказы», 1888, т. I, стр. 331, 332).

Рассказ «Лётные» отдельными мотивами (косность деревенского быта, неистребимое стремление простого человека к воле) перекликается с ранними рассказами М. Горького, а картины, рисующие грубовато-нежное отношение бродяг к ставшей матерью несчастной Дуньке и ее новорожденному сыну, близко напоминают рассказ М. Горького «Рождение человека».

Челдон – бродяга, беглый, каторжник; в переносном смысле на Урале также сибирский крестьянин.

Улус – группа жилых хижин.

Кошевка (от кошма – войлок, полать) – юрта, крытая войлоком.

Дубас – безрукавая рабочая одежда из дубленого толстого холста.

А. Груздев и С. Груздева

notes

Примечания

1

моя маленькая (*фр.*).

2

НОВОГО ЧЕЛОВЕКА (*лат.*).

3

игривости, нескромности (от *фр.* grivois).

4

шедевром (*фр.*).

5

ВЫСШИЙ СВЕТ (*фр.*).

6

компаньонках (*фр.*).

7

Здесь в смысле – развлечение (*фр.*).

мадмуазель Луиза (*фр.*).

из Риги (нем.).

ВЫСКОЧКИ (*фр.*).

«Прекрасной Елены» (*фр.*).

увеселительные прогулки (*фр.*).

Брунгильда, принеси!.. (*фр.*).

полусвета (*φρ.*).

чистой крови (*φρ.*).

16

поцелуйчик (от *нем.* küsschen).

Здесь в смысле – аристократической молодежи Англии (*англ.*).

золотой молодежи (*фр.*).

Дам (*φρ.*).

приписке (*лат.*).

остроумного человека (*фр.*).

Кто-то и почему-то окрестил эту рыбу ученым именем – *хариус*; на Урале ее называют просто – *харюз*, и последнее название, по нашему мнению, больше отвечает складу русской речи. (*прим. автора*)

Сударыни! (*фр.*).

Сакма – свежий след зверя на траве. *(прим. автора)*

Ищи! (*фр.*).

неравных браков (*φр.*).

свидания (*фр.*).

убеждение (*фр.*).

навязчивая мысль (*фр.*).

первого любовника (*фр.*).

громкие судебные дела (*фр.*).

Доспиет – поспеет. *(прим. автора)*

Маркс – «Капитал» *(немецк.)*.

Матери-кормилице. Здесь имеется в виду учебное заведение.

«В худых душах» – равносильно при смерти, в ожидании смерти.
(прим. автора)

Так проходит земная слава! (*лат.*).

Господин (*лат.*).

следовательно (*лат.*).

К праотцам (*лат.*)

Лонись – в прошлом году. *(прим. автора)*

Смертное – одежда, приготовленная на смерть. (*прим. автора*)

Дополнение *(франц.)*.

Шиханами на Урале называют каменные утесы на вершинах гор.
(прим. автора)

Поляш, или косач – тетерев-березовик, польнюшка – тетерька.
Залобовать – убить. *(прим. автора)*

Глухаря-самку на Урале называют в некоторых местах копалухой, а глухарят – копалятами. *(прим. автора)*

Лётными на Урале называют бродяг. *(прим. автора)*

Скорбным путем (*лат.*).

Сливками называют в деревенских кабаках недопитые остатки, которые из стаканов и шкаликов сливаются в особую посудину. (*прим. автора*)

фарт – прибыль, фартит – везет. *(прим. автора)*

Ордой в Зауралье называют башкирские земли и земли Оренбургского казачьего войска. *(прим. автора)*

Турками называются большекалиберные винтовки, а жеребьем – медвежьи пули. *(прим. автора)*

Частично опубликовано в книге Е. А. Боголюбова «Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка», Молотов, 1944, вып. III, и в комментариях к собр. соч. Д. Н. Мамина-Сибиряка, Гослитиздат, 1954, т. 3, стр. 620. Здесь впервые публикуется полностью по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ.

Фактотум – человек, исполняющий различные поручения.

Маркс и Энгельс. Избранные произведения, т. 1, 1949. стр. 360.

«Отчего до сих пор нет ни строчки в «Вестнике Европы» о моих «Уральских рассказах»? – спрашивал А. Н. Пыпина Мамин-Сибиряк. – Есть рецензии о книгах, вышедших далеко позже, а о моих рассказах глухое молчание» (Рукописный отдел ГПБ имени Салтыкова Щедрина).